
ВЕЛЬТМАН
ACADEMIA


ACADEMIA



А. Ф. ВЕЛЬТМАН

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
под общей редакцией
Л. Б. КАМЕНЕВА

А. Ф. ВЕЛЬТМАН

1800 — 1870

ACADEMIA
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

А. Ф. ВЕЛЬТМАН

ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ПОЧЕРПНУТЫЕ ИЗ МОРЯ ЖИТЕЙСКОГО

РОМАН

Подготовка текста к печати,
вступительная статья
и комментарий
В. Ф. ПЕРЕВЕРЗЕВА

ACADEMIA
1933

Переплет и супер-обложка по рисункам
М. В. Ушакова-Поскочина

А. Ф. ВЕЛЬТМАН

Автор «Приключений, почерпнутых из моря житейского», Александр Фомич Вельтман, принадлежит к поколению писателей 30-х годов XIX века. Он лишь на один год моложе Пушкина и на девят лет старше Гоголя. Как и Гоголь, он дебютировал в литературе неудачными вещами в стихах и был признан крупной литературной величиной с появлением первой прозаической вещи, романа «Странник», печатавшегося в один год с знаменитыми «Вечерами» Гоголя.

Теперь Вельтман забыт, но в свое время он был популярнейшим беллетристом, произведения которого читались нарасхват, каждой новой вещи которого ждали с нетерпением и встречали с шумными приветствиями. Читатели и критика выделяли его из толпы беллетристов на ряду с Марлинским, Загоскиным, Лажечниковым, видя в них чуть только что не классиков русской прозы. Это старая, но вечно новая история, вечно повторяющееся увлечение современников своими кумирами, из которых редкие выдерживают испытание временем. Не выдержали этого испытания и названные кумиры, ни один из них не стал классическим автором, творцом вековых созданий.

Этим, однако, нисколько не умаляется их историческая значительность. Вельтман—как и Марлинский, и Загоскин, и Лажечников — не рядовые поставщики литературного чтива, а талантливые литературные деятели, вносившие в литературную жизнь новые начала и двигавшие вперед литературное развитие. Они не стали классиками, но без них не было бы

классиков: своей литературной работой, своими творческими исканиями они подготовили почву для рождения классических творений нашей художественной литературы. Это и дает им право на внимание всех интересующихся развитием русской литературы и историческим генезисом тех литературно-художественных шедевров, которыми жили, живут и еще долго будут жить сменяющиеся поколения читателей.

Именно с этой точки зрения литературное творчество Вельтмана и в особенности его роман «Приключения, почерпнутые из моря житейского» имеют право занять наше внимание. Как мы увидим дальше, беллетристика Вельтмана подготовила почву для появления таких шедевров литературного творчества, как гениальные романы Достоевского.

Родился Вельтман в 1800 г. в семье беспоместного служилого дворянина, стоявшего на низших ступенях чиновной лестницы, типичного «бедного чиновника». Александр был первенцем в семье Вельтманов. Когда ему было три года, отец его переводится в Москву на должность квартирного комиссара, где и остается до конца своей жизни, занимая разные должности: то казначея винного завода, то квартального надзирателя, то смотрителя долговой тюрьмы. Все это были мелкие, плохо оплачиваемые службы, едва обеспечивавшие существование семьи.

Здесь, в Москве, в атмосфере патриархального мелкочиновного быта, среди разговоров о трудностях службы, о недостатках, о необходимости терпения и надежды на бога да начальников протекли детские годы будущего писателя. Уже ставши на свои ноги, сделавшись взрослым человеком, Вельтман дышит этой атмосферой через переписку с домашними, с отцом, сестрой, братьями, которая насыщена специфически чиновничьими интересами. Отец пишет о долгах, которые не позволяют ему оказывать денежную помощь сыну, о «великих трудах» и малом жалованье, о терпении и

надежде на начальников: «обожай начальников», советует он в одном из писем сыну. Сестра и братья пишут о чинах, наградах и пространно рассказывают об официальных торжествах и парадах как о весьма интересных для них и их брата вещах. В эту прозаическую атмосферу вносила струю оживления мать Вельтмана, женщина, повидимому, остроумная, любившая и умевшая поговорить. Отец в одном из писем сыну называет ее «великой говоруньей», утешавшей его терпкую жизнь. Сын очень тепло вспоминает о ней как о своей первой учительнице и воспитательнице. С большой симпатией и благодарностью вспоминает писатель своего дядьку Якова, искусного и неутомимого сказочника, который ознакомил его в ребяческом возрасте с чарами поэтического вымысла, научил его любить сказку, воспитал из него будущего мастера авантюрного романа.

Первоначальное образование Александр Вельтман получил в пансионе Гейдена, куда он попал по недоразумению, принятый по фамилии за бедного ребенка лютеранской семьи, так как содержатель в общем дорогого пансиона принимал почти даром детей из бедных лютеранских семей. Одиннадцати лет отец определил Александра в благородный пансион при Московском университете, но события 1812 г. оборвали это учение. Вместе с другими жителями семья Вельтманов бежала от вступавших в Москву французов и до освобождения столицы от неприятеля приютилась в Костроме. Возвращение в опустошенную, разрушенную, обгорелую Москву произвело на двенадцатилетнего Александра очень сильное впечатление, рассказать о котором он намеревался в своих, так и оставшихся лишь в плане, воспоминаниях. Но впечатления 1812 г. отложились в тематике его художественных произведений, играя весьма заметную роль в его романах.

С 1814 г. Александр отрывается от родного очага, поступивши для продолжения образования в петербургский пансион братьев Терликовых, а оттуда в корпус колонно-

вожатых. Сохранились ученические тетради Вельтмана, показывающие, что он усердно и с любовью занимался языками, математикой, увлекался поэзией и уже на школьной скамье исписывал ученические тетради стихами. Бросается в глаза, даже при поверхностном взгляде на эти тетради, что еще школьником Вельтмана в равной степени влекут к себе и поэтический вымысел и чистая наука, что в нем живут вместе ученый и поэт. Так это в нем останется на всю жизнь: работу поэта он будет чередовать с работой ученого, к сожалению, не умея строго разграничивать эти две области творчества, смешивая науку с поэзией, уродуя свои поэтические произведения балластом ненужной учености и свои научные разыскания фантастическими вымыслами.

В 1817 г. Вельтман был выпущен из корпуса и получил назначение в Бессарабию для работ по военно-межевой части. Он горячо отдается своему делу, внося в него присущий ему научно-исследовательский пафос. Плодом его топографических разысканий явился напечатанный в 1828 г. труд: «Начертание древней истории Бессарабии».

Среди своих служебных и научных занятий Вельтман не забывает и о поэзии. Он пишет стихи сначала для интимного употребления, для себя, знакомых, друзей, возлюбленных. Стихи нравятся, и о Вельтмане в бессарабских гостиных начинают говорить как о поэте. Когда Пушкин появился в Кишиневе, ему представили Вельтмана как «своего поэта». С 1828 г. стихи Вельтмана начинают появляться в печати. Так, в «Сыне отечества» за этот год напечатаны два его стихотворения: «Юная грешница» и «Ожидание».

С созреванием поэтического таланта у Вельтмана зреет мысль о перемене жизненной карьеры. Служебные успехи не вполне удовлетворяют его. Поэт, художник, чувствовал свой талант, и ему грезился более прекрасный удел, чем бессарабская карьера. Его тянет в Москву, где его талант мог бы расправить крылья. К тому же и семейные обстоя-

тельства складываются так, что усиливают это тяготение. В 1821 г. умер отец Вельтмана; оставшиеся сиротами на руках опекуна сестра и брат чуть не в каждом письме зовут его в Москву, жалуются, что он забыл их. Есть основания думать, что и сердечные дела подогревали его желание бежать из Бессарабии.

Вельтман мечется, тоскует, жалуется на судьбу, не находя возможности вырваться из бессарабского плена. А вспыхнувшая в 1828 г. война с Турцией сделала для Вельтмана служебной обязанностью остаться в Бессарабии до конца кампании, в которой он принимает активнейшее участие.

Но с окончанием войны желание бежать из Бессарабии проснулось с удвоенной силой. В то же время и обстоятельства складывались весьма благоприятно для осуществления давнишней мечты о возвращении в Москву. В 1830 г. началось печатание романа Вельтмана «Странник». Роман сразу обратил на его автора общее внимание и выдвинул его в ряд первых беллетристов своего времени. Окрыленный литературным успехом, уже уверенный теперь в прочности своего положения как писателя, Вельтман хлопочет об отставке и в 1831 г. получает ее с чином подполковника. С этого года начинается московский период жизни, сначала вольного художника слова, потом ученого археолога и архивного работника.

Москва не обманула надежд Вельтмана. Вышедший в 1831 г. отдельным изданием «Странник» создал его автору исключительную популярность. Он стал модным писателем, о котором трубила критика как о крупнейшем и интереснейшем беллетристе, который сразу стал своим человеком в литературном мире, за которым гонялись издатели, сотрудничества которого искали редакторы журналов.

Вельтман уходит с головой в литературу. Наступил период чрезвычайно художественной плодовитости. В течение двух десятилетий из-под пера Вельтмана выходит более

десятка романов, добрая половина которых многотомны. После «Странника» в 1833 г. вышли в свет романы «Кащей Бессмертный» и «Рукопись Мартына Задеки», в 1834 — «Лунатик», в 1835 — «Святославич вражий питомец», в 1836 — «Предки Калимероса», в 1837 — «Виргиния», в 1838 — «Сердце и думка», в 1840 — «Генерал Калимерос», в 1845 — «Емеля или превращения», в 1846 — 1847 — «Саломея», первый роман из цикла «Приключений, почерпнутых из моря житейского», в 1849 — второй роман из этого цикла — «Чудодей». Литературная репутация Вельтмана крепнет, популярность его растет. «Кащей Бессмертный» вызвал небывалый восторг, был провозглашен шедевром русского исторического романа. Меньшим успехом пользовались остальные романы, но каждый из них встречался как лучшее явление современной художественной продукции.

Вельтман возбудил большие ожидания. На него смотрят с надеждой, от него ждут больших, серьезных, руководящих произведений. Восторженно приветствуя появление Вельтмана в литературе, Белинский огорчался, что «он уже чересчур много играет своим талантом», и взывал, что «пора бы ему наиграться и подарить публику таким произведением, какого она в праве ожидать от него».

Но всеми условиями своего развития Вельтман вовсе не был подготовлен к роли руководителя общественного сознания. Сын «бедного чиновника», вскормленный молоком сословно-мещанского патриархализма, он становился членом новой классовой группы, поднялся над сословной иерархией не в сознательной борьбе с разлагающимся сословным строем, а исключительно благодаря судьбе, одарившей его художественным талантом. Он был очень далек от осознания своих социальных превращений как кризиса кастового строя, а воспринимал их как каприз фортуны, как «приключение в море житейском». Будучи сам новым типом среди старых общественных формаций, Вельтман не сознавал

этого, видел в себе не представителя новой нарождающейся классовой прослойки, а члена сословного общества, лишь, как он сам выражается об одном из своих героев, «неопределенную личность, резко отделяющуюся от общества своей нравственной и физической наружностью». Втянутый в круговорот новых отношений интенсивно развивавшегося тогда капитализма, разрушавшего патриархальные устои сословного общества, Вельтман все еще оставался во власти тех наивно патриархальных представлений, в которых его воспитала семья и окружавшая его среда. Он переживал общественный процесс без ясного осмысления его, без определенной позиции в отношении к нему, без оформленной идеологии.

Попытки Вельтмана идеологически самоопределиться только сильнее подчеркивают его глубокую идеологическую отсталость. Он сближается с архаическими идеологами официальной народности, казенного славянофильства, органом которого был журнал «Москвитянин». Он заводит дружбу с Погодиным, становится деятельнейшим сотрудником журнала. Но мертвая консервативная доктрина москвитянинцев меньше всего была пригодна на то, чтобы внести в художественное творчество Вельтмана ту идеологическую зрелость, которой от него ожидали. Наоборот, сближение возбудившего надежды таланта с отсталыми идеологами порождало у читателей и критиков разочарование и недовольство, даже раздражение, которое к концу 40-х годов переходит в полное охлаждение.

Вельтман теряет былую популярность. Между писателем и публикой пролегает глубокая трещина. И писатель начинает инстинктивно отходить от художественного творчества: в нем пробуждается задремавший было ученый. Его с новой силой захватывают те лингвистические и археологические разыскания, которые всегда интересовали его и интерес к которым еще более возрос под влиянием сближения с Погодинским кружком архаистов-историков. В течение 40-х годов

он опубликовывает ряд археологических работ, в то же время он ищет службы в архивных учреждениях и с 1842 г. получает место помощника директора Оружейной палаты.

Увлекаясь все более и более своей новой работой, Вельтман совсем бросает художественное творчество. В течение 50-х годов не появилось ни одного беллетристического произведения, зато необычайно возросла научно-исследовательская продукция. Кроме ряда статей, в эти годы Вельтман опубликовывает свои крупнейшие монографии лингвистическо-археологического характера: «Индо-Германе и Сайване», «О Свевах, Гуннах и Монголах» в 1856 г.; «Аттила и Русь» в 1858 г.; «Маги и мидийские каганы XIII столетия» в 1860 г.

Ученые труды Вельтмана не пользовались авторитетом в научных кругах; Вельтман выступает в них таким фантазером, что строгие ученые могли только пожимать плечами и улыбаться над домыслами пылкого романиста. В ученом мире на него так и смотрели, как на талантливого чудака. Зато труды его высоко ценились начальством. В 1852 г. он, после смерти Загоскина, заступает его место директора Оружейной палаты, а к 60-м годам стоит уже на самой верхушке гражданской чиновной иерархии.

Казалось, что Вельтман умер для беллетристики. Но после более десятилетнего перерыва, уже на склоне лет, он вдруг снова делает попытку выступить на беллетристическом поприще. В 1862 г. в журнале «Русский вестник» появляется новый роман из цикла «Приключений, почерпнутых из моря житейского»— «Воспитанница Сарра».

Со стороны Вельтмана было большой наивностью ожидать сколько-нибудь теплой встречи со стороны читателей своему новому беллетристическому детищу. Если уже читателей 40-х годов Вельтман не удовлетворял своей идеологической незрелостью, то в эпоху 60-х годов, в атмосфере остро противопоставленных платформ, он уж вовсе никого не мог удовлетворить. Роман, действительно, не имел ника-

кого успеха. Критика отозвалась на него недоуменно насмешливыми рецензиями. Та же участь постигла и напечатанный в следующем 1863 г. роман «Счастье — несчастье», которым Вельтман закончил цикл «Приключений, почерпнутых из моря житейского», а вместе и свое литературное творчество. С 1863 г. он перестает совсем печататься и доживает свой век забытым писателем. Общественно незаметным событием была и наступившая в 1870 г. смерть писателя.

Собственно литературная жизнь Вельтмана укладывается таким образом в двадцатилетие между 1830 и 1850 годами. Это были годы интенсивного разложения крепостного хозяйства и сословного строя. Тщетно правительство Николая I всею силою государственного аппарата старается поддержать и сохранить от распада крепостной порядок. Чувствуется приближение его краха. Россия все больше втягивается в круговорот развивающегося капитализма. Вместе с тем растет значение главной агентуры капиталистического развития — третьего сословия, различных слоев мещанства, и ослабевает монопольное положение первого сословия крепостного общества — дворянства.

Безраздельному господству дворянства в общественной жизни приходит конец. Оно вынуждено потесниться и допустить рядом с собой к политическому и культурному творчеству городскую демократию. И в литературе мещанин становится весьма заметной фигурой. Рядом с дворянской литературой вырастает литература городской демократии, с новыми героями, новыми сюжетами, новой манерой письма. Новый социальный слой вступил в литературу, создавая новый литературный стиль.

Одним из пионеров этого стиля был и Вельтман. Социальной базой его творчества является образовавшаяся в сословном обществе под влиянием растущего капитализма группа, которая выделилась из третьего сословия, выпала из традиционного мещанского быта и, оставаясь вне всяких твердых сословных определений, объединила в себе людей

весьма неустойчивой общественной судьбы, своего рода социальных оборотней, поражающих сословное общество неожиданностью и необычайностью своих социальных превращений.

Это странные, необыденные люди, которые кажутся то смешными чудаками, то отмеченными судьбой чудесными людьми. Жизнь их капризна и причудлива до фантастичности. Она чревата случайностями и приключениями, насыщена авантюрностью, переходящей в прямой авантюризм. Ломка сословных перегородок, происходившая под влиянием энергично внедрявшегося в те годы капитализма, открывала для талантливого мещанина возможность чудесных социальных превращений, головокружительных взлетов до титулованности и катастрофических падений до уголовщины.

Авантюрность, граничащая с авантюризмом, жажда перемен и необычной, исключительной судьбы, раздраженная дерзкими надеждами фантазия являются отличительными чертами этой социальной прослойки.

Авантюрного человека этой среды, смелого искателя приключений, социального оборотня, поражающего чудесными превращениями своей социальной судьбы, Вельтман и делает главным героем своих произведений.

Нельзя сказать, чтобы этот герой был совершенной новостью в нашей литературе. Прототип его встречается уже в XVIII веке, хотя и на литературных задворках, в лубочных романах Чулкова и Комарова. Но только Вельтман вводит его в большую литературу, лишь в его романах лубочный герой становится героем беллетристики, из лубка входит в изящную литературу.

Вступая в русскую литературу со своим героем, столь непохожим на прочно в ней угнездившихся героев дворянской беллетристики, Вельтман сразу выделился своеобразием и яркой оригинальностью стиля. «Талант Вельтмана самобытен и оригинален в высочайшей степени, — писал Белинский: — он никому не подражает, и ему никто не может

подражать. Он создал себе какой-то особенный, ни для кого недоступный мир; его взгляд и его слог тоже принадлежат одному ему».

Этот новый оригинальный в нашей беллетристике стиль, в котором художественно оформлялся новый, своеобразный мирок русской социальной действительности, в творчестве Вельтмана получил наиболее яркое и законченное выражение в романе «Саломея».

Роман «Саломея» — высшее достижение Вельтмана, самое крупное и самое зрелое его произведение, шедевр его творчества. Написанный в зрелом возрасте, он вобрал в себя весь писательский опыт, все приобретения его в технике художественного мастерства. Он вобрал также весь житейский опыт, все наблюдения писателя, собранные им в Бессарабии, Подолии и Волыни, на пестроплеменном юге России, который он исколесил в качестве военного топографа, и в родной ему Москве, где протекло его детство и с которой связалась вся зрелая полоса его жизни.

Не случайно автор дал своему роману надзаголовок: «Приключения, почерпнутые из моря житейского». Бытовая рамка, в которую вставлен герой, широка и подвижна, как море. Художник так и рисует быт, как «море житейское», где человеческие существования сливаются, как бесчисленные ручейки и потоки, в разных местах берущие свое начало.

Начиная главу, вводящую в повествование новое лицо, некоего Чарова, Вельтман пишет: «В море житейское впадают разные реки и потоки, вытекающие из гор, озер и болот, образующиеся из ливней и снегов и так далее. У каждого народа свое море житейское: у одного оно авксинское, у другого эвксинское, белое, черное, красное, синее и т. д. Из числа случайных потоков, впадающих в описываемое нами море, потоков, которые текут не по руслу, а как попало, был Чаров».

Не только у каждого народа свое «море житейское», но и у каждого общественного класса, у каждой социальной

группы оно свое. Каково же описываемое Вельтманом житейское море? Откуда берут свое начало впадающие в него реки и потоки?

С первого же взгляда на это море видишь, что оно очень неспокойное, вечно взволнованное, взбаламученное. К нему не подошли бы названия ни эвксинского, ни синего, но название бурного пришлось бы совсем кстати. Вельтман рисует быт, чем-то потрясенный, растрепанный, в котором все спуталось и приобрело случайный характер. В море житейском Вельтмана нет признаков организованного, отлитого в более или менее устойчивую форму быта.

Что касается впадающих в это житейское море рек и потоков, то главнейшие из них берут свое начало не в верхах и не в низинах, а в среднем слое сословного общества. Социальный мир, из которого черпается материал для романа, это прежде всего мир городского мещанства и мелкого служилого люда, мир военной и чиновной мелкоты, мир салопниц и свах, авантюристов и авантюристок, и затем более состоятельных групп того же среднего слоя — крупного чиновничества и купечества. Авантюрист Дмитрицкий, герой романа; семья крупного чиновника Бронина, отца героини Саломеи; глуповатый армеец Яликов; бедные чиновницы: приживалка Марья Ивановна да сваха Василиса Саввишна; семья Лыскова, пробравшегося в помещики из служащих по откупам; квартальный Тесменко; городничий Щепиков; семья бедной чиновницы, тетки Дмитрицкого; купеческие семейки Василья Игнатьевича Захолустьева с сынком Прохором да Силифонта Михеевича с дочкой Авдотьей Силифонтовной — вот пестрый мир, вращающийся перед нами в романе.

Основной поток, вливающийся в вельтмановское море житейское, все же мещанско-чиновничий. Отсюда взял автор весь многочисленный ансамбль лиц, которые толпятся вокруг главных героев, и в обрисовке их он проявляет наибольшую проникновенность. С интимным пониманием и глу-

бокой симпатией рисует, например, Вельтман семью тетки Дмитрицкого, Дарьи Ивановны, с ее дочкой Наташей. Они отказываются от денег и от графства, которые обещает доставить им Дмитрицкий, предпочитая устроить идиллию «мещанского счастья», над которым с умилением останавливается взор автора. История полкового доктора Ивана Даниловича Увальня и картина его семейной жизни с женой Машенькой, денщиком Филатом и кучей ребятишек — великолепная жанровая картинка «мещанского счастья», озаренная такой же умиленной улыбкой автора. Но в этом умилении уже слышатся грусть и добродушная ирония над наивностью этого счастья, на которое издали надвигается гибельная волна житейского моря, обдающая холодом и голодом. Капризная судьба сплела нить жизни простодушного милого Увальня с нитью жизни светского эгоиста Чарова, и зашаталось мещанское счастье. Не прочен этот идиллический мещанский быт. Почва под ним колеблется, быт дезорганизуется, расползается.

Рушатся устои трудовой мещанской морали. Честность и благородство души становятся все более редкими, погибая вместе с Увальнями в волнах взбаламученного моря житейского, на поверхности которого остается мещанская дрянь в лице «счастливого чиновника», Степана Онуфриевича Нильского. «Поэты и вообще писатели ужасно как много насочинили стихов и прозы о несчастных чиновниках и за примерную честность их и благородство души поместили на открывшиеся вакансии героев поэм. Судя, однако же, по оригинальным творениям современной литературы и по формуляторам, на несчастных чиновников не стоит обращать и внимания; вдохновение поэтов должно бы было обратиться на счастливых чиновников и, взирая на них, воспеть совершенствование благосостояния этого разряда человечества; воспеть, как быстро претворяется нанятая в райке дома квартирка в собственный бель-этаж, как в пустом кармане образуется капитал, как бездельный крючок плодит дела,

как бездушное существо набирается духу, безгласное — голосу, как тупая голова начинает остриться, как самая прискорбная образина обращается в известное лицо и так далее». В лице Степана Онуфриева Нильского, сделавшего карьеру тем, что он ловко сумел подвернуться начальству с табакеркой, автор и попробовал «воспеть» «счастливого чиновника».

«Из какого звания Степан Онуфриев сын Нильский поступил в звание чиновника, нам неизвестно, тем более, что Степан Онуфриевич терпеть не мог даже вспоминать, не только говорить о своих родителях, о детском возрасте и юношестве: без сомнения, какой-нибудь злой волшебник похитил его еще в младенчестве, посадил в бочку, засмолил, бросил в житейское море, и он плавал, плавал и приплыл к какому-то острову, называемому в сказках комитетом. Волны выбросили бочку на берег, дно выскочило, и вот Степан Онуфриевич произошел на свет из дубового яйца, в цвете лет, во всей красоте. Один благодетельный гений острова, по имени коллежский секретарь, принял его неизвестно по чьей просьбе на свое попечение, доложил, что вот, дескать, на острове необходим лишний канцелярист, и потому не благоугодно ли будет поместить в это звание такого-то праздношатающего Степана Онуфриева сына Нильского... Степана Онуфриевича и приняли в канцеляристы. Во всех графах его формуляра было написано — не иметь: родового и благоприобретенного не имеет; жены и детей не имеет; словом, ничего не имеет, кроме двадцати лет от роду. В графе о познаниях стояло: грамоте знает; в графе о способностях следовало бы написать: пить и есть умеет; в графе о качествах души отметить: примерной честности: ни на какую черноту не способен, даже не способен писать бумаги на-черно. Из всех этих данных, казалось бы, ничего невозможно вывести для будущности; но будь человек не человек, а так, бог его знает что такое, да будь у него только одна здоровая утроба — и этого довольно: он по инстинкту

все переймет, все узнает, что необходимо для его утробы. Степан Онуфриевич благородный ex officio был, в сущности, благоутробным».

Грустной скорбью умирающей идиллии веет от истории Увальня; отвратительным запахом разложения обдает вас история благоутробного, счастливого чиновника Нильского. Таков быт мещанско-чиновничьего круга. Он является главной рекой, своего рода Волгой, несущей свои широкие, но взбаламученные воды в житейское море Вельтмана.

Тонким, неглубоким ручейком втекает в это море берущий начало на социальных вершинах светский быт. Для вельтмановского моря это «случайный поток». Он чужой в этом море, он враждебен мещанскому быту. Сталкиваясь с этим бытом, он нагло вторгается в него, производя там погром и разрушение. На несколько дней достаточно было соприкоснуться счастливому семейству лекаря Увальня с пресыщенным, не знающим куда себя девать аристократом Чаровым, чтобы рухнуло безмятежное счастье семьи. В столкновении Ивана Даниловича Увальня со светским фатом Чаровым автор подчеркивает злостное, бесцеремонно-наглое отношение аристократа к мещанину, приведшее семью бедного труженика на край гибели. Чаров — это тип светского повесы, в роде Евгения Онегина, только изображенный чисто внешне, поверхностно, даже грубовато-каррикатурно, без тени сочувствия. Автор не скрывает своего враждебного отношения к скучающему от пресыщения блестящему и дерзкому представителю великосветской пошлости. В тоне отрицания и скептической усмешки рисуется вообще светский круг с его салонами: «Салон — страна мало знающих, плохо знающих и ничего не знающих, но желающих казаться всезнающими. Взаимное надувание, взаимная снисходительность, вот и все, и квит с дубинкой», аттестует светский круг герой Вельтмана Дмитрицкий.

Впадающий в житейское море Вельтмана светский быт тоже быт распадающийся, находящийся в состоянии раз-

ложения. Потоку светской жизни неуместно бы смешивать свои воды с мещанской речкой, и, лейся этот поток по нормальному руслу, он не попал бы в изображаемое Вельтманом житейское море. Но в том-то и дело, что и этот поток выбился из берегов, «течет не по руслу, а как попало», — пишет автор: — «Набравшись воды от разлива ли рек, или от ливней, он вздулся и туда же клубил мутные волны, впадал в море как какая-нибудь знаменитая река».

Вельтману не ясны в точности причины, выбившие из берегов потоки и помутившие те бытовые реки, из которых образовалось его море житейское. Но бессознательно, сам того не подозревая, он подводит нас вплотную к причине, расшатавшей все устои кастового строя, перепутавшей и смешавшей все карты сословного быта, когда мы вместе с ним оказываемся «в переулке, сохранившем еще фамильное название вельможи, бывшего владетеля дома, который принадлежит уже чайному торговцу Захолустьеву. Не просто Захолустьеву, а Василию Игнатьевичу, который выкрасил дом снаружи и велел под щитом герба, вместо вставленного года постройки, выставить: возобновлен в таком-то году. Вельможа и Василий Игнатьевич — большая разница, но что же такое? Если в каком-нибудь храме божества древней Греции водворилась теперь сова, символ мудрости, и не хуже оракулов вещает всем проходящим, что все проходит в мире, то отчего же Василию Игнатьевичу не водвориться в опустевшем подобии храма, не хлопать глазами и не говорить, что все пантеоны ни на что не годятся, кроме как на фабричное заведение». Вещание весьма знаменательное, свидетельствующее о натиске фабрично-капиталистического духа, об успехах крупной буржуазии, о вытеснении дворянских гербов купеческой мошной.

Образ Захолустьева, чайного торговца, мечтающего открыть «филатурную фабрику», купившего «за двести тысяч каменный дом, для постройки которого какой-то князь выписал из Италии архитектора, из Голландии кирпич, из

Англии железо, из Франции обои и мебель, из Саксонии фарфоровые вещи, еще из Италии картинную галлерею и этрусские горшки, из Египта двух сфинксов на ворота, из Венеции гондолы для пруда, из Китая киоск для саду», чрезвычайно интересен и показателен. Как же тут было не перемутиться всему сословному быту, если Захолустьевы завладевали обителями вельмож со всей их обстановкой. Что же удивительного в том, что светские денди Чаровы забарахтались в вельтмановском море житейском, если в залах благородного собрания в Москве «счастливая чета', Василий Игнатьевич Захолустьев и супруга его Фекла Семеновна, ходит под ручку. Он — седые волоса в кружок гладко-прегладко расчесаны, борода волос от волоса отделен, на плечах древний боярский кафтан с золотым шитьем, с петлицами, меч с темляком перепоясывает не просто талию, но огромное депо здравия и благоденствия. Она — в обшитом золотым кружевом гарнитуровом платье, которое спереди как следует приподнялось, на голове повязан золотошвейный платок, в ушах серьги бурмитского зерна, на шее жемчужное ожерелье ниток в пятьдесят, пальцы расперло от многоценных перстней.

Рост капитализма все перевернул вверх ногами в сословном обществе, заставил ходуном ходить быт всех сословий, не исключая и купцов, владельцев капитала. Заколебался, завертелся исконный быт обладателей мошны. Сын Захолустьева «был в науке, очень удачно пошел по следам купеческих сынков', проникнутых насквозь западным ветром, носил фрак, пальто-сак и тому подобные вещи; начал водиться со знатными людьми по вокзалам и отелям, где реставрируется Вавилон». Смута проникла даже в дом купца Силифонта Михеевича, жившего по старому русскому обычаю: «Была у него дочка, Дунюшка; все зло пошло от крестной матушки, Ирины Степановны. Она воспитывалась в пансионе и внесла в купеческий быт своего мужа всю изнеженность, все причуды барышни, которая училась говорить по-фран-

цузски, танцовать, играть на фортепиано, которая не может выносить ни простого слова, ни простой пищи, ни простой одежды, ни простой жизни. По совету Ирины Степановны на одиннадцатом году отдали Дуню в пансион». В результате какая метаморфоза купеческой дочки: «Ну, как не порадоваться на такое существо, — пишет про себя столкнувшийся с Дуней Дмитрицкий, — как не поблагодарить сивилизацию за такие метаморфозы. Узнаешь ли Дунечку-дурочку? Перетянута в рюмочку, барышня да и только! Подле фортепьян сидит, итальянскую арию поет — каково? Браво, браво, сивилизация!»

В состоянии метаморфозы находятся все бытовые элементы, из которых образуется вельтмановское море житейское. Оттого оно так неспокойно, оттого так бурлят и мечутся его мутные волны. По этим волнам, в обстановке взбаламученного, расползающегося быта и удивительных социальных метаморфоз носятся социальными оборотнями беспокойные герой и героиня романа без руля и ветрил, с морально-дезорганизованной, неустойчивой психикой.

В образе героя романа Дмитрицкого перед нами внутренно дезорганизованная, потерявшая моральную цельность, душевно раздвоенная личность. В душе его есть и традиционные добрые устремления, но шевелятся и темные, пугающие его самого аморальные страсти. В хаосе неустроенного быта стала хаотической душа человека, и в ней заклубились и зазмеились какие-то жутко-соблазнительные порывы, споря с голосами старых моральных внушений. Двуприродной стала душа его: «О, вторая природа! — восклицает о себе самом Дмитрицкий, — ты скверная природа! на первую свою природу не могу пожаловаться: душа хоть куда, славная, рабочая душа! а эти чувства просто ужас! покуда успел подняться на два с половиной аршина от земли, весь механизм маленького мира перепорчен: сперва потешались им папенька и маменька, потом учителя, потом благодетели. Милый ты мой! на потеху ли создан ты себе и другим? Зем-

ной шар на драку, что ли, брошен вам, господам? На, дескать, пиль! становись в ряд, выбирай любую сторону: одна идет змеем, другая зверем; чьему миру быть, змеиному или звериному. Одна сторона кричит: внимай! Другая кричит: молчи! Одна не хочет внимать, другая молчать не хочет. Начинается бой. С одной стороны отдают земле то, что от земли взято; с другой — отдают богу душу. Утомились, ничья не взяла, вздохнули, а потом снова: внимай! молчи! и снова свалка. И это люди!» В этой растрепанной, не совсем вразумительной речи высказывается растрепанная душа Дмитрицкого, испуганная и своим внутренним разладом, своим душевным раздвоением, и кричащими противоречиями взбаламученного быта.

У кого что болит, тот о том и говорит, а Дмитрицкий очень много и очень часто говорит о своем внутреннем душевном раздвоении. Сидя на нарах в подвале, куда он попал после одного из своих похождений, он размышляет: «Кто здесь свесит человеческую твою природу с наживной звериной? Правда, ты не диким был зверем, да и не дворовой скотиной». Дух человека, разбитый вдребезги, потерявший всякое подобие цельности, превратившийся в хаотическое сожительство самых противоречивых элементов, является предметом вечных размышлений Дмитрицкого. Он уже знает нездоровую радость таких переживаний, как счастье в несчастье, наслаждение в боли, любовь в ненависти. Он уже рассмотрел под микроскопом темные закоулки раздвоенной, расколотой вдребезги, болезненно-потрясенной человеческой психики и увидел там чудовищные подобия тех инфузорий, которые микроскоп открывает взору в самой прозрачной воде, отбивая охоту пить ее.

В беседе с приятелем своим Рамирским Дмитрицкий пускается в такие философско-психологические рассуждения, что хотя бы и героям Достоевского впору: «Мне кажется, mon cher, что микроскопическое воззрение на мир и есть именно несчастье. Посмотри стеклянными глазами на воду,

чистую, как бриллиант, и в этой воде откуда не возьмутся вот эти чудовища с греческими и латинскими наименованиями. Жажда страшная, вода свежа, светла на-глаз, а пить отвратительно: мысль о чистоте ее нарушена; так все и кажется, что проклятые зубастые дрожалки и коловратки изгрызут всю внутренность. Точно так же взгляни только в увеличительное стекло в недра человеческие и на все обстоятельства — просто несчастье! Столько допотопных чудовищ, что поневоле отворотишься от любви и от дружбы. Кто же населил этими коловратками и дрожалками чистую, светлую природу? *Дух человека, разбитый вдребезги;* каждая частица его воплощается, живет, кусает, щиплет, просит пищи: ты, говорит, произвел меня, ты и питай. Ты отбросил меня от себя, а я все-таки от тебя не отстану. Но если человек расплодил грех, так пусть же и терпит от него, или находит свое счастье в несчастье, свою тишину посреди тревог и бурь, свою радость в печали, свою любовь в ненависти. Вот я, например, и наслаждаюсь ненавистью к некой Саломее. Не будь ее, я давно бы влюбился в кого-нибудь надлежащим образом, женился бы, сделался бы отцом семейства и непременным членом английского клуба... Впрочем, не знаю, женился ли бы; может быть, я лгу».

Конечно, он лжет или обманывает сам себя. Не с его развинченной, внутренно противоречивой, тревожно ищущей психикой устраивать тихую идиллию домашнего очага. Перед нами продукт разворошенного, дезорганизованного сословного быта, мещанин, не довольствующийся мещанским счастьем, закружившийся в водовороте неожиданных социальных превращений и ставший на путь авантюризма. Он идет сквозь огонь и воду и медные трубы, без определенного плана, без ясной цели, не отдавая отчета в том, кто он сам и чего он хочет.

«Кто спорит с разумными людьми, что каждый человек должен быть человеком? — рассуждает он про себя. Да ведь те же разумные люди сочинят роль человека, как их душе

угодно, и изволь ее разыгрывать. Людям ужасно как не хочется быть тем, что есть; им хочется быть лучше. Прекрасное желание, истинно прекрасное желание! И все-таки из него следует, что бог не угодил на них. Вот и я вслед за другими не хочу быть тем, что есть, а хочу быть лучше, выхожу из себя, чтобы быть лучше. Быть Прохором Васильевичем, действительно, лучше: желаний мало, а средств тьма. А у меня, чорт знает, сколько желаний! Да у меня ли? Кто я, что я? Слуга двух господ: барина да барыни; хорошо бы было им служить, если бы эти супруги были в добром здоровье, да жили в ладу, а то такая бестолочь, что из рук вон: барин — предобрая беззаботная скотина, без всяких претензий, все съест, все наденет, что ни подай, везде ему ловко; зато барыня моя такая беспокойная душа, что ужас! Ничем не угодишь; совершенная коза:

Охотница была коза резвиться,
На месте никогда козе не посидится.

Что делать? Вот и моей козе не посидится на месте; и то подай ей, и другое подай: и ума, и учености, и любезности, и роскоши, и богатства, и всего, что не суждено каждому, а каждому хочется иметь. Где же взять. Недосталось по наследству, надо приобретать, надо покупать; нет купилок, надо их добывать трудом и потом. Добыл — глядь, поздно, смерклось на дворе».

В душе Дмитрицкого клокочет вулкан необузданных желаний и дерзких надежд, которых он не может удовлетворить, оставаясь самим собой. И вот он «вслед за другими не хочет быть тем, что есть», «выходит из себя», хватается за всякий случай, который посылает судьба, чтобы сыграть какую угодно роль, только бы не быть тем, что он есть. «За кого этот мусье принимает меня? — сказал Дмитрицкий, рассуждая сам с собой, — за какого-то известного литератора, которого еще в глаза не видал? Да это прекрасно! Отчего не сыграть роль известного литератора? Он же меня ни по имени, ни по фамилии не величает, и я не скажу,

кто я; из этого выйдет при развязке славное кипрокó!» «Ну, — думал он, ложась в постель, — судьба славно распорядилась моими делами. Пришло бы мне самому когда-нибудь в голову сделаться купеческим сыном Прохором Васильевичем? Какая забавная вещь! Оно бы, казалось, не совсем благопристойно урожденному дворянину играть роль купчика, который в свою очередь играет роль дворянчика; да что же делать, так судьбе угодно». И вот, покоряясь судьбе, уланский корнет Дмитрицкий, отчаянная голова, добрый малый, но, по выражению одного приятеля, «без управы», страстный игрок, готовый жизнь поставить на карту, увлеченный своей забавной игрой в метаморфозы, становится на путь авантюризма и мистифицирования.

Социальное оборотничество приобрело у него хронический перманентный характер. Чем только не был он, каких только личин не носил, за кого не выдавал себя: «Ты видишь теперь во мне венгерского магната Волобужа, — говорит Дмитрицкий своему другу, — и оттого, разумеется, не узнал меня. Если бы во всех метаморфозах, случившихся со мной, участвовала моя собственная воля, ты бы мог подумать, что и у Дмитрицкого низкая душа. но я даю тебе честное слово, что все это совершается просто каким-то чудом: судьба завяжет мне глаза, хлопнет жезлом раз, два, три! Ну, говорит, теперь ты, Матеуш, слуга, холоп и больше ничего. Матеуш, так Матеуш! И примусь за исполнение данного мне назначения без ропота, с полным усердием. Только что войду в характер роли — эйн, цвей, дрей — ты граф! Нечего делать, граф, так граф, и от этого не отказываюсь. Не успею совершить какой-нибудь подвиг, достойный графского сана, — аттанде! Ты Прохор Васильевич, купеческий сын. Таким образом судьба вела меня через разные звания и состояния и привела на степень венгерского магната. Можешь спросить у всей знати здешней, у какого хочешь венгерца: унижаю ли я звание магната».

Мистифицируя окружающих своими разными званиями и состояниями, Дмитрицкий действует не с преступным расчетом, не с заранее обдуманным злостным намерением, а подчиняясь капризу судьбы. Но это отсутствие сопротивляемости капризам судьбы и указывает на психическую неуравновешенность, моральную расхлябанность, отсутствие твердых нравственных принципов поведения. Не легко провести строгую границу между добродушной мистификацией и преступным шантажом, между невинной авантюрностью и уголовным авантюризмом. Не без основания Трифон Исаев говорит о Дмитрицком: «Уголовная голова, да словно как будто недоделана, не выдерживает, то есть, характера».

Вечно мистифицируя разные звания и состояния, вечно выступая не тем, что он есть, Дмитрицкий порой забывает, что же он есть, а что не есть, где действительное «я», а где мистификация. Он так входит в роли, которые мистифицирует, что мистификация начинает ему самому казаться действительностью. Почему, собственно, он должен считать своим действительным «я» корнета Дмитрицкого, а не магната Волобужа или пана Черномского? Не та же ли самая судьба сделала его корнетом, которая сделала его магнатом или паном? Почему, собственно, его магнатское существование призрачнее его корнетского существования? «Отчего, например, я Волобуж, иностранец, а не русский, не какой нибудь Дмитрицкий? — вопрошает он. — Я бы и был Дмитрицкий, если б дома не научили меня играть роль смирного мальчика, тогда как я был шалун; если бы в пансионе не научили меня играть роль отчаянного и лихого малого, тогда как я был трус. Таким образом, разыгрывая чужие роли, можно забыть о своей собственной; под вечной маской сотрется собственное лицо, родной отец не узнает родного сына».

В сознании Дмитрицкого все более и более стушевывается граница между реальностью и выдумкой, между настоящей действительностью и фальсификатом действительности, соз-

данным прихотью случая и его фантазии. Из шутника-мистификатора он готов стать мистиком, поверить в реальность своих мистификаций, признать их чудесными превращениями, признать за истину учение о переселении душ. «Я и сам существенно не понимаю, — говорит он, — как это все сделалось: просто метампсихоз! Я сам не верил переселению душ, а теперь поневоле верю, хотя моя душа и переходила в животных и насекомых». Потерявши способность отличать «я» действительности от «я» мистификации, реальность от выдумки, подлинную жизнь от каприза фантазии, поневоле станешь верить в метампсихоз.

Для Дмитрицкого исчезла разница между фантазией и действительностью, между сном и явью, между призрачным видением и подлинным переживанием. Попавши в тюрьму, лежа на грязных нарах, он утешается: «Тебе, может быть, не нравится эта существенность. Ты, может быть, желаешь, чтобы оковы вдруг спали с тебя? Хочешь свободы, воли, неги, роскоши, гарема, толпы друзей и приятелей, рабов, рабынь, хочешь вина, хочешь триллион поставить на карту, обыграть всех беспутных мотов, скряг и жил, чтобы облагодетельствовать все бедное человечество. Все это можно, Вася, только пожелай, усни крепким богатырским сном — во сне чего хочешь, того просишь, и все удается и удастся тебе». Мечта, греза, сон для Дмитрицкого та же действительность, и потому всегда можно уйти из-под гнета тяжелой реальности.

Таков герой романа, разбитной малый, авантюрист, мистификатор, отчаянный фантазер и социальный оборотень. «В нем все есть: и ум, и прекрасное, доброе сердце, и пылкие чувства, и все на беду: нет управы» — характеризует его ближайший его приятель Рамирский.

Под стать герою и героиня романа, Саломея Петровна Бронина. Страстная, необузданная натура, болезненно раздвоенная, авантюрно настроенная фантазерка, смелая и дерзкая, она столкнулась с Дмитрицким, как сталь с кремнем,

высекая искры любви, похожей на ненависть, и ненависти, похожей на любовь. Подобно Дмитрицкому, она тоже не мирится со скромным жребием мещанского счастья, о котором мечтает ее кроткая сестра Катя, тоже не хочет середины и готова на все авантюры, лишь бы осуществить гордую мечту о блеске и власти.

То унижаясь до тюрьмы, то поднимаясь до аристократических чертогов, то униженная служанка городничего Щепикова, то владычица сердца аристократа и богача Чарова, она приобрела психологию, напоминающую униженных и оскорбленных героинь Достоевского, этих женщин-истеричек, мучительниц и мучениц в любви. Она мучит кроткого, влюбленного в нее Яликова и ищет радости в отдании себя на муку властному авантюристу Дмитрицкому. Путь этой героини с такой же дезорганизованной, взбаламученной, как у Дмитрицкого, душой, сводится к такой же игре в метаморфозы, к тому же социальному оборотничеству, каким был путь Дмитрицкого.

В соответствии с бытовой смутой и авантюрным, мистификаторским характером героев стоят особенности композиции романа. Развитие повествования Вельтман начинает, сразу вводя в путаницу событий, прямо с действия, так сказать, с конца, потом, возвращаясь к началу: «Начавши дело с конца, все-таки не уйдешь от начала, а потому мы должны слегка хоть просмотреть первые страницы жизни Дмитрицкого, — пишет Вельтман, — уже успевший развернуть целый поток событий с неизвестными загадочными лицами. Так и должно быть в море житейском Вельтмана, волны которого сталкивают и переплетают в единый узел событий судьбу людей, ничего не знающих друг о друге, таинственность которых еще усугубляется мистификаторскими их свойствами. Усложнением этой композиционной манеры является и еще один прием Вельтмана: перебой уже начатой развертыванием биографии вторжением новых неожиданных событий с новыми, неведомыми, как бы с луны свалившимися лицами.

Он любит всячески замедлить ознакомление читателя с биографиями героев, много раз обрывая их. Отсюда частое употребление в качестве композиционной скрепы фразы: «Об этом, однако же, после», которую, между прочим, очень любил Достоевский.

Благодаря этим композиционным приемам получается роман весьма хитрой, сложно сплетенной структуры. Ткань романа складывается из отдельных биографических нитей, которые, начинаясь в чрезвычайно далеких друг от друга плоскостях, неожиданно переплетаются в известных пунктах и вновь надолго расходятся по своим плоскостям. Начинается роман историей Дмитрицкого, которая вдруг обрывается. В другом месте и совершенно ничем не связанная с Дмитрицким развивается биография Яликова, которая прихотливо сменила прерванную историю Дмитрицкого. От Яликова автор переходит к биографии Саломеи Петровны. Наконец все биографии скрещиваются в один узел и вновь разрываются, ползут в разные стороны. Начинается история Туруцкого; ее обрывает совсем в иной плоскости лежащая история Захолустьева, и обе истории опять-таки сплетаются в общий узел с историей Дмитрицкого и Саломеи, чтобы снова разорваться и пойти своими дорогами. Это не последовательное вступление биографических линий и не параллельное их развертывание, а капризный, полный случайностей и неожиданностей перебой этих линий, придающий композиции, по выражению Белинского, «прыгучий» характер. Сам автор называет ткань своего романа узорчатой и волнистой: «Но оставим покуда эту нить рассказа, — пишет он в одном месте, — и обратимся к другой, которая также входит в основу нашей узорчатой и волнистой ткани». Определение очень меткое. Вельтмановское повествование идет не прямыми линиями, а петлями и зигзагами, образующими прихотливо запутанный узор.

Все эти петли и узлы вяжет в «море житейском» случай, судьба, чем подчеркивается хаотический характер моря и

авантюрный характер носящихся по его волнам героев. «В это-то время прибыл в свое имение Чаров: так как это событие нисколько, казалось бы, не касалось Ивана Данилыча, то он...» и далее автор показывает, что эта, в туманной дали возникшая, случайная волна очень даже касалась Ивана Даниловича, что именно она и разбила его благополучие. Случай вяжет, случай и развязывает узлы событий в романе.

Белинский считал одним из недостатков романа, что в нем «слишком запутанные узлы событий разрешаются посредством deus ex machina». Да и сам автор не отрицал этого, считая, однако, этот прием развязки совершенно естественным и закономерным: «Случилась новая беда, — повествует он, — точно deus ex machina, столь обыкновенный в мире житейском per deos!» Все связи в романе носят совершенно случайный, почти фантастический характер. С момента, когда Саломея в качестве француженки Мильвуа попадает к влюбленному в нее старику Туруцкому, а Прохор в дом тятеньки Захолустьева на свадьбу своего заместителя-двойника Дмитрицкого, фантастичность связей и положений становится совершенно сказочной. Эта фантастическая, сказочная перемена в судьбе героев, сказочный перелет из тюрьмы в пышные хоромы до рабства влюбленного старика, из кабака на роскошное брачное ложе в богатом родительском доме лишь подчеркивает ту страшную взволнованность моря житейского, ту головокружительную качку человеческих отношений, произведенную капитализмом в сословном строе, которая настроила героев Вельтмана на фантастический, почти мистический лад.

Необычен быт страны, герои, причудлива композиция, необыкновенен, резко своеобразен и язык романа. Таков ведь и язык его авантюрных героев, исколесивших свет, прошедших через всякие звания и состояния, языки и народы. «По наружности, по всем приемам и речи, — пишет о Дмитрицком автор, — нельзя было определить, к какой собственно

нации принадлежит он. Казалось, что это был воплощенный космополит, европеец неопределенного языка, vagabond, объехавший для препровождения времени весь свет и посетивший на закуску, pour la bonne bouche, Россию. Со своим слугой, немцем, он говорил по-немецки, как француз; с французом чичеронэ — по-французски, как англичанин; с половым — по-русски, как чех, и в дополнение пересыпал свои речи латинскими, итальянскими и даже турецкими восклицаниями; а распевал и бранился на всех земных языках».

Вельтман любит играть лексическими элементами разных народов, выбирая наиболее экзотические, поражающие слух непривычным, чудным звучанием. На ряду с немецкими и французскими фразами вводятся в текст романа польские выражения: «ходзим же, ходзим, юж время», «я зáбью тэго пшеклянего хлапа», и даже молдавские: «пуфтим боэрь», «слава луй домнодзеу» и т. п. Вельтману нравятся эти странно звучащие слова, он ищет странных, неожиданных звучаний в лексике говоров русского языка, любит строить поражающие неожиданностью фразы, играя созвучиями и омонимами, превращая речь в поток каламбуров: «Нас перерядили, да не переродили»; «Благородный был в сущности благоутробным»; «На черноту не способен, даже не способен писать бумаги на-черно», и т. д.

Синтаксис Вельтмана не логический, а ассоциативный: из совершенно случайных звуковых ассоциаций возникают фразы, образующие прихотливо-узорчатую, похожую на балагурство речь. Если игра необычно звучащей лексикой разных языков и говоров выражала собой авантюрный дух романа, то каламбур, являющийся своего рода оборотничеством языка, служил выражением его мистификаторского, оборотнического духа. Так, самый слог романа был выражением бытовой и психологической сущности «моря житейского».

Напечатанный в 1846 г. роман Вельтмана относился к занимавшему тогда в литературе господствующее положе-

ние реально-бытовому жанру. Но созданный Вельтманом роман резко выделялся среди других произведений этого жанра. Вельтман прокладывал свою особую дорогу, плыл против того течения, по которому, в общем, направился жанр реально-бытового романа.

Основной линией этого жанра была та, наиболее известными представителями которой в 30-х и 40-х годах были Нарежный, Квитка, Симоновский, Загоскин. Это был так называемый нравственно-сатирический или нравоописательный роман, который получил классическую форму в «Мертвых душах» Гоголя.

Эта линия нравоописательного романа питалась соками провинциально-поместного быта, выражала настроение мелкопоместной массы дворянства, встревоженного материальной и моральной деградацией своего класса под влиянием роста капиталистической культуры. Огорчение гибелью патриархально-крепостных отношений и нравов, возмущение нравственным растлением своего круга водило пером авторов, писавших эти романы. Они боролись против капиталистического духа, рисуя мрачные картины духовного разложения дворянства в результате измены патриархализму и уступки европейским влияниям.

Оружием борьбы был бич сатиры, сатирическое изображение различных типов этого разложения, иногда с противопоставлением им носителя старозаветных крепостных добродетелей. Благодаря именно этой сатирической установке романы данного типа чаще всего назывались нравственно-сатирическими.

Выполняя свою задачу, нравоописательный роман стремился возможно разнообразнее представить типы морального разложения, собрать возможно полную их коллекцию. Роман принимает поэтому форму как-нибудь мотивированных похождений определенного лица, путь которого идет через более или менее обширную галлерею таких типов. В этой галлерее весь интерес нравоописательного романа,

в котором центральный персонаж обычно является не целью, а средством показа собранных вокруг него типов. Будучи нравственно-сатирическим по тону, нравоописательный роман по композиции был романом похождений.

Хотя роман Вельтмана является тоже романом похождений, как и нравоописательные, он представляет собою совершенно новый тип реально-бытового романа. Вельтман сам сознавал свое новаторство в этом жанре. В предисловии к своему роману он нарочито обращает внимание читателя на свое расхождение с авторами нравоописательных романов:

«Это, — пишет он, — не собрание типов разных слоев общества; напротив, это очерки и характеры неопределенных личностей, резко отделяющихся от общества своей нравственной и физической наружностью, склонностями и даже безобразием. Этому соответственен вымысел и самих приключений. Жизнь подобных лиц, как Саломея и Дмитрицкий, не могла иначе итти, как не через невероятные мытарства».

Вельтман подчеркивает этими словами, что интерес его романа, в отличие от нравоописательных, заключается не в собрании типов разных слоев общества, а в обрисовке характера его странного, исключительного героя. Приключения этого героя, как средство раскрытия его характера, и стоят в центре внимания романиста. Похождения здесь не средство нравоописания, а сами по себе являются целью, будучи выражением зарисованного автором характера. Собственно, нравоописание стоит здесь на заднем плане: оно служит фоном для того, чтобы ярче оттенить необыкновенную судьбу героя. В качестве бытописателя романист дает не галлерею типов, а широкий бытовой фон, безликое море житейское.

Резко отличается также роман Вельтмана от нравоописательных отсутствием сатиры, претендующей на исправление нравов: художнику растрепанного быта и мятущихся

душ не до нравоучений. Занятый судьбой своего выбитого из установленных норм авантюрного героя, автор всматривается в туманную даль расходившегося моря житейского, стараясь разглядеть за волнами предел его странствований, уловить смысл и направление его капризного, зигзагообразного пути.

Но взор Вельтмана теряется в волнах разыгравшегося житейского моря. Ему не ясно, что должно образоваться из расползающегося деформированного сословного быта, и он беспомощно цепляется, как за якорь спасения, за идиллию старозаветного благообразия сословно-мещанской жизни, пугаясь широкого, но бурного простора капиталистической бессословности. За вздыбленными волнами житейского моря он не видит пристани, к которой направляет его героя разбушевавшаяся стихия, и пытается успокоить его распаленную индивидуалистическими страстями душу наивной мистикой старозаветной религии. Роман заканчивается религиозно-мистическим мотивом: пройдя через горнило испытаний, неугомонный, страстный авантюрист Дмитрицкий и необузданная, не менее страстная авантюристка Саломея приходят, наконец, к спокойной пристани, как это явствует из письма Дмитрицкого его приятелю Рамирскому: «По справкам оказалось, что и у меня есть сердце. Если бы ты знал, как оно во мне перевернулось! Помнишь, как я ненавидел Саломею! Теперь совсем другое: подле Саломеи, умирающей в богадельне, я узнал, что эта ненависть левая сторона любви. Если бы она умерла, и я бы умер; но Саломея мне обязана жизнью! Мне! Понимаешь ли ты, душа моя, это чувство. Она прошла сквозь чистилище, демон оставил ее. Сегодня в первый раз Саломея молилась, а я в первый раз понял, кто надежный кормчий посреди треволнений житейского моря и где маяк для погибающих».

Хотя автор не очень уверен в спасительной силе этого обращения к религии, что и высказывает устами прочитав-

шего приведенные строки Рамирского: «Боюсь, что это какие-нибудь новые фантазии, проказы и больше ничего», все же тенденция найти тихую пристань в патриархальной религиозности в романе явственно звучит.

Это вносит в роман Вельтмана те ноты консервативного славянофильства, которые были отмечены неодобрительно уже Белинским, встретившим в общем роман весьма сочувственно. Он писал: «Вельтман обнаружил в новом своем романе едва ли еще не больше таланта, нежели в прежних своих произведениях, но вместе с тем и тот же самый недостаток умения распоряжаться своим талантом. В его «Приключениях» толпится страшное множество лиц, из которых многие очеркнуты с необыкновенным мастерством; много поразительно верных картин современного русского быта, но вместе с тем есть лица неестественные, положения натянутые, и слишком запутанные узлы событий разрешаются посредством deus ex machina. Все, что есть прекрасного в этом романе, принадлежит таланту Вельтмана, который бесспорно один из замечательнейших талантов нашего времени; а все, что составляет слабые стороны «Приключений», вышло из намеренного желания Вельтмана доказать превосходство старинных нравов пред нынешними. Странное направление! Мы нисколько не принадлежим к безусловным почитателям современных нравов русского общества, не менее всякого другого видим их странности и недостатки и желаем их исправления. Как и у славянофилов, у нас есть свой идеал нравов, во имя которого мы желали бы их исправления, но наш идеал не в прошедшем, а в будущем, на основании настоящего. Вперед итти можно, назад — нельзя, и что бы ни привлекало нас в прошедшем, оно прошло безвозвратно. Мы готовы согласиться, что молодые купчики, которые кутят на новый лад и лучше умеют проматывать нажитое отцами, нежели приобретать сами, — мы согласны, что они страннее и нелепее своих отцов, которые упорно держатся старины. Но мы никак не можем согла-

ситься, чтобы их отцы не были тоже странны и нелепы. Молодые поколения даже купчиков выражают собою переходное состояние своего сословия, переходное от худшего к лучшему, но это лучшее окажется хорошим только как результат перехода, а как процесс перехода оно, разумеется, скорее хуже, нежели лучше старого. Действуйте на исправление нравов сатирою, или — что лучше всякой сатиры — верным их изображением; но действуйте не во имя отживших нравов, а во имя разума и здравого смысла, не во имя мечтательного и невозможного обращения к прошедшему, а во имя возможного развития будущего из настоящего. Пристрастие, к чему бы оно ни прилепилось — к старине или новизне, всегда мешает достижению цели, потому что невольно вводит в ложь человека, самого страстного к истине и действующего по самому благородному убеждению. Это сбылось с Вельтманом в его новом романе. Он придал безнравственным лицам своего романа такой колорит, как будто они безнравственны по милости новых нравов, а живи-де они в Кошихинские времена, то были бы отличнейшими людьми. По крайней мере, мы считаем себя в праве сделать подобное заключение из того, что автор нигде и не думает маскировать своей симпатии к старине, своей антипатии к новизне».

Этот консервативный налет нисколько, однако, не нарушал его оригинальности, не сближал его с дворянскими нравоописательными романами, нравственно-сатирическое жало которых было заострено против упадка поместно-крепостных добродетелей. Славянофильствующий консерватизм Вельтмана был городским, специфически мещанским, охранявшим мещански-трудовой уклад, идиллию «мещанского счастья». В сущности, свойственная Вельтману консервативная закваска имеет мало общего с классическим славянофильством, этой специфически помещичьей идеологией, будучи в то же время весьма близкой к идеологии «почвенничества», проводником которого выступила уже в 60-е годы группа Достоевского,

Роман Вельтмана решительно порывал с традицией нравоописательных романов. Он был реально-бытовым романом совершенно своеобразного стиля с новыми героями, новыми приемами художественного мастерства, новой целевой установкой, выражая собою новую, чуждую дворянству социальную группу выбитого из рамок сословности мещанства. Он начинал собою новую линию реально-бытового романа.

Этот новый тип романа было бы, пожалуй, правильно назвать, в отличие от нравственно-сатирического, авантюрно-психологическим, или еще точнее: авантюрно-психопатологическим, ибо авантюрный герой Вельтмана несомненно душевно развинченный, неуравновешенный человек.

Классическую форму этого стиля дал гениальный художник упадочного мещанства Достоевский. В стиле его романов мы находим характернейшие особенности стиля «Саломеи». Как и Вельтману, Достоевскому присущ особенный интерес к людям изломанной, болезненно раздвоенной, неуравновешенной психики. Главные герои Достоевского характеризуются теми же социально-психологическими чертами, как герой и героиня вельтмановского романа: все они — продукт капиталистической свалки, мещане, не довольствующиеся мещанским счастьем, ищущие путей на вершину общественной пирамиды и становящиеся на путь авантюризма, переходящего в преступление. Это нравственно разъеденные, психически-неуравновешенные натуры, в которых еще живы традиционные мещанские добродетели, сохранились еще нравственно добрые устремления, но кипит уже целый вулкан индивидуалистических страстей. Они не созданы для скромного мещанского благополучия, за которое так цепко и часто бесплодно хватаются окружающие их люди. Их девиз — либо пан, либо пропал, либо герой, либо грязь, либо уголовный арестант, либо богатый помещик, капиталист. Шаткому, неустойчивому социальному положению соответствует и шаткая, неустойчивая психика.

лишенная каких бы то ни было твердых нравственных идеалов и принципов. Это весьма противоречивая смесь честных и преступных порывов, великодушных и жестоких движений сердца.

Сходные психологически с героями Вельтмана герои Достоевского проходят и сходный путь развития, идут к той самой правде религиозного смирения, в которой пробуют найти себе надежную пристань Дмитрицкий и Саломея.

Вокруг главных героев Достоевского волнуется, кипит и гремит та самая пестрая, запутанная, сложная, нервная городская жизнь, какой окружены герои романа «Саломея». Море, из которого черпает Достоевский приключения своих героев, то самое «море житейское», из которого почерпнуты приключения Дмитрицкого и Саломеи — широкое море городской мещанской жизни, на дне которого ютятся уголовные Тришки, а на поверхности плавают толстосумы Лысковы.

Как и Вельтман, Достоевский развертывает в своих романах такой калейдоскоп лиц, такую пеструю толпу их, что у читателя рябит в глазах, и он не сразу ориентируется в запутанных, прихотливо-капризных их взаимоотношениях.

Черпая содержание для своих произведений из того же моря житейского, Достоевский, естественно, находит для них ту же художественную форму, что и Вельтман: есть много общего в слоге их произведений, в структурных особенностях их речи. Это язык капризный, неровный, иногда болтливый до балагурства, иногда отрывистый до неясности.

И не только в структуре фразы, но и в структурных особенностях развертывания сюжета, в композиции романов бросается в глаза глубочайшее сродство. Подобно Вельтману, Достоевский ведет рассказ, вводя сразу в самую середину действия, в сутолоку событий; он начинает прямо с действия, или, пользуясь его собственным выражением, с

конца, исподволь знакомя с началом, с завязкой развертывающихся событий.

Стилистическое родство Достоевского с Вельтманом неоспоримо. Но под пером Достоевского авантюрно-психопатологический роман достигает такой философско-психологической глубины и такой социальной насыщенности, какие и не снились Вельтману. В Дмитрицком потенциально таится Раскольников, а в Саломее — Настасья Филипповна и Грушенька, но, в сравнении с названными героями Достоевского герой и героиня вельтмановского романа сущие младенцы. Да и вообще можно сказать, что в творчестве Вельтмана мы имеем младенческий лепет того художественного стиля, в котором творил Достоевский.

Это вполне естественно. Талант Вельтмана складывался в условиях, когда перспективы развития общественной группы, питавшей его творчество, далеко не определились. Вырвавшаяся из пут сословности, чужая сословному обществу, возникшая в результате капиталистической ломки сословного строя, группа эта, потеряв основные черты сословия феодального общества, не оформилась еще как класс капиталистического общества, не стала его активным деятелем, не выработала к нему осознанного отношения. Отсюда неопределенность социальной установки, неясность идеи, недостаточно яркая художественная выразительность, составлявшие существенный недостаток произведений Вельтмана.

Но выработанный Вельтманом стиль таил в себе такое глубокое социальное содержание, какого сам Вельтман не подозревал. Рисуя своих морально растрепанных, мечущихся в волнах моря житейского, героев, он подошел вплотную к социальной трагедии мещанства, но он еще не ощущал той остроты и глубины социальных противоречий, которые крылись в ней. Потому-то он и не сумел «подарить публику тем произведением, какого, по словам Белинского, она была в праве ожидать от него», потому-то и пришлось и Белин-

скому и публике ждать этого подарка до выступления в литературе Достоевского.

Подобно тому как огромное литературное и социальное содержание, заключавшееся в стиле, пионером которого был Нарежный, раскрылось в творчестве Гоголя, литературное и социальное содержание стиля, пионером которого был Вельтман, раскрылось в творчестве Достоевского. Вельтман для Достоевского — то же, что Нарежный для Гоголя — предтеча и необходимая предпосылка. Без «Бурсака» и «Аристиона» не было бы «Вия» и «Мертвых душ» Гоголя; без «Саломеи» Вельтмана не было бы «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых» Достоевского.

В. Переверзев

ПРИКЛЮЧЕНИЯ,

ПОЧЕРПНУТЫЕ ИЗ МОРЯ ЖИТЕЙСКОГО



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

У одного папеньки и у одной маменьки были две дочки. Точка. Не об них дело. Читатель, может быть, встречал где-нибудь Дмитрицкого? Довольно статный мужчина, бледное лицо, зеленые глаза, весь в крестах и знаках отличия, служит и там и сям, был во всех войнах и походах, на суше и на море, во всех странах и землях, всех знает, со всеми знаком... Ничего не бывало! Всё это ложь! Раскроем наудачу какую-нибудь страницу из его жизни. Вот он едет в столицу искать счастья — направо, налево — и сердится.

— И тут тройка не везет! Да ну, пошел! Погоняй, мужик-сипа!

— Мужик-сипа — ест сыто, барин! — отвечал извозчик.

— Животное! И тот упрекает меня в недостатках! Пустяки, брат, у нас есть капитал.

И с этим словом Дмитрицкий отправил одну из своих рук в один из своих карманов, пошарил в нем, потом перенес в другой, в третий и, наконец, вытащил из недр бокового кошелек, потряс над ухом.

— Где ж он тут, собака?.. А!

Вытряхнул на ладонь ключик, потом единственный червонец и погладил его, как зверка, по шерсти.

— Ключ от прошедшего и будущего богатства; а это — вот он, настоящий червонный! Один одинёхонек. Где ж, брат, твои товарищи?.. ушли?.. Экие какие! Ничего! Зато какой простор тебе на дне кошелька. Ты, душа моя, у меня заветный, на разживу; ты не какая-нибудь последняя копейка, которую дурак ставит ребром. Тебя я не выпущу из рук; ты — мой аттестат, мое золото, рычаг, движущая сила: без тебя и этого осла не поворотить с места. Эй! Пошел! Да ну же, погоняй!

— Да погоняю же, погоняю.

— Гони во всю ивановскую!

— Куда же еще гнать, барин! Погонишь, да загонишь; не на один поезд с тобой куплены лошадёнки; кормильцев-то других у меня нет!

— Гони, говорю! А не то, видишь? Смотри!

Мужик обернулся; Дмитрицкий показал ему кулак.

— Экая диковинка: у нас у самих таких пара, барин!

— Ступай, говорю; а не то я тебе дам!

— Что̀ дашь, барин? Мы сдачи сдадим.

— А вот что! — показывая червонец: — видел?

— Видел. Эх вы... соколики!

И мужик раскачнулся на облучке, приударил легонько по всем по трем; кони прибавили рыси.

— Ну, видел? Червонный, целиком, без сдачи.

— Эх вы, золотые мои! — прикрикнул извозчик, замотав головой и приподняв пристяжных навскачь.

— Скажи, пожалуйста! У него золотые кони! Верно не всё то золото, что̀ блестит. Слышишь, червонный! Ну, во все лопатки, на-пропалую!

— Сперва поторгуй, барин, тройку-то; да на загон-то я еще и не продам.

— Скажи, пожалуйста! Да он лучше нашего брата знает цену золоту! У нас только то золото, что̀ золото, будь оно чужое или свое; а у него всё золото, что̀ его. А хороша у тебя жена?

— Вестимо, что хороша.

— Молода?

— Да не стара.

— Золото?

— Золота-баба!

— Ну, а весело жить?

— Покуда весело.

— Золотые деньки выдаются?

— Слава богу!

— Ну, а барин каков?

— Барин — ничего.

— Золотой человек?

— Золотой, золотой, и сказать нечего.

— Ну, а приказчик каков?

— Приказчик? Приказчиком-то он пообмишулился.

— А что̀?

— Да так, ничего; про нас хороший человек.

— А не золото?

— Уж такое золото, что боже упаси!

— Вот тебе раз! Поди с ним! У него всё золото; а я думал удивить его червонцем! Полезай, брат, со стыда, в карман; посмотрим, как-то ты блеснешь в городе.

Дмитрицкий уложил червонец в кошелек, кошелек в карман; а извозчик, затянув обычную песню, поехал обычным шагом; иногда только покачнется на облучке, помотает головой и погладит кнутом пристяжных, чтоб натянули постромки.

Вот и город Москва заблестел на горизонте золотыми маковками; у заставы извозчик приостановился.

— Приехали, барин.

— Куда? — спросил Дмитрицкий, очнувшись от дремоты.

— Да к заставе.

— Неужели?.. Ах ты, скверность!.. Ну, ступай, что̀ ж ты стал?

— Пожалуйте подорожную, — сказал часовой.

— Какую подорожную? Ведь подорожную записали; сколько еще раз записывать?

— Когда записали?

— А генерал-то проехал.

— Какой генерал? Никакого генерала не проезжало.

— Вот тебе раз! Не может быть! Что̀ ты это говоришь! Куда ж он девался? Я — его камердинер... отстал... бричка сломалась генеральская; я тороплюсь догнать его... Тут нечего разговаривать! .. Ступай!

— Нет, постой, я доложу дежурному.

— Я сам пойду к дежурному, — сказал Дмитрицкий, — посмотрю в книге; как это можно, чтоб генерал еще не проехал?

И Дмитрицкий, выскочив из повозки, пошел в караульню.

— Да я тебе говорю, что никакого генерала не проезжало! — твердил ефрейтор, следуя за ним.

— Позвольте, ваше благородие, взглянуть в книгу; вот, говорит, что не проезжал мой генерал, а я знаю, что проехал...

— Какой генерал? Как его зовут? — спросил писарь.

— Да вот, извольте посмотреть, вчера или сего-

дня, — продолжал Дмитрицкий, взяв книгу и просматривая фамилии проезжих: — бричка сломалась, починили-было, опять сломалась, принужден был нанять телегу, да такие лошади попались... а генералу что ж без меня делать... мундиры все со мной... я думаю, ждет не дождется... еще прибьет, что я замедлил.

— Да как фамилия твоего генерала? — спросил офицер.

— Ну, вот, вот, вот генерал от кавалерии... а тут говорят, что не проезжал. Я знаю, что проехал, вот с будущим, а я будущий — его камердинер... Сделайте одолжение, ваше благородие, пожалуйте солдатика проводить меня к нему для удостоверения, что я действительно его камердинер.

— Это для чего?

— Меня не пропускают через заставу; а его превосходительство верно сказал на заставе, что я еду вслед за ним.

— Говорил генерал? — спросил офицер ефрейтора.

— А бог его знает; ведь не мы были, ваше благородие, в карауле; а при смене никто ничего не говорил.

— Так позвольте солдатика, ваше благородие; я же и не знаю, где генерал остановился.

— Можешь и сам отыскать; здесь караул не для рассылки.

— Нечего делать! Прощайте, ваше благородие, — сказал Дмитрицкий, выходя. — Подавай тройку! — крикнул он извозчику.

Заставу подняли, Дмитрицкий сел в телегу, и на вопрос извозчика: «Куда прикажете ехать?» отвечал: «Ступай покуда прямо!»

— Насилу отделался! — продолжал он про

себя, — спасибо тузу: при тузе и валет много значит; поставил темную и повезло.

Начав дело с конца, всё-таки не уйдешь от начала; а потому мы должны слегка хоть просмотреть первые страницы жизни Дмитрицкого.

Вследствие уроков своего наставника эмигранта, почтенный родитель его имел следующие правила: что люди добрые — овцы, которых умные стригут; люди честные — ослы, которые за умных людей возят тяжести, а люди трудолюбивые — лошади, на которых умные люди верхом ездят. Матушка его не имела никаких правил, вследствие таковой природы или понятий супруга, что женщина с правилами — дура, что любовь не что̀ иное как спирт, которым умные люди упоевают дураков. Дмитрицкий в доме родительском был баловень; в какой-то гимназии или в бурсе — шалун и лентяй; на службе — разбитно̀й малый, сорви-голова. Служил он или, лучше сказать, служил не служил в *** уланском полку корнетом. У него была совсем не служебная организация. Кивер на бекрень, сабля при колене, темляк до земли; он любил сначала побушевать; но истинное призвание его было не в одну сторону, а *направо-налево*. С первой попытки он так ловко держал в горсти книгу судеб, называемую колодой, так ловко, по-юпитерски, метал, что вся собратия подрывающих банк восклицала: «Славно мечет! чудно мечет!»

Эти возгласы заложили навсегда банк в голове Дмитрицкого. Для него просто была му́ка, когда отрывали его от *дела*, не только службой, но и глупым обычаем закусывать, обедать, пить чай и ужинать.

Бросая с досадой карты, он всегда̀ восклицал, вставая из-за стола: «Только и думают, что наби-

вать пузо! Точно голодные собаки бегут к корму! Как будто нельзя тут же перекусить чего-нибудь!

Счастье ли не везло Дмитрицкому, или бедовая страсть метать банк до тех пóр, покуда он не лопнет, только Дмитрицкий постоянно был оборван. Он не сердился на то, что жалованье его всегда было проиграно вперед за треть; не горевал и о том, что в гардеробе его оставался только старенький мундир с мишурными принадлежностями, годный только для манежа; но он сердился, что явный недостаток в деньгах прекращал игру и ему ничего не оставалось делать, кроме как сказываться больным и, завернувшись в шинель, лежать растянувшись на одре тоски. Сидеть бездельником подле стола, смотреть, как играют другие, и спокойно покуривать трубочку — на это Дмитрицкий был не способен. Когда он начинал жаловаться на голову, то это значило, что у него на квартире чистота и опрятность. На деревянном диване разостлан старый вальтрап; в головах кожаная подушка, вылощенная головой; у стенки еловый столик, да сосновый стулик; на окне продутая трубка, а подле нее в жестяной сахарнице табачная зола, как воспоминание счастливых дней изобилия в табаке. Тут уже нет ни чемодана, ни разбросанного платья, ни рассыпанного повсюду вахштафу, ни дыму, в котором можно коптить окорока, ни кухенрейтерских пистолетов, ни солингенских сабель, ни лазаринского ружья, ни охотничьей собаки. Тут только Дмитрицкий, расслабленный душой и телом, наполняет собою пустоту; то положит руки под голову, глаза в потолок; то вскочит, набьет трубочной золы в трубку, затянется, плюнет и снова заляжет. И в самом деле, возможно ли Дмитрицкому показываться на белый свет, в полном здоровье и тишине души: что̀

стал бы он отвечать на вопрос: «Что́ же, брат, банчишку?» Не отвечать же: «Что́, брат, денег нет!» Да это такой стыд, что ужас. После этого никуда глаз не показывай, чтоб не спросили с сердечным участием: «Что̀, брат, денег нет? Что̀ ж, брат, дудка есть».

К получению жалованья Дмитрицкий выздоравливал; но однажды, во время болезни своей, он надумался и решил, что глупое счастье надо заменить чем-нибудь умным. И вот, всё время болезни он стал посвящать на изучение волшебной науки, по части превращений *листов*. Эксперименты постоянного совершенствования в науке он производил над помещиками; и по пословице: «бей соро́к, бей воро̀н, добьешься и до белого лебедя», он зашиб однажды изрядный куш у одного юного агронома. Деньги развивают фантазию и в прохладных душах, с ними непременно хочется летать. Ремонтёрство — пресоблазнительное поручение для кавалериста: подорожная на все четыре стороны, а главное — в Бердичев. Отправился наш герой в Бердичев. Счастлив. Там-то, в Бердичеве, тьма казначеев, тьма ремонтёров, тьма понтёров, тьма Эстерок или Эсфирей, Лий, Рахилей, которых называют Рохлями, жидов — евреев — иудеев — факторов, контрабандистов и талмудистов, панов, панн и панёнок, шляхтянок и гардеробянок. Чудо! Корчмы, бильярды, карты, коханки, мазурки, панские реньчки и ножки, сто тысёнц дьяблов и цоѐще? — больше ничего не нужно, всё есть. Дмитрицкий прибыл благополучно; по обычаю, остановился в корчме, потому что где живет израиль, там нет домов, а есть корчмы: это ряды длинных заездных домов с крытыми дворами на пролет из грязной улицы в вонючий переулок. Переднюю часть корчмы соста-

вляет комната для приезда вельможных панов. Здесь можно присесть на стул, прилечь на канапе, посмотреться в зеркало, выглянуть на улицу, раскинуть ломберный стол, побеседовать с какой-нибудь Рифкой, угодливой хозяйкой в жемчужных мушках, или Пейсой, с сестрой или дочерью, с распущенными кудрями до плеч. И Рифка и Пейса смотрят в глаза и неугомонно допрашивают, не потребно ли чего-нибудь пану: «А может быть покушает чего-нибудь? А может быть пан чай будет пить? Пан с ромом пьет? .. А может быть пан желает что́ кушать?» Только что пан заикнулся, Пейса уже исчезла, прокричала в нос на дворе: «Хаймэ, Хаймэ!» и еще что́-то по-сво́ему, и жидок Хаймэ бежит в ряды. Глядь, из какой-нибудь лавки крадется Хайм, а за Хаймом из всех лавок бегут Хаймы, Мошки, Иоски, Абрамки и Шлёмки с узлами. Хайм в двери, и все за ним. Напрасно и Рифка и Пейса застановили двери, хотят припереть на крюк: жиды ломят, проталкиваются, кладут на пол свои узлы, торопятся развязывать, и каждый, бранясь по-жидовски со всеми прочими и охуждая чужие товары, расхваливает свои и сует их в руки панские.

Этой картины, не только живой, но и писаной, не найдешь даже и в Москве, где некогда, по татарскому обычаю, купцы держали при себе таких собак-сидельцев, которые тянули покупщиков к лавке за̀-ворот.

Но мы еще не кончили описания корчмы. Рядом с приемной меблированной комнатой *лежит* небольшая *штуба* хозяйская; здесь две кровати, подле окна стол, в углу печка, подле печки лавка, в другом углу шкаф с посудою, по стенам по́лки с горшками и плошками. Под закорузлыми перинами

ложе Рифки и Пейсы с братьями и сестрами; на печке ложе старой жидовки, а на лавке *наймо́чки*.

Всё остальное протяжение корчмы от улицы до переулка разделяется на отделения для заезжих — вход прямо со двора; каждое отделение разделено на̀-двое печкой, которая таким образом и составляет стену, или перегородку, очень удобную для топки камышом и бурьяном. Втащат несколько связок длинного камышу, разложат в трубе огонёк, воткнут один конец связки, камыш вспыхнет, затрещит, и по мере того, как огонь пожирает, камыш вдвигается в печь. Проглотив связок десять камышу, труба раскалится как нельзя лучше, и вы до самого вечера имеете полное право жаловаться на нестерпимый жар, духоту и, в случае слабой головы, на угар; а к вечеру можете снова топить, или почивать в прохладной комнате.

На дворе корчмы постоянно мѐсиво грязи; это в одно и то же время и конюшня, и сарай, и хлев, и курятник, и помойная яма.

Город — не столица обширного размера, и потому экипажи — лишняя вещь; можно, не уставая, ходить из ко́нца в конец пешком; по сторонам улиц грязь не так глубока, и всегда есть, вместо тротуара, пробитая тропинка; затруднение встречается только при переходе через топь улицы; но если вы — смелый кавалерист, то можете оседлать какого-нибудь жида и переехать на нем через топь. Впрочем, в каждой корчме можно нанять пару кляч в бричке с дышлом, и какой-нибудь Шлёмка довезет вас и на бал и с балу.

Жидовское местечко — удивительная вещь: это шайка, но не разбойников и не воров. В этом случае каждый жид честен как чорт: как чорт — не убьет не украдет, но как чорт — обманет, проведет,

надует, обморочит, соблазнит, раззадорит, и вы почувствуете какую-то тяжесть в кармане, и вы бросите из него все деньги жиду за дрянь, как чорту душу за земные наслаждения.

Кто не живал посреди израиля, тот не понимает достоинства картин *жидовской школы*.

Вот на лавочке у ворот одной корчмы сидит офицер, в шинели и фуражке; что́-то очень смутен; облокотясь на колени, он запустил руки в густые кудри, и, как будто насильно похилив голову книзу, заставил ее устремить глаза в землю. Сидит и молчит, не смотрит даже на Пейсу, которая, накинув капотик на одно плечо, стоит подле.

— Вы сердитые такие, *не хотите говорить*, — сказала она ему с участием.

Офицер молчит.

— Знаю я, пан Желынский обыграл вас. Сказала я, что не играйте с паном.

— Да поди прочь, пожалуйста!

— Зачем пойду прочь? Я хочу здесь стоять.

— Ну, стой, да молчи.

— Я только жалею вас, больше ничего, а вы сердитесь.

— Ах ты, Песька! Ну, поди сюда!

— Как это можно!

— Ну, поди прочь!

— Где тут квартерная комиссия? — крикнул улан, подъезжая к соседней корчме.

— Улан! Какого полка? — спросил офицер.

— *** уланского, ваше благородие, ремонтной команды.

— Кто офицер?

— Поручик Дмитрицкий. Вот не допрошусь, где квартерная комиссия; заготовить надо квартеру его благородию.

— Пустяки, брат, здесь и в месяц не добьешься порядочной квартиры; а твой офицер, верно, не остановится в мурье.

— Как можно, ваше благородие; он приказал, если не отведут хорошей квартиры, так нанять.

— Так нечего и хлопотать, вот здесь есть квартира, лучше и не найдешь.

— Поди посмотри, прекрасная, меблированная, с зеркалами комната, — сказала Пейса.

— Да уж верно понравится его благородию, — сказал улан, посматривая на Пейсу. — Так я поеду, буду ждать его у заставы.

— Веди прямо сюда; да постой, служивой, ты посмотри, ты увидишь, какая прекрасная квартира, мы за постой дешево берем.

— Ну, посмотрю, — сказал улан, въезжая на двор и слезая с коня.

— Видишь, какая квартира для твоего офицера.

— Славная, славная.

— На-ко, выпей с дороги.

— И квартира славная и хозяйка славная; а уж мой офицер такой, что и квартиру ему подай славную и хозяйку славную... ох, да и водка какая славная! Спасибо!

— Если понравилась, так выпей еще... Смотри же, прямо к нам веди, не слушай других...

— Небось; да закусить, брат жидовочка, дай чем-нибудь.

— Сейчас, сейчас; вот два бублика.

— Довольно одного. Так прощайте же покуда.

— Офицер твой любит играть может быть в карты, так мы ломберный стол поставим, — сказала Пейса.

— И играет, и гуляет, — отвечал улан, моргнув глазом.

— Женатый или нет?
— Какой женатый!
— А богатый?
— Да сорит деньгой; куда их беречь: и поигрывает, и вашу братью задаривает... щедрый, нечего сказать! Ну, поеду навстречу.
— Прямо сюда, да не ошибись. Я пошлю фактора на заставу... Хаймэ! гэ! брр, бр, бр!
Чтó-то пробормотала Пейса, и Хаймэ побежал за уланом.
— Хвалит своего офицера, — сказала Пейса, выходя за ворота: — в карты играет...
— Э!
— И богат; вот и играйте с ним.
— Э!
— Да; с своим братом офицером лучше вам играть; а эти паны в париках — шулерà.
— Э!
— Да, я вам говорила.
— Э! Сидоров, дай трубку.
— Трубку-то я подам, сударь, да пустую.
— Табаку нешто нет? Поди, возьми у Соломона фунт.
— Поди, возьми! — бормотал косолапый кавалерист-денщик про себя, отправляясь в лавку. — Я, пожалуй, возьму; мне чтó!.. А поди, возьми, так сам не будет отвечать... Эй, давай фунт табаку барину.
— Фууунт?
— Да, фунт! Сказано, так фунт.
— У тебя карбованный, али сто?
— Да, сто! Как бы не так!
— Давай деньги.
— Поди у барина возьми, он тебе даст.
— Дааает? А у барина деньги есть?

— А у кого ж быть деньгам, как не у господ? Ну, давай же, или сам неси; барин велел фунт табаку принести; ну и ступай!

— Велел?

— Говорят велел; ступай, он чай расплатится с тобой.

— Расплатится?

— Стало быть расплатится, когда велел целый фунт приносить.

— Пойдем, пойдем.

— Пойдем.

Между тем офицер, не дождавшись табаку, отправился по соседству, корчем через пять, к пану Желынскому.

Пан Желынский был знатный игрок, старый пес в рыжем парике, с преотвратительной наружностью. Все знали его ремесло, говорили ему в глаза: «Ты, пан, шулер! С тобой нельзя играть!» Он на это издавал звук: «Ха, ха, ха, ха!» садился за стол, высыпàл горсть червонцев, разламывал звучно обертку колоды, раскидывал ее как веер и, пропустив с треском карту в карту, клал тихо на стол и произносил: «Не угодно ли?» На это магическое слово ничего нельзя было отвечать, кроме: «Угодно!»

— Пан, реванж за тобой, — сказал офицер, входя в квартиру пана, который играл в это время на скрыпке вариацию Плейеля. — Отыгрываться я не хочу; а будем играть пополам.

Желынский, положив скрыпку, посмотрел вопросительно на офицера.

— Ну, пан, хочешь вместе, идешь на половину?

Желынский отдул губы и сделал знак, что он не понимает этих слов.

— Послушай, пан, ты со мной не церемонься; ты

меня обдул, а я тебя отдую! Мне всё равно; я проиграл тебе чужие деньги! Ты должен меня вывести из беды.

— На чужие деньги не должно было играть.

— Знаю я сам это; да ведь ты, бес, попутал меня; так и распутывай.

— Но... с кем же играть?..

— С кем?.. Э-гэ! колокольчик!..

В самом деле колокольчик загремел, на улице хлопанье бичей ближе и ближе.

Желынский и офицер бросились к окну.

Дмитрицкий катил в роскошной коляске, прислонясь к боку; белая фуражка, по обычаю, на бекрень.

— Какая прекрасная венская коляска! Кто это такой?

— Вот выигрывай, пан, эту коляску.

— Хэ, хэ, хэ! не худо бы. Здесь, подле, остановился; надо бы узнать, кто такой. Яне! чей, Яне!

— Не беспокойся, это мой сосед. Хочешь с ним познакомиться?

— Почему ж, всякое новое *замечательное* лицо составляет особенно приятное знакомство.

— Так приходи же ко мне через полчаса, слышишь?

Желынский кивнул головой в знак утверждения, а офицер отправился к себе.

Дмитрицкий был уже встречен Пейсою, и охорашивался в зеркале.

— Какая ты миленькая евреечка! А?

— Нравлюсь я вам?

— Да как же? Чудо! Чтó за глазки! А?

— Вам, может быть, чаю угодно? У нас самый лучший чай.

— Чаю, чаю! О, какая хорошенькая! Тебя как зовут?

— Пейса.

— Пейса!

— Позвольте, я сейчас принесу чай; как прикажете, с самоваром подать или просто?

— Как хочешь.

И Пейса вышла торопливо в свою комнату, собирать чай.

— Чудо жидовочка! — повторил Дмитрицкий, расхаживая по комнате и крутя усы. — А городишка, кажется, не лучше Могилева... а я думал чорт знает что! ..

— Прикажете сливок и сухарей, или с ромом будете пить? У нас ром самый лучший, ямайской.

— С чем хочешь... Поди, поди сюда!

— Сейчас, я только приготовлю чай.

— Плутовка! .. Сергей! Эй! Сергей!

— Сейчас! Самовар ставлю, — отвечал денщик со двора.

— Скорей!

— Самовар ставлю!

— Кто тебя просил? Дурак!

— Да сами же сказали, чтоб сейчас же самовар был готов.

— Не нужно! Здесь готовый есть чай.

— Не нужно! А я наставил. Готовый! Какой тут жидовский чай — труха! А деньги дерут такие, что...

— Ну, молчи!

— Да зачем же изволили покупать самовар? Сами говорили, что от жидовского чаю с души воротит.

— Молчать!

— А по мне что — меньше хлопот! Не я его пить буду!

Пейса принесла чай точно в таком же виде, как подают и в русских трактирах.

— Налей же, Песя, сама, угощай меня!

— Вы сладко любите?

— Сладко, милочка; так сладко, как ты сама. Да ты сядь, хозяйничай как должно, а я сяду подле тебя...

— Как это можно!

— Ну, я не буду пить; мне скучно одному пить.

— Пейса! Пейса! — раздался голос подле дверей.

— Позвольте! Постоялец наш пришел, верно требует чаю...

— Кто такой постоялец?

— Драгунский офицер. Ему здесь отведена квартира.

— Экой счастливец!

— Он скоро едет; попросите его, чтоб он передал вам свою квартиру.

— В самом деле!

— Пейса! Чаю давай! — крикнул офицер, входя в комнату, не обращая внимания на Дмитрицкого.

Надо сказать, что в корчмах приемная комната то же, что в гостиницах общая зала. Если в корчме есть какая-нибудь заманчивая Пейса, и никто из приезжих не занимает этой общей залы, то офицерство на прогулках заходит в нее и требует у Пейсы чаю, кофе и поцелуев.

— Я вам пришлю чай в вашу комнату, — сказала Пейса, — здесь они стоят...

— Ах, извините, — сказал офицер Дмитрицкому: — я не знал, что у меня есть сосед.

— Сделайте одолжение, рад познакомиться, тем более, что я имею к вам просьбу. Мне, вот, жидовочка сказала, что вы скоро поедете отсюда и ваша квартира опростается. Я бы желал занять ее.

— И прекрасно! В самом деле, вам нечего хлопотать в квартирной комиссии; а признаюсь вам, это истинная комиссия добыть порядочную квартиру.

— Сделайте одолжение, не угодно ли вам чаю? .. Я церемоний не люблю; прошу и со мной без церемоний...

— Это и прекрасно!

— С ромом изволите?

— Немножко.

— Может быть, вы любите пунш?

— Э, всё равно. Вы надолго приехали?

И так далее, обыкновенный офицерский разговор, который был прерван сперва приходом денщика Сидорова с Соломоном и с табаком.

— Вот, сударь, сам принес табак, — сказал Сидоров.

— Дурак! Тебя кто просил сюда! Не мог подождать! Покажи табак! Изрядный! Вот это изрядный табак! Верно нового привозу; а то такой скверный отпустил, что я хотел тебя проучить, заставить сто раз притти за деньгами. Завтра принеси еще три фунта этого же самого, пошел!

— Васе благородие!

— Ну, пошел, нечего оправдываться!

— Что ж, васе благородие...

Слова жида были прерваны приходом Желынского.

— Я думал, что пана Рацкого дома нет, — сказал он, обращаясь к офицеру, — я принес долг... кажется, пятьсот пятьдесят рублей; вот три двухсотных.

— Что ж это? Пятьдесят рублей сдачи? Ну, я сдачи не люблю давать: штос, на две карты — и кончено: четыреста или все шестьсот; пойдемте ко мне, здесь их квартира.

— Ах, извините, я не знал, — сказал Желынский, обращаясь к Дмитрицкому.

— Не угодно ли и вам ко мне?

— Да для чего ж, господа, переходить с места на место, — сказал Дмитрицкий, — я очень рад, что имел удовольствие познакомиться, прошу вас как дома; если угодно, я велю подать карты.

— Нет, я играть не буду, — сказал Желынский.

— Кто это такой? — спросил Дмитрицкий тихо у Рацкого.

— Помещик, богач каналья, я его немножко наказал... Я сам играть не хочу; но штос на квит — не игра.

— На квит, пожалуй.

— Пейса, подай карты.

— Вы откуда изволили приехать? — продолжал Желынский, обращаясь к Дмитрицкому.

— Из-под Могилева.

— На Днепре или на Днестре?

— На Днепре.

— Я там не бывал.

— Маленький город.

— Ну, пан Желынский!

— Позвольте, я сам мечу́.

— Пожалуй! Идет на квит... Ах, проклятая десятка! .. Идет на сто... Баста!

— Это ужас! — вскричал Желынский, бросая карты. — Терпеть не могу этот штос!

— Зачем дело стало, — банчишку!

— Нет! Покорно благодарю! Да еще против одного! ..

— Извольте, я тоже приставлю, — сказал Дмитрицкий, — надо же что-нибудь делать: я смотреть не люблю.

— Ох-хо! Гроши мои, гроши! — сказал вздыхая Желынский, высыпая на стол из кошелька сотни две червонцев. — Новые карты!

Началась игра. У Желынского точно как будто колода никогда в руках не бывала. Так глупо держит, что все карты видны. Дмитрицкий думает: «такого олуха не трудно обыграть!» Подсмотрит карту, — аттанде! и поставит на хороший куш, да еще примажет. Разгорелся, подымает выше.

— Отвечаете? — вскричал он, наконец, поставив темную.

— Отвечаю! — с досадой отвечал Желынский, — отвечаю до десяти тысяч!

— Аттанде! Отвечаете?

— Отвечаю!

— На все!

Желынский приостановился, казалось, струсил, руки задрожали...

— Мечите.

Направо, налево, направо, налево... Ух, Дмитрицкий разбил кулак, ударив по проклятой карте, которая ему изменила; в глазах затуманило.

— Позвольте сосчитаться, — сказал Желынский, потирая руки и положив колоду на стол.

— Это чорт знает что! — кричал Дмитрицкий. — Ах, дурак! Сам себя надул! Так глупо ошибиться! — прибавил Дмитрицкий про себя: — это удивительно!

— Что ж тут удивительного, что из пятидесяти карт, которые я вам дал, выигрываю одну!

— Да эта одна стоит тысячи! — прибавил Рацкий.

— Нет, не тысячи, а осьми тысяч четырехсот, — отвечал хладнокровно Желынский, сосчитав

выигранные Дмитрицким тысяча шестьсот рублей и вычитая их из десяти тысяч. — Рассчитаемся.

— Нет, мы будем играть еще! — вскричал Дмитрицкий, потирая лоб.

— Нет, баста! За вами осемь тысяч четыреста.

— Что ж вы думаете, что у меня денег нет? — сказал с сердцем Дмитрицкий, схватив шкатулку и отпирая ее. — Вот ваши деньги!

Для уплаты осьми тысяч Дмитрицкий должен был прихватить сотни две из ремонтной суммы. Дрожь проняла его.

— От реванжа я не откажусь, — сказал Желынский, взяв деньги, — но завтра.

— Завтра не играю! — сказал Дмитрицкий.

— Как хотите, сегодня не могу, мне в голову ударило от удовольствия выиграть хоть одну порядочную карту: я так несчастливо играю. До свидания.

— Прощайте!

— Животное! Обрадовался, что выиграл осемь тысяч! — сказал Дмитрицкий, когда вышел Желынский.

— Хм! Да! Ужасная скотина!

— Так глупо проиграть, как я проиграл, ни на что не похоже! Проиграть такому ослу — это, это ужас! .. Вы видели, как он держит карты? .. Все виднехонько! Его можно бы было обобрать до нитки; но я не хотел пользоваться этим, в доказательство проигрыш мой... Чорт знает что!

— Да, да! — отвечал Рацкий, зевая.

— Давайте по маленькой, от нечего делать.

— Пожалуй, только мне нужно сперва сходить в дежурство... я через полчаса приду.

Через полчаса Рацкий действительно возвратился; сели играть по маленькой, играли за полночь, но у Дмитрицкого тряслись руки, и пальцы не

в состоянии были исполнять его требования. Игра кончилась ни на чем.

Дмитрицкому не спалось; всю ночь продумал он о глупом тузе, который лег вместо левой на правую сторону. На другой день он отправился отдать визит Рацкому и предложил ему пригласить олуха к себе.

— Надо же отыграться!

— И пусть он опять мечет банк.

— Да, да, да, именно!

Желынский не замедлил явиться; но, начав игру, долго не распускал хвоста у колоды. Игра не клонилась ни на ту, ни на другую сторону.

— Славная у вас коляска, — сказал Желынский.

— Не дурна.

— Что заплатили?

— Три тысячи.

— О-го! Но стоит этих денег, бесподобная коляска!

— Хотите выиграть в четырех тысячах?

— Э, нет, в трех с половиною, пожалуй!

И Желынский, как будто невзначай, выказал валета, третью карту снизу. Дмитрицкий не упустил заметить ее, позадержал талию ставками и, как только три валета выпали, крикнул: «Аттанде! Мазу коляска!»... Направо, налево...

— Чорт знает! — вскричал Дмитрицкий. — Вы, сударь, передергиваете!

— С вами играют, милостивый государь, благородные люди, вы забываетесь! Я с вами давно уже играю, господин Рацкий: заметили вы, что я передергиваю?

— Полноте сердиться! Господин Дмитрицкий так только сгоряча сказал. Кому не досадно проиграть два такие куша!

— Однакож я не выходил из себя, когда проиграл вам третьего дня две тысячи.

— У вас характер, у господина Дмитрицкого другой.

Дмитрицкий исступленно ходил по комнате. Коляска ему нужна была для представительности...

— Милостивый государь, я коляску вам не отдам, я плачу вам за нее тысячу рублей, то, что сам заплатил.

— Это прекрасно! Вы заплатили за нее три тысячи, она шла в трех с половиной. Извольте, я за три тысячи отдаю назад, уступаю пятьсот рублей.

— Я у вас покупаю ее.

— Она стоит мне три тысячи пятьсот.,

— Угодно тысячу двести! Вам никто за нее больше не даст.

— Она не продажная; я сам в ней поеду.

— Угодно полторы тысячи?

— Полторы тысячи деньгами, пенковую вашу трубку, да шкатулку.

— Трубку? Шкатулку? Ни за что!

— Отдавай, пан, за полторы тысячи, — сказал Рацкий.

— Ну, так и быть.

Дмитрицкий со вздохом достал из шкатулки тысячу пятьсот рублей и бросил на стол. Это уже был второй заем у казны, без процентов и без всякого обеспечения.

Но читателю верно надоел Дмитрицкий. Оставим его покуда делать что хочет; расскажем что-нибудь другое.

II

У одного папеньки и у одной маменьки были две дочки. Точка. Не дошел черед. Жил-был старик со

старухой, в Москве, древнепрестольном граде, в котором житье старикам и старухам. Старик был отставной капитан, следовательно, старуха была отставная капитанша. Жили они со времен екатерининских пенсионом, состоящим из двухсот рублей. В первые годы отставки старик и старуха считали себя обеспеченными навек.

— Слава богу, — говорила старуха в 1789 году, — двумястами рублей можно пожить в довольстве и роскоши: двадцать пять рубликов в год квартирка, рублей по десяти в год нам на одёжу, пять рублей в месяц можно иметь сытый стол... Сколько это, батюшка, составит? Считай?

— Сколько ты, матушка, сказала?

— Экой какой! Клади двадцать пять за квартиру.

— Постой, счеты возьму. Ну, двадцать пять за квартиру.

— Десять да десять на одёжу.

— Куда ж мне, матушка, десять! Мундир мне прослужит еще лет пять; четыре рубахи в год не износишь — рубль шесть гривен; пара сапогов рубль — вот и всё: два рубля шесть гривен; тебе — другое дело, мало ли — пара платья, салоп, чепчик...

— Пара платья! Довольно и одного новенького в год. Ситцевое, например, или коленкоровое: пять аршин, ну, хоть шесть, в четыре полотнища, по шести гривен аршин — три рубля шесть гривен; а понаряднее, флоранской тафты — пять рублей. Салоп немногим чем дороже, да зато уж лет на десять; сошьешь хорошую вещь — жаль носить...

— Ну, положим нам обоим двадцать рублей на платье. Еще что?

— По пяти в месяц на стол.

— Шестьдесят. Всего сто пять рублей.

— Кухарке в год осемь рублей.

— Осемь.

— Чаю и сахару в год много на пятнадцать рублей.

— Не много! Один Иван Тихонович выпьет рублей на пять, да и Матрена Карповна, придет в гости, вторую не покроет!

— Ах, батюшка! Жаль стало; да что ж бы мы стали делать, кабы добрые люди к нам не жаловали хоть на чашку чаю!

— Ах, матушка, слово молвится не в упрек! Всё?

— А сколько всего-то?

— Сто двадцать осемь; смотри-ка ты!

— А на говенье-то, священник с крестом придет — положил?

— Да ты, матушка, не сказала.

— О-ох, Иван Леонтьевич, ты словно не христианин! Клади смело десять рублев.

Вот таким-то образом рассчитывали старик со старухой пятьдесят лет назад.

Квартирка у них была такая приютная, что чудо! Так всё установилось и улеглось в ней к месту! Как войдешь—кухонка, всё в исправности, горшки, ухваты, уполовники, чашки, посуда столовая; на печке спальня кухарки; из кухонки в гостиную; в гостиной комод с шкафами — тут чайная посуда, серебро, чайные ложечки, счетом двенадцать, вставлены в местах на верхней полке. Тут канапе и дюжина стульев, обтянутых кожей. В переднем углу образ, над ним паникадильцо. Стены оклеены зелеными обоями; по стенам в черных рамках картины: царь Иван Васильевич Грозный, четыре времени года, и разные птицы, выделанные из перьев,

наклеенных на бумагу; у стен большой сундук, ломберный столик, над столиком круглое зеркало; в двух окнах клетки с чижами, по сторонам коленкоровые с плетеной бахромой занавесы.

Из гостиной — спальня; общее ложе старика со старухой под коленкоровыми занавесами; тут же лежанка, на которой сохнет запасная голова сахару; подле кровати на гвоздях платья, салопы и прочее, покрыты простыней; белье в комоде, а шубы в сундуке, обвернуты также в простыни и переложены от моли табаком. Подле окна столик овальный с вырезом и бронзовой окраиной, перед столиком кресла Мавры Ивановны, в которых она обыкновенно сидит и вяжет чулок или, перед праздником, надев очки, читает священные книги, а в праздник, если никого нет, раскладывает пасьянс.

Далеко они не распространяют свое знакомство; но со всеми соседями знакомы, не пренебрегают никем; Мавру Ивановну навещает и попадья, и дьяконица, и купчиха Акулина Гавриловна, и гамазейная приставша и иные; она их угощает и чайком, и орешками, и яблочками; зато и ей у них почет и угощенье всем чем бог послал. У Ивана Леонтьевича также не без знакомых, то сам в гости пехтухом, то вместе с сожительницей. К обедне, к вечерне, к всенощной, к заутрене, — смотришь и нет времени на скуку.

Надо знать, что Мавру Ивановну знала и старая княгиня-соседка, и часто в церкви выговаривала ей, что редко у нее бывает. А когда приходила Мавра Ивановна к княгине, то, как свой человек, засидится у нее за-полночь, и ее отвезут домой в княжеской карете.

Таким образом старик со старухой жили, не горюя ни о чем, до нового столетия. С новым столе-

тием как будто что-то переменилось в их жизни, как будто стало недоставать двухсот рублей на год. Старый дьячок, у которого нанимали квартиру, умер; а новый дьячок говорит, что времена уже не те, и нельзя отдавать трех покоев в год за двадцать пять рублей, что, дескать, ему дают пятьдесят рублей. Куда ни обернись — деньги как будто поусохли и рубль отощал, а на копеечку и на грошик никто и смотреть не хочет, подай, говорит, пятачок. Соседи повымерли, а новые соседи как будто и не соседи. С старухой и стариком никто слова не промолвит. Дотянули кое-как до двенадцатого года — с ним кончилось и благоденствие старика и старухи. Французы идут! Народ бежит из Москвы; побежали и они за народом. Где люди остановятся, тут и старики. Пенсии неоткуда получать, денег нет; что вынесли на плечах, — пораспродали. Пробились кое-как два месяца. Воротились в Москву, и ни у кого так не плакалась душа по Москве, как у них.

Уж бог только ведает, как прожили они до тех пор, покуда все поустроилось, и Иван Леонтьевич получил сперва вспомоществование, а потом и пенсию. Да что ж, почти половину подай за угол; бывало, — не далеки времена, — копеечного калача и на сегодня и на завтра, да и на послезавтра достанет, а тут вдруг с девятью копейками, с денежкой и к лотку не подходи. Всё во время нужды и беды выросло; а уж что выросло, того верно не понизить. С дёшева на дорого — нужда велит; а с дорога на дешево никто не велит.

— Ну, матушка, доносил мундир, в котором родился, пора в чистую, — сказал, наконец, Иван Леонтьевич, умаявшись жизнью, и отправился на тот свет.

Оплакала, похоронила его старушка да еще как похоронила! По сю пору рассказывают, как без копеечки похоронила своего сожителя и как, по милости божией, живет половиною мужниной пенсии. Как бы, кажется, прожить ста рублями целый год в довольстве, не нуждаясь в людях? Живет. Приходите в гости к Мавре Ивановне, она еще вас и чаем напоит, своим собственным, купленным из ста рублей пенсии. На эту же пенсию она содержит у себя и кота-Ваську. Кот-Васька — не пустая вещь, с ним также подчас можно провести время и побеседовать. Мавре Ивановне как-то веселее, когда Васька лежит у нее на коленях и курнычет или, проголодавшись, вскочит, вытянется верблюдом и мурлычет, ластится, трется около Мавры Ивановны, толкает ее под руку и не дает вязать чулок, или сядет на окно, начнет обмываться и захрапит песню.

— Для кого это ты моешься, Васенька?... А? .. Гости будут, что ли? .. Да кому быть-то? .. Разве Степанида Герасимовна? .. Где ж ей быть в такую погоду... Видишь, распелся, и горя себе мало... Ну, ну, ну, брысь! Не люблю, как ты начнешь толкать под руку, когда я чай пью! .. Того и гляди, обварю кипятком, и, избави бог, еще и чашку выбьешь из рук. Чашка-то покойного Ивана Леонтьевича!.. Только и осталось памяти!.. О-хо-хо! от целой дюжины одна-одинёхонька! .. Что, не думаешь ли, что молочка дам, как бывало? .. Нет, Вася! Молочные уж повысохли! .. Погулять захотел? Ну, ступай, ступай! .. Чу! Мяучит! Нагулялся? Ох ты, проказник! Одно-то ты у меня утешение осталось; поди, я тебе щец налью. Не хочешь? Честь приложена, ну, от убытку бог избавил.

Мавру Ивановну можно было назвать молодень-

кой старушкой. На плечах лет осемьдесят, а она легко их носила, как будто это долгое время совсем ничего не весило. То ли дело в старину! Какое доброе чувство лежало на сердце даже к окружающим вещам, не только что к людям. Язык еще не грубиянил, произносил: какой выдался нынче денечек; подвинь-ка, Дунюшка (Дунюшке лет шестьдесят), стулик-та ко мне; подай, голубушка, ложечку. Дай-ка стаканчик — водицы испить хочется..: — «Не лучше ли кваску, матушка?» — Нет, уж лучше чайку чашечку.

Таким-то образом Мавра Ивановна проводила день, если какая-нибудь старушка Гавриловна не навещала ее или если Саломея Петровна не присылала за ней. Иногда только она вяжет наобум чулок, да и задумается... Да уж не об себе, а об Саломее Петровне, или Катерине Петровне, или об матушке их, или об Гавриловне: как это ей бог послал купить три кочня капусты на грошик?.. и об других добрых знакомых. О добрых умерших она не задумывается: они в царстве небесном, — жалеть об них нечего. О худых людях она и вспоминать боится, чтоб не помянуть недобрым словом.

Сто рублей она аккуратно распределяла на год. Нанимает у Гавриловны уголок за двадцать рублей; шесть рублей заплатит за фунтик чайку, да купит фунтика три в полгода сахарку; а ежедневных расходов у нее нет. Во-время запасет она грибков рублика на три, капустки соленой, да крупки рубликов на пять. Два фунта говядины достает ей на все скоромные дни недели, а полфунта сняточков — на постные; полтора фунта хлеба на три дня. Таким образом у нее остается еще около двадцати пяти рублей; из них десять рублей на говенье, на свечи, на просвиры, на панихиды;

а пятнадцать — на всякий случай, на приправку, на маслицо, да на пирог в праздник.

Одежда на ней уж не носится, не трется и нестареет.

Мы уже сказали, что у одного папеньки и у одной маменьки были две дочки: эти дочки назывались Саломеей Петровной и Катериной Петровной. Их папенька и маменька ничем не отличались от тех, которые не знают, что̀ такое значит папенька и маменька.

Катенька, меньшая дочка, была больше ничего, как миленькая девушка, которую очень приятно любить, и которую все любят так, как будто бы ни за̀што, ни про̀што; старшая же сестрица ее была — Саломея Петровна — не иначе. Красавица в форме, с сознанием собственного достоинства; истинный доблестный муж в полдюжине юбок; настоящий юный чиновник министерства, приехавший из европейской столицы в азиатскую, со всем запасом важности, горделивости в походке, в посадке, в приемах, в движениях, в речах, во взгляде, в чувствах и даже помышлениях. Словом, это было существо великодушное, презирающее всех малодушных, слабодушных, тщедушных и радушных. В дополнение ко всем этим достоинствам она пела. Так как голос есть выражение души, а душа Саломеи была мужественна, то голос ее был яко глас трубный, не семейный, а, соответственно современному требованию, публичный. Она пела con fuoco, как поет на сцене какой-нибудь Mahometo, с выражением в лице игры страстей, со всеми уклонениями, возвышениями, понижениями, потрясением головы, то с наморщенным челом, то с закатившимся, умирающим взором и с сладчайшей конфетной улыбкой. Все люди века, вздутые, пузырные и бурчащие как

пена, словом, дрожжи, поднявшиеся наверх, кричали рассеянно: браво, браво, удивительно! Похвала имеет цену не на устах, а в ушах! Это знают люди века. Папенька был статский советник; маменька, разумеется, также статская советница, — больше об них нельзя ничего сказать. Они были очень обыкновенные супруги. Имущества у них было не через край. Для двух дочерей следовало бы, по крайней мере, скопить приданое; но оно не скоплялось; а между тем старшая уже *гадала* о том великом муже, который будет ее собственным мужем. Он воображался ей чем-то в роде Телемака, и поэтому все имеющие честь называться молодыми людьми, мужчинами, и в мундирах и во фраках, и вообще в одежде с куцым и длинным хвостом, казались ей сволочью, не стоящею внимания. Как ни покушались некоторые из них составить с ней свое счастие, но она была неприступна как Телемахида. На Катеньку никто не обращал внимания, потому ли, что она еще была молода, или потому, что перед Саломеей Петровной Катенька была просто — ничто. «Катенька! Подай мне скамейку под ноги!» Катенька и подает. После этого как же можно было какому-нибудь кавалеру предложить руку и сердце такому послушному ребенку? Но вдруг отыскался некто Федор Петрович Яликов... Об нем однакоже после.

Саломея Петровна ездила с маменькой к обедне, не иначе как в *шереметевскую*. Но однажды, против обыкновения, отправилась в приходскую церковь, к празднику, потому что служба была архиерейская.

Церковь была напротив дома; но пешком было неприлично итти; в четвероместной карете переехали они через улицу.

Человек в ливрее протолкал народ до мест, обитых сукном. Саломея Петровна нашла себе место, двинувшись на возвышение со взглядом, который говорил: «Прочь!» Она принудила отодвинуться от себя несколько купчишек; но маменька принуждена была остаться у подножия своей дщери, не видеть ничего за толпою и изъявлять свою досаду жалобой на эту ужасную толпу.

— Не угодно ли вам, сударыня, стать на мое место? — сказала ей одна древняя старушка, занимавшая место на возвышении подле стенки.

— Ах, милая, как ты меня одолжила!

Старушка уступила свое место, и встала подле, у подножия.

Софья Васильевна осмотрела ее с ног до головы — старушка как старушка; белый как снег коленкоровый чепчик с накрахмаленной складкой, тафтяный салопец с коротеньким воротником, самой древнейшей формы, наживной горбик, лицо также очень давнее, но предоброе, словом — почтенная старушка.

Когда обедня кончилась, Софья Васильевна подошла к старушке поблагодарить ее.

— Чем могу служить вам с своей стороны, моя милая? — спросила она ее.

— Благодарю, матушка, что̀ бог послал, тем довольна, ничего не нужно мне.

— У вас есть семья?

— Э, нет! Живу одна-одинёхонька, пенсией после мужа.

— А ваш муж где служил?

— В военной службе, сударыня; капитаном вышел в отставку; государь пожаловал ему пенсию, двести рублей в год.

— А теперь чем же вы живете?

— Пенсией же; сто рублей в год получаю; с меня довольно и предовольно.

— Что ж это мы стоим? Все вышли из церкви, — сказала с нетерпением Саломея Петровна.

— Как вас зовут, моя милая?

— Мавра Ивановна.

— Прошу навестить меня, Мавра Ивановна, мне очень приятно было бы чем-нибудь и вам угодить. Ведь вы, я думаю, здешнего прихода?

— Как же, матушка, здешнего.

— Так вы, я думаю, знаете дом статской советницы Кауриной?

— Софьи Васильевны? Как же, сударыня, как не знать: слухом земля полнится. А это не дочка ли ваша, Катерина Петровна?

— Нет, не Катерина, моя милая, ошиблась! — отвечала Саломея Петровна, вся вспыхнув. — Нас ждет карета! — прибавила она, и пошла вон из церкви.

— Так прошу, Мавра Ивановна.

— Не премину, матушка.

— Лучше всего, завтра поутру. Я пришлю экипаж за вами.

— И... к чему, к чему! У меня, слава богу, ноги еще служат.

Софья Васильевна сначала думала только обласкать Мавру Ивановну своим приглашением; но когда Мавра Ивановна проговорилась, что в числе слухов, которыми полнится земля, не забыто и имя статской советницы Софьи Васильевны Кауриной, — о, тогда Мавра Ивановна превратилась в листок газеты, в котором кое-что напечатано и *об нас*.

— Для чего же вы, маменька, всякую дрянь

зовете к себе? — сказала Саломея Петровна матери, когда она села в карету.

— Прошу меня не учить, сударыня: молода еще делать матери замечания и наставления!

— Конечно дрянь, нищая, точно такая же, как Василиса Савишна.

— Молчи!

— Я с вами и без приказаний, кажется, всегда молчу, — произнесла Саломея Петровна, *фыркая*, как говорится по-русски.

Софья Васильевна непременно сказала бы на это еще кое-что; но карета остановилась уже у подъезда, дверцы отворились, и Саломея Петровна, не ожидая ответу, выскочила и ушла в свою комнату. Никогда самолюбие ее не было так раздражено, как теперь: об ее дрянной сестрёнке говорят, а об ней ни слова... Каков свет! Каковы люди! Из двух сестер, различных между собою как две крайности, не умели выбрать лучшей по красоте, по душе, по образованию, короче сказать, по всему, не умели отличить дня от ночи!.. О, да это ночные птицы; для них там и свет, где тьма!.. Катю называют Катериной Петровной, обратили внимание на мякушку, на беленькую, смирненькую овечку, и тут же, подле, не заметили существа высокопарного, высокомерного, словом, исполненного всеми высокими достоинствами!

Нашей старушке Мавре Ивановне совсем не хотелось забираться в высокие хоромы, да нельзя: зовут, просят, как можно отказаться? Ведь это неучтиво: люди делают честь, не следует отказываться.

«Так и быть, пойду в воскресенье», думает Мавра Ивановна, пересматривая свой белый коленкоровый капотец, который надевается только к при-

частью, в светло-Христово воскресенье да в именины. Но Софья Васильевна сдержала слово: на другой же день прислала за ней дрожки. Нечего делать, пришлось в будни надеть праздничный чепчик и капот.

Мавра Ивановна сроду не знала такого почету себе. Софья Васильевна ласкова, а Саломея Петровна просто очаровывает ее своим вниманием и предупредительностью: усаживает ее помягче, спрашивает, сладок ли кофе, не прибавить ли сливок; ахает, слушая ее рассказы о походах с мужем; только что не плачет, слушая рассказ, как она похоронила его без копеечки.

Старушка вне себя, готова схватить руку Саломеи Петровны и расцеловать.

«О, я дам тебе понятие, моя милая, об истинной доброте и великодушии, — думает Саломея Петровна, видя, что Мавра Ивановна совершенно уже в восторге от нее, — ты узнаешь разницу между мною и сестрой, которую так тебе расхвалили!»

Есть какое-то особенное удовольствие в семейном женском быту иметь подчас подле себя собеседницу старушку-говорунью. Это — живая книга былых повестей и рассказов. Софья Васильевна особенно *полюбила* с некоторого времени подобного роду старушек. Вскоре появилась в доме ее и некая Василиса Савишна. Василиса Савишна жила также одна на квартире; пенсии не получала после мужа, но также имела старую служанку, которую она звала девкой и которая не смела иначе называть ее как барыней. Когда Василиса Савишна кричала «Девка!», то девка обязана была тотчас же откликнуться: «Что прикажете, сударыня?» и немедленно предстать пред ней, а иначе: со двора долой! Без всяких оправданий. Что было делать старой девке,

которую, по душе, не принимали на казенные хлебы, а по наружности в порядочный дом. Она же привыкла с малолетства и к лохмотьям, и к грязи, и к черствому куску хлеба с колодезной водой, и к послушанию, и к побоям ни за что, ни про что, и утвердилась уже в мнении, что, верно, все господа таковы: на них никто не угодит!

Не получая после мужа пенсии, надо же было чем-нибудь жить Василисе Савишне. Чем она жила? Трудно и решить, тем более что Василиса Савишна была не из того роду старушек, которые промышляют жалобами и слезами на судьбу и людей и для которых благодетельные барыни не щадят ни старой подкладки, ни обрезков от домашнего шитья, ни изношенных башмаков, которые прослужили года два и туфлями, ни протертых чулков, которых нельзя уже подвязывать, ни запасцу прогорклого маслица, ни промозглых огурчиков, ни протухшей дичинки, ветчины и тому подобного. Василиса Савишна не побиралась таким образом; она искала по городу не богомольных, жалостливых и благодетельных старушек, которые любят слушать патетические рассказы о грехах человеческих, — она искала по Замоскворечью, во-первых, товару, который продается с руками и с ногами; а во-вторых, купцов на этот товар. Таким образом она жила, сочетавая судьбу двух существ. Чуть где явится судьба, готовая к сочетанию с другой, Василиса Савишна тут как тут. Таким ли образом и каким образом она явилась в доме Софьи Васильевны, это неизвестно. Саломее Петровне был уже (между нами сказать) двадцать осьмой годок; Катеньке пятнадцатый, и, следовательно, об ней ни слова. Кажется, мы уже говорили, что Саломея Петровна, мечтая всегда о великом муже, никак не могла пред-

ставить его себе обыкновенным человеком, за которого может выйти замуж и каждая обыкновенная девушка. Покуда цветуща была молодость Саломеи Петровны, навертывались искатели цветущей молодости; покуда цветуще было благосостояние Петра Григорьевича, навертывались искатели благосостояния, но когда молодость испарилась до капли, как розовое масло, а благосостояние ушло на светские приличия, тогда искатели, как ветры, подули в другую сторону.

Беды начались для Саломеи Петровны совершенно неожиданно: она являлась в свет невестой миллионщицей, и вдруг, в один пасмурный день, когда должно было отдавать шить новое платье к великолепному балу, маменька говорит ей плачевно: «Друг мой, надо обойтиться без золотых кружев». — «Как! без модных золотых кружев? У папеньки недостало денег для дочери на какие-нибудь двенадцать аршин кружев по пятидесяти или много по семидесяти пяти рублей аршин! Да это просто варварство!» В самом деле варварство: не простыми же нитяными кружевами рублей в двенадцать аршин обшивать платье, когда на всех порядочных воротах и подолах должно быть непременно чистое золото.

Ехать на бал нельзя, не можно, не возможно; и это был первый *невыезд* на бал.

Вслед за этим настал день рождения Саломеи Петровны. По обычаю, этот день, ознаменованный появлением на свет первого залога любви Петра Григорьевича и Софьи Васильевны, праздновался на весь мир родства и знакомства, год от году пышнее и торжественнее. Двадцать осемь раз уже Саломея Петровна совершила путь вокруг солнца. Всякий раз в первый день своего нового года она

осыпалась подарками и желаниями; украшала собой великолепный обед, была царицей этикетного бала, с присутствием полиции для порядка приезда и разъезда. И вдруг папенька объявляет маменьке, что бала никак нельзя дать, потому что нет денег.

— Помилуй, что ты это! Ты погубишь дочь! — вскричала маменька: — это срам для нас! За нее никто не посватается! Нам нельзя переменить образа жизни, покуда Саломэ не выйдет замуж!

— Помилуй, матушка, да я десять лет тяну канитель в этом ожидании! Имение заложено, перезаложено; долгов тьма, платить нечем, все прожито на пиры да на балы! Кончено!

Сначала Софья Васильевна вспылила.

— Позвольте узнать, на какие балы? — вскричала она. — На пиры, может быть; это дело другое: у вас шампанское лилось рекой! .. Обед стоит пятьдесят рублей, а вин вы выпьете на пятьсот. Каждую неделю обед, пятьдесят обедов в год — вот вам и двадцать пять тысяч. А в карты вы сколько проиграли? Ежедневно проигрыш — положите хоть по двадцати пяти рублей — вот вам и десять тысяч в год, вот вам и ежегодный наш доход! Балы! Каких-нибудь две, три тысячи на гардероб мне и дочери, вот вам и весь бальный расход!

— Ты хочешь, душа моя, доказать, что прожил всё я? Положим что и так; я, следовательно, всё прожил и проиграл; ну, пропил так пропил, проиграл так проиграл. А всё-таки наше имение продадут с торгу, дом в залоге, денег нет, а занять не у кого.

— Вот до чего вы довели меня! — вскричала Софья Васильевна. — Боже мой, какой срам! Бед-

ная Саломея! Что с ней будет! На ней никто не женится!

— Да, я надеялся на ее замужество. Да где! Разборчивая невеста! Тот не по-нас, другой не по-нас! Один не суженый, другой не ряженый! Позвольте спросить, сколько их проехало мимо?

— Кто это, кто, сударь? Откуда? Какие женихи? Этот гриб, что ли?

— Какой гриб? Платон Васильевич? Хоть он стар, но не худо бы, если б за него вышла Саломея: пять тысяч душ! Она бы просто царствовала.

— Во-первых, он еще не сватался, а во-вторых — это смешно и говорить. Еще какие же женихи: этот твой любезный человек, петух, генерал, или эта простокваша?

— Какая простокваша?

— Также твой любезный человек, Горлицын, или. . .

— Довольно и одного из этих двух; именно прекрасные люди: у одного осемьсот душ, другой — наследник тысячи.

— Прекрасно! Вы влюбитесь в какого-нибудь любезного человека, который необходим для вашего виста; а дочь выходи за него замуж!

— А Стрешников? Играл в карты?

— Этого я уж и не знаю, почему вы называете любезным человеком.

— А потому, что за него вышла замуж Верочка Кубинская, которая получше и поумнее и побогаче Саломеи.

— Для тебя свое детище, я вижу, хуже последней девчонки! Нет, я не так думаю! Для меня дочь дороже, ближе всех! Для счастья дочери я готова пожертвовать жизнью! . . А для тебя всё равно, существует она на свете или нет; счастлива или

изнывает в своей каморке, как в тюрьме!.. Она же виновата, что родилась на свет с чувствующей душой, с сознанием своего достоинства и не в состоянии пожертвовать собою против сердца, отдать руку без разбору первому, кто бы вздумал ангажировать ее на супружество. Это не кадриль-с!

— А вот потому-то что не кадриль я и думал, что не на балах надо искать пары.

— А позвольте узнать, где же? Где девушка может показать себя?

— Помнится, что ты показалась мне у себя дома.

Этот супружеский комплимент смутил несколько Софью Васильевну; она припомнила, как ее суженый прошел мимо окна, взглянул и — дело кончено.

— Теперь уже не те времена, — сказала она вздохнув, — суженых не высидишь и не заманишь через окно.

— Да, именно теперь и именно Саломее уж не только высидеть, да и не выездить на паркете в галоп человека по-сердцу, — сказал Петр Григорьевич вздохнув. — Вот уж десять лет как она высматривает не в окно, а в лорнет, да никого не видит. Вот уж года с два как понадобилась априприправа к девической красоте.

— Как тебе не стыдно! .. Лучше бы ты думал, как поправить наше дело. Как хочешь, в именины Саломеи надо дать бал... некоторые почти уж званы... об нем уж говорят...

— Пусть говорят.

— Помилуй! Я знаю, что почти все мои знакомые готовят уже наряды.

— Пусть готовят.

— Это срам! У Саломеи есть надежды на князя.

— Не договаривай! Пустяки!

— Отчего пустяки?

— Ну, что̀ говорить, когда ты сама это знаешь.

— Боже мой! Что̀ ж мы будем делать!

— Ничего; не дадим бала, и кончено.

— Как это можно!

— Не звать — и кончено!

— Как это можно! Многие приедут и незваные.

— Запереть ворота!

— Помилуй! Тебе, кажется, всё это забава.

— Нисколько. Кто приедет — отказать.

— Без причины!

— Сказать, что кто-нибудь болен.

— Я этого на себя не возьму, ни на себя, ни на Саломею! Я не хочу накликать болезни.

— Сказать, что я болен; я, пожалуй, залягу в постель и пошлю за доктором.

— Нет! Я не в силах этого перенести! Я продам все свои брильянты и жемчуг и непременно дам бал.

— Неси последнее со двора! — вскричал Петр Григорьевич с досадой: — и пойдем по̀-миру! . . Говорю тебе коротко и ясно, что если я не употреблю всех последних средств на уплату долга в опекунский совет, то мы — нищие! Три года неурожай, вместо тридцати тысяч доходу имение съело меня, а всё-таки одна на него надежда поправить свои обстоятельства. Теперь рассуждай как хочешь, что̀ лучше: сберечь ли имение, или доканать его.

— Но неужели нет никаких средств на эту зиму? Я тебе ручаюсь, у Саломеи непременно будет жених, прекрасный человек, с состоянием. . .

— Я тебе говорю, выбирай: прожить последние средства и долететь на крыльях до нищеты, или сложить крылья и сидеть у моря да ждать погоды.

— Я тебе говорю, что Саломея будет заму-

жем, — сказала нерешительно Софья Васильевна. — По крайней мере, я буду знать, что она пристроена.

— Хм! а если так не случится, тогда что̀ будет? У нас не одна Саломея; надо подумать и об Катеньке. Для одной всё, а для другой ничего.

— Катеньке? Ах, боже мой, да я ей найду тотчас жениха, — сказала Софья Васильевна, обрадовавшись этой мысли. — За ней дело не станет. Разумеется, такой партии она не может сделать, как Саломея; но лишь бы человек с состоянием, который мог бы и нас поддержать.

— О-хо-хо! На Катю у меня больше надежды. Но всё-таки званого бала у нас не будет.

— Ну, хорошо, я сделаю маленький вечер.

Петр Григорьевич согласился. Но когда Софья Васильевна объявила Саломее, что в ее именины будет *маленький вечер*, а не grand bal paré... [1]

— Ah! comme c'est mesquin! [2] Какое мещанство! — вскричала она.

— C'est pour varier, ma chère, [3] для разнообразия; ведь это тот же бал, но без особенных требований.

— Покорно вас благодарю! Лучше не нужно ничего.

— Но, милая моя, мы не можем давать теперь балов, наши обстоятельства в самом худом положении. Мы прожили последнее, в надежде, что ты выйдешь за̀муж за человека с состоянием, и это поддержит нас.

— В первый раз слышу, — сказала Саломея с пренебрежением, — жаль, что давно не сказали

[1] Большой парадный бал.
[2] Ах, как это жалко.
[3] Это для разнообразия, милая.

этого и не приискали мне жениха, необходимого для вас... Во мне достало бы столько великодушия, чтоб пожертвовать собою для благосостояния родителей.

— Но что̀ ж делать, милая?

— Что̀ вам угодно, то и делайте!.. На первый раз хоть маленький вечер!

Софья Васильевна как-то не умела оскорбляться дерзкими словами Саломеи; в отношении ее она была *детская раба;* неудовольствия свои на Саломею она вымещала на Катеньке. Боясь не угодить возлюбленной дочери, Софья Васильевна облекла маленький вечер в надлежащую помпу. Все пошло попрежнему; но она стала заботиться о судьбе Катеньки, избрала для этого старый, верный обычай.

В это-то время и явилась в доме Василиса Савишна, *очень милая и добрая женщина,* как выражалась Софья Васильевна, в ответ на вопросы Саломеи, откуда она выписала такую пошлую дуру, и что̀ за знакомство с чиновницами-потаскушками? Вскоре вслед за Василисой Савишной явился в дом Федор Петрович Яликов, о котором и будем мы иметь честь вслед за этим держать речь.

III

Федор Петрович Яликов имел бедного, но, как говорится, благородного родителя, потому что Петр Федорович, произведя на свет сына, был уже коллежским регистратором и служил в одном из судилищ С... губернии. Лишившись первой жены, он женился вторично на каком-то случае, по которому сынишко Фединька был записан в корпус, а сам он получил место исправника где-то в другой

губернии и забыл в служебных и семейных заботах не только свою родную губернию, но и родного сына. Как попугай, сперва прислушался он к словам жены, а потом сам начал говорить: «бог с ним, пусть его учится», а через несколько лет, — «теперь он, чай, уже на службе; бог с ним, пусть его служит, пробивает себе дорогу, как отец! Вот, дело другое — дочь!»

Между тем как почтенный родитель, не любивший бесполезной переписки с сыном, оперялся насчет ближнего и далекого, Фединька, одаренный от природы тупыми понятиями, никак не мог изострить их науками. Несмотря на это, за прилежание и благонравие выпущен был в офицеры в пехотный полк, и долгое время служил с рвением и усердием; сроду не отличался, но зато также сроду ничего не пил, сроду карт в руки не брал, сроду не гуливал, и в этом случае часто ставился в пример другим. Несмотря на то что Яликов был примером *готовности, неуклончивости и ни малейших отговорок*, товарищи любили его за готовность итти без малейших отговорок вместо каждого в караул. Полк, в котором Федор Петрович проходил чины прапорщика, подпоручика, поручика и, наконец, штабс-капитана, во все время его службы стоял то на границе, по пикетам, то близ границы, по деревням. Только и свету было для него, что бал подле жидовской корчмы. Когда, несмотря на постоянные занятия по службе, поспело сердце Федора Петровича для любви, ничто так не услаждало его, как пляска очаровательных русначек с льняными волосами, с курносенькими носами, ножки в чеботках. Одна так приглянулась ему, что он решился сказать ей:

— А що, Донечко, любишь ты меня?

— А що, паночко, женысь на мни, так и буду любить, — отвечала она.

Федор Петрович и задумался. И чего доброго, быть бы *веселью*, да судьба готовила великого мужа для великой жены.

Был же анекдот, что один *любезный друг* одного *доброго приятеля*, которого он приучил в дружбе не отказывать ему на «нет ли, брат, у тебя, чего-нибудь, серебра, или какой-нибудь мелкой бумажки?» — узнав, что его доброму приятелю выходит огромное неожиданное наследство.

— А что, любезный друг, — сказал он ему: — если б ты получил вдруг огромное наследство, тысяч двести или триста, поделился бы то со мной?

— Двести тысяч! Можно поделиться.

— Честное слово?

— Хоть два.

— Добрый человек! Вот как: я получу наследство — с тобою пополам; ты получишь — со мною пополам; руку!

— Это что называется: что есть — то вместе, чего нет — пополам.

— Чем чорт не шутит: давай руку! Будет или не будет, а всё-таки две надежды лучше чем одна.

Сегодня сделано условие, а завтра добрый приятель получает известие о наследстве, и от мысли, что ни с того, ни с сего, а надо делиться с любезным другом, стали у него волоса дыбом. И очень естественно; потому что пословица «что есть, — то вместе, чего нет — пополам» необыкновенно как умна. В ней именно говорится: что есть и что будет, то вместе, а не пополам. Пополам только то, чего нет и чего не будет.

Сам полковой адъютант прискакал к Яликову с известием, что ему вышло огромное наследство.

— Любезный друг, — сказал он ему, входя в хату, — во-первых, здорово, а во-вторых, убирайся в отставку!

— Что̀ такое, Василий Петрович? — спросил Яликов, побледнев.

— Больше ничего, пиши прошение в отставку по семейным обстоятельствам.

— Что̀ ж такое я сделал, Василий Петрович? — проговорил с ужасом Яликов.

— Что̀ сделал? Каков гусь! Как будто не знает!

— Ей-богу, ничего не знаю... Я... право, ничего!

— Говори, говори! Ничего! Полковнику и всему штабу известно, а он ничего не знает!

— Господи! что̀ такое я сделал? — проговорил Яликов сквозь слезы. — Я поеду к полковнику... Скажите, Василий Петрович, что̀ такое?

— Я говорю, что подавай в отставку; тут другого ничего не может быть.

— Это какая-нибудь клевета! Я ни в чем ни душой ни телом не виноват, вот вам Христос!

— Как клевета? Позвольте вас спросить: это вы мне говорите, что клевета?

— Нет, Василий Петрович, я сказал так, не касаясь вас, а потому, что кто-нибудь, может быть, несправедливый какой-нибудь донос сделал на меня...

— Донос? Нет-с, формальное отношение, за номером.

— Это просто несчастие... Да от кого же отношение?

— Из суда.

— Я, Василий Петрович, никакого преступления не сделал, бог свидетель!

— Нет-с, там сказано именно: Федор, Петров сын, Яликов.

— А чорт знает, верно, какой-нибудь другой есть Федор, Петров сын, Яликов.

— А как вашего отца зовут?

— Зовут? Петром, — сказал Яликов боязливо.

— Ну-с! Надо знать имя и отчество.

— Отчество?.. Да я родителя своего с малолетства и в глаза не видал.

— Так вы, стало быть, отрекаетесь от своего отца? Очень хорошо, так я так полковнику и донесу.

— Извольте донести, что я никаких сношений с ним не имел и не знаю, где он обретается; а потому по его делам суду не причастен.

— Непричастны?

— Непричастен.

— Очень хорошо-с; а знаете ли вы, что он умер?

— Умер?

— А! Что̀ побледнел?

— Никак нет-с; что̀ ж, не я в этом виноват...

— Точно не виноват?

— Ей-ей!

— Ну, а он оставил духовную, которая представлена в суд; так теперь и извольте с ней разделываться!

— Да за что̀ ж я буду разделываться, Василий Петрович? Если б я был прикосновен к какому-нибудь делу...

— Да по духовной он вас сделал прикосновенным.

— Ей-богу, грех батюшке, за то, что он делает сына своего несчастным!

Федор Петрович такую сделал горестную мину,

что полковой адъютант не в состоянии уже был удержаться от хохоту.

— Смейтесь, Василий Петрович; если бы вам случилось так... посмотрел бы я!

— Нет брат, со мной этого не случится!

— Бог знает!

— Мой отец умер и ничего мне не оставил.

— Счастье ваше!

— Сделай одолжение, возьми это счастье в карман, а мне уступи несчастье, которое навязывает тебе на шею отец. Хочешь?

— Говорить-то легко!

— Клянусь, давай только доверенность, что предоставляешь мне получить по духовной все наследие и распоряжаться им как угодно.

— Какое же наследие, Василий Петрович?

— Какое бы ни было; не твое дело; ты оставайся служить, а я выхожу в отставку.

— Так батюшка наследие мне оставил?

— Это уж не твое дело, ты служи себе, а я поеду.

— Как можно, Василий Петрович; батюшка оставил мне наследие, а вы поедете.

— А не сам ли ты отрекся от отца?

— Как можно отрекаться от отца; я говорил только, что не причастен ни к какому делу.

— Ну да, да; а дело-то и состояло в наследии.

— Нет, от наследия я не отрекался.

— Э, брат! Губа-то у тебя не дура! А знаешь ты пословицу, что такому сыну, как ты, не в помощь богатство.

— Уж очень в помощь: не всё же так жить... Ах, чудо! Теперь я женюсь!

— Женись, да женись на какой-нибудь дуре.

— Это для чего?

— А для того, чтоб дети были умны.

— Это почему?

— Ты учился математике?

— Учился.

— Ну, так должен знать, что и минус на минус дает плюс.

— Не понимаю; математика давно уж из головы вышла.

Яликов разгулялся:

— Эй, Курдюков! — крикнул он.

— Чяво изволите? — спросил вошедший денщик.

— Вели-ко, тово... — сказал Яликов, ходя по комнате и потирая руки.

— Чяво? — повторил денщик.

— Ну, как оно?.. тово...

Денщик стоял в ожидании решения, чего потребует его благородие.

— Барин твой с ума сошел, — сказал полковой адъютант, — покуда придет в себя, дай мне чаю.

— Да! чаю! — сказал Яликов.

— Насилу надумался!

Яликов был вне себя. В первый раз воображение его вырвалось из-под спуда привычных служебных понятий и начало строить ему мир вне службы; но так как материалов для этой постройки в голове Федора Петровича было очень недостаточно, то на первый случай материалы были заняты из сказочного мира. Федору Петровичу мерещилось, что он ведет Доню в свои волшебные палаты.

— А, Доня, каково?

И Доня дывится, говорит: «Ой-то квартырочка! Який на пане червонный жупан!»

— Що, Доню, хочешь грошей? Хочешь медвины?

Хочешь музыку слухать? — Гей! — вскрикивал Яликов во все горло.

— Что ты кричишь во все горло? — прерывал мечты полковой адъютант; а денщик вбегал и спрашивал: «чяво прикажете?»

— Вели-ко... тово, — говорил Яликов, очнувшись от бреда.

— Чяво? — повторял денщик.

— Чяво! Вылей ему ведро на голову! Ну, брат, ты спятил, Яликов.

— Да я всё думаю, Федор Петрович, каким образом подавать в отставку? Я никогда не подавал, не знаю, как это делается.

— Верхового коня подаришь, так я тебя выпровожу, сперва в отпуск на двадцать осемь дней с отсрочкой, а потом в отставку.

— Подарю, ей-богу, подарю!

— Ну, ладно.

Полковой адъютант устроил все как следует, и чрез несколько дней Федор Петрович Яликов отправился в путь.

Сам бы он не умел принять и наследства; но нашлись добрые люди, которые ему помогли в этом. За исключением разных расходов, Федору Петровичу очистилось более двухсот тысяч наличных, да именьице душ в триста. Деньги лежали в опекунском совете; и вот он отправляется благополучно в Москву.

Въезжая в Москву, Федор Петрович невольно смутился; что-то страшно стало: ему казалось, что он приехал в какой-то иноземный город, в тридесятое царство; а денщик его, Иван, дивясь на огромные домы, поминутно вскрикивал:

— Э! Федор Петрович, извольте-ко посмотреть, какие казармы! Э! еще больше! Э! коляска-то,

словно полковничья!.. Народу-то, народу-то! А что̀, брат, почтарь, ярмонка что̀ ли здесь? а? Эвона! наш брат, солдатик!.. А что̀, брат служивый, здесь полковая квартира, что̀ ль?

— А где ж барин остановится-то? — спросил ямщик Ивана.

— Разумеется, на постоялом дворе; где ж барину останавливаться-то, как не на постоялом дворе.

— Вестимо, у нас славный постоялый двор.

Прокатив через всю Москву, ямщик и привез Федора Петровича на постоялый двор, на другом краю Москвы.

Федор Петрович молчал от недоумения, куда он заехал; а Иван дивился вслух:

— Вот уж штаб-квартира, так штаб-квартира! Ехали, ехали! Да скажи ж, брат, кто ж это живет в больших казармах-то! Неужто все штабные?

— В казармах полковые живут.

— А вот в той, что̀ со столбами-то? Да, да и позабыл: ведь ты уж говорил, что там конская скачка, манеж, то есть. Э! Федор Петрович, смотрите-ко, кони завезли на крышу зарядный ящик! Постой, постой! Федор Петрович, смотрите-ко!

— Да это киатер, не настоящие лошади, — сказал извозчик.

— Да что̀ ж это правит-то не солдатик, а трубочист? К чему ж это туда завезли? а?

— А кто ж их знает? Чай вывеска, дескать: здесь на конях скачку производит.

— Вот что̀!

На постоялом дворе Федора Петровича угостили по-русски, чем бог послал: сперва чайком с московскими калачами, а потом предложили поужинать

щец, да жареной говядинки. Это все еще было нам с руки и привычно; но на-утро предстояло Федору Петровичу отправиться в опекунский совет отыскать там рекомендованного ему чиновника и при помощи его получить по билету часть денег.

Федор Петрович был вне себя, собираясь в этот поход.

— Да не прикажете ли, сударь, извозчика, — спросил хозяин, — пешком до города далеко; дрожки, или колясочку? У нас здесь славные извозчики.

Сначала Федор Петрович испугался было предложения колясочки: ему и на дрожках еще не случалось ездить; а в коляске ездит только полковой командир; но потом одумался: эка беда, мы и сами в коляске поедем!

— Коляску!

— Как же, сударь, прикажете мне сзади ехать? — спросил Иван.

— Конечно уж; кто ж в коляске без человека ездит.

Вот и поехали. Денщик не привык на запятках стоять, ведь это не во фронте: обеими руками он вцепился в задок коляски, и налег на него боком. Ему хотелось подивиться вслух на все необычайные встречи; но он боялся разинуть рот, чтоб не слететь. Только раз не вытерпел, толкнул Федора Петровича сзади, вытянулся, чтоб сказать ему на ухо: «Генерал, сударь, какой-то едет! . .» да чуть было не ввалился в коляску. Федор Петрович был объят каким-то страхом. Ему казалось, что все на него смотрят, и кто-нибудь встретится да крикнет: «А! это вы, сударь! Я вам дам разъезжать на колясках!»

Подъехав к опекунскому совету, Федор Петрович с тайным трепетом в душе вышел из коляски. Войдя в залу, прежде всей толпы народу он увидел генеральские эполеты, вздрогнул и остановился у входа. Он не пришел в себя до тех пор, покуда не выбыли из толпы страшные чины, и не остались только ходячие и сидячие фраки, кафтаны, бороды, салопницы и иное бабье.

— Вам что угодно? — спросил его один чиновник.

— Петра Кузьмича, — отвечал Федор Петрович, — письмо к нему-с.

— Пожалуйте сюда.

Петр Кузьмич явился, прочел письмо, очень обрадовался, что может служить Федору Петровичу, взял от него билет, и через несколько минут Федор Петрович, в поте лица, трясущимися руками считал огромную сумму денег.

— Да уж я верю-с! — повторял он, останавливаясь считать.

— Нет-с, лучше сосчитайте, чтоб не было недоразумений.

— Точно так-с, — сказал, наконец, Федор Петрович, и набил деньгами все карманы.

Петр Кузьмич был добрый человек и угодливый; узнав, что Федор Петрович первый раз в Москве и совершенно не имеет знакомых, просил его к себе.

— Вы долго намерены здесь пробыть?

— Право, не знаю; надо подождать отставки; а потом поеду в деревню.

— Вам надо непременно познакомиться с Москвой, — сказал Петр Кузьмич, и вследствие этого вызвался быть руководителем его.

Прежде всего повез он Федора Петровича

позавтракать в московский трактир, угостил шампанским; но Федор Петрович не позволил ему расплачиваться. «Нет уж, позвольте! — сказал он. — Не приходится так», и, вытащив из кармана пучок бумажек, отделил одну и бросил на стол. Потом Петр Кузьмич повез его к себе на чай, познакомил с женой и дочерью, и, узнав, что московский гость остановился на постоялом дворе, с ужасом вскричал: «Как это можно, вас там оберут! Переезжайте в гостиницу, вот рядом со мною, тут прекрасный номер, стол, все удобства. Пошлите своего денщика тотчас же перевезти вещи; а мы между тем сыграем вчетвером по маленькой в вист».

Как сказано, так и сделано. Петр Кузьмич сам сбегал в гостиницу, выбрал номер, послал Ивана за вещами, а Федора Петровича усадил играть по маленькой в вист, о котором он в полку получил некоторое понятие, потому что часто своя братия, за неимением четвертого, сажала его.

Федор Петрович со дня создания своего не вкушал еще такого радушия, каким обаяли его Петр Кузьмич, Аграфена Ивановна и Дашенька.

Петр Кузьмич поминутно повторял: «Будьте с нами, почтеннейший, без церемоний, как свой», а Аграфена Ивановна поминутно повторяла: «Не прикажете ли еще вареньица?», а Дашенька влюбилась в мундир, и повторяла, что нет лучше и благороднее армейского мундира. Когда же Федор Петрович, при сдаче, подавал ей каждую карту в руки, она принимала ее с приличной этой учтивости сладостной ужимкой.

Угостив ужином, Петр Кузьмич сам проводил московского гостя на новоселье.

Федору Петровичу не спалось от приятного чувства, которым он упился,

На другой день Петр Кузьмич явился к нему пожелать доброго утра и напомнить, чтоб он и не издерживался на трактирный обед.

— Обедаем у меня; по возвращении от должности я забегу к вам. А если вам скучно покажется, так милости прошу к жене, она дома; будьте с нами без церемоний, как свой.

Федор Петрович поблагодарил; но к Аграфене Ивановне не пошел. Не зная что̀ делать, он зевал в ожидании обеденного времени.

Вдруг в двери какой-то усач в военном сюртуке, без эполет.

— Мое почтение-с, честь имею рекомендоваться: маиор Куриков; кажется, не ошибаюсь: Федор Петрович?

— Точно так-с, — сказал Федор Петрович, смутясь, — прошу извинения, что я в халате.

— Ничего-с, — сказал майор, — сделайте одолжение, не беспокойтесь, что̀ за церемонии между военными. Мы с вами свой брат; я потому-то и адресовался.

— Прошу покорно-с, я сейчас...

— Нет, нет, сделайте одолжение, ведь я сам к вам пришел попросту.

— Не прикажете ли трубочку?

— Вот это так; почему же; да впрочем, не закусивши, я как-то не привык; натощак как-то горечь на языке очень чувствительна.

— Да вот сейчас, придет денщик.

— Э, к чему большую закуску, рюмку водки, да так чего-нибудь... Вы давно изволите находиться в службе?

— Давно-с, — отвечал Федор Петрович и начал читать наизусть свой послужной список.

— Довольно послужили; по времени вам бы

надо быть уж по крайней мере маиором. Ей-богу, как приятно, как встретишься с своим братом военным. Я ведь здесь, надо вам сказать, пенсию получаю. На-днях получать, а у меня вышли деньги; я и обращаюсь к одному знакомому, к чиновнику, в казенной палате служит; думаю, ведь всё-таки человек же и еще с достатком, верно, таких пустяков не откажет: всего-то красненькую... Что ж вы думаете?

С этим словом маиор хлопнул рукою по столу.

— Дал или нет?

— Уж конечно-с, как же отказать, — сказал Федор Петрович.

— Нет-с! А вам ведь, чай, известно, каково честному и благородному человеку слышать отказ в десяти рублях, а? Согласитесь сами.

— Да-с, это ужасно.

— Как же не ужасно; я просто плюнул ему в глаза, да и пришел к вам: свой брат, военный, не то что кто-нибудь!.. Мне ведь только на три дня, до получения пенсии.

— С величайшим удовольствием; вот сейчас придет Иван, я пошлю его разменять бумажку.

— Да у вас что?

— Двадцатипятирублевая.

— Пожалуйте, я сам принесу вам сдачи. Помилуйте, платить еще за размен собаке-лавочнику! Мне при покупке разменяют. До свидания! Право, такие мерзавцы эти приятели, у меня из головы не выходит. Эх, кажется, дожжичек накрапывает; а мой человек чорт знает куда со двора ушел и ключ с собой унес... Нет ли у вас какой-нибудь шинели, я только в город съезжу, — сказал маиор, увидя в передней шинель. — Вот эту можно взять?

— Сделайте одолжение, — сказал Федор Петрович, — вот я позову человека.

— Э, не беспокойтесь, я сам.

Маиор накинул на плечи шинель, сказал «до свидания», и исчез.

Не прошло двух минут, вдруг Федор Петрович слышит:

— Пойдем, пойдем! Ты не смей говорить, что я украл! .. Пойдем!

Дверь отворилась, и самозванца-маиора ввели за шиворот двое трактирных прислужников и денщик Иван.

— Федор Петрович! — вскричал он, — ведь вы сами мне дали своей шинели съездить в город... Эти мошенники остановили меня и говорят, что я украл! Представьте себе!..

— Я сам дал шинель, — сказал Федор Петрович.

— Что, видите, канальи! Я сейчас иду к квартальному! Как вы смеете обижать честного и благородного человека!

И с этим словом маиор рванулся, шинель осталась в руках Ивана и двух прислужников, а он в двери и исчез.

— А! собака, ушел! — сказал один из прислужников. — Ведь это, сударь, мошенник.

— Как ты смеешь называть маиора мошенником?

— Маиор? Знаем мы его! Ходит по домам, да просит то на похороны жены, то на родины. Что день, то родит или умрет. Экой маиор! Зачем вы шинель ему дали?

— Он у меня выпросил десять рублей взаймы, да красной бумажки не было, так он взялся сам сходить разменять.

— И деньги еще взял? Ах, он собака! Ну,

хорошо, что шинель отстояли, а то бы и ей быть в кабаке.

Вскоре явился Петр Кузьмич и увел Федора Петровича к себе; и на следующий день к себе: Аграфена Ивановна просит к себе на утренний кофе; после кофе Дашенька просит подержать моток шерсти; потом помочь перетянуть пяльцы. Потом Аграфена Ивановна посадит с собой играть в пикет. Потом придет из совета Петр Кузьмич:— «Не выпить ли перед обедом настоечки, Федор Петрович, а? Как вы думаете?» День пройдет, а завтра опять то же, да не то.

Однажды, после обеда, Аграфена Ивановна стала подробно описывать Федору Петровичу счастье семейной жизни и «блаженство обладать благовоспитанной, доброй супругой»; вдруг, откуда ни возьмись, влетела в комнату Василиса Савишна.

— Здравствуйте, матушка, Аграфена Ивановна.

— Ах, здравствуйте, Василиса Савишна, — отвечала, несколько смутясь, Аграфена Ивановна.

— А где ж... Дарья Петровна? — спросила Василиса Савишна, всматриваясь зорко в Федора Петровича. — А я ей приятную весточку принесла.

— Пойдем, пойдем, Василиса Савишна, ко мне в комнату. Извините, Федор Петрович.

— Что-й-то, матушка, за офицер?

— Приезжий из полку; привез письмо Петру Кузьмичу от одного знакомого.

— А, вот что. Ну-с, могу поздравить, дело слажено! Он сказал, что ему Дарья Петровна уже и не знать как по сердцу пришлась, и что согласен на полное приданое, да три тысячи рублей деньгами; только просит, чтоб серебра прибавили: видите, говорит, у меня случится стол и на двадцать чело-

век, так дюжины ложек мало, не занимать же стать.

— Вот тебе раз! — сказала Аграфена Ивановна: — пустяки! дюжина ложек — уж так водится; и почище его — да больше не дают.

— Ѝто вы это, Аграфена Ивановна, не в первый раз мне свадьбу править; случалось отпускать и пудик серебра, не то что дюжину столовых да полдюжины чайных.

— Ну, может искать невесту богаче!

— Что̀ ж это вы, матушка, Аграфена Ивановна, хулить стали нашего жениха? Не понравилась бы Дарья Петровна, пяти тысяч бы не взял.

— Даша не на придачу идет к тысяче! Не тому, так другому понравится.

— Дай ей бог вашими устами мед пить; да не о том дело: сто̀ит ли того, чтоб из полдюжины ложек разводить дело! Я же от вашего имени просила его сегодня к вам на чашку чаю.

— Не могу принять, нас не будет дома, сегодня мы званы на вечер в гости.

Василиса Савишна посмотрела искоса на Аграфену Ивановну, на лице которой выражалось уже нетерпение скорее выжить от себя сваху.

— Так это что̀ ж такое значит, сударыня?

— Надоело мне, мать моя, торговаться. Да что̀ тут долго говорить: не по нутру мне этот жених.

— Вот как! Нет уж, сударыня, так не водится. Я к вам в свахи не навязывалась! Поставили вам жениха не с *вольного места*, не с площади!

— Так и его навязывать нечего!

— На то был, сударыня, смотр, — не понравился — и в дом бы не приглашать. Не завязывать дела, не ставить бы меня...

— Довольно, довольно!..

— Нет-с, позвольте, я не дура вам досталась, скакать всякой день то от вас к нему, то от него к вам, да тратиться на извозчика.

— За извозчика мы платили.

— Полтинник-то пожаловали один раз? Покорно вас благодарю! А время и слово-то мне дороже ваших денег: я обманщицей прослыть не хочу! Нет, уж так не водится, Аграфена Ивановна.

Василиса Савишна так громко начала причитывать, что Аграфена Ивановна, при всей охоте побраниться, не надеясь на стену, которая разделяла ее комнату с гостиной, где Федор Петрович играл в свои козыри с Дашенькой, не решилась на крупный разговор.

— Извини, Василиса Савишна, у нас гость, да и пора мне одеваться; приходи как-нибудь на-днях.

— Покорно благодарю! — отвечала злобно Василиса Савишна.

Аграфена Ивановна вышла в гостиную, а Василиса Савишна в девичью, где также имела кой-какие делишки.

На другой день, только-что Федор Петрович встал, денщик Иван доложил ему:

— К вам, сударь, пришла какая-то барыня, говорит, что ей дело до вас.

— Какая барыня?

— В чепце.

«Не Аграфена ли Ивановна?» — подумал Федор Петрович.

— Ах, Господи, а я еще не одет; давай одеваться!

Иван бросился за платьем; но дверь уже приотворилась — показался чепец.

— Извините! — вскричал Федор Петрович, выбежав в другую комнату. — Я сейчас! Покорнейше прошу садиться.

Надев наскоро *все* и *сверх всего*, Федор Петрович вышел, и ему представилась почтенная Василиса Савишна в чепце и салопе.

— Извините, ваше высокоблагородие, — сказала она, — что я вас потревожила. Вы, я думаю, признали меня? Вчера у Аграфены Ивановны вы изволили быть, и я приезжала к ней в гости.

— Ах, точно так-с. Покорно прошу садиться.

— У меня до вас маленькое дельцо; только уж сделайте одолжение, между нами... Изволите ли видеть: один родственник мой, регистратор в суде, по знакомству видался часто с дочкой Аграфены Ивановны, Дарьей Петровной, и склонил ее на любовь к себе. Вот, как водится, по родственным связям, я взялась хлопотать, посватала. Дело пошло на лад: Петр Кузьмич и Аграфена Ивановна с радостью приняли предложение, об Дарье Петровне и говорить нечего — чай вам известно: человек по сердцу, половина венца. Сладили о приданом. Уж, конечно, небольшое, да и родственник-то мой небольшой человек; например, вашему бы высокоблагородию и стыдно было взять за себя какую-нибудь секретарскую дочь в ситцевом платьишке — люди бы стали пальцем указывать, — ну, а ему ничего: по Сеньке и шапка. Так вот, как я уж вам докладывала, оставалось благословить, да и к венцу. Приезжаю вчерась, смотрю, Аграфена Ивановна оглобли воротит. Что, думаю, такое значит? Что-нибудь да не даром. И точно, сама Дашенька прислала мне сказать через девку, как вы думаете, ваше высокоблагородие, что бы такое?

— Право не знаю, — отвечал Федор Петрович.

— Не знаете?

— Ей-ей, ничего не знаю!

— Ну, слава богу, что еще недалеко ушли

замыслы Аграфены Ивановны! Позвольте узнать, каким образом вы познакомились с Петром Кузьмичем?

— Да я брал деньги в совете.

— Собственные?

— Собственные.

— Ну, так, так! Чай, большая сумма?

— Нет, я часть только взял: тысяч двадцать пять.

— О-го-го, да чего ему больше! Вы, чай, в первый раз в Москве?

— В первый.

— Ну, так! Он чай вам и квартиру предложил подле себя; чай, так и ухаживает около вас. Знаем! Так вот оно что́! Оно, то есть, ничего: вздумал выдать дочь за высокоблагородного.

Лицо Федора Петровича сравнялось цветом с воротником, он откашлянул и отер градины рукой.

— Как узнала я причину, так и бросилась к вам; перепугалась: думала, что уж Аграфена Ивановна обошла вас кругом: у-у-у, хитрая баба! Да как взглянула я на вас, так и поуспокоилась: нет, этого человека не приманишь мокрой курицей; и по красоте и по высокому званию и по великому состоянию ему подавай белую лебядь. А Дашенька, правду сказать, мокрица, я, было, и родственника отговаривала, да уж, верно, пришлись друг другу по́-сердцу... Так вот какие дела, ваше высокоблагородие, здесь у нас подчастую губят людей. Заведут, умаслят, упоят, да и женят, да уж и не спрашивай на ком.

— Скажите, пожалуйста! — проговорил Федор Петрович.

— Ей-ей, так! Пронюхают у человека деньги, тотчас и с головой его в кошель... Я уж одной ми-

лости буду просить у вашего высокоблагородия... дайте мне честное слово...

— Сделайте одолжение, чтó такое?

— Только одной: не расстраивать свадьбу Дашеньки с моим родственником.

— Да у меня, ей-богу, и в голове не было.

— Э, сударь, нальют в горло, бросится в голову; приворожат.

— Слыхал я.

— Да такие ли еще вещи бывают! Одного, также богатого человека, завели, напоили шампанским с каким-то зельем, верно, с дурманом, да и женили чорт знает на ком; да мало этого: пьяному дали подписать бумагу, что все имение отказывает жене, обобрали, да и из дому выгнали. Ходит теперь по улицам да просит милостыню.

Федор Петрович вытаращил от ужасу глаза.

— Сделайте милость, прекратите это знакомство; не по вас оно, ваше высокоблагородие: унизительно, да и к добру не поведет. Аграфена Ивановна — настойчивая женщина, что задумает — из-под земли выроет. Себя погубите, да еще и свадьбу расстроите — грех. Послушайтесь моего совету.

— Да я... позвольте узнать имя и отчество?

— Василиса Савишна.

— Я, Василиса Савишна, и не думал; чтó мне, бог с ними! Да и Дарья... как бишь...

— Петровна.

— Мне бог с ней! И шагу в дом не сделаю.

— Вот благородного-то человека и видно. Да позвольте уж доложить, что по званию вашему неприлично и стоять-то в этой гостинице. Ведь здесь, в Замоскворечье, всякой сброд останавливается. Здесь как раз мошенники оберут.

— Правду сказать, третьего дня один стянул у меня двадцать пять рублей, да еще шинель в придачу.

— Изволите ли видеть. Право, тотчас же переезжайте в гостиницу, где останавливаются одни господа. Лучше всего к Шевалдышеву на Тверской. Чай, вы здесь знакомство сделаете, так чтоб не стыдно и принять к себе.

— Как вы изволили сказать?

— К Шевалдышеву.

— Позвольте записать.

— Или нет, лучше к Печкину. Какие там органы музыку играют, чудо! Против Кремлевского Саду.

— Против Кремлевского Саду?

— Уж я вам столько благодарна, что и сказать нельзя! Из благодарности сама буду хлопотать о невесте. Есть у меня на примете: вот бы парочка. Молоденькая, первая красавица в Москве, ей-ей! С большим состоянием, свой огромный дом в Москве, имение в Московской губернии; отец и мать — знатные люди; а какие добрые! Вот им такой бы зять по́-сердцу.

— Помилуйте-с, что́ ж особенного? — сказал Федор Петрович.

— Как что̀? В Москве, сударь, таких женихов не много. Да вот, если б только бог дал, вы увидели. Я уж найду случай показать вам. Из благодарности всё сделаю!

— Покорнейше благодарю, Василиса Савишна.

— Вперед не благодарите. Там заводить не будут: то сами благородные люди, сами денежки-то считают тысячами. Как живут! .. Да сами, бог даст, увидите. Пора уж мне. Я вам советую скорее съезжать отсюда, да еще и не сказывать куда, а то

Петр Кузьмич... Не извольте ничего пить, чем потчивать будут, — прибавила Василиса Савишна шопотом.

— Нет! — отвечал Федор Петрович. — Я сейчас же расплачусь и уеду отсюда.

— И лучше всего! Прощайте, ваше высокоблагородие. Так вы уж к Печкину переедете?

— К Печкину.

— Я буду непременно к вам, если позволите, завтра же, с хлебом-солью, с кренделем: уж так водится.

— Очень много буду обязан.

— Уж как вы меня обязали, что и себя и других в грех не ввели. А всё деньги, деньги! Не будь у вас их, Петр Кузьмич и Аграфена Ивановна и на чин бы не посмотрели. Прощайте, батюшка!

Василиса Савишна, после десяти прощаний, отправилась. Федор Петрович задумался.

— Каковы шутки задумали! — сказал он, наконец. — Меня женить на своей шлюхе-дочке! Уж я бы скорее женился на Доне... Будь она не просто мужичка, ей-богу, поехал бы, да и женился! . Вот, посмотрим, что̀ за невесту предлагает Василиса Савишна? .. Эй, Иван! .. Найми извозчика переезжать отсюда, да кликни хозяина.

Иван вышел и тотчас же опять воротился.

— Девка пришла. Петр Кузьмич и Аграфена Ивановна, говорит, кланяться приказали и звать к себе кофе пить.

— Скажи, что я уехал.

— А если спросят куда?

— Скажи просто, что не знаю.

— Да ведь я уж сказал, что дома.

— Э, дурак, зачем ты сказал?

— Да кто ж их знал?

— Ну, скажи, что мне некогда; сейчас еду, по службе. Эх! скверно! Петр Кузьмич сам прибежит.

— Ну, а я скажу ему, что барин уехал.

— Будет он смотреть на тебя! Прямо сюда придет.

— Так вы извольте пойти покуда в трактир, где чай пьют.

— В самом деле. Приведи же скорее извозчика, да укладывайся.

Федор Петрович оделся и вышел в бильярдную. Иван исполнил его приказание, передал ответ девке, сбежал вниз, нанял извозчика и, воротившись, начал укладываться. Петр Кузьмич, действительно, прибежал сам.

— Где барин?

— Уехал-с.

— Куда?

— А бог его знает, по службе.

— А ты для чего укладываешься?

— Да едем.

— Куда?

— А бог его знает, верно, в полк.

— Как в полк! Да ведь Федор Петрович ожидает здесь отставки?

— Нет, — отвечал равнодушно Иван.

— Ай-ай-ай! Скоро воротится?

— Откуда?

— Да я не знаю, куда барин твой уехал.

— И я не знаю. Пошел, да сказал: укладывайся скорей!

— Как воротится, попроси его, пожалуйста, ко мне хоть проститься.

— Скажу.

— Не забудь же.

— Скажу непременно.

Петр Кузьмич ушел, повторяя про себя: «Что̀ за чудеса!»

Между тем Федор Петрович расплатился с хозяином, Иван вытащил чемодан на дрожки и отправился вслед за барином, который велел своему извозчику ехать к Печкину.

Федор Петрович получил уже некоторое понятие о трактирной жизни. Заняв номер в пять рублей в сутки, он вышел в общую залу обедать и слушать, как органы музыку играют.

Когда Петр Кузьмич, прибежав домой, рассказал Аграфене Ивановне о неожиданном отъезде Федора Петровича, она пришла в ужас.

— Да ты, мой батюшка, верно, наврал, что у него свои собственные деньги. Верно он казенные принимал... да еще какой-нибудь игрок, гуляка.

— Помилуй, какие казенные, его собственные, наследство, на двести тысяч билетов.

— Уж что̀-нибудь да не так; тут какое-нибудь плутовство!

— Что̀ за чорт! Надо посмотреть, не фальшивые ли билеты... Что̀, как фальшивые! Ведь я сам хлопотал о выдаче... Да нет, он у меня не уйдет! Я сам пойду караулить его!

И Петр Кузьмич побежал опять в гостиницу. Но номер уже был пуст.

— Где офицер, который здесь стоял?

— Уехал-с.

Петр Кузьмич воротился, запыхавшись, домой.

— Что̀?

— Какое-нибудь плутовство! Просто, тайно уехал! Чорт знает: сегодня заперто присутствие!.. Ах, я дурак! Верно фальшивые билеты!.. Пропал!.. Постой, где письмо?.. Ведь Григорий Карпович рекомендовал мне его... Верно подложное...

вот... читай... Верно подложное!.. Чорт ее знает, как поверить руку!..

— Вот тебе, сударь, и жених-богач!.. Хороша и я, ни с того ни с сего поверь словам твоим, что на дурака напала, протурила от себя Василису Савишну.

А Василиса Савишна легка на помине.

— Здравствуйте, матушка, Аграфена Ивановна!

— Ах, Василиса Савишна! А я только что с мужем говорила о вчерашнем, Он согласен.

— Поздно уже, сударыня; вот ваша роспись приданому, теперь уж этот лист не нужен.

— Послушайте, Василиса Савишна, с чего вы это взяли разводить дело?

— Я? Разводить дело? Что̀ вы это, Аграфена Ивановна! Сами вы изволили сказать, что вам не по нутру жених; да еще и ни во что̀ поставили мои хлопоты. Вот вам, сударыня, извольте.

— Полноте, Василиса Савишна, совсем не так было. Я подосадовала только на твое требование. Да после одумалась: конечно, сто̀ит ли расходиться за какую-нибудь дюжину ложек серебряных; пожалуй, хоть и две можно прибавить.

— Теперь уж хоть три прибавляйте.

— Где ж взять, Василиса Савишна, рады бы в рай, да грехи не пускают; и то последнее отдаем. Легко ли: пошить приданое, отсчитать три тысячки, да вам, за хлопоты, рублей сто; а свадьба-то что̀ станет?

— Извините, пятисот не возьму начать снова дело.

— Да чем же начинать снова, Василиса Са̀вишна?

— Как чем? Просивши от вашего имени пожаловать на вечер, да вдруг обмануть? Ведь я сама

хотела заехать за ним; а он напрасно прождал. Да что ж я ему скажу?

— Ах, матушка, да скажи, что заболела, не могла быть.

— Покорно благодарю, болезнь на себя наговорить! Да и в таком-то случае следовало бы послать сказать.

— Вижу, Василиса Савишна, ты думаешь, что уж тебе и за труды ничего не будет? Нет, не такие мы люди: последнее продам, а в долгу не буду. Чтобы ты не сомневалась, вот тебе задаток двадцать пять рублей.

— Покорно благодарю! Мотала хвосты по вашим делам, да упустила не сотню какую-нибудь. Вчера прислала за мной Арина Карповна Кубикова, а я, сдуру: некогда теперь, завтра по-утру буду. Пришла сегодня, ан уж нашлись дельцы.

— Уж поверь, что не обижу, Василиса Савишна: вот тебе двадцать пять на извозчика, не в счет благодарности.

— Нет, сударыня, Аграфена Ивановна, этим уж дела не поправишь! Не стоит и хлопотать.

— Да что ж тебе, Василиса Савишна?

— Через вас потеряла я по малой мере триста.

— Где же взять нам таких денег? Мы сами жалованьем живем.

— Что ж делать! Была охота — даром готова была всё делать для вас; охоту отбили — так извините.

— Не обижайте же и нас, Василиса Савишна.

— Сами себя обидели: угодно двести пятьдесят рублев, так и быть, пойду, хоть побои перенесу.

— Что ты это, Василиса Савишна, побойся бога!

— Да уж так, сударыня, ведь вы же говорили

сейчас, что и две дюжины ложек ничего не стòит прибавить вам. Так полдюжинки в приданое, а за полторы-то мне сверх ста рублей. Ваши же слова: вам всё равно, туда или сюда отдавать.

— Так зови сегодня на чай Бориса Игнатьича; а я уж поговорю с мужем; может быть он согласится.

— С ним когда угодно разделывайтесь, а со мной теперь же кончим счеты.

— Да неужели ты не веришь?

— Для чего же не верить! Теперь вы пожалуйте мне сто рублев, а после сговора остальные полтораста.

— Как это можно, вперед сто рублей! Бог знает, выйдет ли дело.

— Уж об этом не беспокойтесь.

— Ну, так и быть, — сказала, наконец, Аграфена Ивановна, долго жавшись. Раз десять пересчитывала она четыре беленькие бумажки, щупала и терла их, как будто колдовала, чтоб распластать каждую надвое.

IV

Устроив одно дело, Василиса Савишна положила деньги в карман, и — себе нà уме — отправилась устраивать судьбу двух других существ.

«Терять времени нечего», — думала она; по дороге завернула в хлебню, купила большой крендель, усаженный изюмом и осыпанный миндалем, и — прямо к Печкину.

Между тем Федор Петрович на новоселье накушался дòсыта, наслушался органа вдоволь, пошел в свой номер и ничего лучше не придумал, как успокоиться после дневных забот. Но так как сон не вдруг принял его в свои объятия, то Федор Петро-

вич долго осматривал комнату, в которую привела его судьба.

— Иван!

— Чяво изволите?

— А ведь здесь, брат, получше.

— Да хоть бы и в казармах такая фатера, — сказал Иван, стоя в дверях.

— Мебель-то не хуже полковницкой.

— Мебель знатная!

— Знатная, нечего сказать, — проговорил Федор Петрович, рассматривая молча и с удовольствием мебель. Глаза у него, наконец, остановились на одном из стульев, мысли куда-то отправились. Иван постоял у дверей и также отправился в переднюю, присел на диванчике. Скука ужасная взяла Ивана:

— То ли дело в полку, в деревне!

Прилег со скуки и не хуже барина захрапел.

Вдруг стук-стук в двери.

— Кто там? — крикнул Иван спросонков.

— Пожалуйте, отоприте.

— К полковнику, что̀ ль?

— К полковнику.

Иван вскочил, трёт глаза, которые совсем слиплись, кинулся в комнату к барину.

— Ваше благородие! А, ваше благородие!

— Уф! что̀ такое? — спросил Федор Петрович с испугом.

— К полковнику пожалуйте, вестовой пришел.

— Давай скорее одеваться!

Иван бросился за мундиром, а Федор Петрович вскочил с дивана, смотрел вокруг себя как помешанный и не понимал, что̀ это всё значит: ему казалось, что он в полковничьих комнатах.

Между тем стукнули опять в двери.

— Кто там опять? — повторил Иван и с досадой отпер двери.

— Здравствуй, мой любезный, — сказала Василиса Савишна, входя в комнату.

— А я думал, что вестовой, — проговорил Иван.

— Не почивает барин?

— Нет-с.

Федор Петрович не успел еще притти в себя, вдруг слышит женский голос.

— Полковница! — подумал он с ужасом, бросился в двери, столкнулся с Василисой Савишной и стал в пень.

— Добрый знак, сударь, Федор Петрович, жить вместе!

— Ах, это вы... извините!

— Нет, уж прошу покорно, оставайтесь так, как есть: со мной не для чего церемониться... Честь имею поздравить на новоселье... прошу принять хлеб-соль.

— Покорнейше благодарю!

— С чайком вам очень хорошо... свеженькой...

— Так вот, кстати, не прикажете ли чаю... Иван! чаю спроси.

— Есть кого угощать! Экую харю! — пробормотал про себя Иван.

Василиса Савишна не хуже какого-нибудь краниолога понимала людей, знала, кому с какой песни начинать и чем кончать.

— Извините, Федор Петрович, что я так к вам поторопилась; во-первых, с радости: представьте себе, как только Аграфена Ивановна потеряла вас из виду, тотчас образумилась.

— Ну, слава богу, я очень рад!

— Всем обязана вам. Другой бы на зло расстроил дело, а вы — благороднейшая душа. Ну-с,

во-вторых, я еду сегодня к господам, о которых я вам говорила; мне хотелось им что̀-нибудь пообстоятельнее об вас сказать. Так мне нужно было бы знать, в чем всё ваше состояние заключается: в душах ли, в капитале ли...

— Да вот, можно видеть из бумаг после покойного родителя.

Федор Петрович достал из чайного ларца, заменявшего у него шкатулку, бумаги.

— Не угодно ли прочесть?

— Потрудитесь уж сами, я ведь плохо грамоте знаю.

Федор Петрович прочел копию с духовной, от которой разгорелось лицо у Василисы Савишны.

«Тут будет пожива!» — думала она.

— Билеты я получил, а в имении еще не был.

— Я как отгадала, что вы ровня по состоянию с своей суженой. Ей-богу! Вперед говорю, что этому делу быть. Что̀ за ангел суженая ваша! Да вот, бог даст, увидите. Только уж когда пойдет всё на лад, позвольте мне, Федор Петрович, на ваш счет колясочку нанимать, потому что состояния я не имею, а просто на дрожках от вашего имени ездить мне в дом непристойно.

— Так вот, не угодно ли на расходы, какие случатся, двести рублей.

— Нет, нет, нет! Как это можно! Ни с того, ни с сего, да за деньги, как будто наговорилась: вы бог знает что̀ подумаете!

— Сделайте одолжение!

— Нечего делать. Оно, конечно, всё равно, теперь или после; нельзя же без маленьких расходов. Так я уж медлить не буду, сегодня же легкой день; еду туда. Завтра в эту пору извещу обо всем. Прощайте, Федор Петрович!

Когда Василиса Савишна ушла, Федор Петрович долго ходил по комнате, потирая руки, посматривая на диван с боязнью прилечь на него, чтоб опять не испугал денщик внезапным требованием к полковнику. В иную минуту он готов был раздать все свои деньги, чтоб только увериться, что они действительно ему принадлежат; но вдруг находило на него сомнение: «Чорт знает, не полковые ли это деньги, и не потребуют ли в них отчета? Постой-ка, сколько я истратил?»

И начнет считать; но бумажки так и липнут друг к другу, — толку не доберешься.

Очень естественно, что Василиса Савишна не медлила явиться запыхавшись и к Софье Васильевне.

— Ну, матушка-сударыня, Софья Васильевна, клад вам бог посылает!

Надо вам сказать, что Софья Васильевна решительно принялась за попечение поправить дела свои выдачей которой-нибудь из дочерей замуж. Она Василисе Савишне прямо сказала:

— Послушай, мать моя, тысячу рублей и ежегодно пенсия хозяйственными припасами: муки, круп, капусты, грибов, всего вдоволь, только скорее отыщи жениха с хорошим состоянием.

Василиса Савишна поняла по-своему, в чем дело.

— Кто ж он такой? Как же его видеть? — спросила торопливо и Софья Васильевна на радостное извещение о кладе.

— Полковой, сударыня, чином высокоблагородный, молодец собою, только что получил в наследство триста душ, да чистыми деньгами, матушка, двести пятьдесят тысяч!

— Как же бы на него посмотреть?

— Да прямо у вас в доме, чего ж лучше? Мы

устроим так дело: нет ли у вас чего-нибудь продажного в доме?

— Продажного... право, не знаю.

— Экипажей, лошадей или чего-нибудь, лишь бы была причина приехать в дом, как будто для покупки.

— Ах, в самом деле! Петр Григорьевич думал продать дорожную коляску, да пару лишних лошадей.

— Ну, вот вам и казус.

— Когда ж?

— Без отлагательства, завтра же; это такой человек, что мешкать нельзя. Да позвольте же узнать, которую дочку вы прочите вперед выдать?

— Да если таков он, как ты описываешь, так старшую.

— Ну, конечно, уж, сударыня, старшую, — сказала Василиса Савишна значительно, — ей след выходить замуж. Меньшая ваша дочка еще ребенок, пусть себе еще понагуляется, да понатешится.

— В которое же время? Я думаю, перед самым обедом.

— Конечно, кстати можно пригласить и обедать. Пожалуйте же мне записочку, что вот там-то и там, у таких-то господ продается коляска и лошади.

Софья Васильевна пошла к Петру Григорьевичу в кабинет.

— Ты хотел продавать коляску и пару лошадей, я нашла купца. Напиши только адрес, завтра он будет.

— Я и свою карету бы кстати продал, и всё лишнее.

— Ну, тем лучше; но сперва напиши только, что

продается хоть коляска; а потом, смотря по купцу, увидишь, что можно сбыть ему с рук.

На другой день около обеда Петр Григорьевич и Софья Васильевна похаживали вдоль по комнатам и посматривали в окна вдоль по улице. Только что какой-нибудь офицер несется в экипаже, то или Петр Григорьевич, или Софья Васильевна, кто прежде вскрикнет: «не это ли он?»

— Да это не может быть! — повторял, между прочим, Петр Григорьевич.

— Отчего не может быть?

— Да оттого, что пустяки! Ну, возможно ли, чтоб человек с таким состоянием... Вот едет! .. Ну, именно, дрянь какая-то, в скверной шинелишке, в измятой шляпе, вместо султана дохлая курица воткнута. Эй! .. вон приехал офицер, так проси! ..

Вот явился Федор Петрович налицо. Воротник как петля задушил его, так что глаза выкатились; мундир перетянут в рюмочку. Но Федор Петрович прост, а не робок. Шаркнул поклон.

— Покорно просим! — сказал Петр Григорьевич довольно сухо. Где ж мужчине понимать людей. Софья Васильевна, напротив, очень приветливо повторила: «Покорно просим!»

Федор Петрович присел на кончик стула, вынул прежде всего платок и обтер лицо.

— Вам угодно купить коляску и лошадей? — спросил опять сухо Петр Григорьевич.

— Так точно-с, имею желание.

— Так можно посмотреть.

— Вы верно недавно здесь? — спросила приветливо Софья Васильевна.

— Так точно-с, по делам.

— По делам службы?

— Так точно-с. Нет-с, виноват, я приехал по наследству-с.

— Вероятно, тяжба?

— Никак нет-с, следовало получить деньги.

— Из совета?

— Так точно-с.

— И не встретили затруднений? Кажется, большие суммы на некоторое время приостановлено выдавать.

— Точно так-с. Выдали покуда двадцать пять тысяч: вдруг, сказали, нельзя такой большой суммы выдавать.

— Вы намерены продолжать службу или останетесь жить в Москве?

— Ожидаю отставки-с.

— Да, здесь можно домком завестись, — сказал улыбаясь Петр Григорьевич.

— Так точно-с, думаю и дом купить-с.

— А вот, нравится ли вам этот дом?

— Очень-с, прекрасный дом.

— Да, дом не дурен, барский дом, я бы его продал.

— Ей-богу-с?

— Полно, Петр Григорьевич, что́ это ты шутишь; зачем нам продавать дом.

— Ах, матушка, затем, чтоб другой купить. Я бы его дешево продал.

— А как-с, позвольте узнать?

— Да за пятьдесят тысяч, со всею мебелью.

— Что̀ ж, если позволите, я куплю.

— Очень рад, что нашел такого скорого покупщика; остается вам осмотреть его.

Софья Васильевна просто пришла в отчаяние и готова была вцепиться в мужа. В ней кипело какое-то чувство ревности, как у купца, у которого отби-

вают покупщика: она пригласила человека, чтоб сбыть ему которую-нибудь из дочерей, а Петр Григорьевич воспользовался случаем и сбывает ему втридорога дом.

Извольте, господа, решать тяжбу между Софьей Васильевной и Петром Григорьевичем. Вопрос: имеет ли право так поступать Петр Григорьевич с Федором Петровичем? Но прежде надо определить, под каким именем вызвать Петра Григорьевича к суду: как хозяина дома, или как отца дочери, которая могла выйти замуж за Федора Петровича.

Вызовем как того, так и другого.

— Извольте, Софья Васильевна, отвечать: для какой цели вы пригласили в дом Федора Петровича?

— Как человека, который мог составить партию моей дочери, как жениха.

— Хорошо-с; теперь вы, Петр Григорьевич, отвечайте: с какой же стати, вместо жениха, вы приняли его за купца?

— А с такой стати, что он приехал в дом под видом купца, а не жениха, торговать коляску и лошадей. Кстати началась речь о покупке дома, я и предложил ему купить мой дом. Он с радостью согласился; а жена только что в волоса мне не вцепилась и расстроила дело.

— Слышите, Софья Васильевна? Какое ж право вы имели выйти из себя и расстроить дело?

— Слышите! человек обирает будущего своего зятя, а я молчи! Отец будет пить кровь своих детей, а мать — молчи!

— Что̀ вы скажете на это, Петр Григорьевич?

— А то, что он мне не зять.

— Но он мог быть зятем, а ты расстроил дело;

у тебя в голове были только свои собственные выгоды, а не счастие дочери!

— Как хозяин дома, я и должен был заботиться прежде об общем благе, а не о счастии одной дочери.

— Прежде всего надо быть отцом, а потом хозяином дома!

— Гм! если б ты была, кроме доброй матери, и хорошей хозяйкой, мне бы не нужно было думать о продаже дома.

— Гм! если б ты был, вместо дрянного хозяина, добрый отец...

Софья Васильевна не договорила, слезы хлынули градом, она зарыдала.

Тем и суд кончился. Судьи пожали только плечами. Петр Григорьевич и Софья Васильевна воротились домой и сели за стол. Петр Григорьевич был очень доволен собою, а Софья Васильевна несколько сердита. Но чтоб успокоить читателей и уверить, что продажа дома не развела дела, затеянного Софьей Васильевной, — дорогой гость, купец и вместе жених, Федор Петрович, сидел за столом на почетном месте; подле него сидел хозяин проданного дома, напротив — Саломея и Катенька, две невесты на выбор, или какую бог пошлет

V

Когда ухаживают за деньгами, так гладят и мешок, который заключает их в себе. Не удивительно, что и Федор Петрович, который был чрезвычайно мешковат, показался Петру Григорьевичу и Софье Васильевне оригинальным человеком, с своими собственными манерами, с своими причудами казаться простяком и необразованным, и даже

с своим собственным наречием. Катенька не рассуждала, кто таков, но смиренно и внимательно слушала, что̀ говорят папенька, маменька и что̀ отвечает им гость. Саломея Петровна, напротив, не слушала ни папеньки, ни маменьки, но прищурясь, с сухою усмешкою осматривала предсидящего гостя и иногда только прерывала русский разговор французским вопросом у матери: «Что̀ это за человек?» «Это какой-то медведь; откуда он приехал?» Или приказывала сестре налить себе воды.

Когда зашел разговор о баштанах и огородах, она спросила по-русски шепелявым языком на манер французского:

— А из чего делаются огородные чучелы?

Софья Васильевна покосилась на дочь, хотела замять ее вопрос каким-нибудь другим вопросом, но Федор Петрович, как учтивый кавалер и знающий что̀ такое чучело, не упустил отвечать:

— Огородные чучелы разные бывают-с: ворону дохлую вешают, или кафтан распялют на палке.

Без Софьи Васильевны положение Федора Петровича было бы затруднительно. Саломея Петровна загоняла бы его; Петр Григорьевич, как мужчина, своими рассуждениями поставил бы его втупик, и Федора Петровича не заманить бы вперед и калачами; но Софья Васильевна так умела ловко спрашивать, подсказывать ответы, а иногда и отвечать вместо гостя; так умела внушить в него доверенность, что он мил, любезен, умен, остер; так умела поджечь душевное довольствие самим собой и всем окружающим, что Федор Петрович разгуторился, разговорился и так легко себя чувствовал, как будто в обществе своей собратии офицеров. О, это совсем не то, что̀ у Петра Кузьмича, где он сидел как связанный, не зная что̀ говорить

с Аграфеной Ивановной и с ее жеманной дочкой. Там ему всё как будто стыдно было, неловко, всё хотелось уйти домой, да не пускают. Только Саломея Петровна как-то мешает ему: он на нее и смотреть боится, смотрит только на Катеньку. После обеда предложили Федору Петровичу сесть в вист. Катенька села подле маменьки. Саломея Петровна ушла в свою комнату и занялась беседой с Маврой Ивановной, которую, вы помните, она решилась очаровать своим умом, добротой и великодушием, чтоб доказать ей, как глупы люди, которые хвалили дочку Софьи Васильевны, Катеньку, а не Саломею. Это чувство ревности к слухам глубоко затронуло ее, и она умасливала старушку своими ласками и вниманием донельзя, затерла в глазах ее Катеньку, не даст Катеньке слово промолвить с старушкой, не только что чем-нибудь угодить ей. Подобная предупредительность, при которой все другие остаются назади, имела свое влияние. Катенька перед Саломей Петровной казалась девочкой самой обыкновенной, только что не деревенской. А Саломея Петровна, осыпая то ласками, то подарками, поневоле вызывала восклицание: «Какой ангел!»

Как ни удивлялась старушка Мавра Ивановна доброте Саломеи, как ни приятна ей была сначала эта доброта, в которой она видела уважение к своей старости, но вскоре что-то тяжелы стали Мавре Ивановне ласки Саломеи Петровны; точно как будто бы старушка становилась рабой прихотливой девочки: хочется смертельно домой отдохнуть, — «нет, нет, нет, не пущу вас, Мавра Ивановна!» — Мавра Ивановна и оставайся. Мавра Ивановна и ночуй, когда то угодно Саломее Петровне.

— Матушка, мне надо завтра рано вставать

к заутрене; а вы долго изволите почивать: чтоб не потревожить вас.

— Нет, нет, нет! Я сама рано встану! — И уложит Мавру Ивановну подле себя, проговорит с ней целую ночь и уснет перед заутреней.

Мавра Ивановна и слышит колокол, да встать не смеет, чтоб не потревожить сладкого сна Саломеи Петровны.

Все это так тяжко Мавре Ивановне; да что будешь делать: за оказываемые ей ласки нечем платить, кроме повиновения. Иногда Мавра Ивановна утомится, сходив к празднику к обедне, рада бы соснуть; да Саломея Петровна карету прислала, просит к себе пожаловать, и поезжай! Совестно: как можно, чтоб даром карета прокатилась!

На другой же день Василиса Савишна успела побывать у *обеих сторон*.

— Ну, что, сударыня, Софья Васильевна, как вам понравились?

— Бог знает, милая, как тебе и сказать. Только уж во всяком случае, это не жених Саломее. Катеньке — дело другое.

— Не понимаю, а кажется, кавалер на редкость.

— Да не для Саломеи; ей избави бог и сказать об этом; она скорее умрет.

— Вот, сударыня, Софья Васильевна, затруднение! Сами вы говорили, что старшую наперед отдадите, я так и дело вела; о Катерине Петровне и слова не было. Уж знать бы, так Саломею Петровну и не показывать на первый раз. Катерина Петровна — красавица, нечего сказать, да очень молода и не кидается в глаза.

— Ты, Василиса Савишна, переверни как-нибудь дело.

— Право, сударыня, я уж и отчаиваюсь, уж

знаю вперед, что такой человек как Федор Петрович прельстился Саломеей Петровной; и как заберет в голову, так не скоро выбьешь.

— Гм! — грустно произнесла Софья Васильевна, — правда твоя, — при Саломее Кати не заметишь. Я же ее по сю пору ребенком держу.

— Вот тò-то и есть! Поеду, узнаю, чтò и как.

— Поезжай, да тотчас же приезжай сказать мне.

— Не буду медлить. На всякий случай придумаю какую-нибудь штучку, чтоб отклонить его от Саломеи Петровны.

— Зови его сегодня на вечер к нам; я Саломею куда-нибудь отправлю.

— Уж, конечно, матушка: нет солнца и месяц светёл. Прощайте покуда, сударыня.

Федор Петрович мечтал, расхаживая по комнате, когда Василиса Савишна явилась к нему.

— Здравствуйте, батюшка, Федор Петрович! По лицу вижу, что вы веселы и радостны. Как изволили ночевать, не было ли чего в думке, не приснился ли кто-нибудь? Довольны ли, сударь, знакомством?

— Очень-с! Не прикажете ли чайку?

— Не лишнее. Ну-с, как же вы провели время?

— Очень, очень хорошо-с, прекрасные люди! Уж видно, что знатные.

— Чтò ж вам особенно-то понравилось, Федор Петрович?

— Всё понравилось! Признательно сказать, что уж тут похулить нечего.

— Да особенно-то чтò?

— И дочка понравилась! Такая миленькая! Не понравилась только мне француженка, гувернантка, чтò ли.

*

— Какая француженка?

— Да всё по-французски говорила: мадам Саломэ, кажется.

— Мадам? Что̀ вы это, Федор Петрович, это старшая дочка.

— Неужели? Так которая ж невеста-то?

— Обе невесты, да вам бог верно судил и само сердце избрало меньшую.

— Меньшую? Катеньку? Славная девочка! А правду сказать и та хороша, на вид еще авантажнее. Ну, какого же я промаху дал! Думал, что она француженка.

— Э, ничего, Федор Петрович, что̀ за беда такая.

— Как что̀ за беда! Как-то стыдно.

— Ведь я не перескажу.

— Пожалуйста, не сказывайте; а то я в глаза не взгляну, право!

— Не бойтесь. Так дело решенное. Софья Васильевна просит вас сегодня на чашку чаю.

— Да как же, Василиса Савишна, за которую вы будете меня сватать?

«Вот тебе раз! — подумала Василиса Савишна, — уж я знала, что он привяжется к Саломее Петровне! . .»

— Помилуйте, Федор Петрович, не на обеих же вам жениться! Ведь вам понравилась Катерина Петровна; чай, вы уж и присматривались в нее. . .

— Оно так, да та повиднее, и голос-то какой! уах!

Федор Петрович совершенно смутил этими словами Василису Савишну; она боялась противоречить ему и отклонять его воображение от *повиднее*. Совет ни к чему не вел с таким человеком, а начать хулить Саломею и расхваливать Катеньку также

неудобно: подумает, что хотят Катеньку насильно навязать на шею.

— Насчет выбора невесты, Федор Петрович... Не мы выбираем, а сердце, говорю вам.

— Оно так, Василиса Савишна, да как узнать-то: кто ее знает, которая лучше приходится... Нечего сказать, Катенька хороша, да не так видна.

— Молода еще, молода; посмотрите-ка, как она выправится, как выйдет замуж!

— Дожидай, покуда выправится; а та уж выправилась — царицей! А голос-то какой! уах!

— Что правда, то правда, — отвечала Василиса Савишна, которая видела, что плохо дело. — Зато рассматривайте сами: одной семнадцатый годок, только что расцвела; а другой, Софья Васильевна говорит, двадцать пятый, ан и все двадцать осемь. По годам-то может быть и старенька уж для вас. Вам сколько лет?

— Тридцать пять.

— Вот видите ли! Десяток еще пройдет, вы-то будете во всей красе мужчина; а супруга-то ваша, в сорок-то лет, бабий век кончит.

— Гм! — произнес Федор Петрович; задумавшись сел он и начал гладить затылок.

— Лучше всего положимся на божию волю. Вот побываете еще разика два-три, увидите сами. Чему быть, тому не миновать: увидите, которой и вы понравились. Нельзя же жениться без обоюдной любви.

— Так!.. Да чорт знает, как же заметить, которой из них понравишься? А если и той и другой?

— Этого не бывает.

— Как не бывает! — вскричал Федор Петрович, — да у нас в полку было: в прапорщика

Душкова влюбились две сестры. Да еще как подрались-то за него!

— Ах, батюшки, казус какой!.. Ну, верно уж это случилось где-нибудь на городке.

— На городке! Нет, не на городке, а в поместье.

— Этого, Федор Петрович, здесь не случится: надо вам и ту правду сказать, что старшая-то дочка Саломея Петровна, кажется, и не расположена замуж выходить, потому что двум женихам уж отказала.

— Вот видите ли! — сказал Федор Петрович, — что ж за охота свататься. А как она и мне откажет?

— Катерина Петровна не откажет.

— Это все уж не то: наверняка не так забирательно.

— Вот, опять не то; ну, увидим, как будет, — сказала Василиса Савишна, чтоб скорее отделаться от нерешительности Федора Петровича. — В семь часов вас ждут, ровнехонько в семь часов. Пожалуйста, не промешкайте; в таком случае не годится промешкать. А теперь съездите-ко к Иверской да отслужите молебен, так дело-то будет лучше. Или уж позвольте, я за вас отслужу.

— Сделайте одолжение, Василиса Савишна!

— Да не скупитесь, сударь, всякой раз, как приедете в дом, жалуйте людям на чай, — лучше прислуживать вам будут.

Василиса Савишна, не распространяя вдаль разговора, поскакала с вестями к Софье Васильевне и напугала ее.

— Я Саломею отправлю на вечер к тетке, — сказала она. — И всякой раз, когда буду приглашать его, Саломеи не будет в доме, чтоб он из головы ее выкинул. А Катю принарядим; наложу

ей локоны, чтоб не казалась слишком молода.

Как сказано, так и сделано. Когда Федор Петрович явился, его засадили тотчас же за вист, и в продолжение целого вечера он не видал *мадам Саломэ*, а Катенька, в накладных огромных локонах, но разрумянившись живым румянцем молодости, просидела весь вечер подле матери, просмотрела от нечего делать весь вечер на гостя, не зная того, что он ей суженый.

Несколько уже вечеров Федор Петрович провел в доме, не видя Саломеи Петровны и не заботясь о ней, потому что Катенька так показалась ему хороша в локонах, что уж лучше нельзя быть.

— Что̀ ж это вы мало говорите с невестой? — повторяла ему Василиса Савишна.

— Да как-то всё еще не пришлось. Сегодня непременно пущусь в разговор с ней.

— Пора решить дело; Софье Васильевне неловко начинать самой. Сперва покажите ваше внимание дочери, а потом и к маменьке подсядьте, да без больших церемоний, Федор Петрович: отказа не будет.

— Да что̀ ж это старшая-то, как бишь ее?

— Об ней нечего и говорить. Между нами сказать, Софья Васильевна объявила сначала ей, что вот бог посылает жениха — она и слышать не хотела, и не хочет показываться на глаза.

— Э, да что̀ она мне! Я так, из любопытства.

— Так вы просто скажите Софье Васильевне, что, дескать, вам известно, Софья Васильевна, мое желание, — она уж поймет.

— Я долго не буду откладывать, — сказал Федор Петрович, — чем скорее, тем лучше!

Так бы и сделалось, да не сделалось так.

Сперва домашняя челядь между собою шу-шу,

шу-шу! Потом спальные девушки нашушукали Мавре Ивановне, что, дескать, у нас, сударыня, в доме жених; хотя невзрачен, да очень богат. Всякий раз как придет в дом, бросит в передней двадцать пять рублей. За него прочут Катерину Петровну, потому что Саломея Петровна отказалась и видеть его не хочет; как приезжать ему, так она и из дому.

Мавра Ивановна, при первом же случае, оставшись ночевать у Саломеи Петровны, проговорилась ей.

Саломее Петровне спать не хотелось.

— Расскажите что̀-нибудь, Мавра Ивановна.

— Да что̀ ж рассказать-то вам, сударыня моя?

— Ну, хоть как вы за̀муж вышли.

— Что̀ ж тут рассказывать-то, вышла да и вышла; а вот вы-то не выходите.

— Это не так легко, Мавра Ивановна.

— Да что̀ ж тут и трудного-то; вот меньшая-то сестрица выйдет замуж, а вы опять будете сидеть в девках, сударыня! Э-хе-хе! Разборчивы оченна!

— Нисколько не разборчива; да, слава богу, и выбирать не из чего.

— Полноте говорить, Саломея Петровна! К вам небойсь никто не присватывался?

— Присватывался! — произнесла с презрительной усмешкой Саломея Петровна.

— Ну, вот видите ли, зачем же отказываться от того, что̀ бог посылает? Вот сестрица-то верно не откажется; невзрачен, да зато очень богат.

— Кто? — спросила с удивлением Саломея Петровна.

— Чай, вам лучше известно.

Этих слов достаточно было для Саломеи Петровны, чтоб понять, в чем дело.

«А! так это жених Кати! — подумала она с чув-

ством озлобления. — От меня скрывают!.. чтоб я не помешала!.. Хорошо! Мне в десять лет не нашли жениха... а любимая дочка, только что из пеленок, уж ей и жених готов!..»

— Вам кто сказал, Мавра Ивановна, что он очень богат?

— Кто ж скажет как не люди; говорят, так и сыплет деньгами.

— Счастье Кате: не всякой удастся выходить за̀муж без приданого.

— А дом-то, сударыня, немного не приданое, да сорок тысяч деньгами.

— О, так вы всё знаете! — проговорила Саломея Петровна дрожащим от досады голосом..

— И, сударыня, что̀ от людей укроется; при них ведь водили по всему дому и показывали все углы.

— Покойной ночи, — сказала Саломея Петровна Мавре Ивановне.

В душе ее громовые тучи ходили, вся внутренность бушевала.

— Вот как! Для меня нет ничего, а для Кати дом в приданое, и деньги нашлись!

Злоба сосала сердце Саломеи; она беспокойно проворочалась на постели остаток ночи. Всё утро просидела она в своей комнате, жалуясь на головную боль; вышла к обеду, и как будто ни в чем не бывало.

— У княгини сегодня вечер, так ты, душа моя, поезжай опять с теткой и извинись, что сама я никак не могу быть; скажи, что с неделю мне очень нездоровится.

— Да не лучше ли и мне дома остаться?

— Что̀ тебе делать дома, будешь скучать. Поезжай, поезжай, друг мой!

— Хорошо, я поеду! — сказала Саломея.

И точно, поехала.

Часов в семь явился Федор Петрович. Катенька, разряженная, ожидала уже его с трепещущим сердцем: маменька объявила ей уже, что Федор Петрович жених ее и потому она должна принять его как можно ласковее, говорить с ним как можно приветливее, а если он объявит ей желание свое, то сказать, что это зависит от папеньки и маменьки, и что с своей стороны она готова принять с удовольствием предложение.

Сердце и рассудок Катеньки не умели прекословить воле родительской.

Федор Петрович явился. Дверь в залу распахнулась перед ним с возгласом: «Пожалуйте». Федор Петрович вошел тихонько в гостиную; в гостиной только Катенька сидит уединенно с книгой в руках, разряжена, в локонах, только что не при пудре.

Вся вспыхнув, она встала и с трудом проговорила:

— Маменька скоро войдет, покорнейше прошу.

Федор Петрович сел, откашлянулся, хотел говорить, да чувствовал, что надо обождать немножко, потому что вся кровь вступила в лицо и совсем задушила — слова нельзя сказать не откашлянувшись.

— Жаркое время, — сказала Катенька.

— Очень-с, — отвечал Федор Петрович.

— Сегодня, кажется, в воксале бал?

— Не могу знать... наверно-с.

После этого краткого вступления в разговор пролетел, как говорится по-русски, *тихий ангел*.

— Вы видели эти картинки? — спросила снова Катенька, взяв со стола тетрадку видов Рейна.

— Нет-с, не видал, — отвечал Федор Петрович, взяв тетрадку в руки.

— Прекрасные картинки.

— Кто это делал-с?

— Это в Англии гравировано.

— В Англии-с? Это удивительно!

— Бесподобная гравировка!

— А позвольте узнать, что̀ они представляют?

— Разные виды.

— Виды-с? — сказал Федор Петрович значительно, — в первый раз вижу-с, бесподобно.

Но Федор Петрович смотрел и ничего не видал; наконец, положив книгу как вещь, которая была не по его части, уставил снова глаза на Катеньку и снова стал откашливаться; а Катенька снова потупила стыдливый взор в землю. Живой румянец играл на ее щеках, она была очень мила.

От головы Федора Петровича прилив отхлынул, он стал смелее осматривать смущенную Катеньку и, наконец, собрался с духом.

— Вы, я думаю, также изволите петь? — начал он.

— Да, я пою немножко, — отвечала Катенька.

— Чудный голос у сестрицы вашей, такой звонкой, что... как бы это сказать-с...

— Да-с, — отвечала Катенька.

— Вы, я думаю, слышали, Катерина Петровна, — начал снова Федор Петрович, помолчав немного и откашлянувшись.

— Как сестрица поет? Как же не слыхать, — сказала Катенька простодушно, не вникая в вопрос.

— Слышали-с?.. Да я не то хотел сказать, Катерина Петровна, я хотел сказать, изволили ли вы слышать, вот насчет того-с...

— Насчет чего? — спросила Катенька.

— Насчет того-с, что̀ вот я-с... если б был столько счастлив...

Вдруг послышалось, что в залу кто-то вошел, зашумело платье.

Федор Петрович смутился, взглянул... Саломея Петровна уже в гостиной.

— Ах, сестрица! — вскричала Катенька.

— А ты меня не ожидала? — отвечала Саломея, кланяясь Федору Петровичу, который встал с места и расшаркался.

— Ты, Катя, кажется, куда-то собралась?

— Нет, никуда, сестрица!

— К чему ж это ты так разряжена? Что̀-то такое в тебе странное! Ах, боже мой, накладные локоны! .. Ах, как ты смешна в них! .. Что̀ это маменьке вздумалось позволить тебе нарядиться шутихой? .. Вы давно уж у нас?

— Сейчас только-с, — отвечал Федор Петрович.

— Очень приятно! Сделайте одолжение, садитесь! .. Катя, подай, милая, мне скамеечку под ноги! .. Как вам нравится Москва?

— Очень нравится-с... Нельзя не понравиться-с, такой город...

— Не удивляюсь, здесь очень приятно можно проводить время, особенно у кого есть состояние. Вы, я думаю, уже осмотрели все редкости Москвы?

— Признаюсь, времени не было-с... всё ездил по делам-с... переезжал с квартиры на квартиру-с...

— Ах, пожалуйста, осмотрите, здесь столько любопытного, столько интересного!

— Непременно-с! При первом же случае.

— Непременно осмотрите, это сто̀ит вашего внимания. Вы здесь на время или проездом?

— Нет-с, я хочу выйти в отставку-с... хочу пристроиться... так чтобы уж... основаться, то есть, здесь...

— Ах, как умно вы делаете; ну, что̀ служба! я думаю, вам надоела?

— Да-с, немножко, нельзя сказать чтоб... Уж, конечно, служба всё не то-с...

— О, я верю вам; прослуживши, надо испытать и удовольствия жизни, посвятить себя семейству, не правда ли? — спросила с нежной улыбкой Саломея.

— Совершенно так-с, — отвечал Федор Петрович, подтянув галстух повыше.

— О, я с вами согласна. Куда ты, Катя?

— Я сейчас приду, сестрица.

— Вас, я думаю, не заняла сестра, промолчала все время?

— Ах, нет-с, они изволили говорить со мной.

— Говорила? Вот чудо! От нее слова не добьешься! Почти двадцать лет, а по сию пору смотрит ребенком, не правда ли?

— Да-с, они очень молоды.

— Но в эти годы стыдно уже быть ребенком. И вам не жалко будет расстаться с мундиром?

— Что̀ ж делать-с, конечно, привычка — вторая натура, да что̀ ж делать-с!

— Именно. Я откровенность очень люблю. Вы не поверите, как мало откровенных мужчин!

— Неужели-с?

— Уверяю вас, а потому разговор с ними так связан, так скучен. Мне кажется, военные люди всегда прямее, откровеннее и бесцеремоннее статских.

— Это точно так-с, истинная правда! — сказал Федор Петрович и невольно приосанился.

— Очень рада, что сошлась с вами в мнении; я ужасно как не люблю церемоний, люблю говорить и действовать прямо... Я думаю, и вы также?

— Вы угадали-с.

— Кажется, маменька идет... Очень жаль, что наш откровенный разговор прерывается.

— Ах, Саломэ, ты уж воротилась? Каким это образом?.. Очень приятно, что вы пожаловали к нам, — сказала Софья Васильевна, обращаясь к Федору Петровичу с принужденной улыбкой, между тем как досада, что Саломея воротилась очень некстати домой, ясно выражалась у нее на лице.

— А где же папенька?

— Его нет дома, мой друг. Что ж ты не поехала на вечер к княгине?

— Ах, скука какая эти вечера, maman; я приятнее проведу время дома. Вот, может быть, мы сядем в вист: я буду играть за папеньку, — сказала Саломея, обращаясь к Федору Петровичу.

— Очень приятно-с, — отвечал Федор Петрович, — с великим удовольствием-с, если угодно, я всегда готов-с.

Хоть это было очень неприятно Софье Васильевне, но нечего было делать, гость изъявил свое согласие играть. «Впрочем, — думала она, — лучше заняться игрой, нежели разговором».

Стол поставлен. Сели. Играют; но Софья Васильевна не замечает, что делает Саломея. Взгляды ее на Федора Петровича не просты. Федор Петрович с роду не чувствовал такого влияния глаз. Эти глаза вызывают его на вист. Он бы наверное проиграл, но Саломея Петровна с намерением втрое проигрывает. Наконец игра кончена — считаются. Саломее следует платить.

— Заплатите за меня, маменька, — говорит она матери по-французски.

Софья Васильевна идет за деньгами.

— Позвольте за вами оставить до другого разу, — говорит учтивый Федор Петрович.

— Ах, боже мой, да удастся ли мне с вами играть? — отвечала она грустно.

— Почему же-с?

— Когда вы у нас будете?

— Как прикажете-с.

— Завтра будете? Завтра папеньки опять не будет дома, и я буду играть вместо его.

— С особенным удовольствием.

Саломея Петровна знала, что на завтра взят уже билет в концерт и никого не будет дома.

Поутру Василиса Савишна явилась к Федору Петровичу, чтоб узнать, чем решилось дело; но Федора Петровича не было уже дома, он отправился на почту, справиться, нет ли известий из полка. Потом, исполняя данное слово Саломее Петровне, отправился осмотреть московские редкости.

— Где тут московские редкости? — спросил он извозчика, — ступай туда!

— Редкости? Какие же, ваше благородие?

— А почему я знаю, я их еще не видал.

— А! понимаю! Пушка большая, да колокол?

— Что ж тут удивительного в пушке? Пушки я видал и осадные.

— А такую видали — с дом?

— Нет.

— И Ивана великого не видали, ваше благородие?

— Кто такой Иван великой?

— А колокольня-то в Кремле.

— Да отчего ж она Иван?

— Как отчего? Оттого что диковинка. На ней, чай, два ста колоколов. Как во все ударить, так по всей земле слышно; да указом запрещено. Как были здесь французы, да и ударили было во все, чтоб, видишь, дать знать в свою землю, что им плохо приходится, ан все стены так и посыпались, словно песчаные, и Палевона-то задавили было. А про большой колокол и говорить нечего. Как вылили его, повесили, да легонько раскачали язык, как заревел: земля так и заходила. Все перепугались, и не приведи господи как! Да три лета гудел, пока совсем утих.

Нельзя было Федору Петровичу не поверить этим рассказам, когда он увидел Ивана великого, большой колокол и царь-пушку. С двенадцати часов до вечерень смотрел на них Федор Петрович и дивился. В дополнение рассказов своих извозчик прибавил, что и часовой подле пушки стоит для того, чтоб из нее никто не стрелял.

Между тем как Федор Петрович рассматривал редкости Москвы, Василиса Савишна снова приехала к нему в обеденное время, — Федора Петровича нет как нет. Долго ждала его с беспокойством, но не вытерпела; любопытство ка̀к и что̀ происходило повлекло к Софье Васильевне. Софья Васильевна рассказала ей, как Саломея помешала переговору с Федором Петровичем, и велела просить его завтра на вечер.

— Медлить нечего, я вижу, что он вне себя от Кати, и сама вложу ему в уста что̀ говорить; потому что он не ловок и долго не соберется с духом высказать свое предложение.

— И лучше, — сказала Василиса Савишна, — он — простая душа, с ним нечего церемониться.

От Софьи Петровны Василиса Савишна заехала

кой-куда, также по важным делишкам; а часу в осьмом вечера думала наверно застать Федора Петровича дома. Но Федор Петрович скакал уже на званый вечер.

Саломея Петровна, сказавшись не так здоровой и отправив папеньку, маменьку и сестру в театр, отдала приказ по передней, что если кто-нибудь приедет, не отказывать.

Федор Петрович не долго заставил себя ждать. По обычаю, в передней ему сказали: «Пожалуйте!». Саломея Петровна пела, когда он вошел.

— Ах, это вы? — сказала она, оставляя рояль. — Папенька и маменька скоро возвратятся, покорно прошу! Как вы провели время со вчерашнего дня?

— Очень приятно-с, смотрел редкости московские.

— И, вероятно, нашли много достопримечательного.

— Удивительные вещи; пушка особенно!

— Ах, вам понравилась большая пушка! — сказала Саломея улыбаясь. — Да ведь она не годится ни на какое употребление.

— Как-с, ведь из нее, говорят, стреляют.

— О, нет! Где ж столько взять пороху.

— Пороху-с? что ж такое: почему же... порох — ничего-с.

— Впрочем, не знаю, вам это лучше известно... Были вы в театре?

— Нет-с, не был, всё как-то еще не пришлось быть.

— О, так вам еще многое предстоит осмотреть в Москве: театр, благородное собрание... Здесь часто бывают концерты, маскерады; время проходит очень приятно; вы увидите, какой рай Москва,

и не расстанетесь с ее удовольствиями. Летом на дачу, или в деревню, прогулки, верховая езда, катанье на лодках, беганье, игры... Ах, какая у нас деревня! и невдалеке от Москвы...

Саломея Петровна насчитала столько удовольствий, предстоящих Федору Петровичу, что у него проявилась жажда скорее ими воспользоваться; она выспросила у него все его вкусы, всё что̀ ему нравится, и привела его в совершенный восторг восклицаниями: ах, это и мой вкус! ах, и я ужасно как это люблю! ах, я совершенно согласна с вами!

— У вас живы еще родители?

— Нет-с, волею божиею скончались.

— Так вы совершенно располагаете собою? Вероятно, у вас много родных?

— Ни одного человека-с.

— Ах, боже мой, как вам должно быть скучно! — произнесла Саломея Петровна, изменив вдруг мажор голоса на минор, — не иметь никого, кто бы привязывал вас к жизни! Что̀ может заменить сладость семейной жизни: в ней только и живут удовольствия. Верно этот недостаток очень чувствителен для вас?

— Очень-с, очень-с! — сказал Федор Петрович, проникнутый до глубины сердца этим недостатком, которого он до сих пор и не чувствовал.

— Ах, я понимаю, как это должно быть для вас горько; своя семья — это такое счастие!.. Взаимная любовь! О, я не удивляюсь теперь, что вы еще не пользовались удовольствиями Москвы. Вы верно и посреди людей чувствуете свое одиночество, не правда ли?

— Совершенно так-с! — произнес растроганный Федор Петрович. Никто еще в жизни не говорил

с ним так сладко и с таким участием. — Я несчастный человек-с! — прибавил он.

— Отчего ж вы несчастливы? Вы располагаете сами собою; ведь ваша судьба вполне от вас зависит. Девушка — совсем другое: девушка не может собою располагать.

— Отчего же, Саломея Петровна?

— Очень натурально; например, вы, как свободный человек, можете составить свое счастие по желанию, можете жениться на той, которую выберет ваше сердце; а не на той, которую бы стали вам навязывать на шею, — не правда ли?

— Совершенно так! Могу сказать! Нет, уж мне не навяжут-с! — В мыслях Федора Петровича родилось подозрение, что ему хотят навязывать Катеньку. — Нет-с, если жениться, так по выбору.

— О, без сомнения, благородный человек так и думает. Представьте себе несчастие: навяжут какую-нибудь бессловесную дурочку, у которой нет ни сердца, ни души; целый век прожить с таким существом! Это ужасно!

Федору Петровичу опять представилась Катенька, стыдливая, скромная и молчаливая Катенька.

Он задумался, откашлянулся, проговорил:

— Совершенно так-с! — и опять замолчал.

Саломея Петровна поняла эту беспокойную задумчивость, и в душе радовалась успеху своего замысла.

— Вы задумались; как бы я желала знать о чем? — сказала она очень нежным голосом, но с улыбкою, которую понял по-своему Федор Петрович.

— Я-с... — начал Федор Петрович, но не мог продолжать, вынул из шляпы платок и отер лицо.

— Я люблю откровенность, — сказала простодушным голосом Саломея.

— Позвольте узнать, Саломея Петровна, правда ли, что вы никогда не выйдете замуж?

— Это кто вам сказал? — спросила с удивлением Саломея.

— Сказали-с...

— Я прошу вас сказать мне, кто и по какому случаю, — вы верно от меня не скроете, потому что вы благородный человек!

— Саломея Петровна, — отвечал робко Федор Петрович, — действительно, не могу скрыть от вас... потому что... — Федор Петрович остановился и не смел продолжать.

Но Саломея Петровна поддержала его.

— Говорите, пожалуйста, прямо, — сказала она, — вы можете быть уверены, что всё, что вы скажете, останется между нами.

Федор Петрович откашлянулся, снова отерся как утомившийся до поту лица и принимающийся снова за тяжелую работу. Он придумывал, как бы красноречивее выразиться и вставить в свою речь судьбу.

— Потому что судьба-с, — начал он, — когда я увидел вас, зависит от этого... я тотчас же... но мне сказали, что вам и слышать не угодно...

Саломея Петровна поняла.

— Вам это сказали? — вскричала она, — какая низость!

— Сказали и предложили вашу сестрицу...

— А, теперь я понимаю! Вас хотели женить на моей сестре, и потому-то находили предлоги удалять меня из дому, когда вы приезжали к нам... Как вам это нравится?

— Помилуйте-с, как можно, чтоб это нравилось;

я желаю получить вашу руку, Саломея Петровна, а не сестрицы вашей... если смею надеяться... Что ж мне сестрица!..

— Что-с? — сказала Саломея с взволнованным чувством самолюбия; простодушное предпочтение, оказанное ей, приятно польстило ее. «Он не так глуп, как я себе воображала, — подумала она, — он богат, его можно образовать».

— Получить вашу руку! — повторял тихонько Федор Петрович.

Саломею Петровну, казалось, смутило неожиданное предложение, но сердце ее прыгало от самодовольствия; в мыслях вертелось: «Да, да, я выйду за него... меня хотели провести; но я скорее проведу вас!.. Да мне же и надоели эти четыре стены и эта вечная зависимость!.. Еще, чего доброго, обнищаем... поедем на заточение в деревню!.. Нет, лучше быть за уродом... И мало ли мужей дураков: сколько я ни знаю, все дураки... а он очень сносен; не светский человек — экая беда! я его образую! Да! и пусть все думают, что я вышла по страстной любви! Не иначе! Не умели ценить меня, — пусть жалеют!..»

Федор Петрович ждал с трепетом ответа.

— Вы мне сделали честь, — сказала она, — я от нее не отказываюсь. Вы мне нравитесь...

— Саломея Петровна! — вскричал было Федор Петрович.

— Ах, тише!.. Я вас прошу не говорить об моем согласии маменьке: это всё расстроит. Вы когда опять будете к нам?

— Завтра же, если позволите.

— Вам назначили время?

— Нет, не назначили,

— Так сделайте так, как я вам скажу. Когда вас позовут на вечер, может быть и завтра, потому что верно торопятся навязать вам на шею мою сестрицу. Вы приедете... Да нет, это не годится. Я знаю, что меня за вас по доброй воле не выдадут...

— Отчего же, Саломея Петровна?

— Отчего? Оттого, что от меня требуют, чтоб я вышла за другого, а я лучше убегу из дому... Я не могу против желания выйти зàмуж!..

Саломее Петровне непременно хотелось, по крайней мере, кончить девическое поприще романическим образом. Если б она была Елена и явился вторично Парис, готовый ее похитить, она бежала бы с ним только для того, чтоб снова возгорелась Троянская война, и она имела право сказать: «Я причиной этой войны».

— Да! мне только остается бежать из дому с тем, кого полюблю! Другого средства нет! — прибавила она голосом томного отчаяния.

Федор Петрович был хоть и не из числа героев, но он слыхал, что страстным любовникам почти всегда случается увозить своих милых.

— Чтò ж, Саломея Петрóвна, я вас увезу, если позволите, — сказал он расхрабрясь.

— О, я на всё согласна! Но куда мы бежим?

— Куда угодно-с.

Саломею Петровну, казалось, затруднил этот вопрос и она задумчиво спросила:

— Ваше имение далеко отсюда?

— Близёхонько, верст сто с небольшим; у меня там и дом, и всё есть, и церковь, и всё-с... Сделайте одолжение, Саломея Петровна... — сказал Федор Петрович, кланяясь.

— Я решилась... но, каким же образом?

— Уж это как прикажете, — отвечал Федор Петрович, не зная сам, каким образом увозят.

Но это покорное предоставление права распоряжаться было не в духе Саломеи Петровны. Она подумала и сказала:

— Медлить нельзя; завтра в шесть часов вечера я приеду в голицынскую галерею; экипажу своему велите остановиться со стороны театра, и ждите меня у входа. Только приезжайте в крытом экипаже, чтоб меня не узнали.

— Непременно-с, в шесть часов подле театра.

— Подле голицынской галереи.

— Непременно-с! — повторил Федор Петрович, не зная, что̀ ему дальше говорить.

— Теперь нам должно расстаться: я думаю, маменька скоро возвратится, — сказала Саломея Петровна, вставая и подавая руку.

Федор Петрович не умел пользоваться правами героев романа и не смел выйти из границ форменного поцелования руки. Поцеловал, шаркнул, поклонился и отправился.

Быть героем, хоть и не настоящим, а романическим, очень приятно. Федор Петрович, несмотря на неопытность свою по части приключений любовных, чувствовал однакоже наслаждение и какую-то торопливую деятельность во всех членах. В продолжение всей ночи перед ним развивался сказочный мир, похищение царевен.

Рано поутру озаботился он о найме кареты в четыре лошади рядом и приказал денщику укладываться.

— Вчера три раза прибегала, вот эта, как ее... Василиса Савишна. По часу сидела, ждала вас, хотела сегодня поутру опять притти.

— Не пускай ее, скажи, что дома нет.

— Да она ворвется, сударь, в комнату. Скажет, что подожду!

— Ну, не пускай, да и только! Вот тебе раз!

— Уж если вы приказали, так не пущу! .. Чу, вот прилетела, стучит.

Федор Петрович молча присел в угол, а Иван подошел к двери и спросил:

— Кто там?

Ответа нет, а в дверь кто-то постукивает.

— Что́ за чорт, кто там? — спросил Иван, притворив дверь.

— Я, Иванушка, — проговорила Василиса Савишна, и сунулась в дверь.

— Позвольте-с, дома нет!

— Ка̀к дома нет?

— Изволил уехать.

— С кем же ты тут разговаривал?

— С кем разговаривал, я ни с кем не разговаривал.

— Вот прекрасно, я ведь слышала.

— Что̀ ж что слышала? Я бранился на деревянную ногу, что из сапога вон не лезет; вот и всё!

— Так я подожду.

— Нет, уж извините, мне надо итти, я запру.

— Ну, хорошо, я после приду; позволь мне только поправиться перед зеркалом.

— Нет-с, позвольте.

Иван торопливо приперл двери из передней в комнату. Василиса Савишна удивилась, но ей никак не пришло на мысль, что ее выживают.

— Ну, ну, не буду мешать. Верно гости? — прибавила она шопотом, усмехаясь. — Я приду часа через два.

Она ушла.

— Что́?

— Опять хотели притти.

— Чорт какой неотвязчивый! Давай одеваться; я поеду на почту. Как придет эта баба, так скажи ей, что в шесть часов я буду ждать ее.

Федор Петрович отправился. Василисе Савишне переданы были его слова. Она прибежала в третий раз, но и след Федора Петровича уже простыл. В пять часов сел он в дорожную карету и приказал ехать в голицынскую. Его привезли в голицынскую больницу.

— Это театр? — спросил он, выходя из кареты.

— Какой театр, сударь; это голицынская больница.

— Да где ж театр? Ведь подле театра голицынская, как-бишь ее...

— Так это галерея, сударь, так бы и сказали. Эх, барин, сколько мы лишнего пути сделали!

Это однакоже не помешало Федору Петровичу приехать вó-время на назначенное место, потому что героиня романа любила, во всяком случае, заставить себя ждать. Как удивился Иван, когда великолепно разодетая дама, в роскошном мантò, в шляпке с пером, вышла из галереи, подала руку Федору Петровичу, села с ним в карету и поехала.

Между тем Василиса Савишна прибежала в шесть часов вечера в гостиницу, стукнула в дверь номера, занимаемого Федором Петровичем. Никто не отзывается. Приложила ухо к двери, посмотрела в замочную скважину, — никого нет!

— Опять нет! Чтó за чудеса!

Поскакала к Софье Васильевне.

— Не у вас?

— Нет еще.

— Что за диво такое, всё дома нет, да дома нет!

Сейчас была, сам велел сказать мне, что будет ожидать меня в шесть часов.

— Что́ это? Моя карета едет! — сказала Софья Васильевна. — Саломея воротилась домой! Опять помеха! И лучше, если он не будет сегодня.

Вошел слуга.

— Что́ ты? А где же Саломея Петровна?

— В голицынской галерее-с. Приказали ехать домой и сказать, чтоб ее не дожидали-с.

— Как не дожидали? С кем же она поехала?

— Не могу знать-с! Как приехали к голицынской галерее, они изволили выйти из кареты, а мне велели ехать домой, да изволили сказать: «Скажи маменьке, чтоб меня не дожидала».

— С кем же она поехала?

— Не могу знать-с.

— Не дожидала! Куда не дожидала? Ты верно переврал.

— Никак нет-с; как приказано сказать, так я и докладываю.

— Не может быть! Верно кто-нибудь там был из знакомых.

Часов до двух за̀-полночь беспокоило Софью Петровну только недоумение: с кем поехала Саломея? Пробило два, пробило три, началась суматоха: Саломеи нет, а не знают, куда послать за Саломеей. Призывают опять лакея, переспрашивают, бранят, что он, вероятно, переврал, и что верно Саломея Петровна велела куда-нибудь приезжать за собой. Он божится, что нет. Призвали кучера, не слыхал ли он, что́ приказывала Саломея Петровна? Он подтвердил слова Игната, а больше ничего не слыхал.

— Она верно принуждена была где-нибудь остаться ночевать! Теперь уж и посылать поздно, да и куда посылать! . .

Чем свет карета отправилась по всем родным и знакомым и возвратилась домой с известием, что Саломеи Петровны нигде нет.

Софья Васильевна в отчаянии и в слезах, а Петр Григорьевич ходит по комнатам, ломает себе руки и гремит на весь дом:

— Прекрасно! Прекрасно! Достойная дочь заботливой, разумной матушки! Осрамили, зарезали, убили! Это ни на что́ не похоже, это ужас! Это поношение! Турусин звал на вечер, я дал слово: на Турусина все мои надежды... О, да я знаю, что это вы с намерением, чтоб... это чорт! она не скажет просто: «я бы не желала»; она выкинет на зло какую-нибудь штуку... насмеется над отцом, поставит его в дураки! Эй! кто! там! Скотина, что̀ ты нейдешь, когда тебя зовут! Пошел к Платону Васильевичу Турусину, кланяйся и скажи, что Саломея Петровна заболела, и что мы не можем быть у него на вечере... Ну, что́ ж ты стоишь? .. Постой! скажи, что я очень-очень сожалею... Слышишь?

Отправив человека к Турусину, Петр Григорьевич снова начал ходить по комнатам и греметь.

А между тем Василиса Савишна и не подозревает, что у Софьи Васильевны пропала дочь. Ранёхонько она торопится в гостиницу Печкина проведать о Федоре Петровиче, опять постукивает в дверь, прикладывает ухо и смотрит в скважину, — никого нет.

— Кого тебе, матушка? — спрашивает ее прислужник, проходя по коридору.

— Да вот мне нужно видеть господина, который здесь стоит.

— Это пустой номер, здесь никто не стоит.

— Как пустой? Неправда, здесь стоит военный.

— Вчера уехал.

Василису Савишну как водой обдало. Она всплеснула руками.

— Уехал? Ну!

— А что́?

— Гусёк!

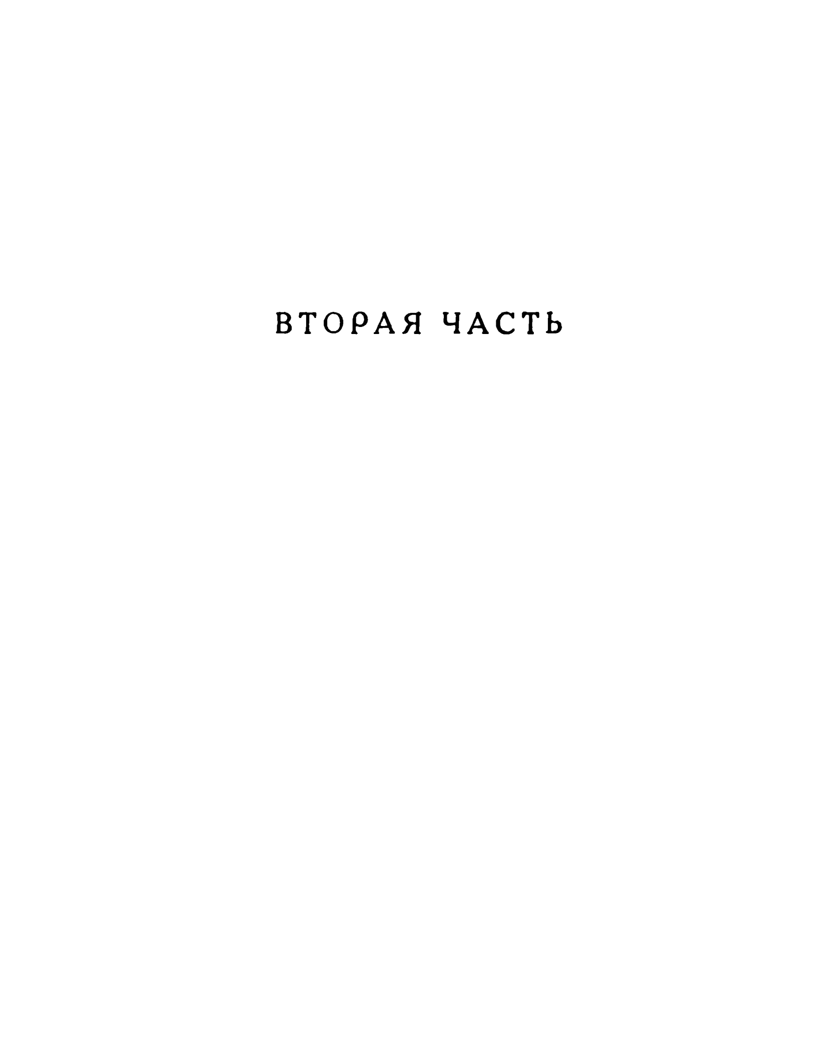
— А что́?

— Что́ уж и говорить! Надул!

— Чем надул?

— Ну да уж... Тьфу!

И Василиса Савишна побежала вон из коридора; но к Софье Васильевне побоялась итти проведать о Федоре Петровиче.



ВТОРАЯ ЧАСТЬ

I

Рассказав, по принадлежности, кто такая Саломея Петровна, мы оставим ее в покое до первой встречи. Обратимся к Дмитрицкому, который, как вам уже известно, проиграл сполна собственные деньги и частию прихватил деньги ремонтные. Не для чего бы говорить ему, что это сделано не только неосновательно, но даже безрассудно: все это знал он сам и бранил себя дураком. После *нагоняя* самому себе, он стал обдумывать, как поправить дело, и ничего лучше не выдумал, кроме новейшей гомеопатической пословицы: *Similia similibus curantur*, или древнейшей русской пословицы: *чем обжегся, тем и лечись*.

— Но здесь, в поганом Бердичеве, не буду лечиться: поеду поправлять здоровье посереди сельской жизни. — И вот, в прекрасных долинах Подолии, под именем ремонтёра разъезжает он от помещика к помещику, играет для «препровождения времени». Но во всяком случае, он был не более как Schüller, в сравнении Schulmeister'a [1] Желынского. Желынский, проведав, что он в его заветных полях красного зверя ловит, тотчас же разместил засады, и с бедного, с живого Дмитрицкого сняли кожу.

[1] Шулер в сравнении с мастером шулерства.

Между тем время проходит; в полку о Дмитрицком нет и известий. Полковой командир менее заботится о нем и о деньгах, нежели о команде, и отправляет другого офицера отыскивать Дмитрицкого и принять команду и ремонт. Офицер, не долго думая, едет в Бердичев. Там находит он команду, которая преспокойно живет по квартирам в ожидании своего командира; в числе команды и денщик Дмитрицкого.

— Где прапорщик?

— А бог его знает; он меня оставил у одного помещика, я там жил-жил, ждал-ждал барина, покуда выгнали; помещик сказал: «Ступай, брат, барин твой, верно, умер; я держать тебя не хочу». Я и пришел сюда.

— А что́, в самом деле не умер ли он?

— Верно, что умер; помещик недаром говорил.

Офицер доносит в полк, что команда состоит благополучно налицо, а сам ремонтёр пропал без вести и, вероятно, умер.

Дмитрицкого означили умершим.

Таким образом кончил Дмитрицкий жизнь служебную.

Между тем новый ремонтёр, приехав к одному помещику для покупки лошадей, входит в гостиную и видит — ни дать ни взять Дмитрицкий, в венгерке, в гусарской жилетке, сидит за картами.

— Дмитрицкий! — вскрикивает он, всмотревшись в него.

— Ах, любезный друг! — вскричал и Дмитрицкий, вскочив из-за стола и обнимая товарища своего. — Вот неожиданно встретились.

— Что̀ ты здесь делаешь?

— Тс! Скажи, пожалуйста! Вот встреча! Как давно не видались!

И он потащил его за руку в другую комнату.

— Что̀ ты здесь делаешь? Где ты пропадал?

— И не думал пропадать, братец; а видишь, *по маленькой, отыгрываюсь.*

— Да знаешь ли что̀, ведь ты исключен из списков и показан в числе умерших?

— И очень хорошо сделали. Я действительно убитый человек; а потому и не могу уж явиться в полк.

— Ах, чудак! Да что̀ ж ты будешь делать?

— Что̀ ж, братец, мертвому делать, кроме как скитаться тенью.

— Ах, чудак!

— Только, братец, не говори никому, что и тень мою видел, а то, пожалуй, кол в спину вколотят.

— Где ж ты живешь?

— Теперь здесь гощу.

— Не советую тебе, однакож, проживать в этих местах. Если тебя узнают — беда!

— И не напоминай, сам уеду. Чорт знает, здесь нет мне счастья. Поеду искать невест, попробую жениться.

— Ах, чудак! Да как же ты будешь жить без всякого вида?

— Вот тебе раз! Попробуй кто от меня требовать вид, я поставлю ему на вид вот что̀!

Дмитрицкий показал свой кулак.

— С этим видом не далеко уедешь.

— Не далеко уеду, так далеко уйду. Однакож меня ждут. Извини, брат, я к тебе приду на квартиру.

— Нет, спасибо, отложи попечение: со мной команда.

— Да, да, да! Ну, хорошо! Так до свидания на том свете.

— Прощай, брат!
— Присядь, хоть по маленькой.
— Нет, спасибо.
— Ну, хоть карточку, на мое счастье.
— Нет, благодарствуй.
— Экой чудак!

После известия, сообщенного новым ремонтёром, Дмитрицкий понемногу стал подвигаться с юга на север. Он был некогда в Москве, и Москва ему нравилась. Выезжая из нее, он думал: когда-то бог приведет опять побывать. Эта старая мысль пришла ему в голову, когда он задумался, куда ему ехать.

«Э! Да вот прекрасный случай ехать в Москву! Там же всегда тьма невест. Именно! Там открою свой новый карьер. . . Скверная вещь без денег! Я уверен, что без денег я могу завлечься во все страсти. А с деньгами я совершенно смиренное существо: засел где-нибудь в уголок, бросил пук ассигнаций, или горсть золота на стол.—«Господа! Банчику!» Смотришь, тянутся со всех сторон искатели земного блага, обступают фараона, как рыбы, и ждут подачки. Иному дашь *туза* — счастлив! иного оборвешь — молчит! Судьба! Добродетельный муж и отец семейства не с намерением пролил чашу довольствия своего. Он только хотел дополнить ее последним глотком бедняка, да чорт подтолкнул под руку, чаша вверх дном, а наш брат подставил горсть и богат. Но для того, чтоб иметь право стоять там, где чорт подталкивает под руку, надо иметь случай при нем. А кто ж может доставить этот случай как не жена, входящая в дела своего мужа и способствующая его успехам в свете? Что за роскошь иметь такую заботливую, умную помощницу! «Душа моя! заинтересуй, пожалуйста,

мосьё такого-то, чтоб ему у нас не было скучно. Умная жена тотчас поймет пользы мужа. О, она должна быть непременно привлекательна в отношении интересных людей. Однако только боюсь, чтоб не попасть на такую, которая вздумает тебя вывести в чины, или на такую, которая только ночует дома; или на такую, которая пришпиливает мужа к хвосту... Да еще боюсь, чтоб не влюбиться в аплике, в дрянное сердчишко, которое разрядится в любезность, в сладость, в нежность, подобьет все свои недостатки пуховой прелестью, раздушится благовонными вздохами, разукрасится алмазными взорами, разрисуется узорными приемами...»

Рассуждая таким образом, Дмитрицкий ехал в Москву на огромном чемодане, набитом сеном. Хоть у него и оставалось только одно носильное платье: венгерка да шинель, но он знал, что ездить без чемодана — нельзя: почтут за нищего.

По приезде в Калугу в кошельке у него остался один только червонец и ключ от чемодана. «Этого *скакуна* я ни за что̀ в свете не отдам: это у меня заводчик. Лошадей найму вплоть до Москвы. А что̀ касается до насущного пропитания: есть что̀ есть — и ест, а нет, так мы не взыщем; впрочем, глупость, как это возможно умереть с голоду там, где люди завтракают, обедают, полдничают и ужинают, и, словом, целый день едят!»

Следуя этому правилу, Дмитрицкий не голодал. В первой же деревне, где его извозчик остановился кормить лошадей, он застал хозяина, хозяйку и всю семью за столом: они хлебали из огромной чаши жирные щи.

— Что̀ это? Квасок? Дай-ко, брат, ковшичек... Ух, как славно щами пахнет!

— Да не угодно ли, сударь, покушать? — сказала хозяйка, — у нас щи, жаркое есть, если угодно, рыба есть.

— Нет, благодарствуй, милая, боюсь обед испортить... Я только попробую... Славные щи!

— Да что ж, пообедайте у нас, сударь.

— Нет, милая, меня ждут обедать, отсюда недалеко.

Таким образом наш путешественник везде пробовал то щи, то кашу; но на половине дороги ему захотелось хорошо пообедать. Проезжая в обеденное время одно село, он спросил:

— А что, здесь живет сам помещик или управляющий?

— Сам помещик.

— А есть у него продажные лошади?

— Как же, большой завод есть.

— Прекрасно! Проводите-ко меня к нему.

Барин-заводчик рад покупщику.

Нечего рассказывать, как явился Дмитрицкий к помещику, к Григорию Тимофеевичу Мискину, покупщиком и знатоком в лошадях; как, осматривая завод, проморил плотного барина, и тот пригласил его откушать вместе, потому что уж время, а после обеда предложил попробовать лошадей в упряжке. Все проделки были исполнены как нельзя лучше, лошади в упряжке ходили очень хорошо, помещик назначил им цену прекрасную и расстался с Дмитрицким, как с таким покупщиком, каких ему надо было и по самолюбию, и по расчетам.

Пообедав очень хорошо и даже выпив за здоровье гнедых, Дмитрицкий решился не обедать до самой Москвы, если только не представится какого-нибудь особенного случая. Но особенного случая не представилось.

Я думаю, памятно вам, как счастливо он миновал заставу.

— Покуда, прямо, — отвечал он, а между тем думал: «Куда ж теперь ехать? Приехав в Москву, разумеется теперь следует ехать в «Европу». Во всех лучших городах должна быть «Европа»: без «Европы» нельзя обойтиться, особенно приезжему человеку». — Эй! послушай, любезный, где тут «Европа»? Спасибо! Ступай!

Приехали в «Европу». Дмитрицкий повелительно крикнул у крыльца на швейцара и лакеев, чтоб помогли вылезти ему из повозки.

— Первый номер готов для меня? А?

— Первый номер занят-с.

— Как?.. Фу! Бока разбило! Животное! Заставил меня прокатиться в телеге! Пять тысяч заплатить за экипаж и сесть на половине дороги!.. Как, занят?

— Занят-с.

— Как занят! Ах, дурак! Что̀ ж он это здесь делал? Он верно занял в другой гостинице.

— Третий номер свободен-с, прекрасный номер! Три комнаты-с, мебель красного дерева, фортепьяны, все есть-с, все принадлежности, как следует, сейчас только очистился.

— Три комнаты! Какие-нибудь скверные! Экое животное! Ну, веди!.. Что̀ за гадкие коридоры! Тьма кромешная! Это ни на что̀ не похоже! То ли дело в Париже.

— В Париже-с? Помилуйте, что̀ Париж! Уж лучше нашей гостиницы в целом городе нет.

— Я ничего не вижу!

— Пожалуйте, пожалуйте сюда.

— Ну, что̀ тут такое? Это-то? Фу! Да покури, братец, скорее! Кто тут стоял?

— Только что сегодня изволил уехать один сочинитель из Петербурга.

— Сочинитель? Именно какими-то сочинениями пахнет! Покури, да не какой-нибудь смолкой, а по крайней мере лавандом... Да чаю, чаю скорей!.. Один из вас, порасторопнее, чтобы здесь дежурил, покуда мои люди приедут! Да есть ли тут сарай хороший, поставить коляску, а?

— Как же-с, сколько угодно.

— Ну, чаю!

— В повозке есть вещи-с?

— Какие вещи? Вещи в экипаже. Да кажется, чемодан положили со мной. Внести его! Адрес-календарь есть?

— Есть-с.

— Принеси! Тебя как зовут?

— Иваном-с.

— А тебя?

— Алексеем.

— Так ты, Иван, ступай за календарем, а ты за чаем, да живо! Лентяям ничего кроме *простого туза* не даю; а кто услужит мне, тому *червонный*, слышите?

— Будем довольны-с! Кому ж и угождать, как не доброму барину.

— То̀-то же!.. А! Чемодан; хорошо! Поставь его, да осторожнее, не перемни у меня там. Тебя как зовут?

— Петром-с.

— Петр, спроси бутылку лучшей мадеры! Скорей!

Петр бросился за мадерой; а между тем Дмитрицкий раскинулся на диване и стал зевать, как изнеженный помещик, с дороги. Приказания его живо были исполнены. Алексей принес, с вывертами,

на подносе аплике, чайник, сливочник и чашки — пестрый фарфор *рококо* с позолотой, в корзинке сухари, на блюдечке сахар. Иван прибежал с адрес-календарем, а Петр с бутылкой мадеры.

— Первый номер мадера?

— Самая старая-с.

Дмитрицкий налил стакан, выпил залпом и потом плюнул.

— Дрянь!

— Самая лучшая-с!

— Самая лучшая! Почем бутылка?

— Пять рублей-с.

— Ну, может ли быть здесь настоящая мадера в пять рублей, когда она и на острове Мадере дороже пяти рублей. Скажи хозяину, что я мадеру пью настоящую, и чтоб он достал мне самой лучшей, хоть по червонцу бутылку. Слышишь? Возьмите эту себе. Теперь ступайте все вон, я отдохнуть хочу.

— Позвольте узнать чин и фамилию, да подорожную надо записать в книгу-с.

— Успеешь! Приедет мой камердинер с экипажем, так спросишь у него. Ну, марш!

— Чорт знает, я без чаю похудел в эти три дня, — сказал Дмитрицкий, принявшись пить чай. — Надо отыскать какого-нибудь знакомого... Чорт знает, сколько в календаре фамилий! Ну, как тут не найти знакомых или дураков, которые рады будут моему знакомству? ..

— В это время послышалось, кто-то вошел в переднюю комнату.

— Кто там?

— Извините, — сказал вошедший молодой человек, очень щегольски одетый, в очках, с улыбающимися устами, с сладостными и изгибистыми

манерами, с ногами, имевшими привычку шаркать, с ушами, похожими на крылья у шапки Меркурия.

— Извините...

И так далее... а дальнейшее мы изложим впоследствии; покуда означенный молодой человек не познакомился с Дмитрицким, мы познакомим вас с ним самим.

II

Его зовут Михайло Памфилович Лычков. Молодой человек, как бы вам описать его? Молодой человек, если хотите, с очень хорошими свойствами. Молодой человек, который делает около ста визитов по годовым праздникам, которого встретите в обществе и в театре, где отвечают на поклон его замечательные люди, иногда протягивают руки и говорят: «bonjour, monsieur Лычков!»,[1] которого встретите в канцелярии, где он сам подойдет к вам и скажет, что он по особенным поручениям при его превосходительстве; которого встретите в каком-нибудь комитете о тюрьмах и в каком-нибудь благотворительном или ином обществе... которого встретите верхом, и он предупредит похвалу своей лошади и скажет, что она орловского завода, но что у него есть лошадь собственного завода, гораздо лучше этой... Молодой человек, которому вы верно понравитесь, если послушаете его рассказы, и который верно вас позовет к себе.

Михайло Памфилович вступил на службу в канцелярские служители по протекции самого начальника канцелярии, которому он понравился по какой-то особенной, природной *готовности служить*. И действительно, Михайло Памфилович служил ему

[1] Добрый день, мосье Лычков.

чем только мог, и между прочим приезжал в канцелярию на положении дела не делающих, а от дела не бегающих, которых начальник канцелярии встречал, протягивая руку, принимал как гостей и увлекался от своих скучных занятий приятной их беседой. Так как настоящий век изобилует на обладающих даром поэзии или, всё равно, на обладающих даром поэзиею, и так как в канцеляриях кроме размашистых перьев необходимы иногда перья красноречивые, то в числе сослуживцев Михайлы Памфиловича, кроме молодых людей высокого полету, было много неоцененных еще поэтов и прозаиков. Из салонов спускаться в канцелярию было низко, а от истоков Ипокрены ходить в канцелярию было далеко и утомительно; и потому все эти прихожане ужасно зевали и рады были какому-нибудь развлечению. Одни читали наизусть свои поэтические вдохновения, другие с восторгом выслушивали декламации стихов о каком-нибудь Демоне, или о какой-нибудь Демонессе, у которой, вместо волос, спускается на плечи лава; вместо взоров — стрелы или метательные копья, на ланитах пламень, на устах огонь, на груди дым, а в груди — что̀-то неизъяснимое.

Михайло Памфилович ахал больше всех, и потому признан был за человека со вкусом. По этому вкусу он был приятелем поэтов, а по изрядному состоянию, по возможности ездить на конях, быть одетым с иголочки и природной способности перенимать светские манеры был приятелем с некоторыми из верхолетов. Вследствие моды на литературные вечера, между означенной рассадой светской деятельности завелись также литературные вечера. После нескольких опытов распределить дни, Михайло Памфиловичу достался вторник, и все сослу-

живцы в один голос решили: «Завтра все к тебе, Лычков!» Чтоб придать тону своему вторнику и сделать его известным целой Москве, Михайло Памфилович обдумал, что для этого надо залучить к себе и известных московских литераторов. На первый вторник, в который так неожиданно должен был совершиться литературный вечер у Михайлы Памфиловича, нельзя было никак распорядиться насчет известных литераторов; но всё-таки он решился сделать визиты всем, с которыми кланялся в обществе. Но прежде всего надо было предуведомить папеньку и маменьку, которые были в восторге от успехов сына в свете и потворствовали ему елико возможно.

Папенька Михайлы Памфиловича, Памфил Федосеевич, был, казалось, человек простой и добряк, по крайней мере, на старости лет; но несмотря на простоту, он умел, со вступления на поприще житейское, сколотить изрядный капитал, купить именье и величаться помещиком. Так как это достоинство досталось ему довольно уже поздно, то он и не успел войти в круг знакомства, соответственный властителю двухсот душ и обладателю капитала, дающего около десяти тысяч процентов. Большой круг требовал новых привычек; а расставаться с старыми, с которыми сжилась душа и тело, было и жалко и трудно. Чувствуя невозможность самому почваниться в свете и показать, что мы, дескать, сами с усами и не последние из личных дворян, Памфил Федосеевич сосредоточил свое честолюбие на успехах в свете единственного и возлюбленного сына, Мишеньки. Мишенька не изменил надеждам отца.

Пожилая супруга Памфила Федосеевича, Степанида Ильинишна, несмотря на толстоту свою, так и лезла в гору и, без сомнения, взобралась бы на нее

и завела знакомства и с графинями и с княгинями, потому что она сочувствовала своему достоинству и всегда говорила: «Эка нѐвидаль, графство!» Но, к несчастью, она не знала *по-французскому;* а без этого, *чорт знает чего*, невозможно было показаться в русской гостиной, как с голой головой. Не являясь в свете, Степанида Ильинишна сосредоточила свое высокое достоинство в своем дому да в кругу старых знакомых — губернских и коллежских регистраторш и секретарш, с которыми издавна она покумилась и без секретов которых, гаданий и сплетней, не могла уже обходиться. Сверх того и привычная, бессменная партия бостончика или вистика сроднила ее с ними. Но как боярыне, ей нельзя же уже было не нежиться, не чувствовать боли в какой-нибудь части тела и лечиться *лопатией* или *гамепатией*. И то и другое не приносило ей пользы, особенно после за̀говенья или ро̀зговенья. Отлежав однажды бок, она почувствовала онемение. Призванный медик вообразил, что это следствие полноты и излишества крови и немедленно же предписал, кроме следуемых микстур, приставить к боку, на первый раз, не менее пятидесяти пиявок; пиявки исполнили свое дело как следует: выпили кровь, да еще про запас притянули к боку достаточное ее количество. С тех пор обиженный бок стал беспокоить Степаниду Ильинишну. Она почла за долг проклянуть лопатию и призвать в помощь гамепатию; но бесконечно малые приемы не нашли дороги из желудка к боку и воротились на белый свет без пользы. Прослышав про чудеса магнитизирования, Степанида Ильинишна расспросила, каким это образом лечатся новым способом? Кумушка Арина Ивановна тотчас же объяснила ей, что, дескать, есть два способа: первый способ самому

магнитизироваться: доктор начнет водить руками по всему телу, покуда сон наведет...

— Нет, нет, нет, матушка, этого-то я с собой не позволю делать! Скажи, какой другой?

— А другой способ: доктор возьмет, да намагнитизирует какую-нибудь девушку, да и спросит у сонной, какое лекарство он должен дать больной. Всю подноготную скажет! Удивительное дело! Что̀-то уж и не верится!

— Верится или не верится, отчего же не попробовать! Я попробую: велю намагнитизировать Дуньку, да расспросить у ней, какое, дескать, для барыни лекарство нужно? Глупа только, где ей сказать! Ну, да не велика беда попробовать.

— Уж кстати бы и я полечилась, Степанида Ильинишна.

— Пожалуй, матушка, убытку мне от этого не будет.

— Так пришлите мне сказать, как будут магнитизировать.

— Изволь, пришлю.

Степанида Ильинишна в самом деле послала Сидора искать по Москве иностранного доктора, что̀ магнитизирует. Сидор тотчас же отыскал иностранного доктора, что̀ мозоли сводит.

— Здравствуйте, батюшка, — сказала Степанида Ильинишна. — Эй, Дунька... Вот, намагнитизируйте, пожалуйста, девчонку, да расспросите у ней, чем лечить от бока? У меня бок болит... Вот она.

Дунька явилась, стала в дверях и смотрела исподлобья на мозольного мастера, не понимая, зачем ее представляют ему.

— Вот она, сделайте одолжение; а я уж уйду, не могу смотреть... извините!

Степанида Ильинишна вышла, а мозольный мастер показал Дуньке стул, велел разуться. Дунька не смела противиться. Осмотрев ее ноги, он намазал их какою-то мазью и махнул рукой.

Кончив операцию, в ожидании вознаграждения, он походил по комнате, кашлянул несколько раз. Степанида Ильинишна со страхом взглянула в двери.

— Чтò уж кончено?

— А-га! — отвечал мозольный мастер.

— Чтò ж, какое же лекарство-то мне предпишете?

Мозольный мастер подал ей скляночку и сказал по-немецки, жидовским наречием, что она увидит на опыте, как хорошо это лекарство сгоняет мозоли.

— Как же, батюшка, принять это или намазывать? — спросила Степанида Ильинишна, подавая в вознаграждение десятирублевую ассигнацию.

Мозольный мастер, вместо ответа, поклонился и вышел.

— Чтò ж это он не сказал мне, чтò надо делать с этим? Да уж верно намазывать... Это мазь. Дунька! расскажи мне, чтò он с тобой тут делал? Да, смотри, говори сущую правду.

— Да бог его знает, сударыня, посадил на стул, велел разуться, да чем-то натер ноги.

— Только? Чтò ж ты, заснула?

— Никак нет, сударыня.

— Коли не спала, так чтò ж он тебя спрашивал?

— А бог его знает! Он ничего не спрашивал.

— Врешь, дура, сама не помнишь, верно спала.

— Ей-богу нет-с!

— Врешь, глупая. Ведь он тебя магнитизировал.

Дунька, не понимая, молчала.

— То̀-то, заставишь дуру что̀ делать, сам не рад! Что̀ ж, намазывать этим или принять?

— Да вот он этим, кажется, и мазал.

— Попробую; беды, чай, не будет, — сказала Степанида Ильинишна и Дуньке же велела растирать мазью бок.

Оказалось, что мазь лучше действовала от боли в боку, нежели от мозолей; у Дуньки разболелись ноги, так что она ступить не могла; а у Степаниды Ильинишны на другой же день боку стало гораздо лучше. Она решилась всегда лечиться магнитизированием. Вспомнив об обещании, данном Арине Ивановне, да поздно, она советовала ей употребить мазь против головных болей. Арина Ивановна намазала голову мазью, и от головной боли помогло, только волосы полезли страшным образом.

— Нет, уж, матушка, Степанида Ильинишна, покорно благодарю за нее: лучше останусь с головными болями, чем быть плешивой.

— Напрасно, Арина Ивановна, в волосах-то верно и сидит твоя боль. Есть чего жалеть! Вырастут другие. Я вот полечилась, да пан теперь. И вперед случись что̀, тотчас же Дуньку магнитизировать.

Такова была маменька Михайла Памфиловича.

— Папа̀, у меня сегодня будет литературный вечер, — сказал однажды Михайло Памфилович, войдя, по старому обычаю, к отцу пожелать ему доброго утра.

— Это что̀ такое значит, Миша? Что̀ за литературный вечер? — спросил отец.

— Ведь я вам сказывал, папа̀, что я познакомился с литераторами.

— Так что̀ ж такое?

— Я бываю у них на литературных вечерах, нельзя же и мне не *сделать* литературного вечера.

— В самом деле! Ну, я поговорю с матерью. Надо же посоветоваться.

— Помилуйте, как это можно откладывать; все условились быть у меня сегодня, и вообще по вторникам.

— Помилуй, всякой вторник у тебя будут литературные вечера!

— А как же иначе; уж это так водится; все приедут, мне не больным же сказаться.

— Да кого именно?

— Московских литераторов.

— Да кого же ты звал?

Михайла Памфиловича затруднил несколько этот вопрос.

— Как кого, папенька, мало ли литераторов; некоторые вместе со мной служат...

— Ну?

Михайло Памфилович высчитал имена всех известных и неизвестных литераторов; но если б не прикрасил сиятельными и чиновными, то славные имена не произвели бы никакого влияния на Памфила Федосеевича.

— Неужели? — сказал он, — и князь ***?

— Да, он, вероятно, будет... он...

— Да ты говоришь, еще Главный Сочинитель?

— Да, папà.

— Чорт знает, Миша, ты, право, лжешь!

— Ей-богу, я у него был, он такой очаровательный человек... я с ним коротко познакомился.

— Хм! удивительно! Ведь он, брат, действительный статский советник.

— Что̀ ж такое? мало ли поэтов в чинах; напри-

мер, Глинка и Дмитриев также действительные статские советники.

— К тебе в гости? Ну, брат, Миша, высоко ты забираешь! Надо подумать! Ведь всё-таки они не к тебе, а ко мне в дом будут.

— Помилуйте, папà, когда тут думать? Ввечеру они все приедут.

— Чтò ж ты не сказал прежде? Ведь это ни на чтò не похоже: зовет гостей не спросившись!

— Когда же мне было сказать вам; вчера ввечеру все согласились быть сегодня у меня.

— Поди-ну! .. Надо подумать, как принять! Я поговорю с матерью.

— Да ничего не нужно особенного; только надо попросить maman, чтоб вместо булок и сухарей к чаю, купить английской соломки... продается в кондитерских...

— Ну, это уж не мое дело.

— Да мне нужно, папà, пятьсот рублей.

— Помилуй, Миша! Давно ли ты взял пятьсот рублей?

— Ведь я говорил вам, что я пожертвовал их на человеколюбивое заведение... Нельзя же мне было... ведь я член.

— Да! Ну! Чорт знает, братец, накладно! .. На чтò ж тебе еще столько денег?

— Мне непременно надо купить библиотеку, мне стыдно будет перед литераторами, что у меня ни одной книги нет.

— Чтò, брат, говорил я тебе: береги, Миша, свои книги,— пригодятся.

— Да чтò ж мне в учебных книгах! Мне по крайней мере необходимо иметь сочинения литераторов, которые у меня будут.

— Ты совсем обобрал меня!

— Что̀ ж делать, папа̀.

— То̀-то, что̀ делать! .. На!

— Удивительный мальчишка! — сказал Памфил Федосеевич, смотря вслед сыну, который, оправив перед зеркалом волосы, платок на шее и булавочку на манишке, вышел вон. — Удивительный мальчишка! .. Скажи, пожалуйста, только что из яйца вылупился, а с какими людьми уж свел знакомство! ..

— Степанида Ильинишна! .. Эй! Кто тут! .. Провалились! Варька! Иван!

— Что̀ ты, батюшка, раскричался! опять нога, что̀ ли?

— Какая нога! Что̀ за нога! Совсем не нога, а Миша. Ей-богу, это удивительный мальчишка!

— Что̀ он тебе сделал? Что̀ не по-твоему?

— Не по-мо̀ему; разумеется, что не по-мо̀ему!

— Так и надо кричать!

— Да кто кричит? Помилуй!

— Да ты! Посмотри, из себя вышел!

— Ах, ты, господи, слова не даст сказать!

— Да говори, кто тебе мешает!

— Я хотел сказать тебе, что это удивительная вещь; представь себе! Что̀ еще он? Мальчик, молоко на губах не обсохло... Куда ж ты?

— Да что̀ мне слушать брань...

— Откуда брань? Кто тебе сказал? Дай окончить-то!

— Ну?

— Я хотел сказать, что̀, что еще он? Мальчик, а ведет знакомство с какими людьми!

— Ну, что̀ ж? Молод, и знакомится с молодежью; а тебе не по̀-сердцу?

— Ну, кто говорит что нѐ по̀-сердцу? Ты не

дашь выговорить! Какая молодежь!.. Вельможи, матушка! Вельможи к нему назвались на вечер!

— Полно, пожалуйста, вздор молоть! С какой стати назовутся к Мише вельможи?

— Я тебе говорю! Из студентов-то он в сочинители хватил! Вот и назвалась вся братья сочинителей к нему на вечер; да какие люди-то — все известные!.. В каких чинах! А, каков Миша-то? а? Степанида Ильинишна!

— Что̀ ж, славу богу, не даром мои заботы были об нем.

— Ты! Всё ты! А уж я ничего!

— Хорош бы он был хомяк, если б пошел в тебя! Не сам ли ты говорил ему: не водись с людьми, которые тебе не по плечу.

— Да! Встарину это было так, а теперь — другое дело. Встарину кошки мышей ели, а теперь не едят — вишь, подай молочка, да говядинки.

— Это всё на Ваську ты метишь!

— Э, поди ты с своим Васькой; не о том дело; надо подумать как принять, ведь сегодня ввечеру все у нас будут.

— Как сегодня ввечеру?

— Да так! Назвались, как хочешь и принимай!

— Ты шутишь, что̀ ли?

— Какая шутка; нагрянут человек двадцать.

— Миша с ума сошел! Назвал гостей; да еще все незнакомых; а у нас ничего не готово, комнаты не прибраны... Господи! Когда ж я обернусь! Надо самой ехать заказать мороженое, купить провизии; нельзя без ужина или, по крайней мере, закуски... Ничего не успеешь сделать! Я думаю, всё, что̀ куплено к обеду, оставить к вечеру, а сами чего-нибудь перекусим.

— За винами надо послать; да уж я распоряжусь в этом... А! Вот кстати!

Вошли Григорий Иванович и Лукьян Анисимович. Это были старые сослуживцы Памфила Федосеевича на службе по откупам.

Григорий Иванович был встарину кос и сохранил этот недостаток и в старости.

Лукьян Анисимович и в молодости и в лета мужества был рыж; но под старость лишился прекрасных волос своих, а клочки на висках поседели.

Григорий Иванович жил уже домиком, а Лукьян Анисимович не умел сберегать нажитого, и потому продолжал службу по части *хождения по делам.*

— Вот кстати пришли! Здравствуйте, Григорий Иванович; садись, брат, Лукьян Анисимович... Иван! Наложи Лукьяну Анисимовичу трубку.

— Я сам наложу-с, Памфил Федосеевич.

— Ну, накладывай. А что̀, Григорий Иванович, ведь вы, кажется, продолжаете читать книги?

— Не засну, сударь, без чтения. Вчера, например, прочел очень занимательный журнал. Ах, как ругается! Да еще кого ругает-то: Александра Петровича Сумарокова! Такую экзекуцию задал, что ужас!

— Уж чтоб теперь был такой сочинитель, как Сумароков, да уж я не знаю! — сказал Лукьян Анисимович, закурив трубку и подсев важно к Памфилу Федосеевичу, с желанием принять участие в разговоре. — У меня, правда, только одна часть его сочинений: ну, да уж наслаждение! Уж надо сказать! Чуть свободное время — я и читаю; тысячу раз перечитал, ей-богу-с. А уж чем больше читаешь, тем как-то всё лучше. Что̀ нынешние книги! Мой Ваня таскает их на дом кучу. Вот журналы-то, журналы, что вы говорите, Григорий Ивано-

вич, да я в толк не возьму: писано как-то без расстановки, да всё слова какие-то особенные.

— Нет, Лукьян Анисимович, не говорите. Правда, есть слова, вдруг и в толк не возьмешь, а как подумаешь хорошенько, так это то же слово, да по новому правописанию; примером, по-нашему был *Кишот*, а теперь пишут — *Кихот:* гораздо нежнее; в наше время *Невтоном* называли одного астронома, а теперь—*Ньютоном*, как-то и прочие все слова: примером, вот я вчера начитал: *Пафос*, что̀ бы это значило? Думал, думал, наконец, догадался, что это *Бахус*.

— Да что̀ ж нового-то в журналах?

— Как что̀?

— Намедни развертываю, дай, думаю, прочту что̀-нибудь новенькое. Ай, да новость: Колумб открыл Америку!

— Не знаю, верно вам какой-нибудь старый журнал попался.

— Нет, не старый!

— Постой, Лукьян Анисимович! Ну, что̀ ты споришь; знаешь ли ты хоть кого-нибудь из сочинителей?

— Где ж их знать, Памфил Федосеевич: сроду не видывал; да и где ж их видеть? Они в люди не показываются. Слава богу, вот уж двадцать лет в Москве живу, а нигде, просто нигде в глаза не видал сочинителя.

— Ну, а я тебе покажу всех до единого! Хочешь?

— Не знаю; а любопытно было бы посмотреть.

— А, знаю, — сказал Григорий Иванович, — у Памфила Федосеевича верно ихняя книга с портретами.

— Нет, брат, живьем покажу!

— Да где же?

— Отгадай!

— А! Говорят, что выдумали какие-то особенные вечера, где их собирают сочинять стихи.

— Литературные?

— Та-та-та, именно!

— Не знаю, — сказал Григорий Иванович, — а я не так слышал; я слышал, что на литературные вечера для того собирают сочинителей, чтоб издавать журналы.

— Уж в этом извините, Григорий Иванович: журналы издают не сочинители, а редакторы.

— Да! ну, в этом не спорю: онамедни, был я по делу у Степана Васильевича, вдруг приезжает к нему какой-то молодой человек, щеголь, платье сидит, точно как на нем самом утюжено. Степан Васильевич и спрашивает: — Ну, как вы провели время на литературном вечере? — «Очень скучно, по обыкновению», — говорит. — Что̀ ж делали там? — «По обыкновению, ничего». Степан Васильевич захохотал; а потом стали говорить по-французски.

— Что̀-нибудь да не так, Григорий Иванович, — сказал Памфил Федосеевич, — главное, хотите быть на литературном вечере?

— Если куда-нибудь ехать, так не знаю...

— Шагу не сделаешь с места, братец! — сказал торжественно Памфил Федосеевич: — всех без исключения здесь у меня увидишь!

— Не знаю, — сказал Лукьян Анисимович.

— Да, всех увидишь; назвались к сыну; ты знаешь ли, что и Миша сочинитель? Да какие люди-то будут!.. Генералы! Ввечеру, вот здесь.

— Любопытно! Вот что̀ любопытно, так любопытно!

— А? каков у меня сынишко? С какими людьми ведет знакомство! Давно ли перестал учиться! Ду-

мал, вот, надо хлопотать об определении на службу, просить добрых людей, кланяться... ан он сам себе добыл место; да еще какое! По особенным поручениям! И как пошел-то!.. Кажется, я говорил вам, что он на-днях сделан действительным членом общества любителей садоводства?

— Как же, Памфил Федосеевич, знаю: я уж просил его, чтоб он для моего садика снабдил меня разными семенами.

— Э-гэ! Вишь ты какой! Даст, братец, не бойсь; я сам ему напомню.

— Уж как одолжите-то!

— На всех литературных вечерах бывает; не из последних: не даром все сочинители назвались к нему на вечер.

— Когда ж это?

— Сегодня.

— Ей-богу? Это... я вам скажу!

— А? Как ты думаешь, Григорий Иванович?

— Да, любопытно взглянуть на сочинителей; я хоть и много читал, почти все сочинения; но читать всё не то. Я читал вот и Полевого, Булгарина читал, читал, вот, Кота бурмосеку, как бишь его? Сейчас припомню... а вот не знаю, кто переводит Поль-де-Кока... Это штука! Возьмешь книгу — не оставишь.

— Так если, господа, хотите видеть сочинителей — милости прошу, мы их вам покажем. Миша поехал уж покупать библиотеку.

— Библиотеку для Чтения?

— Э, нет, брат, нет, Григорий Иванович: ты возьмешь книгу, другой возьмет, третий — шкаф и пуст. А сыну нельзя без книг. А вот что̀ я тебе скажу, уж извини; как соберутся, я тебя вперед и выставлю; ты заводи с ними разговор о книгах: ты

в этом деле знаток, так и мне ловчее будет слово приставить.

— Нет, Памфил Федосеевич, как-то конфузно заводить разговор.

— Нет, сделай одолжение!

— Нет, право, конфузно; пожалуйста, не заставляйте!

— Нет, уж как хочешь!

— Не знаю, отставной ли мундир надеть, или просто в партикулярном фраке?

— Генералы, братец; я думаю, пристойнее в мундире; я сам надену мундир; с коронации не надевал, да нечего делать.

— Так прощайте, покуда, Памфил Федосеевич: мне надо купить еще темляк, да и шляпёнка очень стара...

— Ах, ты, господи! — вскричал Памфил Федосеевич, — совсем из головы вышло!

— Что̀ такое?

— Степанида Ильинишна уехала; а я и позабыл сказать ей, чтоб купила английской-то соломки!

— Для чего вам английская солома?

— К чаю, братец!

— Как, к чаю?

— Как, к чаю! Ну, просто к чаю, вместо хлеба и сухарей.

Лукьян Анисимович пожал плечами и посмотрел на Григория Ивановича с выражением: не сошел ли Памфил Федосеевич с ума?

Григорий Иванович понял и покачал головою.

— Уж лучше с мякиной, чем с соломой, Памфил Федосеевич, — сказал Лукьян Анисимович, ставя трубку на окно и взявшись за шапку.

— И этого-то ты не знаешь! Едал пирожное *кудри?*

— Это знаю.

— Ну, так царские кудри похожи на кудри; а это на солому.

— А! Стало быть это пирожное?

— Не пирожное, а просто из теста или муки сделана солома, а ее едят с чаем.

— Что не выдумают; а всё англичане. И чай с маслом чухонским попробовал — очень не дурно. Так прощайте, Памфил Федосеевич.

— Прощайте, Григорий Иванович.

— До свидания.

— До свидания, Лукьян Анисимович.

Между тем как Памфил Федосеевич занялся рассматриванием своего мундира, сынок его приехал в книжный магазин и потребовал сочинения *всех русских литераторов*.

— Вам верно составлять библиотеку? — спросил книгопродавец, человек с книжным смыслом, который понимал достоинства литературных произведений, и вероятно знал, что и книги, как людей, по платью встречают, а по уму провожают; что рост и дородность есть достоинства более всего замечательные; что самая занимательная и *ходкая* книга есть или шут, или забавник, или враль, или любезник, который говорит очень мило пошлости; или рассказчик-сплетник, который выносит сор из избы и взводит на всё и на всех небывальщину; или выглядывающий колдуном, падшим ангелом, на которого находит стих, смущающий душу; или, наконец, какой-нибудь модник, который *весь не свой*.

— Вам верно составлять библиотеку?

— Именно.

— Так вот Ломаносова сочинения, Державина, Сумарокова,

— Э, нет, мне этих не нужно.

— Так какие же сочинения всех литераторов? Может быть «Сто литераторов»? Вышел только один том.

— Еще дайте мне сочинения всех московских литераторов: Загоскина, Погодина, Полевого.

— Полные сочинения?

— Полные.

— Налицо всех нет теперь, в палатке; да вам, чаю, нужны в переплете; так дня через два будут готовы.

— Нет, мне сегодня нужно.

— Так не угодно ли взять, что̀ есть налицо. Да ведь московского нынче нет нового. Вот не угодно ли новый роман К. . .а?

— Нет, К. . .а мне не нужно.

— Прекрасный роман, в четырех частях. Он теперь здесь, в Москве.

— В Москве? Неужели? Ах, мне надо с ним видеться; где он стоит?

— В гостинице «Европе».

— Так положите и роман К. . .а; да поскорее, мне некогда.

— Сию минуту; да уж позвольте иные *в бумажке* положить: это всё равно-с лучше переплести, когда поизотрутся.

— Хорошо; или нет. . . Впрочем, пожалуй.

Книгопродавец понял с кем имел дело. Он навязал огромную кипу московского литературного хламу, подкрасил несколькими романами и повестями известных писателей, составил счет в двести пятьдесят рублей; взял деньги, низко поклонился доверчивому покупщику и сам вынес книги в коляску.

Михайло Памфилович заехал еще во француз-

ский магазин, купил несколько изданий illustrés с политипажами, и потом помчал в «Европу».

— Здесь стоит господин К...?

— Извольте посмотреть, на доске записано.

— А! В третьем номере; где третий номер?

— Извольте итти наверх: там покажут.

Михайло Памфилович, входя на лестницу, снял шляпу, поправил гребеночкой волоса, отыскал сам третий номер, потому что в коридоре никого не случилось. Дверь не заперта; вошел в переднюю — никого нет; но в комнате кто-то распевает.

Михайло Памфилович приотворил легонько двери и вздрогнул, когда раздалось:

— Кто там?

Раскинувшись с ногами на диване, лежал довольно еще молодой человек, с истощенным уже лицом, с впалыми глазами, но в которых блистал огонь. Венгерка нараспашку, руки по карманам широких шальваров.

— Извините, — проговорил Михайло Памфилович, сделав современный реверанс головой вперед и поправляя очки, — в передней никого нет... и я не мог предупредить карточкой... Узнав, что вы посетили Москву, я, как почитатель вашего таланта...

— Покорнейше прошу! — сказал Дмитрицкий, окинув быстрым взглядом Михайла Памфиловича. — С кем имею честь говорить?

— Я так люблю русскую литературу, — отвечал Михайло Памфилович, подавая карточку, — я наслаждался чтением ваших сочинений и не мог отказать себе в желании видеть известнейшего нашего литератора.

«О-го! Я сочинитель! Прекрасно! Я думал поискать со свечой такого знакомца, а он сам явился:

Михайло Памфилович Лычков, — подумал Дмитрицкий, прочитав визитную карточку».

— Очень рад познакомиться, сказал он вслух, — вы мне делаете много чести.

— Помилуйте, я так уважаю гениальность.

— Вероятно, и сами сочиняете? Кажется, я что̀-то читал...

— Ах, нет, я еще совсем неизвестен на этом поприще...

— Вы постоянный московский житель?

— Постоянный.

«Ну, о чем же мне еще с ним говорить?» — подумал Дмитрицкий, смотря на Михайла Памфиловича, который почтительно устремил на него свои очки и ожидал нового вопроса.

— Москва — бесподобный город!

— Вам понравилась? Но как вы ее находите в сравнении с Петербургом?

— О, я нахожу, что Москва гораздо обширнее... Вы имеете здесь собственный дом?

— Как же-с, мой батюшка имеет свой собственный.

— Чем же вас подчивать?.. Эй, кто тут? Что̀-нибудь закусить, да бутылку шампанского! .. Да сыру! Ведь я сказал, чтоб кто-нибудь здесь дежурил! Представьте себе, я здесь один одинёхонек, даже человека нет со мной.

— Вероятно, приехали в дилижансе? Человек, совершенно лишнее.

— О, как можно, я не привык ездить без своего человека. Но у меня, верст за пятьдесят отсюда, сломался экипаж, два колеса вдребезги, а ось пополам; я оставил коляску, людей, чтоб как-нибудь починили, а сам поскакал на почтовых, приезжаю в дом к одному знакомому, а он уехал из Москвы.

Что̀ делать? Принужден был остановиться в гостинице...

— Это, точно, неприятно.

— Очень, очень неприятно! Вы трубку курите, или сигары? Эй! Подай сигар, да лучших!.. Не угодно ли отведать сыру... Откупорь! Это не кислые щи?

— Как можно-с; самое лучшее шампанское.

Дмитрицкий налил стакан, хлебнул.

— Изрядное!.. Покорно прошу!

Михайло Памфилович знал приличие, что от шампанского не отказываются, и поэтому взял стакан и прихлебнул.

— Это что̀ такое? Нет, извините, мы чокнемся! Как бишь ее... Кастальскую воду пьют залпом, чтоб не выдохлась.

В восторге от приему и дружеской простоты обращения, Михайло Памфилович не умел отказаться и от второго стакана.

— А я хотел просить вас, — сказал он, — сделать мне честь.

— Все, что̀ прикажете.

— У меня сегодня литературный вечер, соберутся несколько московских известных литераторов... Надеюсь, что и вы не откажете быть у меня. Все так рады будут с вами познакомиться.

— На литературный вечер? — сказал Дмитрицкий, рассуждая сам с собой: «За кого этот мусьё принимает меня? за какого-то известного литератора, которого никто еще в глаза не видал? Да это прекрасно! Отчего ж не сыграть роль известного литератора?.. Он же меня ни по имени, ни по фамилии не величает, и я не скажу, кто я; из этого выйдет при развязке славное кипроко̀...»

— Очень бы рад, да не знаю, как это дело устроить; я теперь совершенно в затруднительном положении.

— Да не угодно ли вам переехать ко мне? — сказал Михайло Памфилович.

— К вам?.. «Хм!.. — подумал Дмитрицкий, — и это прекрасно!..»—Но представьте себе, я здесь без платья и без денег, со мной только ключи от шкатулки... у меня недостанет даже денег здесь расплатиться. А скоро ли приедет Сенька с коляской! Остановясь в доме у приятеля, я не нуждался бы в деньгах; но вот, что̀ хочешь делай!

Дмитрицкий вынул кошелек и вытряхнул из него ключик и червонец.

— Сколько вам нужно, я могу служить, — вызвался Михайло Памфилович. Самолюбию его льстила возможность служить известному литератору; притом же ему очень хотелось уже сказать всем и каждому: «у меня остановился К...»

— Со мной есть около двухсот рублей, — сказал он, вынимая бумажник.

— О, это еще слишком, я думаю столько и не нужно будет, — сказал Дмитрицкий, взяв деньги.— Эй!.. Счет!.. Да! Призови сюда ямщика!

— Дорога, я думаю, прескверная.

— Прескверная; а хуже всего было то, что нечего было есть.

— А гостиницы по дороге?

— Помилуйте, это ужас!.. Ну, сколько?

— Тридцать два рубля-с.

— Вот вам пятьдесят, да с тем, чтобы всех обсчитывали так же, как меня... А тебе, мужик-сипа, кажется, следует шестьдесят рублей? да червонец на водку, не так ли?

— Если милость ваша будет.

— Ну, вот тебе от моей милости семьдесят пять рублей, кланяйся!

— Много благодарны.

— То̀-то же, я не богат, да тароват. Ступай! Кажется, совсем распорядился... Не угодно ли получить семьдесят пять обратно? За мной сто двадцать пять.

— Так точно. Мы можем ехать?

— У вас есть чем побриться?

— Все, что̀ вам угодно.

— У меня и бритв с собой нет; дурак Сенька положил чемодан в телегу, чтоб мне мягче было сидеть; а ключи оставил у себя.

— Чтоб перевести чемодан, можно приказать нанять извозчика; а мы сядем в коляску.

— Конечно. Эй! найми извозчика и перевези мой чемодан к ним, по адресу.

— Недалеко отсюда.

Михайло Памфилович сказал адрес. Всё устроено. Дмитрицкий сел с ним в коляску и отправились.

— Я уж у вас буду без церемоний, в чем есть.

— К чему же церемонии!

— Я их и не люблю. Приедете ко мне, воздам вам сторицею; за хорошую игру в простых, сдам вам игру в сюрах. А что̀, кстати, говорят, что в Москве ведут огромную игру?

— В английском клубе.

— В банк?

— Нет, банк запрещен; здесь играют преимущественно в палки.

— Что̀ ж, палками можно также отдуть.

— Как вам нравится Москва, в сравнении с Петербургом? — повторил опять старый вопрос Ми-

хайло Памфилович, которого постоянно улыбающаяся физиономия от двух стаканов шампанского и честь ехать вместе с известным свету человеком приняла вид важный, ожидающий со всех сторон предупредительных поклонов.

— Как нравится Москва? В каком отношении? — спросил Дмитрицкий.

— В отношении общего вида, в отношении наружности?

— О, мне все равно, в каком сосуде ни заключаются люди, лишь бы они были такие, какие мне нужны. А что, здесь много хорошеньких?

— О, вам непременно надо быть в благородном собрании, или в театре; вы увидите бо-монд московский и всех красавиц; если хотите, мы поедем вместе.

— Мне кажется, напротив, где много красавиц, там не увидишь ни одной. Приятнее знакомство в доме, где хорошенькая хозяйка, миленькие дочки, и тому подобное; но чтоб особенно дочки не были опасны для сердца.

— Это каким же образом? Хорошенькие всегда опасны.

— Совсем не всегда: что за опасность, например, влюбиться в девушку, которая может принести тысяч сорок доходу? Это все равно, что влюбиться в тысячу душ и взять их за себя, или влюбиться в значительный капитал и перевести билет на свое имя.

Эта философия поразила Михайла Памфиловича: он уважал любовь всем сердцем.

— Вы поэт, а судите так прозаически, — сказал он.

— Это так вам кажется, потому что вы в восторге. Во время восторга я совершенно иначе

думаю; я думаю, что рай только с *нею* или *в ней*.

— Вот мы и приехали, — сказал Михайло Памфилович.

Коляска въехала на двор и остановилась перед крыльцом.

— Прекрасный дом! — сказал Дмитрицкий, выскочив из коляски вслед за Михайлом Памфиловичем, который провел его через переднюю на антресоли.

— Рекомендую вам мою обитель; а вот... покорнейше прошу, ваша комната.

— Я вас не стесняю?

— О, нет, это мой маленький кабинет; у меня здесь достаточно комнат.

— Прекрасно! Очень мило! Вы очень мило живете!

— Не прикажете ли сигар? Я сейчас велю подать огня.

И Михайло Памфилович побежал вниз.

«Славный дом! Очень порядочно живет! Верно, хороший достаток! — рассуждал Дмитрицкий, засев на диване и рассматривая комнату. Шелковые занавески, столик, накрытый салфеточкой, на столике зеркальцо, раскрытый на показ несессерец, несколько баночек помады, разные душки, щеточки и гребеночки, все как следует! .. Между окон бюро, на бюро Наполеон, да два каких-то старикашки... По стенам в рамках раскрашенные красавицы... Прекрасно... Перед диваном столик, на столе лампа на бисерном коврике... Очень мило! .. Несколько визитных билетов разбросано по столу... с нами, дескать, знаются люди! .. Князь ***... О-го! .. Однакож я не вижу ни одного ломберного столика... Это невежество, которого я и не ожидал от молодого человека; дело другое говорить, что совер-

шенно не умеешь играть в карты; но не играть — это глупо!»

Между тем как Дмитрицкий рассуждал таким образом, рассматривая свое новоселье, Михайло Памфилович сбежал вниз, поцеловал у папеньки и у маменьки ручку.

— С кем это ты приехал, Миша? — спросила мать.

— Это, маменька, известный литератор К....

— Помилуй, Миша, с чего это ты взял, не сказываясь отцу и матери, сзывать в дом гостей? Да добро бы хоть за день сказался: у нас здесь не трактир, ничего готового нет!

— Да что̀ ж делать, маменька, сами назвались.

— Не отказывать же стать, друг мой, когда такие люди называются, — сказал в защиту сына Памфил Федосеевич: — известные люди, вельможи, делают честь...

— Честь! Да эту честь надо поддержать! Не в грязь же ударить лицом! Да что́ ж, этот, что спозаранку приехал.

— Господин К... — отановился у меня.

— Как остановился? Скажи, пожалуйста, остановился у него!

— Постой, матушка, дай слово сказать.

— Кто ж он такой, Миша?

— Он только что приехал из Петербурга.

— Поди ты: у него уж и в Петербурге знакомые! Что̀ ж он, служит там?

— Он, кажется, служит при министерстве.

— Скажи, пожалуйста! При министерстве?

— Ах, господи, боже мой! Я думал вместо обеда велеть ужин готовить для гостей, ан вот и обед готовь! Просто, сударь, суматоху поднял в целом доме! Когда же успеет повар и обед и ужин готовить?

— Да зачем, маменька, ужин? Просто закуску, à la fourchette! [1]

— Поди ты с модными своими фуршетами! Терпеть не могу гостей отпускать голодными, угощать только фаршами, вот вздумал!

— Совсем не то, маменька: так называется, когда на стол не накрывают, а просто подают кушанье.

— Как просто?

— Каждый возьмет себе чего-нибудь.

— Чего-нибудь у меня не будет, а будет ужин.

Михайло Памфилович, как покорный сын, никогда не спорил с родителями, но всегда делал по-своему. Когда противилась маменька, его сторону держал папенька, и наоборот.

Снизу Михайло Памфилыч побежал опять к себе на антресоли, несколько раз спросил гостя своего: не угодно ли ему чего-нибудь? и наконец, извинясь, что на минутку отлучится, поскакал с визитами к двум-трем литераторам, обдумывая дорогой все средства, которыми можно было бы залучить к себе какую-нибудь известность.

Литераторы по большей части не жестокий и простодушный народ. Слабая струна у них всегда наруже: человек хоть не дальний, да похитрее и посмелее тотчас может произвести на них впечатление, только не затрогивай ничем гордость. Звать просто ни с того ни с сего к себе, зовом их не соблазнишь; но на каждого есть приманка и особенно страстишка к каким-нибудь редкостям искусств, к древностям, к ветхостям, к собраниям каких-нибудь автографов великих людей и прочих.

Приехав к первому, Михайло Памфилович, усладив его вступлением о славе его, стал ахать и уди-

[1] Холодная закуска.

вляться редкой библиотеке, а особенно маленькому собранию редких монет.

— Ах, какие монеты! — повторял он без умолку, — у меня есть одна монета, но не знаю, какая она, должна быть очень древняя.

— С каким изображением?

— Изображен царь, а надпись... но я не заботился разбирать: я мало в этом знаю толку; кажется, славянская надпись.

— Это очень любопытно.

— Завтра хотел приехать ко мне один знаток...

— Очень любопытно бы видеть ее.

— Я вам могу служить ею. Не пожалуете ли вы ко мне сегодня ввечеру? Вы бы увидели, и если найдете сколько-нибудь замечательного, то мне приятно бы было, чтобы она украсила вашу коллекцию.

— Очень благодарен вам.

— Мне очень приятно будет. Я буду вас ждать.

— Постараюсь быть непременно.

Взяв слово и рассказав свой адрес, Михайло Памфилович поехал от литератора прямо в меняльную лавку.

— Есть древние монеты?

— Редчайшие-с.

— Что̀ сто̀ит эта?

— Эта дорога-с; монета римского императора Антония. Вот с другой стороны и Клеопатра.

— Ну, что̀ ж сто̀ит?

— Сто рублей, без торгу.

— О, как дорого, нет! А эта?

— Это сибирский грош... Теперь уже и они редки.

— Ну, хочешь за обе пятьдесят рублей?

— Как можно!

— Больше не дам.

— Для первого знакомства, извольте!

Заплатил деньги, отправился к другому литератору, который между прочим похвастался собранием редких автографов.

— Ах, у меня есть собственноручные записки всех великих людей прошлого столетия и, между прочим, кажется, письма царевны Софии.

— Ах, как это любопытно! Позвольте мне взглянуть.

— Сделайте одолжение! Да не угодно ли вам посетить меня сегодня ввечеру, я бы вам показал кстати альбом рисунков одной дамы: все лучшие живописцы Европы рисовали для нее.

— Сегодня, право, не могу; завтра, если можно. . .

— Как жаль, завтра она уезжает. Хоть на минутку заезжайте.

— Очень хорошо.

Вот Михайло Памфилович поскакал к одному знакомому за автографами, а в один нам знакомый дом за альбомом.

Этот знакомый дом был дом Софьи Васильевны, в котором мы не были со времени бегства Саломеи Петровны. Петр Григорьевич, убедившись, что дочь бежала, плюнул и сказал жене:

— Вот твое воспитание!

Но Софья Васильевна была в отчаянии.

Желая утешить себя по крайней мере устройством судьбы Катеньки, она послала на третий день за Василисой Савишной.

Василиса Савишна явилась, словно туманом подернутая.

— Слышала, Василиса Савишна? — сказала Софья Васильевна, залившись слезами.

— Слышала, сударыня! Да это чудо какое-то. Знаете ли, почему к вам и итти не хотела?

— Что̀ такое?

— Федор Петрович сквозь землю провалился.

— Как!

— Да так и так.

Эта новость совершенно убила Софью Васильевну. Два несчастия совершились; надо было ожидать третьего. Но вместо ожидаемого несчастия, чрез несколько дней перед домом на улице остановилась роскошная карета, запряженная чудной четверкой гнедых; человек в ливрее вбежал в переднюю и спросил, дома ли господа?

— Кто такой? — спросила нетерпеливо Софья Васильевна.

Ей подали два билетика, на одном напечатано было: «Федор Петрович Яликов», на другом: «Саломея Петровна Яликова».

— Петр Григорьевич! — вскричала Софья Васильевна, бросаясь в кабинет к мужу,—Петр Григорьевич! . .

— Что̀ такое, матушка?

Но Софья Васильевна *без памяти, без слов* упала в кресла, а билетики упали на пол.

— Что̀ такое! — повторил Петр Григорьевич, поднял билетики, взглянул на них и онемел.

— Это что̀ за шутки! — вскричал он, наконец.— Насмешка над отцом!

— Зови их! — произнесла слабым голосом Софья Васильевна. — Я умираю. . .

— Их? Чтоб нога их здесь не была! — вскричал снова Петр Григорьевич.

Софья Васильевна ахнула и повисла как мертвая на креслах. Петр Григорьевич от испугу позабыл о своем гневе, кричит во все горло:

— Эй, люди! Воды! Зовите Саломею Петровну! ..

Вскоре явилась и вода и Саломея Петровна, разряженная в пух, как говорится по-русски.

Чувствуя всю неприличность броситься в таком наряде помогать матери притти в себя, она остановилась, потом присела, между тем как Петр Григорьевич, ничего не чувствуя и ничего не видя, кроме помертвевшей своей жены, спрыскивал ее водой, натирал виски спиртом, подносил к носу *четырех разбойников*, и, наконец, возвратил к жизни.

Саломея Петровна смотрела на все это, понюхивая надушенный платок с улыбкой. Мысль ее была полна радости, что она успела перехитрить мать.

«Я ожидала этой сцены, — думала она, — так жестоко рушились планы на счастье Кати! От этого можно упасть в обморок!»

— Здравствуйте, папенька! — сказала она наконец, подходя к отцу.

Петр Григорьевич взглянул было грозно, хотел что-то сказать, но Софья Васильевна вскрикнула:

— Саломея!

— Здравствуйте, маменька.

— Зачем ты это сделала? Ты меня совершенно убила! — произнесла слабым голосом Софья Васильевна.

— Гм! — произнесла улыбнувшись Саломея.

— Где муж твой?

— Он в зале, если позволите... Федор Петрович!

Федор Петрович вошел в кабинет... Но это был уже не тот Федор Петрович в усах и в мундире. Это был мужчина без усов, наряженный по по-

следней моде, в таком хитро скованном фраке с принадлежностями, который шьется не по скверной какой-нибудь талии, а по изящным формам болвана.

Петр Григорьевич хотел было встретить зятя строгим взором; но видит незнакомого мужчину, разряженного, завитого, в белых перчатках, с изумрудной булавкой на груди, с драгоценной палкой в руках. Петру Григорьевичу ничего более не оставалось делать, как сконфузиться и почтительно поклониться.

Но женщины скорее узнают мужчин.

— Боже мой, неужели это Федор Петрович? — вскричала Софья Васильевна.

— Я бы никак вас не узнал, — сказал и Петр Григорьевич.

Федор Петрович бросился к нему в объятия и потом подошел к ручке к Софье Васильевне.

— Ах, сестрица! — вскричала Катенька, вбежав в комнату с радостным чувством, и хотела броситься в объятия к Саломее.

— Здравствуй! — сказала Саломея Петровна, воздержав ее от восторгу, и вспыхнула, когда Федор Петрович с восклицанием: «Катерина Петровна!» бросился к руке Катеньки.

— Ах, я вас насилу узнала! — сказала Катенька — как вы вдруг переменились.

— Очень ошибаешься, нисколько не переменился! — сказала Саломея Петровна тоном двусмысленности. — Федор Петрович и тогда и теперь считает тебя ребенком.

Эти слова для всех показались обидными, но никто не сказал ни слова.

Федор Петрович с жалостью посмотрел на Катеньку; он уже чувствовал, как тяготела над ним

начальничья воля супруги. С первых дней бракосочетания проявилось в нем сознание, что он попал в какую-то нового рода службу, хуже бессменного караула за наказание. Саломея Петровна сначала занялась учением Федора Петровича манерам и приличию, чтоб не стыдно было показать свету *предмет своей страсти,* которую она в кругу знакомых называла прихотливой, причудливой, но обдуманной.

— Я искала, — говорила она, — человека не для света, но для счастия семейной жизни, который бы во мне видел все и жил для меня одной. Я и замужем не хотела терять свободы.

Эту мысль поняли и сознали справедливой почти все без исключения дамы, знакомые Саломее; многие даже завидовали ее выбору; но девушки смеялись над счастьем без оков любви.

Просвещать Федора Петровича однакож скоро надоело Саломее Петровне; она не видела в нем ни grace, ни *чего-то,* что, несмотря на удовлетворение ее полной свободой, одно только могло наполнить давно чувствуемую ею пустоту и в доме, и вне дома, и в мыслях, и в груди, и на яву, и во сне.

Между тем как Саломея Петровна повсюду искала этот *икс,* с домом ее родителей познакомился Михайло Памфилович, страстно влюбился в Катеньку. Для нее он хотел непременно сделаться поэтом, пробовал тысячу раз написать стихи *к ней,* и написал уже первый стих:

О, милая Катенька!

сидел над ним по целым ночам, засыпàл над ним и просыпался; но кроме *милой Катеньки* ничего не приходило в голову. Однако же стихи были необходимы для альбома. Михайло Памфилович знал,

что в стихах главное мысли; и потому обратился с этими мыслями к одному из поэтов-товарищей, и вышли стихи *такого-то с мыслей* Лычкова. Таким образом под своими мыслями можно было подписать свое имя. Катенька была охотница рисовать, рисовала порядочно. Одна из знакомых, путешествовавшая по Европе, одолжила ей свой довольно замечательный по рисункам альбом для скопирования некоторых видов. Этим-то альбомом и хотел похвастаться Михайло Памфилович и приехал просить его у Катеньки *на минутку*.

Тут застал он Саломею Петровну, разумеется, объявил, что у него сегодня *литературный вечер* и между прочим похвастался, что у него остановился К...

— Ах, как это интересно! Я к вам приеду, и вы меня познакомите с ним, — сказала Саломея Петровна, продолжавшая и в замужестве искать идеала мужчин.

Михайло Памфилович помчался домой; а между тем знакомцы его родителя, Лукьян Анисимович и Григорий Иванович, прежде всего отправились по своим знакомым похвастаться той честью, которая их ожидает.

— Да-с, бог приведет, — говорил Лукьян Анисимович, — сегодня ввечеру мы увидим всех сочинителей в лицо.

То же говорил и Григорий Петрович, но с прибавлением, что его просил Памфил Федосеевич позанять их своим разговором.

— Я, конечно, не ударю лицом в грязь, случалось мне и с самими сенаторами разговаривать; но представьте же мое положение: взять на себя хозяйскую обязанность занимать гостей в чужом

доме! «Помилуйте, Памфил Федосеевич,— говорю я, — как это можно!» — «Сделай, братец, одолжение, я ни словечка не буду уметь сказать про литературу!» — Нечего делать, согласился!

Из числа знакомых Григория Ивановича была одна девица, занимавшаяся в доме родительском не вязаньем чулков и не вышиваньем по канве, но плетением стихов. Кто ее призывал к поэзии, бог ее знает; известно только то, что она, помимо чистописания, правописания и здравописания, начала прямо с стихописания и многописания. Без сомнения, что все это было *вдыхновение*, как она выражалась в одних стихах без препинаний и без *цевуры* или, как она выражалась, без *цензуры*. Она даже написала стихи к своему цензору в подражание Пушкину, в которых объясняла ему, что ее стихи — свободные птицы, которых она ни за что не посадит в клетки.

Эта гениальность истекала, разумеется, из чувств, которыми она была преисполнена и которые, как известно, истекая не на чье-нибудь сердце, а на бумагу, кристаллизуются в стихи.

Дева-поэт, очень естественно, захотела узреть мужей-поэтов, и потому сказала Григорию Ивановичу, чтобы он непременно доставил ей случай быть на литературном вечере у Памфила Федосеевича.

— Каким же образом? Я, ей-богу, не знаю, — сказал Григорий Иванович.

— Ах, боже мой, скажите просто, что такая-то сочинительница также желает познакомиться и быть на литературном вечере...

— Конечно, Григорий Иванович, ведь моя Домаша также известна публике: вы знаете, что ее стихи напечатаны в журнале,

— Как же-с, оно, конечно-с, без сомнения... только... Впрочем, я, пожалуй, скажу.

— Вы предуведомьте, теперь же съездите, скажите, что я приеду с вами.

Григорий Иванович, разумеется, отговориться не умел, и его немедленно же прогнали предуведомить о приезде на вечер девы-поэта.

— Сделайте одолжение, за честь себе великую поставим, — сказали Памфил Федосеевич и супруга его.

— У нас, батюшка, и из Петербурга гость, известный сочинитель, да также не из маленьких людей, рука у министра.

— Такие хлопоты, Григорий Иванович, что уж и не знаю,—прибавила Степанида Ильинишна,— тут за обедом нельзя же чем-нибудь накормить, а того и гляди, что начнут собираться; встречай, принимай гостей, да в то же время думай о чае, об угощенье, об ужине!

— Маменька, — прервал Михайло Памфилович, прибежав сверху, — он не сойдет вниз, потому что утомился с дороги; прикажите наверх подать кушанье.

— Вот! Все труды и подвиги пошли под ноги! А тут уж на стол накрыто! Да что ж он сойдет ли, по крайней мере, хоть в глаза плюнуть хозяину и хозяйке? Для чего ж я спозаранку разрядилась?

— Нельзя же мне ему сказать, чтобы он сейчас шел; он сам знает приличия.

— Уж так, у вас теперь у всех какие-то приличия; не в первый раз уж ездят к тебе такие бонтоны; в дом ездят, а хозяина в глаза не видывали. Какие-то приличия знают, а обычая не ведают,

Михайло Памфилович, не оспаривая матери, побежал наверх занимать гостя, который, развалясь на диване по-хозяйски, расспрашивал его про обычаи московские. Парадный обед Степаниды Ильинишны очень позапоздал; и потому после обеда осталось только времени на тоалет к приему гостей.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Часов в семь вечера, проезжая мимо дома Памфила Федосеевича, можно было подумать, по необыкновенному освещению комнат, что тут верно дело готовится к балу; бумажные люстры, *изобретение Воронова,* были во всем своем блеске; по углам — лампы на треножниках, по столам — подсвечники. Разодетая Степанида Ильинишна то пройдется по комнатам и смахнет белым своим носовым платком там и сям, по столам и стульям пыль; то побежит в девичью, которая в экстренных случаях обращается всегда в буфет. Сам Памфил Федосеевич, в каком-то павловских времен мундире, похаживает взад и вперед в беспокойном ожидании, осматривается и охорашивается в зеркало. Не должно забыть, что в подражание престарелым вельможам былого времени, на нем плисовые сапоги; в одной руке огромная золотая табакерка, в другой — пестрый носовой платок. В этом беспокойстве ожидания гостей — вельмож нового века, и сверх того литераторов, он почувствовал всю необходимость ассистента и досадовал на себя, что не сказал Лукьяну Анисимовичу, чтоб приехал пораньше. Но Лукьян Анисимович, легок на помине, явился во-время, также в мундире, но девятнадцатого столетия, с двумя коротенькими,

разъехавшимися и оттопырившимися острыми фалдами сзади, в один ряд пуговиц спереди, с удушливым воротником.

— Ну, рад, что вы приехали, Лукьян Анисимович, а то меня уж скука взяла.

— Э, как вы примундирились, Памфил Федосеевич. Да ведь я бог знает с каких пор не видывал вас в мундире!

— А что, а? Тряхнул стариной!

— Славно, ей-богу, славно; а правду сказать, прежние мундиры как-то гораздо почтительнее.

— Чу! Кто-то, кажется, приехал!

— Кто-то приехал!

— Где ж Миша? Что он нейдет сюда! Иван, позови, братец, Мишу!

— Сейчас-с, фрак изволят надевать.

— Степанида Ильинишна! Кто-то уж приехал!

— Неужели? Встречай же! Да где же Миша? Скажите ему!

Степанида Ильинишна села в гостиной, а Памфил Федосеевич вышел в сопровождении Лукьяна Анисимовича в залу.

В передней раздалось вдруг несколько юношеских голосов:

— Дома Лычков? — А! и ты приехал? Куда ж к нему? — Сюда, наверх? — А! здравствуй. Не рано ли! — Я прямо из канцелярии: дело, братец, чорт бы драл, думал до полночи задержит!

— Что ж это? Кто это? где ж Миша? — повторял Памфил Федосеевич, слыша, что восклицания в перебой все глуше и глуше, и только крикливые голоса и топанье стали раздаваться над потолком.

— Да что ж это за дурак Миша? Увел их к

себе вверх, — продолжал Памфил Федосеевич, воротясь в гостиную. — Вверх ушли, матушка!

— Ах, батюшка, да придут!

— Чу! Кто-то еще приехал!

Снова в передней шум, говор, и снова все ушло вверх.

Еще кто-то приехал, и еще, и еще; над залой и гостиной такая топотня, что ужас.

Степанида Ильинишна не усидела, выбежала в залу, где Памфил Федосеевич и Лукьян Анисимович стояли в недоумении.

— Это бог знает что! — вскричала было Степанида Ильинишна, — там черти возятся!

Вдруг кто-то подъехал, Степанида Ильинишна бросилась в гостиную, дверь отворилась.

— А! Григорий Иванович! ..

Вслед за Григорьем Ивановичем вошла, в огромных белокурых локонах, полная томная луна, водруженная на гибкий, ломающийся стан, в раздутом шелковом платье, на крепко накрахмаленной шумящей юбке.

— Домна Яковлевна, как вам известная по своим сочинениям... — сказал Григорий Иванович.

— Ах! .. За счастье поставляем, что вы сделали честь пожаловать; покорнейше прошу... Степанида Ильинишна! .. Вот... Григорий Иванович сделал нам удовольствие...

— Я желала познакомиться с вами... Я так много слышала... — произнесла дева-поэт, приседая перед Степанидой Ильинишной.

— Очень приятно, очень нам приятно... Покорнейше прошу... Вы проводите также время в стихотворениях?

— Да-с, это любимое мое занятие.

— Это очень приятное занятие...

— Да-с, имея способность, нельзя жертвовать ею для каких-нибудь пошлостей...

Домна Яковлевна не успела кончить речи, как вошел Иван и дал знак барыне, что, дескать, кое-что нужно сказать.

— Извините, — сказала Степанида Ильинишна, выходя. — Что тебе?

— Михаил Памфилович приказал подавать чай.

— Это что! Чай? Кому?

— Да там много гостей у Михаила Памфиловича.

— Что ж это он туда их завел? А?

— Не могу знать-с; только там их очень много; такие все бойкие господа.

— Скажи Мише, что здесь...

— Кто-то приехал! — сказал Иван, побежав в переднюю.

Приехали Гуровы, знакомые, а потом еще знакомые, а вслед за этими знакомыми Саломея Петровна.

— У вас вечер литературный, Степанида Ильинишна? У вас поэт известный...

— Тс!..

— Неужели? Ах, боже мой, мы не знали!

— Покорно прошу!

— Так вот как!

— Ах, Памфил Федосеевич! Что это значит, что вы в таком параде?

— Так прикажете подавать чай, сударыня?

— Подождать! Здесь подадут.

— Да барин три раза уже присылал.

— Где ж Михаил Памфилович? — спросила Саломея Петровна.

— Позови Мишу!

В гостиной происходило уже тара-бара. Дева-поэт смотрела на всю толпу молча, презрительно, и видя, что тут дело идет не о поэзии, подозвала Григория Ивановича и спросила его: «это-то литераторы?»

— Нет-с, они все наверху.

— Что ж мы туда нейдем?

— Как можно-с!

— Да что ж, они сюда придут?

— Я полагаю-с.

Появился Михаил Памфилович, всем раскланялся в гостиной.

— Помилуй, что это ты загнал всех наверх? — спросила его шопотом мать.

— Прикажите, маменька, подавать чай ко мне, — сказал он, не отвечая на ее вопрос.

— Где ж, братец, литераторы-то? — спросил шопотом Памфил Федосеевич.

— Ах, папенька, что это вы в мундире? — отвечал Михаил Памфилович, взглянув на отца.

— Да как же, братец! Что ж это...

— Михаил Памфилович, где ж ваш поэт? — спросила Саломея Петровна.

— Наверху, — отвечал он.

— Приведите его сейчас сюда и познакомьте меня с ним, слышите ли?

— Непременно-с, позвольте только, — отвечал торопливо озабоченный Михаил Памфилович.

— Вызовите, Михаил Памфилович, сочинителей сюда, — говорила одна пожилая знакомая. — Ну, что они там попрятались от людей; нам хочется хоть взглянуть на них.

— Я предложу... но нельзя же... — отвечал Михаил Памфилович, не зная, как вырваться из гостиной наверх, где действительно происходил ли-

тературный вечер: один поэт читал свои стихи, в которых описывал портрет дьявола.

— Браво, браво! Живой дьявол! Вот дьявол! — восклицали канцеляристы, не обращая внимания на Дмитрицкого, который сидел в углу на диване, курил сигару и в свою очередь дивился.

«Ай да литераторы!» — думал он.

Один из восторженных слушателей сидел подле окна, где на столике горела лампа. Окно было отворено, дым валил в него, как из трубы. — Браво! Вот дьявол! — вскричал он и в восторге так ловко размахнулся рукой, чтоб аплодировать поэту, что стоявшая лампа как ракета полетела в окно и бух на перила заднего крыльца. А на крыльцо в это время вышла Степанида Ильинишна, вызванная девкой послушать, что происходило вверху; осколки стекол, брызги масла обдали ее.

— Господи! Что это такое? — воскликнула она, опомнившись от ужасу. — Миша! Миша! Убили меня... Господи! Это собрались какие-то разбойники!

— Ах!.. Извините, сударыня, ненарочно, — отвечал голос из окна антресолей, и вслед за этим раздался хохот как будто нечистой силы.

Михайла Памфиловича тут уже не было; он предложил мнимому поэту сойти вниз, соблазнив его прекрасной дамой.

— Не хотите ли познакомиться с одной из замечательных московских красавиц? Вам верно она понравится, — сказал он ему.

— Кто она такая?

— Саломея Петровна Яликова.

— Большого круга?

— Большого.

— Богата?

— Очень богата; как поет! Я попрошу ее спеть что-нибудь.

— Пойдемте знакомиться с дамами: мне ваши литераторы не понравились, — сказал Дмитрицкий.

И сошел вниз вслед за Михаилом Памфиловичем, который мимо отца (маменька в это время была на крыльце) подвел его к Саломее Петровне.

Побрившись, пригладившись, в венгерке, Дмитрицкий был хоть куда мужчина; статен, смел в движениях, с метким взглядом, за словом в карман не полезет, прикинется чем угодно, словом, человек с надежной внутренней опорой.

С первого взгляду он поразил Саломею Петровну так, что у ней заколотило сердце.

Войдя в комнату и обратив на себя общее внимание, он устремил на нее какой-то непреклонный взор, и ей казалось, что он уже обнял ее и она не в силах ему противиться.

— Я очень счастлив, — сказал Дмитрицкий подходя, — что первое мое знакомство в Москве так лестно для моего самолюбия.

— Без сомнения это взаимно, — отвечала Саломея, вспыхнув, — такой у нас гость должен быть всеми встречен с радушием.

— Всеми? Избави бог, одному всех не нужно! — смело возразил Дмитрицкий, но по сердцу Саломее.

— Мне приятно, что и мои мысли согласны с вашими.

Дмитрицкий сел подле Саломеи, и они, не обращая ни на кого внимания, продолжали разговор, между тем как все прочие отдалились от них, как от жениха с невестой; говорили шопотом, посматривая на счастливую чету; только дева-поэт по-

чувствовала в себе столько смелости, чтобы сесть подле Саломеи и выжидать случая, чтоб и самой начать разговор с поэтом.

Эта соседка очень не понравилась Саломее; окинув ее проницательным взглядом, она сказала Дмитрицкому:

— Пересядемте, пожалуйста: здесь так неловко на этих креслах.

И с этими словами она пересела на маленький двухместный диванчик в углу гостиной и предложила Дмитрицкому сесть подле себя. Это была позиция, к которой ни с какой стороны нельзя было уже подойти неприятелю.

— Москва, может быть, вам понравится, — продолжала Саломея, — но люди, не знаю; до сих пор я не встречала этого... этого... великодушия, которое так свойственно человеку.

— Великодушие? О, это пища души! — перервал Дмитрицкий, поняв, что это слово должно играть важную роль в словаре Саломеи. — Великодушие! Я не знаю ничего лучше этого!.. Как бы его определить?

— О, великодушие есть рафинированное чувство!

— «Именно, рафинад, душа моя!» — сказал Дмитрицкий про себя. — Именно... О, я понимаю вас! Вы должны сочувствовать всему, сострадать о человечестве!

— Да, я очень чувствительна.

— И не говорите, это видно; я уверен, что все недостатки их вы бы готовы были пополнить собою.

— Ах, как вы проницательны; я в первый раз встречаю такого человека.

— О, не говорите; знаете ли, я рад, что люди не

совершенны; если б все женщины были хороши, я бы не встретил лучшей.

Эта фраза проникнула глубоко в сердце Саломеи, и оно заговорило: вот человек, которого я так долго и безнадежно искала. После этого, разумеется, невольно высказалась жалоба на судьбу, что она бросает человека в зависимость, не соответствующую ни его уму, ни его сердцу.

Все это Дмитрицкий очень хорошо понял и, разумеется, доказывал, что если судьба есть такое существо, которое бросает человека не туда, куда ему хочется, то и человек есть такое существо, которое может подниматься на ноги и выходить из трущобы...

В заключение разговора Саломея, чтоб совершенно очаровать Дмитрицкого, присела за фортепьяно, взяла несколько аккордов, но почувствовала, что фортепьяно недостойно прикосновения ее руки.

— Ах, спойте, — сказал Дмитрицкий.

— Не могу, — отвечала Саломея, — это какие-то древние клавикорды! Я спою вам, когда вы будете у меня.

И разговор кончился тем, что Саломея Петровна предложила Дмитрицкому на другой же день быть у нее. Рассказав ей историю ломки экипажа, и что он здесь в ожидании своих людей без всего, Дмитрицкий извинялся, что в подобном наряде он не решится делать визиты.

— Вы будете приняты без церемоний, *как свой*, и я вас непременно ожидаю.

— Вы так снисходительны; но муж ваш может принять это за невежество.

— О, нет, за него я могу поручиться. Притом же он, кажется, едет завтра в деревню.

Саломея Петровна уехала. Дмитрицкий остался

посреди гостиной без компаса. Он вспомнил, что тут есть хозяева дома, а между тем затруднялся узнать их. Из стариков-мужчин, Памфил Федосеевич более всех походил на гостя; из почтенных дам, хоть Степанида Ильинишна явно суетилась и часто выбегала из гостиной по хозяйству, но одна старуха более ее походила на настоящую хозяйку, хлопоча об висте и предлагая всем сесть по маленькой. Однакож Степанида Ильинишна сама вывела его из затруднения. Несмотря на озлобление свое против всех московских сочинителей, которые забрались к сыну и бушуют у него, и на досаду за невежество приезжего из Петербурга, который, не рекомендовавшись еще хозяйке, любезничает в гостиной, Степанида Ильинишна подошла к Дмитрицкому.

— Очень благодарна, что вы почтили вашим расположением моего Мишу, — сказала она ему.

— Но я могу показаться вам невежливым, — прервал Дмитрицкий, — приехал в дом и по сию пору не представлен вам и супругу вашему; я, по крайней мере, просил вашего сына познакомить меня...

— Ах, какой он! Извините его рассеянность... Памфил Федосеевич, вот наш гость желает познакомиться с тобою.

Дмитрицкий повторил свое извинение и перед хозяином, который в свою очередь стал извиняться, что это бы дело хозяина, но что Миша не предупредил, и тому подобное.

Дмитрицкий в несколько минут очаровал всех и даже старуху, которой хотелось не терять времени и сыграть партию в вист.

Чтоб хоть взглянуть на карты, он сам вызвался вистовать, если только найдется партия. Партия со-

ставилась из пожилой старушки, Дмитрицкого, Лукьяна Федосеевича и самой хозяйки. Хотели уже разносить карты, но, к несчастию, литературная дева, долго выжидая случая побеседовать с известным литератором, решилась, наконец, обратить на себя его внимание чтением последнего своего произведения наизусть. Она без церемонии привязалась к Лукьяну Анисимовичу, увлекла его в литературный разговор и только что он сказал, что ужасно любит ее стихи, особенно с рифмами, она тотчас же предложила ему прочесть стихи, откашлянулась и начала декламировать о том, что̀ чувства чувствуют, что̀ душа жаждет, а сердце просит.

— Ах, как прекрасно! — сказала хозяйка, из должного приличия.

— Это ничего, — произнесла смиренно литературная дева, — если вам угодно, — продолжала она, обращаясь ко всем, — я прочту вам маленькую поэму, которая будет занимательнее.

Пожилая старушка закашлялась от досады; Дмитрицкий сказал что̀-то про себя и хотел было проходиться по комнате, но литературная дева обратилась к нему с предисловием.

— При вас, — сказала она, — мне совестно читать; я надеюсь, вы будете снисходительны к маленькому моему таланту.

— О, помилуйте, — отвечал было просто Дмитрицкий, но подумал, что верно эта дева должна быть какая-нибудь литературная известность, и потому почел за долг прибавить. — Все ваши известные произведения так прекрасны, что мне остается заранее восхищаться и новым вашим произведением.

— Вам, вероятно, в рукописях доходили мои стихотворения: я еще не решалась ничего печа-

тать, — отвечала дева, — я не знаю что̀ такое печать, это пустяки; что̀ прекрасно, то отпечатывается в памяти каждого.

— О, конечно! — отвечал Дмитрицкий нетерпеливо, — непременно! Так позвольте прослушать.

— Я вас должна предуведомить, что поэма, сочиненная мною, взята из истинного случая, из жизни одной моей знакомой... Судьба ее точно была удивительная, вы увидите сами.

Литературная дева откашлянулась, сделала движение в роде *польки*, и произнесла:

В одной из деревень губернии Тамбовской...

— Я должна предуведомить, — сказала остановясь дева, — что происшествие случилось в Московской губернии; но я отнесла его к Тамбовской; это было необходимо, потому что все лица поэмы моей еще живы... сверх того, я изменила имена...

В одной из деревень губернии Тамбовской...
Жил некто, коего мы имя умолчим,
А назовем примерно: Полозовской...

— Полозовской? Верно Денис Иванович, — сказала почтенная старушка. — Любопытно послушать про него. Вы, стало-быть, знакомы с ним?

Литературная дева смутилась.

— Я никак не думала, — сказала она, — что выдуманная мною фамилия существует, я ее заменю...

Итак, рассказ свой продолжим.
Он был женат; его супруга
Была подобие и ангела и друга...

— Ну, в этом прошу извинить, я их коротко знаю: всегда жили как кошка с собакой.

— Ах, боже мой, я не о том Полозовском пишу, который вам известен; это не Полозовский, а положим, хоть Зимовский.

— Такой и фамилии нет во всей Тамбовской губернии; все помещики до одного мне известны; может быть Сановский, да он холостяк.

— Я повторю известный стих: «Но что̀ нам нужды до названья, положим, что звалась Маланья».

— Кто? Жена-то Дениса Ивановича? .. Извините!

— Это не мои стихи-с, и не относятся к поэме, — отвечала презрительно литературная дева,— это стихи Дмитриева.

— Дмитриева? Так кто ж их не читал? .. Прощайте, матушка Степанида Васильевна!

— Что̀ это? Куда ж вы?

— Пора, пора!

— Да ведь вы хотели в вистик сыграть?

— Да когда ж, матушка, мы сядем? В полночь? Если играть, так играть; золотое время терять нечего! .. Вы играете?

— С величайшим удовольствием, — отвечал Дмитрицкий.

Между тем вся публика, совокупившись в гостиную слушать поэму, во время возникшего спора чинно разбрелась по комнатам; в гостиной осталась партия виста да озлобленная литературная дева.

Хозяйка из приличия сказала было ей: уж извините, до другого разу; но она, ни слова не отвечая, крикнула:

— Григорий Иванович, поедемте! — присела, и вышла из гостиной.

— Что̀ это за халда, матушка, выдает стихи Дмитриева за свои?

— А бог ее знает! Григорий Иванович привез за сочинительницу стихов.

— Сочинительница! Я тотчас вывела ее на чи-

стую воду; вздумала выдавать историю, что̀ случилась с Денисом Ивановичем, за свою! Ведь, как вы думаете, она̀ уверена была, что здесь никто его и не знает; а я как на зло тут.

— Какая ж история случилась с этим помещиком?

— И это соврала: Денис Иванович совсем не помещик, а чиновник. Жена его, которую вот эта, кто она? назвала Маланьей, совсем не Маланья, а Матрена; история вышла пасквильная—разошлись; а причина-то смеху достойная. Поехал Денис Иванович в Москву, пробыл там, кажется, с месяц, да повредился, там, что̀ ли, бог его знает; только возвратившись, вдруг ни с того ни с сего, еще и не поздоровавшись, говорит: — Скажи, Матрена, слава Тебе Господи, мужик лапотки сплел. — «С чего это ты взял, что я буду говорить», — говорит Матрена Петровна. — Сделай милость, скажи! — «Вот пристал!» — Да скажи же, Матрена, скажи! — «Не скажу!» — Эй, говорит, говори, а не то плохо будет! — «Пошел ты к чорту!» — говорит с досадой Матрена Петровна. — Кто, я к чорту? Так пошла же ты сама к чорту! — И пошел дым коромыслом; слово за слово — ссора! Насилу усовестили. Дело-то все вышло в том, что в Москве Денис Иванович начитался какой-то книги, как узнавать, любит жена мужа или нет.

— Какая ж это книга? — спросил Памфил Федосеевич. — Я не слыхал о такой книге.

— Не знаю, — прибавил Лукьян Анисимович.

Послали наверх за Михайлом Памфиловичем: он водится с литераторами, так должен знать; но и Михаил Памфилович не имел об ней понятия и побежал справиться у гостей своих.

— Так вот видите ли, помириться помирились;

да в первый же день опять поссорились. Денис Иванович из Москвы же вывез какое-то новое кушанье: вишь, черепаховый суп из телятины, и велел повару приготовить; ест да похваливает: — «Попробуй, — говорит Матрене Петровне, — чудо!» — Поди ты, пожалуйста, с своим супом! — «Сделай милость, отведай! Это такая роскошь, что на удивление!» — Ни за что̀ не отведаю; я и подумать не могу о черепахе: это такая скверность, так с души и воротит! — «Ну, сделай одолжение, попробуй! Для меня! Ведь это из телятины, только называется черепаховым». — «Ни за что̀! — «Так ты не хочешь даже и отведать?» — Не хочу! — «Так чорт же с тобой!» — Да как хлоп по тарелке, тарелка вдребезги, а весь суп в лицо Матрене Петровне. Ну, тут уж и средств не было примирить; твердит одно: «Ка̀к, для меня даже дряни какой-нибудь не хочет в рот взять; да добро бы есть, а то просто — отведать!»

Продолжение рассказа было прервано приходом Михаила Памфиловича, который объяснил, по сделанной справке, что̀ о том, как перебранились мужья с женами за лапоть, напечатано не в книге, а в журнале, называемом «Наблюдатель», и что повесть о том, как мужик лапоть сплел, сочинил казак Луганский. Начались суждения, зачем сочинять такие журналы, за которые можно ссориться, и для чего варить такие французские супы из всякой гадости, от которых всякого порядочного человека может стошнить.

Между тем наверху происходили литературные прения; кроме двух самобытных поэтов, тут была всё образованная молодежь, читавшая ежемесячные журналы и почерпавшая из них ту премудрость, которая основывает все на *своем собствен-*

ном убеждении и на своем внутреннем чувстве. Один из них вместо пошлого русского слова *восторг* говорил все по-гречески: *пафос!* и это придавало его речи какое-то особенное возвышенное значение; другой перебивал его вопросом: позвольте, позвольте! Какой же из этого результат? Третий говорил, что всё это пустяки и что рассуждать не так должно! Четвертый останавливал бегающего то вниз, то вверх Михаила Памфиловича словами: «Что ж, братец, не едут твои литераторы? Мне бы хотелось прочесть моего Демона!» Михаилу Памфиловичу ужасно как хотелось объявить, что один из известных литераторов есть налицо; но он дал слово молчать до времени.

Литературный вечер кончился вверху шумной беседой канцелярских служителей, а внизу вистом.

На другой день Дмитрицкий просил Михаила Памфиловича, чтоб послал ему нанять извозчика: Михаил Памфилович предложил ему свой экипаж, но он никак не согласился на это и отправился в фаэтоне осматривать Москву и ее достопримечательности, только не по части археологии.

Это было на другой день; но в тот же день Саломея Петровна, воротясь домой, завела разговор с своим Федором Петровичем о доходах имения и предложила ему воспользоваться хорошей погодой и, нимало не откладывая, съездить в имение, покуда не начались осенние дожди. Но Федор Петрович так разленился, что и думать не хотел о поездке. Упрек, что он мало занимается хозяйством имения, не подействовал. Других средств нельзя было употребить.

— Я уж чувствую, что и с твоим имением будет то же, что с батюшкиным: деньги растранжиришь, как батюшка, и хоть по-миру иди.

— Чем я транжирю, Саломея Петровна?

— Да мало ли, и не пересчитаешь пустяков, которые ты покупаешь поминутно!

— А например?

— Я уж не говорю о твоей птичьей охоте, о брошенных деньгах на канареек и соловьев, которых ты развел как в птичнике; положим, что это составляет твое *единственное удовольствие;* но зачем мы занимаем такой огромный дом, зачем накупил ты эти пустые, но дорогие вещи?

— Да ведь это всё.., сами вы, Саломея Петровна, говорите мне, что нужно купить.

— Я же виновата! Кому же быть расчетливым, как не мужу! Вдруг шаль заплатил четыре тысячи рублей!

— Да ведь она вам понравилась.

— Положим, что мне понравилась; но я ли платила деньги; вещь, которая сто́ит много тысячу рублей, а платишь четыре!

— А я почему знаю, что̀ сто̀ит.

— Зачем же ты берешься сам покупать?

— Ну, покупайте сами, выйдет всё равно.

— Нет, не всё равно; если б я сама располагала деньгами, я бы берегла их и не желала бы того, что̀ не по состоянию.

— Да кто ж вам мешает располагать; мне легче. Возьмите и деньги на расход.

— Давай, это гораздо будет лучше.

Федор Петрович отпер бюрò, выдвинул ящик с деньгами.

— А это что́ ж за деньги? — спросила Саломея Петровна.

— Это... взяты из опекунского совета...

— Зачем же, давно ли ты взял?

— Да нужно было.

— Да я желаю знать; я уверена, что между нами нет тайн.

— Да папенька просил на короткое время взаймы.

— Папенька? Прекрасно! Да он оберет тебя совсем! Папенька! Не только мне приданого не отдал, да еще хочет меня обобрать! Нет, этого не будет! Этого я не позволю!

— Да как же, я обещал.

— Скажи, что деньги у меня; пусть ко мне обратится с просьбой! Где билеты? Я их к себе спрячу: я вижу, что у тебя они не долго належат, и придется итти по̀-миру!

— Я билеты отдам; а уж эти, ей-богу, Саломея Петровна, надо дать папеньке: он очень нуждается, говорит, что опишут все имение, если не отдаст долгу; уж куда ни шли пятьдесят тысяч.

— Пятьдесят тысяч! Что̀ ты это! Никогда! Прожил свое состояние, да за мое хочет приняться! Никогда этого не будет!

И с этими словами Саломея Петровна взяла пук ассигнаций и билеты и вышла из кабинета.

— Этот дурак кожу снять с себя позволит на заплату чужого кафтана! — говорила она, запирая деньги и билеты в свое бюро̀.

Этим день кончился; новый день Саломеи Петровны начался заботой о тоалете. В одиннадцать часов она была уже в гостиной убрана очень пленительно. Предчувствуя, что Федор Петрович будет только мешать умной и интересной беседе ее с поэтом, она выживала его из дому. Он съездил за ее необходимостями, воротился, и хоть снова выдумывай необходимости; потому что Дмитрицкий еще не приезжал. Саломея Петровна успела найти еще поручение, но гость

на двор и он на двор. Можете себе представить ее досаду!

Дмитрицкий влетел в гостиную, не обращая внимания на приехавшего в одно время с ним и вместе вошедшего в гостиную.

— Федор Петрович, наш известный литератор, желал с нами познакомиться, и я просила его сделать нам эту честь.

— Очень приятно, покорнейше прошу,—сказал Федор Петрович, всматриваясь в сабельку с рядом разных крестиков, на груди Дмитрицкого.

— Да-с, я так много слышал от общего нашего знакомого об вас, что желал непременно познакомиться с вами, тем более, что и вы служили в военной службе.

— Как же-с. А вы где изволили служить?

— На Кавказе, потом вышел в отставку и занимаюсь моим любимым искусством.

— Федор Петрович, — сказала Саломея Петровна, — ты бы приказал подать закуску.

— Сейчас, — сказал Федор Петрович, и вышел.

Дмитрицкий понял, что присутствие мужа тяготило Саломею Петровну, и не предвидел никакого удовольствия провести время между двумя супругами.

— Я хотел раньше быть к вам; но меня задержал странный случай... На свете, должно быть, очень много угнетенных нищетой.

— Что̀ такое с вами случилось?

— На улице остановила меня девушка просьбой купить у нее разные женские рукоделья, ридикюли, снурочки и прочее. — «Мне милая моя, не нужно это».—Купите, сделайте одолжение!—сказала она умоляющим голосом, — вы спасете от голода целую семью нашу. Мы трудимся, работаем,

чтоб добыть кусок хлеба; но никто не покупает у нас, и хуже еще: дают такую цену, дороже которой стоит материал. — «Великое ваше семейство?» — спросил я. — «Матушка и четыре сестры». Чувство сожаления проникло меня, и я пожелал видеть это несчастное семейство. Я был там.

— И убедились в их бедности?

— О, очень. Без сострадания нельзя смотреть. Я отдал все, что имел с собою.

— Как вы великодушны!

— Это обязанность каждого человека; о, если б вы видели это семейство!

— Сейчас подадут, — сказал входя Федор Петрович.

Саломея Петровна вскочила, встретила его в дверях и сказала на-ухо:

— Пожалуйста не заводи разговора, извинись, что тебе надо ехать; а то он бог знает сколько просидит и меня задержит; а я собралась к Радужиным.

— Да вы поезжайте, а я с ним останусь; мне еще будет приятно провести время с военным человеком.

— Хорошо! — отвечала с досадой Саломея Петровна, и вышла в залу.

Человек внес завтрак; Федор Петрович стал потчивать; Дмитрицкий выпил, закусил, и от нечего говорить стал расспрашивать Федора Петровича, где он служил, долго ли, счастливо ли, давно ли вышел в отставку; а между тем Саломея Петровна, проникнутая какой-то ревностью, что муж отбивает у нее гостя, с которым ей так хотелось наговориться, душой которого хотела бы она пополнить, напоить свою душу, алчущую света ума и пламени

сердца, стояла, ломая руки, в зале у окна и, казалось, искала и внутри и вне себя оружия, чтоб не только изгнать противника из гостиной, но даже согнать со двора.

— Столяр принес диванчик, который изволили заказывать, — сказал вошедший человек.

— А! где?.. хорошо... вызови Федора Петровича: пусть он посмотрит и заплатит деньги, — сказала Саломея Петровна, и пошла в гостиную.

— Федор Петрович, к тебе кто-то пришел.

— Сейчас! — отвечал Федор Петрович, занятый рассказом: — так вот-с, я сижу, вдруг входит в военном сертуке... человек, рекомендуется, говорит, что маиор в отставке...

— Федор Петрович, там ждут тебя!

— Да вот я сейчас доскажу.

И Федор Петрович досказал проделку мнимого маиора и, наконец, извинившись, вышел в залу, где встретил его человек с извещением, что столяр принес диванчик.

— А мне то что! нешто я заказывал! Скажи барыне.

— Да барыня приказала вам сказать.

— Вот тебе раз! где?.. Ну, пусть их поставят в кабинет Саломеи Петровны, — сказал Федор Петрович, и пошел обратно в гостиную.

Саломея Петровна воспользовалась и мгновением.

— Не можете ли вы доставить адрес этой несчастной фамилии, — сказала она Дмитрицкому по выходе мужа, — я хочу посетить ее и помочь чем только могу.

— Адрес сего же дня доставлю вам чрез Михаила Памфиловича. Если вы намерены посетить их завтра, то я предуведомлю.

— Пожалуйста, я буду тотчас после обеда, часов в шесть. Вы уже едете?

— Сделайте одолжение, прошу покорнейше вперед, — сказал Федор Петрович, встретив гостя в дверях.

— С особенным удовольствием.

— Вам, Саломея Петровна, покойный диванчик привезли, — сказал Федор Петрович, приводя Дмитрицкого до передней.

— Знаю, — отвечала Саломея Петровна невнимательно.

Не угодно ли и читателю посетить бедное семейство, мать с пятью дочерьми, которые трудятся день и ночь и не могут выработать для себя необходимого. Вздохнем и отправимся в приют нищеты.

Вот, на самой стрелке между двух улиц, стоит одноэтажный дряхлый домишка. На углу лавочка; с одной улицы ворота на двор и калитка. Подле этой калитки около вечера можно почти всегда застать девушку — глаза мутные, взор неопределенный, щеки румяны, но румянец какой-то мертвенный. Она, верно, помешанная, потому что почти всем прохожим говорит: «Что ж, вы, господин, проходите мимо, не угодо ли зайти в гости, милости просим».

К этой-то калитке подъехал на другой день в шесть часов вечера Дмитрицкий и, приказав извозчику отъехать в сторону, вошел на двор; в сенях встретила его девушка.

— Ах, это вы? — сказала она.

— Это я, — отвечал Дмитрицкий, входя в комнату, где встретили его с распростертыми объятиями еще четыре девы, с восклицанием: «А! наш благодетель!»

— Здравствуйте, сударь! — сказала сидящая в другой комнате пожилая женщина.

— Это что̀! это что̀ за роскошь! — вскричал Дмитрицкий, взглянув на дев. — Смывай румяны! прочь наряды! Матушка! что̀ ты не смотришь за дочками! разве такая бедность бывает? Ну, хорошо, что я не запоздал! Да прошу у меня глядеть смиренницами! .. сидеть за работой! А вы, сударыня, Улита Роговна, насурмились? Это что̀ за прическа?

— Это *урики.*

— Ну, ну, ну, прочь урики!

— Эх вы, благодетель! — сказала одна из девушек, которую Дмитрицкий очень неучтиво поторопил переодеваться в другую комнату.

— К чему наставили столько свечей? прочь! одной с вас довольно. Э-ге-ге! совсем просмотрел было картинную галерею! Долой!

И Дмитрицкий сам сорвал с гвоздей разные картинки в рамках и побросал их под постель; стекла летели вдребезги.

— Что̀ ж это вы все бьете! ведь это деньги сто̀ит! — сказала разгневавшись пожилая женщина.

— Помилуй, матушка, прилична ли здесь притча о блудном сыне! с ума ты сошла! Ай, ай, ай, трубки! ..Чу! кажется, приехала? встречай!

Маленькая новомодная колясочка на плоских рессорах, без задка и, следовательно, без человека, остановилась подле калитки. Дама вошла в калитку, ее встретила мать семейства на крыльце, а Дмитрицкий в дверях.

— Ах, и вы здесь? — сказала Саломея Петровна.

— Я хотел сам представить вам бедное семейство.

— Тем приятнее мне, что мы общим участием поддержим несчастных.

— Вот та несчастная женщина, которую кормят своими трудами эти девушки, — сказал Дмитрицкий.

— Это все ваши дочки? — спросила Саломея Петровна, смотря в лорнет на девушек, которые встали и, потупив глаза, присели: — как труд истомил их! — продолжала она: — ах, бедные! .. Вы давно уже в Москве?

— Ах, давно, сударыня, ваше сиятельство, — отвечала с глубоким вздохом плачевным голосом мать пяти дочерей, отирая глаза платком. — Муж помер, оставил меня в бедности, кормись, как хочешь! ..

— Вы найдете во мне помощь, милая; на первый раз... прошу принять.

— Позвольте поцеловать ручку! Благодарите!

Четыре из девушек бросились также к руке Саломеи Петровны; но одна, едва воздерживаясь от смеху, выбежала в другую комнату.

— Чего вы боитесь, миленькая? — сказал Дмитрицкий, кинув на нее грозный взгляд.

— Вот тебе раз! буду я руку целовать! — тихо проговорила девушка.

— Одна из дочерей немного помешана,— сказал Дмитрицкий, склонясь к уху Саломеи Петровны.

— Ах, я думаю, они все близки к этому; на них страшно смотреть: какие бледные лица с впалыми щеками, какой мутный взор, губы синие... Это ужасно! — отвечала Саломея Петровна тихо. — Но как здесь чисто, опрятно, — продолжала она, осматривая комнату и потом входя в другую.

— Позвольте вас, сударыня, хоть чайком попотчивать.

— В угождение тебе я выпью чашку, — сказала Саломея Петровна, садясь на стул и заводя разговор с Дмитрицким об отчаянных положениях, в которые люди могут впадать.

Между тем как старуха и девушки хлопотали о самоваре, бегали в лавочку, то за водой, то за сухарями, то за сливками, Саломея Петровна могла свободно вести с Дмитрицким разговор, никем не нарушаемый.

— Что страдания бедности, — говорил Дмитрицкий, — ничего! Эти люди живут всё-таки посреди своих грязных привычек, сыты и счастливы; истинные несчастия не посереди этого класса людей, а в высшем сословии, посереди довольствия животного... так истинная бедность — бедность духа, и недостатки — недостаток сочувствия, недостаток любви.

— Ах, как вы знаете сердце человеческое! — сказала вне себя Саломея Петровна: — и этим недостаткам ничем нельзя помочь!

— Да, кто слаб душой, о, тот не вырвется из оков, в которые его могут бросить обстоятельства... Но знаете ли... я буду с вами откровенен, как ни с кем в мире... но, между нами.

Румянец довольствия пробежал по лицу Саломеи Петровны.

— О, верно, во всяком случае эта откровенность будет вознаграждена взаимной, — сказала она.

— Я искал любви и сочувствия; но отец и мать требовали, чтоб я женился на девушке по их расчетам — я женился...

— Вы женаты?

— Да, я женился; но у меня нет жены, ну, просто нет! Есть какое-то существо, которое ест, пьет, спит, ходя и лежа, ничего не чувствует, ни об чем

не мыслит; я уехал и изнываю без пристанища сердцу! Кто теперь достоин более сожаления — я или эти все переваривающие желудки? ..

— О, я вас понимаю! — произнесла Саломея Петровна, едва переводя дыхание и подавая руку Дмитрицкому: — я вас понимаю, и никто так вас не поймет!

— Как дорого это сочувствие! — сказал Дмитрицкий, прижав крепко руку Саломеи Петровны к устам.

— Ах, теперь я не в состоянии; но в следующий раз, когда мы увидимся, я открою вам и мои сокровенные тайны и мои страдания.

— У вас в доме наш разговор не может переходить в излияние откровенности, — сказал Дмитрицкий задумчиво.

— Ах, да! вы это поняли.

— Понял. Здесь, сочувствуя угнетенным несчастиями, мы можем свободнее сочувствовать и друг другу.

— Ах, это правда,—произнесла Саломея, вздохнув глубоко и остановив томный взор на Дмитрицком.

Допив чашку чаю, она встала.

— Завтра я посещу вас опять; я позабочусь об вас. Не утомляйте себя, милые, трудами, отдохните.

Бросив прощальный взгляд на Дмитрицкого, она вышла.

— Фу! свалилась обуза с плеч! Ну, прощайте, и мне пора! — сказал Дмитрицкий потягиваясь.

— Конечно, чего ж еще более! — сказала горделиво отвергнувшая честь поцеловать руку Саломеи Петровны.

Дмитрицкий вышел.

II

Дмитрицкий — разбитная голова; об этом и спору нет. Бо̀льшая часть читателей, вероятно, уже догадались, для каких причин, пользуясь чувствами великодушия, про которые так много говорила Саломея, возбудил он в ней сострадание к несчастному семейству, погруженному, как говорится, в пучину бедности. Может быть догадливые читатели полагают, что он, пленившись Саломеей, желал сам воспользоваться ее великодушием? — Нисколько. С первого взгляду он ее возненавидел и, осмотрев с головы до ног, назвал по-латыне зверем. Когда же она заговорила о великодушии, которое так свойственно человеку и которого ни в ком нет, разумеется, кроме ее, тогда, вы помните, он воскликнул: «Великодушие? о! это пища души! Я не знаю ничего лучше этого! я понимаю вас! Вы должны сочувствовать всему, сострадать о человечестве!» — Саломея скромно отвечала:—Да, я очень чувствительна.

«Ах, ты, великодушный, чувствительный демон!» — подумал Дмитрицкий.

— Скажите, пожалуйста, что̀ за человек муж этой прекрасной дамы, с которой вы меня познакомили? — спросил Дмитрицкий у Михайла Памфиловича по окончании литературного вечера.

— Федор Петрович очень добрый, прекраснейший человек, — отвечал Михаил Памфилович, — он из военных.

— Неужели? открыто живет?

— О, как же!

— Она меня звала завтра к себе, да людей моих нет; а мне нельзя же свиньей явиться в гостиную.

— Попробуйте, не в пору ли будет мой фрак.

— В самом деле. Может быть, чуть-чуть узок; но ведь портные говорят, что̀ все что широко — ссядет, а что̀ узко — раздастся.

— Поедемте вместе.

— Вместе? нельзя: мне надо завтра сделать несколько визитов, и потому не могу определить именно время, когда попаду к ней.

— Будете у кого-нибудь из здешних литераторов?

— Разумеется.

— Вы знакомы с X?..

— Вчера только первый раз видел его у вас.

— Ах, нет, вы ошиблись, — сказал Михаил Памфилович, покраснев, — он обещал быть, но не был.

— А кто ж это такой из известных литераторов московских был у вас, причесан а ла мужик, и все читал стихи о демоне?

— Ах, это Зет; это его поэтическая фамилия, он подписывает Z под стихами своими. Как понравились вам стихи его? Я хочу их поместить в альманахе, который издаю.

— Не дурны, очень не дурны.

— Не правда ли, что много огня?

— Тьма! да и нельзя: демон без огня — чорт ли в нем.

— Я хочу обратиться и к вам с моей просьбой; я уверен, что вы не откажете украсить своим именем мой альманах: все литераторы участвуют в нем... что̀-нибудь, хоть маленькую повесть.

— Пожалуй, пожалуй, извольте; какую вам угодно повесть?

— Да какую-нибудь.

— Нет, для чего же какую-нибудь, вы просто скажите, какую вам хочется?

— Что-нибудь в русском духе.

— Пожалуй, с величайшим удовольствием, отчего ж не сочинить.

— Какие условия угодно вам будет назначить? Я на все согласен.

— Какие условия?

— С листа ли угодно будет назначить цену, или за все сочинение?

— Разумеется, за все. Z... кажется, взял за роман сорок тысяч.

Михаил-Памфилович побледнел.

— Ведь это роман, — сказал он.

— Да, я роман вам и напишу.

— Ах, нет, в альманах нельзя поместить романа: какую-нибудь маленькую повесть... листа в три печатных.

— Ну, за повесть можно взять дешевле, за повесть можно взять половину.

— Нет, уж сделайте одолжение по листам; мне иначе нельзя.

— Вы что ж полагаете за лист?

— Двести рублей.

— Только? Двести рублей за целый лист кругом? Вы думаете, что легко исписать целый лист? Да я не возьму тысячи рублей.

— Как это можно, я не могу столько заплатить.

— Вы не можете? Позвольте не верить! Составляет ли это счет для вас! Неужели вы перебиваетесь?

Самолюбие Михаила Памфиловича затронулось словом *перебиваетесь;* он ужасно боялся, чтоб про него не только сказали, но и не подумали, что он бедный человек.

— Помилуйте, — отвечал он с выражением, что ему нипочем деньги, — я не потому говорю, чтоб

мне составляло это какой-нибудь особенный счет, но...

— Ну, вот видите ли, — прервал Дмитрицкий, — я уверен, что вы сами не решитесь иначе за перо взяться. Не правда ли?

Если б Михаил Памфилович был уже сам лично сочинитель, и если б он поместил уже какую-нибудь статейку в какой-нибудь ежемесячник, то верно бы подумал с значительной улыбкой: «Да, я — это дело другое»; но он только еще писал разные проекты и мнения об разных улучшениях по разным частям человеколюбия, писал, как пишут великие люди, поручая писать за себя людям, умеющим писать и знающим дело. Проекты эти он читал сперва папеньке и удивлял его всеобъемлющим умом своим, брал с него деньги на переписку проектов отличной рукой для представления высшему начальству.

— Помилуй, братец, — говорил папенька, — неужели ты платишь за переписку так дорого?

— Да как же, папенька, ведь этого нельзя поручить какому-нибудь писарю; мне переписывает чиновник.

— А, это другое дело, — говорил папенька и выдавал ему на переписку какой-нибудь тетради ту сумму, за которую сочинялся проект, например, о том, как искоренить нищих.

Написав проект, Михаил Памфилович делал обед, приглашал всех своих сослуживцев и всех сочленов и читал проект. За прекрасный обед и предварительные угощения, все находили проект вообще очень замечательным; но в частях один советовал то исправить, другой — другое, третий — третье; а Михаил Памфилович находил, что замечания каждого очень справедливы, что проект, дей-

ствительно, по мнению одного должно исправить, по мнению другого пополнить, по мнению третьего сократить, по мнению четвертого пояснить и распространить. Но свести эти мнения было гораздо труднее, нежели выдумать новый проект; и потому все проекты Михаила Памфиловича после обеда, данного сочленам, поступали в портфель для хранения.

Все это было причиной, что Михаил Памфилович умел ценить чужие сочинения и был необыкновенно как доволен замечанием известного петербургского литератора, который, будучи известным литератором, взял его в сравнение с собою.

— Я ничего еще не издал в свет, — отвечал он скромно, — я писал по бо̀льшей части проекты и мнения, которые, я уверен, пойдут в ход, особенно проект о распространении просвещения во всех сословиях народа.

— О, я понял тотчас, что вы государственный человек: проект о распространении просвещения во всех сословиях — это не шутка! это всё равно, что одно сословие вылечить от куриной слепоты, другому снять с глаз катаракты, третьему спустить темную воду, и так далее, — это не шутка! Так мы дело кончили?

— Я согласен; по напечатании книги я немедленно вам доставлю что̀ будет следовать.

— Э, нет, лучше вперед; так я уж и присяду.

— Мне, впрочем, всё-равно; но теперь у меня налицо нет столько денег; покуда позвольте отдать половину.

— Хорошо; повесть в четыре листа; так две тысячи.

— Нет, не более двух листов; потому что уж и так альманах слишком велик.

— Полноте, пожалуйста! Книга чем толще, тем лучше; это известное дело. Так две тысячи.

Михаил Памфилович не умел отговориться.

На другой день он объявил отцу, что купил для своего альманаха у петербургского известного литератора чудесную повесть за пять тысяч рублей, и что ему тотчас же надо заплатить.

— Помилуй, Миша, что̀ ты это, с ума сошел? За повесть пять тысяч рублей! да ты меня разорил совсем!

— Что̀ за дорого, папенька; вы знаете, что̀ значит имя известного литератора; я напечатаю тысячу двести экземпляров, по десяти рублей — вот вам и двенадцать тысяч; да я еще думаю напечатать два завода — их тотчас расхватают; а это составит двадцать четыре тысячи!

— Ой? Правда ли?

— Ей-богу!

— То̀-то, брат, в таком случае пять тысяч не брошенные деньги; да у меня теперь налицо только и есть, что три тысячи; разве билет опекунского совета.

— Это всё равно.

Получив деньги, Дмитрицкий, как вы помните, отправился обозревать Москву в наемном фаэтоне, распорядился богатой экипировкой в магазине готового платья на Тверской, завился на великой фабрике париков, расспросил извозчика кое о чем, съездил кое-куда и познакомился с семейством, погруженным в бездну нищеты, и, наконец, часу в третьем, прибыл, как вы помните, с визитом к Саломее Петровне.

Супруг ее, Федор Петрович, ему очень понравился.

— Эх, брат, чорт тебя женил на Саломее Пе-

тровне, — думал, он слушая рассказы его про службу, — я готов прозакладывать голову, что ты с удовольствием проиграл бы мне в банчик тысяч десяток, если б не помешала жена. Худо, брат, сделал, что женился. Жаль! Эта баба изведет тебя, так изведет, что умирать нечему будет... Нет, друг, уж извини, я этого сносить не могу! Я ее приберу к рукам, я ее вышколю!..»

Эти мысли прервала приходом своим Саломея Петровна, и вы помните, как и куда направил он ее благодетельное, великодушное сердце. После первого свидания с ней у несчастной матери, имеющей на руках пять дочерей, Дмитрицкий имел второе свидание. На втором свидании назначено было третье; но уже не у несчастного семейства. Отправляясь домой, Дмитрицкий был вне себя от досады.

«Негодная бабенка! — говорил он: — ну, глуп брат ты, Федор Петрович! иметь такой капитал и положить его вместо опекунского совета в Саломею Петровну! Лучше бы поставить на карту, по крайней мере, риск благородное дело; а то чорт знает что: Саломея Петровна!.. Нет, душа моя, Саломея Петровна, этого я не перенесу; это просто бесит меня, взбунтовало всю желчь!.. Извини, тебя поздно учить, а надо проучить! едем со мной, едем, непременно едем!.. В Москве нам делать нечего, я тебя прокачу на юг... Там, радость моя, чудо что за природа: какие там дыни-мелони, что за виноград, я тебе скажу!.. Скажи, пожалуйста! В полгода от двухсот пятидесяти тысяч осталось только сто двадцать. Каково? Дурак, Федор Петрович! в остальные полгода они похерят и остальные! Нет, мечта! не позволим!.. Денег Федору Петровичу, так или иначе, а уж не видать в своем кармане; но

по крайней мере у него останутся души в целости. Едем, Саломея Петровна, едем!»

Рассуждая таким образом, Дмитрицкий распоряжался насчет дорожного дормеза, найма лошадей, а, главное, верного и надежного человека, непременно из иностранцев.

— Вы уезжаете? — спросил его Михаил Памфилович.

— Да, мне давно пора ехать, насилу дождался моего камердинера с экипажем. Повесть вы получите в скором времени по почте.

Распростившись с Михаилом Памфиловичем, Дмитрицкий, подобно Федору Петровичу, в один прекрасный вечер, подъехал к голицинской галерее, подал у подъезда руку какой-то даме в вуале, подсадив ее в карету, сел сам и — наши поехали.

— Не забыла ли ты, душа моя, подорожную? — спросил он прежде всего у дамы.

— О, нет, я ничего не забыла.

— И сердце, полное любовью, с тобой?

— О, вот оно, вот! чувствуешь, как бьется?

«Худо уложено, возлюбленная моя! — подумал Дмитрицкий, — в дорогу должно так укладывать всё, чтоб не билось».

На заставе записали подорожную: Федор Петрович Яликов, с супругой, в свое поместье.

III

До сих пор мы познакомились с сносными людьми; теперь познакомимся с несносным человеком — с жилой. Знаете ли вы людей, которых называют жилами. В самом зарождении своем это полипы в человеческой форме. Только что выклюнутся из яйца, мозглявые с виду, как сморчки, они

уже тянут жилы неестественным своим криком; спокойны только тогда, когда сосут грудь, сосут досуха. Глаза и руки у них тянутся ко всему, всё подай, или беги от крику. Избави бог быть братом или сестрой жилы, не приведи бог быть товарищем и сослуживцем жилы, отклони бог всякую быть женой жилы и всякого быть детищем жилы.

Из этого числа людей был Филипп Савич, помещик Киевской губернии. Имея самую слабую и хилую комплекцию, он выжилил, наконец, себе тучное здоровье; не имея в себе ничего, что бы могло нравиться женщине, он выжилил любовь; не имея состояния, выжилил жену с состоянием. Когда нечего ему было жилить, душа его наполнялась каким-то беспокойством, озлоблением, и тогда он привязывался к жене, детям, к людям и жилил спокойствие всех домашних. Но наконец, по каким-то актам, он привязывался к соседскому имению и посреди удачи тяжебных забот оставил в покое жену, детей и домочадцев; и была в доме тишина ненарушимая и всему воля. Стали даже завидывать счастию Любови Яковлевны, несмотря на то что по болезненному состоянию здоровья она была уже сидень. Она одна, своим умом и сердцем, заботилась и о детях.

Естественные и, следовательно, законные гувернёры и гувернантки — сами родители; исключая, разумеется, неизбежные необходимости заменения — смерть и болезни; но к числу болезней приписалась и лень, и беззаботность, и навык к безделью, и привычка загребать жар чужими руками, и, наконец, приятность застраховать себя тысячи за две, за три в год от труда воспитывать детей и наблюдать за их телом и душой.

Следуя потребностям времени, Филипп Савич для французского языка принял на хлебы мадам Вожѐ, старую француженку, болтовню, современницу того времени, когда во Франции все *загуляло*, перепилось, передралось и все перебило. Но от ужасов вакханалий она эмигрировала; впечатления ее сосредоточены были на счастливое время первого разгула.

Мадам Вожѐ также вкусила от сладости плода, внушающего побуждение любить, и несмотря на то, что прибыла в Русь, что̀ называется, уже под исход дня и приняла на свое попечение Георгия, не более как двенадцатилетнего, она восчувствовала к нему особенную нежность и стала откармливать для себя сладкой пищей. Присоветовав Филиппу Савичу учить и воспитывать сына дома, она угодила этим чувству матери, которая, как и все, не любила мысли о разлуке с единственным и любимым сыном. Приняв все заботы об управлении воспитанием Георгия на себя, мадам Вожѐ постепенно распаляла воображение юноши понятиями о какой-то любви и неге. Холодный отец не умел ласкать, болезненная Любовь Яковлевна любила сына, но в ней чувство нежности давно завяло; и потому нежность и ласки мадам Вожѐ, передаваемые ему вместе с французским языком, для него были соблазнительны.

Отец и мать считали Георгия ребенком; но мадам Вожѐ развивала в нем чувства возмужалости, льстила самолюбию юноши, и между тем искусственным образом час от часу молодела и снова принялась за образование своей немного распущенной талии посредством корсета.

Когда Георгий вступил в возраст юноши, мадам Вожѐ приступила к последнему курсу; он хорошо

уже говорил по-французски; но еще не знал разговора о любви.

Сначала, лаская его страстно, она говорила:

— Вот как должна тебя любить мать!

Приобретая материнское право целовать его, она говорила ему:

— О, как ты пламенен, сколько в тебе нежности! Знаешь ли ты, что я сама любима в первый раз так, как ты меня любишь!

И она отирала глаза платком и жаловалась на судьбу, что первая ее молодость погибла в бурях и неведении истинной любви.

— У меня не было друга; будь ты моим другом, но втайне, чтоб никто не позавидовал моему счастию.

Эта высокая оценка чувств юноши и вызов на таинственную дружбу приятно возмутили наклонную к мечтательности душу Георгия. Не понимая еще вопиющего неравенства лет, он видел в этой дружбе сочувствие душ.

Возбуждая в молодом сердце Георгия жажду любви, пожилая фея превращалась в источник и выжидала минуты, когда юноша бросится в него утолить палящую внутренность. Это желание было уже в нем непреодолимой страстью.

Когда, в пылу своих замыслов, она думала, что уже время заменить нежность дружбы и ласки нежностью любви и порывами страсти, Георгий, как испуганный, не знал куда бежать от нее.

Природу можно обмануть только один раз. Этого не рассчитала мадам Вожè. Она сначала думала, что только девственная скромность заставляет юношу убегать от нее. Нежными и томными взорами покоренной невинности смотрела она на Геор-

гия, как на победителя, и, казалось, говорила: «Я — твоя!»

— О, как ты хорош, мой Георгий! — произнесла она однажды, тихо склонясь на плечо Георгия. — Георгий, взгляни на меня! — прибавила она, взяв его за руку, — улыбнись мне... о, как ты очарователен!

Она хотела обвить его рукою; но Георгий вспыхнул, оттолкнул руку, вскочил с места и вышел вон.

Это было первое невнимание к словам воспитательницы и первая дерзость, оказанная ей учеником; но она перенесла ее, пошла вслед за ним, зовет его к себе. Георгий как будто не слышит.

— Это что̀ значит, Георгий? За мои попечения, за мою любовь ты огорчаешь меня?

Георгий проходит мимо.

— Георгий, ты меня терзаешь! Ты приводишь меня в отчаяние!

Георгий вырвал руку, которую она схватила, чтоб удержать его.

— Ах, умираю! — вскричала она, наконец, — Георгий, я умираю! доведи меня...

Но Георгий уже ушел.

Все эти сцены происходят, как говорится, под носом отца, матери и всего дома; но никто не знал об них.

Мадам Вожѐ в отчаянии, не понимает причины внезапной перемены в Георгии, хочет принять тон строгой воспитательницы; но боится, что раздраженный молодой человек откроет ее замыслы отцу и матери.

«О, тут есть какие-нибудь посторонние причины! — думает она: — он так был очарован, так любил меня!»

И мадам Вожѐ начинает замечать за Георгием.

Одна старая девушка, Юлия Павловна, подруга молодых лет Любови Яковлевны, часто бывавшая в доме, более всего наводит подозрение мадам Вожѐ.

— О, не даром эта нежность к Георгию и поцелуи! .. она целует его как ребенка! .. А между тем этот ребенок очень понимает, чтò такое значат поцелуи... и я так была глупа, что меня провел молокосос! ..

В понятиях мадам Вожѐ Георгий представлялся самым утонченным демоном соблазна.

Решив таким образом, мадам Вожѐ вспыхнула ревностью к Юлии Павловне, которая всё-таки была двадцатью годами моложе ее.

Когда Юлия Павловна приходила в гости или гостила, мадам Вожѐ тайно следила за каждым шагом Георгия, наблюдала взоры, прислушивалась к разговорам; право Юлии Павловны ласкать Георгия давно уже сердило мадам Вожѐ, и она всегда говорила ему, что неприлично позволять себя целовать девушке, что он уже не ребенок. Это было причиною, что Георгий, чтоб избежать ласк Юлии Павловны, избегал самой ее. Но когда, напротив, по собственному чувству отвращения, он стал избегать мадам Вожѐ, тогда как будто на зло ей он рад был присутствию Юлии Павловны и почти не отходил от нее; то предлагал мотать ей шерсть, то предлагал читать ей книгу, то звал ее играть с собой в пикет и прочее.

Подобные небольшие перемены погоды в отношениях между обычными членами семейства никому не заметны, потому что на них не обращает никто внимания. Нет опасения, нет и стражи. Никто в доме, так сказать, и не чувствовал уклонения четырнадцатилетнего Георгия от ласки Юлии Павло-

вны; только она несколько заметила, потому что это до нее касалось, и потому что она любила детей подруги своей молодости, с которой некогда, мечтая о замужестве и о будущем, условились — если бог даст детей — породниться. Оставшись навек заштатной девой, она любила Георгия, как жениха воображаемой своей дочери.

Часто в беседах с Любовью Яковлевной она вдруг прослезится и начинает жаловаться на свою судьбу, что Виктор Андреевич (предмет ее первой и последней любви) непременно женился бы на ней, если б ее папенька принимал его ласково в дом.

— Пришла же охота горевать бог знает о чем! — говорила ей всегда Любовь Яковлевна.

— Да, хорошо тебе, как ты замужем! — всегда отвечала с укором Юлия Павловна.

— Что ж, счастлива ли я?

— Ты хоть чем-нибудь счастлива; у тебя дети; какое же еще нужно счастие?

— Какое?—произносила вздыхая Любовь Яковлевна: — э-хе-хе! не знаешь ты горя... так надо его выкопать из-под спуду; да добро бы это верно было, что Виктор Андреевич женился бы на тебе; а то, бог знает, и думал ли он.

— Нет уж, очень думал! — возражало обиженное самолюбие Юлии Павловны. — Я знаю, что думал; охота бы ему набиваться на знакомство в доме: и лучше бы нашего дома нашел, да не хотел; стало быть, было намерение. Да и я, как будто такая еще дура была, что не могла понять намерения человека!.. Вольно ж было папеньке отучить его от дому!.. Это ужасно!.. Потому что молодой человек, так и никакого внимания не должно оказывать!.. Только и компания что старики!.. Поневоле останешься в девках!..

— Правда, что он очень мало в этом случае был расчетлив.

— Да как же, у меня бы теперь непременно была дочь, Людмила... Невеста твоему Георгию... Помнишь, ты сказала: «У меня непременно будет первый ребенок — сын Георгий». Ты сдержала свое слово; а я...

Тут Юлия Павловна принималась проливать слезы.

Вот история ее отношений и ласк к Георгию.

Когда после долговременного невнимания Георгий вдруг стал садиться подле Юлии Павловны, разговаривать с ней, ходить с ней по саду, прислуживать и, словом, находить около нее приют от преследований мадам Вожѐ, тогда в мадам Вожѐ заговорило чувство исступленной ревности. А Юлия Павловна, замечая, что Георгий угождает ей, почти не отходит от нее, вообразила, что он в нее влюбился.

«Ах, боже мой, — думала она, — неужели в нем так рано развилось чувство любви?»

Надо заметить, что Юлия Павловна провела свою молодость с старым суровым отцом, и сроду не случалось ей испытать на себе, как любят мужчины и как волочатся за девушкой; рассказы и женские *поверья* не составляют опытности. Она была вполне невинна и душой и телом; но часто мысль о любви тревожила, томила ее, как жажда; ей хотелось любить. Внезапное внимание Георгия и желание его быть с нею поразило ее своею новостью, тем более, что в продолжение двух лет равнодушия он вырос и далеко ушел от того Георгия, которого она на четырнадцатом году возраста еще миловала как ребенка.

«Боже мой, боже мой! — думала она: — это

удивительно! Каким же это образом вдруг такой неожиданный переворот?.. Он только и находит удовольствия что быть со мною... Кажется, мадам Вожè это заметила... она так странно смотрит, улыбается, когда застанет Георгия со мною; а он поминутно краснеет... Теперь только начинаю я всё припоминать.. он верно давно влюблен в меня, и скрывал, боялся, чтоб не заметили этого, и убегал от меня? Точно!.. припоминаю; он вдруг переменился ко мне... я этого тогда не поняла... но наконец страсть развилась в нем... Бедный Георгий!.. Ах, это предназначение! сердце его ищет во мне Людмилу... Когда он смотрит на меня, мне кажется, что глаза его говорят: подай мне дочь свою, мою суженую Людмилу, или я влюблюсь в тебя!..

Чем более Юлия Павловна думала, тем более убеждалась, что Георгий влюблен в нее, и ей стало страшно.

После этого открытия при первой встрече с Георгием она вспыхнула, не знала что̀ говорить, чувствовала неловкость, боялась с ним остаться наедине, краснела, когда мадам Вожè входила в комнату, и, наконец, не зная как скрыть свое смущение, ушла домой, жалуясь на головную боль.

Постоянно веселое расположение духа Юлии Павловны вдруг исчезло. Бывало с восстанием от сна до сна грядущего она языка не положит, всех в городе обойдет рундом, справится о здоровье и о делах каждого, изведает всю подноготную, кто как думает, что̀ говорит, что̀ все думают и говорят об этом, и как бы она думала, словом, соберет преинтересную журнальную мысль и издает ее изустно в свет. Несмотря на строгий критический взгляд на предметы, ее все любили, особенно

Любовь Яковлевна, и по старой дружбе и по удовольствию разделять с ней свое время.

Состояние ее заключалось в оставшемся после отца небольшом домике, который она отдавала в наймы, занимая сама мезонин; небольшого дохода с дома ей было очень достаточно, тем более, что она, можно сказать, постоянно жила у Любови Яковлевны; Любовь Яковлевна не могла без нее дня провести.

Когда роковая тайна сердца Георгия заставила Юлию Павловну уйти домой, друг ее перед вечером прислала к ней проведать о здоровье и просить к себе; но Юлия Павловна как изнеможенная лежала уже в постели; ее пожирали сладостные и горестные думы о любви Георгия.

Старушка Ивановна ужасно как надоела ей, — не дает ни минуты уединения, всё пристает, чтоб она выпила хоть чашечку липового цвету.

— Да выкушайте, барышня, пропотеете немножко и всё пройдет. Уж я вижу, что у вас лихорадка, верно простудились как-нибудь; вчера ввечеру сыренько было, а вы верно в саду чай пили. Да выкушайте же, барышня! как рукой снимет; а то — избави бог — привяжется...

— Да отстань, Ивановна! Сказала, что не буду пить! Дай мне спокойно полежать, поди-себе!

— Тò-то и есть, что вы упрямы стали, а уж это худой знак!

Чтоб отделаться от Ивановны, Юлия Павловна должна была притвориться спящею; но она забылась только перед светом. Сон ее был страшен: ей снилось, что снова отец и мать лелеют ее юность, и она не отходит от зеркала, всё любуется на красоту свою и наряды невесты. Вдруг является молодой человек, ее жених — это Георгий, она хочет

подойти к нему, но отец, в образе мадам Вожѐ, говорит вдруг: «Позвольте! что̀ это значит? извольте садиться по углам!» Бедная Юлия садится в угол, со слезами украдкой смотрит на сидящего в другом углу Георгия и терзается всеми мучениями страшной разлуки. Но мать сжалилась над дочерью, и в то время, как отец отвернулся, берет руки Юлии и Георгия и соединяет их. — «Позвольте, это что̀ такое?» — восклицает отец. — Молодые, — отвечает мать. — «А, это дело другое», — говорит отец и предлагает Георгию понюхать табачку. Георгий отказывается, уверяет, что не нюхает; но Юлия Павловна шепчет ему: «Понюхай, друг мой, не отказывайся, а не то папенька рассердится и выживет тебя из дому!» Георгий нюхает. «Вот люблю, — говорит отец, — люблю покорность! Если есть нос, отчего ж не понюхать, особенно когда старшие предлагают». Между тем сбираются со всех сторон гости и поздравляют Юлию Павловну с счастливым вступлением в брак; начинаются танцы с котильона; молодые танцуют вместе, и в то же время поминутно выбирают друг друга. Юлия Павловна счастлива, носится по воздуху. Георгий то и дело подходит ее ангажировать. После танцев наступает внезапно ночь. Юлия Павловна боится потерять Георгия, крепко держит его в объятиях и с нетерпением ждет рассвета. Вот рассветает, рассвело; Юлия Павловна смотрит — на руках у нее не Георгий, но прелестная девушка, совершенное подобие Георгия, точно как Георгий, переодетый в женское платье.

— Ах, боже мой, я тебя не узнала! — говорит Юлия Павловна, целуя девушку.

— Неужели, маменька, не узнали? свою Людмилу не узнали?

— Людмила! — с содроганием повторяет Юлия Павловна: — а где же Георгий?

— Он дома, я сейчас была у Людмилы Яковлевны.

— Вы виделись? — вскрикивает Юлия Павловна.

— Виделись.

— О, боже мой, что̀ я сделала! зачем я дала клятву Любеньке утвердить нашу дружбу союзом Людмилы с Георгием! .. Нет, это не может быть! ..

— Как, маменька, вы сами желали...

— Нет, нет, нет! это не может быть!

— Да почему же, маменька? Я умру, — сказала Людмила, залившись слезами.

— Лучше умри! Этого не может быть!

— Да почему же? маменька, душенька!

— Это тайна, страшная тайна!

И Юлия Павловна, всплеснув руками, бежит к Любови Яковлевне; Людмила бежит вслед за нею... Вот прибежали в дом. Любовь Яковлевна и Георгий бегут навстречу им. Георгий бросается в объятия Людмилы, а Любовь Яковлевна обнимает, целует без памяти Юлию Павловну.

— Пусти, пусти меня, я не согласна! этого не может быть! — кричит Юлия Павловна, вырываясь из объятий, но не в силах вырваться; Любовь Яковлевна оковала ее руками; а между тем Георгий целует, обнимает Людмилу.

— О, пусти, союз их не может состояться... Прочь, Георгий, от Людмилы!

— Как прочь! — говорит Любовь Яковлевна: — это почему, а клятва?

— Этого не может быть!

— Почему не может быть?

— Это страшная тайна! пусти меня! они уйдут!

они уходят! Георгий! Георгий! Людмила — дочь твоя! .. Они ушли! О, я погибла!

Юлия Павловна вырвалась из объятий Любови Яковлевны, хочет бежать за Георгием и Людмилой; но ноги ей не служат, и она падает на колена перед матерью Георгия и умоляет догнать его, вырвать из объятий Людмилы.

— Догони, догони! — повторяет она, ползая на коленях пред нею: — я тебе всё открою: твой Георгий — муж мой, Людмила — дочь его! ..

— Матушка, барышня, что̀ с тобой? — кричит Ивановна, вбегая в комнату Юлии Павловны и обхватив ее руками.

— О, пусти, я сама умру; только догони их, догони! — повторяет в бреду Юлия Павловна.

Ивановна плачет над ней.

— Говорила я, чтоб выпить липового цвету! Вот и горячка! Барышня! голубушка!

Юлия Павловна вздрогнула, очнулась; холодный пот покатился по лицу ее, мутный взор ходит кругом.

— Что̀ с тобой, барышня? .. Вот, в озноб теперь кинуло! ..

Юлия Павловна зарыдала.

Утолив безотчетное свое горе слезами, она поуспокоилась; и наконец, после долгой думы, взор ее просветлел.

«Какие пустяки забрала я себе в голову, — думала она, увлекаемая желанием по привычке отправиться к Любови Яковлевне, — право, сама не знаю, чего я испугалась; ну что̀ за беда, что ребенок любит меня... я сама его так люблю, как своего родного сына... Я уверена, что ему надоела эта мадам Вожѐ с своим французским языком... Только и разговоров, что про грамматику! Не

удивительно, что он стал бегать от этой грамматики; со мной всё-таки о чем-нибудь можно поговорить. Молодому человеку необходимо рассеяние».

Поток этих успокоительных мыслей остановлен был присылкою от Любови Яковлевны узнать о здоровье и просить к себе. Человек вошел так неожиданно и так крикнул, что Юлия Павловна вздрогнула с испугом, и в ней задрожали все жилки.

— Не могу, не могу, — проговорила она, — кланяйся Любови Яковлевне.

Человек ушел; а Юлия Павловна, успокоясь, подумала: «Для чего ж это я наклепала на себя лихорадку? Смех какой! испугалась человека! я пойду».

И она, полная мыслей о глупости, которая пришла ей в голову, надела, не замечая того сама, новенькое платье с шитой перелиночкой и, стоя перед зеркалом, десять раз переделывала прическу волос.

Вдруг входит Георгий.

Юлия Павловна так и обмерла, завитые локоны распустились от страху.

— Ах, Юлия Павловна, — сказал Георгий, целуя по обычаю ее ручку, — а мы думали, что вы в постели!

— Да, я очень нездорова, Георгий, — проговорила Юлия Павловна взволнованная новою неожиданностью, схватившись за руку Георгия.

И она не могла докончить, села, держась за руку Георгия; Георгий сел подле нее.

— Слабость такая... всего пугаюсь... Я не знаю, что со мной делается.

И Юлия Павловна заплакала; Георгий придержал ей голову, которая клонилась, клонилась и, наконец, припала на плечо юноши.

— Что̀ это с вами делается, Юлия Павловна? — сказал он с чувством.

Юлия Павловна еще сильнее зарыдала.

Любовь Яковлевна, рассердясь на человека, который, возвратясь от Юлии Павловны, не мог сказать, чем она больна, хотела посылать его в другой раз.

— Позвольте, я сам схожу, маменька, — сказал Георгий, и побежал к Юлии Павловне.

Это слышала мадам Вожѐ. В ней страшно уже кипело чувство ревности. Подозревая условленное свидание, она не вытерпела.

— Бедной Юлий Павловна больна, очень больна, — сказала она, — я пойду сама к ней.

— Сходите, навестите ее, мадам Вожѐ.

Мадам Вожѐ хотелось застать любовников врасплох; торопливо дошла она до дому Юлии Павловны, тихонько прокралась в сени, на лестницу, приотворила двери в переднюю — всё тихо; подле, в кухонке, никого нет — Ивановна ушла на базар.

Тихонько приотворила и дверь в гостиную, пробирается на цыпочках, заглянула в спальню и вместе уборную — тишина. Но какая картина для нее: безмолвно сидит Георгий на канапе, к плечу его припала головою Юлия Павловна, глаза ее закрыты, она, казалась, сладко забылась после горьких слез, локоны ее распались, щеки горят, наряд совсем не говорит в пользу болезни.

— Браво, браво, Юлий Павловна, у вас прекрасный болезнь! — вскричала мадам Вожé, вбежав в комнату с злобной радостью, — Мосьё доктёр у вас очень хорошой, очень хорошой!

Это был третий внезапный приход для Юлии Павловны; она вскрикнула и упала без памяти.

— Вы испугали ее! — вскричал Георгий, бросившись помогать Юлии Павловне.

— Monsieur le docteur,[1] извольте итти домой! — сказала мадам Вожѐ, гордо указывая Георгию двери.

— Что̀? — сказал Георгий с презрением.

— Monsieur George,[2] я вам приказываю!

— Прочь! — вскричал Георгий, оттолкнув мадам Вожé, которая схватила его за руку.

— Дерзкой мальчишка! я иду, иду всё рассказать отцу и матери!

— Иди, рассказывай, я сам всё расскажу! .. всё, до̀-чиста!

— Георгий, извольте итти домой! — закричала во весь голос Вожѐ. И она, как демон, исступленная, бросилась на беспамятную Юлию Павловну; но Георгий, обхватив ее, вытащил за двери, толкнул и припер их.

— Постой же, мальчишка! — вскричала мадам Вожѐ, погрозив в дверь кулаком.

Бегом побежала она домой, скрежеща зубами.

— Что̀ вы бежите как сумасшедшая, мадам Вожѐ? — спросил Филипп Савич, сидевший у открытого окна, видя ее бегущую мимо дому с разъяренным лицом.

— Я вам скажу, я вам скажу! — вскричала мадам Вожѐ.

«Что̀ там такое? — подумал Филипп Савич, выходя навстречу в залу: — где ж она?»

В нетерпении узнать причину, он пошел через сени в комнату гувернантки, но раздавшиеся слова на крыльце остановили его.

[1] Мосье доктор.
[2] Мосье Жорж.

— Ах, старая чертовка, да ведь она околевает!

— Кто околевает? — спросил равнодушно Филипп Савич у вбегающей в сени девки.

— Мадам, сударь, убилась до-смерти.

— Что̀-о? Какая мадам?

— Наша, сударь, убилась до-смерти! вон лежит у ворот.

Филипп Савич вышел на двор. В воротах лежала распростертая на земле мадам Вожѐ без дыхания, с раскроенным лбом, пена бьет изо рта. Вся дворня и народ, собравшийся с улицы, стояли около нее.

— Что̀ это с ней случилось? — спросил Филипп Савич.

— Прах ее знает, — отвечал один купец, — подхожу я к воротам вашего благородия, смотрю, бежит она, да что̀-то бормочет по-своѐму, да как слепая, как хватится в воротах об запор! так, как сноп, и свалилась: ни словечка не молвила!

— Какой запор?

— А что ворота запирают, — отвечал конюх, — вы изволили приказать пустить вороную по двору на травку; так, чтоб не ушла со двора, я и засунул запор, чем ворота-то совсем запирать.

— Дурак! для чего ты не запер ворота? — вскричал Филипп Савич.

— Да как же проходить-то, сударь; у калитки еще зимой петли сломались, так ее покуда заколотили, я докладывал тогда еще.

— Когда докладывал? врешь!

— Как же, сударь, раза три докладывал; а вы ничего не изволили сказать.

— Врешь!

Филипп Савич не любил выдавать деньги на разные требования своих людей, — он подозревал,

что эти мошенники нарочно сломают, да скажут втридорога сто̀ит починка, чтоб выгадать себе на вино. Посылать людей своих за кузнецами, плотниками, слесарями он также не любил, подозревая, что они сговорятся и обманут его. А потому он всегда ждал поры и времени, когда накопится в доме порчи и ломи, и тогда подряжал сам починку гуртом. За этот, с позволения сказать, скаредный расчет он платил за всё не втридорога, а вдесятеро: потому что искру тушить не то что̀ пожар.

Между тем как Филипп Савич спорил с кучером о петлях калитки, мадам Вожѐ лежала на земле. Любовь Яковлевна и Георгий стояли также над ней, с ужасом.

Наконец ее внесли в ее комнату, призвали медика, который застал ее уже в сильном бреду горячки; выпучив глаза, она лезла с постели и, уставив пальцы когтями, скрежетала. Она была страшна.

Георгий рассказал матери, как она напугала Юлию Павловну, и Любовь Яковлевна подтвердила его мнение, что болезнь в ней давно уже скрывалась, и что она только в беспамятстве могла удариться о перекладину.

— Я ее дома лечить не намерен! — говорил Филипп Савич: — чорт с ней! пусть в больнице умирает.

— Помилуй, друг мой, за что̀ ж мы бросим бедную женщину, которая у нас как своя в доме уже несколько лет, — говорила чувствительная Любовь Яковлевна.

— Вот тебе раз! я нанимал ее для того, чтоб учить детей; а она тут больная лежать будет! .. Мне что̀ за дело, что она больна! Сама ты говорила, что у ней горячка поутру была; объелась, я

думаю, чего-нибудь! Я видел сам, как она бежала с пеной у рта! Какая это горячка; она просто сошла с ума.

Убеждения Любови Яковлевны лечить больную дома не подействовали на Филиппа Савича; он отправил ее в Киев, в больницу. Чем она кончила свои похождения, умерла, больна по сию пору или выздоровела и отправилась в отчизну свою, Францию, бог с ней, не наше дело; она, как говорится по-турецки, пришла-ушла, а между тем это имело большое влияние на судьбу героев нашего сказания.

Так как для двенадцатилетней дочери Любови Яковлевны нужна была еще мадам, и еще такая мадам, которая бы кроме французского языка учила ее и на фортепьянах играть, а если можно, и петь, то Филипп Савич, отправляясь на контракты в Киев, решился, более по просьбе дочери, нежели матери ее, приискать сам потребную мадам, хотя он и считал, по польскому выражению, французское воспитание непотребным.

IV

Обратимся теперь к нашей героине, которую, может быть, читатель успел уже невзлюбить и согрешил. Душа человека, как почва, которую можно не возделывать совсем, и тогда она будет технически называться *пустошью;* можно засеять пшеницей, и тогда будет зависеть от бога, быть или не быть урожаю; можно засеять огородными растениями, но здесь нужен уход за посевом и уменье ухаживать до полной зрелости, иначе всё доброе зарастет зельем непотребным. К этой старой морали мы можем прибавить то, что вся она отно-

сится только до привычек; но в природе есть соответствие: такой-то привычке чувств соответствует такая-то привычка нравственная, или, яснее сказать, *нравная*. А человеку дан разум и право самому себя возделывать. Он и может себя возделывать, преобразовывать к лучшему. Но каков же должен быть царь-преобразователь в голове его? Каково выполоть из самого себя какое-нибудь чортово зелье, которое пустило корни во все изгибы сердца? И хочется вырвать, да смерть больно! Каково нужно терпенье? А иной неверующий разум подумает: да к чему? будет ли от этого лучше, успею ли я выполоть душу, возделать снова, возрастить сладкий и здоровый плод и вкусить от него? Подумает, подумает, да так и оставит. Человеку нужно *добро,* как насущный хлеб. Не имея собственного добра, он непременно *заест* чужое добро. В пример ставим Дмитрицкого и Саломею Петровну, которые скачут теперь из Москвы, по мыслям Дмитрицкого в Киев, а по словам его покупать имение на чудных берегах Тавриды и там поселиться.

— О, мы будем вкушать там рай! — говорит Саломея Петровна, пламенно смотря ему в глаза.

«Как же! именно, радость моя; мы там будем счастливы», — говорит Дмитрицкий про себя.

— Именно, радость моя, уж если жить — так жить! Однако, что̀-то поделывает твой муж?

— Ах, не напоминай мне о нем! — произнесла Саломея Петровна с чувством. — Если б ты знал, какие ухищрения были употреблены, чтоб выдать меня за него за́муж!

— Ах, это любопытно; расскажи, пожалуйста,— сказал Дмитрицкий зевая.

— Я как будто предчувствовала, что мне

суждено было встретиться с тобой, и, несмотря на все искания руки моей, я отказывала...

— А ты веришь предчувствиям?

— О, как же! а ты?

— О, без сомнения! я по предчувствию ехал в Москву.

— Неужели? по какому же?

— Во-первых, я поторопился в Москву совершенно как будто влюбленный уже в тебя; мне казалось, что у меня ничего нет, кроме сладостной надежды встретить в Москве то, чего душа моя требует... И вот я нашел, что̀ мне нужно было.

И Дмитрицкий приложил левую руку к шкатулке, а другою обнял Саломею.

— Это удивительно!

— Чрезвычайно!

Между тем наши путешественники приехали в Тулу. Дмитрицкий велел ехать в гостиницу.

— В трактир? — спросил ямщик.

— Ну, да!

— Ах, пожалуйста, наймем лучше квартиру! Как можно в трактире останавливаться, это отвратительно!

— Помилуй, что̀ тут отвратительного; в гостиницах все проезжие останавливаются.

— Нет, нет, как это можно! неравно еще я встречу кого-нибудь из знакомых.

— Так что̀ ж такое? тем лучше! пожелаешь им счастливого пути в Москву и велишь кланяться всем знакомым и извиниться, что уехала не простившись с ними.

— Ах, нет, я не могу перенести стыда!

— Это что̀ такое? стыд со мной ехать? Этого я не знал!.. Если стыдно ехать со мной, так зачем и ехать.

Прρр! Карета остановилась подле гостиницы; наемный человек из иностранцев отворил дверцы.

— Этого я не знал!—продолжал Дмитрицкий:— так я избавлю вас от стыда ехать со мной.

И Дмитрицкий полез вон из кареты.

— Николай! — вскричала Саломея, схватив его за полу сюртука.

— Позвольте мне итти! — сказал он.

— Не сердись на меня! делай как хочешь, мой друг! помоги мне выйти из кареты.

— Вот это дело другое; я противоречий не умею переносить; так, так так! а не так, так — мне все нипочем: у меня уже такой характер.

— Ах, Николай, как ты вспыльчив! — сказала Саломея, когда они вошли в номер гостиницы.

— От этого недостатка или, лучше сказать, излишества сердца, я никак не могу отучить себя. У меня иногда бывают престранные капризы, какие-то требования самой природы, и если противоречить им, я готов всё вверх ногами поставить.

Дмитрицкий приказал подать обедать и, между прочим, бутылку шампанского.

— Мы, душа моя, сами будем пить за свое здоровье; это гораздо будет лучше; ты знаешь, как люди мечтают? На языке: «желаю вам счастия», а на душе: «чтобы чорт вас взял». Мы сами себе пожелаем счастия от чистого сердца, не правда ли?

— О, конечно!

— Ну, чокнемся и поцелуемся; ты — моя надежда, я — твой друг!

— За твое здоровье, ты мои желания знаешь.

— Что̀ ж, только-то? прихлебнула?

— Я не могу пить. Николай.

— Хм! то худая примета! — сухо сказал Дмитрицкий.

— Ты сердишься, ну, я выпью, выпью!

— Вот люблю! — сказал Дмитрицкий. — Для взаимности, душа моя, нам необходимо иметь одни привычки.

После обеда Дмитрицкий вышел в бильярдную. Бильярд был второклассным его развлечением; за неимением партии застольной, он любил испытывать свое счастие с кием в руках, а иногда играл так, для разнообразия, и даже для моциону.

Покуда хватилась и нашла его Саломея, он уже успел вызвать на бой одного ротмистра, по червонцу, и играл преинтересную партию. У противников было по пятидесяти-девяти и дело было за одной билей, которая долго не давалась ни тому ни другому.

— Идет пари! — вскричал Дмитрицкий.

— Пожалуй, бутылка шампанского.

— И мазу к ней пятьсот рублей: эта биля сто̀ит того.

— Много! — сказал ротмистр. — Господа, отвечаете за меня?

— Отвечаем! — вскричали прочие офицеры, заинтересованные партией.

— Идет! Ну, прищуривай, Агашка, на левый глаз! — вскричал ротмистр, которому был черед играть.

Все шары стояли подле борта; ротмистр решился делать желтого дублетом; ударил — шар покатился к лузе. У Дмитрицкого екнуло сердце, он стукнул уже кием об пол. Но шар остановился над самой лузой.

— Стой, друг! Отдаете партию? — вскричал

Дмитрицкий, видя, что ротмистр с досады бросил кий.

— Извольте играть!— сказали офицеры.

— Не верите? да это стыдно играть!— сказал Дмитрицкий и наметил в шар, который стоило только задеть, чтоб он свалился в лузу.

В это самое время Саломея, закрытая воалем, взглянула в двери и, не зная, что Дмитрицкий в таком положении, когда *под руку* опасно звать, крикнула нетерпеливым голосом:

— Николай!

— Промах! партия! — вскричали офицеры.

— Пьфу! — вскричал Дмитрицкий, швырнув кий на бильярд.

— Пора ехать, — сказала Саломея.

— Да что̀ мне пора ехать! Чорт знает что̀! Кричать под руку! Да подите, пожалуйста!

Саломея вздрогнула: так крикнул на нее Дмитрицкий.

— Эта партия не в партию, господа, — сказал он, — надо переиграть!

— Нет, очень в партию, — сказал ротмистр: — если хотите, новую.

— Извольте! — сказал Дмитрицкий: — на квит! — Руки его тряслись от досады — с ним не опасно было играть. Он проиграл три раза на квит и, явно чувствуя, что не может играть, бросил кий.

За пазухой у него было только три тысячи, отложенные из шкатулки, на дорогу; целой тысячи недоставало. Это для него было хуже всего: ключ от шкатулки был у Саломеи, надо было просить у нее денег.

— Остальные сейчас принесут господа, — сказал он, уходя в свою комнату.

Саломея сидела на диване, закрыв глаза руками. В ней боролись две страсти — молодая любовь с старой гордостью.

— Помилуй, друг мой, что̀ ты сделала со мной! — сказал Дмитрицкий, подходя к ней.

Саломея ничего не отвечала.

— Я, впрочем, тебя не виню, ты не знаешь условий бильярдной игры; но ты меня могла осрамить.

— Чем я вас осрамила? вы меня осрамили!

— Хм! теперь у меня вспыльчивость прошла, потому я тебе объясню, в чем дело. Ты не знаешь что на бильярде есть такая легкая биль, что тот, кто не сделает ее, должен лезть под бильярд. Ты крикнула под-руку, я дал промах, и должен за неисполнение условия или драться на дуэли, или откупиться суммой, которую с меня потребуют. Под бильярд, разумеется, я не полезу, платить четыре тысячи из твоего капитала также не хочу, так прощай покуда.

— Николай! Николай! — вскричала Саломея, удерживая Дмитрицкого за руку: — я тебя не пущу!

— Нельзя, душа моя, честь выкупается кровью или жизнью.

— Ах, ты меня не любишь! ты не считаешь мое своим!..

— О, теперь я вижу, что ты моя, что твоя любовь беспредельна! прости же за недоверчивость!

— Сколько же тебе нужно, друг мой, денег? вот ключик от шкатулки... отдай им поскорее!

— Да, и поедем поскорее отсюда! Мерзавцы, право! рады, что получили право содрать с меня сколько хотят! — сказал Дмитрицкий, вынимая из шкатулки деньги.

— Это я виновата,

— Полно, пожалуйста; ну чем ты виновата, что не знала условий; да и такие ли есть; например, я бы сел играть в карты — а ты, из удовольствия всегда быть со мною, вздумала бы сесть подле меня или даже стоять подле стола — просто беда: тотчас подумают, что ты пятый игрок и крикнут: «Под стол, сударыня!» Вот и причина дуэли.

— Ах, я уверена, что ты не играешь в карты!

— Напротив, играю и большой охотник.

— Нет, cher,[1] я не верю тебе; ты поэт, известный литератор, ты не бросишь время на карты, ты посвятишь его любви и вдохновению.

— Нет, душа моя, об литературе мне больше ни слова не говори; а о поэзии ни полслова, — я тебе запрещаю.

— Почему же, друг мой?

— Ни почему, так, запрещаю без причины.

— Это странно! мне ты не хочешь сказать.

— Чтоб сказать, надо объяснить причину, а причины нет: что̀ ж я тебе скажу?

— Не понимаю!

— Ну, и слава богу.

— Такой известный поэт и так вооружен против литературы...

— Известный? я? неправда! Ты что̀ читала из моих сочинений?

— Ах да мало ли... я и не припомню заглавий...

— Да, конечно, заглавия произведений известных сочинителей очень трудно припоминать, потому что у них всегда какие-нибудь мудреные заглавия; ну, а не помнишь ли так что̀-нибудь, какую-нибудь тираду из моей поэмы:

[1] Нет, мой милый.

— Ты таким тоном говоришь, — сказала Саломея, — что я, исполняя твое запрещение говорить о литературе, умолкаю.

— Увертка бесподобная, истинно светская! Видишь ли, душа моя, причина сама собой объясняется: ты не читала моих сочинений, потому что я ничего и никогда не сочинял.

— Ах, оставим, пожалуйста, разговор о литературе!

— И прекрасно: взаимное запрещение. Едем, едем, путь далек!

До Киева особенных происшествий с нашими беглецами не случилось. В Киеве Дмитрицкий остановился в гостинице у жида. Тут он дышал свободнее, как человек светский, который приехал домой, где имеет уже право сбросить с себя все одежды приличия и быть тем, чем он в самом деле есть: сбросить все прикрасы с грешного тела и посконной души, все чужие перья, несвойственную любезность, принужденную улыбку, терпимость и угодливость, мягкий голос, все признаки ума, познаний и свойств человеческих, и — явиться в своих четырех стенах, с успехом, или неуспехом, с сытой или проголодавшейся душой. Тут ее, как ловчего кречета, кормит он сырым мясом всего окружающего его. Она клюет сердце всех домочадцев и всей челяди. От этого корму ему убытку нет; сердце каждого человека, как у Прометея, выклеванное днем, заживает во время ночи. А кто же из окружающих какого-нибудь жирного или желчного Юпитера не Прометей? Кто похитил, хоть ненароком, миг его спокойствия, тот и Прометей.

У Дмитрицкого не было ни чад, ни домочадцев, у него в зависимости была только Саломея Петровна; но она была такое грандиозное или, по-русски,

великолепное существо во всех своих приемах, такое тяжелое, натянутое, надутое, напыщенное, приторное, что Дмитрицкий во время дороги часто вскрикивал:

— Фу! какая обуза! мочи нет! — и, расправляя свои члены, потягивался.

— Ты устал, mon ami,[1] от дороги? — говорила нежным голосом Саломея.

— Устал, душа моя, всего разломило, голова одурела!

Приехав в Киев, он вскрикнул:

— Фу! здесь надо отдохнуть; ты покуда распорядись всем, а я пойду похлопочу о найме дома, потому что действительно неприятно стоять в трактире.

— Ты всегда поздно соглашаешься с моими словами, — заметила Саломея, — но зачем же тебе итти самому, пошли кого-нибудь — я умру со скуки.

— Кстати, я озабочусь о поваре, который бы умел готовить для тебя французский стол.

— Ах, да, я совсем не могу кушать того, что̀ здесь подают.

— Знаю, знаю; я видел, что ты только из угождения мне не умерла, друг мой, с голоду. Но я распоряжусь, чтоб сделать твою жизнь раем. Прощай, мой ангел, на минутку.

Минутка тянулась за полночь. Саломея в отчаянии; она разослала всех факторов, состоящих при гостинице, и всех жидков, предлагающих путешественникам свои услуги с улицы, через окно.

Жиды-факторы такой народ — на дне моря отыщут все что̀ надо и кого надо.

Все они, по очереди, отыскали Дмитрицкого в

[1] Мой друг.

одном из номеров другой гостиницы, в честной компании; все по очереди докладывали ему, что, дескать, барыня, васе благородзие, прислала за вами.

Всем было ответ:

— Убирайся, проклятый жид, да если ты скажешь, что нашел меня, так я тебе вместо вот этого полтинника рожу переверну на затылок, слышишь? Ну, пиль, собака!

Жид брал деньги и возвращался к Саломее Петровне с докладом, что не нашел барина.

Десятому посланцу, прибывшему уже около полуночи, Дмитрицкий велел сказать барыне, что барин в гостях у графа Черномского, ужинает и сейчас воротится.

Саломея успокоилась; но верно ужин долго продолжался, потому что Дмитрицкий воротился перед рассветом.

— Ну, душа моя, — сказал он входя, — я здесь нашел целый полк товарищей, сослуживцев и тьму знакомых. Граф Черномский, старый сослуживец, затащил к себе, засадил в карты, я отговаривался — куда! Да вот что̀ хорошо, знаешь ли? Я покупаю в Крыму Алушту — это рай! Самое лучшее и богатейшее имение, приносит доходу от одних грецких орехов сорок тысяч, да виноградные сады дают двадцать пять тысяч, да крымских яблоков тысяч на десять, не считая апельсины, фисташки, персики, дыни, арбузы, и бесподобный меблированный дом со всеми принадлежностями... на самом берегу моря.

— Ах, как это очаровательно!

— И это по случаю; я дал уже задатку пять тысяч.

— Но как цена?

— Миллион.

— Миллион! помилуй, где ж нам его взять? у нас только сто тысяч.

— Помилуй, душа моя, да ты не знаешь, что значат сто тысяч наличных в руках оборотливого человека. Ведь это то же, что храбрая стотысячная армия, которою можно не только разбить миллион войска, но покорить весь свет.

— Ah, cher, как ты поэтизируешь!

— Нет, пожалуйста, о поэзии ни слова; ты знаешь, я не люблю противоречий; да и вообще теперь уж поздно рассуждать о делах: утро вечера мудренее... Уф! напоили меня крымским шампанским разных сортов, из виноградных лоз нашего имения, — я пробовал, пробовал... пьфу! кисел виноград! покойной ночи, друг мой.

Искание квартиры продолжалось несколько дней; а между тем к Дмитрицкому с визитом являлись разные лица, которых он рекомендовал Саломее как помещиков Киевской губернии. Манеры их были не ловки, но смелы и бесцеремонны, польское наречие странно; Саломея смотрела на них, как на необразованных провинциалов, и, сохраняя свое достоинство большого света, обошлась очень сухо, и не могла скрыть неудовольствия, что Дмитрицкий не пощадил ее от этого знакомства.

Повертевшись несколько на стульях и отпустив несколько комплиментов Саломее, в роде: «барзо есэм сченслѝвы, цо мялэм хòнор видзець такэ вѐльке дамэ! ..» — они все заключали прощанье с Дмитрицким словами: «террас юж время до косцёлу; до зобаченья панѐ, у пàна грабе Черномского! так есть?»

— Да, да, да, я надеюсь, — отвечал Дмитрицкий,

— Я не понимаю, как тебе вздумалось знакомить меня с этими уродами!

— Здесь уж такой тон, моя милая: простота и бесцеремонность. Тебе надо привыкать. Впрочем, это чудаки, деревенщина, но я тебя познакомлю с графом Черномским; в нем ты увидишь человека образованного.

— Сделай одолжение, избавь меня от всех знакомств; мне нужен ты и больше никого!

«Пьфу, обуза какая!» — сказал Дмитрицкий про себя.

— Вместо того чтоб отвечать на мои ласки, ты молчишь, надулся... Это меня убивает.

— Да невозможно, милая! ты хочешь всё по-свòему.

— Чтò ж я хочу по-свòему? То, что не желаю никаких знакомств?

— Я также имею отношения к людям; мне нельзя их разорвать. Взял, да поехал в Крым, поселился на чистом воздухе, да и прав, этого нельзя: не орехами питаться, надо чем-нибудь жить.

— У нас есть средства: будто недостаточно ста тысяч, чтоб прожить век вдвоем счастливо и спокойно.

— Скажи, пожалуйста! сто тысяч! огромный капитал! В Крыму, где на первое обзаведение нужно вдвое. Я не могу жить по-татарски, под деревом, да и ты, я думаю, этого не захочешь.

— Откуда же взять нам миллионы? Впрочем, я не знаю, как велико твое собственное состояние: ты собираешься покупать имение в миллион.

— Тò-то и беда, что не знаешь, а говоришь; и куплю в миллион! но без Черномского я не могу этого сделать.

Грабе Черномский верно легок на помине.

— Ба! Черномский! — сказал Дмитрицкий, увидев в окно подъезжающие к крыльцу дрожки. —

Сделай одолжение, будь с ним как можно приветливее; он — приятель мой, и один из богатейших помещиков; от него я надеюсь получить сумму для покупки имения в Крыму, которое приносит тысяч сто... виноградных лоз... А! граф, мое почтение! очень рад! Рекомендую вам жену мою.

Грабе Черномский удивился, видя перед собою статную, прекрасную женщину, богато одетую, и что-то в роде Беллоны.

— Я не знал, что вы женаты, — сказал он, — и что такая прекрасная особа осчастливила вас. Извините, сударыня, что я явился к вам так неавантажно... это не моя вина.

Саломея села, немножко смутясь, сделала приветливое движение головы, просила садиться, предложила несколько светских вопросов, чтоб оказать внимание гостю, но таким тоном, который воздерживал привычное с женщинами любезничанье Черномского и притуплял меткие взоры черных его глаз, привыкших пожирать красоту.

«О, какая строгая! — подумал он. — Верно в первом еще пылу любви!»

— Я у вас отниму на сегодняшний день вашего супруга, — сказал он Саломее.

— Вы меня лишаете удовольствия быть вместе с мужем, — отвечала она сухо: — каждая минута разлуки с ним для меня потеря.

— Вы очень счастливы, — сказал Черномский, обращаясь к Дмитрицкому.

— Совершенно счастлив, — сказал Дмитрицкий, взяв руку Саломеи: — мы живем душа в душу.

— А давно уже женаты? — спросил значительно Черномский, устремив прищуренный взор на Саломею.

Она вспыхнула с выражением негодования.

— Довольно давно, — отвечал Дмитрицкий, — после нашего свидания у Савицкого, я вскоре поехал в Москву, влюбился, и она моя.

— Стало быть, около года?

— Да, месяцев с осемь.

Смущенная Саломея хотела выйти в другую комнату, но вдруг вошел офицер, произнес: «ах-с», и подошел к ручке.

Саломея еще более смутилась.

Этот офицер незнако̀м читателям, но знако̀м был уже Саломее Петровне. Это был товарищ мужа ее, Федора Петровича Яликова, казначей полка, в котором он служил. В бытность в Москве для приема комиссариатских вещей он навещал Федора Петровича и, следовательно, имел честь познакомиться и с его супругой. Робкий от природы, он всегда смущался перед новыми лицами и не умел управлять ни движениями своими, ни мыслями, ни словами.

— А супруг ваш-с? — спросил он, поцеловав ручку Саломеи.

— Я, к вашим услугам, — торопливо вызвался Дмитрицкий, видя, что Саломея смутилась.

— Как-с, кажется Федор Петрович Яликов, — сказал казначей, смутясь и сам.

— Так точно-с, — отвечал Дмитрицкий.

— Нет-с, вы шутите, — сказал казначей, — я знаю их супруга.

— Ах, вам Федора Петровича, первого ее мужа! — вскричал Дмитрицкий, спохватившись, — он умер-с.

— Умер! ах, боже мой! — сказал горестно казначей: — стало быть, недавно: потому что̀ не более двух недель, как я получил от него письмо.

— Да-с, очень недавно, перед нашим отъездом, —

отвечал Дмитрицкий, сбившись в свою очередь с толку.

— Как это жалко! — сказал казначей, не зная что̀ более сказать на молчание Саломеи и на резкие ответы Дмитрицкого.

— Да-с, очень жалко! — отвечал сухо Дмитрицкий, желая скорее отделаться от гостя и смотря ему в глаза, как будто в ожидании, что̀ ему еще угодно будет спросить. Пан грабе также пристально и с сардонической улыбкой уставил на него взор. Казначей совсем потерялся; он бросился снова к ручке Саломеи Петровны и, по привычке, забывшись, просил ее свидетельствовать свое почтение Федору Петровичу.

В смущении, в забывчивости и она по привычке проговорила:

— Покорнейше вас благодарю.

Казначей отретировался. Пан грабе, а вслед за ним и Дмитрицкий захохотали.

Саломея Петровна, закусив губы, вышла в другую комнату.

— А цо то за та̀ка мизерна гисториа? — спросил Черномский.

— А то, пане, не гистория, а интродукция в гисторию, — отвечал Дмитрицкий.

— Разумем, пане, то штука! Я мыслил же панья в самом деле жо̀на пана. Да ходзим же, юж время!

— Сейчас, — сказал Дмитрицкий.

И он вошел в комнату Саломеи. Она лежала на диване, скрыв лицо свое в подушке.

— Спит! — проговорил тихо Дмитрицкий, торопливо выходя из комнаты.

— О, нет, не сплю! — сказала Саломея; но Дмитрицкий уже исчез.

Саломея в первый раз почувствовала тоску разочарования и не в состоянии была облегчить себя слезами. Плакать казалось ей всегда низко. Она чувствовала, что в Дмитрицком чего-то недостает для нее; но самолюбие не дозволяло сознаться ей, что недостает в нем любви. Женщина с сердцем сказала бы вслух сама себе: он меня не любит! и залилась бы слезами. Но Саломея была горда, она терзалась втайне от самой себя. Ввечеру вдруг дверь отворилась, вошел Черномский.

— Извините, сударыня, — сказал он, — сожалея вас, я пришел спасти вас от человека, который вас погубит.

— От какого, сударь, человека? — гордо спросила Саломея.

— От того, который уже вас обманул мнимой своей любовью, от мерзавца, от игрока!

Саломея остолбенела.

— Я увидел вас и не мог не пожалеть об вас, вы так прекрасны, вы такой ангел... Этот подлец, которого, я уверен, вы не можете любить, проиграл всё и теперь поставил вас на карту... Я не мог этого перенести, побежал к вам умолять вас предаться моему покровительству...

— Вон! — вскричала Саломея, долго молчавшая, и показала рукой двери. — Вон! покуда я не позвала людей!

Черномский вышел.

Как истукан просидела Саломея весь вечер и почти всю ночь, не двигаясь с места, в ожидании Дмитрицкого, чтоб сказать ему что̀-то грозное; но... стало рассветать, двери хлопнули, он быстро вошел, бледный, растерзанный. Саломея испугалась.

— Что̀ с тобой? Николай, друг мой! — вскричала она.

В другой комнате раздались голоса, дверь приотворилась, несколько знакомых уже Саломее лиц показалось в дверях.

— Прочь отсюда! — вскричал Дмитрицкий, ухватив стул.

— Отдавай, любезный, деньги, так мы и пойдем! — сказал один высокий здоровяк, красная рожа, рекомендованный Саломее помещиком, прекрасным человеком.

— Ждите, собаки! сюда ни шагу! — крикнул Дмитрицкий, захлопнув дверь. — Саломея, эти подлецы обыграли меня! Это шайка мошенника Черномского! . . Есть у тебя еще деньги?

— Нет! — отвечала Саломея трепещущим голосом, закрыв лицо руками.

— Нет? ну, кончено! Денег нет, так дудка есть!

И Дмитрицкий схватил со стены пистолет.

— Николай! — вскричала Саломея, — возьми мои брильянты, возьми всё!

— Давай! где они? скорее!

Саломея вынула из чемодана ящик. Дмитрицкий схватил его и выбежал в другую комнату.

Саломея слышала только: «Извольте итти за мной!» Чувства ее оставили.

Когда она очнулась, подле нее была только хозяйка, еврейка Ганза.

— Куда ж это вы переезжаете, сударыня? — спросила она ее.

— Куда я переезжаю? Кто переезжает?—вскричала Саломея, окинув взором комнату и не видя ни одной из вещей своих.

— Ваш человек забрал все вещи и сказал, что барин за вами приедет и расплатится за квартиру и за всё; я вошла сюда, а вы почиваете.

— Dieu! je suis trahie![1] — вскричала Саломея, всплеснув руками и как будто желая скрыть от еврейки свою несчастную участь.

— Чего ж вы так испугались, сударыня? — спросила Ганза.

Саломея закрыла лицо руками и ничего не отвечала. Ганза села против нее на стул и, смотря на безмолвное отчаяние Саломеи, казалось, поняла в чем дело.

— Мне очень жаль вас, сударыня, — сказала она ей.

Саломея не отвечала.

— Вот, кажется, кто-то идет сюда, не барин ли?

Саломея бросила взгляд на двери; но это был не Дмитрицкий, а Черномский.

— Извините, — сказал он, — что я решился посетить вас опять, я хотел вас предупредить, вы мне не верили. Теперь всё ясно; и, кажется, что Дмитрицкий не воротится, чтоб испытать ваше презрение к себе... Он скрылся... Осмеливаюсь повторить вам свое предложение, чтоб вы предоставили успокоение вашей участи мне, как человеку, который умеет ценить вашу красоту.

— Оставьте, сударь, меня! — вскричала Саломея: — я вам повторяю то же, что давеча!

— Переношу вторично незаслуженный гнев ваш, — сказал, зло улыбаясь, Черномский, — и думаю, что когда успокоятся ваши чувства, вы обдумаете, что вы брошены без покровительства.

Он дал знак Ганзе, которая вышла вслед за ним в другую комнату.

— Послушай, милая, постарайся уговорить ее, чтоб она не отказывалась от моего предложения,

[1] Боже, я обманута.

слышишь? ты получишь от меня хороший подарок... мне она нравится. Всё, что издержишь на нее, я плачу вдвое. Она верно согласится, но не вдрvг. Вот покуда червонный.

— О-го, великие гроши! добже, пане; а кто ж заплатит мне за постой их почти за неделю, за кушанье, за чай и мало ли что брали они?

— А много ли нужно заплатить?

— Червонных десять, а ма быть и больше.

— О! ну, за тэго вахлака Дмитрицкого юж я не буду плàтить.

— Ну, як зволите, пане; а юж я эту панью францужàнку не выпущу с хаты, покуда не выплатит кто, али сама не заработàет.

— А она францужàнка? а! Ну, я половину заплачу, только уговори ее скорей.

— Нет, не половину, а десять червонных.

— Ну, ну, ну, перестань!

Черномский ушел, а хозяйка вошла опять к Саломее.

— Жалко мне вас, сударыня, — начала она, — да не плакайте, вы такие хорошии, уж я знаю, что будете и счастливыи... а вы уж знакомы с паном Черномским? он такой богатой, щедрый...

— Не говори мне об нем! — сказала Саломея повелительно.

— Пан, который вас привез, сударыня, уехал, а не заплатил мне по сцету; а пан Черномский свои деньги хочет заплатить, а вам что угодно будет потребовать, всё заплатит.

— Боже, какое несчастие, какой срам! — вскричала Саломея по-французски. — Я тебе повторяю: не смей мне говорить об этом мерзавце! вот в заплату тебе.

И Саломея хотела сдернуть с руки богатый, бри-

льянтовый перстень; но перстня нет: она вспомнила, что Дмитрицкий, примеривая его, оставил у себя.

— Что̀, сударыня, и перстень украли у вас?

В Саломее стеснилось дыхание от ужаса положения.

— Прошлого года так же один военный привез сюда, да и бросил панну; молоденькая, да не так хороша собой. Я продержала ее с месяц у себя.

Саломея была в каком-то онемении чувств; глаза ее были устремлены на Ганзу, но она ее не видела. Долго Ганза рассказывала про разные случаи соблазна, но она ничего не слыхала.

Кто-то дорожный подъехал к трактиру. Ганза побежала узнать и оставила Саломею одну в полном самозабвении. Но в эту страшную минуту как будто ожило в ней сердце, слезы брызнули из глаз, а душа с прискорбием и участием спросила: что̀ ж ты будешь делать теперь? жизнь перед тобой обнажилась, тебе нечем уже обмануть самое себя. Теперь ты знаешь, что̀ ты такое и нечем уже гордиться и тщеславиться тебе перед другими!

Приезжий, которого Ганза побежала встречать, был наш знакомец Филипп Савич, ласковый с чужими, бирюк в семье.

— А, хозяюшка, здравствуй, душа моя! — сказал он, вылезая из коляски при помощи двух лакеев. — Я уж так к тебе, знаю, что для меня всегда место есть.

— Есть, сударь, есть, пожалуйте!

Ганза повела Филиппа Савича прямо в тот номер, откуда только что выбрался постоялец, забрав всё нужное, и оставил только хлам, в числе которого была и Саломея.

— Пожалуйте, — повторяла Ганза, — это самый лучший номер, только что очистился.

— Э, тут какая-то дама, — сказал Филипп Савич, заглянув в другую комнату.

— Это, сударь, иностранка; я отведу ей другой покой. Извините, сударыня, я вас попрошу перейти, потому что эти комнаты займет вот этот господин.

— Это что̀ такое? куда я пойду? — спросила Саломея, вспыхнув и горделиво возвысив голову.

— Что̀ ты, что̀ ты, как это можно беспокоить их для меня? — сказал Филипп Савич. — Извините, сударыня, что вас побеспокоила она; я никак на это не соглашусь; сделайте одолжение, не беспокойтесь. Отведи мне другие комнаты.

И Филипп Савич, поклонившись Саломее, вышел.

— Какая прекрасная особа! а ты вздумала ее беспокоить! Кто она такая?

— Француженка, кажется...

— Неужели? ах, братец ты мой! да не мадама ли? не пойдет ли она ко мне жить? мне ужасно как нужна мадам.

— Ее завез сюда какой-то господин, да и бросил.

— Неужели? ах, какой каналья, бросил такую прекрасную женщину! что̀ ж это, муж ее был или...

— А почему я знаю, какой муж.

— Ну, да мне что̀ ж до этого за дело; кто не грешен; лишь бы по-французски хорошо говорила с детьми, я бы с удовольствием взял ее, я бы дорого дал, чтоб иметь такую мадам. Поди-ка, поди, спроси ее, предложи ей; скажи, что она у меня на всем на готовом, как водится, экипаж, всё, хорошее жалованье.

— Я скажу ей, только заплатите ли вы всё, что̀ она зажила здесь?

— Уж разумеется; ах, братец ты мой, она мне очень понравилась.

Ганза отправилась к Саломее.

— Вот, сударыня, — сказала она, — какие вы счастливые; этот господин предлагает вам наняться к нему в мадамы, учить детей по-французскому.

Саломея вздрогнула от негодования.

— Жалованье какое угодно, всё предлагает вам, вы ему очень понравились... Уж это такое счастье вам... он заплатит и мне за вас.

— И мне это говорит жидовка! — произнесла горделиво Саломея. — Oh, Dieu, Dieu! [1]

— Что́ ж такое что жидовка, сударыня, я честная жидовка! Я жидовка, а вы францужѐнка! Угодно вам — для вас же я стараюсь, а не угодно, как угодно, вы такие гордые; не знаю чем вы заработаете заплатить мне; а этих комнат я за вами оставить не могу.

— Уйду, уйду! — вскричала Саломея.

— Кто ж вас пустит уходить, — сказала Ганза, — заплатите, а потом и ступайте куда хотите; а не заплатите, так я пошлю в полицию... Бог еще вас знает, кто вы такие.

— Где этот господин? позови его сюда! — проговорила исступленно Саломея.

— Вы понапрасну сердитесь на меня, сударыня; я для вас же стараюсь, сердиться не приходится, — сказала Ганза, выходя от Саломеи.

— О, боже мой, что̀ мне делать! — сказала, бросясь на диван, Саломея.

Слезы снова брызнули из глаз ее; но едва послы-

[1] Господи, боже.

шались шаги Филиппа Савича, наружность ее приняла обычную величавость.

Филипп Савич вошел; желчное его лицо оживилось и прикрасилось улыбкой удовольствия.

— Я вам имел честь сделать предложение, мадам, — начал он.

— Милостивый государь, я вам не могу рассказать своего несчастия; но я вас прошу помочь мне, избавить меня от унижения, заплатить этим жидам всё, что̀ они требуют, и дать мне угол, покуда мои родные мне вышлют деньги.

— Сделайте одолжение, зачем же вам беспокоиться о деньгах. Я вам предлагаю свой дом, экипаж, жалованье какое угодно...

Самолюбие Саломеи затронулось снова; но она воздержалась.

— У меня, изволите ли видеть, сын лет пятнадцати, да дочь лет десяти, так с ними по-французски только говорить, для упражнения — больше ничего. Жена у меня очень добрая женщина, но больная; я бы уж вам весь дом в распоряжение отдал, как... как хозяйке, если только угодно бы было вам... а если в тягость, так это будет от вас зависеть... деньги ли или экипаж понадобится, для тоалета может быть что̀-нибудь... всё к вашим услугам.

Саломея слушала все эти предложения задумавшись.

— Я согласна! — сказала она вдруг решительно.

— Очень, очень рад! и счастлив, что это так прекрасно устроилось! — сказал Филипп Савич, подходя к Саломее и целуя ее руку. — Позвольте же узнать ваше имя и отчество.

— Мое имя... Саломея.

— Саломея, какое прекрасное имя. Вы из каких мест Франции?

— Я... из Парижа.

— Так сегодня позвольте мне распорядиться насчет некоторых дел, а завтра мы поедем; покорнейше прошу приказывать здесь всё что̀ вам угодно...

— Мне нужно здесь пробыть, по крайней мере, еще несколько дней.

— Как вам угодно, — сказал, поцеловав еще ручку Саломеи, Филипп Савич и вышел; а Саломея припала на диван и предалась своему отчаянию, которое прерывалось частым приходом хозяйки с предложениями: не угодно ли ей чего-нибудь?

На третий день Филипп Савич с своей стороны спросил ее, не угодно ли ей ехать? но она отвечала:

— Ах, нет, я еще чувствую себя не так здоровою.

Саломея еще надеялась, что ее Николай воротится, упадет на колени, в объятия, с раскаянием в своем поступке. Ей казалось, что только одна совесть показаться ей на глаза удалила его, но любовь воротит.

«О, я готова жить с ним в хижине и питаться трудами рук!» — подумала она.

Целую неделю не решалась она ехать; наконец презрение заступило место иссякшей надежды, и Филипп Савич сам, своими руками, подсадил ее в коляску.

Филипп Савич в продолжение дороги без сомнения желал научиться по-французски. Он всё расспрашивал, как по-французски: что̀ прикажете, как вам угодно, мое почтение и тому подобное.

Ожесточенные чувства Саломеи против любви рады были какой-нибудь жертве.

«Хм! тебя, старый дурак, надо свести с ума!» —

думала она, злобно улыбаясь на надежды Филиппа Савича. — «Влюбленный старик! это должно быть очень забавно! Это меня, по крайней мере, рассеет... О, я вас научу, подлых мужчин, понимать женщину с сердцем!»

— Чудный французский язык, Саломея Петровна! какая приятность! особенно как вы говорите! У нас жила старая француженка; да мне не верится теперь, француженка ли она: совсем другое произношение. Или она из простого французского народа, из какого-нибудь французского захолустья. Теперь я вижу, какая разница и в обращении, и во всем. Клянусь вам, что впервые вижу в вас настоящую француженку; что̀ наши русские женщины!

Саломея невольно забыла и свое горе и свою привычную важность и засмеялась на похвалу француженкам.

— Каким образом сказать, например, по-французски: как вы милы?

— Je suis un vieux fou.[1]

— *Жу сви зын ве фу,* как это прекрасно! а: я вас люблю?

— Je suis une bête à corne.[2]

— *Жу сви зын бетакор,* мадам, так?

— Совершенно так!

— Вот видите ли, и я выучился по-французски.

— Ну, Любовь Яковлевна, — начал Филипп Савич, приехав домой, — я нанял такую француженку для детей, что удивление! это уж не какая-нибудь прачка мадам Вожѐ; это, братец ты мой, только по счастливому случаю.

[1] Я старый дурак.
[2] Я рогатая скотина.

Простодушная Любовь Яковлевна испугалась, взглянув на вошедшую мадам француженку. Светская важность и какая-то великолепная наружность Саломеи смутили ее. Она почувствовала себя такой ничтожной перед нею, что не знала, как встретить ее и что̀ начать говорить.

— Извините меня, — сказала она, приподнявшись, — я не знаю по-французски.

— Я знаю по-русски, — отвечала Саломея, сев подле дивана на стул.

Все в доме также смотрели на нее, как на приехавшую с визитом, как говорится, принцессу ингерманландскую. Только Филипп Савич не боялся ее важности, потому что он никого не боялся, кто хоть сколько-нибудь подпадал под его зависимость. Он боялся только тех, от которых сам мог чем-нибудь зависеть. Не испугался ее и Георгий, на которого она бросила пленительный взор с чарующей улыбкой, когда отец представил ей сына.

Покуда Филипп Савич сам заботился насчет убранства комнаты, предназначаемой для мадамы, Любовь Яковлевна решилась сделать ей несколько вопросов, и рада была, когда она, наконец, пошла в свою комнату.

— Помилуй, Филипп Савич, откуда ты взял такую бонтонную француженку? Такая важная особа, что это ужас!

— А! такую-то я и хотел иметь мадам для дочери! — сказал Филипп Савич. — Это не из простых, а из настоящих француженок, с которых берут тон все наши княгини и графини.

Любовь Яковлевна не умела противоречить и замолчала.

Без сомнения, не всем известно, что̀ значит «чортова гостья». Подробности значения этого слова

надо спросить в передних, в девичьих и вообще в людских. Это вообще гостья, от которой бросает всех то в пот, то в озноб. Не прошло недели, Саломея прослыла у всей прислуги Филиппа Савича и Любови Яковлевны чортовой гостьей. Филипп Савич строго наблюдал, чтоб все оказывали новой мадаме особенное уважение. Если Саломея Петровна скажет: «человек, подай мне воды», все наличные должны были бежать за водой, а все прочие знать, что мадам просит воды, и друг другу напоминать, что мадам просит воды! иначе беда. До нее зачастую люди ходили без церемоний, по-домашнему, замарашками, и подавали всё голыми руками. Саломея Петровна только проговорилась, что не может видеть человека, который похож на чумичку, не может смотреть без отвращения на лакейские руки; Филипп Савич, что̀ называется, оборвал всю людскую за малейшую нечистоту и неопрятность и приказал всем обертывать свои скверные руки в салфетки. До Саломеи Петровны идет себе людской говор по целому дому с раннего утра до поздней ночи. Саломея Петровна спросила раза два-три: где это такой шум? и настала в доме тишина. Никто не смей говорить между собою вслух, а не то Филипп Савич зажмет рот. Саломея почивала до полудня, иногда отдыхала и после обеда: во всем доме знают, что мадам почивает. По коридору, мимо ее комнаты, никто и на цыпочках не ходит, из девичьей в переднюю и обратно бегают через двор.

Если за столом какое-нибудь блюдо Саломея Петровна попробовала, но не стала кушать, — повара самого жарили. Если прачка худо выпарила белье, девка худо выутюжила, и Саломея Петровна, развернув чистый платок, посмотрит и поморщится — прачке быть пареной, а девке утюженой. Если Са-

ломея Петровна, подойдя к зеркалу, скажет: «ах, как я сегодня скверно причесана!» — приставленной к ней горничной не пройдет без прически.

Любови Яковлевны как будто не существует в доме; на ее попечение осталась только выдача прачке черного белья да прием чистого. Во всё время замужества она сама заказывала стол по своему вкусу, и Филипп Савич не причудничал, всё было и ему по вкусу; но вдруг то не по вкусу, того недостает, всякой день выговор Любови Яковлевне, и при первой ее болезни повар поступил в распоряжение Саломеи Петровны.

На стороне начали покачивать головами, а дворня и деревня поняли, что на̀большая в доме — Саломея Петровна и к ней следует ходить с поклонами, у нее обо всем спрашиваться.

Для Любови Яковлевны только и осталось отрады, что Юлия Павловна — шепчутся, шепчутся, наплачутся вдвоем, да и разойдутся. У Юлии Павловны, кроме горя друга и свое есть горе. Георгий не только что не обращает на нее внимания, но даже забывает иногда и кланяться: так пристально занялся он французским языком, науками и искусствами — Саломея Петровна его учит и рисованью и музыке, географии, истории. Саломея сама всё плохо знала и ее учили наукам и искусствам по методе отучения от наук и искусств, посредством учителей, не умеющих учить. Учение ее также было не что иное, как сидение за книгой, как будто для того, чтоб ребенок *занимался делом*, не шалил. Танцы — это дело другое, это неизбежное познание, немножко музыки — также; нельзя в большом свете не уметь стучать по фортепьяно; а французский язык — о, без него человек, а особенно русский, совершенно бессловесное существо. Французская мода, француз-

ский тон, дух и духи, жеманство, французские слабости и пороки и, словом, все французские добродетели необходимы, уменье о том говорить, чего не знаешь, схватывать вершки — всё это надо изучить, перенять, подделаться. Саломее никто не сказал: ты, душа моя, человек русской, для чего же тебе французить: нас с тобой перерядили, да не переродили, что ж толку? не смешно ли целый век играть чужую роль, быть бездушной копией живых оригиналов. Подумай, о чем ты думаешь с утра до вечера? о том, чтоб оживить в себе журнальную моду. Что делаешь целый вечер? Тайно сравниваешь себя с другими. Когда ж тебе подумать о себе самой, о внутреннем своем мире, о душе, которая сидит в тебе без дела, голенькая, без одежды, без прикрасы, молчит, не смеет вымолвить ни словечка по-своему.

Георгий очень понравился Саломее Петровне. «Я образую его ум и душу, я сделаю из него образец мужчин!» — думала она, смотря на него во время занятий. Эта мысль, как сладкое чувство, быстро овладела ею; никакое рассеяние не помогло бы так скоро изгнать из памяти Дмитрицкого и отвлечь от всех воспоминаний.

Она начала его учить на фортепьянах; Георгий страстно любил музыку. Фортепьяны из залы были перенесены в комнату Саломеи Петровны; во всё время уроков, так же как и во время сна, никто не смел не только войти в двери, но и пройти по коридору. Георгий и Розалия учились по очереди. Успехи Георгия были необычайны. Но вместе с этим для чувства его настала новая жизнь. Наставница была для него опасна; когда голубые, томные глаза ученика встречались с ее черным, пасмурным взором, он краснел.

За прилежание она целовала его в голову; но какую разницу чувствовал Георгий между лаской старой Вожè и лаской женщины, пылающей жизнью и еще не испытавшей любви тихой, скромной, возгорающейся от взоров и постепенно раздуваемой задумчивым воображением! Но у Саломеи не чисто было уже воображение; она скоро почувствовала жажду приковать Георгия к себе. И не было бы Георгия, гордость ее не перенесла бы ни значительных взоров Филиппа Савича, ни многозначительных его намеков.

Вероятно, в подтверждение пословицы: «Седина в бороду, а бес в ребро», Филипп Савич стал сходить с ума от Саломеи Петровны, и всеми возможными неудовольствиями выживать бедную Любовь Яковлевну, если не с белого света, так из дому. О тяжбе он и думать забыл.

— Саломея Петровна, — сказал он однажды, — вы лучше родной матери для детей моих; с тех пор как вы здесь, весь дом у меня стал на ногу; вы — полная хозяйка в нем, для вас у меня нет ничего заветного: распоряжайтесь по вашей воле и мной и всем, чтò мне принадлежит...

— Вы слишком много даете мне прав, Филипп Савич: у вас есть супруга, — сказала Саломея голосом простоты и великодушия.

Эти слова, сказанные с намерением только чтó-нибудь сказать для воздержания порыва Филиппа Савича, имели плохие последствия для Любови Яковлевны. Филипп Савич понял их по-своему. Ему казалось, что Саломея отвечала:

— Я бы приняла ваше предложение, если б у вас не было супруги.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

— Послушай, брат, Ваня, — сказал старик Алексей, слуга, служивший еще батюшке и матушке Любови Яковлевны верою и правдою, — учиним, брат, совет, как помочь горю.

— А что̀ такое, Алексей Гаврилович? — спросил его кучер Иван.

— Как что́? Ты, чай, видишь, что француженка-то села всем на шею.

— Уж и не говори!

— Барин-то совсем, брат, тово...

— Да так, ей-ей так!

— Смекаешь ты, барыню-то в гроб вгонит.

— Да уж смекаю, что не даром взял подставу. Я уж и в Киеве догадался, что добра не будет. Свел там с ней знакомство. А ведь кто она, знаешь ли ты? просто, брат, потаскушка, я расспросил у жидка. С каким-то игроком, видишь, приехала, да свела знакомство с другим. А тот ее прибил, да и бросил в одном платьишке, вот что̀ на Дуньке теперь. Барин накупил ей всего, надарил; целую неделю обшивали ее.

— Ах ты, господи! грех какой на старости лет! Лет двадцать прожили душа в душу. Сегодня отдал приказ: не пускать Юлию Павловну в дом.

— Ой ли? За что̀ ж это?

— За что̀? А за то, что она вслух говорила, что

мадам мало что барина с ума свела, да и Георгия-то Филипповича не добру учит.

— А что̀ ты думаешь; вот как я ездил с ними гулять, Георгий-то Филиппович всё под ручку с ней ходил, да так умильно себе что̀-то по-французскому всё говорили; а барышня-то что̀ понимает?

— Ох, ты, господи, грех какой! Так вот, Дунька верно и пересказала мадаме, что́ говорит про нее Юлия Павловна.

— И! да уж это так! продаст отца и мать родную. Не даром она ее нарядила. Смотрико-сь, теперь словно барышня ходит: свои платья ей отдает. Прежде и на босую ногу в честь, а теперь в башмачках да в косыночках; а косу-то как заплела да распустила кудри, словно мадам. Дрянь такая, еще навязывается, чтоб женился на ней!

— Да это что̀! Барышню в грош не ставят: третьева-сь нагрубила ей, а та смолчала, вздохнула только. Юлия Павловна прикрикнула было на нее: «Как ты смеешь барышне грубить!», а она: «А вы-то что̀?». Юлия Павловна разбранила ее; а она плюнула, да и ушла. Юлия Павловна заплакала, хотела жаловаться барину, ан барин-то и на двор не велел ее пускать.

— Ах, ты, господи! да я отломаю бока Дуньке, ей-ей отломаю.

— Полно, брат, Ваня. Не то! ездил я к лесничихе, Власьевне, чтоб она поворожила, говорю ей: «есть у нас горе, как сбыть его, бабушка?»

— Что̀ ж она?

— Да что̀; горе, говорит, не море, выпьешь до дна.

— Ну, а ты что̀?

— Что̀! я ей сказал, что этого горя и мертвой чашей не запьешь.

— Ну, а она что̀?

— Да что̀, глупая баба! Привези ты, говорит, ко мне это горе, а уж я буду знать что̀ делать с ним. Привези! уж если б можно было вывезти ее из дому, давно бы в трущобу ее свез.

— Да что́ ж ты, брат, Алексей Гаврилович... как ты думаешь?..

— А что̀ я думаю... ее и домовым не выживешь из дому.

— Да что́ ж, коли лесничиха говорит «привези». Что́ ж, брат, за штука привезти.

— Поди-тко ты, сперва увези, да потом привези.

— Увезти-то, брат, штука.

— Уж если правду говорить, Ваня, так что̀ за штука увезти мадам, — сказал Алексей Григорьевич. — Помогай! увезем!

— Увезем; по-мне, пожалуй, увезем, чорт с ней! Да как увезем-то?

— Э! как увезем, так и увезем!

— Увезти-то не штука, да как вызовешь из дому, разве как обманом?

— Нет, Ваня, такого греха на душу не возьму; обманом — избави бог, век попрекать будет, да каять, что вот, дескать, мошенник, обманул! Нет, просто, как бог поможет.

— Разве Дуняшу подговорить? Я, пожалуй, дам слово жениться на ней, пусть только выдаст ее руками.

— Нет, Ваня, нет, брат, не годится; бог с ней, зачем и ее обманывать. Вдвоем-то мы просто руками возьмем, да и в лес с ней.

— А там-то что̀, на осину?

— Тьфу ты, окаянный! чорт знает что̀ говорит!

— Да почему ж я знаю, Алексей Гаврилович:

ведь что̀ ж с ней в лесу-то делать? Сказал бы, так я бы и знал.

— А вот что̀: ты, брат, выезжай ввечеру покосить траву-то за сад к роще, да парой; а я буду караулить, как мадам в сад пойдет прогуливаться. Лошадей-то ты привяжи, да жди у калитки.

— Да калитка-то, кажись, заключена; а всё при ней; не смей, вишь, ходить через сад, когда она изволит прогуливаться; а поди ты, какой обход кругом на реку.

— Калитка будет отперта, это не штука; а вот штука: в господском платье-то ее не повезешь, неравно кто встретится, лесничий с командой, или кто.

— Да, Алексей Гаврилович, того и гляди, да ведь она и сама нас признает.

— Пусть себе признает. Я еще сам ей скажу, что я по господской воле всё делаю. Что̀, небойсь, не правда? Да, брат, по господской. Если б она, чортова змея, не соблазняла барина, он и не подумал бы ее держать у себя. Уж я тебе говорю, что не барин, а нечистая сила держит ее в доме.

— Домовой, небойсь? А что как он рассердится на нас с тобой? Тогда что̀, Алексей Гаврилович?

— Сердись на меня сколько хочешь, мне плевать. На мне немного возьмет!

— Да и мне что̀: я только боюсь, чтоб не изъездил коней.

— Уж, брат, лучше пусть всех коней домовой изъездит, чем этот чорт мадам; на всем доме верхом ездит.

— Так, истинно так; да если он и подпакостит что̀, лесничиха заговор знает.

— А насчет платья-то я придумал штучку . . . Я тебе после скажу; пойду, чай, уж встали все.

Алексей отправился в дом; но там еще все спали, и он пошел в сад к калитке. Алексей был один из тех людей, которые по любви, по угодливости и преданности к господам своим из рабов делаются семьянинами, которых как-то совестно кликать по имени, но невольно зовешь по имени и отчеству.

Саломея, увлеченная мыслью создать из Георгия образец мужчин, предалась ей как материнскому чувству любви, с тою только разницею, что в сердце матери готовится и любовь к будущей подруге сына; а в сердце Саломеи, при мысли, что Георгий должен со временем принадлежать не ей, а другой, вскипала кровь, и она чувствовала ревность и ненависть к будущей жене Георгия. Зная женщин по самой себе, передавала на их долю всю худую сторону самой себя, и, оставляя за собой лучшую, Саломея во всей половине человеческого рода не видела достойной того мужчины, в которого она перельет свою душу и которого образует для *счастия женщины*.

Бессознательно она внушала в него те высокие нравственные понятия сердца, которые были необходимы собственно для нее, и тайный смысл этих высоких понятий заключался в том, чтоб поселить в Георгии страшное понятие о всех женщинах и остаться одной на белом свете, к которой бы сердце его прибегнуло с юношеской жаждой любви.

Несчастный Георгий, испытав и детскую привязанность и юношеское отвращение к мадам Вожè, находил в изображениях женщин большое сходство с ней и верил словам Саломеи. Он уже приучен был к нежным ласкам, чувства его быстро поняли разницу между циническими ласками Вожé и платоническими Саломеи. От тех он бегал, этих сам готов искать.

Между тем Филипп Савич, что̀ называется, смотрел в глаза Саломеи со всею почтительностью. Чувства его высказывались только угадыванием и предупреждением ее желаний. Малейшее чье-нибудь невнимание к мадаме было уголовным преступлением: без воли ее ничего не делалось; сам Филипп Савич без ее совета ничего не предпринимал, а ее совет был закон. Это льстило самолюбию Саломеи и наклонности ее господствовать. Тихо, величаво, как будто по убедительной просьбе распоряжаясь всем домом, она нисколько не трогалась судьбою бедной Любови Яковлевны, которая заперта была и болезнью и ею в четыре стены своей спальни. Саломея считала ее дурой, и потому почувствовала в себе всё право первенствовать в доме.

Мысли ее были заняты благородными чувствами забот о душе Георгия, высокое мнение о себе питалось общей боязнью не угодить ей, начиная с Филиппа Савича до последней шафки, которой тогда только давали есть, когда она простоит в продолжение всего обеда на задних лапах перед Саломеей Петровной; в сердце ее был уже зародыш какого-то наслаждения, с которым она ни за что̀ бы не рассталась, как мать с первенцом страстной любви, взлелеивала и предвкушала его как будущее блаженство.

Это была не пылкая страсть, но сильнее нежной страсти матери, которая утешается и гордится сыном: мать не для себя взлелеивает его; а Саломея жаждала взлелеять Георгия, как дух соблазна, который обаяет душу, с расчетом, что ее уже ничто не искупит из его челюстей.

Но на Георгия быстро действовал тайный, безотчетный замысел Саломеи. Однажды, довольная успехами его в музыке, она забылась, долго смотрела на него с внутренним волнением и вдруг, приклонив

его голову к груди своей, пламенно поцеловала в чело и, только опомнившись, произнесла:

— Как ты понятлив, Георгий! Я от тебя в восторге.

Саломея не предвидела, чтоб ее пятнадцатилетнему ученику понятно было подобное невольное излияние восторга, и чтоб он отвечал на него не так, как ученик, усиленным прилежанием, а так, как юноша, полный жажды любви.

Он припал к груди, как олень к потоку, и глотал вскипевшие волны его.

Нежданное соответствие чувством помутило память Саломеи, она, казалось, ничего не понимала в эту минуту, и глаза ее как будто говорили: пей, пей, Георгий; в груди моей стеснилось дыхание, отпей моего дыхания!

Георгий как будто слышал этот призыв, и он припал к истоку дыхания и впился в уста Саломеи.

Это все ничего до тех пор, покуда женщина имеет время опомниться и свести порыв своей страсти на шутку; но если она очнется испугом, и вскрикнет: «боже мой, кто-то идет!»—шутки кончены: это уже значит, что питомица Евы, играя запрещенным плодом, сорвала его невзначай, в испуге, и, не зная куда с ним деться, прячет его в карман потомку Адама; он уже поверенный ее тайны; а тайна состоит только в том, что она его любит.

Так случилось и с Саломеей; испуг был напрасный; но, взволнованная мыслью, что Георгий преждевременно, по одному инстинкту, понял, в чем заключается вся музыка любви, не изучив гаммы, запел романс, она задумалась, ей досаден был скорый и необъятный успех ученика, как учителю, который хотел бы продлить уроки на несколько лет, во-первых, по известному расчету профессии, а во-

вторых для того, чтоб, устранив природные способности ученика, иметь право сказать: без меня он бы был дурак, мне бог знает какого труда стоило внушить в него наклонность к науке.

«Что̀ мне делать с Георгием, — думала Саломея, — в нем так страстно высказались чувства привязанности ко мне... я сама так неосторожно предалась очарованию... он, точно, очарователен! первая любовь... первая женщина, которую он любит!»

Самолюбивая мысль бальзамом пролилась на сердце Саломеи, довольствие блистало в глазах, лицо горело.

— Я не внушала эти чувства, они родились сами собою... без всякого с моей стороны...

Саломея не договорила. Не видя ничего перед собою, кроме блаженства, она наткнулась на Филиппа Савича, который также прогуливался в саду и долго следил за Саломеей, боясь встретиться с ней.

— Ах, мадам, — сказал он, — как вы задумались!

— Ах, это вы? — сказала Саломея с досадой, что вместо воображаемого Георгия перед ней стоял несносный его отец.

— Я, — отвечал Филипп Савич.

Саломея молча шла далее.

— Прекрасная погода, — проговорил Филипп Савич, следуя за ней.

Саломея не отвечала.

— Не правда ли?

— Что̀ вы говорите? Извините, я не слыхала, я привыкла ходить одна и задумываться.

— О чем вам задумываться: вы так молоды, прекрасны, мадам Саломея; всё, что̀ только вам угодно, всё к вашим услугам... я уважаю вас, ей-

богу! Вы у меня настоящая хозяйка в доме, ей-богу! Всё что̀ вам угодно...

— Очень вам благодарна; но извините, хозяйкой я не могу быть у вас, — хозяйство не мое дело: я взялась образовать ваших детей и исполню...

— Помилуйте, нет, я всем вам обязан, у меня теперь дом на дом похож; а прежде, вы сами видели, что̀ за беспорядок... жена больная, да еще... сами вы видите — капризна и глупа... при вас я только и начал жить... всё в порядке, и дом и люди... вам всем обязан!.. откровенно скажу, я с вами откровенен... если б...

Саломея начинала понимать, что нерешительный, смущенный голос Филиппа Савича не к добру клонился; чувства его взволновались при слове «если б»... «О боже мой, подумала она, вспыхнув, я до сих пор не поняла замысла этого мерзавца!»

— Извините, — сказала Саломея, прерывая речь Филиппа Савича, — откровенности между нами быть не может, я не могу входить в ваши семейные дела!

— Помилуйте, не то: какие у меня семейные дела, никаких! Жена.. бог с ней... всё равно, что ничего... Дети у вас на руках... вы им родная мать... ей-богу!.. всё что̀ вам угодно... как уго́дно, так и будет...

— Мне угодно теперь остаться одной! — сказала Саломея, гордо вскинуз голову и остановясь.

— Если угодно, — проговорил тихо озадаченный Филипп Савич, остановив пылкий порыв сердца к излиянию чувств.

Саломея скорыми шагами пошла от него прочь.

Долго стоял Филипп Савич, смотря вслед за нею, и, наконец, заговорил сам с собою:

— Что̀ это значит? рассердилась, кажется?

или сконфузилась? .. Эх, чорт знает, не знаю как и подступиться к ней... истинная добродетель!

Саломея была в отчаянии; она поняла, как опасно было ее положение в доме... Занявшись Георгием, она забыла Дмитрицкого и мысль свою мстить мужчинам, сводить с ума от мала до велика, и наслаждаться их страданием. Первой жертвой своей хотела она избрать самого Филиппа Савича; но почтительное уважение, оказываемое ей Филиппом Савичем, присутствие Георгия и новая мысль образовать из прекрасного юноши образец мужчин, заглушили замысел, создавая будущее блаженство. Намек Филиппа Савича потряс всё здание этого мечтательного блаженства.

— Что̀ мне делать? — спрашивала сама себя Саломея Петровна, и не в состоянии была отвечать себе.

На дворе уже смерклось совершенно, а Саломея Петровна ходила еще по саду торопливым, беспокойным шагом. Давно уже старик Алексей и Иван сидели в засаде и выжидали, когда Саломея Петровна приблизится к ним. Несколько раз она уже проходила мимо; но они, как испуганные близостью хищного зверя, затаивали даже дыхание.

— Идет, идет! — шептал Иван, толкая под бока старика Алексея.

— Идет? — спрашивал Алексей.

— Идет.

— Тс!

— Прошла, брат, Алексей Гаврилович.

— Прошла? ах, проклятая! с кем это она разговаривает?

— С кем, вестимо с кем!

— Что̀-то разговаривает про господ... про старого, да про молодого барина.

— Верно, брат, Алексей Гаврилович, продает чорту душу их.

— Крестная с нами сила!

— Пойдем, брат, Алексей Гаврилович.

— Нет, брат, Ваня, уж что̀ будет, то будет! а надо дело покончить.

— Эй, брат, Алексей Гаврилович, худо будет... идет, идет!

— Идет?

— Идет.

— Тс.

В самом деле, Саломея Петровна, разговаривая сама с собой отрывисто, то по-русски, то по-французски, то шопотом, то вполголоса, то довольно громко, в сердцах на Филиппа Савича называла его старым чортом, а в умилении сердца называла Георгия чистой душой.

Когда Иван в третий раз толкнул Алексея под бок и шепнул: «идет!», Саломею успокоила какая-то мысль; вероятно, опасения страсти Георгия и замыслы Филиппа Савича ее уже не тревожили; она шла, по обыкновению, величаво, тихо, молча.

— Господи, благослови! — произнес Алексей перекрестясь и, выскочив из-за куста, набросил на Саломею полость, обхватил ее и понес.

Саломея вскрикнула, но восклицание ее замерло от испугу.

— Не бойтесь, сударыня, не бойтесь, ничего не будет! — повторил тихо Алексей. — Садись, Ваня! подгоняй! живо!

— Помогите! помогите! — вскричала Саломея, переводя, наконец, занявшееся дыхание; но слабые звуки стесненного ее голоса заглушены были стуком колес и скоком лошадей.

— Не кричите, сударыня, к чему кричать: вас

ведь не режут! — сказал Алексей, стянув полость на лицо Саломеи.

— О, дай мне вздохнуть, я кричать не буду... Кто ты, злодей? куда ты меня везешь? скажи мне, скажи! — произнесла она умоляющим голосом.

— Куда следует, туда и везем, сударыня... Погоняй, брат, Ваня, пошел опушкой-то леса.

Голос Алексея был знакòм Саломее, но она не могла понять, кто это говорил.

— Кто ты, злодей? — повторила она.

— Не злодей, не бойтесь, сударыня; худого ничего не будет.

— Ну чтò ты разговариваешь! — сказал Иван, толкнув Алексея.

— О, господи! куда меня везут? скажите мне, бога ради! — вскричала снова Саломея.

— А! теперь господи! — пробормотал Иван.

— О, остановитесь, пожалуйста, дайте мне слово сказать вам, только одно слово!

— А вот сейчас на станцию приедем, — сказал Алексей. — Пошел, тут дорога гладкая!

— Эх вы, соколики! — крикнул Иван и запустил коней скоком и летом.

Глухие стоны Саломеи были тише и тише; она не могла понять, зачем и куда ее везут; но, казалось, предалась судьбе своей и умолкла.

«Меня похитили!» подумала она, и эта мысль развилась цепью романических происшествий и догадок, кто дерзкий похититель. Но голос Алексея, чтó-то знакомый, кого-то напоминающий, навел Саломею на странную мысль, что ее везут через полицию к мужу. «Он объявил повсюду о моем побеге, разослал повсюду людей своих искать меня... и меня нашли... везут как беглую!» Ей представился весь позор, который ее ожидал.

— Остановись, остановись! — вскричала она, схватив руку Алексея, — будь моим благодетелем, остановись!

— Постой, брат, Ваня, что́ ей нужно? .. Ну, что́, сударыня?

— Послушай, — произнесла умоляющим голосом Саломея, — я узнала, кто ты... я знаю, куда вы меня везете... вы везете меня к мужу... но я не могу ехать, я не поеду... Если у тебя есть еще уважение к твоей барыне, если есть сожаление, то пустите меня, я останусь здесь.. я лучше умру здесь! .. ты верно это сделаешь для своей барыни, ты такой добрый, я знаю тебя! ..

Алексей не понимал, о каком муже она говорит и о какой барыне; его навел кучер Иван:

— Что́, брат, — шепнул Иван, — узнала тебя; да еще созналась, что барин-то ей муж.

— Для барыни-то, сударыня, я всё и делаю; а барин-то с ума сошел от вас, да и весь дом вверх дном пошел от вас, всех замучили; нет, уж вам у нас не житье! .. воро̀титесь — беда вам будет...

— О, нет, я ни за что̀ не ворочусь, лучше останусь посереди лесу...

— Да уж так, конечно, — отвечал Алексей, — да платье-то скинуть надо господское... да надеть вот крестьянское, у меня здесь есть... да и бог с вами; а мы скажем, что вы купались, да утонули... чтоб уж так и исков не было; а то, пожалуй, барин искать пошлет.

— О, боже, боже! — проговорила Саломея, не понимая ни чужих слов, ни своих мыслей. — Я согласна, ни за что̀ не ворочусь... лучше умереть, нежели итти на позор.

— Уж так, конечно, сударыня, извольте — вот

тут всё: сарафан, кичка, чулки и чоботки; да извольте скорей, скоро рассветать будет.

— Смотри ты, пожалуй, шелковая какая, — шепнул Иван.

Саломея, напуганная воображением, готова была на всё, чтоб только избежать позора и стыда. Но самолюбие и здесь польстило ей: торопясь перерядиться в костюм крестьянки с головы до ног, она как будто исполняла собственную волю, и видела в людях, которые ее везли, уважение к себе, покорность и желание спасти свою барыню.

— Так счастливо оставаться, сударыня, — сказал Алексей, скомкав в узелок наряд Саломеи.

— Ах, постой, постой! — вскричала она. — Боже мой, мне страшно здесь; нет, я не останусь одна!

— А кому ж здесь прикажете оставаться с вами? — спросил насмешливо Иван.

— Нет, что̀ ж мне в лесу оставаться. Довезите меня до какой-нибудь деревни, там я напишу к маменьке письмо, и вы доставите его, а мужу не говорите.

— Нет уж, сударыня, вашей маменьки мы не знаем, и где она живет, и что, а Филиппу Савичу уж, конечно, говорить не станем. Наше дело было представить вас сюда; в нашем доме вам не годится жить; соблазн, сударыня; а вот извольте итти, куда вам благоугодно будет, а назад в дом не ворочайтесь: сами знаете, позор будет.

— О, постойте, я не понимаю, что̀ говорите вы.

— А где ж мадаме французской по-русски всё понимать. А коротко и ясно: оставайтесь с богом! .. пошел!

— Прощай, мадам! — крикнул Иван и, приударив коней, понесся по извивающейся дорожке глушью лесной.

— Постойте, постойте, — вскричала опять Саломея, протягивая руки и побежав вслед за телегой; но страшная тишина как будто обдала ее посереди мраку ночи, и она упала без памяти на землю.

II

Жил-был в Москве господин Брусницкий; в сан губернского секретаря в отставке облеченный, разбитной малый, славный товарищ, весельчак, любезник, светский пустомеля, дум не думающий, о высоких и глубоких вещах рассуждающий, легкий как пард, смелый наездник, коней и собак любитель, жен и прекрасных дев почитатель, мостовой гранитель, нескольких душ обладатель.

В некоем из его имений, аки при стаде, пастыря не обреталось, но была дворовая собака. Эта собака — Дорофей Игнатов, бывший его барский камердинер, в звание управляющего облеченный.

Вот, в один прекрасный день, уже перед вечером, ехал Дорофей из одной деревни в другую, в тележке, сам правил, ехал он через лес, заключавший в себе нашу забытую судьбой, оставленную людьми и роком преследуемую героиню Саломею.

Вдруг слышит он чей-то голос.

Дорофей вздрогнул, подумал — не леший ли?

Он подогнал было конька; но близ его раздалось в стороне: «Постой, постой, добрый человек!»

Он было хотел еще придать рыси коньку; но вдруг видит бегущую к нему крестьянку. Дорофей успокоился и приостановил конька.

«Это, — думал он, — не леший; это какой-то славный леший! . .»

— Что̀ тебе, моя милая?

— Добрый человек, вывези меня из лесу, — проговорила задыхаясь Саломея.

— Что̀, заблудилась верно? Пожалуй, изволь, лебедка, садись.

— Ты ошибаешься, мой милый, я не крестьянка, — произнесла вдруг с достоинством Саломея, затронутая слишком ласковым голосом Дорофея, — я ехала на поклоненье в Киев, меня ограбили разбойники, оставили мне только крестьянское платье...

Дорофей посмотрел на нее недоверчиво; но наружность, взгляд и голос Саломеи, казалось, убедили его, что это действительно должна быть барыня, а не крестьянка.

— Извольте, я довезу, — сказал Дорофей, — наша деревня отсюда недалеко; а вы откуда же ехали в Киев?

— Из Москвы.

— Там наш барин живет, — сказал Дорофей, — так, стало быть, вы знаете Александра Ивановича Брусницкого?

— Нет, не знаю.

— Как же это, Александра Ивановича Брусницкого, да его кто не знает, ведь он со всеми господами знако̀м.

Саломея молчала. Дорофей посмотрел на нее и моргнул глазом.

— Александра Ивановича нельзя не знать.

Проехав версты три, Дорофей приостановился подле корчмы.

— Я забегу только напиться, — сказал он.

— Спроси, пожалуйста, и мне воды: у меня страшная жажда, — проговорила Саломея.

Дорофей отправился в корчму, выпил там известную меру, взял копченых сельдей и булку и вынес напиться Саломее.

— Дай мне кусочек хлеба,—сказала она дорогой.

Дорофей, уплетая селедку и булку, возбудил в ней голод.

— Изволь... извольте, — сказал Дорофей, отняв ото рта булку и разломив оставшийся кусок пополам.

Саломея поднесла ко рту, но с отвращением поморщилась и не стала есть хлеба: он заражен был водкой.

— Э, да ты... вы, барыня, брезгаете, сударыня?

Саломея ничего не отвечала.

— Ну, как изволите... Ну, ты, сивая! пошла! Приедем домой, чем угодно накормлю, у нас всё есть... суп сварим, пожалуй... вот уж недалеко... тут будет корчма... да вот она... а тут, версты две, и деревня Александра Ивановича... Пррр! стой! Не прикажете ли тут булочку взять? тут славные булки... я возьму... а может напиться, не угодно ли?

И с этими словами Дорофей остановил коня и побежал в корчму. Выпил известную пропорцию водки, взял булку и вынес воды Саломее.

— Изволь... извольте.

— Благодарствуй, я не хочу пить, — отвечала Саломея, очнувшись из задумчивости и содрогаясь при взгляде на свою одежду, экипаж, корчму и Дорофея, угощающего водой.

— Ну, булочки, — говорил он, — я не кусал, ей-богу... ну, честь приложена... а... ну! собака! пошел! близко!

И Дорофей начал жарить лошадь кнутом. Сивая понесла во всю прыть, тележка по неровной дороге запрыгала, Саломею бросало во все стороны; бледная и трепещущая, она вскрикивала на всяком скачке тележки.

— Прокачу! — кричал Дорофей, — прокачу! небойсь! ничего! Эх ты, сивая!

— Остановись, остановись! ай!

— Ничего! .. вот она и наша корчма!

Около корчмы стояла толпа мужиков; все они по проезде Дорофея Игнатьича сняли шляпы и поклонились.

— Гей, староста! — крикнул он, проскакав мимо.

Староста побежал вслед за ним.

Наконец тележка остановилась подле флигеля дряхлого господского дома, миновав развалившийся забор.

— Вот и приехали, — сказал Дорофей, — эй, Маланья!

Из дверей выбежала старуха-крестьянка.

— Помогай, старая корга! .. не мне, а вот... барыне-то! ..

Саломея была почти без памяти, едва переводила дух.

— Ну, что ж ты?—крикнул Дорофей на старуху, которая подошла к тележке и смотрела на Саломею, которая, приклонив голову на руку, безмолвно, неподвижно сидела, отдыхая от испугу.

— Где ж мне ее стащить с телеги-то, ишь, какая грузная! Ноги-то верно ей уж не служат! Слезай, голубушка!

Саломея вздохнула глубоко и с ужасом посмотрела на старуху, на Дорофея и на всё ее окружающее.

— Сударыня, говори! .. барыня это, говорю я тебе... Ну, покорно просим.

И Дорофей, сам взяв за руку Саломею, потянул ее с телеги.

— Оставь, пожалуйста, я сама пойду, — произнесла она и сошла с тележки.

— Покорно просим! — сказал Дорофей, взяв под руку Саломею и сам едва стоя на ногах.

— Готовь... чтò есть, а? ты! тебе говорю, Маланья!

— Ну, чтò, чтò прикажешь, Дорофей Игнатьич?

— Отворяй двери! .. ну!

Пьяный Дорофей и истомленная Саломея показались старухе не лучше один другого.

— Э-эх! добыл! — бормотала она: — наклюкались...

Саломея вошла в людскую горницу, которая была пуста, кругом стен лавки, в углу стол, на котором лежало множество бумаг; вправо другой покой с русской печкой, подле стены койки, на лавке самовар, чайник и чашки.

— Самовар ставь, Маланья; покорно просим! Чайком сейчас попотчую...

— О, боже мой! — произнесла Саломея, садясь подле стола и приклонив голову на руки.

— Подай подушечку! .. Извольте... если угодно отдохнуть... Ну, живо самовар! .. ты чтò? пошел вон! ты видишь, здесь барыня!

Староста, сунувшийся было в двери с огромной клюкой, вышел вон; за ним вышел и Дорофей.

— Ну, ты, Тарас, дурак! ты думаешь это чорт знает чтò? а?

— Чтò ж, не наше дело, Дорофей Игнатьич, — отвечал староста.

— Не наше дело! так и уважения нет! ты думаешь, что просто крестьянка... что уж я взял, да и привез... чтò глядишь?

— Ничяво, Дорофей Игнатьич.

— Небойсь, сыну-то твоему Василью не черед? Нет, брат, забрею!

— Да за что ж прогневалась милость ваша, Дорофей Игнатьич?

— То-то, ты думаешь, я на свой счет угощать буду?

— Да мы представим что угодно.

— Угодно! .. Это барыня, а ты думал баба?

— Да что ж думать... уж как барин приказал... так и будет; вам господская воля лучше известна...

— Так пошел! ведь запас есть про заседателя?

— Да есть же, есть... сладкая водка есть, закуска есть, изюму, чай, прикажете...

— Неси!

Староста побежал на село; а Дорофей важно прошелся по двору и повелительно останавливал и подзывал к себе всех идущих и едущих с поля крестьян, баб, мальчишек и девочек, спрашивал, допрашивал, гневался, и кончал словом: «Ну, пошел!»

— Эй, ты, постой! поди сюда!

— Дорофей Игнатьич, доброго здоровья вашей милости.

— Ты где был?

— В поле, батюшка.

— Завтра тебе в лес ехать, с Семкой, привезете лесу на забор... Слышишь?

— Дорофей Игнатьич, помилуйте, уж дозвольте поприбраться с хлебом. Забор-то, сударь, не к спеху...

— Ну, молчать! Учить стал! .. Как велю, так и делай! ..

— Кто ж ослушаться будет вашей милости; оно не то что бы... да завтра же мед снимать хотел... уж такой мед, Дорофей Игнатьич! ... Если дозволите, представлю...

— Мед... ну, разве... привози, попробую

— Такой мед, Дорофей Игнатьич, что и не

бывало такого! а уж как приберемся, в день забор новый поставим, ей-богу!

— Тò-то, я́ долго ждать не буду. Ну, пошел! .. Поди-ко ты сюда, поди! в кузовке-то чтò?

— Черника, батюшка.

— А где ты набрала? В поле, небойсь?

— В лесу, батюшко.

— А лес-то чей?

— Вестимо, что господской.

— Тò-то!

— Извольте, батюшко, отсыпать на здоровье.

— Отсыпать! Захочу и всё возьму... Чтò ж ты мало набрала? а?

— Да неколи было; только и набрала что вот дорòгой.

— А орехи поспели?

— Нет еще, сударь.

— На! пошла!

Отсыпав в картуз черники, Дорофей пошел к себе и высыпал чернику на стол перед Саломеей, которая, прислонясь к стене, сидела с поникшей головой и закрытыми очами, как опьяневшая от горя.

Есть сердца, которые знают испуг, страх, боязнь, но в беде, вместо смирения и терпения, ожесточаются. Это именно те высокомерные сердца, которые не сознают в себе ничего, кроме высоких достоинств и великих совершенств, а во всех других ничего, кроме глупости и подлости. Саломея, предавшись горьким думам о судьбе своей и унижении, в которое она поставлена, обвиняла, во-первых, виновников своего рождения: они не умели руководить ее к счастию жизни; не умели обставить ее тем, чем ее красота, ум и высокие чувства должны были быть обставлены; потом обвиняла дураков молодых людей, которые не умели *найти в ней;* потом обвиняла свинью

Федора Петровича, которого чорт принес в дом свататься на девушках, которых он и подметки не сто́ит; потом обвиняла мерзавца Дмитрицкого, который соблазнил ее невинную душу, жаждущую истинной, безмерной, высокой любви; потом досталось Филиппу Савичу, сморчку, который осмелился думать сделать из нее вторую хозяйку в доме; потом, припоминая слова Алексея, она разобрала их, и убедилась, что верно мерзавка Юлия Павловна и мать выведали у глупого Георгия что́-нибудь и рассказали Филиппу Савичу; а Филипп Савич из ревности так низко поступил с нею. Никому не было пощады, и лицо Саломеи Петровны выражало какое-то озлобление и совершенно походило на опьянелость, в которой подозревала ее старая Маланья. Дорофей, взглянув на нее, скорчил маску, поусумнился и подумал:

«Врешь, мать моя, какая ты барыня... чай, просто, тово... девка, вот и всё».

— Эй, сударыня, чернички покуда!.. Ну, Маланья, что̀ ж чаю? налила? подавай сюда на стол; а староста принес что̀?

— Да вот же, принес два полуштофчика, да изюму, орехов, яблоков.

— Ставь сюда на стол... постой-ка, я попробую...

И Дорофей попробовал из каждого полуштофчика по рюмочке.

— Маланья, ступай, изготовь к ужину яичницу, да что̀-нибудь еще... покушать вот им... что̀ ж, сударыня, извольте!

— Я ничего не хочу, благодарю! — отвечала Саломея, вздрогнув, когда Дорофей прикоснулся к ней рукой, потчуя чаем.

— А отчего ж так?

— Пожалуйста, дай мне покой!

— Ну, как угодно... я сам выпью...

И Дорофей отпил до половины чашку, долил сладкой водкой и стал прихлебывать с наслаждением.

— А смею спросить, сударыня моя, какие разбойники ограбили вашу милость? Сударыня, а сударыня! Э, какая спесивая! Когда говорят — не отвечает!.. Добро бы еще кто, а то чорт знает!.. Да я знать не хочу... вот барыня нашлась какая! Нашла тут разбойников! Так и поверили! чорт ограбил...

— О, боже! — вскричала Саломея, вскочив с места и бросясь к двери.

— Нет, прррру! — сказал Дорофей, вскочив вслед за ней и схватив ее за сарафан.

— Мерзавец! — крикнула Саломея вне себя.

— Ах, ты! да я тебя, знаешь!—сказал Дорофей, подняв кулак над Саломеей, и потом толкнул ее на скамью.

— Помогите, помогите! — закричала Саломея.

— Молчать! — крикнул и Дорофей, размахнувшись снова.

Саломея присела от ужаса и замолкла.

— О, боже! — произнесла она тихо.

— Что̀, выкричала? то̀-то... ну, помиримся... выпьем... ну, пей, это дамская... сладкая...

Глаза Саломеи загорелись вдруг безумным исступлением; казалось, что она готова была вступить в борьбу, как львица.

— Прочь!

— Фу, ты, страшная какая! ну, пей, говорят тебе!

— О, он убьет меня! — вскрикнула она трепещущим голосом.

Дорофей стоял над ней, как некий герой драмы стоял над героиней драмы с кинжалом и требовал, чтоб она выпила яд.

Саломея, как эта героиня, испугавшись кинжала, пила яд.

— До дна! — крикнул грозно Дорофей. — А! вот теперь вижу, что барыня! Ну, теперь с чайком, я не даром для тебя самовар ставил... Нет, брат, меня не надуешь!.. Ну... что́ ж чайку, брат... а? небойсь, не трону... э! свалилась... слышь?..

У Саломеи закружилась голова, она без памяти упала на лавку и не чувствовала, как пьяный Дорофей тянул ее за рукав.

— Что̀ ж, брат, надо пить... Эки разбойники... прррру!

И Дорофей повалился сперва на лавку, потом на пол.

— Держи, держи! — кричал он: — Маланья, держи!

Маланья вбежала, посмотрела и на Дорофея и на Саломею, покачала головой и плюнула.

— Насосались! — проговрила она и, присев подле на лавке, выпила водочки из полуштофа, потом стала пить чай, потом стала всё прибирать, а, наконец, и сама свалилась на лавку подле печки и захрапела.

III

В уездном городе... как бишь его?.. позабыл!.. Ну, да что̀ нам за дело до города. В этом уездном городе, при городской части, жил квартальный надзиратель Иван Иванович Тесьменко, отличнейший человек, преисправнейший по службе, вернейший муж Авдотьи Матвеевны и попечительнейший отец пяти сыновей и шести дочерей. При всех своих

достоинствах, он часто страдал невинно, и в жизнь свою переменил, по крайней мере, двадцать родов службы. Из одной вытеснен, из другой выключен, из третьей отставлен, из четвертой уволен, из пятой отрешен, из шестой сам вышел, из седьмой обстоятельства заставили выйти, из осьмой болезнь, из девятой жена, из десятой начальник, из которой-то, кажется по лесной части, леший: просто пришел к нему и говорит:

— Иван Иванович, извольте выходить в отставку, а не то я истреблю весь лес, вверенный вашему благоусмотрению и надзору.

Собственно Иван Ивановичем все были довольны как нельзя больше; но женой его никто не был доволен; даже леший, служивший с Иваном Ивановичем по лесной части. Авдотья Матвеевна была очень хорошая женщина; но по недоверчивости к мужу она всегда входила в его дела по службе и распоряжалась всем очень умно и заботливо, однакож это не нравилось ни начальникам, ни подчиненным ее мужа. Леший же недоволен был тем, что она называла всех, на кого рассердится, сперва лешим, а потом свиньей. «Стало быть и я свинья» — говаривал леший, и обиделся. Долго терпел, наконец, не зная чем отмстить, начал рубить лес. По ночам такая рубка, что чудо; глядь на утро — дерев сотни самых лучших как не бывало. Иван Иванович видит, что плохо, придется отвечать принужден был подать в отставку.

В звании квартальной надзирательши Авдотье Матвеевне как-то удобнее было входить в заведывание квартала, и не считалось предосудительным, что многое и от нее зависело, и что без сведения Авдотьи Матвеевны нельзя было ни к чему приступить.

Однажды Авдотья Матвеевна, уложив детей спать, гадала в карты, что̀ долго Иван Иванович не возвращается от городничего; вдруг доложили ей, что приехал управляющий Брусницкого.

— А! зови-ко, зови его! .. Здорово, Дорофей Игнатьич.

— Здравствуйте, сударыня, Авдотья Матвеевна; как вас бог милует?

— Слава богу, слава богу, как видишь; а ты-то, батюшка, запал! Забыли свой дом; а городских-то повинностей не мало накопилось... стыдно! ведь это всё на ответе Ивана Ивановича... Барин гуляет в Москве, а ты-то где гуляешь, батюшка?

— Какая гульба, сударыня... такой год вышел, что избави боже... зиму всю проболел...

— Так! у кого нет отговорок в запасе!

— Прикажите, сударыня матушка, Авдотья Матвеевна, принять кому: куль мучки, две четверти овсеца, да там еще разное кое-что̀... яичек, маслица, того-сего...

— С зимнего-то пути на летний свел, да тем, чай, и заговеемся?

— Помилуйте, сударыня, всё в свое время будет...

— То̀-то! дичь-то еще за тобой, а тонкий-то холст? ..

— Привез, сударыня.

— Разве?

— Прикажете на двор въезжать?

— На двор, на двор.

— Да к Ивану Ивановичу дельцо у меня есть...

— Что̀ такое?

— Да вот какой казус случился: еду я четвертого дня из Саньковцев через лес, эдак, перед закатом солнца, — смотрю, бежит ко мне какая-то ба-

бенка, да кричит: «Батюшка, помоги, разбойники режут! батюшка, гонятся за мной!» Я и оторопел: «Садись скорей», говорю; взял ее к себе, да и припустил коня, думаю, вправду гонятся. Приехал домой, уж ночь на дворе.

— «Покорми, — говорю Маланье, — бабенку-то, да пусть переночует»; а сам пошел по хозяйству. Как воротился, а Маланья и говорит: «Что̀, батюшка, Дорофей Игнатьич, какую ты привез, безумную али пьяную?» — А что̀? — «Да вот смотри на нее, всё буянит! Говорит, что она барыня, а не крестьянка». — Ты что̀, голубушка? — спросил я ее, — откуда ты? Какие разбойники тебя ограбили? — «Как ты смеешь, — говорит, — называть меня голубушкой; ты знаешь, кто я?» — Нет, не знаю, сударыня. — «А вот я тебе покажу!» да как ухватит бутылку со стола, да в меня было, я так и обомлел, насилу выскочил в двери; безумная, думаю, и велел припереть двери, да стеречь до утра. Как рассвело, отворили двери, а она лежит без памяти, вся как огонь красная. Ну, думаю, как умрет—беда! Пойдут следствия, откуда взялась, да кто уморил. Я скорей ее на воз, да и сюда. Хочу просить Ивана Ивановича, чтоб в часть ее взяли.

— Вот то̀-то, Дорофей Игнатьич, бог-то и попутал тебя; ведь если б не такой случай, ты бы и не подумал приехать.

— Помилуйте, матушка, у меня уж и подвода была готова, а тут вот как чорт навязал обузу. Да уж будьте уверены, что то̀ само по себе, а это само по себе; я только буду вас просить, чтоб Иван Иванович приказал взять ее у меня с рук долой.

И Дорофей с этими словами положил на стол перед Авдотьей Матвеевной красную бумажку.

— Дунька! — крикнула Авдотья Матвеевна, — сбегай-ка скорей... Э, да вот он идет.

— Это что̀ за человек? — спросил Иван Иванович, входя в комнату.

Мы не станем описывать наружности Ивана Ивановича, чтоб читатель сам себе вообразил в мундирном сюртуке добрейшую наружность, не совсем уклюжую, на которой время исказило уже все черты доброты, так что с первого разу можно подумать, что Иван Иванович и сердит, и привязчив, и чорт знает что̀.

Дорофей низменно поклонился, а отвечала за него Авдотья Матвеевна:

— Ты не узнал управляющего имением Александра Ивановича Брусницкого.

— А! ну, что̀ скажете?

— Ничего, сударь, Иван Иванович; привез кой-что̀ гостинцу вашей милости.

— Спасибо, спасибо; а чего привезли?

— Ну, что̀ привез, то и привез; а вот лучше поговори-ко с ним, у него просьба до тебя.

— Да, батюшка, Иван Иванович, не оставьте вашей милостью: вещь пустая, да я больно перепугался.

— Что̀ такое? говори!

— Изволите ли видеть, ехал я третьёва-с или, бишь, четвертого дня...

— Постой, постой, я расскажу, что̀ тебе трудиться в другой раз; вот видишь, Иван Иванович, Дорофей Игнатьич ехал себе в деревню через лес, где разбойники водятся...

— И не думают водиться! — пробормотал Дорофей про себя.

— Вдруг бежит баба какая-то и кричит: «режут!»

— Постой, матушка, — перервал Иван Иванович, — нечего и продолжать, я вижу, что тут дело касается до исправника, а не до меня.

— Да дай, батюшка, кончить! так и рвет с языка!

— А пожалуй, говори, только я вижу, что дело до меня не касается.

— Вот видите ли, сударь, я вам доложу в коротких словах, — начал было Дорофей.

— Позволь уж мне досказать: не люблю, начав слово, не кончить... Изволишь видеть, он спас бабу от разбойников, да привез домой, а оказалось, что она сумасшедшая, не ест, не пьет...

— Всё-таки надо освидетельствовать; а что, я, что ли, поеду в уезд свидетельствовать?

— Да дай кончить! — сердито произнесла Авдотья Матвеевна.

— Она, сударь, умерла было! — начал было Дорофей.

— Свидетельства-то, или, как бишь, следствия-то он и боится, — перервала Авдотья Матвеевна, — так для этого и привез ее сюда.

— Куда? — спросил Иван Иванович.

— Куда! Сюда, говорят тебе!

— То есть к нам, ко мне? Пошел, брат, пошел, а не то я проводить велю!.. Мертвую привез из уезда в город, в мой квартал, свалить беду на мою шею!

— Помилуйте, живёхонька, сударь, она только больна.

— Всё равно!

— Выслушай прежде, да потом кричи!

— Позвольте уж мне, матушка, Авдотья Матвеевна, рассказать в чем дело.

— Рассказывай, ты думаешь, он тебя лучше поймет!

— Только не извольте гневаться, батюшка, Иван Иванович, дело, сударь, пустое...

При этих словах Дорофей вынул из кармана бумажник, отвернулся немножко из учтивости в сторону, из бумажника вынул беленькую, свернул бумажник, положил в карман и продолжал:

— Дело, сударь, пустое...

И Дорофей рассказал, что спасенная им женщина верно какая-нибудь беглая или сумасшедшая, заболела опасно, и он, из боязни, чтоб она не умерла и не завязалось из этого следствие, привез ее в город с тем, чтоб попросить Ивана Ивановича взять ее в часть.

— Нельзя, любезный друг, нельзя! — сказал Иван Иванович.

— Ах, батюшка, да отчего ж нельзя? — крикнула Авдотья Матвеевна.

— Ты, матушка, с ума сошла! тело поднято в уезде, а не на улице, да если б и на улице, да не в моем квартале, так мне плевать на него.

— Помогите, батюшка, посоветуйте, как мне быть... да если б тело, а то не тело, ведь она еще живёхонька...

Дорофей положил бумажку на стол, подле Ивана Ивановича, и низко поклонился.

— Чудные вы люди, — сказал Иван Иванович, смягча голос: — добро бы это случилось в моем квартале, ну, тогда бы знали как поступить.

— Ах, боже мой, да она теперь в твоем квартале и есть! Кто ж знает, что она привезена, — сказала Авдотья Матвеевна, удивляясь, что муж ее из пустяков делает затруднения.

— Лежи она на улице, дело другое, дозор бы поднял — и прямо в часть!

— Да если позволите, я сложу ее на улице, — сказал Дорофей.

— Разве, — сказал Иван Иванович.

— В самом деле, — прибавила Авдотья Матвеевна.

— Да где ж ты сложишь?

— А вот можно в глухом переулке, подле забору.

— Разве, — сказал, опять подумав, Иван Иванович: — а я пошлю дозора, или нет, лучше сам пройдусь с дозором, возьмем в часть, а потом отправим в арестантской лазарет.

— И прекрасно! — прибавила Авдотья Матвеевна, — только чтоб мне холста долго не ждать, да прошу прислать сушеных грибов.

— Э, матушка, полно: за эту штуку привезет мне и лошадку с господского завода.

— Поставим и лошадку, Иван Иванович, такого конька, что я вам скажу; только еще молод для езды, извольте зиму повременить.

— Нет, брат, временить не буду, извини.

— Впрочем, как угодно.

— К ярмарке, чтоб здесь был.

— Слушаю, Иван Иванович. Так уж я исполню, как изволили сказать... потороплюсь.

— Ну, ну, ладно; да смотри, брат, мы только про то и знаем.

— Уж известное дело, — сказал Дорофей, поклонился и вышел вон.

Одна подвода стояла у ворот, он велел въезжать ей на двор; а его собственная тележка стояла в отдалении.

— Ты ступай, Кузька, да помоги Петрухе сло-

жить с воза куль и мешки; а я сам сдам ее в лазарет. Ступай.

Кузька пошел помогать Петрухе, а Дорофей вскочил на тележку и погнал коня в переулок, потом через улицу и опять в переулок. Тут была глушь; с обеих сторон заборы тянулись до другой части.

Дорофей приостановился, поосмотрелся, нет ли кого, выскочил из тележки, вытащил из нее бедную Саломею, сложил подле забора, и — был таков.

Иван Иванович, утомясь после дневных трудов, понесенных на пользу ближнему, по выходе Дорофея раздевался и, ложась уже в постелю, вспомнил, что надо послать дозор в глухой переулок, нет ли там чего-нибудь, и велел кликнуть к себе хожалого.

— Ты, братец, обойди же квартал дозором, чтоб всё было в исправности, да глухие-то переулки обойди хорошенько, слышишь?

— Слушаю, ваше благородие, уж это известно, — отвечал хожалый, и действительно прошел дозором по кабакам, прикрикнул, что пора запирать.

— Сейчас, сударь, сейчас, только гости уберутся, — отвечали целовальники.

— То̀-то, сейчас; дай-ко стакашик ярофеичу.

— Покорно просим.

— Ну, смотри же, запирать.

— Будьте спокойны, Василий Прохорыч.

— В глухие переулки! — пробормотал хожалый, отправляясь к себе на дом, — а чорта ли там есть!

Таким образом беспамятная Саломея лежала без призору в глухом переулке. Одр ее широк, она разметалась, горит, внутренний жар раскалил ее; с глухим стоном хватается она руками за одежду и, кажется, хочет сбросить ее с себя. . . Язык ее что̀-то

лепечет, уста алчут... да нет никого, кто бы походил за больной и подал ей испить.

Но вот кто-то идет, говорит сам с собой.

— Мне что — говорит, — пошел, да и утопился! житья нет! бил-бил, бил-бил, а за что? вишь, я виноват, что, надевши, у мундира рукав лопнул... а теперь по ночи достань ему где хочешь... Э! кто тут? ..охает кто-то... Ах, батюшки, женщина какая-то... умирает! Побежать сказать в будке, чтоб подняли.

И прохожий побежал к будке, которая была против длинного глухого переулка, на другой стороне улицы.

— Эй! будочник! слышь!

— Кто идет? — крикнул будочник, сидевший в дверях, прислонясь к стенке.

— Пошли, брат, скорей, поднять женщину, вон лежит тут в переулке, пьяная или что, бог ее знает.

— Где в переулке?

— Да вот тут недалеко.

Вскоре в глухом переулке раздались голоса хожалого с командой.

— Ну, где тут? эка невидаль! проспалась бы и здесь! тащи ее покуда в будку.

Хожалый, отдав приказ, отправился домой, а будочники перетащили беспамятную Саломею к будке.

— Вот тебе раз, еще в будку! — сказал один из них, — брось ее в загороду.

На другой день Иван Иванович донес, что во вверенном ему квартале, в Переезжем переулке, поднята женщина в нетрезвом состоянии, а по освидетельствовании оказалось, что она же и в горячечном состоянии; никакого вида при ней не оказалось, кроме носильного крестьянского платья, почему, вероятно, она в бегах обретается, и куда благоугодно

будет ее отправить, — не благоугодно ли в острог в больницу?

— Без сомнения, отправить в острог в больницу.

— Слушаю, — отвечал Иван Иванович.

IV

Обратимся теперь в Москву, к родителям и супругу Саломеи Петровны.

В тот самый день, когда она отправилась по своим надобностям из Москвы, около полуночи Федор Петрович, очень хорошо зная, что Саломеи Петровны нет еще дома, так, для бо̀льшего убеждения, спросил у слуги:

— Что̀, Саломея Петровна еще не возвращалась?

— Никак нет-с.

— Ах, ты, господи! .. Нет уж, как хочет, а я спать лягу, — сказал Федор Петрович и лег спать.

По обыкновению всякое утро приходил человек и будил его, докладывая, что чай готов и что Саломея Петровна изволили уже встать.

Против обыкновения, на другой день после отъезда Саломеи Петровны по своим надобностям, человек не приходил будить Федора Петровича и докладывать, что Саломея Петровна изволили уже встать.

Был уже час третий пополудни, Федор Петрович отлежал бока, удивляясь, что Саломея Петровна так долго спит.

«Верно поздно приехала домой, — думал он. — Вот жизнь собачья!» — прибавил он и крикнул:

— Эй!

— Чего изволите, сударь? — спросил лакей.

— Барыня встала?

— Никак нет-с.

— Ах, ты, господи!—сказал Федор Петрович:— в котором часу приехала барыня?

— Барыня не приезжала-с.

— Как, барыня еще не возвращалась домой?

— Никак нет-с.

— Ах, ты, господи! — вскричал Федор Петрович: — да где ж она?

— Не могу знать-с; Петр ездил с барыней, так она изволила послать его из галереи за афишкой в театр; он взял афишку, а в галерее уже барыни не было, так он и велел кучеру ждать у театра; а сам ждал в галерее в бельэтаже, подле нашей ложи. Театр-то кончился, все пошли вон, а Петр ждал-ждал, покуда свечи потушили. Петр хотел было еще немножко подождать, да капельдинер прогнал его: ступай, говорит, вон; кого ты ждешь? все разъехались, и лампу потушили. Петр и пошел, спросил кучера Игната: — Что̀, барыня не выходила? — «Да не выходила же», говорит. . .

— Ах, ты, господи! — вскричал Федор Петрович: — да где ж она?

— Не могу знать; вот как докладывал Петр Игнату: — Что̀ ж, ведь надо ждать барыню? — и стояли подле театрального подъезда до рассвету, какое до расвету — уж солнце высоко было, когда они воротились домой.

— Кто, барыня?

— Нет, Петр и Иван.

— А барыня?

— Ее так и не дождались.

— Ах, ты, господи! Это ни на что̀ не похоже! Давай чаю!

— Ключи у барыни.

— Тьфу! Давай одеваться.

Федор Петрович оделся и отправился к Петру Григорьевичу. Петра Григорьевича не было уже дома; Софья Васильевна куда-то сбиралась ехать, только Катенька была в гостиной.

— Ах, Федор Петрович! — вскричала она радушно, бросаясь к нему навстречу: — как давно вы у нас не были!

У Федора Петровича забилось сердце от какого-то тайного, горького чувства; несмотря на строгое запрещение Саломеи Петровны не подходить к ручке Катеньки — *молоденькой девчонки*, он в забывчивости подошел к руке.

— Что̀ вы такие смущенные?

— Ничего, Катерина Петровна, так, устал, жарко.

— Вы пешком пришли?

— Пешком.

— Как же это вы осмелились, сестрица не позволяет вам пешком ходить, — сказала шутя Катенька: — постойте, вот я ей скажу.

«Господи! — подумал Федор Петрович: — если б Катенька-то была моей женой! . .»

— Вы что́-то всё думаете, не отвечаете.

— Отвечать-то, Катерина Петровна, нечего. Как на душе скребет, так бог знает что̀ и отвечать.

— Что̀ за несчастие такое с вами случилось?

— Помилуйте, встанешь в семь, жди до полудня чай пить. . .

— Кто ж вам велит?

— Кто? да это уж жизнь такая, неприятно же врозь пить чай. . . да добро бы в полдень, а то сегодня я по-сю-пору чаю еще не пил!

— Отчего ж это? Хотите, я велю поставить самовар.

— Сделайте одолжение. . Ключи у Саломеи

Петровны, а она еще, бог знает, со вчерашнего дня по-сю-пору не возвращалась домой.

— Как! — вскричала Катенька.

— Да так! Я уж этой жизни и не понимаю!

— Коляска готова? — раздался голос Софьи Васильевны; и с этими словами, она, разряженная, вышла в гостиную: — А! Федор Петрович.

Федор Петрович подошел молча к руке.

— Что̀ это вас давно не видать, вы как чужой стали! Что̀ Саломэ делает?

— Да я пошел, ее еще не было дома, — отвечал Федор Петрович, стараясь говорить спокойным голосом.

— Маменька, Федор Петрович еще не пил чаю, я велела поставить самовар.

— Где ж вы были утро?

— Дома.

— Напой, Катенька, Федора Петровича чаем; а мне нужно ехать. Прощайте, Федор Петрович, поцелуйте за меня Саломею.

— Покорнейше благодарю! — отвечал Федор Петрович по модному выражению, переведенному с французского диалекта.

Софья Васильевна поклонилась довольно сухо и уехала. Софья Васильевна сердита была на Федора Петровича, потому что Саломея, не позволив давать отцу своему денег взаймы, на него же свалила отказ.

Катенька напоила Федора Петровича чаем, и он пошел домой.

— Что̀, приехала барыня?

— Никак нет! — отвечали ему в передней в несколько голосов.

В ожидании Саломеи Петровны он сжег десяток пахитосов, потому что Саломея Петровна трубку

ему запретила курить; потом ходил, ходил по всем комнатам, смотрел на часы и, наконец, вышел из себя.

— Шесть часов! Эй! что̀ ж не накрыт стол?

— Да кушать не готовлено.

— Барыня с вечера ничего не изволила заказывать.

— Тьфу! Это, чорт знает, что̀ за жизнь! — крикнул Федор Петрович и прибавил сквозь зубы: — Таскается день и ночь...

Федор Петрович, не зная к кому прибегнуть с горем своим, снова пошел к Петру Григорьевичу и застал его с женой, дочерью и двумя гостями за столом.

— А! обедали, Федор Петрович?

— Нет еще, — отвечал Федор Петрович: — Саломеи Петровны нет дома.

— Так садитесь, — сказал Петр Григорьевич и стал продолжать разговор с гостями. Софье Васильевне также некогда было с ним говорить, а потому он молча, торопливо догонял кушающих уже дессерт.

— Куда ездила сегодня Саломея? — спросила, наконец, Софья Васильевна.

— Никуда, — отвечал Федор Петрович.

— Как же вы давеча говорили, что ее нет дома?

— Ее по сю пору нет дома, — отвечал Федор Петрович: — она вчера поехала в театр... и не возвращалась... я не знаю...

Софья Васильевна, вероятно, догадалась, наконец, что что̀-нибудь да не так, перервала слова Федора Петровича и сказала захохотав:

— Бедный муж, не знает, где жена!.. а я знаю.

— Она мне ничего не говорила, — начал было Федор Петрович.

— Не говорила? да разве вы не помните, что она сбиралась с Малютиными в Воскресенск?

С этими словами Софья Васильевна встала из-за стола.

— Хотите трубку? — сказал Петр Григорьевич, взяв за руку Федора Петровича: — пойдемте ко мне в кабинет. Федор Петрович, — продолжал он, — вы почти сами вызвались дать мне взаймы сорок тысяч, которые мне необходимы, чтобы поправить свои дела; для чего ж вы вместо исполнения слова нажаловались на меня своей жене, что я выдал нищую дочь свою за вас для того, чтоб обобрать вас? скажите, пожалуйста?

— Я? я это говорил? вот вам Христос! — сказал Федор Петрович.

— Вот записка, полученная женою третьего дня от Саломеи, извольте читать:

«Папенька просил у моего мужа сорок тысяч взаймы. Это крайне его удивляет, и мне слишком неприятно слышать упреки, что мои родители не только что не дали мне никакого приданого и выдали как нищую, но еще требуют от зятя, чтоб он для поправления их состояния отдал свое. По доброте своей муж мой не умел отговориться; но чтоб избежать вечных упреков, я ему сказала, что папенька не нуждается уж в его деньгах».

— И не думал, и не думал этого говорить, Петр Григорьевич, клянусь богом! Я не знаю, что̀ Саломее Петровне вздумалось про меня так говорить... и не понимаю! Я уж и деньги приготовил для вас; она взяла их себе и сказала, что вы от нее получите.

Петр Григорьевич закусил губы.

— О! бог судья, мне жаль, что я доброму человеку навязал на шею такого чорта! — сказал он, задыхаясь от досады. — Где она?

— Я не знаю, Петр Григорьевич, где она; со вчерашнего дня еще не возвращалась домой; Софья Васильевна говорит, что она уехала в Воскресенск.

— Врет она! — вскричал Петр Григорьевич:— Эй! кто тут? позови барыню.

— Что̀ тебе, друг мой? — спросила Софья Васильевна, и испугалась, увидя, что Петр Григорьевич весь вне себя ходил большими шагами по комнате и поминутно набивал нос табаком. Это был худой признак.

— Где Саломея? — крикнул он.

— Я почему ж знаю, — отвечала Софья Васильевна: — кажется, мужу ее лучше знать об этом.

— К чему ж ты выдумала, что она поехала в Воскресенск?

— Я знаю, что она хотела ехать с Малютиными, и без всякого сомнения уехала с ними.

— Я сегодня был у Малютиных; она верно уехала с чортом.

Софья Васильевна побледнела. Федор Петрович стоял безмолвно и смотрел на Софью Васильевну как на виноватую и как будто произнося с упреком: «Вот видите, Софья Васильевна, что вы сделали! Зачем вы сказали, что Саломея Петровна уехала в Воскресенск, когда она не уезжала туда».

— Любезный Федор Петрович, — сказал Петр Григорьевич, — грех не на моей душе, а на бабьей.

— Ох, ты! — произнесла Софья Васильевна и торопливо вышла из комнаты.

Федор Петрович стоял молча посереди комнаты, в одной руке фуражка, другой приглаживал волосы на голове, потому ли что они становились дыбом, или просто по навыку поступать так в смутное для головы время.

— Что делать! — сказал Петр Григорьевич, глубоко вздохнув и пожав плечами.

— Я не понимаю, куда это уехала Саломея Петровна, — сказал, наконец, Федор Петрович.

Петр Григорьевич набрал снова глубоким вздохом оксигену и пахнул азотом, как турок, затянувшийся табаком.

— Позвольте трубочку, — сказал Федор Петрович.

— Сделайте одолжение, — отвечал Петр Григорьевич, расхаживая взад и вперед по комнате.

— Поди, пожалуйста, посиди в гостиной с Иваном Федоровичем и Степаном Васильевичем, мне совсѐм не до них, — сказала Софья Васильевна, входя встревоженная в кабинет.

— А мне до них? — отвечал Петр Григорьевич.

— Вы посылали, Федор Петрович, узнать, к кому поехала Саломея?

— Не посылал, — отвечал Федор Петрович, затягиваясь длинной струей вахштафу, как утоляющий жажду.

— Ах, напрасно; как же это вы так беззаботны, не знаете, где жена и что̀ делается с нею.

— Куда ж послать-то мне, Софья Васильевна? Если б она поехала, да сказала куда едет, — дело другое; я пошлю искать ее.

— Ах, нет, лучше не посылайте... Вы не поссорились ли с ней?

— Как это можно! Когда ж ссорился?

— Может быть огорчили чем-нибудь?

— Ей-богу, и не думал огорчать. Признаться сказать, она только посердилась на меня за то, что я взял деньги из ломбарда.

— Вот видите ли, она вам советует беречь деньги, а вы сделали ей неприятность; будто это ничтожная

причина; я уверена, что она от огорчения уехала с кем-нибудь из знакомых на дачу или в деревню.

— Как будто я бросать хотел деньги; я по просьбе Петра Григорьевича взял сорок тысяч. .

— Так за что ж она сердилась? — спросила Софья Васильевна с негодованием, поняв оскорбительный для матери поступок Саломеи.

— А бог ее знает! — отвечал Федор Петрович: — так, я думаю, жалко стало денег.

— Для отца и матери жаль! — произнесла с огорчением Софья Васильевна.

— Я говорил, да что ж делать, уж у ней такой странный характер.

— А сама мотает, бросает деньги! Сколько вы прожили в полгода.

— А бог ее знает, я как-то не люблю считать.

— О, вы чересчур добры, Федор Петрович! вам надо было держать ее в руках.

— Так уж... и сам не знаю как... нет, уж жизнь такая... Я, правда, не привык, да что ж делать, ведь это не в полку.

— Федор Петрович, не разглашайте... она, вероятно, скоро воротится... она, верно, уехала в деревню к Колинским... Конечно, это глупо уезжать не сказавшись, да уж это такой нрав.

— Уж такой нрав, я знаю, — повторил и Федор Петрович. — Я, однакож, пойду домой, может быть она воротилась.

— Я ввечеру к вам приеду, прощайте, Федор Петрович.

Федор Петрович пошел домой; но Саломея еще не возвращалась.

На свободе Федор Петрович закурил трубку, сперва в кабинете, отворив окно; а потом стал с досады, что Саломея Петровна не возвращается,

ходить с трубкой по зале и по гостиной; по всем комнатам разостлались дымные облака.

В десять часов вечера приехала Софья Васильевна, и после вопроса, приехала ли Саломея, ужасно раскашлялась.

— Ах, как вы накурили! — вскричала она: — да это поневоле уйдешь из дому!

— Это так уж от скуки... я ведь совсем не курю, — сказал Федор Петрович и хотел поставить в угол трубку; но, закурившись, он как опьянелый пошатнулся и чуть-чуть не упал.

Софья Васильевна посмотрела на него подозрительно и бог знает что̀ подумала.

— Нет, не могу выносить; это бог знает что̀ за табак! мне дурно!— сказала она и торопливо вышла.

У Федора Петровича кружилась голова, он с трудом добрался до своего кабинета и лег.

Между тем Софья Васильевна приехала домой, открыла мужу тайну, которую она только что узнала.

— Ну, друг мой, не удивляюсь, что Саломея уехала куда-нибудь от мужа!

— Что̀ такое?

— Федор Петрович пьет мертвую чашу!

— Не может быть!

— Приехала я к нему, только вошла, слышу так и разит водкой, по всем комнатам накурено табачищем, а сам он едва на ногах стоит. И бедная Саломея скрывала это несчастие.

— Ну, сама избрала себе горькую долю! а, правду сказать... ну, да нечего и говорить!

— Отчего ж не сказать!

— Э! лучше не спрашивай!

Это был обыкновенный приступ к обвинению Софьи Васильевны; она поняла; но, понимая,

никогда не могла воздержаться, чтоб не высказать, что она поняла, и не убедить мужа, что не дура и всё понимает.

— И не хочу спрашивать, знаю, что у тебя в голове: надо на кого-нибудь свалить всю вину: на кого же свалить как не на меня.

С этого иногда завязывался длинный разговор; Софья Васильевна поднимает из-под спуда всё прошедшее свое горе, повыкопает из могил все прошедшие неприятности и супружеские междоусобия; поставит волос дыбом на голове Петра Григорьевича, расплачется, уйдет и дуется на него несколько дней.

Чтоб убедиться в истине слов Софьи Васильевны насчет Федора Петровича, Петр Григорьевич поехал на другой день к нему и, разумеется, вошел без доклада. В дверях навстречу ему раздались слова Федора Петровича.

— А где ж я возьму теперь! вот возвратится Саломея Петровна, деньги у нее; тотчас же и заплатим.

— О чем дело, Федор Петрович? Здравствуйте!

— Да вот, управляющий домом пришел и требует сейчас же деньги; деньги мои все у Саломеи Петровны; а ее нет дома.

— Господа не беспокоили вас и не требовали денег вперед, — сказал управляющий: — по уверенности, что всё равно у них деньги лежат или у вас; но вдруг пришла необходимость такая в десяти тысячах, так они и просят уплатить за весь год.

— А сколько? — спросил Петр Григорьевич.

— Осемь тысяч пятьсот.

— Но можно подождать, любезный, несколько дней.

— Одного дня, сударь, невозможно, я бы и не беспокоил.

— Что̀ за крайность такая!

— Такая крайность, сударь. Господа убедительно приказали просить сейчас же вручить мне эту сумму.

— Как же быть, деньги спрятаны у Саломеи Петровны; вот возвратится, тотчас же заплатим,— сказал Федор Петрович.

— Когда ж оне изволят, сударь, возвратиться?

— Кто ж вас знал, любезный, что вам вдруг понадобятся деньги,— сказал Петр Григорьевич:— не сидеть же дома да ждать, когда вы за ними придете!

— Притом же нанимала дом сама Саломея Петровна, — прибавил Федор Петрович.

— Ну, да это всё равно, — сказал Петр Григорьевич: — приходи, любезный, завтра поутру.

— Господа приказали просить убедительнейше. . .

— Говорят тебе, приходи завтра, вероятно, дочь моя завтра будет из деревни, — прибавил Петр Григорьевич. — Да всё равно, возвратится или не возвратится, завтра получишь.

— Я доложу господам.

— Прощай! .. Да неужели вы все наличные деньги отдали Саломее?

— До копейки все у нее.

— Какие вы, Федор Петрович; ну, кто отдает капиталы на руки женщине?

— Почему ж я знал, Петр Григорьевич, я не виноват, уж это такая жизнь.

— Где у нее лежат деньги и билеты?

— Она к себе спрятала мой бумажник и шкатулку; верно в бюро.

— Надо послать за слесарем.

Покуда пришел слесарь, Петр Григорьевич и

Федор Петрович, закурив трубки, ходили по комнатам и пыхтели дымом. Если б в это время приехала Софья Васильевна, то подумала бы, что и муж ее подгулял вместе с Федором Петровичем.

Слесарь, наконец, пришел, открыл бюро, открыл все шкафы, шкафики, комоды — нигде и признаку нет каких-нибудь сокровищ, денег, драгоценностей, даже золотых колец.

«Чисто!» — подумал Петр Григорьевич.

— Бог ее знает, куда девала, верно с собой взяла, — сказал Федор Петрович.

— Вероятно! — произнес Петр Григорьевич значительно.

Отправив слесаря, Петр Григорьевич и Федор Петрович сидели в роскошном кабинете Саломеи Петровны на креслах, курили трубки и молчали. Бюро, шкафики, комоды были растворены, раскрыты, как во время сборов в дорогу или укладывания по возвращении с пути.

Надумавшись, Петр Григорьевич сказал:

— Вам надо заложить скорее деревню; хоть эти-то бумаги у вас?

— Кажется, у меня.

Федор Петрович пошел в кабинет и принес купчую.

— Давайте, я сам поеду и обделаю скорее дело. . . Э, батюшки, да это именье продано с переводом долга в опекунский совет! У вас нет никакого свидетельства об уплате долга и процентов?

— Никакого.

— Поздравляю! Да вы совсем не понимаете дела, не заботились о выкупе. Я еду сейчас в опекунский совет; поедемте вместе.

— Сейчас, я только чаю напьюсь, — сказал Федор Петрович.

— Какой тут чай, когда чай пить, мы опоздаем! Едемте! Одевайтесь, пожалуйста, скорее!

Федор Петрович оделся на скорую руку. Поехали. Знакомый Петру Григорьевичу директор велел навести справку, а по справке оказалось, что уплата просрочена и что имение включено уже в список продающихся с публичного торгу: что надо уплатить немедленно же сорок тысяч, или проститься с ним.

У Петра Григорьевича облилось сердце кровью, а Федор Петрович слушал, слушал и по выходе от директора спросил:

— Когда же можно будет получить сорок тысяч, Петр Григорьевич?

— Вы, кажется, слышали, что дело идет не о «получить», а об «уплатить».

— Я не понял, — сказал Федор Петрович.

— Я вижу... извольте ваши бумаги... Вы куда теперь?

— Да куда же? Домой.

— Так прощайте, мне надо ехать по делу.

Петр Григорьевич сел в коляску и поехал; а Федор Петрович отправился пешком домой.



ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

Что̀ ж делается с Саломеей? Грустно описывать.

На утро будочники *преставили* ее в часть, что, дескать, поднята на улице пьяная или больная, бог ведает.

Городской лекарь, молодой человек только-что из академии, призванный для освидетельствования, взглянув на нее, подумал: «Ух, какой славный *субъект!* черты какие, что̀ за белизна, склад какой славный! Жаль, бедная, в сильной горячке.

— В горячке? Так отправить ее поскорей в острог, в лазарет! — сказал Иван Иванович.

— Зачем? — сказал с сожалением лекарь: — я пущу ей кровь, она скоро выздоровеет.

— Нет, уж извините, я здесь горячешных держать не буду.

— Как же можно помещать больную молодую женщину с преступниками!

— А где же, батюшка, прикажете ее держать?

— Да позвольте, я возьму ее к себе на квартиру.

— Как-с, колодницу я отдам вам на руки; она убежит, а я буду отвечать!

— Какая же она колодница; ее подняли на улице, больную...

— Это всё равно, она беглая, беспаспортная.

Молодой лекарь, соболезнуя о Саломее, ничем не убедил Ивана Ивановича; ее отправили в лаза-

рет и положили на нары в ряд с больными бабами, под мрачными, закопченными сводами какого-то подвала, куда проникал свет сквозь железные решетки и потускневшие стекла.

Каждое утро тут обходил тучный медик, кряхтя допрашивал больных и назначал лекарства.

— У тебя что̀, матушка?

— Всё голова болит, ваше благородие, ничего, лучше.

— Голова-то у тебя, верно, похмельная.

— С чего опохмеляться-то, сударь, ишь вы подносите какую настойку!

— Ну, а ты чем больна? Спит! толкни ее под бок.

— Никак нет, это вчера привезли, в горячке, — отвечал фельдшер.

— Не в гнилой ли? — спросил медик, проходя.

После нескольких дней совершенного беспамятства, очнулась Саломея; но голова ее была слаба и чувства не могли дать отчет, где она и что̀ с ней делается.

Бессознательно смотрела она в глаза медику, когда он подошел и спросил ее:

— Ну, ты что̀, матушка?

— Пить, — проговорила она.

— Дай ей той же микстуры, что я прописал вон энтой.

— Ты, мать моя, откуда? — спросила ее соседка, заметив, что она устремила на нее глаза.

— Где я? — тихо произнесла Саломея вместо ответа.

— Где? уж где ж быть, как не в лазарете тюремном. Ты, чай, беглая, аль снесла что̀?

Саломея вскрикнула и впала снова в беспамятство.

Страшная весть как будто перервала болезнь: слабость неподвижная, чувства возвратились, но взор одичал, желчная бледность заменила пыл на щеках Саломеи. Её нельзя было узнать. Она смотрела вокруг себя, боялась повторить вопрос и стонала.

— Уж какая ты беспокойная, мать моя, расстоналась! да перестань! побольнее, чай, тебя, да про себя охаешь!

Саломея замолкла на упреки; но, забываясь снова, стонала.

— Ну ты что̀, матушка? — спрашивал по обычаю медик.

Саломея закрывала глаза и молчала.

— Да что̀, сударь, надоела нам, только ворочается да охает, да обливается слезами.

— Э, что̀ ж ее тут держать, — сказал медик: — на выписку.

— Горячки нет, да слаба еще, — сказал фельдшер.

— Так дни через три.

— О боже, что̀ со мной делается? — вскрикнула Саломея, когда вышел медик.

— Э, голубушка, верно, впервые попала сюда, — проговорила лежавшая с другой стороны баба, которой покровительствовал сторож и принес тайком штофик водки. — Послушай-ко, — тихо произнесла она: — жаль мне тебя, на-ко откушай глоточик, это здоровее будет.

Какой-то внутренний жар пожирал Саломею, ничто не утоляло его, и жажда томила; она готова была пить все, что̀ предлагали ей.

— Э, довольно, довольно, будет с тебя, голубушка, — тихо проговорила баба, — отдернув полуштофик от уст Саломеи.

Она заснула; сон был крепок и долог. Проснувшись, она чувствовала в себе более сил, и какое-то равнодушие ко всему. Но это не долго продолжалось — дума, тоска, страх стали томить ее снова, и снова хотелось забыться, впасть в то же бесчувствие, которым она насладилась, и за которое обязана была соседке.

Просить она не решалась; не могла победить чувства стыда.

В это время какой-то благодетельный купец вошел в лазарет и роздал больным по рукам милостыню.

Саломея получила также на свою долю гривенничек.

— На, тебе, голубушка, моли бога о здравии Кирилы и Ирины...

Саломея содрогнулась.

«Я нищая!» — подумала она, и не знала, чем убить горделивое чувство самосознания.

— Послушай-ко, сложимся на кварту, — сказала ей соседка.

Саломея молча отдала ей гривенник.

Через несколько дней фельдшер пришел со списком выписываемых из лазарета.

— Ну, убирайся, выходи! — сказал он, подходя к Саломее, которая в это время забылась тихим сном.

— Куда? — проговорила она очнувшись.

— Куда? на волю, — отвечал с усмешкой фельдшер.

— Я не могу, я еще слаба...

— Ну, ну, ну! не разговаривай! вам тут ладно лежать-то, нечего делать — ну!

Саломея с испугом вскочила с нар.

В числе прочих выписанных колодников ее вы-

вели на двор. Смотритель тюрьмы стал всех принимать по списку.

— А это что̀ ж без имени? Как тебя зовут? ты!

— Я... не помню...— проговорила Саломея дрожащим голосом, и на бледном ее лице показался румянец стыда и оскорбленного чувства.

— Ты откуда?

— Не помню,— отвечала Саломея, смотря в землю.

— Экая память! ха, ха, ха, ха! Постой, я припомню тебе!

— А за что̀ ты попала сюда?

— Я сама не знаю!

Слезы хлынули из глаз ее.

Смотритель посмотрел и, казалось, сжалился.

— Гони их покуда в общую. Постой! отправить к городничему двух их беспаспортных на стирку; да нет ли из вас мастерицы шить белье тонкое?

Все промолчали; Саломея хотела вызваться, ей страшно было оставаться в тюрьме; но унижение быть работницей показалось еще ужаснее.

— Да! прочие-то пусть стирают здесь колодничье белье.

Саломея содрогнулась.

— Я могу шить,— произнесла торопливо она.

— Что̀ ж ты молчала? — спросил смотритель:— так отправить ее к городничему.

Солдат повел Саломею вместе с другой женщиной. Проходя по улицам, она закрыла лицо рукой; ей казалось, что все проходящие узнают ее, останавливаются и рассуждают между собой о ней, без всякого сожаления, смеются, называют беглой. Смятение в душе Саломеи страшно; но унижение не в силах побороть спесивых чувств; вместо

смирения они раздражаются, вместо молитвы к богу, клянут судьбу.

Без сознания высшей воли над собой и без покорности человек — зверь.

Саломею привели на кухню к городничему.

— Вот, смотритель прислал двух баб, для стирки, — сказал солдатик кухарке.

— Ладно, — отвечала она.

— Кому ж сдать-то их?

— А кому, сам оставайся; я их стеречь не стану.

— Сам оставайся! у меня чай не одни эти на руках; у вас тут свои сторожа есть.

— Конечно, про тебя; вестовой-то, то туда, то сюда, дровец наколоть, воды принести... есть ему время!

— А мне-то что̀! извольте вот доложить, что я привел двух баб.

— Так подождешь! помоги-ко лахань вынести.

— Как бы не так! сейчас понесу, держи карман!

— Ах, ты, тюремная крыса! .. Неси-ко, мать моя, со мной, — сказала кухарка, обратясь к Саломее... — Ну, что̀ ж ты?

— Я, моя милая, не для черной работы прислана! — отвечала вспыльчиво Саломея, бросив презрительный взгляд на кухарку.

— Ах, ты, поскудная! тебя в гости что̀ ли звали сюда?

— Солдат, запрети этой твари говорить дерзости! — вскричала Саломея, дрожа от гнева.

Вызванный на покровительство солдат приосанился.

— Да, — сказал он, — не смей бранить ее! я не позволю! вишь, взялась какая!

— Поди-ко-сь, посмотрю я на тебя! пьфу!

— Ах, ты, грязная кухня!

— Как ты смеешь браниться, гарниза, свинопас! вот я барину скажу, он тебя отдует!

— За тебя? падаль проклятая! нет, погоди!

— Так и шваркну мокрой мочалкой! — крикнула кухарка.

— Попробуй! — сказал солдат, наступая на нее.

— Разбойник! — вскрикнула кухарка и, швырнув в лицо солдату мочалку, выбежала из кухни во внутренние покои. Вслед за ней полетела скалка.

Солдат не успел еще притти в себя от нанесенной ему обиды, как вошел в кухню городничий, человек лет за тридцать не более, простой наружности, но взрачный собою, в отставном егерском мундире, перетянутом и гладенько сидящем. По всему было видно, что щегольство ему еще в новость, что душа его еще не погуляла вдоволь, глаза не насмотрелись. Поступив на службу, он очень счастливо был ранен, и только в бытность в Яссах для излечения раны начал пользоваться жизнью и вкушать ее блага. Он стоял на квартире у куконы Катиньки, вдовствующей после двух мужей капитана де-почт и капитана де-тырк. Кукона Катинька, еще в кампанию 1810 года полюбила русских офицеров, учила их по-молдавански и сама выучилась по-русски. Соболезнуя о раненом постояльце своем, она посылала к нему почти всякий день разных *дульчецов* и *плоцинд*, [1] то с бараниной, то с миндалем на меду. Это заочное участие породило в благородном сердце, еще не испытавшем любви, какое-то особенное, нежное чувство. Молодой штабс-капитан Щепиков начал мечтать о благодетельной фее и беседовать о ней с старой Фатой, которая приходила с подносом сластей и говорила:

[1] Сладостей и пирожков.

— *Пуфтим боэрь*, куконица прислала узнать о здоровье. [1]

— Очень благодарен куконице; здорова ли куконица? [2]

— *Сэнатос, сэнатос! Слава луй домнодзеў.* [3]

— А что̀, хорошенькая куконица? [4] — спросил, наконец, штабс-капитан.

— *А! таре формоз! таре бун!* [5]

Штабс-капитан понимал, что это значит «очень хороша, очень добра».

Когда ему можно было уже прогуливаться по комнате, куконица часто являлась на бельведере крыльца. Сначала он испугался ее *доброты*, но скоро привык. Румяное, полное лицо, черные глаза под густыми бровями, черные как смоль косы, перевитые на голове с жгутом шитого золотом кисейного платка с золотой бахромой, бархатная на горностаях кацавейка, словом, все пленило его. При первой возможности натянуть на плечи мундир, наш штабс-капитан явился к куконе Катиньке с подвязанною рукою и с благодарностью за ее внимание и ласки. Кукона Катинька усадила его на широкий диван, немедленно же вынесли на подносах ликер, дульчец, кафэ и длинную трубку. Щепиков не мог отговориться от убедительного *пуфтим*, [6] и очень был счастлив.

Кукона Катинька объявила ему, что она не позволит, чтоб он имел свой стол, и предложила обедать вместе с ней. Послеобеда и вечера проводились

[1] Пожалуйста, сударь, барыня прислала узнать о здоровье.
[2] Очень благодарен барыне; здорова ли барыня?
[3] Здорова, здорова! слава богу!
[4] А что, хорошенькая барыня?
[5] А! Очень красива, очень хороша.
[6] Пожалуйста.

очень занимательно; постоялец и хозяйка играли в карты, в кончину. После трудов службы, после болезни и тоски уединения, это жирное препровождение времени показалось Щепикову высочайшим благом; он так привык к куконице Катиньке, к ее угощениям и к ее заботам о себе, что когда война кончилась, войска возвращались в матушку Россию, и ему следовало расставаться с негой жизни, он пришел в отчаяние. Кукона Катинька также в отчаянии сказала, что она умрет без него. Этого нельзя было перенести. Щепиков предложил ей руку — женился. На другой день свадьбы привезли с хутора трех куконашей и куконицу.

— Сундулаки, Петраки, Иордаки, Зоица, целуйте своего папеньку, — сказала кукона Катинька, подводя детей к молодому своему супругу.

— *Чи есть аста?* [1] — крикнул он с удивлением по-молдавански.

— Это мои, — сказала радостно кукона Катинька, гладя по голове Сандулаки, Петраки, Иордаки и Зоицу.

— Ты мне не сказала, — проговорил Щепиков запинаясь.

— Ты шутишь верно, как будто ты не знал, — отвечала кукона Катинька.

— Ей-богу не знал!

— Какой ты смешной! Как же мне не иметь детей, когда я была замужем за куконом Тодораки, а потом за куконом Семфераки, — сказала нежно кукона Катинька.

— Право не знал!

— Как же, вот они.

[1] Что это?

Щепиков приласкал Сандулаки, Петраки, Иордаки и Зоицу, которые смотрели на него исподлобья.

Таким образом, не думая, не гадая, обработав без забот и хлопот свои дела, Щепиков сперва в дополнение упрочения своей будущности подал в отставку, а потом, продав хутор и дом, отправился с огромным семейством в Россию, очень важно: он и супруга в венской будке, а все дети и люди в брашеванке. После походных путешествий с полком, ему это действительно казалось очень важно, только воздух окружающей его атмосферы как будто стал тяжелее для дыхания, да как будто Катерина Юрьевна, сиречь кукона Катинька, держала его за хвост, чтоб не ушел. Щепиков привык ходить тихим, скорым и вольным шагом; но куконе Катиньке и тихий солдатский шаг был непомерно скор; она поминутно вскрикивала:

— Куда ж ты торопишься? Я не могу так скоро ходить!

— Ах, боже мой, — говорил Щепиков: — да как же мне еще итти?

Щепиков ехал в Россию. Но куда ж он ехал в Россию? У Щепикова ни в границах России, ни за границей не было ни роду, ни племени, ни кола, ни двора, ни тычинки. Отец его также был не что иное, как полковой походный человек, на походе женился, на походе родил его, на походе вскормил, записал в полк, и в заключение на походе похоронил жену и сам умер, предоставив дальнейший поход совершать сыну и благословив его служить верой и правдой.

Катерина Юрьевна, судя по молдавским капитанам, никак не воображала, чтоб у русского капитана не было какой-нибудь *мошии с куртебоя-*

реск, с огромной *градиной*, с толпой *служиторов*,[1] со всем хозяйством, со всеми принадлежностями. Мысленно представляла она себе, что за отсутствием хозяина управляет этой мошией какой-нибудь ватаман, что все в беспорядке и она приведет в порядок.

Желая подарить себя внезапностью своих ожиданий, кукона Катинька не расспрашивала своего мужа о его именье, ни как велико оно, ни в каких палестинах обретается. Но после долгого пути по России она, наконец, утомилась и спросила: да скоро ли же мы приедем?

— А вот постой, душа моя, приедем, — отвечал Щепиков, обдумывая куда ему приехать: в Тверь ли, где была некогда полковая квартира полка, в котором служил папенька, или в Подольск, где была полковая квартира полка, в котором сам служил. Подольск, по некоторым приятным воспоминаниям, был предпочтен родине, — и вот приехали, остановились в гостинице.

— Ах, как надоела дорога! — сказала Катерина Юрьевна, вылезая из будки: — да скоро ли мы доедем?

— Приехали, — отвечал Щепиков торжественно, думая обрадовать свою супругу постоянной квартирой.

— Как приехали? Это гостиница.

— Гостиница; мы в гостинице остановимся, покуда наймем квартиру.

— Квартиру? как квартиру? да зачем же квартиру?

— А как же, мы здесь будет жить; это прекрасивый город.

[1] Имение с барским двором, с огромным огородом, с толпой слуг.

— У тебя хутор или имение здесь подле города?
— Какое имение? нет, имения нет.
— Да что̀ ж тут такое?
— Ничего, просто город.
— Да зачем же мы будем жить в нем?
— Как зачем? так, где ж жить-то?
— Так у тебя нет имения?
— Какое ж имение, кто ж тебе сказал, что у меня имение?

Катерина Юрьевна точно так же удивилась неименью даже собственного хутора, как Щепиков удивился явлению Сандулаки, Петраки, Иордаки и Зоицы.

— Что̀ ж мы будем здесь делать? — вскричала она.

— Как что̀? жить будем.
— Да для чего ж мы здесь жить будем?
— Как для чего? я тебя не понимаю.
— Да что̀ ж у тебя тут есть своего? зачем мы сюда приехали? Отец и мать, что̀ ли, есть, или родные?
— Нет, тут родных у меня нет.
— Да где ж они?
— Родных у меня нет.
— Что̀ ж у тебя есть-то?
— Как что̀? я тебя не понимаю.
— Сароку ди мини![1] — вскричала Катерина Юрьевна, — ничего и никого нет! Да что̀ ж ты такое?
— Как что́, Катинька, я тебя не понимаю.
— Цыган, что̀ ли, ты? землянки своей нет! Сароку ди мини!

Щепиков задумался было: что̀ ж он в самом деле

[1] Бедная я.

такое? Но когда Катерина Юрьевна назвала его цыганом, он обиделся, надулся и вскрикнул:

— Извините-с, я не цыган, а офицер, капитан.

— Только-то? что̀ ж из этого? ну, капитан, где ж у тебя капитанство-то? а?

— Как где?

— Да, покажи мне его?

— Извольте-с! — сказал Щепиков откашлянувшись: — извольте-с!

И он полез в карман, достал портфель и, вынув лист бумаги, подал его своей супруге.

— Извольте-с!

— Это что̀ такое?

— Указ об отставке.

— Только? только-то у тебя и есть за душой?

— Чего ж больше?

— Сароку ди мини! зачем я поехала? дом и хутор съедим: что̀ мы будем потом есть?

Щепиков призадумался было опять, смотря на отчаяние своей жены; но когда она опять раздосадовала его, повторяя тысячу раз: что̀ мы будем есть.

— Ешьте меня! — вскричал он, наконец, в сердцах и ушел проходиться с горя по городу и насладиться воспоминанием; но город как будто опустел; та же улица, вымощенная плитняком и как будто встряхнутая землетрясением, те же дома, да что́-то всё не то, что̀ было. Подле города тот же крутой берег, долины, каменоломни, лесок на горе, да что̀-то всё не так мило, как бывало.

— В самом деле, зачем мы приехали сюда? — спросил сам себя Щепиков: — да куда ж ехать-то?

Не привыкнув управляться сам собою и не зная, что̀ с собой делать, отставной капитан стал тосковать по полку своем как по родине; вне полка всё ему было чуждо. Там не было забот, не о чем было

задуматься: что̀ велели и как велели — исполнял и прав; посереди постоянных занятий как-то не скучалось: то на смотр, то на ученье, то в караул; а радость-то, радость какая на душе, когда всё пригнано, выравнено, всё чисто исправно, шаг ровный и твердый, выправка—загляденье, темп—заслушаешься; а как грянет «спасибо, ребята!» — в сердце так и закипит сладостное чувство. «Что̀, брат, каково?» — скажешь товарищу. — Славно, брат! пойдем обедать. — «Нет, брат, есть не хочется». — И до еды ли, когда душа сыта удовольствием, всё сошло с рук благополучно, генерал доволен и благодарил, и полковой командир сказал только: «в третьей шеренге слева четвертый сбился с ноги! во всем взводе заметно колебанье! . .»

Теперь же что̀ делать Щепикову с женой и с четырьмя детьми своих предшественников на брачном ложе, с Сандулаки, Петраки, Иордаки и Зоицей? Начал было он их учить становиться во фронт и по слову налево кругом делать, да такие увальни, что ужасть, толку не добьешься; а наказывать Катерина Юрьевна не позволяет.

После долгих дум и частых упреков жены, Щепиков набрел на мысль: просить о назначении куда-нибудь в городничие. В добрый час подал просьбу, долго не было ответа; Катерина Юрьевна девять сот девяносто девять раз повторяла уже:

— Ну, как это можно, чтоб тебя назначили *капитаном де-тырк*, статочное ли это дело! Кукон Семфераки, бывши капитаном де-тырк, нажил дом, хутор, да две деревни имел на поселии, — где ж тебе такое счастье?

Только что произнесла в тысячный раз эти слова с разными подробностями Катерина Юрьевна, как вдруг с почты конверт о назначении Щепикова

городничим некоего уездного града. Хотя Катерина Юрьевна вдвойне была тяжела, но вспрыгнула от радости.

— Что? — сказал Щепиков.

— Да! — отвечала она, и тотчас же начала сбираться в дорогу.

И вот, Щепиков — городничий. Сшил себе новый отставной мундир вперетяжку, купил шляпу с раскидистым пером, приколотил сам к сапогам шпоры, и защеголял. Катерина Юрьевна не в первый раз за капитаном де-тырк, и потому завела кое-какие молдаванские порядки в отношении снаряжения дома и снабжения его всем бесспорно необходимым, и наставляла мужа, как ему обделывать свои дела и по службе и по дружбе; но держала его в руках; он мог как душе угодно важничать; но ухаживать и любезничать — избави боже! Катерина Юрьевна знала каждый его шаг. С почтенными дамами дозволялось ему садиться рядом и беседовать; но чуть помоложе, даже с наружностью оттиснутой на̀-черно, Катерина Юрьевна подымала дым коромыслом.

— Вижу, вижу, что̀ это значит, к чему это ведет! Шашни! да я не дура! — нередко случалось слышать Щепикову.

— Помилуй, душа моя, с чего это ты взяла? — восклицал он.

— И не говори! Если еще что̀-нибудь замечу, и тебя осрамлю и ее.

Таким образом природная любезность Щепикова с женским полом была на привязи. Смерть бы хотелось иногда бросить пленительный взгляд, сказать сладкую речь, словом, приволокнуться, да того и глядя, что жена увидит, заметит, узнает и сочинит целую историю.

Ужасно как горестно вздыхал Щепиков, что ни на ком нельзя было изострить своего сердца, притупившегося об жесткую, подозрительную любовь Катерины Юрьевны.

Бо̀льшая часть смертных так уж устроена: чего не велят, чего нельзя, об том и тоска. Казалось бы чего еще Щепикову: кукона Катинька такая *добрая,* что из нее можно было выкроить по крайней мере трех существ субтильных, пару худощавых и на придачу одно существо сухопарое. Одной косы ее достало бы на дюжину головок светских, не нуждающихся в привязных косах и накладных локонах, и на другую дюжину головок, у которых вместо кос мышиные хвостики, а локоны так жидки, как борода Конфуция.

При таком-то благосостоянии и богатстве телесного здравия супруги своей, Щепиков вздыхал часто о существах худеньких, жиденьких и нуждающихся в здоровье и в вате.

Когда по жалобе кухарки Щепиков вышел в кухню, наружность Саломеи, несмотря на крестьянскую одежду, так его поразила, что он, собравшись было прикрикнуть: «Как ты смел драться?» крикнул только: — Как! ты это ко мне привел для стирки?

— Так точно, ваше высокоблагородие, — отвечал солдатик.

— Пришел, да и начал ругаться такими пакостными словами, — прокричала кухарка.

— Как это можно?

— Никак нет, ваше высокоблагородие, сама она. . . я говорю, что, дескать, вот я привел к его высокоблагородию двух баб для стирки. . .

— Я не люблю, чтоб у меня ругались, слышишь?

— Кто? я не ругала его?

— А как же? я говорю, вот я привел к' его высокоблагородию двух баб для стирки...

— Тебя как зовут, моя милая? — спросил Щепиков, подходя к Саломее.

Саломея вспыхнула, опустила глаза в землю и молчала.

«Какая стыдливость, скромность, приятность в лице, — подумал Щепиков, — это удивительно!» — Что̀ ж ты не отвечаешь, моя милая? За что̀ ты содержишься?

Саломея вздохнула глубоко, но ничего не отвечала.

— Говори откровенно, не бойся.

— Не могу... — проговорила тихо Саломея, окинув взорами направо и налево.

— «А! понимаю!» — подумал Щепиков. — Ты, моя милая.. — начал было он снова, но за дверьми раздалось: «Палагея!» Щепиков вздрогнул и как по флигельману [1] быстро обратился к солдату и проговорил: — Да, хорошо, так ты ступай!

И с этими словами исчез.

— Куда ж итти? — спросил солдатик у кухарки.

— А я почему знаю? — отвечала она.

— А тебе-то как не знать, ведь ты здешняя.

— То̀-то здешняя, а давича ругаться?

— Вот уж и ругаться; так к слову пришлось.

— То̀-то к слову.

— Дай брат, кухарочка, напиться.

— И то сказать, слово на вороту не виснет. Что̀ тебе, квасу, что̀ ль? Садитесь, бабы.

— Хоть кваску, утолить тоску. Ай, спасибо! вот теперь вижу, что крещеная. А что̀, пойдешь

[1] Флигельман — фланговый солдат, сигнализирующий исполнение команды; по флигельману — по команде.

за̀муж? — сказал солдат и, отставив ножку, он затянул шопотко̀м, отбивая рукой такт, как запевало:

Вый-ди за-а-муж за-а-меня-а.
За свицка-а-ва ка-а-раля-а...

— Тс! что̀ ты распелся!

А не вы-ый-дешь за-а-меня-а...

— Авдотья, которая швея-то? — спросила кухарку старая служанка, высунув голову в двери.

— А вот она; ступай, голубушка, в девичью.

— Не в девичью, в светелке барыня приказала посадить ее. Ты и мужские рубашки умеешь шить?

Что́ отвечала на это Саломея, не слыхать было за затворенными дверьми.

II

Теперь мы можем обратиться к Дмитрицкому, проведать, что̀ он делал с тех пор как расстался с Саломеей и исчез, предоставив ее покровительству всех языческих богов.

Как он кончил этот день, не ведаем. Ночь была темная, не астрономическая, немножко прохладная, роса пала на землю; но несмотря на это, Дмитрицкий, вероятно, наслаждаясь ночной красотой киевской природы, лежал на траве, на вершине горы над Крещатиком, и бурчал, проводя рукой по лицу, по шерсти и против шерсти, или, как делают маленьким детям, приговаривая: «вот эта дорога в Питер, а это из Питера». Эта экзерциция продолжалась до самого рассвета; тогда только для разнообразия он раскидывал ноги, барабанил ими по скату и повторял губами звук: бррр! и посвистывал. Наконец, как будто вдруг очнувшись, приподнялся и крикнул: — Эй ты, свинья темная, куда ушла? — По-

том оглянулся на восток и, смотря на восходящее солнце, поклонился ему: — А, здорово! мое почтение! что̀, видишь, каков я? чай удивительно, что̀, дескать, сделалось с Дмитрицким: поднялся до̀свету, натощак прогуливается, да посвистывает себе? Ничего не сделалось... Просто маленькая перемена в обстоятельствах. Помнишь, какой богач был Дмитрицкий? а? помнишь? Фть! преданье старины глубокой! Давно, очень давно это было: вчера! целая ночь прошла с тех пор, добрые люди легли и выспались; а я поклоняюсь восходящему солнцу, как... как бишь его?.. Это что́-нибудь да значит! Пьфу! ничего не значит, просто спать не хочется, нездоровится: карман переполнил, стошнилось... А всему причиной Саломея Петровна, скверная баба, нельзя было не взять в руки, разорила бы всех... по крайней мере, цель действий возвышенная... А вот этот, грабе Черномский... грабитель, мошенник, низкая душа, шулер!.. уа! Экой мерзавец, напустил на меня своих собак, — оборвали! совершенно опустел... и тут пусто, и тут пусто. И желудок-то глупой какой: вчера, когда я мог дать ему обед на тысячу персон — нет! покорно благодарю, нет аппетиту, а сегодня: пожалуйте чего-нибудь закусить; — а где, брат, взять! Дурак ты, вот и всё, молчи! Не хочешь ли похлебать свежего воздуху? не сытно? ну, так еловых шишек, вон там их много! Нет? ну, так честь приложена, а от убытку бог избавил. Чем же теперь заняться поприятнее?.. погулять по берегу Днепра? пойдем... Гуляй сколько душе угодно. Иной бы отдал по крайней мере половину имения за эту свободу, за здоровье, за этот желудок, который просит есть... а мне они ни по чем. Не знаешь, куда деться с этим семейством: воля просит денег, желу-

док пищи, здоровье просит чорт знает чего: где ж мне взять, я не казначей, не провиантмейстер и не фактор... Нет, здесь скучно гулять, пойдем ходить по городу... Э, да как славно эта жирная свинья испивает чай! как привольно расположился в халате у окна, — набил за обе щеки хлеба с маслом и чавкает себе, ни о чем не думая.

— Чего тебе, любезный? — спросил толстый господин у окна, против которого Дмитрицкий остановился и рассуждал вслух.

— Ничего, — отвечал Дмитрицкий: — мне хотелось посмотреть, как вы пьете чай.

— Мерзавец какой! — пробормотал про себя толстый господин, вставая с места и отходя от окна.

— Мерзавец какой! — сказал Дмитрицкий вслух: — ни на грош нет не только что восточного, даже и русского гостеприимства!.. Не следовало ли ему сказать: не угодно ли, милостивый государь, чашечку? Чашка чаю шелега не сто́ит, а я бы помолился, чтоб бог послал ему за нее несчетные сокровища... Пойдем далее, что̀ там есть?

Долго ходив по городу, Дмитрицкий остановился против одного двухэтажного с колоннами дома; архитектура дома, казалось, ему очень понравилась.

— Желательно знать, — сказал он, — человек или животное живет в этом доме? Войдем-ко. Послушай, брат, чей это дом?

— Казинецкого, — отвечал слуга, вышедший из передней.

— Григория Петровича?

— Никак нет, Ивана Львовича.

— Да, да, да! Иван Львович, я его-то и ищу. Доложи-ко, у меня есть дело до барина твоего.

— Какое?

— Казусное.

— Да барин теперь кушать изволит: едет в деревню.

— Мне ждать, любезный, некогда, мне нужно только слово сказать.

Человек пошел докладывать и вскоре воротился и сказал:

— Пожалуйте.

В зале целая семья сидела за столом в дорожном платье. Осанистый, важный господин встал из-за стола, встретил Дмитрицкого у входа и, осмотрев его с головы до ног, спросил:

— Что̀ угодно?

Дмитрицкий поклонился подобострастно и начал причитать:

— Наслышавшись о вашем великодушии и изливаемых благодеяниях на всех несчастных, угнетаемых судьбою; зная, что сердце ваше отверзто, а душа открыта для блага человечества; что ваша рука изливает щедроты, а чувства преисполнены милосердием, я осмелился прибегнуть к стопам вашим и просить о помощи... Заставьте несчастного отца, отягченного огромным семейством и умирающего с голоду, молить бога о ниспослании вам...

— Любезный друг, — отвечал барин не дав кончить рацеи: — чем шататься по дворам да просить милостыню, лучше бы ты принялся за какое-нибудь дело да честным образом добывал хлеб.

Дмитрицкий низко поклонился.

— Извините, что побеспокоил; я бы и не осмелился, да иду мимо, вижу такой прекрасный дом, только что построен, чудо, думаю, если уж дом такой, что̀ ж должен быть хозяин... удивительный дом!

— Ха ха, ха! понравился.

— Ужасно! если б только не колонны... совершенно лишние! Ей-богу, я бы советовал прочь их.

— Не нуждаюсь, любезный, ни в чьих советах! — сказал барин.

— Да и я также ни в чьих советах не нуждаюсь; чорта ли в советах мне в ваших, а вам в моих; я только так к слову сказал о колоннах, иду да думаю: к чему эта глупая подпора? что̀ эти столбы поддерживают? Ничего, так себе стоят... от хозяина также нечего ожидать подпоры... задумался, да и зашел. Извините, что побеспокоил!

С этими словами Дмитрицкий поклонился — и в двери.

— Ну, теперь куда? — спросил он сам себя: — постой-ко, пойду к игрецкому атаману Черномскому: вчера он так изливался в дружбе ко мне и от чистого сердца почти заплакал, когда я проигрался шайке его. Я даже уверен, что ему жаль было меня; уж это такая каналья: будет резать, проливая слезы: «Господи, скажет, я хотел только легонько уколоть в бок, а кинжал попал прямо в сердце! Какой несчастный случай!» Это уж такая каналья!.. Вот посмотрим, что̀ он скажет теперь?

Дмитрицкий вошел в гостиницу, где стоял грабе Черномский. В коридоре спросил он у фактора, дома ли он.

— А дома же, дома, пане; сейчас посылал Иозку искать себе нового слугу: его Матеуш заболел.

Дмитрицкий, не слушая жида, пошел к номеру, занимаемому Черномским, и постучал в двери.

— А цо там еще?

— Я, пане грабе.

— Почекай.

Спустя несколько секунд Черномский отворил двери и удивился, увидев Дмитрицкого.

— Пан Дмитрицкий!

— Я, пан.

— Что̀ пану угодно?

— Ничего, пан, так, в гости пришел.

— Пан меня извинит, мне нужно итти из дому, — сказал Черномский, стоя в дверях.

— Нет, не извиню, пан; потому что мне хочется чего-нибудь пофриштикать.

— Столовая, пан, не здесь, на том конце коридора.

— Знаю я где она; да ведь я не в трактир к пану и пришел.

— Но... и у меня, пане, не трактир.

— Знаю, знаю, пан; потому-то я без церемоний и пришел; есть ужасно хочется; иду, да думаю: где же мне поесть? Ба! да ведь у меня есть друг, пан грабе Черномский! он мне удружил, так верно и накормит с удовольствием, и прямо к пану.

— На хлебах, пане, я держу только своего слугу.

— И прекрасно, если на словах и на письме можно иметь честь быть покорнейшим слугою пана, отчего ж не на деле? Что̀ за унижение?

— У меня слуги по найму, пане.

— Что̀ ж такое, я пожалуй и наймусь, у меня уж такой обычай: пан или пропал; вчера я был пан, а сегодня пропал; судьба разжаловала из пана в хама, что̀ за беда. Ей-богу, я наймусь, холопская должность мне не новость.

— А где ж пан служил холопом?

— Сам у себя; а ведь я строгий был господин; избави бог худо вычистить сапоги, или платье, или даже туго трубку наложить, тотчас в рожу, не по-

смотрю, что она моя собственная. А за верность поручусь: мало ли у меня было тайн на руках. И не пьяница — пьяным меня никто от роду не видал; и не вор, избави бог на чужое добро руку наложить.

Черномский, прислонившись к стене, заложив ногу на ногу и поглаживая рукой подбородок, слушал, прехладнокровно улыбаясь и не сводя глаз с Дмитрицкого.

«Лихой каналья, — думал он: — из него может выйти чудный подмастерье».

— Пан не шутит? — спросил он, наконец, серьезно.

— Ей-ей, нет!

— Так мне нужен слуга; мой Матеуш заболел; а мне надо сегодня же непременно ехать.

— Куда угодно, ясновельможный мосци пане грабе.

— А что̀ пан требует в месяц за службу свою?

— Из хлебов, пан, за деньги я не служу. Деньги — чорт с ними, деньги подлая вещь, у меня же карман с дырой, что̀ ни положи, все провалится; а потому я кладу деньги на карту и спускаю их в чужие карманы. Пан знает об этом, нечего и говорить.

«Лихой каналья, жалко с ним расстаться, — думал Черномский: — боюсь только. . .»

— Если пан хочет мне верно служить, у нас будут свои условия, и вот какие: мне уж скоро под шестьдесят, пора на покой. Год еще употреблю на приведение моих дел к концу, куплю имение и если пан хочет быть мне слугой и правой рукой, то в вознаграждение я передам пану секрет мой. . . понимаешь, пан?

— Понимаю.

— Так по рукам, клятву, что будешь мой, и ни шагу от меня!

— И рука и клятва: чтоб черти распластали на мелкие части, а волки кости обглодали, если я с паном расстанусь.

— Ну, с сего часу будь Матеуш; уж я привык к этому имени.

— Матеуш, так Матеуш.

— Ну, Матеуш, ступай теперь, обедай на мой счет, а после обеда за почтовыми лошадьми по дороге на Минск, чрез Могилев.

— Слушаю, вельможный пане, пообедаю, а потом за лошадьми: подорожная есть, или без подорожной?

— Разумеется, подорожная, как же можно без подорожной.

— Ка̀к, как можно? Да, ведь, я думаю, пан и по подорожной двойные прогоны везде платит?

— Не только двойные, — тройные: куда ни приезжай, нигде почтовых лошадей за *одинакие прогоны* нет.

— Так подорожная лишний расход; без подорожной пан нигде не заплатит тройных прогонов.

— Нет, с подорожной всё-таки несколько важнее.

— А! конечно, без всякого сомнения.

— Ступай же, Матеуш, вот подорожная, а я пойду обедать к одному приятелю; в четыре часа мы едем.

— Добже, пане!

Дмитрицкий отправился в буфет и потребовал себе обедать на счет Черномского, объявив, что он новый камердинер его сиятельства; после обеда побежал с подорожной на почту.

Когда Черномский возвратился к четырем часам,

почтовые лошади были уже запряжены в его коляску, а Дмитрицкий-Матеуш сидел в коридоре в ожидании своего господина и разговаривал с моломоденькой гардеробянкой одной проезжей паньи.

— Ну, скорее укладываться! Матеуш, выноси сундук и ларец.

— Мигом, пане.

И в самом деле, Дмитрицкий, как будто *урожоный* хлопец, так был расторопен, предупредителен, догадлив, исполнителен по части камердинера, что пан Черномский не мог надивиться. Уложил, доложил, подсадил своего господина в коляску, захлопнул дверцы, вскричал: «Пошел!», вскочил на козлы, засел и, в дополнение, снял шапку и перекрестился; словом, лихой и благочестивый слуга.

На станциях хлопотал, чтоб скорее запрягали лошадей его сиятельству, сам помогал ямщикам запрягать, прикрикивая: «Живо, живо!», и все, как будто возбуждаемые примером его, суетились. Подъезжая к станции, Дмитрицкий-Матеуш, как будто бог знает с кем едет, соскочит с козел и, не отдавая еще подорожную, начнет толкать ротозеев ямщиков, чтоб скорей отпрягали, прикрикнет потихоньку: «Шапку долой!» Смотришь, ямщики, сбросив шапки, заходят, побегут за лошадьми, смотритель струсит, и тогда только осмелится спросить подорожную, когда Дмитрицкий крикнет: «Готово, ваше сиятельство!»

Черномский, несмотря на свои лета, растет от уважения, которое во всех возбуждает к нему его новый камердинер. Выходя из коляски или садясь в коляску, он уже не может ступить без того, чтоб его не вели под руки.

— Ну, что̀ ж ты думаешь! — шепнет повелительно Дмитрицкий на смотрителя; и смотритель,

оторопев, также подхватит его сиятельство под руку с другой стороны.

Приехали в местечко Гомель близ вечера, остановились близ станции подле корчмы.

— Матеуш, — сказал Черномский: — я пробуду с час у моего приятеля, чтоб лошади были готовы.

— Добже, пане грабе.

Черномский пошел к приятелю, а Дмитрицкий, в ожидании его возвращения, прохаживался на улице подле коляски.

— Чорт знает, где эту рожу я видал, рассуждал он сам с собою. Иногда такую знакомую гримасу сделает ртом, таким проговорит голосом, что мне кажется я вижу и слышу не Черномского, а кого-то другого... припомнить не могу!

Желание допытать свою память так заняло Дмитрицкого, что он не заметил, как прошел час, другой, совершенно уже смерклось, настала ночь; а Черномского нет; наконец, раздался его голос издали:

— Гей! Матеуш!

«Вот, вот, знакомый голос, совсем не его!..» — Здесь, пане грабе.

— Да ходь же скоро, свинья!

— Э, брат! — проговорил Дмитрицкий: — о-го! Что̀ пану потребно?

— Ну!

Дмитрицкий догадался, что надо вести пана грабе; он шел нетвердым шагом.

— Пан уж не поедет сегодня?

— Хм! пан поедет по̀-ночи! — отвечал Черномский, переступая через порог и сбрасывая с головы картуз вместе с париком... Ну, раздевай! халат!

— Э, брат!.. Халат в сундуке, пан не велел выносить вещей из коляски.

— Як не велел? свинья не велела... ну!

— Я сейчас принесу важи, — сказал Дмитрицкий: — садись пан.

— Ну! — повторил нетерпеливо Черномский, сбрасывая с себя пальтò. Мутные глаза его слипались; он был бледен и едва мог сидеть.

— Скоро ли поедем? — спросил ямщик.

— Когда поедем, тогда и поедем; за простой заплатят.

— Да я бы лошадям корму дал.

— Ну, давай.

Дмитрицкий внес важи и подушки.

Черномский обыкновенно отпирал сундук и вынимал из него чтò нужно; он не вверял ключ никому из слуг. На ночь сундук ставился в головах у него; под подушку клал он всегда на всякой случай пару заряженных пистолетов.

— Не угодно ли пану отпереть сундук, — сказал Дмитрицкий, поставив его на стул подле дивана.

— Ну, держи! — отвечал Черномский, стараясь наклониться, чтоб отпереть замòк ключом, который у него был на цепочке; но наклониться никак не мог, его качало во все стороны.

— Ну! — повторил он, — держи! — скинул с себя цепочку и долго метил, бранясь, но никак не мог попасть в скважину, а, наконец, повалился на диван и начал стонать с каким-то диким бредом.

— Яне! пить!.. аттанде! я зàбью тэго пшеклянэго хлапа! пить, пане!

— Чорт знает, у него белая горячка! — сказал Дмитрицкий, перерывая в чемодане: — чорт знает, чего тут нет!.. рыжий парик! шкатулка с чем-то... тяжела!

— Пить! — вскричал снова Черномский.

Дмитрицкий пошел в хозяйскую, взял кружку воды и поднес ему, приподняв его немного.

Черномский с жаждою глотал воду; рот его влез с усами в широкую кружку. Напившись, повалился он снова без памяти на подушку, провел кулаком под носом и стер себе один ус на щеку — другой слез на нижнюю губу; он отплюнул его.

— Эгэ-гэ! — повторил Дмитрицкий про себя: — так вот он грабе Черномский-то! .. постой-ко, попробуем, как пристанет к тебе рыжий парик.

И он вытащил из сундука рыжий парик, приподнял голову Черномского и надел на нее.

— Ба! откуда это взялся вдруг Желынский, старый знакомец?.. Желынский!

— Бррр! аттанде! — проворчал Черномский.

— Изволь! верно идет темная! Постой-ко, брат, каков-то я буду грабе Черномский?

Дмитрицкий напялил на себя перед зеркалом парик Черномского, приклеил усы и вскричал:

— Браво! Черномский, да и только! .. Да! надо надеть мое платье, а этот дрянной сюртук отдам этому пьянице, моему камердинеру Матеушу Желынскому.

Дмитрицкий, сбросив свой сюртук, натянул пальтò Черномского; ощупав карман, он вынул из него большой бумажник, развернул его, пересчитал пук ассигнаций.

— Три тысячи двести; это верно на обиход... а вот бумаги, верно документы на графство... Все это должно быть в законном порядке; после пересмотрим; обратимся теперь к тому, чтò заключается здесь.

Дмитрицкий вынул из сундука две шкатулки и портфель, отпер их ключиками, которые висели на

часовой стальной цепочке. Одна шкатулка была полна различными драгоценными вещами: тут были золотые табакерки, перстни, цепочки, фермуары, булавки и прочее; кроме всего этого, несколько свертков золотых монет. Дмитрицкий развернул два свертка и насыпал червонцев в карман. В другой шкатулке в разных отделениях были пачки ассигнаций, заемные письма, закладные и разные бумаги.

— Это все хорошо, пересмотрится после, — сказал Дмитрицкий, отложив пачку в двадцать тысяч в карман и укладывая все на место. Это гардероб... Ба! приятель! Бердичевский знакомец! помнишь меня, или забыл? Здорово.

И Дмитрицкий вытащил серый старинный фрак с большими решетчатыми пуговицами; из бокового кармана высунулась какая-то бумага.

— А! это документ, относящийся к рыжему парику и серому фраку.

— Матеуш! — вскричал Черномский, приподнимаясь с дивана и смотря вокруг себя мутными взорами.

— Проспался, наконец! — сказал Дмитрицкий, запирая сундук.

— Фу! — произнес Черномский, отдуваясь и уставив глаза на Дмитрицкого.

— Ну, вставай! ехать пора! Экой дурачина! что̀ ты смотришь? Неси сундук в коляску!

— Что̀ такое? — проговорил Черномский: — вы, милостивый государь, что̀ такое?

— Совсем одурел! Ты, Матеуш, не узнаѐшь барина?

— Что̀ такое? — повторил Черномский, вскочив с дивана; но ноги у него подкосились и он осел снова на диван.

— Насекомое! на ногах не стоит! Что̀ мне с тобой делать? — сказал Дмитрицкий захохотав.

— Что̀ это, пан, значит? — вскричал Черномский.

— Дурак! как ты смеешь говорить мне просто пан! Ты не знаешь, что я пан грабе, вельможный пан? Говори мне не иначе, как ваше сиятельство, а не то я тебе пулю в лоб!

И Дмитрицкий взял пистолет со стола.

Черномский затрясся.

— Цо то есть! — проговорил он, задыхаясь.

— А вот, цо то есть: смотри на себя, безобразная рожа! на кого ты похож?

И Дмитрицкий стащил Черномского с дивана, схватил за оба плеча и поставил против зеркала.

— Смотри, урод, на кого ты похож?

Черномского забила лихорадка, зубы застучали; он застонал, взглянув на себя в зеркало.

— Узнал? — спросил Дмитрицкий: — да врешь, друг, ты думаешь, что ты пан Желынский? Нет, погоди! Я за заслуги только произведу тебя в пана Желынского, а до тех пор...

И Дмитрицкий сорвал с головы Черномского рыжий парик и положил к себе в карман.

— До тех пор ты лысый Матеуш, мой слуга, холоп, лакей, хамово отродье!

— О, дьявол! — проговорил Черномский.

И он повалился на диван, схватил себя за голову, заскрежетал зубами, забил ногами.

— Тише! — крикнул Дмитрицкий.

— А, дьявол, обманул! — простонал снова Черномский, и вдруг, вскочив с дивана, бросился на Дмитрицкого; но тот очень хладнокровно приподнял пистолет и сказал:

— На место!

Черномский со страхом отскочил назад.

— Послушай! — проговорил он дрожащими губами: — послушай! пан Дмитрицкий...

— Пан грабе Черномский, слышишь? Покуда на голове моей этот парик, — сказал Дмитрицкий, приподняв на себе парик как шапку: — и покуда под носом эти наклеенные усы, до тех пор я граф Черномский, шулер, подлец, который с шайкой своей наверняка обдул бедного Дмитрицкого. А ты, до тех пор, покуда я не награжу тебя рыжим париком и серым фраком, до тех пор ты хлап Матеуш.

— Одно слово, пан! — сказал пан Черномский, задыхаясь и кусая губы: — бесчестно это, это низко воспользоваться моею доверенностью! Я полагал, что пан Дмитрицкий благородный человек! ..

— А кого ж обманул пан Дмитрицкий?

— Меня!

— А ты кто такой?

— Кто? я пан...

— Ну, ну, ну, договаривай скорей!

— Пан грабе Черномский.

— Врешь! ты знаешь ли кто?

Черномский побледнел.

— Пан грабе Черномский вот этот парик, — продолжал Дмитрицкий: — а пан Желынский вот этот парик; а пан Дмитрицкий нанялся на службу к вельможному пану Черномскому, а не к тебе, не пану, а лысому болвану! Как же ты смеешь говорить, что пан Дмитрицкий тебя обманул?

— Пан Дмитрицкий, — сказал Черномский, — не я обыграл пана, даль буг же не я; но я готов из своих денег возвратить пану десять тысяч.

— Скажи, пожалуйста, какой богач!

— Будь ласковый, пане, кончим шутки... Отдай, пане, мои ключи.

— Да ты кто?

— Перестань, пане, шутить... получай десять тысяч и бог с тобой.

— А я с тобой вот как шучу: хочешь ты у меня служить Матеушом? Я люблю это имя, у меня, пана грабе, все люди назывались Матеушами... хочешь? а не то — убирайся!

— Я прошу пана оставить шутки; а не то я объявлю полиции, что пан хочет ограбить меня и убить.

— Так ты ступай в полицию скорей, а не то я уеду... Ну, пошел же!

— Пане, я двадцать тысяч дам.

— Ба, уж рассветает! Пора ехать мне! Эй! кто там?

— Пане! — вскричал Черномский.

— Прочь!

— Что̀ угодно пану? — спросил вбежавший хозяин.

— Вот тебе за постой, — сказал Дмитрицкий, бросив красную бумажку на стол. — Неси сундук в коляску.

— Пошел, я сам понесу! — вскричал Черномский, совершенно потерявшись: — ступай вон!

— А, мерзавец, одумался! Жид, помоги ему; где ему дотащить до коляски.

— Караул! грабят! — вскричал Черномский как сумасшедший, оттолкнув жида и обхватив сундук: — караул!

— Хозяин, ступай к городничему, чтоб прислал солдат взять этого пьяницу! Скорей!

— Не буду! — проговорил Черномский, задыха-

ясь: — я понесу! Ступай, мне нужно поговорить с паном.

— Ни слова!

— Пане!

— Ну!

— Я понесу, понесу!

— Жид, тащи вместе с ним!

Черномский и жид понесли сундук в коляску. Черномский нес и стонал.

Вслед за ними вышел и Дмитрицкий.

— Ну, живо! — вскричал он, садясь в коляску: — ты так и поедешь без фуражки, в одной рубашке? Дрянь! ну, пошел, надень сюртук и фуражку!

— Панья матка бога! — проговорил Черномский жалобным голосом, держась обеими руками за коляску.

— Ну, долго ли будешь думать? Ямщик, пошел.

Ямщик приподнял кнут.

— Караул! — вскричал Черномский, ухватясь за коляску: — постой, постой, еду! Вынеси, хозяин, картуз, да сюртук мой.

— Ах ты, дурак, трус; боится, что я уеду, брошу его!

Черномский охал, держась за коляску.

Жид вынес венгерку и картуз.

— Не мой сюртук, — сказал Черномский, — это венгерка пана.

— Не узнаѐт своего платья! вот нализался! Долго ли я буду ждать? Куда! на козлы.

— Нет, этого уж не будет! — вскричал Черномский: — я не хлап какой-нибудь.

— Так оттащи его, жид; прощай, пан!

— Еду, еду!

И Черномский взобрался со стоном на козлы.

— Пошел! — крикнул Дмитрицкий: — болван! думает, что я с ним не справлюсь! Нет брат, Матеуш, заикнись только у меня, ступи не так, — не пожалею медного лба! мне, брат, всё равно, семь бед один ответ... Хочешь служить верой и правдой — служи, а вздумаешь проказить, грубиянить, пьянствовать, подниматься на какую-нибудь штучку, чтоб опять парик надеть; так тогда уж извини — *на всё пойдет!* Слышишь ты там?

Черномский в ответ простонал.

«Э! да куда ж я еду? — спросил Дмитрицкий сам себя: — куда ж мне ехать? а? вот вопрос». — Эй, ямщик, куда идет эта дорога?

— Да в Могилев же, в Могилев.

— А что́ ж я буду делать в Могилеве; а еще куда?

— Из Могилева в Минск, да на Смоленск.

— А что̀ ж я буду делать в Минске и в Смоленске? Мир велик, а прислониться негде, и ни одной души, которой бы можно было сказать откровенно: послушай, душа моя, поверишь ли ты мне, что я ужасная свинья. — «Неужели?» — Ей-ей! чорт сбил меня с пути, и вот, сам не знаю, что̀ делать на белом свете. — «Женись». — Да не знаю, где живет невеста, — куда к ней ехать? Родилась она, жива, или умерла, ничего не знаю. Другим как-то счастье: все само ладится. Уж если влюбится и навяжется на шею, так по крайней мере девушка, а не чужая жена, как, например, Саломея Петровна. Уверила, что я создан собственно для нее, а она для меня, я и поверил, да и увез ее. Что̀ ж из этого вышло? она на стороне, я на другой... а желательно было бы знать, что̀ с ней делается: где она? что̀ она? Удивительный характер! Поскакала от мужа, от отца, от матери, чорт знает куда, точно

как из гостей домой!.. Отец и мать!.. Господи, боже мой, отец и мать!.. Я бы поехал теперь к отцу и матери... «Здравствуй, Вася, здравствуй сынок!» У Васи сердце бы порадовалось, Вася бы заплакал. — «Это что у тебя? где это ты нажил?» — Бог дал. — «Ах ты мой нищенко, — сказала бы матушка и заплакала бы с радости. — «Врешь, брат, — сказал бы отец, — верно ты чорту служишь!» — и заплакал бы с горя... Да это все мечта: батюшка умер до моего рождения, а матушка недавно скончалась... Э! да у меня есть тетка и сестра невеста... Верно, в бедности живут... Вот случай осчастливить Наташеньку... прекрасно!..

Дмитрицкий стал развивать и лелеять эту мысль в голове.

Приехали на станцию.

— Матеуш! — крикнул Дмитрицкий: — распорядись скорей о лошадях.

— Нет, пан, — отвечал Черномский, соскочив с козел: — лошадей успеют запрячь; прежде всего надо решить, кому пановать на этом свете; если пан благородный человек, то не откажется на мой вызов... пара пистолетов есть...

— Изволь, брат, пойдем! вот тут же в рощице. Только не иначе, как оба заряда в один пистолет; а потом выбирай любой; но подлецу я в руки не дам пистолета, а сам, одним себе дулом в пузо, а другим тебе...

— Нет, я на это не согласен!

— Так пошел, записывай подорожную! ну!

— Это, пан, бесчестно...

— Ну!

Черномский бросился от Дмитрицкого.

— Постой, поди сюда! Вот что я тебе скажу:

хочешь, чтоб я возвратил тебе звание плута графе Черномского, и все, разумеется, кроме того, что̀ у меня выиграли мошенники? Хочешь?

— Пан обязан мне возвратить всё!

— Ну, это мечта; ты слушай, что̀ я тебе говорю; во-первых, отвечай, женат ли ты?

— Женат, пане, имею шесть человек детей, на руках моих все родные; всё, что̀ нажил трудом, нажил для обеспечения своего бедного семейства; а пан хочет лишить меня всего, пустить по̀-миру по крайней мере двадцать человек!

— Так ты женат? Ну, чорт с тобой, ступай, да чтоб скорее лошадей.

— А пану для чего знать, женат я или нет?

— Дело кончено, так нечего и говорить условий, на которых я бы тебе возвратил парик с усами и имущество Черномского.

— Да я прошу сказать мне, пане, какие условия, может быть, я их исполню.

— Нет, уж кончено; ты женат и мне не годишься.

— Я пану нарочно сказал, что я женат.

— Подлец! думал разжалобить; теперь уж я не поверю.

— Ей-ей, не женат!

— Так хочешь жениться на моей сестре? девочка чудо, с хорошим состоянием, умна; ну, просто, отдаю ее тебе как свинье апельсин, для того только, чтоб исполнить мое предсказание, что она будет графиня.

— Пан всё отдаст мне?

— Всё, кроме выигранных у меня.

— То есть осемь тысяч?

— Нет, любезный, сто осемь.

— Э, нет, пане, не могу согласиться.

— Ну, не можешь, так оставайся холостым Матеушем.

— Но какие ж выигранные сто тысяч у пана? Я и не знаю об них.

— А вот те, что шайка твоя выиграла у меня.

— Пан обижает меня!

— Ну, обижаю, так оставайся холостым Матеушем.

— Я готов двадцать тысяч из своих кровных прибавить к осьми, а больше не в состоянии.

— Ты дурак: изо ста тысяч я шестьдесят назначил твоей будущей жене в приданое.

— Осемьдесят, пан, и мне отдать в день свадьбы.

— Торговаться? так ни жены, ни копейки! Убирайся!

— Пан сдержит свое слово свято?

— Еще спрашиваешь!

— Ну, так и быть, я согласен. Вот рука моя.

— Пошел к чорту с своей грязной рукой!

— Прошу пана отдать мне ключи.

— Нет, приятель, это будет всё сделано следующим образом: теперь мы поедем в Шклов; там я кое-что куплю к свадьбе, — там, говорят, всё есть у жидов, и дешево; а потом поедем в Путивль, где живет моя тетка. До тех пор ты будешь Матеуш, слышишь?

— Пан не верит мне, что я исполню данное слово? Я не могу унижать себя, ехать на козлах.

— Врешь, поедешь и на деревянном козле, на котором вашу братью мошенников кнутом дерут.

— А если, пан, свадьба как-нибудь не состоится?

— Если только не ты в этом будешь виноват, получишь всё как сказано.

— И условленное приданое?

— Половину.

— Ну, так и быть!

Лошади были запряжены; Черномский, понимая нрав Дмитрицкого, верил ему на-слово, и, как низкая душа, обратился в совершенного холопа. Прикрикивал в подражание Дмитрицкому на ямщиков, на смотрителей, называл барина его сиятельством; но только портил дело.

— Поди-ко-сь какой! — говорили ямщики, — экой страшный! расхрабрился! запрягай сам скорее!

— Еще прикрикивать вздумал! так нет же лошадей! все разошлись, а курьерских не дам! — говорили и смотрители станций.

Дмитрицкий платил тройные и четверные прогоны, сидел по нескольку часов и ехал как на волах.

Приехав в Шклов, он расположился в гостинице у жида, потребовал почтовой бумаги и написал следующее письмо к тетке:

«Любезная тетушка, Дарья Ивановна! С год тому назад вы писали ко мне в полк, жаловались на недостатки и просили прислать хоть рублей сто; тогда у меня, ей-ей, ничего не было. Теперь очень рад служить вам: ведь вы да Наташенька только и родных у меня. Наташеньке я везу жениха, моего приятеля, графа. Только вы, пожалуйста, наймите богатый дом, со всей роскошью, да нашейте моей сестричке, будущей графине, модного платья и разных уборов, чтоб все было на знатную ногу, чтоб не стыдно было принять сиятельного. На расходы посылаю двадцать тысяч, а сам привезу всё приданое, шалей, материй, драгоценных вещей и всего. Поторопитесь всё устроить, недели через две я непременно буду.

Любящий вас племянник В. Дмитрицкий».

Вложив в конверт двадцать тысяч, Дмитрицкий запер свою комнату и сам отправился с письмом на почту, отдав приказ Черномскому привести жидов с товарами. Почта была в двух шагах, и потому Дмитрицкий скоро возвратился; но жиды пронюхали богатого покупщика, набежали со всех сторон с узлами и ящиками, разложили свои товары на полу и перебранивались. Жид Мошка с узлом полотна уверял жида Иоску с ящиком янтарных колечек, сердечек, мундштучков, игольников и прочее, что пану не нужны его игольники, что пан не шьет; а Иоска твердил, что пан не такой дурак, чтоб стал покупать у Мошки миткаль, вместо полотна.

Старый жид Соломон отталкивал ногой узел другого Мошки и говорил ему, чтоб он добром шел домой, покуда барин взашей его не выгнал.

— Ты, голова углом, разве не знаешь, что вельможный пан в бумажные платки не сморкается?

— А что ж он в твое гнилое сукно будет сморкаться? Славное сукно, седанское! с бумагой пополам!

— Не трогай руками! — вскричал Соломон, ощетинясь.

— Не толкайся! — вскричал Мошка.

Жид Хайм притащил дюжины три одеял и готовился, только что взойдет вельможный пан, раскинуть одно на всю комнату по головам и товарам и крикнуть:

— А вот зе, вельмозный пан, самые луццие покрывала, двухспальные, каких луцце не бывает! усь если пан хоцет иметь покрывала, так усь пан будет ласков: купит вот это.

Но Шлема, посматривая в окно, говорил Хайму:

— Видишь, офицер приехал к Ханзе, ты бы шел туда; он скорей купит одеяло, а вельможному пану не нужно одеяло; вельможный пан хочет купить материй на жилетки.

— Дз, аэх! узнал он, что у тебя есть жилетки, каких и даром никому не надо!

— Дз, эх, — повторял и Черномский: — промотает эта каналья Дмитрицкий у меня все деньги! ..

Только что вошел Дмитрицкий, жиды в один голос начали высчитывать свои товары.

— Ну, что̀ у вас есть, показывай, — сказал он, садясь на диван.

Жиды полезли на него толпой, давят, толкают друг друга; крик страшный «Сукно седанское, пане! какого цвету прикажет пан? Полотно голандское! Перчатки, пан, французские! Платки, пан, материи разные, атлас, бархат, тафта! Печатки пан, какую прикажет пан вырезать? Ситцы! .. Колечко пану! цепочки, серьги брильянтовые!»

— Вон! — крикнул Дмитрицкий.

Все вдруг умолкли.

— А что́ ж пану угодно? — вызвался Соломон.

— Молчать! .. Показывай ты серьги брильянтовые! .. Скверные! ..

— А вот зе лучше! работа какая! брильянты с бирюзой.

— Гадкие! что̀ стоют?

— Дешево, пан, для пана триста червонцев.

— Сто хочешь?

— Да помилуй, пан, как это можно покупать такую дрянь! им вся цена десять карбованных! Камни фальшивые! — вскричал Черномский.

— Тебя спрашивают? — прикрикнул Дмитрицкий.

— Пан только деньги бросит; у меня есть бриль-

янтовые серьги, я пану уступлю их за сто червонных, не такие, — сказал Черномский.

— Свои подаришь сам невесте... Это чтò, мундштуки? чтò этот стòит?

— Двадцать червонных.

— Десять.

— Ах ты, свента матка Мария! Это композиция!

— Мне всё равно, композиция или янтарь, я покупаю, чтò мне нравится.

— У пана денег много! пану деньги нипочем! пан их не наживал трудом!

— Ни трудом, ни мошенничеством, по наследию достались, и потому молчи! Чтò это, щали? Показывай.

— Алецкие, самые лучшие! бур де суа!

— Чтó голубая?

— Пятьдесят червонных.

— Дорого! возьмешь и половину.

— Видно пан знает толк, — сказал Черномский, ахнув, — сшивная, середина дрянной шали, девки носят! Возьми, пан, за эту цену мою тибетскую.

— Пустяки! Ты свою подаришь сам невесте; а эту я подарю ей.

— Чтоб моя невеста носила такую поскудную шаль! фи!

— Не хочешь? Ну, так я подарю ей турецкую, выпишу из Одессы.

— Турецкую пану? у меня такая турецкая. Дз-ах! — вскричал жид и оставив свой узел и шали, разложенные по полу, схватился за шапку и побежал вон.

— У пана много денег, что пан так бросает их! — сказал Черномский с страдальческим выражением лица, как будто у него жилы тянут.

— А тебя кто просит сожалеть о моих деньгах?

— Нельзя, пане, нельзя не жалеть; деньги не легко достаются.

— Пòтом и кровью: оттого-то ты такой худой и бледный. Трудно переводить деньги из чужого кармана в свой! Вели-ка подать мне бутылку шампанского — я выпью за твое здоровье.

— Пану шутки!

— Вот, васе сиятельство! вот настоящая турецкая! — вскричал запыхавшийся жид, вбежав в комнату с новым узлом.

— Показывай!

— Ганц фейн! Дз-ах! вот шаль! у султана турецкого нет такой!

— Чтò стòит?

— Пятьсот червонных! только десять червонных и наживаю барыша.

— Я тебе дам за нее...

— Пан! — вскричал Черномский, — для бога, позволь мне торговаться и покупать пану! Пан не знает толку в товарах!

— А тебе-то чтò?

— Не могу! панья матка бога, не могу!

— Ну, изволь, покупай!

— Чтò просишь ты за шаль? а? — спросил Черномский, уставив глаза на жида.

— Пятьсот червонных.

— Берешь осемьдесят?

— Пан покупать не хочет, — сказал жид, складывая шаль.

— Тут тебе ровно десять червонных наживы

Жид, ни слова не говоря, сложил шали в узел, укрутил его тесьмой, взвалил на плечи и сказав... «прощайте, пане!» вышел.

— Ты с ума сошел, вместо пятисот даешь осемь-

десят! Мне шаль нравится, я дам ему двести пятьдесят червонных.

— Завтра шаль будет у пана за семьдесят пять червонных. Не хотел брать десяти барыша, — возьмет пять.

В тот же день жид пришел снова.

— А что̀ ж, пане, шаль? Деньги нужны, в убыток продаю; извольте, беру четыреста червонных.

— Осемьдесят.

— Триста пятьдесят, угодно?

— Ни копейки.

— Ну! будь пан так счастлив! отдаю за триста!

И жид хотел развязывать узел.

— И не хлопочи! Больше осьмидесяти сегодня не возьмешь, а завтра отдашь за семьдесят пять.

— Пану не угодно покупать? — сказал жид; долго завязывал узел и, наконец, ушел.

Через час явился снова, сбавил цены на половину.

Через час снова пришел и положил шаль на стол, сказав:

— Эх, что̀ делать! Пан такой счастливый! Уж я знаю, что пан сам что̀-нибудь прибавит.

— Как же это ты, жид проклятый, — сказал Дмитрицкий: — запросил пятьсот червонных, а отдал за осемьдесят?

— А что̀ ж я виноват, — отвечал жид: — коли нет счастья!

III

Дмитрицкий давно не был на родине, в славном Путивле, где некогда на забралах градских горько плакала Ярославна, молилась ветру, чтоб он вздул паруса милого друга Игоря Всеволодовича на обратный путь из стран половецких; молилась

Днепру, чтоб он взлелеял на себе насады (корабли) его, молилась тресветлому солнцу, чтоб оно не палило в безводном поле жаждою дружину храброго князя.

Но этой ограды Путивля, с которой Ярославна встречала взорами своего милого князя, давно уже и следа нет. И тут, как и везде, давно русские терема и светлицы стали щебнем, а жизнь черноземом — до материка не дороешься.

Тетка Дмитрицкого, Дарья Ивановна, была замужем за мелким чиновником, который волею божиею помре, оставив ей и дочери Наташеньке в наследие маленький домик. С этого домика Дарья Ивановна получала около трехсот рублей, а иногда и поболее доходу. Наташенька, в коленкоровом платьице, была миленькая девочка. Курс учения ее был не велик. Имея хорошие от природы способности, она выучилась, можно сказать, сама читать и писать, выучилась шить платьица, корсеты и юбочки, вязать и штопать чулки, выучилась завивать себе на ночь волосы, а поутру расчесывать и разглаживать по щеке, распускать локонами, заплетать косу, свертывать ее жгутом и затыкать гребнем, следуя моде, то на макушке, то на затылке; выучилась учтиво приседать и смотреть умильно глазками на молодых людей — этому выучила ее природа; выучилась смотреть скромно и равнодушно на пожилых, — и этому выучила ее природа. Сверх всего она переняла у одной подруги играть на гитаре и петь целых три романса: двух соловьев, да, кажется, канареечку.

Покуда домик Дарьи Ивановны не требовал починки, крыша не текла, стены и балки не подгнили, до тех пор Дарья Ивановна и думать не думала ни о чем: приход с расходами был верен.

— Чего ж более, слава тебе, господи, — говорила она всему городу (потому что со всем городом была знакома): — ни в чем не нуждаюсь.

Злые языки длинны, никак не обойдутся без того, чтоб не сосчитать, что̀ в чужом кармане, не переверить чужого приходу с расходом, не вывести сомнений: возможно ли прожить целый год в довольствии тремя стами рублями, — ну, положим, хоть и тремя стами пятьюдесятью? и не заключить: уж, конечно, что регистратор Фирст Игнатьич живет лет осемь в деревянном домишке Дарьи Ивановны *не даром*.

— Уж, конечно, не даром платит за квартиру триста рублей в год.

— Нет, уж вот даром! Триста рублей платить за развалины; мы свой мезонин отдали бы за двести. Я и намекала: плохонек дом-то Дарьи Ивановны; чай, у вас и сквозит и протекает, Фирст Игнатьич? — «Да, немножко, Палагея Ивановна». — Что̀ ж это вы не подумаете нанять другую квартирку: ведь вы можете ревматизм получить; у вас здоровье такое хилое. — «Место-то удобно, близко от судебных мест, да и привычка!» — Знаю, батюшка, знаю, — подумала я сама себе: — кошки привыкают к месту, а люди к людям: живмя живешь на другой половине, которая покрепче!

Эти толки не доходили до Дарьи Ивановны; Фирст Игнатьич привык к своей квартире, где подчас было и холодненько; а Дарья Ивановна привыкла к древности дома своего; привыкла и к постояльцу — всё-таки мужчина в доме, да и притом же такой добрый, угодливый, что̀ ни попроси, всё сделает: совершенно уже как свой человек. Как ни привык, однакож, Фирст Игнатьич к течи, но верно кто-нибудь стал сбивать его с толку: после

одной бури, которая чуть-чуть не разнесла по бревну дом Дарьи Ивановны, Фирст Игнатьич пришел к ней и говорит:

— Дарья Ивановна, уж извините, а мне приходится нанять другую квартирку.

— Что̀ такое, Фирст Игнатьич? что̀ так вам моя не понравилась? Жили-жили столько лет, да вдруг расходиться; нет, Фирст Игнатьич, это грех!

— Да помилуйте, течет так, что места не найдешь, где присесть и прилечь.

— Да потерпите, Фирст Игнатьич, все исправлю; что̀ делать, напишу в полк к племяннику, совестно, а попрошу у него; да вот Наташа подросла, авось найдется жених, выдам за̀муж, уступлю вам эту половину; эта крепенькая; сама перейду в вашу.

— За эту-то половину вы потребуете прибавки, чай.

— Нет, ни копеечки не наба̀влю; для вас за ту же цену, только не сходите с квартиры.

— Да ведь, бог знает, когда еще это будет.

— Ах, батюшка, да нет ли у вас в суде женишка? вот письмоводитель-то, что̀ к вам ходит, кажется порядочный человек.

— Славный человек!

— Ведь вы с ним, чай, приятель: что̀ бы вам повести слово... привести бы его к нам...

— Хм! — произнес, улыбнувшись, Фирст Игнатьич.

— Чему вы усмехнулись?

— Сам он просил, чтоб я познакомил его с вами.

— Зачем же дело стало?

— Да я думал, вам еще не понравится, что молодой человек ухаживает за Натальей Павловной; состояния же он не имеет.

— И! лишь бы был дельный человек — наживет!

— Я, пожалуй, — сказал Фирст Игнатьич, и в тот же день ввечеру привел с собой Андрея Павловича Илиадина.

Наташенька была вне себя от радости, потупляла глаза в землю и всё краснела. Андрей Павлович, также что̀ ни слово к ней, то вспыхнет. Дарья Ивановна заметила, что что̀-нибудь да уж есть между молодыми людьми, и сначала рада была, что дело скоро может сладиться; а потом задумалась.

— Господи, да что̀ ж я буду делать одна одинёхонька без Наташи? .. домишка развалится, где я буду жить, чем я буду жить? Отдам за бедного, а сама ступай по̀-миру! .. а еще и сама из веку не выжила! сорока еще нет; кроме куска хлеба, нужно и платьице и чепчик порядочный, салопчик, и мало ли что̀...

Дарья Ивановна совершенно раздумала выдавать дочь за бедняка, когда Андрей Павлович явился с предложением, уверенный, что отказа не будет, потому что Фирст Игнатьич намекнул, что он нравится и самой Дарье Ивановне.

— Благодарю, Андрей Павлович, за честь, которую вы мне делаете; но вот обстоятельство: вы бедны, да и у дочери моей нет ничего, — отвечала она.

— Дарья Ивановна! — сказал Андрей Павлович: — я не требую ничего, кроме руки Натальи Павловны, осчастливьте меня! с нас двух жалованья моего достаточно будет.

— Андрей Павлович, — отвечала Дарья Ивановна: — положим и так, да я должна подумать и о себе: я в дочь положила все; хоть у ней нет приданого, а зато всему выучила ее, она и поет у меня, и хозяйка на редкость — рукодельница, надо же,

чтоб за материнское попечение она обеспечила старость мою...

— Неужели вы думаете, что мы вас оставим?

— Кто говорит; да у вас-то что̀ ж есть, чтоб меня прилично содержать, а мне ведь еще с добрыми людьми жить; и к себе прими, и в люди поди. Нет, Андрей Павлович, уж верно этому не быть.

— Дарья Ивановна! — повторил Андрей Павлович, — осчастливьте!

— И рада бы... человек вы прекрасный, парочка дочери моей, да верно богу не угодно... Дело другое, если б я сама была пристроена... за̀мужем... и горюшки бы мало, еще вас бы наградила... а то... домишка провалится и весь доход мой с ним... Фирст Игнатьич и то грозится уж съезжать... Как съедет... что̀ я буду делать?..

Дарья Ивановна прослезилась.

— Я привыкла к нему как к родному! — прибавила она, и зарыдала. — Обо мне муж так не заботился, как он...

— Он не съедет, ей-богу, не съедет, — сказал Андрей Павлович в утешение Дарье Ивановне: — он так привык к вам...

— А вы почему знаете?..

— Да это видно, Дарья Ивановна.

— Что̀ ж он говорил про меня?

— Он говорит, что вы такая прекрасная хозяйка, каких он сроду не видал.

— Неужели? голубчик мой!.. Какой он добрый, не правда ли?

— Необыкновенный человек.

— Необыкновенный человек!.. Осемь лет стоит у меня, хоть бы поморщился! Смирный, учтивый, господи, боже мой! ведь знаю я мужчин, и муж у

меня был человек хороший, да всё не то... Осемь лет под одной кровлей живем, Андрей Павлович — что́-нибудь да значит! и не к такому человеку привыкнешь! — Дарья Ивановна снова прослезилась.

— И он как привык к вам, Дарья Ивановна!

— Да что̀ ж, все это не прочно!.. ведь он не муж мне — сегодня у меня, а завтра взял да и переехал: а я-то что̀ тогда? умру̀ с горя, да и только!

— Да я уверен, Дарья Ивановна, что он ни за что́ не оставит вас, — сказал Андрей Павлович.

— А вы порука за него? Поручитесь, да и берите Наташу... а без того не могу, ей-ей не могу! кому-нибудь и со мной надо оставаться!.. Это теперь общее наше дело, а потому-то я и говорю вам откровенно... О, да будь Фирст Игнатьич муж мой, какая бы и для вас-то выгода, как бы я вас-то пристроила: у меня дом, у него есть капиталец, — домик-то поправили бы. Здесь сами, а другую-то половину вам с Наташей — живите себе да поживайте.

У письмоводителя сердце иокнуло, взор просветлел.

«В самом деле, — подумал он: — это прекрасно!..» — Так Наташенька моя, Дарья Ивановна, если я устрою дело?

— Только устройте, нечего и говорить.

Андрей Павлович поцеловал руку Дарьи Ивановны и побежал к Фирсту Игнатьичу, который смиренно занят был какими-то отчетами.

— Ну что̀, — спросил он: — говорили?

— Нет еще, Фирст Игнатьич.

— Э, какой! Чего боитесь, Дарья Ивановна такая добрая женщина.

— Как-то страшно!

— Вот еще, что̀ тут страшного.

— Да, вы когда-нибудь сватались?

— Я? нет.

— То́-то и есть, что о других-то как-то легко говорить, а извольте-ко о самом себе!

— Оно правда, — сказал Фирст Игнатьич, задумавшись: — испытал я это... чорт знает, никак язык не поворотится... Придешь, думаешь, вот скажу, да и ни слова; а время-то уходит, да уходит! годы! хм! я бы давно уж женат был, да смелости нет!..

— А вы также влюблены в кого-нибудь, Фирст Игнатьич?

— Нет, что̀ за влюблен; а хотелось бы судьбу пристроить: состареешься холостяком — и души не с кем будет отвести в четырех стенах.

— О чем же вы думаете, Фирст Игнатьич?

— Подумаешь, любезный!

— Вот бы вы женились на Дарье Ивановне.

Фирст Игнатьич покраснел.

— Нет, брат, — сказал он, вздохнув.

— Что̀ же? Какая прекрасная женщина!

— Я сам думал... да нельзя: она по сю пору так любит покойного мужа, только и говорит что об нем... что̀ ж тут делать?

— Хм! да я сейчас об вас говорил с ней... она говорит, что и не видывала такого прекрасного человека как вы, что муж у нее был хороший человек, а что уж вам и подобного нет...

— Неужели она говорила это? — спросил, вскочив со стула, Фирст Игнатьич.

— То̀ ли еще говорила; да что ж вы так смутились, Фирст Игнатьич?

— Как же, братец, не смутиться, — отвечал

Фирст Игнатьич: — что̀ ж она говорила? Скажи, пожалуйста.

— Просто, она влюблена в вас.

— Полно, братец, этого быть не может!

— Ей-богу; она сказала, что если вы переедете на другую квартиру, так она умрет.

— Голубушка моя! — воскликнул Фирст Игнатьич, употребив любимое слово Дарьи Ивановны; но ему стало стыдно молодого человека, при котором он так забылся: — полно, брат, ты только смущаешь меня!

— Ей-богу, нет! клянусь вам, что Дарья Ивановна без памяти от вас.

— Полно, брат, полно! чорт знает что̀ говорит! как это можно! .. Ей-богу, я рассержусь!

— Не верите, Фирст Игнатьич? так я вам скажу, что от вас зависит и мое счастье!

— Это как?

— Так! Обещайте, что вы не будете противиться моему счастию.

— С какой стати я буду противиться? я-то что̀ такое?

— А вот то же, что без вас я не получу руки Натальи Павловны.

— Ты, братец, Андрей Павлович, загадки говоришь! что̀ ж я такое? верно в посаженые отцы хотите меня взять.

— Да, в посаженые отцы! Посмотрели бы вы, как Дарья Ивановна плакала.

— Плакала? да о чем же, братец?

— Она проговорилась мне насчет вас. . .

— Да говори, любезный друг, Андрей Павлович.

— Когда я сделал предложение, она заплакала и сказала: что̀ ж со мной будет, как я отдам

дочь замуж, а Фирст Игнатьич съедет с квартиры...

— Да с чего она взяла, что я съеду с квартиры?

— Поневоле съедете, как дом развалится, а чинить ей нѐначто.

— Никогда не съеду, ни за чтò! на свой счет починю, да не съеду!

— Я и уверял ее, что вы не съедете, но она и верить не хотела, расплакалась, да и проговорилась: говорит, вы не порука мне за Фирста Игнатьича; дело другое, если б он был муж мне, тогда, говорит, я и не задумалась бы выдать за вас дочь, починила бы дом, на одной половине сами жили, а другую вам бы отдали.

Фирст Игнатьич ходил по комнате как помешанный; лицо его горело, глаза моргали: то тер себе подбородок левой рукой, то лоб и все лицо правой; то, запустив обе руки в хохол, приподнимал его горой, и, наконец, ни слова не говоря вышел, и пропал.

«Верно пошел к Дарье Ивановне» — подумал Андрей Павлович. Но Фирст Игнатьич ходил по саду в раздумье, и проходил до полуночи.

На другой день Фирст Игнатьич прислал сказать в суд, что по болезни он не может быть у должности. Андрей Павлович побежал к нему и застал, что он продолжает ходить по-вчерашнему из угла в угол, но лицо его бледно, руки устали работать около подбородка и лба и висят как плети.

— Чтò с вами, Фирст Игнатьич?

Фирст Игнатьич вместо ответа провел над головой круг рукою.

Андрей Павлович испугался.

— Голова кружится? — спросил он.

Фирст Игнатьич только кивнул в знак подтверждения.

— Вам надо чего-нибудь принять; у Дарьи Ивановны есть разные домашние лекарства, я схожу к ней.

И Андрей Павлович побежал к Дарье Ивановне. Через минуту она, бледная, перепуганная, явилась с стклянochками в руках.

Фирст Игнатьич вспыхнул, ноги его подкосились; он присел и взялся за голову.

— Воды, воды! — вскричала Дарья Ивановна и сама побежала в кухню за водой.

— Выпейте скорее гофманских, — сказала она возвратясь, и начала было отсчитывать капли; но руки ее дрожали: — Не могу, руки трясутся; Андрей Павлович, налейте пятнадцать капель... Успокойтесь, голубчик, Фирст Игнатьич, это все сейчас пройдет... Отсчитали? давайте... выпейте, голубчик, Фирст Игнатьич... Господи, благослови! ..

Фирст Игнатьич выпил и поцеловал ручку Дарьи Ивановны.

— Вы бы прилегли, — сказала она, — прилягте, голубчик! успокойтесь.

Фирст Игнатьич прилег на диване, Дарья Ивановна и Андрей Павлович сели подле него и молчали. Через несколько минут утомленные глаза Фирста Игнатьича закрылись.

Дарья Ивановна дала знак пальцем, что теперь надо дать уснуть Фирсту Игнатьичу, и на цыпочках вышла из комнаты. Андрей Павлович вслед за ней.

— Что̀ это с ним сделалось?

— Мне кажется, и вчерашнего дня он был нездоров; мы разговаривали об вас.

— Обо мне?

— Да. Он, Дарья Ивановна, вас очень любит, и сказал мне, что ни за что̀ от вас с квартиры не съедет, хотя бы, говорит, чинить дом пришлось на свой счет.

— Голубчик! да что̀ ж с ним сделалось вдруг?

— Да заговорили о том, что вы покойного супруга очень любите... это, кажется, подействовало на него... он думает, что вы никого уж так любить не можете...

— Это кто ему сказал?

— Ему так кажется, потому что как начинает говорить с вами о себе, а вы сведете разговор на покойного супруга.

— Ах, батюшки, да как же мне его из головы выгнать, согласитесь сами.

— Оно, конечно, да всё лучше бы не упоминать.

— Право, не знаю, что может это мешать, если б я еще его не добром поминала.

— Всё как-то неловко.

— Да пожалуй, я постараюсь ни слова с ним об муже не говорить.

Несмотря на данное слово, Дарья Ивановна не могла сдержать его. От гофманских капель Фирст Игнатьич совершенно оправился.

— Она воскресила меня! — говорил он Андрею Павловичу: — не приди она, я бы умер.

Собравшись с духом и подстрекаемый Андреем Павловичем, он, наконец, решился объявить Дарье Ивановне задушевное свое желание сочетать судьбу свою с ее судьбою.

«Теперь прекрасный случай, — думал он: — начну с благодарности за участие ко мне и за оказанную помощь, а потом и объявлю... Ну, с богом!»

И вот, Фирст Игнатьич, разодевшись и прихолившись, отправился на половину хозяйки. Вошел

и смутился, поцеловал ручку, сел и молчит. Дарья Ивановна, предчувствуя решительную минуту, так же была смущена и тяжело дышала.

— Дарья Ивановна, — начал, наконец, Фирст Игнатьич: — я столько вам обязан, что уж и не знаю как благодарить.

— Помилуйте, Фирст Игнатьич, какая благодарность, вы как родной у меня... — отвечала Дарья Ивановна.

Фирст Игнатьич глубоко вздохнул.

— Если б я был так счастлив... — начал он; но на беду Дарья Ивановна чихнула.

— Желаю здравствовать!

— Покорно благодарю! Вот видите ли, что правда? Покойный мой муж необыкновенно как... (Ах, дура, что̀ это я? — прибавила про себя Дарья Ивановна, спохватившись).

— Что̀ изволили сказать? — спросил Фирст Игнатьич.

— Ничего... так, я вспомнила... (Ах, ты господи!) — И Дарья Ивановна смутилась.

Приятная наружность Фирста Игнатьича вдруг обратилась в суровую. Это заметила Дарья Ивановна. «Ах, дура, дура! — подумала она: — все дело испортила!»

И на глазах ее невольно выступили слезы.

Фирст Игнатьич посмотрел и вздохнул.

— Не угодно ли в пикет? — сказала Дарья Ивановна, желая отвлечь разговор от всех возможных воспоминаний.

— Если прикажете!

Но о предложении Фирст Игнатьич уже ни слова.

— Нет, брат, — сказал он на другой день Андрею Павловичу: — какое предложение, когда по сию

пору только что вспомнит о муже, тотчас и слезы на глазах.

— Ей-ей, вы ошибаетесь!

— Нет, любезный друг!

— Ну, позвольте мне за вас объясниться с Дарьей Ивановной.

— Нет, это неловко! Спасибо, брат, у меня у самого язык есть, да дело не в том!

После усильных просьб и убеждений Фирст Игнатьич согласился, наконец, чтоб Андрей Павлович был его сватом. Дело решилось; однакоже и тут, в минуту объяснений, Дарья Ивановна дала промах: некстати упомянула о муже и заплакала, но по простоте души тотчас же призналась, что она плачет не об нем, а с досады на себя.

Когда душа в человеке расцветает, все вокруг него начинает цвести. Домик Дарьи Ивановны как будто снова оделся цветом: крыша покрылась железным листом, стены законопатились, снаружи обились новым тесом, внутри обклеились обоями. Помолодели и Фирст Игнатьич и Дарья Ивановна, точно как будто кто обшил их новым тесом, обклеил алыми обоями — весело смотрят, как все приходит в порядок, строится по общей их мысли. О Наташеньке и Андрее Павловиче нечего и говорить. Наташенька тралла-ла, тралла-ла по комнате от радости, а Андрей Павлович то и дело: голюпцик мой, потялуй меня! Словом—*День веселия настал, все утехи прилетели, птички громко все запели.*

А в городе не одна уже, а все дамы говорят: «Я говорила, что Фирст Игнатьич не даром стоит на квартире у Дарьи Ивановны!»

Вот уж назначен и день свадьбы. Вдруг почтальон приносит Дарье Ивановне повестку: письмо со вложением *двадцати тысяч.* У Дарьи Ивановны

подкосились от ужаса ноги. «Господи, боже мой, откуда такой клад?» — повторяет она, торопясь в почтовую экспедицию.

Там сам почтмейстер встречает и принимает ее под руки, помощник провожает, а почтальоны почтительно кланяются.

— Изрядная сумма! из Шклова! — сказал почтмейстер, разрезывая толстое письмо с пятью печатями и вручая ей.

— Господи, боже мой! от кого ж это из Шклова? .. «Любезная тетушка... с год назад вы писали ко мне... просили прислать... тогда у меня ей-ей ничего не было... Теперь очень рад служить вам...» — Вася! .. ах дорогòй мой Вася! — проговорила Дарья Ивановна, едва переводя дыхание.

— Верно вам на свадьбу подарок?

— От племянника, — отвечала Дарья Ивановна.

— Наташа, Наташа! — вскричала она, прибежав домой. — Смотри-ко! читай!

Наташа стала читать письмо.

— Голубчик мой! — вскричала Дарья Ивановна, когда Наташенька прочла: «Вы, да Наташенька — только и родных у меня!» — Кто бы подумал, что из такого повесы выйдет порядочный человек? ну?

— «Наташеньке я везу жениха...» Чорт с ним! — вскричала Наташенька, вот еще!

— Ах, да читай, Наташа, навязывать не будут!

— «Моего приятеля, графа...»

— Графа! — вскричала Дарья Ивановна, — вот тебе раз! .. Ах, голубчик мой! графа! скажи, пожалуйста! .. вот, кто бы ожидал!

— Чорт с ним, маменька, с графом! — сказала Наташенька, бросив письмо и заплакав.

— Чтò ты это, с ума сошла! — вскричала Дарья Ивановна, подняв письмо с полу. «Пожалуйста

наймите богатый дом, со всей роскошью, да нашейте моей сестричке, будущей... графине... модного платья... и разных уборов... чтоб все было на знатную ногу...» Голубчик мой! слышишь, Наташа? «На расходы посылаю двадцать тысяч...» На расходы двадцать тысяч! «а сам привезу все приданое, шалей, материй... драгоценных вещей...» Господи! да он верно в миллионщики попал! .. Слышишь, Наташа, везет тебе какое приданое? .. шали, брильянты... ах, ты, мой отец! .. «Поторопитесь все устроить... недели через две я непременно буду...» Через две недели! да можно ли в две недели справиться! ..

Наташенька, вслушиваясь в слова матери, вдруг зарыдала.

— Что̀ ты это, моя милая, воешь?

— Как же мне не плакать... Бог знает, что̀ это такое будет! .. дали слово Андрею Павловичу.. все готово к свадьбе... а тут вдруг...

Наташенька не могла кончить, всхлипыванья стеснили ей дыхание, она закрыла лицо руками, бросилась ничком на диван и разливалась горючими слезами. Мать испугалась.

— Наташа, Наташа, душа моя! — вскричала Дарья Ивановна: — ах, дура я, в самом деле! у меня ведь и из головы вон... крестная с нами сила! .. Ах, господи! что̀ ж я буду делать?.. прислал двадцать тысяч на приданое... везет графа в женихи... что̀ я буду делать? .. Вот не было горя, пришел мат! Наташа, да скажи ты хоть словечко!

— Что̀ ж буду я говорить? Просили братца мешать моему счастию! ..

— Ну, кто просил его? я просила, что̀ ли?

— Чорт просил!

— Так бы ты и говорила: подлинно не во̀-время

такое счастие... Граф! что̀ ж мы будем делать, как он приедет? ведь нельзя же не приготовиться!

— Приготовляйтесь как хотите, маменька, а я умру!

— Это что̀ такое? ты думаешь, что я взяла, да так тебя и отдам графу?.. да мне будь он хоть разграф, я ему скажу: «Извините, ваше сиятельство, за счастие бы почла иметь такого зятя, да уж дочка сговорена, а слово не берут назад!»

— Конечно не берут, — сказала Наташенька, приподнявшись с дивана и отирая слезы: — мало ли графов, да князей, не за всех же выходить за̀муж... пусть себе ищут графинь; а я не графиня, да и ничего в свете не возьму, чтоб быть графиней-то.

— Не знаю, что̀ делать мне с этими тысячами, что̀ прислал Вася?

— Бросьте их, маменька, да и только!

— Скажи, пожалуйста! а Вася приедет, скажет: «Что́ ж это, тетенька, вы в лачужке живете?»

— Что̀ братцу за нужда, в чем бы мы ни жили, хоть в курятнике?

— Какая ты глупая! ведь ему стыдно будет показать графу нас... в таком наряде... в каких-нибудь ситцевых платьишках.

— Пусть его стыдится, а нам не стыдно, — сказала Наташенька: — где ж нам взять лучше?

— Так для этого-то он и прислал двадцать тысяч, чтоб мы пристойно, как следует по моде принарядились.

— Ни за что́! — вскричала Наташенька, — я и не выйду к нему.

— Скажи, пожалуйста! коли прикажут, так выйдешь!

— Ни за что̀!

— Как? ослушаться матери? Так такова ты дочь? .. Хорошо! прекрасно! за мои труды и попечения! спасибо!

Наташенька залилась снова слезами, опять зарыдала.

— Я чувствую, — сказала она, — что вы меня хотите выдать за графа, бог с вами!

— Господи! — вскричала и Дарья Ивановна прослезясь: — в этих тысячах чорт сидит! .. Нет, бог с ними! запру их до приезда Васи, и отдам назад! .. Не хочу я их, проклятых! не нужны они мне!

И Дарья Ивановна спрятала конверт с деньгами в комод, приласкала Наташу и помирилась с ней.

До Фирста Игнатьича и Андрея Павловича дошли слухи, что Дарья Ивановна получила двадцать тысяч от племянника; но они ни слова об них. И Дарья Ивановна молчит.

Через несколько дней совершилась свадьба матери и дочери.

— Фирст Игнатьич, голубчик, — сказала Дарья Ивановна: — возьмите, пожалуйста, спрячьте к себе двадцать тысяч, деньги моего племянника, Васи.

— Он к вам, душа моя, прислал их на сохранение?

— На какое сохранение! прочитайте письмо, бог знает что̀ пишет, да я... бог с ними! .. Приедет, пусть возьмет назад.

Фирст Игнатьич прочитал письмо и покачал головою.

— Что̀ ж вы, голубчик, ничего не говорите? неужто я худо поступила?

— Нет, вы, душа моя, поступили как следует быть: бог с ними, приедет, пусть возьмет назад.

Прошли две недели, три недели, месяц, год; а племянник Дарьи Ивановны не является с графом.

Об нем почти забыли и думать, а деньги лежат в сохранности в шкатулке у Фирста Игнатьича.

И Фирст Игнатьич и Дарья Ивановна посмотрят иногда, тут ли пакет с надписью «*двадцать тысяч* В. П. Дмитрицкого», и скажут: «Бог с ним, приедет, возьмет назад».

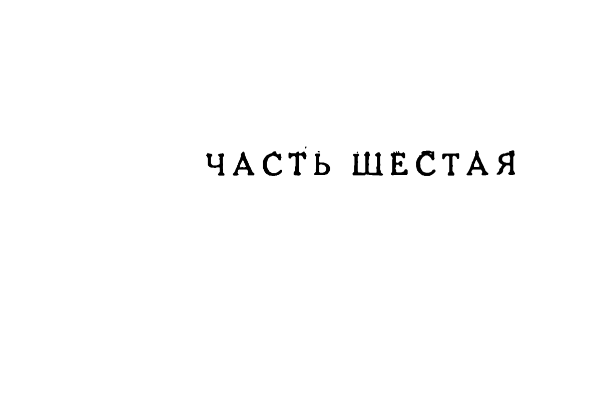
А Наташенька так счастлива за Андреем Павловичем, что позавидовать не грех.

Она уж нянчит миленькую Леночку на руках; а братца ее нет как нет. Иногда она говорит Андрею Павловичу, целуя его и дочь:

— Когда братец приедет, я спрошу его: что̀ лучше — графство и богатство, или вот эта радость?.. Агу! Леночка! Агушеньки-агу!

— Дай-ко мне ее на руки, — скажет Андрей Павлович.

— Извини, не дам! пошел прочь! нянчись с своими бумагами!



ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

Какие же противные судьбы помешали Дмитрицкому приехать на родину? Вот какие: он уже был на пути к Путивлю; но дорога лежала как раз через тот самый город, где Щепиков был городничим и где бедная заключенная Саломея вытребована была по приказанию городничего из острога в дом его благородия для шитья белья. Сначала посадили было ее работать в так называемую *девичью*, а правильнее *бабью;* потому что Катерина Юрьевна никогда не держала у себя в доме девок, зная, что этот народ балуется; но когда сама Катерина Юрьевна вышла в девичью и взглянула на Саломею, то тотчас же отдала приказ посадить ее работать в мезонине.

Щепиков, возвращаясь из полиции домой, вошел к себе не с парадного подъезду; но, считая необходимым заглянуть по хозяйственной части в конюшню, в сарай и в людскую, вошел со двора через кухню и девичью. Тут он приостановился и спросил у старой Маланьи:

— А где ж колодница, которую привели из острога шить белье?

— Барыня приказала посадить ее в мезонине, — отвечала Маланья.

— А! а для чего? Да кто ж здесь будет стеречь ее? Я там запер дверь снаружи и стеречь

нечего. Да, конечно, — сказал Щепиков, подумав что̀-то.

Этот мезонин был не что иное, как светёлка на чердаке, ход из сеней. Здесь обыкновенно вешали сушить белье. Окно светёлки выходило не на улицу, а на сторону к каменной высокой стене, которая разделяла деревянный одноэтажный дом, занимаемый городничим, с заездным двухэтажным домом. Против светёлки были два окна и расстояние так было близко, что обитатель светёлки мог разговаривать шопотом с постояльцем, занимающим на постоялом дворе комнату для ночлегу проезжих, откуда можно было наслаждаться видом и светёлки и крутой деревянной крыши, которая проросла мохом и уподоблялась зеленому лугу по скату горы.

По приказу барыни, Маланья, что̀-то в роде ключницы и ларечницы в доме, отвела Саломею наверх и омеблировала светёлку стулом с перевязанными ногами и старым матрасом, который за негодностью, съеденный молью, валялся на чердаке.

— Работай себе, мать моя, тут тебе будет хорошо; уж все не то что̀ в тюрьме. Как смеркнется, я тебе и поужинать принесу.

Поселив таким образом Саломею, Маланья вышла, приперла дверь, наложила пробой и заткнула колышком.

Среди людей человек самый несчастный как-то всегда спокойнее: наружные впечатления чувств развивают думы, которыми питается горе. В кругу веселых печальный смотрит на них, или удивляется с сожалением нелепой их радости, или завидует им, или презирает их, забывая самого себя; в кругу заботливых, хлопотливых, суетливых, дорожащих

каждым мигом жизни, человек, потерявший цену жизни, опять-таки смотрит на суету сует, думает: «чего эти люди хотят, чего ищут?» и забывает себя. Но в уединении все чувства сосредоточены в самом себе, нет для них развлечения; нет пищи взору видеть, уху слышать, нет настоящего; куда ж скрыться от пустоты, как не в прошедшее и не в будущее? В прошедшем пища — горе воспоминания, в будущем — тоска ожидания.

Оставшись наедине, Саломея не могла приняться за работу, она бросилась на матрас с отчаянием и лежала как беспамятная. Настал вечер, дверь отворилась, вошла Маланья с чашкой.

— А ты уж спишь? На-ко щец.

— Благодарствуй, мне не хочется есть.

— Ну, как изволишь, спи себе.

Маланья вышла и приперла дверь.

Саломея рада была бы забыться, но не могла; ей душно, она мечется, срывает с головы платок, открывает окно, садится подле, и мысли ее полны отчаяния, глаза вымеряют высоту. Посреди тишины послышался колокольчик, всё ближе и ближе, и вот коляска остановилась подле заездного дому. Поднялся говор и шум; это развлекло Саломею, она прислушивалась; но вскоре всё снова утихло, кругом тишина; Саломея снова предалась мыслям; облокотясь на окно и склонив на ладонь голову, она смотрит на яркую луну, которая, кажется ей, быстро катится по волнам облачков. Вдруг одно окно заездного дому против светелки с шумом растворилось и отдернулась занавеска.

— Фу, жара, духота какая! Скверность! — раздался голос в окне.

Саломея вздрогнула. Этот голос был очень знаком ей.

— Фу! Что̀ за гадость эти городишки с своими растеряциями! Хоть бы из окна окатило свежим воздухом! — продолжал какой-то мужчина, высунувшись из окна; и он сдернул с головы парик и начал им прохлаждать себя как веером.

Саломея устремила на него глаза, и вдруг взор ее дико загорелся, бледное лицо жарко вспыхнуло, из взволновавшейся груди готово было вырваться восклицание; но она как будто подавила в себе женскую слабость, задушила звук и сжалась, припала как тигрица, чтоб одним прыжком прянуть на близкую жертву. Выкатившаяся луна из-за тучи осветила слегка Саломею. Дмитрицкий заметил ее. В окошечке терема горячее женское личико, пламенные очи, распавшиеся по открытым плечам волоса... все это озарено луною — воображение разыгралось. «Чудо!» — подумал он, и послал рукой поцелуй.

— Это он, он! — прошептала Саломея с злобною радостью: — не узнал меня!

Она поотдалилась немного от окна.

— Куда ж ты? Душенька! Хорошенькая! О ты, кто бы ты ни была, простая смертная, или богиня. Послушай! Я перепрыгну к тебе!

Саломея не сводила взору с Дмитрицкого, дрожащие уста ее как будто шептали:

— Поди, поди сюда, блаженство мое! Поди сюда, низкая душа! Я обовьюсь около тебя змеей, я задушу тебя в своих объятиях!

— А! Что̀ говоришь ты? — продолжал Дмитрицкий, давая знак руками, что он во что̀ бы ни стало, а преодолеет все преграды, разделяющие его с таинственной заключенной в тереме красавицей.— Можно? Ты одна?

Саломея кивнула головой,

«Наша!» — подумал Дмитрицкий, и, вымеряв расстояние окон, он также кивнул головой и подал знак: сейчас же буду твой!

Задернув занавеску, — Эй! — крикнул он, — молодец! Я на этом проклятом диване с клопами спать не буду; принеси мне две доски и положи на стульях.

— Да будьте спокойны, ваше сиятельство, клопов у нас не водится, — сказал трактирный молодец.

— Что̀ велят, то делай! — прикрикнул Дмитрицкий.

— Есть доски, да длинноваты.

— Ну, тем лучше, неси!

Длинные доски были принесены и положены на стулья. Черномский или, вернее, Желынский, в должности Матеуша, стал стлать постель.

— Да ну, скорее! Я, мо̀чи нет, спать хочу.

— А пан заказал ужин.

— Не хочу, ешь сам. Ступай.

— А раздеваться, пан?

— Не буду; так лягу, чтоб не заспаться. Ступай.

Желынский вышел, а Дмитрицкий торопливо отдернул занавеску, послал поцелуй к таинственной деве и принялся потихоньку, без стуку, разбирать постель. Одну доску перекинул он мостом чрез пространство между окном и забором, с другой отправился по этому мосту и устроил переправу до окна светёлки. Саломея затрепетала, когда он прыгнул в окно и тихо проговорил:

— Душенька!

В это самое время Щепикова мучила бессонница; он приподнялся тихонько с ложа, на котором покоилась уже добрым сном Катерина Юрьевна; но она была чутка.

— Куда ты? — спросила она сквозь сон.

— Никуда, душа моя, спи! — отвечал Щепиков, надевая халат.

И он пошел дозором, выбрался в сени и потом, едва дотрогиваясь до ступеней, на четвереньках, как кошка, взобрался по крутой лестнице на чердак, сделал несколько шагов к светёлке, и вдруг присел от ужасу.

— Чудо, роскошь, восторг! да ты просто наслаждение! — раздавалось там вполголоса.

— Постой, постой!—послышался женский голос.

— Чего стоять, радость моя...

— Постой! — И вдруг что́-то грохнулось с страшным стуком, и задребезжало разбитое стекло.

— Что̀ ты это? — кто-то вскрикнул.

— Ничего, — отвечал женский дрожащий счастием и блаженством голос: — я только сбросила доску...

— Ах, безумная, что̀ ты сделала! Как же я отсюда выйду?

— Зачем уходить? Ты не уйдешь отсюда, не оставишь меня! Теперь ты мой, душа моя, друг мой! Обними свою богиню, ласкай... а я вопьюсь в тебя!..

— Ах, чорт, да это в самом деле богиня, или безумная!

— Куда? Нет, я тебя не пущу! Не пущу, жизнь моя!

— Прочь! вцепилась когтями! с ней не сладишь!

— Какое счастие! Какое благо!

— Тс! Что̀ ты кричишь! Ах, проклятая!.. Кто-то идет!..

— Ничего!.. Это шум... Это сюда идут... Куда? Нет! Ни шагу от меня! Теперь ты мой!

— Шутки!

— Нет! Не шутки! .. Я блаженствую, пользуюсь минутой счастия, обнимаю тебя, целую!

— Караул, караул! — закричал Щепиков, услышав страшную борьбу и крик, поднявшийся в светёлке.

— Идут! .. Пусти, дьявол!

— Нет! не пущу! .. Мои руки крепче оков, они так и окостенеют! Чувствуешь ли ты колодку на шее? .. Это я, твоя Саломея, любовь твоя...

— У! проклятая! демон!

Между тем как эта сцена происходила в светёлке, весь дом поднялся уже на ноги. Доска, которую Саломея столкнула с окна светёлки, ударилась концом в окно спальни, где покоилась Катерина Юрьевна. Она вскочила с испугом, хватилась мужа, его нет, подняла крик, выбежала в девичью, перебудила своих баб, послала будить людей и дворню, послала в полицию; а между тем ходит со свечей по всему дому и ищет мужа — внизу нет.

— Посмотри-ка в светёлке! — говорит она Маланье: — ведь там колодница.

— Там, сударыня.

И вслед за Маланьей, Катерина Юрьевна взбирается на лестницу, а Щепиков навстречу.

— Что̀ это такое, сударь? Это что̀? ..

— Караул! Людей сюда! Послать в полицию! — кричит Щепиков, — скорее!

— Слышишь? — раздается громкий голос Саломеи в светёлке, слышишь: — «Людей, полицию!» Нас хотят разлучить! ..

— Сюда, сюда! — кричит снаружи Щепиков. — Отворяй светёлку!

Дверь отворилась; несколько полицейских солдат, а за ними Щепиков, жена его, люди, вошли в светёлку.

— Помогите! — вскричал Дмитрицкий, около шеи которого обвилась Саломея, как змея: — помогите, безумная душит меня!

— Берите их, берите! — кричит Щепиков.

— Позвольте, — сказал Дмитрицкий, освобождаясь от Саломеи. — Я граф Черномский, остановился подле, окно против окна; вдруг вижу эту безумную, которая кричит: «Помогите, помогите!» Я думал, что пожар, бросился в окно, спасать ее. . .

— Не верьте, не верьте сказкам! Это мой любовник, душегубец! Мы вместе с ним грабили и душили людей! — вскричала Саломея.

— Вяжите им руки! — вскричал Щепиков.

— Позвольте, — сказал Дмитрицкий, — справьтесь в заездном доме, там мой экипаж и человек, я в ночь приехал. . .

— Тащите его в полицию! — вскричал Щепиков.

— А эту-то, а эту-то? — вскричала Катерина Юрьевна, — здесь оставить, что̀ ли? Вяжите и ее, тащите и ее вон!

— Постой! Обыщите его! — сказал Щепиков своей команде.

Приказание городничего тотчас же было исполнено; десять рук полезли шарить по̀ карманам и, вынув бумаги и довольно толстый конверт, передали городничему; довольно же толстый кошелек засунулся сам в рукав хожалого, так что он того не заметил и доложил, что больше ничего не имеется в карманах.

— Теперь я спокойна, мы неразлучны с тобой! — проговорила задыхаясь Саломея, когда ее повели вместе с Дмитрицким. Глаза ее пылали, лицо горело; с распущенными, разбросанными волосами она казалась безумной,

— Вы будете отвечать! — сказал Дмитрицкий Щепикову.

— Хорошо, приятель! — отвечал Щепиков.

Саломею и Дмитрицкого с связанными руками препроводили в полицию. Допрос отложен был до утра, а до допроса сонные будочники толкнули их в арестантскую избу с разжелезенными окнами и заперли.

Тут не было мужских и женских отделений. На нарах лежали несколько колодников в оковах и без оков. Так как прибыль постояльцев была не новость для них, то они сквозь сон взглянули на прибылых и захрапели снова.

На бледном лице Саломеи выражалось то злобное равнодушие к судьбе своей, которое составляет противоположность отчаянию.

— Я теперь вполне счастлива! — сказала она, садясь на пустое место нар. — Мое желание исполнилось, я опять с тобой! ..

— Проклятая баба! — отвечал Дмитрицкий, ложась на нары: — попутал чорт связаться!

— Не чорт, мой друг, а пламенная любовь, — сказала спокойно, но язвительно Саломея; — ты слишком был ветрен — я тебя опутаю оковами любви.

И она потрясла оковами лежащего подле колодника.

— Молчи, проклятая баба! я спать хочу!

— Спи, дитя мое, я убаюкаю тебя, спою колыбельную песню.

И Саломея запела:

У кота ли, воркота,
Колыбелька хороша!

— Вот чортов певец явился! — проговорил один из колодников.

Саломея еще громче запела; она, казалось, была очень счастлива и ей как будто невольно пелось.

— Я заткну, брат, тебе глотку! — крикнул опять сквозь сон колодник, подле которого сидела Саломея.

— Не тронь ее, пьяную бабу не уймешь, как расходится, — прохрипел другой.

Дмитрицкий, казалось, крепко спал.

— Уснул, — сказала Саломея, — ты спишь, мой друг? — И она подошла к Дмитрицкому, дернула его за рукав.

— Послушай, ты спишь?

— Поди ты прочь! бес! — вскричал он очнувшись.

— Ну, спи, спи! Я тебя не беспокою; я буду гонять мух от тебя; здесь такая тьма мух. Ш!

— Пьфу, чорт какой! — вскричал Дмитрицкий, соскочив с нар.

— Что̀ ж ты не спишь, друг мой? Может быть тебе жестко лежать? Ничего, можно привыкнуть.

— Послушай, Саломея Петровна, знаешь ли что̀? — сказал Дмитрицкий.

— Что̀?

— Ты очаровательное существо; ей-ей! Я от тебя всегда был в восторге, а теперь еще более. Я вполне понимаю тебя: в тебе не просто человеческая природа... Постой, постой, дай кончить!.. Я не шучу. Знаешь ли что̀?

— Что̀? — спросила презрительно Саломея.

— А вот что̀: между животными есть ядовитые животные, между растениями ядовитые растения, так и между людьми есть чортовы зелья, которые всё отравляют; понимаешь?

— А ты что̀ такое?

— Я? Я антидот; то же, да не то: ты similia, а я similibus...[1]

— Ледяная душа, холодное существо! — вскричала Саломея, — ты погубил меня!

— Погубил? Чем? Будто ты погибла? напротив, ты лучше стала, чем была, ты усовершенствовалась!

— Забавляйся моим несчастьем, злодей. Но и тебе выхода отсюда не будет! Я тебя скую в железо, наряжу в колодки.

— Э, помилуй, еще молоды; износим и эти наряды; да что об этом говорить, расскажи лучше, каким образом ты здесь очутилась, а?.. Да, впрочем, догадываюсь...

В это время двери сибирки отворились и слова Дмитрицкого были прерваны солдатами, которые вошли выгонять колодников на работу.

II

В то время, когда поднялся шум в доме городничего, Желынский или, всё равно, грабе Черномский, исправлявший должность Матеуша, только что стал трудно засыпать в комнате, рядом с занимаемой Дмитрицким. С тех пор, как случилось с ним страшное превращение из пана грабе в камердинеры, строгий пан Дмитрицкий держал его в руках и так заботился искоренить из него вельможную спесь, вселить повиновение и расторопность, что в продолжение дня не давал ему минуты на думу о своей горькой участи. Ложась спать, утомленный,

[1] Similia similibus (симилиа симилибус) — латинская формула гомеопатов; значит она: от чего заболевают, тем и лечатся. Выражение «ты similia, а я similibus», значит: ты то, от чего заболевают, а я то, чем лечат.

он также не мог ни о чём думать, потому что все члены его, исключая двух рук, привыкших метать банк и загибать углы, изнеженные беспечной жизнью, требовали покоя и сна. Таким образом в самое короткое время из шулера он обратился в скверного лентяя-слугу. Боясь зоркого глазу и пистолетов Дмитрицкого, он забыл и думать о возврате прав своих на диплом пана грабе и на приобретенный картежными плутнями капитал иначе, как чрез женитьбу на сестре Дмитрицкого. Понимая нрав Дмитрицкого, он ему верил и вполне успокоился в ожидании приезда в Путивль.

Ложась спать на постоялом дворе, мнимый Матеуш размечтался об этой женитьбе.

— Моя стàра пани Желынска не мыслит и не гадает, что я женюсь на панне Наталии! Женюсь себе и кончена речь! Го! Чтò ж тут такого? То не женатый пан Желынский женится, а холостой пан грабе Черномский, пан Желынский уж стар; а пан грабе, когда перукарж уладит парик и умастит перфумами — просто юноша...

Когда внезапный грохот и посыпавшиеся стекла прервали эти мечты, Желынскому показалось, что всё это случилось в комнате Дмитрицкого.

— Панна матка бога, чтò там такое! — проговорил он с ужасом, вскочив с ложа своего. — Пане, а пане! Спит пан?

Ответу нет.

Желынский попробовал, заперты ли двери; двери свободно отворились. Боязливо взглянув в комнату, освещенную луной, он заметил, что пана нет, постель разбросана, в отворенном окне доска, на столе парик грабе Черномского, часы и пистолеты.

Боязливо Желынский осмотрелся снова кругом; послышавшийся шум в соседнем доме заставил его вздрогнуть и отступить к дверям; но вдруг, как кошка на мышь, он бросился на парик, нахлобучил его себе на голову, схватил пистолеты, часы и стоявшую в головах постели шкатулку, и начал кричать:

— Караул, караул! Ратуйте! Хозяин, кто тут есть!

Хозяйка прибежала прежде всех со свечой, но, встретив в дверях Желынского, плюнула и побежала назад, с криком:

— Ах ты, срам какой! Да что́ он, с ума что́ ли сошел! Хозяин, ступай, что там приключилось ему!

— Что́ вы, батюшка, что с вами?

— Беги в полицию, хозяин! Дай знать, что мошенник Матеуш хотел убить меня и обокрасть... Меня, графа Черномского, слышишь? Скорей ловить его! Скажи, что он ограбил меня!.. Слышишь? А вы, ребята, подите сюда, стерегите меня и мои вещи! Ищите мошенника! Он где-нибудь спрятался!.. Он убьет меня!

Хозяин побежал в полицию, а между тем Желынский, обставив себя народом и повторяя: «Держите его, разбойника, если откуда-нибудь покажется, я вам дам красненькую на водку», он с жадностью осматривал все ящики своей шкатулки и в то же время, вытащив из сундука новую пару платья, одевался в щегольской фрак.

— Так и есть, тут нет моих бумаг и нескольких тысяч денег! Ах он, бестия!.. Стойте, братцы, не уходите никуда: красненькую вам... слышите?

— Слышим, ваше сиятельство, — отвечали работники постоялого двора, обращаясь к сбежавшимся проезжим ямщикам:

— Вы, братцы, ступайте себе, вы не здешние!

— Так что ж что не здешние! Его сиятельство не вам одним посулил; да мы еще прежде вас поспели на помощь, вот что...

— Смотрико-с! а чорт вас просил! Ступай, говорят, здесь вам не место!

— Куда ты их гонишь? — вскричал Желынский.

— Да вот, что им делать здесь, это не наши, а проезжие.

— Нет! никто не смей уходить, покуда полиция не придет!

— Да вот квартальный.

— А! Вы господин квартальный?

— Так точно-с.

— Очень рад! .. Прошу вас засвидетельствовать: мой человек, Матеуш, каналья и пьяница, обокрал меня и ушел... вот в окно, изволите видеть? Хотел было убить!

— Так-с, — отвечал квартальный, — действительно! Он пролез в светёлку к господину городничему; и тут должен был быть-с заговор... заговор с женщиной, с колодницей... она ему помогала... это уж верно-с; я уж теперь понимаю! ..

— С какой женщиной?

— С одной-с, нам она известна-с.

— Так сделайте одолжение, надо скорей в погоню; мошенник ограбил меня, хотел убить, унес бумаги мои и деньги...

— За кем в погоню-с?

— За этим разбойником, Матеушом.

— Не беспокойтесь, пойман-с.

— Как, пойман?

— Ей-богу-с, вместе с женщиной; они и городничего хотел обокрасть, да подрались, изволите ви-

деть, и произвели шум; а дозорная команда и нагрянула... Поймали-с! Извольте, ваше сиятельство, подать в полицию объявление...

— Объявление? — проговорил Желынский, не понимая, что за благодетельная судьба вытащила Дмитрицкого в окно прямо в полицию.

— Как же-с, — продолжал квартальный: — объявление, что вот так и так, о чем градскую полицию и объявить честь имею... Просто-с; а уж там наше дело.

— Да это протянется бог знает сколько времени, а мне надо завтра чем свет ехать!... Нельзя ли теперь же отобрать у него бумаги и деньги...

— Все отобрано-с, хранится у господина городничего; уж до завтра; теперь невозможно.

— Ах, досада какая!

— Никак нельзя, ваше сиятельство.

— Так позвольте я сейчас же напишу объявление; только я не знаю формы.

— Да не угодно ли я напишу, ваше сиятельство.

— Сделайте одолжение; вот вам бумага и чернила.

— Извольте сказать приметы вашего человека или, лучше всего, пожалуйте паспорт его.

— Паспорт? Паспорта нет.

— Как же, ваше сиятельство, беспаспортного держать у себя?

— Нет, не то, я хотел сказать, что и паспорт он унес вместе с моими бумагами.

— Так позвольте приметы, имя и прозвище.

— Имя — Матеуш, то есть Матвей, а прозванье его я не упомню... я в самый день отъезда нанял его в Киеве...

— Без прозванья нельзя-с.

— Кажется... Дмитрицкий... Именно! Матвей

Дмитрицкий, лет тридцати, белокур, чист лицом, глаза карие, нос правильный...

— Нос правильный... росту... кажется, среднего; теперь что̀ именно снес со двора?

— Бумаги! паспорт и подорожная на имя мое, то есть графа Яна Черномского; пачку денег около трех тысяч... да в кошельке золотом червонцами более тысячи...

После долгих переспросов и повторений, объявление было написано, Желынский подписал его и вручил квартальному с изъявлением благодарности за труд и просьбою поскорее доставить ему бумаги и деньги.

— Об этом, ваше сиятельство, надо будет переговорить с господином городничим, — заметил квартальный и удалился.

Все это происшествие Желынскому казалось сном; он протирал глаза, смотрел на себя в зеркало, отворял несколько раз шкатулку, при малейшем шуме хватался за пистолеты и становился в позицию против дверей, и в этом тревожном состоянии пробыл до утра. Долго ломая себе голову соображениями, каким образом Дмитрицкий исчез из комнаты и очутился в полиции за воровство, Желынский, наконец, решил, что что̀-нибудь да не так; невозможное дело, чтоб Дмитрицкий вылез сам из окна и пойман был в воровстве... пустяки! Верно воры влезли в окно, задушили Дмитрицкого, вытащили вон и куда-нибудь запрятали, чтоб отклонить подозрение от грабежа, и чтоб местное начальство при исследовании события сделало заключение, что в ночь на такое-то число, такой-то пан грабе Черномский неизвестно почему скрылся чрез окно такого-то постоялого двора, и ныне неизвестно где находится; в городе же его по обыске не оказалось.

«Именно так! — утвердительно решил Желынский: — в полиции не он, а какой-нибудь из пойманных воров. Но тем лучше, — подумал он: — лишь бы отыскались бумаги и деньги».

Часов в девять утра явился снова квартальный и просил пожаловать его сиятельство в полицию для удостоверения по форме, что действительно взятый под арест неизвестный человек есть его камердинер Матеуш.

Со всею важностью вельможного пана Желынский, облеченный в парик графе Черномского, отправился в полицию, сопровождаемый квартальным и хожалыми. Перед ним почтительно отворились двери, и он вошел в переднюю комнату, где между просителями, колодниками и командой стоял и Дмитрицкий с связанными назад руками.

Взглянув на него, Желынский оробел несколько, но не потерялся.

— А-га! вот он, молодец! — сказал он приостановясь и смотря прищурясь на Дмитрицкого: — что, попал, любезный? Ну, не надеялся я от тебя такого поступка! Ты казался мне добрый малый... не надеялся...

— Ах, это ты, мерзавец! пьяница Матеуш, нарядился в мой фрак! Как ты смел, бестия! — крикнул Дмитрицкий, притопнув ногою и бросившись к нему.

— Ай, ай! Ратуйте! — вскричал Желынский, отскочив от Дмитрицкого и вбегая в комнату, где стояло зерцало и присутствовал городничий: — помилуйте, этот мошенник убьет меня!.. Вы господин городничий?

— Так точно, — отвечал Щепиков: — с кем имею честь говорить?

— Я граф Черномский; вам уже известно по

поданному объявлению, что слуга мой Матеуш обокрал меня и бежал; но пойман полицией... я вас прошу заключить его в кандалы, а мне возвратить украденные вещи.

— Так точно, ваше сиятельство, но позвольте сделать ему допрос...

— Нет, прошу вас форму суда исполнять как угодно после моего отъезда; я еду по важным делам в столицу, что̀ можно видеть из бумаг, которые при мне... пожалуйте сюда...

И Желынский вышел с городничим в соседнюю комнату, служившую архивом и спальней дежурного.

Тайное объяснение продолжалось недолго; Щепиков первый подал голос:

— Конечно, ваше сиятельство, удерживать вас мы не можем; но каким же образом насчет суммы денег, найденной у него: вы изволите показывать, что украдено три тысячи; а в конверте, который вскрыт в присутствии, вот при господах заседателях, оказалось только осемь сот рублей...

— Без сомнения он поделился с кем-нибудь или пропил, — заметил один из заседателей.

— Я эту претензию оставляю, пожалуйте мне бумаги и остальные деньги, — сказал Желынский.

— Извольте, — отвечал Щепиков.

— Денег не следует возвращать до окончания дела, — сказал заседатель: — они должны быть при деле.

— Так уж извините, ваше сиятельство.

— Ну, так и быть, пусть их остаются при деле, пожалуйте бумаги.

— Да, ведь, Иван Иванович, и бумаг нельзя выдать, — заметил опять заседатель: — ведь дело уголовное...

— Как нельзя! Я должен ехать сейчас! — вскричал Желынский.

— Что ж делать, ваше сиятельство, я не могу изъявить согласие на выдачу их... разве... вы изволите согласиться оставить свое требование и уничтожить объявление; так в таком случае, мы своим порядком, не упоминая о покраже, препроводим вашего слугу, как пойманного бродягу... в таком только случае...

— Ну! нечего делать! Пропадай он! пожалуйте объявление и мои бумаги.

— Извольте сперва уничтожить...

Заседатель возвратил объявление Желынскому, который его разорвал; а городничий вручил ему бумаги, пожелав ему благополучного пути.

Не оглядываясь на Дмитрицкого и ни слова не говоря, Желынский, как говорится, шаркнул через переднюю, почти бегом добежал до постоялого двора, одним прыжком взобрался на лестницу, крикнул:

— Хозяин, скорей мне четверку почтовых лошадей! — и потом, отирая струившийся с лица пот, стал укладываться, сбираться в дорогу.

III

Если вам в память один из обожателей Саломеи Петровны, старый холостяк, Платон Васильевич Туруцкий, то мы обратимся теперь к нему.

Платону Васильевичу Туруцкому было уже около семидесяти лет, когда его однажды на пути к английскому клубу постигла внезапная любовь к Саломее Петровне.

В давние времена, не имея никакого еще чина, по огромности своего состояния он был избран в

какую-то почетную должность, и его величали «превосходительством». Его превосходительству невозможно было не быть членом английского клуба. Как холостяк, в какой семье, лучше этой, проводил бы он время. Вследствие обычая, звания, должности и имеющегося дома в Москве, он и поступил в неизменные копья клуба. От должности получил он увольнение; но ни за что уже не хотел вступить в коронную службу, чтоб не лишиться титула: в клубе привыкли его величать «его превосходительством», особенно постоянные его партизаны в вист заметили, что когда они величали Платона Васильевича его превосходительством, тогда Платон Васильевич был занят более своею важностью, нежели игрою, необыкновенно как рисковал и щедро платил за воздаваемую ему почесть; просто же Платон Васильевич, без прилагательного, играл осторожно, скупо и ужасно счастливо.

Живя в большом кругу, Платон Васильевич повсюду был в числе званых и почетных гостей; потому что нигде нет столько нужды и крайней потребности в заимодавцах, как в большом свете. В хижине пусто, голо, нет куска хлеба; да можно ли это назвать бедностью? Если не подаст на хлеб добрый человек, так подаст бог, и послезавтра и до окончания века — перекрестится и сыт. А вот в этих отелях, во вкусе перерождения, где все рококо, — дело другое: там нужда в золоте, бедность великолепно разряжена, крайность рыщет чорта ради — за куском хлеба и за копеечкой в карете на английских рессорах, на какой-нибудь четверке вороных — шея дугой, хвост трубой; но светский кусок и светская копеечка не простые: из куска хлеба можно насушить корабля два сухарей, а копеечку разменять на золото, на серебро, на ассигна-

ции и на что угодно; потому что она, чортова бесценная копеечка, тратится без счету, берется в долг без отдачи, или с отдачей на том свете угольями!

Просто Платон Васильевич был скуп и не заимодавец, но у обязательности «его превосходительства» можно было знатным людям *перехватить;* это было причиной, что звание Платона Васильевича оставалось при нем и в обществе и его особе был нередко такой почет, что иногда можно было подумать, что он не просто «его превосходительство», а с мазом. Когда родитель Саломеи, Петр Григорьевич, почувствовал истощение внешних сил своих, тогда душа его восчувствовала потребность в Платоне Васильевиче и особенное уважение к нему.

Начав волочиться за ним, во-первых, он нашел случай предложить ему очень кстати понюхать своего табачку.

— Прекрасный табак... удивительно хорош! бесподобный! вот это табак! скажите, пожалуйста, где вы покупаете его? чудный табак!

— Это просто рапе́, но я его особенным образом смачиваю; если вашему превосходительству угодно, то я открою вам этот секрет.

— Ах, сделайте одолжение; я с своей стороны открою вам отличный способ смачивать табак; извольте понюхать моего.

— Бесподобный! признаюсь вам, ваш превосходнее!

— Вам нравится? Секрет состоит в том, чтоб взять лучшего нюхательного испанского табаку, настоять его крепче в простой воде и этим настоем смачивать — вот и все.

— Скажите, пожалуйста, я употребляю точно

то же средство, только вместо испанского русской табак.

— Неужели? русской?

— Русской.

Слово за слово, знакомство было сделано; очарованный отцом, Платон Васильевич пленился дочерью.

Как ни презирала Саломея Петровна старость, но титул превосходительства и привилегия богатства имели на нее какое-то обаяние. Сочувствуя в себе высокие достоинства, ей унизительно казалось уподобляться пестрой бабочке, за которой носится стая мотыльков; природа наделила ее какою-то сценической важностью, и она любила окружать себя величием и штатом людей значительных в свете: и посреди их воображала себя чем-то в роде Семирамиды.

Желая и Платона Васильевича приковать к подножию своему, она очаровала его своим вниманием и любезностью до того, что он едва не забыл о своей обязанности быть в клубе. Она даже спросила его: «вы танцуете?» и когда Платон Васильевич, несколько смутясь, отвечал, что в его лета танцы — анахронизм, Саломея очень мило высказала, что лета ничего не значат, что современная молодежь состарелась, одряхлела и съела зубы прежде отцов, и что теперь уж юношей нет, юношеского возраста не существует.

— Действительно! — вскричал Платон Васильевич: — совершенная правда! теперь из *анфанов* поступают прямо в madame и monsieur!

— Чтоб убедиться в этом, стоит только взглянуть кругом нас, — отвечала Саломея: — посмотрите вот на этого monsieur Калякин, который ходит в сапогах с высокими, с отвалом, каблуками,

как на рогульках, движется как точеный из дерева и обклеенный сукном; носится со шляпой в руках за дамами и гласом величия говорит им глупости,— ему от роду шестнадцать; а вот, проживший уже около двух десятков лет на свете человек в чинах, лицо подернуто какой-то важной мыслью, которая пышно развивается в голове, он занят также каким-нибудь преобразованием, а вот эта улитка, которая совсем вылезла из платья — это кокетка в шестнадцать лет.

Саломея очень складно наговорила тьму пошлостей насчет юношей и юных дев, которые воображали, что они что́-то такое экстренное на свете. Разумеется, что все это было сказано также *от сознания собственного своего достоинства* и ничтожества всех других. Саломее Петровне было уже за четверть столетия, и новый урожай общества, хоть и недоносок, но всё-таки шел впереди ее.

Платон Васильевич в первый раз, вместо того чтоб говорить самому, слушал ее, подтверждал ее мнения и дивился глубине ее ума и замечаний насчет нового поколения. Платон Васильевич, как богатый человек, окруженный всегда людьми, оказывающими почтение и мешку, заключающему золото, как атмосферой, не примечал, что за этой атмосферой носятся молодые миры как кометы, волосатые, с длинным хоботом, голова пуста, сквозит, но блеску тьма. Платон Васильевич по природе сам был некогда из числа комет, которые должны обращаться в спутников, в челядь планетную; но количество наследственной материальной магнитной силы — словом, злата—дало ему самостоятельность в системе планетного мира, титул превосходительства в обществе и звание члена в английском клубе. Но эта самостоятельность была бесплодна,

ничего из себя не развивала, не производила, как мир, не возбужденный электричеством другого мира. В английском клубе он бы и иссяк; но встреча с Саломеей возбудила в нем деятельность органических сил, и Платон Васильевич на старости лет вдруг зацвел, и в первый раз после свидания с Саломеей отправился в клуб не по желанию, а по навыку отправиться в известное время в известное место. В первый раз родилась у него в голове задушевная мысль, но в чем она состояла, нельзя догадаться даже по наружности; потому что мускулы его лица позатвердели в ненарушимом спокойствии, а в глазах затянуло уже от времени продушины, чрез которые газы, образовавшиеся в сердце, истекая, загораются от прикосновения воздуху. Когда Платон Васильевич приехал в клуб, на его лице выражалась какая-то заботливость, а в движениях торопливость.

— Иван Иванович, — сказал он без изъявления своего почтения первому встречному сочлену: — не знаете ли вы кого-нибудь известного по своему искусству архитектора?

Иван Иванович, вместо ответа, сделал с своей стороны обычный вопрос:

— Для чего это вам, Платон Васильевич?

— Для чего! Разумеется, для построек.

— А значительные постройки?

— Да, и очень значительные.

— Здесь, в Москве, или в подмосковной?

— Здесь, — отвечал с нетерпением Платон Васильевич.

— Здесь, а! Позвольте узнать, в чем они будут состоять?

— Об этом уж мое дело будет посоветоваться с архитектором; вас прошу только адресовать мне

какого-нибудь из'звестного, хорошего архитектора, в новейшем вкусе.

— Я, право, не знаю ни одного, потому что я сам...

— Так вы бы так и сказали! — произнес Платон Васильевич, отходя от Ивана Ивановича.

— Да позвольте, Платон Васильевич... если вам нужно произвести какие-нибудь постройки, то я не хуже архитектора могу дать вам советы; я у себя в деревне произвел много построек: дом построил — хоть куда! Вот хоть сюда перенести и поставить рядом с клубом... я вам сейчас расскажу его расположение — удивительное! Без плана, совершенно без плана! да что план — пустяки... Куда ж вы?

— Нет уж, извините, Иван Иванович, мне нужен архитектор!

— Как хотите... Странный человек!

— Что такое, Иван Иванович? — спросил некто Степан Федорович: — что такое?

— Да как же... чудак! хочет строить дом...

— Кто?

— Да вот Платон Васильевич.

— Туруцкий?

— Ну да; не имеет ни малейшего понятия о постройке и не думает посоветоваться с добрыми людьми. Видишь, архитектор лучше знает дело!

— А какой это архитектор?

— А чорт его знает! что мне архитектор; я сам построил план на пятнадцати саженях не хуже архитектора.

— Уж, разумеется, если взять архитектора, так нужно человека знающего дело... Жаль, что Туруцкий не посоветовался со мной, к кому в этом случае прибегнуть.

— Что такое? О чем дело, Степан Федорович?

— Да об архитекторе говорим.

— О Монферране?

— Нет, один из молодых русских архитекторов, — необыкновенная способность!.. Я готов каждому его рекомендовать.

— О, так вы любите отечественные таланты, придерживаетесь посредственности.

Из этого завязался современный спор между поклонником внешнего мира и любителем внутреннего. Целая толпа сочленов приняла участие и, разумеется, разделилась на две армии, и заспорили как плоть и душа, обитающие в едином теле. Очень естественно, что представители плоти доказали, что внешний мир есть мир лучший, веселый, питательный, упоительный, и заключили, что и английский клуб есть произведение мира внешнего, а не внутреннего.

— Вы зачем пожаловали сюда, если считаете просвещение европейское и его формы нелепостью? Сидели бы у себя дома, посреди патриархализма!

— Как зачем? — спросили представители внутреннего мира, не зная что отвечать, как обнаруженные грешники.

— Да, зачем? сидели бы дома.

— Э, mon cher, не всякий может быть дома; а между тем каждый хочет быть где-нибудь как дома. Теперь же домашний климат невозможно уравновесить; мужа от жены в жар бросает, а жене от мужа несет холодом.

Платон Васильевич в другое время, по обычаю, наговорил бы с своей стороны в пользу если не внешнего просвещения, то по крайней мере в пользу клуба тьму сентенций; но он что́-то был задумчив, молчалив и только во время игры повто-

рял одному из своих партнеров: «так не забудьте же, Иван Васильевич, прислать ко мне завтра вашего архитектора», а другому: «как-бишь, Петр Григорьевич, называется книга: «Архитектура всех народов земного шара?» Я к вам заеду сам за ней».

Из клуба он, действительно, заехал к Петру Григорьевичу и взял у него фолиант, и, приехав домой, стал его рассматривать и искать в изображениях древних храмов храма любви; но все храмы любви были просто беседки, и Платон Васильевич начал сам сочинять план храма любви; к свету фасад был готов; расположение внутреннее составляло пустяки в сравнении с наружностью. Когда явился архитектор, Платон Васильевич положил перед ним свой чертеж и говорил так:

— Вот изволите ли видеть, вот план; мне хочется построить вот такой дом, то есть, не вновь построить, а переделать вот этот.

Архитектор посмотрел на бумагу, на которой была начерчена *трапеция*, изображающая фасад дома; два ряда маленьких ромбоидов представляли окна, а между каждым окном опущены были по два перпендикуляра, представлявшие колонны; на вершине каждой колонны посажено было по грибу, представлявшему бюсты.

— Вот, видите ли, вот моя идея.

— Понимаю-с, — сказал архитектор.

— Вот это будут бюсты всех добродетелей.

— Понимаю, — отвечал архитектор: — только... раз, два, три... у вас назначено двенадцать окон, четное число...

— Непременно!

— Четное число окон, невозможно, против всех правил архитектуры.

— Это отчего? помилуйте! вы после этого ска-

жете, что бог дал человеку четное число глаз против правил архитектуры; после этого надо один глаз выколоть, или для нечетного числа подставить вместо третьего глаза фонарь!

— Мы сделаем двенадцать окон, а тринадцатое будет фальшивое.

— То есть, один глаз будет слепой, подернут бельмом — это очень красиво!

Опытный архитектор в своем искусстве, но неопытный на софистические возражения, не знал что̀ сказать против аналогии лица здания с лицом человеческим. Это было причиною, что Платон Васильевич усомнился в его знании и, чтоб отделаться от него, сказал, что он, впрочем, подумает насчет лишнего окна, которое так необходимо для архитектуры и нисколько не нужно для хозяина дома.

Призванный новый архитектор был не классик, не знал искусства на деле, судил об архитектуре посвоему, с жаром, с чувством и заступаясь за человечество, которое по милости классической архитектуры живет в сараях, украшенных великолепными входами и столбами. Не выслушав еще, какую имел до него необходимость Платон Васильевич, он объяснил ему, что сохранившаяся греческая храмовая архитектура есть пустошь и нейдет ни к селу ни к городу; что искусство до сих пор занималось наружностью зданий для красоты города, а не удобством их для жизни человеческой; что здание должно быть расположено как тело человеческое, а одежда его соответственна климату и свойственному ему изяществу и так далее.

Платон Васильевич был очарован новым архитектором; но когда дело дошло до числа окон:

— Помилуйте! четное число окон! это невозможно!

Платон Васильевич привел было опять в пример фасад человеческого лица, с четным числом глаз, и что по правилам архитектуры вместо третьего глаза надо *подставить фонарь*.

— Прекрасно! прекрасное сравнение! — вскричал архитектор: — но в таком случае и фасад здания должен иметь нос, или что-нибудь в роде носа, — и именно фонарь. Я вам и сделаю двадцать окон, а в средине фонарь, который теперь в моде.

Платон Васильевич был в восторге. Дело было решено; старый небольшой дом ломать, и строить новый дом, большой, заняв весь двор и часть саду; да еще с условием: что хочешь возьми, а к осемнадцатому ноябрю, чтоб дом был готов.

Платон Васильевич перешел на время перестройки в маленькую комнатку во флигеле, где была людская и кухня. Постройка дому как будто стала целью его жизни. Покуда составлялся план, для выигрыша времени, приступлено было к ломке. От нетерпения Платону Васильевичу не спится, встанет чем свет:

— А что, Борис, работники пришли?

— Никак нет-с, еще не приходили.

— Что ж это они нейдут? Чорт знает что за народ! никогда слова не держит! Пошли сейчас к подрядчику!

На другое утро опять та же история:

— А что, Борис, работники пришли?

— Пришли, сударь.

— Начали ломать?

— Никак нет, пошли за струментом.

— Да для чего ж они приходили без инструментов?

— Да они приходили посмотреть сперва, что ломать; потолковали тут, да и ушли.

— Экие скоты! Пошли сейчас к подрядчику, скажи, что барин приказал сейчас же прислать работников; а не то, скажи, я другого найму!

Когда начались работы, Платон Васильевич почти целый день на работе, то присядет посмотреть, как отваливают стену, то встанет, заведет разговор с поденщиком:

— А что, брат, что труднее: ломать или строить?

— А бог ее знает, какова кладка: новую кладку руками по камню разберешь, а хороший дождь размоет; а вот такую как эта — лом не берет; смотри-ко, кирпич-то железняк!

— А от чего бы это так?

— А бог ее знает отчего; встарину, чай, дома строили, а теперь балаганы; вот и барин-то, чай, к какому-нибудь празднику торопится строиться, а потом хоть разбирай снова.

Платон Васильевич откашлянулся.

— Нет, любезный, и я для детей строю.

— Так-с; стало быть, у вашей милости семья-то большая, мал дом-то стал?

Платон Васильевич откашлянулся снова.

Работник принял это за подтверждение его догадки и продолжал:

— По-нашему бы пристроить, а уж такой здоровый дом грех ломать: не дать веку достоять. И дом что̀ человек: построен на то, чтоб век дожить. Смотрите-ко, стены-то скипелись, пропитались духом жилецким; а жильцы-то кто были? чай, ваши же родители?

Платон Васильевич недослышал сентенции мужицкой; он уже стоял подле раствора извести и кричал: «Это что̀? Я этого плутовства не позволю! в известку песок сыпать! мошенники!»

Тщетно ему представлял каменщик, что уж это

так следует; он и слышать не хотел, потребовал к себе подрядчика, накричал на него; не поверил его убеждениям, послал за архитектором, и архитектору не поверил.

— Все заодно! — ворчал он про себя. Потом привязался к кирпичу: подай ему железняк, да и только. «Да не годится, сударь, железняк для стройки». Ничего знать не хочет, уверяет, что ста-что построены из железняку.

— Да кто это вам сказал, сударь?

Платон Васильевич велел позвать работника, с которым разговаривал.

— Из чего, брат, старый дом построен?

— Из кирпичу, батюшка.

— Из какого?

— Как из какого? из кирпичу.

— Да из какого? из железняку?

— Как это можно!

— Ах, ты, мошенник! не сам ли ты мне сказал, что домы старинной постройки от того и крепки, что построены из железняку?

— Чтоб меня разорвало, батюшка, если я это сказал, — отвечал мужик: — вот вам хрест!

— Экие подлецы какие! ну уж народ! — вскричал Платон Васильевич.

— Да уж сделайте одолжение, не беспокойтесь, ваше презосходительство, — сказал подрядчик: — поставим вам дом на-славу: не мешайте только нам; обманывать не будем; цены вы хорошие платите; уж дело другое, есть такие: строй, вишь, ему дом, а себе заказывай гроб.

Как ни просили Платона Васильевича не беспокоиться и не мешать, но он воображал, что без собственного его присмотру дело не пойдет. То вдруг велит пересчитать при себе кирпич.

— Ваше превосходительство, уж известно, что тут по тысяче складено.

— Вы говорите, а я не верю! Борис! считай!

То найдет трещину в бревне и остановит складку леса.

— Да где же найти сухой лес без трещин, ваше превосходительство?

Но он не внимал никому, браковал материалы и постройку, так что и подрядчик и рабочие — хоть бежать.

Русский мастер не то что̀ какой-нибудь немецкий мастер: тот начнет считать да высчитывать; подай ему и деньги по его смете, подай и время на его работу, да еще ему нужно тут же и спать в свое время и есть в свой час и трубку выкурить и пиво выпить, да нужно еще ввечеру непременно в шустер-клуб; там ему надо непременно *свою* партию в вист сыграть, и съесть свой бутерброд, и выпить свой шнапс и кафе, словом, хоть лизнуть барской спеси. Но русской мастер не таков: за словом дело; а как сказал, что «извольте батюшка, поставим! будет готово!», так уж один его день не уложится в немецкую неделю; на работе спит, на работе ест; распевает себе заунывную песню; мера на-глаз, вес наугад, а всё *ладно:* не даром говорится: горит работа! и точно, — он как огонь пожирает работу. Кончил работу, взял деньги, уж извините. Надо отгуляться, душку перевести, да потешить: она вместе с ним работала. Уж тут-то и принимается он то делать, что̀ душе угодно.

К условленному времени дом готов. Отлегло на душе и у Платона Васильевича: дом готов! Три месяца просидел он безвыходно, не был в клубе, нигде не был, даже у Петра Григорьевича, чтоб

насладиться лицезрением Саломеи Петровны. Некогда было — дом строил.

Кому из современных не изэестен современный вкус отделки дома. Платон Васильевич отделал его по вкусу современному, пышно, пестро, все с *рогульками*, то есть рококò. Залу в греческом вкусе, с колоннами и статуями; гостиную с камином во вкусе осьмнадцатого столетия, салон в китайском, кабинет в помпейском, столовую в мавританском; а всю так называемую женскую половину во вкусе французского перерождения: это было несколько комнат истинной выставки производства мебельного, бронзовых дел, фабрик фарфору и хрусталю, фабрик зеркальных, часовых дел мастеров, переплетных, игрушечных и так далее. Чтò за роскошная спальня, чтò за ложе Венеры в виде перламутровой раковины на серебряных лебедях; чтò за удобства для неги, для сиденья, для лежанья, для омовения богини, для созерцания собственной красоты. Где ж это божество? его еще нет; а всё уже готово к ее приему. В передней поселены уже официанты, как нарядные гороховые шуты в ливрее горохового цвета, с пестрыми аксельбантами на плечах, в штиблетах; в девичьей не горничные и не служанки, а нимфы, богини, в кисейных платьях на шести *жюпонах*, в пелеринках, с платочками на шее, все до одной говорят по-французски, все до одной были в Париже, жили в Палеройяле, заседали во всех magazin de Paris и, следовательно, знают чтò такое мода и могут быть образцами *светскости*, любезности и приличия.

Когда всё по мысли Платона Васильевича было готово, он возобновил и самого себя: надел новый парик, с каким-то особенным механизмом; вместо плисовых сапогов надел сапоги из лаковой кожи,

вместо всего старомодного — всё новомодное, — что̀ делать: как ни безобразны, как ни смешны казались ему французские фраки в роде сюртуков с отчекрыженными наискось фалдами; но надо было последовать моде, и отправился в маленькой новомодной карете на двойных рессорах, с английской запряжкой, — вместо кучера жокей, — прямо в дом к Петру Григорьевичу и Софье Васильевне.

Софьи Васильевны не было дома, а Петр Григорьевич так был рад его приезду, что не знал где усадить.

После вступительной беседы о здоровьи личном и всех домашних, потом о влиянии погоды не только на здоровье, но даже на расположение духа, Платон Васильевич откашлянулся и сказал:

— Петр Григорьевич, у меня есть до вас просьба: прошу сделать мне честь посетить меня на новоселье вместе с Софьей Васильевной и Саломеей Петровной; я выстроил новый дом и желаю, чтоб вы и ваше семейство первые осчастливили его своим посещением. Ввечеру на чай, без церемоний, как родные; у меня никого, кроме вас, не будет; родных у меня нет; а завтрашний день я хочу провести, что̀ называется, в семье. Вы мне ее замените.

Петр Григорьевич несколько смутился от внутреннего волнения. Он понял, что приглашение сделано не даром, что слово «родные» сказано не даром.

Все это происходило в то самое время, когда дела Петра Григорьевича висели на ниточке, когда Саломея, с досады на отца и мать, дала слово выйти за̀муж за кого им угодно, и когда Василиса Савишна просватала было ей жениха, Федора Петровича; но маменька ее рассудила, что за подоб-

ного жениха Саломея ни за что̀ не пойдет, и определила ему в невесты Катеньку.

— Так я надеюсь? — прибавил Платон Васильевич.

— Непременно, непременно, мы ваши гости, Платон Васильевич! Это приглашение доказывает ваше расположение к нам, а мы так им дорожим... я думаю, вас в этом уверять не нужно...

— Я не застал дома ни Софьи Васильевны, ни Саломеи Петровны, — продолжал Платон Васильевич: — я завтра готов повторить и лично им мое предложение... лично повторить приглашение, — прибавил Платон Васильевич, употребив по ошибке *предложение*, вместо *приглашения*.

— О, не беспокойтесь, я передам и вперед даю вам слово и за них, — отвечал Петр Григорьевич с чувством нетерпения скорее породниться и с боязнью, чтоб что̀-нибудь не нарушило мелькнувшей в голове его надежды, чтоб Платон Васильевич не раздумал, чтоб Саломея не воспротивилась, чтоб Платон Васильевич не умер, а Саломея не заболела до свадьбы.

Платон Васильевич, возвратясь домой с помолодевшим лицом, немедленно же приступил к распоряжениям для приему дорогих гостей. Взяв с собой своего дворецкого Бориса, он обошел с ним дом и отдал необходимые приказания насчет освещения, обстановки лестницы деревьями и цветами и насчет угощения. Сто раз обошел он все комнаты, давая дворецкому наставления и повторяя тысячу раз не забыть, где что̀ поставить, как за всё приняться, да непременно сделать опыт над солнечными и газовыми лампами, чтоб они хорошо горели, не коптились и не накурили в комнатах удушливым газом: Платон Васильевич терпеть не

мог ламп, ему всё казалось, что *лампой воняет;* но без ламп невозможно было обойтись — освещение дома не солнечными лампами могло показаться непросвещением.

Утомившись распоряжаться, Платон Васильевич, задыхаясь и едва передвигая ноги, добрался до своего смиренного флигеля; от лаковых сапогоз сделалось у него что̀-то в роде подагры, от нового механического парика заболела голова; сбросив с себя модные притеснения, вспомнил он, что забыл распорядиться насчет дамской уборной — всё ли там есть, что̀ неравно понадобится Саломее Петровне. Хотел было итти снова в дом, но уже не мог. После обеда, призывая то того, то другого из официантов, он наказывал, как вести себя и что̀ делать: не толкаться, не задевать за мебель, не нанести на сапогах грязи в комнаты, и прочие необходимые наставления для слуг, которые по милости же Платона Васильевича, до реставрации дома, жили свинтусами, ходили замарантусами, зимой в серой дерюге, а летом в пестряди: в первый раз нарядили их гороховыми шутами, как они сами выражались, осматривая друг друга; в первый раз обтянули их во все принадлежности костюма с штиблетами, так обтянули, что им как-то совестно было показаться в люди.

Ввечеру Платон Васильевич отправился ко всенощной, провел ночь без сна; а поутру, в день именин, поехал к обедне. Давно он не посещал храма; но ему нужно было успокоить дух. Возвратясь от обедни и накушавшись чаю, утомление усыпило его, и он, боясь уже заснуть, — заснул против воли; но задушевные мысли продолжали бродить по дому, заботливо устраивать всё к приему гостей, встречать их, угощать и, наконец, высказывать им

тайну свою. Сон был то тревожен, то сладок; то казалось ему, что сильный дождь размыл его дом, и на лице его изображалось отчаяние, досада, морщины становились совершенными промоинами от дождя, он грозил подрядчику за мошенническую постройку дома; но подрядчик отвечал: не тревожьтесь, ваше превосходительство, будьте спокойны, мы вновь поставим, к вечеру всё будет готово, это уж наш грех, кирпичами меня надули, худо прожжены. В самом деле, еще не смерклось, а дом снова уже готов к приему гостей, и Платона Васильевича уже беспокоит солнце, стоит себе на одном месте, не садится, да и только. Платон Васильевич опять в отчаянии, посылает за квартальным: «вот, дескать, какой беспорядок, это ни на что̀ не похоже, прошу взять его на съезжую». — Помилуйте, ваше превосходительство, — отвечает квартальный: — кажется, всё в порядке; не угодно ли посмотреть на часы: изволите ли видеть, ваши двумя сутками с полозиной вперед ушли. — Смотрит Платон Васильевич: точно! часы его чорт знает куда зашли вперед. «Стало быть, я еще послезавтра буду именинник?» и томительное нетерпение высказывается на лице его. Но вот прошло время, настал желанный вечер, дом освещен, всё в порядке; Платон Васильевич ходит по зале, ждет гостей, едут! едут! приехали! встречены, приняты радушно, угощены; Саломея Петровна смотрит с нежностью на Платона Васильевича, кажется, как будто говорит ему: я поняла! На лице Платона Васильевича вылилось всё блаженство души, он лежит как лысый юноша, который до времени одряхлел; но подгулял, кровь бросилась в голову, и он румян, как Бахус.

В этой неге сна, которую на яву ничто не могло

заменить, Платон Васильевич проспал бы вечер и ночь; но заботливый Борис думал, думал, что̀ ж это барин изволит почивать? чай, уж пора дом освещать, да одеваться, и решился будить барина.

Несколько раз почтительно дотрогиваясь до него, он повторял: «ваше превосходительство!» и наконец принужден был растолкать барина. Возвратить к суете сует от такого сна — просто нарушение земного блага. Платон Васильевич очнулся, взглянул кругом, и лик его потускнел, вдруг снова состарился.

— Не пора ли освещать, ваше превосходительство? Уж шесть часов.

— А? что̀ такое? — спросил Платон Васильевич.

— Не пора ли освещать, да что̀ прикажете одеваться? — повторил Борис.

— Зачем? нет, уж я сегодня не поеду, утомился, — произнес Платон Васильевич беспамятно, сквозь сон, который снова стал его клонить.

— Да как же, ваше превосходительство, ведь вы ожидаете гостей; приказали, чтоб к осьми часам всё было готово.

— Что̀ еще готово?

— Да как же-с, ведь гости будут?

— Какие гости?

— Я не могу знать... ваше превосходительство!

— Погоди! еще рано!

— Ваше превосходительство! Французу кондитору спросить что̀-то нужно!

— Ну, спроси, что̀?

— Да что̀ ж мне спрашивать его? — я говорил ему, что самовар еще рано ставить, вода перекипит, так он не слушает меня. А чай будет дрянь, на мне же изволите взыскать... Привез каких-то конфет к чаю, я говорю: что с конфетами чаю не

кушают, что нужно белого хлеба, да он и слушать не хочет... я ему говорю: не за свое, брат, взялся: уж где тебе знать вкус в чаю, не ваш, мусье, продукт...

— А? — произнес сквозь сон Платон Васильевич и очнулся вполне. — Который час?

— Я докладывал, что седьмой.

— Седьмой? Ах, боже мой, что̀ это со мною сделалось! как я заспался! что̀ ты меня не будил? Давай поскорей бриться и одеваться!.. велел зажигать лампы и люстры?

— Зажечь не долго, все подготовлено; сейчас велю.

— Чтоб сейчас зажигали! бриться, бриться поскорей! я опоздаю! приедут — ни дом не освещен, ни хозяина в нем нет!

Туалет Платона Васильевича обыкновенно очень долго продолжался, особенно с некоторого времени: уходу над старой головой, которая хочет молодиться, ужасно как много; работа сложная: вырывание щетинистых волос из бровей, чистка зубов, ногтей, опыт, нельзя ли как-нибудь угладить морщины, долгое смотрение в зеркало, сперва прищурившись, потом вытаращив глаза — каков, дескать, я сегодня? пленительно выражение лица или нет? есть огонь в глазах, или они тусклы? и так далее.

Всё это исполнил Платон Васильевич, но торопливо; торопливость, однакоже, не мешала ему заметить, что каналья *перрюкье* надул его: волоса под цвет, но гораздо толще, ужасно какие грубые, совсем неблагородные волоса; для доказательства Платон Васильевич долго сравнивал свой волос с волосом парика на свет и бранился по-французски.

Но вот он нарядился, подали карету, и он переехал из флигеля к подъезду дома. Зорко глаз его

обегал все предметы: казалось, всё было в порядке: цветы на лестнице пахнут довольно сильно, освещение истинно солнечное, лучи от ламп и свечей, не зная куда им деться, бросаются снопом в глаза, колют зрение, нельзя выносить; а между тем Платону Васильевичу кажется, что всё еще как-то темно в комнатах. Осмотрев себя в зеркалах, он пробрался в уборную, сделал французский учтивый выговор дежурной девушке, что она не должна ни на шаг удаляться от своего поста, спросил, есть ли шпильки и булавки, иголки и шелк... Всё есть. Довольный собою и всем, Платон Васильевич спросил себе стакан воды. Один из гороховых официантов побежал в буфет, принес на серебряном подносе.

— Это что̀ такое? — вскричал Платон Васильевич: — лапы без перчаток?

Только что он начал выговор Борису за эту неосмотрительность, вдруг слышен на дворе стук экипажа.

— Едут! — проговорил Платон Васильевич и торопливо пошел к лестнице.

— Здесь Платон Васильевич? — раздался голос у крыльца: — прекрасно, прекрасно!

— Петр Григорьевич! — подумал Платон Васильевич, готовый уже встречать гостя.

— Платон Васильевич! здравствуйте! Прекрасно! прекрасно! ей-богу, прекрасно!

Платон Васильевич обомлел от ужасу: на лестницу взбирался толстый Иван Васильевич, клубный его сочлен, рекомендовавший ему архитектора.

— Бесподобно! видите ли моя рекомендация! Каков архитектор! Я еду, да вижу: что̀ это значит, неужели дом Платона Васильевича поспел? и заехал. Смотри, пожалуй! .. Что̀, как ваше здоровье?

а у нас сказали, что вы при смерти. Прекрасно!.. Вы одни, или у вас гости?

— Нет, я так, велел попробовать осветить, — отвечал с досадой Платон Васильевич.

— Бесподобно! вот ведь вы видели мой дом? гораздо хуже; а тот же строил! Ну, конечно, средства не те... Бесподобно!

— Не дурно, — отвечал Платон Васильевич, не зная как ему отделаться от нежданого гостя: — вы в клуб едете?

— Нет, еще рано; а вы?

— Да, да... я приеду.

— Так поедемте вместе, — сказал толстый Иван Васильевич, садясь на диван. — Лестница у вас, кажется, немного крута; что̀ бы вам уж сделать отлогую... Фу! устал.

— Я еще не могу ехать, — отвечал Платон Васильевич, не обращая внимания на замечание о крутизне лестницы.—Я приеду, а вы, пожалуйста, подготовьте партию.., мне надо распорядиться, да поехать сейчас кое-куда... Эй! человек! Карета моя готова?

— Распрягли, ваше превосходительство.

— Так покуда запрягут и я подожду, потому что еще рано. Пойдемте-ко, пойдемте, покажите устройство комнат.

И Иван Васильевич, не обращая внимания на хозяина, побрел, переваливаясь, по комнатам, повторяя: «прекрасно, бесподобно!..» Он добрался уже до спальни и уборной; но Платон Васильевич поторопился вперед и, приперев двери, сказал:

— Здесь еще не отделано.

— Э, да ничего, я посмотрю вчерне... мне любопытно знать расположение жилых комнат...

— Тут и пройти нельзя... свалена мебель... пойдемте сюда...

В это время притворенная Платоном Васильевичем дверь в спальню приотворилась, и из нее выглянуло женское личико...

— А! понимаю! — сказал улыбаясь Иван Васильевич, — это женская половина... вещь необходимая, вы бы так и сказали, Платон Васильевич, что тут скрываться, вещь обыкновенная...

Платон Васильевич готов был съесть дерзкую девчонку, которая осмелилась отворять двери.

— Извините, — сказал он Ивану Васильевичу, — это точно женская половина, но она приготовлена для моей сестры, которую я ожидаю... Эй! карета готова? Извините, мне надо торопиться... до свидания.

— Так вы будете в клубе?

— Я думаю.

— В котором часу?

— Это зависит от обстоятельств.

Платон Васильевич провожал нежданного гостя, и готов бы был столкнуть его скорее с лестницы; вдруг бежит официант.

— Человек от Петра Григорьевича; Петр Григорьевич приказал кланяться и извиниться, что не может пожаловать чай кушать: Саломея Петровна изволили заболеть.

— Ах, боже мой! — проговорил Платон Васильевич дрожащими губами.

— Ты, брат, от кого? — спросил Иван Васильевич, спустившись с лестницы.

— От Петра Григорьевича Бронина.

— Так не будет?

— Не будет-с, по той причине, что Саломея Петровна не совсем, чтобы так здоровы-с.

— Жаль, жаль, очень жаль!

Иван Васильевич уехал, а Платон Васильевич

до̀лго ходил еще по̀ комнатам, сложив руки и скло̀нив голову. Никогда еще не чувствовал он такой тоски. Устарев в привычке жить по произволу желаний, в зависимости от самого себя, ограничив все потребности души и тела удовольствиями, приобретаемыми за деньги, Платон Васильевич в первый раз почувствовал, что что̀-то над ним тяготеет, что он к чему-то прикован, что он весь не свой. В нем проявилась какая-то смертельная жажда, которая отбила охоту ко всему издавно-обычному, потушила все прочие желания, все ежедневные прихоти, которыми продовольствовался столько лет дряхлый холостяк, нарушила застой души, взволновала ее, возмутила.

— Туши свечи! — проговорил он, наконец: — или постой; где человек Петра Григорьевича?

— Он уже ушел, ваше презосходительство, — отвечал слуга.

— Зачем же он ушел, когда я ничего еще не сказал! . .

— Не могу знать-с.

— Дурак! Где Борис? . . Борис! что̀ ж ты нейдешь, когда кличут? Зачем отпустили человека без моего приказания?

— Кто ж его отпустил, ваше превосходительство. Он пришел, сказал, что̀ велели, да и ушел.

— Что̀ ж он сказал?

— Да то, что господа не могут быть, барышня вишь будто бы заболела.

— Будто бы! . . Я даже не успел спросить, чем заболела! А ты, дурак, не догадался? Карету!

— Давно готова-с.

Платон Васильевич прошелся еще по комнатам, потом спустился с крыльца.

— Куда прикажете? — спросил лакей.

— Пошел домой! — отвечал Платон Васильевич. Дверцы захлопнули, лошади двинулись, сделали десять шагов от подъезда дому к крыльцу флигеля, лакей перебежал вслед за ними, отворил дверцы кареты и принужден был крикнуть: «приехали, ваше превосходительство», потому что Платон Васильевич успел уже забыться в горестных помыслах.

Молча он выбрался из кареты, вошел в свою комнату, сел и сидит, как гость в ожидании хозяина. Еще девять только часов; что̀ ему делать до обычного второго за полночь часа возвращения из клуба? Бывало с двух до двух, хоть плохо, но спится; потом визиты, потом обедать в клуб или на званый обед, потом на вечер, в концерт, в театр, а в заключение в клуб — сколько новых впечатлений, сколько разговоров о какой-нибудь грации театральной, сколько прений о том, кто с чего ступил и почему так ступил, с добрым или злым намерением пошел в вист, умно или глупо сыграл; сколько сладких воспоминаний об сам-пят, об удачной прикупке; сколько мыслей и дум о том, что ежели бы так пошел, а не так, так совсем была бы другая игра. Было чем занять время бессонницы, было чем позаняться и воображению во время сна, и вдруг — всё стало нипочем! и клуб нипочем, и даже обед клубный нипочем! обед, который дороже цены своей, который переваривается в самом прихотливом желудке, обед, заставляющий о себе думать и говорить, который при одном воспоминании производит саливацию, как меркурий, — обед, которым можно начинить себя и уподобиться пушистому блутвурсту... и всё это стало для Платона Васильевича глупо, бессмысленно, отвратительно, недостойно человеческой природы, по̀шло, невыносимо... Он предпочел всему этому безмолвное,

неподвижное сидение у себя в креслах, созерцание чего-то в мыслях своих, какие-то соображения о будущности.

Душа в человеке как поток, движущий органические колеса: приподними только *ставни*, сердце шестерней заходит. В преклонном возрасте любить еще легко; но трудно уже выносить изменчивость ее погоды: ее жар наводит изнеможение, ее холод ломит кости, как ревматическая боль.

Не смыкая глаз в продолжение всей ночи от подобной же боли, Платон Васильевич рано поутру послал Бориса на лошади свидетельствовать свое почтение Петру Григорьевичу, узнать о состоянии здоровья Саломеи Петровны, и можно ли ему навестить их. Борис не любил быть простым Борисом в кругу своей братьи, но любил быть Борисом Игнатьичем; а потому и вел себя соответственно этому сану. Если его куда-нибудь посылали, то он не бежал сломя голову, но сохранял и собственное свое достоинство. Придет, изъявит свое почтение, спросит по обычаю: «Как вас бог милует?» — Слава богу, Борис Игнатьич! — «Слава богу — лучше всего: что̀, господа, чай, еще не вставали?» и с этого заведет политичный разговор, как водится.

У Петра Григорьевича в дворне был всё словоохотливый народ, да и было о чем поговорить, — историй в доме случалось не мало: барин вкось, барыня врозь, а Саломея Петровна всему наперекор, только Катериной Петровной не могли нахвалиться, да зато об ней и славы мало и слова нет: хорошо, — ну и слава тебе, господи, о чем тут и говорить.

Нетерпеливо ждал Платон Васильевич возвращения Бориса; ему хотелось поскорее лично изъявить свое участие.

— Ну, что? — вскричал он, выбежав в переднюю навстречу Борису.

— Да ничего-с, всё еще не так здорова.

— Ах, боже мой! ты видел самого Петра Григорьевича?

— Никак нет-с.

— Что̀ ж, узнал, чем Саломея Петровна нездорова?

— А бог ее знает, что̀ с нею приключилось.

— Дурак! бог ее знает! как говорит! не мог спросить основательно.

— Да у кого же спрашивать-то? В людской ни одной собаки, не самому же итти без докладу; в кухне только кухарка; я ждал, ждал; воротился Иван дворецкой, да тотчас же поскакал опять...

— Господи, неужели так опасно больна Саломея Петровна?

— Да уж верно так; Федор попался навстречу: беда, брат, говорит.

— Ах, боже мой, я поеду сам! давай одеваться!

— Нет, уж не беспокойтесь, ваше превосходительство; дело-то никак не ладно.

— Умерла! — вскричал Платон Васильевич.

— Нет, хуже! изволила бы отдать душу богу, тело бы на столе лежало; а тут...

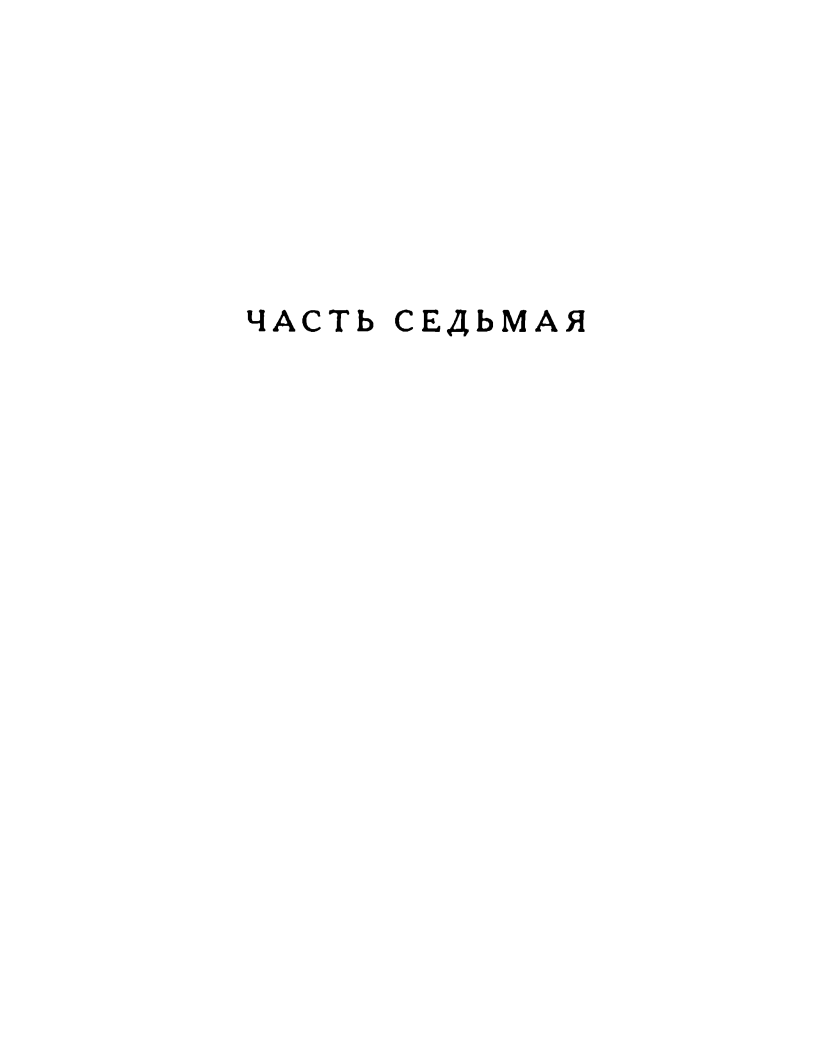
— Ну!

— Ни души, ни тела — пропала.

— Что̀ такое? как пропала?

— Да как пропадают: всех людей разогнали искать по городу; да уж где искать...

Платон Васильевич покачнулся на месте; Борис едва успел подхватить его под-руки и бесчувственного опустил в стоявшие подле вольтеровские кресла.



ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

I

Читатели, вероятно, имеют какое-нибудь понятие о Москве, из каких-нибудь «Voyages en Russie,[1] или из журнала *впечатлений*. Из первых вы, без сомнения, составили себе ясное понятие об ее наружности, а из вторых об ее жителях, нравах и обычаях. Вообще из этих описаний вам известно, что Кремль стоит подле Ивана-Великого, что Сухарева башня у Тверских Ворот, что Тверские Ворота на Пречистенке, что Москва-река течет под самым Замоскворечьем, и тому подобное. Вам, следовательно, нечего описывать Москву, вы ее знаете настолько, насколько подобает знать русскому человеку.

Приступаю к рассказу.

В один туманный день августа в Крестовскую Заставу прокатила коляска четверней. Часовой опустил было шлагбаум, но слуга крикнул:

— Из подмосковной! — и коляска свободно проехала.

В коляске сидели два господина; один поплотнее, похожий на московского барина, прислонясь в угол, дремал; другой — сухощавый, лицо бледноватое, глаза прищурены, наружность значительна, похож был на петербургского начальника отделения или чиновника по особенным поручениям, словом, лицо

[1] Путешествия в Россию.

значительное, а по личному мнению, даже государственное.

— Наконец я в Москве! — сказал *сей последний*, приложив к глазу лорнет: — посмотрим, что̀ за зверь Москва! Вы, пожалуйста, указывайте мне на всё любопытное.

Едва показалось вправо готическое здание, обнесенное зубчатыми стенами, с башнями, похожее на рыцарский за̀мок средних времен, молодой человек снова приложил лорнет к глазам и вскрикнул:

— Это Кремль?

— Кремль, — отвечал плотный барин, не раскрывая глаз.

Петербуржец промчался. Оставим петербуржца и последуем за толпой колодников, которых вели по улице. Вслед за ними везли на подводе женщину в простой крестьянской одежде. Когда весь этот *транспорт* приблизился к запертым воротам за̀мка, перед которыми, однакоже, не было подъемного моста, часовой подал знак в калитку с разжелезенным окошечком: сперва пропустили унтер-офицера, *препровождавшего* транспорт, а потом отперли адовы врата, которые, раскрывшись как челюсти апокалипсического зверя, поглотили весь транспорт и закрылись с скрежетом зубов.

На внутреннем дворе этого за̀мка прохаживались в самом деле не люди, а мрачные тени. Не будем описывать человеческого образа, искаженного страстями и преступлениями. Отделясь от безобразной толпы, кто-то, в изношенном пальто̀, в картузе, заложив руки в карманы, ходил скорыми шагами вдоль двора. По лицу и взорам его можно было заметить, что и он ставил душу свою на кон; но в наружности его не было глубоких оттисков преступлений, в глазах не было ответа за чужую

душу. Он был еще, казалось, новичок на этом новоселье, смотрел на окружающие его высокие стены и на «честную» компанию без удивления, но с каким-то особенным любопытством и как будто спрашивал сам себя: «Чорт знает, куда я попал?»

Долго следил за ним глазами один из «честной» компании, что-то в роде мещанина, с острой бородкой, ряб как кукушка, глаза как у ястреба; наконец крякнул и подошел к нему.

— Ты, брат, кто таков?

— Человек! — отвечал новичок, посмотрев на него.

— Крепостной, то есть? Я думал, что какой барин, честной господин.

— Ну, хоть и барин, честной господин, а тебе что?

— Что? врешь, брат! не туда глядишь!.. А я тебе вот что скажу: ты за что попал? за воровство или за разбой?

— Да тебе-то что, борода?

— Нет, уж ты, брат, не кобянься, лучше будет, ей-ей лучше будет! а не то, брат, не выгородишься отсюда; уж я тебе говорю, я ведь не отстану от тебя — понимаешь?

Новичок посмотрел на плутовскую рожу с острой бородкой, которая так настойчиво делала ему допросы.

— Если *по делу* попал, так говори: доказательно, или нет?

— Я, приятель, не по делу здесь, а по наговору.

— Приятель еще не приятель, а будем приятелями; по наговору, брат, хуже, чем по делу, я тебе скажу; примерно вот, я бы на допросе показал, что ты потчивал меня в трактире, да подговорил на

какое *дело*... понимаешь? ведь я за тебя здесь сижу.

— Пьфу, дурак какой! Кто ж тебе поверит?

— Кто? кому следует, тот и поверит. А я тебе вот что̀ скажу: хочешь на волю?

— Эй, ребята, смотрит-ка, француженку какую-то привезли! Пойдем! — крикнул один из заключенных.

— Тришка, пойдем! — сказал он, проходя мимо острой бородки.

Толпа двинулась к воротам жѐнской половины.

— Вот сейчас выйдет из канцелярии.

В самом деле, привезенную женщину вскоре вывели под руку из канцелярии. Несмотря на простую одежду, во всей наружности ее было что̀-то горделивое, хотя и страдальческое. Бледное лицо ее было нежно, впалые глаза не бессмысленны. Охая, она вышла, окинула взором безобразную толпу, и взор ее остановился на упомянутом нами человеке в пальто́. Движением головы, взора и дрожащих губ она страшно погрозила ему.

— Что, она тебе знакома, что̀ ли? — спросила новичка стоявшая подле острая бородка.

— Да, вот это-то и есть та безумная, которая привязалась ко мне и оговорила меня.

— А кто ее разберет, что она, безумная или нет, ведь она француженка, говорят; а ты-то сиди да посиживай; да еще как я поднесу тебе, так, брат, тебя, того, сперва распишут; а потом, знаешь куда?

Новичок содрогнулся.

— Чорт! ты шутишь или нет?

— Нет, не шучу; а я тебе скажу вот что̀: хочешь по рукам?

— Вместе грабить или резать? Врешь, любезный! Что̀ будет то будет, а я тебе не товарищ.

— Не бойся, тут худого ничего не будет, ей-ей ничего; а так, штука, багатель!

— Говори.

— Давай руку! Не бойся, всё будет честно.

— Что̀ за руки, говори просто, в чем дело.

— Я, пожалуй, скажу; да скажу тебе и вот что̀: уж если повихнешься, так я на тебя горы взвалю; мне всё равно пропадать. Вот видишь, смекай: я был у купца Василья Игнатьича Захолустьева приказчиком; а у него был славный *чайный завод*, да дрянной сынишка, Прохор Васильевич. Вздумал он заводить суконную, да филатурную фабрику и вымолил у отца дозволение ехать в чужие земли машины заказывать; такие машины, каких в целом свете нет: сами овец стригут, сами шерсть на сорты делят, сами аглицкое сукно ткут, ну, словом, из машины выходят готовые штуки сукна самой лучшей доброты, всех колеров. А про филатуру и говорить нечего: бывало красные девушки прядут, сами песни поют; а теперь всё самопрялки, всё с органами: под немецкую музыку, хошь не хошь ты, а пляши. Да дело не о том; а вот что̀ я тебе скажу: поехал Прохор Васильевич, да и поминай как звали, вот уж другой год ни слуху, ни духу. Понимаешь?

— Ну, что̀ ж из этого?

— А вот что̀ я тебе скажу: Василий Игнатьич за сына согнал меня от себя: виноват я, что Прохор Васильевич брал деньги без спросу; согнал меня, брат, без копейки, пустил по̀ миру. Что̀ ж тут будешь делать; надо было добывать. Да не о том дело; а вот что̀: как взглянул я на тебя — Прохор не Прохор Васильевич, а есть что̀-то, понимаешь? Этого, брат, уж довольно; лишь бы на первый взгляд похож был; а там мое дело будет снарядить как следует. Ладно?

— Ладно, — отвечал новичок.

— Коли ладно, так я тебе вот что̀ скажу: ты конь, а поводья у меня в руках: вывезешь на славу, будет всё ладно, а заноровишь — извини!

— Ах ты, шитая рожа, вязаный нос! Мало тебе зубов-то отец выколотил за меня! — крикнул новичок: — мошенник Тришка вздумал на мне верхом ездить!

— Да неужели это вы, сударь Прохор Васильевич? — проговорил, оторопѐв, озадаченный словами новичка, острая бородка, всматриваясь в него.

— Не узнал, плут?

— Признал, да не узнал... да нет! пьфу!

Новичок захохотал во всё горло.

— Ну, брат, озадачил! да в тебе бесовская сила! как заговорил да замотал головой — живой Прохор Васильевич! Ах ты, собака, да кто ты такой?

— Чорт! — отвечал новичок.

— Ей-ей чорт! с тобой можно дела делать! А в списках-то как ты значишься?

— Никак.

— Славно! то есть ни роду ни племени не имею, откуда—не помню, имя и отчество позабыл: славно! ей-ей славно!.. Теперь, я тебе вот что̀ скажу: ты на допросах и не показывай; а как приедет наш стряпчий, так ты ему и объяви...

Зазвенел колокол, староста закричал: «По местам, на перекличку!»

— Эх, досада! — сказал острая бородка: — ну, до завтра, приятель!

— Торопиться не для чего,— отвечал новичок:— тише едешь, дале будешь; притом же здесь очень недурно: кормят калачами... «Вот она нужда-то где заставит калачи есть! Насилу понял пословицу!

Ну, брат, Вася Дмитрицкий, посмотрим, какая будет тебе доля дальше!»

Новичок, в котором мы узнаём героя повести, отправился на перекличку.

— Прибылых отдельно, — сказал смотритель, выходя со списком: — который тут *неизвестный, выдающий себя за графа Черномского?*

Никто не отвечал.

— Ну, ты, что̀ ли?

— Нет, не я, — отвечал Дмитрицкий.

— Как не ты?

— Я никогда не выдавал себя за графа Черномского; я ехал с одним графом Черномским, а какая-то сумасшедшая женщина привязалась ко мне...

— Да это вы покажете на допросах; а теперь нам нужно внести в список имя и прозвище.

— При допросе скажу я и свое имя, — отвечал Дмитрицкий.

— Ну, в таком случае в общую!

— Ваше благородие, женщина, что̀ привезли ввечеру, нейдет на перекличку, бормочет что̀-то посво̀ему, бог ее знает, хоть тащи за руки и за ноги, — сказал пришедший унтер-офицер.

— Знаю, она француженка; перевести ее в особую!

— Ай-да молодец, Саломея Петровна, — проговорил Дмитрицкий, уходя за прочими заключенными.

На другой день, когда уже вся честна̀я компания за̀мка, после сытной трапезы и раздачи пирогов, которыми наделил всех какой-то почтенный купец, прогуливалась по двору, вдруг от ворот пошла весть: «стряпчий приехал!» и вслед за ней вошел, сопровождаемый смотрителем, какой-то в мундирном фраке щегольски одетый чиновник. Все заклю-

ченные затолпились около него с поклонами. Одна рыжая борода, растолкав прочих и выдавшись вперед, снова поклонился.

— Что̀ ты?

— К вашей милости; поговорить нужно.

— После, погоди немного.

— Вот, ваше благородие, вот я совсем занапрасно страдаю, — начал было другой.

— Говорят — после! .. где француженка?

— А вот пожалуйте, она в особой.

— Я также буду просить вашей защиты, милостивый государь, — сказал и Дмитрицкий по-французски, выступив навстречу чиновнику, который невольно приостановился, услышав французский язык посреди русской речи.

— Кто вы, милостивый государь?

— Я только вам одним могу сказать, — отвечал Дмитрицкий: — странный случай лишает меня доброго имени.

— Очень хорошо, я займусь вами сейчас, — сказал чиновник, проходя в женскую половину.

— Где же француженка?

— А вот, пожалуйте.

В отдельном покое, на койке, приклонясь на подушку, сидела женщина в простонародном платье; платок с головы ее был сброшен, черные волосы раскинулись по плечам и осеняли истомленное бледное лицо; под густыми ресницами глаза ее опущены были в землю. В положении ее была какая-то сценическая грациозность; несмотря на место и одежды, каждый читающий романы и посещающий театры отгадал бы в ней героиню, которую преследует судьба и бросила на жертву несчастиям.

— Madame, — начал чиновник, садясь подле на деревянный стул: — вы француженка?

Женщина, как будто услышав родной язык, приветливый голос образованности, содрогнулась, вспыхнула и закрыла лицо рукой.

— Madame, — начал снова чиновник: — откройте мне вашу судьбу, и чем только в состоянии помочь вам... чем только могу успокоить вас.. вы можете надеяться... что я исполню... я уверен, что какой-нибудь необыкновенный, несчастный случай...

— О, если б вы знали!.. — вскрикнула женщина по-французски.

— Сделайте одолжение, передайте мне, моя обязанность есть обязанность гуманическая: находить и извлекать невинность из среды преступления... Вы позволите мне узнать ваше имя?

— О, позвольте мне хоть скрыть свое имя от этого поношения, в которое меня бросила судьба!.. несчастия мои невообразимы!.. Но нескольких слов достаточно, чтоб вы поняли всё: я дочь одного из известных людей во Франции... В доме нашем явился один русский путешественник... образованность и наружность его меня пленили... он меня увез... долго мы путешествовали... наконец, приехали в Россию... и он бросил меня!.. Я должна была итти в гувернантки... к одному помещику... красота моя была причиной ненависти ко мне жены его и вот в одну ночь меня схватили и повезли сама не знаю куда... Очнувшись на мгновение, помню только, что была посреди лесу... в этой одежде...

— Какое варварство! — вскричал чиновник.

— Потом я уже не помню, что̀ со мной было... больная, страждущая, я очнулась снова... о, я не в силах говорить!.. вы можете понять, вы видите!..

Женщина зарыдала.

— Какая страшная судьба! Я доведу это немедленно же до сведения! Это ужасно! не отличить несчастия от преступления! .. Будьте уверены, что вы сегодня же будете свободны... Вся Москва примет участие в вас! ..

— О, нет, не разглашайте, умоляю вас... в этом положении я не могу никого видеть.

— Но как же быть... для вас нужна будет помощь; московские дамы...

— Нет, нет, нет; я прошу только покуда какой-нибудь приют, где бы я могла отдохнуть, скрыться от всех глаз.

— Очень жаль, что не могу вам предложить свой дом... но... во всяком случае, я озабочусь, чтоб исполнить ваше желание, — сказал чиновник, встряхивая табакерку.

— О, как вы добры! — сказала женщина, посмотрев нежно на него и взяв его за руку.

— Madame, такое существо, как вы, внушает все прекрасные чувства, — сказал чиновник с романическим выражением, *заинтересованный* и судьбой жертвы несчастия и самой ею.

Не будем описывать хлопот и забот, которые употребил господин стряпчий, чтоб извлечь жертву несчастия из челюстей Цербера, поглощающего грешников. Всё это имеет интерес, касающийся до современного рафинированного *гуманизма,* до утонченного человечества, человеколюбия, *человечественности;* но, по русской пословице, где тонко, там и рвется.

По старому обычаю спросили бы жертву несчастия: «Ты кто такая, моя милая, и откуда?» Если б она отвечала: «Я не знаю, я не помню», ее бы посадили в дом лишенных памяти; а если б отвечала:

«Я не могу сказать», ей бы дали приют в монастыре; потому что какое же житье в мире без роду, без племени, без имени и отечества: кто бы, кроме бога, взял себе на руки человека, обратившегося в тайну для людей.

Но теперь, когда у каждого есть свои: «Я не знаю, я не помню, я не могу сказать», поневоле рождается в чувствах утонченный взгляд на грех, вошедший в обычай. Общество окривевших не станет заботиться о том, чтоб лечить бельмо у зрячего, из опасения, что и он окривеет: они еще порадуются, что их полку прибыло и с охотой дадут новому собрату приют и раздолье посереди себя.

Так как жертва несчастия в списках показана была только беспаспортной, найденной в горячечном состоянии на улице, то нетрудно было исходатайствовать ей свободу, тем более, что она еще и француженка.

Исходатайствовав свободу, стряпчий озаботился и о приюте ее. В английском клубе встретил он одного Ивана Ивановича и тотчас же к нему адресовался:

— Не знаете ли какого-нибудь хорошего места для одной француженки?

— Какого же места? В гувернантки?

— Нет, в гувернантки она не согласится: это женщина с образованием и с чувством собственного достоинства. По странному случаю, она теперь на моих руках.

— Например?

— После расскажу; долгая история.

— Какое же место? .. Та-та-та-та! Платон Васильевич Туруцкий... говорил мне что̀-то...

— Туруцкий? Что̀ его давно не видать?

— Совсем охилел; в клуб не ездит. Я как-то наднях заезжал к нему... Какой славный дом отделал!.. Чудо! то есть меблировал хорошо; а что̀ касается до архитектуры, то я вам скажу! Ни с кем не хотел посоветоваться. Жаль, что вы не были у меня в деревне: вы бы посмотрели что̀ за дом на пятнадцати саженях, что̀ за расположение!.. Имею полное право сказать, что ни один архитектор своего ума не прикладывал, — всё сам!

— Позвольте! — сказал гуманист, нюхая табак и поднося табакерку Ивану Ивановичу.

— Вы думаете, что без архитектора нельзя и обойтись?

— Нет, не то; меня заботит теперь эта француженка; вы что̀-то упомянули о Туруцком... Для чего же ему нужна француженка?

— А бог его знает! У всякого свои капризы, иногда и не по летам...

— О, если так, то я не намерен быть поставщиком этого рода увеселений.

— Ну, ну, ну, это шутка; я никак не думаю, чтоб в его лета... Да, я теперь вспомнил: он отделал дом для сестры своей; так кажется, что для нее и нужна француженка в компаньонки.

— Это дело другое. Так вы, Иван Изанович, скажите Туруцкому, чтоб он взял в компаньонки эту француженку.

— Хорошо, хорошо; непременно скажу!

— Вы не забудете?

— Как можно!

— Только скажите ему, чтоб он дал ей хорошее жалованье: тысячи две, три.

— Конечно, не меньше.

— И чтоб обходились с ней с некоторым уваже-

нием: savez-vous, que c'est une personne de dignité;[1] одной из лучших французских фамилий.

— Право?.. Каким же образом она очутилась здесь и соглашается итти в компаньонки?

— Обстоятельства, несчастный случай.

— Хороша собою, молода?

— Н-да, во всех отношениях замечательна.

— Можно ее видеть?.. Потому что, если не удастся определить к Туруцкому, я готов взять ее на свое попечение, устроить как-нибудь судьбу ее... Отчего же не помочь прекрасному существу...

— Да, да, конечно; это не худо; впрочем, я сам побываю у Туруцкого.

— Да зачем же? К чему вам беспокоиться? Я сегодня же его увижу.

— Ah, bon jour![2] — сказал ходатай нашей француженки Саломеи, обращаясь к одному из знакомых, чтобы отвязаться от Ивана Ивановича, который чересчур уж заинтересовался судьбой неизвестной особы, происходящей от одной известной французской фамилии.

II

Благородное собрание в Москве, если не осьмое, так, по крайней мере, девятое чудо света. Представьте себе огромную залу, с колоннадой, поддерживающей хоры, представьте себе, что вся она штукатурена под белый каррарский мрамор, что между всеми колоннами висит по бронзовой люстре в двести свеч, разукрашенной хрустальной бахромою; что всё это и бело и светло, и что в этой белизне

[1] Имейте в виду, что это достойная особа.
[2] Ах, добрый день.

и свете шесть тысяч *персон* — эссенция древнепрестольного града. Представьте себе мужчин в полной военной, статской и светской униформе, а женщин в большом наряде — шейки и ручки по плечо наголо̀. У каждого наружность, как сам он, разряжена: взору щедро придано огня, устам улыбки, щекам румянцу, движениям ловкости, всему стану достоинства, важности, значения. Всё рисуется, все как живописные, как портреты, схваченные в счастливую минуту — когда душа выливается наружу. Вот съехались к полуночи, все не ходят, а как-то особенно двигаются, соблюдая приличие, не смотря смотрят, не слушая слушают, не говоря говорят и — не любя любят.

Во всем этом, может быть, нет ни радости, ни удовольствия, но есть *развлечение* — это необходимое для светского человека *развлечение*, это искусственное средство наполнить чем-нибудь пустоту времени и пустоту души.

Из всех шести тысяч персон тут только двое наслаждаются в душе каким-то райским наслаждением — Василий Игнатьич Захолустьев и супруга его Фекла Семеновна; счастливая чета ходит под ручку. Он — седые волосы в кружок, гладко-прегладко расчесаны, борода — волос от волоса отделен, на плечах древний боярский кафтан с золотым шитьем, с петлицами, меч с темляком перепоясывает не просто талию, но огромное депо здравия и благоденствия. Она — в обшитом золотым кружевом гарнитуровом платье, которое спереди как следует приподнялось, на голове повязан золотошвейный платок, в ушах серьги бурмицкого зерна, на шее жемчужное ожерелье ниток в пятьдесят, пальцы расперло от многоценных перстней. У

Василия Игнатьича раскраснелось лицо и от самодовольствия и от жару, — с трудом ворочая голову, подпертую шитым воротником, он отирает пестрым платком чело свое; но из приличия и не ворочает ее на стороны; взор его как навесный выстрел направлен через головы, чтоб кого-нибудь не задеть. Фекла Семеновна также не ворочает головой; но зато глаза ее как на пружинах, то вправо, то влево.

— Что̀, Фекла Семеновна, хорошо? ась? — произносит тихо Василий Игнатьич, проходя по опустевшему углу галереи между колоннами.

— И господи, как прикрасно! — отвечает Фекла Семеновна: — да что̀ ж это такое, для чего господа-то собрались?

— Вот, спрашивает; ты смотри, да примечай.

— Да уж у меня и глаза разбежались! Когда ж это они присядут? Ах, смотри-ко, смотри, что̀ это сбежались все в кучу? Что̀ там случилось? Пойдем, посмотрим!

— Не приходится итти туда; знай честь. Вот посмотрим отсюда.

— Что̀ ж это там, пляска что̀ ли?

— Тс! а ты смотри себе, да примечай.

В первый раз бог привел Василию Игнатьичу и Фекле Семеновне быть в собрании, как же не подивиться всем диковинкам.

— Василий Игнатьич, — начала снова Фекла Семеновна: — если б Прохорушка был здесь, он бы, чай, также пошел бы в танцы? .. то̀-то бы посмотрела!

— Ну-у! — отвечал Василий Игнатьич.

— Что̀ ну, ведь он, чай, не хуже господ, не тех вот, что̀ в кавалериях, а вот этих штатских-то, право-ну!

— Тс! Что̀ ты это! — сказал Василий Игнатьич, толкнув супругу свою под бок.

— Поди-ко-сь, слова нельзя сказать! — заговорила Фекла Семеновна под ухо мужу:—ле́гко ли... добро бы я говорила про господ великих; а то, смотри ты, про эту голь слова не скажи! Вот он, тут же, писаришко-то, что̀ тебе бумаги ходит писать... да поругался с тобой — мало, вишь, дал ему на чай...

— Где, матушка, где ты тут нашла писаришку?

— Да вот он, вот трётся около благородных-то... вот увидал тебя...

— Пьфу, в самом деле! .. Пойдем, пойдем! осрамит еще, мошенник!

Надо сказать правду, что богатство и почести не по наследию и не даром достались Василью Игнатьичу; он нажил их трудом не с умом, а с грехом пополам. И потому, как ни поверни, бывало, Василья Игнатьича, с одной стороны — почетный гражданин, богач, а с другой — старый плут, точно нищий, и не далеко ушел от того Васьки Игнатова, который лет за̀ сорок торговал в деревне бабками, потом служил в харчевне и угощал пьяных вместо вина винным запахом. Он и продолжал бы карьер свой по винной части, и со временем достиг бы, без сомнения, почетного звания откупщика; но судьба решила иначе: она хотела его исправить и подослала одну забубённую голову, которая знала толк в вине, пила и не упивалась. Когда Васька Игнатов поднес ей вместо вина винного запаху, забубенная голова так осерчала, что вызвала Ваську кулаком на дуэль, ранила его сперва под-микитки, потом в сусолы, расквасила нос, пересчитала ребры, подставила фонари, словом, уничтожила его. После этого Василий Игнатов

заклялся не только торговать вином, но и не мог слышать без отвращения винного запаху. Так как чай естественным образом заменяет вино, то он и определился в служки в трактир близ станции. Наблюдая выгоды хозяина, он обязан был сбирать спитой чай, сушить его и подбавлять для вкусу в настоящий. Тут узнал он, что кроме обыкновенного китайского чаю, есть *настоящий* китайский, который родится в России и называется по месту произрастания копорским, а по достоинству Иван-чаем, потому что извозчики, величаемые Иванами и распивающие в трактирах галенки чаю, были первыми потребителями его, первыми испытателями свойств его распаривать желудок не хуже китайского чаю. На вид Иван-чай ни дать ни взять китайский, на вкус немножко кисленек, да еще и лучше, с похмелья всегда хочется чего-нибудь покислее; а с *подливочкой* и сам китайский богдыхан сказал бы, что с подливочкой в чашку рюмочки кизлярочки Иван-чай еще лучше китайского вансун-чо-дзи. Василий Игнатов рассчитал, что если на фунт ван-сун-чо-дзи в шесть рублей прибавить Иван-чая два фунта в десять копеек фунт, то выйдет три фунта Иван-сун-чо-дзи, которые будут стоить шесть рублей двадцать копеек. Эти три фунта составляют двести осемьдесят осемь копеек; за каждую, кроме двенадцати кусочков сахару, Иваны платят до сорока копеек, а за все — сто пятнадцать рублей двадцать копеек. Это превыгодно! тут с одного фунта барыша ровно сто девять рублей! «Можно рисковать и на целый цибик», — подумал Василий Игнатов. Купил цибик дрянного китайского ван-сун-чо-дзи, составил из него четыре цибика самого лучшего Иван-сун-чодзи, развесил на фунты, продал разносчикам, —

глядь, у Василия Игнатова капиталец пять тысяч рублей — ого! теперь уж можно нам рискнуть цибиков на десять, записаться в купцы, да завести лавочку с вывеской: *Магазин китайских чаев, сахару и кофе*. Сахар и кофе — дрянные продукты, от них барыша десять, а много пятнадцать процентов... в сахарный песок можно бы подбавить самого лучшего белого песку, да не тает, окаянный! Про кофе и говорить нечего: ни один род бобов не подходит к нему.

Нужно ли говорить, что мелочная торговля чаем не удовлетворила Василья Игнатова; он пустился в оптовую, пустился сам на Кяхту; сам съездил в Дмитровский уезд, чтоб сделать оптовую закупку самого лучшего сорту кипрею. Но для оптовой торговли чаем необходимо иметь свой дом, с запертыми воротами, на дворе лабазы, амбары, палатки и тому подобные заведения. Всем этим обзавелся Василий Игнатьич. И вот в сентябре месяце на двор к нему идут днем обозы из Кяхты с цибиками; ночью — обозы из Дмитровского уезда, с кулями, а вслед за прибытием обозов начинается фабрикация или производство Иван-сун-чо-дзи. Кожа на цибиках подпарывается, свинец подрезывается, половина ван-сун-чо-дзи китайской накладки отсыпается, а вместо его всыпается Иван-сун-чо-дзи. Когда таким образом русская накладка совершена, приступается к возвращению цибикам прежнего их вида: прорезь свинцу спаивается искусно раскаленным железом; подпоротая кожа размачивается, сшивается снова ремешками, высохнет — и следа нет. А между тем смотришь, а двухсоттысячный капитал вырос в шестьсот, на будущий год в миллион. Все довольны, все пьют чай да похваливают, и Василий Игнатьич похваливает свой чай; и не

думайте, чтоб он, поставляя Иван-сун-чо-дзи, сам пил ван-су-чо-дзи — никогда! просто ван-сун-чо-дзи ему самому казался приторен и не так хорош для настою, как Иван-сун-чо-дзи. Таким образом Василий Игнатьич был прав и по совести.

В производстве Иван-сун-чо-дзи помогал ему только сынишко Прохорушка.

— Это, — толковал он ему: — вот видишь, цветы чайные, а вот это лучшие сорта, а вот это похуже; а вот как смешаешь того и другого, да вспрыснешь цветами-те, так и выйдет цветочный, а без цветов — семейный, а как приложишь щепоточку, так выйдет сквозничок... Понимаешь?

Таким образом можно заключить, что тайная торговля была впрок Василью Игнатьичу. Он подумал, подумал, да купил за двести тысяч каменный дом, для постройки которого какой-то князь выписал из Италии архитектора, из Голландии кирпич, из Англии железо, из Франции обои и мебель, из Саксонии фарфоровые вазы, еще из Италии картинную галерею и этрусские горшки, из Египта двух сфинксов на ворота, из Венеции гондолу для пруда, из Китая киоск для саду, и так далее, словом, с целого света стащил тьму чудес. Всё это стоило миллионов десять. Когда князь кончил жизнь, сын его, не получив в наследие ни вельможества, ни причуд вельможеских и не заботясь, откуда что̀ папенька выписал и что̀ ему всё это стоило, тотчас же решился сбыть весь драгоценный хлам италиянского вкуса с рук и завести скорее всё рококо. Дом показался ему глуп, меблировка стара, масляные картины слишком замаслены и закоптели, и — вследствие этого обитель вельможи, со всей ее обстановкой, за двести тысяч поступила во владение Василья Игнатьича.

— Ну, что̀, Фекла Семеновна, каково? — спросил он у жены, проходя по комнатам купленного дома.

— И господи, как прикрасно! — отвечала она: — позову в гости Домну Никитишну, то̀-то, чай, подивится.

— Позови, позови, да ты смотри, примечай: ведь всё шелк, а не ярославка.

— Да шелк же, шелк.

— Каменные-то статуи, чорт знает что̀, я их в сарай велю снести, али в сад поставлю; а вот золоченые-то по углам — хороши: из залы-то я их в гостиную.

— Что̀ ж это у них в руках-то словно вербы?

— А тут всё шкалики ставятся, вот примером, как в люминации.

— Ух, страсти какие! на стенах всё люди! а на потолке-то! ох, срам какой! Нет, Василий Игнатьич, вели замалевать! Словно выпарились да в передбаннике отдыхают... и лебедя из рук кормит... экой соблазн.

— В самом деле, — сказал Василий Игнатьич, смотря на потолок, в котором вставлена была мастерская картина, изображающая Леду: — пришло же в голову намалевать такую вещь!..

— Да я в этом покое ни за что̀ бы одна не осталась, право! Мне всё бы казалось, что на стенах-то живые люди, — того и гляди, что вот этот бросится с шпагой-то, да убьет... Христа ради, вели замалевать, да и то еще я буду бояться... велел бы совсем щекатурку сбить, да снова ощекатурить.

— Щекатурка! Тут не щекатурка, а обои, смотри-ко-сь, тканье, али вязанье, кто их знает?

— Ох, ты! знает толк! Это шитьё по канве.

— Ааа! вот зишь ты; бывают же такие случаи, что и бабий ум пригоден. По канве шитые! чай, ведь дорого взяли вышить во всю стену-то? Чай, ста по два за стену?

— И уж! Как дашь свою шерсть, так рублей за двадцать за пять швея сбрасывает. Чай, видал ты в лавке у Трофима Кириловича подушки шитые? Из его шерсти берут по два с полтиной; а работа-то не такая, а мелкая.

Рассмотрев таким образом гобелены, Василий Игнатьич с Феклой Семеновной обошли весь дом, выбрали для жилья себе задние комнаты, где была гардеробная и жил камердинер. Входя в особую картинную галерею, новый хозяин вскрикнул:

— Вот славная кладовая будет у меня!.. Тут картины-то верно лишние развешаны — я их сбуду, да и всё дрянь какая: капуста, намалевана разная овощь, да птица разная...

— Звери-то, звери какие! — вскричала Фекла Семеновна: — коровы-то, коровы! тьфу ты, окаянная! Вели ты, пожалуйста, выкинуть эту срамоту, да поскорей бы призвать батюшку со святой водой.

Обрадовался Василий Игнатьич и величине бывшего манежа:

— Вот, — говорил он: — лабазов-то мне не нужно строить — готовы, да какой славный будет!

Поселясь в белокаменных палатах, Василий Игнатьич тотчас же потщился принести пользу казне, не собственно для пользы казны, а для получения звания именитого гражданина. После этого необходимо было подумать и об сыне Прохорушке и отдать в коммерческое училище. Сын Прохорушка был малый с способностями: он тотчас перенял и *тон* и *манеру* богатых купе-

ческих сынков, которые в свою очередь переняли тон и манеру от юных конторщиков-негоциантов, с тою разницею, что этим напели еще в пелёнках:

«Смотри, mon enfant или mein Kind, ты в конторщиках веди себя честно и трудолюбиво, копи деньги, сколоти капиталец, приютись сперва к кому-нибудь в компанию, глядь, со временем и сам будешь негоциантом; понимаешь? Следуй вкусу людей, угождай вкусу и прихотям людей, а с своим вкусом и прихотями не суйся. Ja, mein Kind, надо копить богатство: богатство — великая вещь! Когда накопишь значительный капитал, тогда можешь жить по своим прихотям: можешь завести комнатки три чистеньких, свою кухарку, свою собственную канфорку для кофею или шоколаду, и даже патэ-фроа̀ и бутылку вина для приятелей; а до тех пор показывай вид, что ты сыт; на чужой счет вместо завтраку хоть обедай, а на свой счет вместо обеда только завтракай. Даром ничего, никому и ни для кого; потому что: *за что̀ ж даром* давать и кто ж даром дает?»

На Руси подобных наставлений купеческим сынам не дают, потому что на Руси коммерция не наука, а свободное искусство; успех и обогащение зависит не собственно от расчету, но от *талану*. У Прохорушки нисколько не было талану наживать, а, напротив, вдруг развился талан проживать нажитое отцовское. Василью Игнатьичу очень понравилось, что Прохорушко смотрит не купеческим сынком, а чем-то тово! Фекла Семеновна не могла на него нарадоваться.

— Смотри-ко, вот дал бог нам сынка: настоящий господин, да еще и лучше, — говорила она всегда, любуясь на сына своего.

— Нѐче сказать, залихватский сынишко! — говаривал и Василий Игнатьич: — да, тово. . . боюсь, офранцузится! . .

— Поди-ко-сь, уж как так ведется у господ, так не отставать-стать; господа-то знают получше нас, что̀ делать; да и невесты-то теперь всё ученые, словно француженки; вот, примером, у Селифонта Михеича дочь Авдотья Селифонтьевна — все *мадеума̀зелью* величают. А уж как она, голубушка, переняла по-господскому-то манежиться! Перетянута вся в рюмочку — жалости достойно! Извелась, бедная; а хорошо! Как начнет: — Ма̀ма, ма̀ма! — «Что̀, дитятко?» — Мне что̀-то дурно! — «От чего же, дитятко?» — Так. — «Как так, за обедом-те в рот ничего не взяла, как не стошниться! Ты бы чего-нибудь покушала». — *Но!* — «Ничего не *вулэ*»*?* — скажет и Марья Ивановна по-французскому. — *Но!* И господи, какая великатная! Куда уж ударить за что̀-нибудь! Слово скажи с сердцем, та̀к так голубушка и упадет без памяти! . . Вот бы невеста-то Прохорушке!

— И на струменте играет?

— Играет! уж как играет-то! Пальчики слорно взапуски бегают!

— Ну, ладно, так я не продам струмента, что̀ в зале-то стоит.

— Не продавай!

Таким образом поговорили, поговорили, да и решили, что *быть так*. Оставалось Прохору Васильевичу кончить только науку. По летам он уже был годков двадцати, по наружности — просзещение прикинуло ему несколько годков, и цвет лица его был матовый; по статьям он был до учения малый ражий, но когда *изучился*, то несколько похудел и вытянулся.

Покуда отец и мать выжидали времени и часу, чтоб женить Прохорушку, он успел *поизбаловаться;* отец осерчал было на него за забранные без спросу у приказчика Трифона и промотанные деньги, но Фекла Семеновна убедила, что нельзя же молодцу не погулять, успокоила послозицей, что *женится, переменится,* и принялась закидывать невод на Авдотью Селифонтьевну. Дело шло изрядно; да на беду заболела бедная Фекла Семеновна. Бывало от *засорения желудка* поест редечки с кваском — и всё снова ладно; бывало простудится — сходит в баню, выпарится хорошенько, да натрется медом с солью, и снова как встрепаная; но, поразнежившись в боярском дому на господскую стать, нельзя уже жить и быть попрежнему, всё делать попросту: господа лучше знают, что̀ пригодно господской натуре. Прохорушка же особенно озаботился, чтоб его *тятенька* и матушка не ударили лицом в грязь; он их учил, как всё ставить на благородную ногу. Не только редька, — обычное лекарство Феклы Семеновны от засорения желудка, — но даже орехи и сырая рѐпа, — до которых она была страстная охотница и которыми прежде засоряла желудок, — вывелись из употребления. Вместо четверика репы и мешка орехов, надо же было по привычке грызть, употреблять что̀-нибудь благородное; и вот Фекла Семеновна заменила их фисташками и каштанами. Они подействовали как нельзя лучше; без доктора облагороженный желудок и не думал переваривать фисташек и каштанов.

— Надо призвать доктора, тятенька, — сказал Прохорушка.

— Поди-ко-сь, доктора! — сказал Василий Игнатьич: — доктора-то кусаются.

— Что̀ ж, умирать мне прикажешь, что̀ ли? — простонала Фекла Семеновна.

— Выпила бы рюмочку водки с перцем, так и всё бы прошло; а то еще доктора.

— Как это можно, тятенька. Я позову Степана Кузьмича, — сказал Прохорушка.

— Что̀, *тятенька!* небойсь я не знаю, как они морочат людей? Приедет, расшаркается, подержит за руку, да высуни ему язык как дураку, а потом взял да написал записку в аптеку — и давай ему красную ассигнацию. А в аптеках-то что̀? Не я небойсь отпускал в аптеки-то спирт? Подкрасят его чем-нибудь, вот-те и лекарство! Уж, брат, знаем!

— Умори, умори меня! — прикрикнула снова Фекла Семеновна.

— Да по мне, пожалуй, бросай деньги на аптечную настойку! Наживал, наживал, а тут возьми и кинь собакам!

— У меня есть приятель, отличный медик, тятенька, он ничего не возьмет; после можно ему будет подарить фунт хорошего чаю.

— Ну, за вылечку, пожалуй, и фунта два дадим китайской уборки.

Юный медик, приятель Прохорушки, явился в спальню к Фекле Семеновне. Сначала она пришла в ужас, увидев перед собой молодого человека.

— Что̀ ты это, батюшка, какого ты молокососа ко мне привел? Это верно ученик докторский? — прикрикнула она было на сына; но он уверил ее, что наука и опытность наживаются не постепенно, а гуртом.

Хотя молодой медик следовал не русской пословице: *век живи, век учись*, но он убедился долговременным употреблением искусства над желудком Феклы Семеновны, что действительно ars longa,

a vita brevis.[1] Желудочные деятели Феклы Семеновны пришли в недоумение от фисташек и от каштанов, подняли тревогу: «Это что такое? это чорт знает что̀, а не репа! Пусть кто хочет варит эту дрянь, а мы не будем ее варить!» Бывало бунт прекращался редькой, и всё от боязни редьки принималось снова за работу; но когда вместо горькой редьки прибыла в желудок подслащенная венская микстура и стала уговаривать желудочных деятелей немецким наречием, они отвечали ей: «Извольте сами варить, судари, немецкие продукты!» и отправились в голову жаловаться Фекле Семеновне, что вот так и так, дескать, посылают нам сверху чорт знает что̀. Фекла Семеновна, вместо того чтобы по старому обычаю приложить к голове кислой капустки, в свою очередь пожаловалась медику, что вот так и так — голову смерть разломило! Медик не долго думал; тотчас же употребил решительное средство: обложил голову льдом, к ногам синапизмы, к животу катаплазмы, — всполошил всех жизненных деятелей, забросались они во все стороны, бегут жаловаться в голову, а в голове уж пожар, — плохо! И медик видит, что плохо.

— Надо, — говорит, — сделать консилиум.

— Что такое значит это, сударь? — спрашивает его Василий Игнатьич.

— Созвать докторов на совет.

— Эх вы, сударь! спалили дом, да собирать совет, как из головешек вновь его построить!

— Я чем же виноват? — сказал обидевшийся медик.

— Чем? Уж вестимо, что ничем: где ж вам пальцом искру тушить! Поехали за трубой!

[1] Наука длинна, а жизнь коротка (латинская пословица).

Несмотря на отца, Прохор Васильевич собрал нескольких медицинских известностей, по желанию приятеля своего, который хотел, чтоб авторитет медицины подтвердил, что он употребил все известные средства, предписываемые наукой, для восстановления здоровья Феклы Семеновны, и нисколько не виноват в том, что они не помогают.

Известности явились, по призванию, перед смертным одром Феклы Семеновны; посмотрели на нее, подтвердили болезнь, понюхали лекарства, похвалили методу лечения и потом стали совещаться на латинском языке:

— Что̀, как вы находите?

— Да что ж тут находить?

— Конечно. Чорт знает от чего и чем лечил он ее.

— Теперь уж всё равно.

— Конечно. Чем вы кончили вчера игру?

— Ничем. Это что̀ за новое лицо, медик? вы знаете?

— Гм! кажется, гомеопат.

— Предложите ему, чтоб он взялся ее поднять из гроба. Новички горячи.

— В самом деле; постойте.

И медик в парике сказал вслух:

— Аллопатия истощила свои средства; не худо бы попробовать лечить гомеопатией.

— Я сам так думал, — сказал молодой медик, лечивший Феклу Семеновну.

— Гомеопатия владеет средствами сверхестественными.

— Нисколько не сверхестественными, — отвечал затронутый гомеопат, низенький мозглявый человечек: — может быть, так думал Ганеманн, но мы так не думаем.

— Это очень естественно; но мне кажется, гомеопатия есть такая метода, которая уничтожает необходимость в медиках.

— Это почему?

— В ней так положительны признаки болезней, так положительно действие лекарств, что каждый может лечить и лечиться по руководству.

— Но для руководства нужно познание.

— Какое познание? Нужны только опыты над самим собою, принять, например, белладону; в таком-то делении она произведет все признаки жабы; в другом — все признаки различных родов сыпи — и довольно: similia similibus curantur.

— Позвольте, господа, я уверен, что Ганеманн не изобретатель гомеопатии; он только воспользовался русской пословицей: «чем ушибся, тем и лечись». Например: похмелье есть лекарство от расстройства, произведенного опьянением.

— Да, положим, что это и так, — сказал гомеопат, затронутый аллопатом: — но во всяком случае аллопатия сбилась с пути: вместо того чтоб помогать природе изгонять из себя вкравшуюся постороннюю силу, возмущающую ее, она насилует самую природу.

— Иззините! в человеке две натуры: инстинктуальная и натура привычек. Натуру привычек должно насиловать, потому что она есть то зло, которое рождает вред.

— Извините! привычки истекают из развития самой натуры и из ее потребностей; и потому нет другой натуры.

— Извините! Стало быть нарост есть развитие самой натуры?

— Без всякого сомнения; мнимое зло было уже в корне, в самом семени: каждый член организма

может выйти из границ своего предназначения, по вкравшемуся влиянию наружных сил.

— Извините! оно просто благоприобретенное или, лучше сказать, прививное.

— Прививное? Извините! никогда! Чорт его прививал.

— А зараза? Не прививное зло?

— И не думало быть прививным! Это опять-таки не что иное как внешнее влияние на развитие какой-нибудь внутренней части силы.

— Прекрасно! Это новость!

— Нисколько не новость! Отнимите внешнюю, или постороннюю силу, вкравшуюся в организм, и зло прекращено; но не трогайте самого организма, он не виноват. На этом и основана гомеопатия.

— Поздравляю!

— Нечего поздравлять. Так действует сама природа, так действует само провидение, сберегая организм государств. Представьте себе, что внешняя сила вкралась в организм как Наполеон в Египет; не явись другая воинственная сила — англичан, Египет бы преобразовался в новую жизнь. Здесь что? Честолюбие противоборствует честолюбию, слава славе, жажда к преобладанию подобной же жажде; да, конечно! вы даже любви не изгоните ничем кроме как любовью. А знаете ли, как действует аллопатия? Как турки: чтоб обессилить неприятеля, вошедшего в их землю, они всё выжгут, обратят весь край в степь, выгонят жителей, словом, уничтожат страну.

— Извините! Вы говорите так, потому что не понимаете аллопатии!

— Нет, очень понимаю!

— Нет, не понимаете!

— Нет, очень понимаю, и знаю, что грубость также принадлежит к системе аллопатии!

Слово за слово, у аллопатии с гомеопатией чуть-чуть не дошло дело до аргументов фактических. Василий Игнатьич и сын его стояли в ожидании, чем решится совещание.

— О чем же, сударь, такой горячий спор у них? — спросил Василий Игнатьич у молодого медика.

— Они рассуждают, какое употребить решительное средство для помощи Фекле Семеновне.

— Ох, помоги, господи, наведи их на разум.

После долгого, жаркого бою на словах, аллопат отвернулся от гомеопата и сказал:

— Шарлатан!

— Людоморы! — проговорил в ответ гомеопат.

— Что̀, сударь, решили? — спросил Василий Игнатьич.

— Решили; я сейчас пропишу.

— Что ж, они говорят, что Фекла Семеновна встанет?

— Конечно.

— Ну, уж если так, то я не пожалею ничего! Что̀, сударь, рублевиков по сту не мало дать им?

— Совещание было трудное; болезнь Феклы Семеновны очень сложна.

— Так по двести?

— Ведь тут идет дело о спасении жизни.

— Ой? так она выздоровеет?

— Я надеюсь.

— Да что мне ваша надежда, я за нее ни копейки не дам; вы мне скажите наверно.

— Я вам наверно и говорю.

— Вот это дело другое. Не пожалею по пятисот, сейчас им и отдать?

— Позвольте, это уж мое дело, я их приглашал.

— Извольте, вот шестьсот рублевиков серебром; рассчитывайтесь с ними.

— Очень хорошо; вот рецепт; скорей пошлите за лекарством.

— Ладно. Проша, ступай, брат, пошли, да скорее, слышишь?

— Слышу! — отвечал, уходя бегом, Прохор Васильевич.

— Батюшки, родные, отцы мои! Фекла Семеновна, матушка! отходит! — вскричали вдруг в один голос две старухи, сидевшие около Феклы Семеновны.

— Что̀ такое? — вскричал Василий Игнатьич, вздрогнув и бросившись к постели жены.

— Ох, отдает богу душу! умирает! Матушка, Фекла Семеновна! — завопили снова старухи.

— Ох, что̀ вы это говорите! Фекла Семеновна! голубушка моя! — завопил и Василий Игнатьич, припав к жене. — Господа доктора! помогите! ох, помогите! что̀ хотите возьмите, только помогите! .. Степан Козьмич! Степан Козьмич! .. Где ж он? и доктора-то ушли! Бегите за ними, они, чай, еще не уехали! ..

— Э, батюшка, Василий Игнатьич, какая уж помощь!

— Догони, догони их, матушка Василиса Григорьевна, догони!

Старая Василиса Григорьевна поплелась торопливо в переднюю; но и след консультантов простыл; Степан Козьмич также исчез как привидение.

Таким образом кончила жизнь Фекла Семеновна. После первого времени горя и печали, Прохор Васильевич, ни с того ни с сего, вдруг стал упрашивать отца, чтоб дозволил завести ему суконную или филатурную фабрику.

— Э, нет, брат, — говорил ему Василий Игнатьич: — фабрика — пустое дело; торгуй-ко ты чаем, как отец, это повернее, да и повыгоднее.

— Нет, тятенька, уж прошли те времена; сами вы знаете: сколько кипрею-то в Москву-реку свалили, как приехала комиссия.

— Правда, что не те времена; да всё, брат, что̀ ж, право, фабрика — пустое дело. Вот Иван Козьмич обанкрутился.

— А от чего обанкрутился: сам дела не знает, а полагается на приказчиков, да на выписного мастера. Нет, уж я не так дело поведу, я сам поеду за границу, сам всё узнаю, сам куплю машину — меня уж не надуют.

— Пустышь ты говоришь.

— Ей-ей, тятенька, нет; да вот извольте посмотреть, как идут дела у Савелья Ивановича; а отчего? оттого, что он сам ездил за границу.

Василий Игнатьич нерешительно отнекивался. Ему самому принаскучила уже чайная фабрикация. У самого в голове уже было завести филатурную фабрику.

«А что̀, — подумал он, наконец, после усильных просьб сына: — кажется, из него будет толк, да верно и *талан* есть, — во сне видит филатурную фабрику. Дать ему капитал, пусть себе заводит как знает: не даром в науке был».

Как поехал Прохор Васильич в путь за немецкими самопрялками, и что̀ с ним приключилось, то будет впереди; теперь скажем только, что он уехал.

III

Проходит с полгода, — ни слуху, ни духу о Прохоре Васильевиче.

«Верно замотался!» — думает Василий Игнатьич.

Проходит еще несколько времени.

— А что̀, брат, Трифон, — говорит Василий Игнатьич своему приказчику: — Прохор-то пропал! Как быть?

— Обождите, Василий Игнатьич, — не близкое место: Англия-то, чай, ведь за морем. Теперь скоро надо ждать не самого, так письма.

В самом деле, на третий день явился какой-то Соломон Берка, комиссионером от сына. По письму следует выдать ему в счет уплаты за машины и за комиссию перевоза их пятьдесят тысяч.

Деньги выданы. Время идет да идет, а Прохора Васильевича нет как нет.

Василий Игнатьич горевал, горевал, да и горевать забыл.

— Ну, верно толку не будет из него; пропали только денежки!

А между тем приказчик Трифон Исаев, вскоре после выдачи комиссионеру Прохора Васильевича, поссорился с хозяином и отошел. В Москве явился какой-то чайный комитет. Не до сына Василию Игнатьичу.

В это-то смутное время доложили ему, что какой-то чиновник приехал.

«О, господи, — подумал Василий Игнатьич с ужасом: — верно беда пришла! Боюсь я мошенника Тришки! ..»

— Проси, проси покорнейше!

Чиновник вошел.

— Вы Василий Игнатьич Захолустьев?

— Покорнейше прошу, сударь, садиться, покорнейше просим, сделайте одолжение.

— Скажите, пожалуйста, у вас есть сын?

— Как же, сударь, в чужих краях теперь, поехал заводить филатурную фабрику, — отвечал Василий Игнатьич, вздохнув свободно.

— Давно ли вы от него имеете известия?

— А что̀, сударь? Вот уж более полугода... Бог его знает, что̀ с ним сделалось, — сказал Василий Игнатьич с новым вздохом.

— Я привез вам об нем сведения.

— Какие же, сударь?

— С ним случилось маленькое несчастье при возвращении его в Москву.

— Несчастье? о, господи! верно он болен, или... ох!.. боюсь подумать!

— Не бойтесь, несчастье не так велико: должно полагать, что шайка мошенников сговорилась его ограбить и достигла до этого; а между тем его же по подозрению взяли в городскую полицию...

— В полицию! ох, срам какой!

— И препроводили сюда.

— Батюшка, сударь, где ж он теперь?

— Не тревожьтесь, пожалуйста; ему самому совестно своего положения, и потому он скрывал свое имя и мне только за тайну объявил его.

— Где ж он, сударь, где ж он?

— Он теперь в остроге.

— Ох, осрамил мою головушку!

— Не тревожьтесь, я вам говорю; это всё может кончиться без огласки; он взят только по наговорам, и потому его отдадут вам на поруки. Я обо всем распоряжусь, и вам сто̀ит только дать поручительство, что действительно такой-то, по подозрению, ваш сын.

— О, господи, чем мне вас благодарить!

— Мне не нужна ваша благодарность; я исполняю свой долг. Ах, да! там содержится также бывший ваш прикавчик, кажется, Трифон Исаев.

— Был, был у меня этот мошенник!

— Мошенник?

— О, бездельник такой, какого свет не производил!

— В таком случае, об нем ни слова. Чтоб скорее решить дело, поезжайте теперь же со мной.

Василий Игнатьич отправился куда следует свидетельствовать, что содержащийся неизвестный в остроге, показывающий себя сыном его, действительно единородный сын его, Прохор Васильев Захолустьев.

В тот же день ввечеру квартальный явился к смотрителю острога с приказанием выпустить неизвестного на поруки почетного гражданина Василья Игнатьева Захолустьева. Смотритель велел старосте привести его к себе.

— Эй, ты, безымянный! — крикнул староста, подходя к Дмитрицкому.

— Что̀ тебе? — спросил Дмитрицкий.

— Давай всё, сколько есть! есть, что̀ ли?

— А что̀ такое?

— На выписку!

— Неужели?

— Ну, брат, смотри же! держи слово честно! — шепнул рябой острая бородка, известный нам Тришка.

— Смотрю! — отвечал Дмитрицкий.

— То̀-то; а не то, брат... Знаешь?

— Знаю!

— Да помни урок, что твой тятенька-то, не тово...

— Не бойся!

Дмитрицкий отправился за старостой к смотрителю; квартальный взял его под расписку и отправился с ним в дом Василья Игнатьича.

— Как же это так вы изволили попасть в тюрьму? сын такого почтенного человека, — начал квартальный беседовать дорогой.

— Что ж делать! — отвечал Дмитрицкий, — ужасный случай! счастье, что еще не убили.

— Каким же это образом случилось?

— Как случилось! Подробностей, как, где, я вам не буду рассказывать; тут не просто шайка разбойников действовала... Представьте себе, что меня опоили чем-то, кругом обобрали, заковали как преступника, и я очнулся в тюрьме. Потом вывели на очную ставку с какой-то женщиной, которая доказывала, будто я вместе с ней грабил! Просто сон! Я по сю пору очнуться не могу!

— Удивительное дело! — сказал квартальный. — Что ж, вы подадите просьбу?

— Просьбу! Мне шепнули, что если я задумаю искать, так чтоб уж за́живо велел отпеть себя.

— Удивительное дело!

Удивление продолжалось до самого подъезда к огромному дому, у которого ворота были заперты. Насилу достучались.

— Кого надо? — спросил дворник.

— Иван, это ты? — крикнул Дмитрицкий.

— Кто спрашивает?

— Не узнал!

— Да кто такой?

— Ну, отпирай! — крикнул Дмитрицкий.

— А вот я доложу Василью Игнатьичу.

— Отпирай! не узнал Прохора Васильевича.

— Ой-ли? Ах ты, господи!

Дворник отпер калитку и отступил перед квартальным.

— Здорово, Иван!

— Прохор Васильевич!

— Беги, скажи скорей тятеньке.

— Бегу, бегу!

Дворник убежал вперед, а квартальный с Дмитрицким вслед за ним вошел по темной лестнице.

— Куда ж тут, вправо или влево? — спросил квартальный, — вам известнее.

— Да тут такая темнота, что я не знаю, где право и где лево!

Но вслед нежданным гостям вышел кто-то в роде приказчика в сени со свечкой в руках.

— Пожалуйте-с! — сказал он, освещая путь чрез переднюю в маленькую залку.

— Где тятенька? — спросил Дмитрицкий.

— А вот пожалуйте, пожалуйте в гостиную.

«Егор Лукич это, или Антип Григорьич? или ни тот, ни другой? — подумал про себя Дмитрицкий, — что он меня не величает?»

— А где ж Егор. Лукич?

— Они, сударь, на ярмарку поехали, а я покуда вместо их, — отвечал приказчик, ставя на стол свечку и кланяясь гостям.

— То-то, вижу, не узнаешь меня.

— То есть, как не узнаю-с, с позволения доложить, батюшка?

— Да так, не узнал меня; ты у тятеньки верно недавно?

— Ах, господи! Мне и невдогад! Простите, батюшка, Прохор Васильевич, не оставьте своими милостями... недавно, сударь, недавно...

— Как по имени и отчеству?

— Евсей Савельев, сударь... Прохор Васильевич... Ах, да вот и Василий Игнатьич.

— Тятенька! — вскричал Дмитрицкий, бросаясь на шею к вошедшему старику, которого седые волоса подстрижены были в кружок по-русски, лицо рыжевато-красное, глаза подслеповатые, сюртук до полу.

— Постой, постой, брат, Прохор, постой! С тобой, брат, мы еще рассчитаемся!

— Тятенька! — повторил Дмитрицкий, сжав еще более в объятиях своих старика.

— Да убирайся, говорят! эка! задушил! Покорно прошу, извините, что шелопай-то мой побеспокоил вас, — сказал Василий Игнатьич к квартальному.

— Мне велено только отдать вам с рук на руки.

— Покорнейше благодарю; такой казус произошел, что стыдно сказать! .. Ты ступай, брат, в баню сейчас, благо затоплена; обмой грехи-те свои... а потом я тебя попарю... слышь? .. — крикнул Василий Игнатьич сердито и не обращая глаз на мнимого сына.

— Пойдем, Евсей Савельич, — сказал Дмитрицкий.

— Пойдемте, пойдемте, батюшка.

— Да, пожалуйста, спроси чистое белье; да тут платье мое должно быть старое.

Покуда Василий Игнатьич побеседовал с квартальным, попотчивал его чаем и отпустил с благодарностью за доставление сына, Дмитрицкий возвратился из бани, разгоревшись, причесав волоса, как следует скромному купеческому сыну, и облеченный в английский сюртук из гардероба Прохора Васильевича.

— Тятенька! .. — вскричал он снова, бросившись на шею старику.

— Эк ты, брат, отделал себя! В два года лет десять положил на кости! Смотри-ко-сь, то ли ты был? смотри-ко-сь на портрет-то свой! а? Ну, рассказывай!

Дмитрицкий сел подле Василия Игнатьича, закрыл глаза рукою и молчал.

— Что̀ молчишь-то? а? Эково балбеса уродил, а толку мало! .. Где девал деньги-то? а? говори! .. Машины-то привез? фабрику-то завел? Эка отличная фабрика! Напрял ниток с узлами! ай да сынок!

— Тятенька, если б вы знали, какая беда, тово... случилась со мной! .. Такие мошенники... надули меня!

— Надули? не морочь, брат!

— Ей-ей, тятенька! хоть образ со стены сниму! .. Я заказал машины в Англии, половину денег вперед отдал... сперва водили, водили с полгода: всё еще не готовы, говорят; а тут вдруг пропал мастер... Я подал прошение, а мне говорят, что такого мастера в Лондоне нет... что̀ мне делать, думаю: тятенька меня убьет...

— А сколько денег-то вперед дал?

— Пятьдесят тысяч.

— Фалелей, Фалелей! да ты, брат, пошлый дурак!

— Что̀ ж делать, тятенька, там такое заведенье.

— Пьфу! пятьдесят тысяч! .. Ну, сто-то где?

— Что̀ пятьдесят тысяч, уж пропадай бы они; да вы извольте послушать...

— Ну! .. Эк ты, брат, и голос-то прогулял, и рожа-то, как посмотришь, словно чужая!

— Что̀ ж делать! .. Несчастие за несчастием; поневоле не будешь походить на себя, тятенька! ..

Вы извольте послушать... С мастером-то сделал я условие, а не просто заказал ему, да и на деньги, нет, тятенька, всё по форме; да кто ж знает, что там и в судах-то мошенничают заодно... Условие было писано по-английски, а я по-английски не знаю. Как подал я прошенье, а ко мне вдруг полиция... — «Это ваша подпись?..» — Моя. — «Так заплатите долг господину Джону Пипу». — Какой долг? — «Вот по этому заемному письму в пятьдесят тысяч». — Как, заемное письмо? Это условие по заказу машины с мастером Джоном Пипом: пятьдесят тысяч следует уплатить по получении и отправлении машин в Москву; а он не только не сделал машины, да еще и скрылся сам. — «То, может быть, другое условие, — сказал полицейской: — а это заемное письмо на имя Джона Пипа; извольте платить, или итти за мною». Я так и обмер!.. Вот, тятенька, как обманывают-то там, не по-нашему...

— Ай да! Ну, как же ты отделался?

— Я боялся писать к вам, тятенька, правду, и просил только о присылке денег...

— Телячья голова!.. Да лжешь, брат, ты?

— Ей-ей, тятенька, что̀ мне вам лгать: я просто упал бы в ноги, да попросил прощенья. Я вез к вам это мошенническое заемное письмо; да ведь вы знаете, что̀ со мной случилось на дороге, и как меня посадили в тюрьму.

— Нет, не знаю, рассказывай! Остальные-то прогулял?

— Как это можно, тятенька; я слишком в два года прожил на себя только триста рубликов! вот что̀!

— Ой! лжешь! этого и на чай недостанет: что̀ ж, небойсь, там и чай-то дешевле, а?

— Чай? да там чай-то пить нельзя; там вместо чаю-то чорт знает что̀ подают!

— Ой-ли? что̀ ты говоришь?

— Ей-ей! да это ужас и подумать. Вместо чаю там ерофеич продают... Пьфу! такая гадость, я в рот взять не мог!

— Неужели? ах, собаки! Что̀ ж, цельная копорка, что̀ ли?

— Э! да я бы и копорскому чаю так обрадовался, что я вам скажу!

— Неужели? Что̀ ж, уж будто так-таки и ни листочка китайского?

— Ни листочка! говорю вам, что просто набор разных трав: доннику, васильков, бузины, листу черной смородины... ну, разных, чорт знает, каких!

— Да что̀ ж полиция-то смотрит?

— Полиция? Полиция-то там в торговые дела не мешается, что̀ хочешь продавай, надувай как душе угодно.

— Что̀ ты говоришь?

— Ей-ей!

— Скажи, пожалуйста!.. Нет, вот у нас, так, брат, не то: листок подмеси найдут, так не только что опишут всё на казну, да и самого-то к чорту на кулички.

— Это уж точно обидно, тятенька: из чего ж чаем-то и торговать, если не поразбавить его копоркой. Важная вещь: осьмушку прибавить на фунт. Оно и по совести, да и пользительно; потому что, уж если правду говорить, так китайской-то чай целиком вреден; вот недавно один ученый написал книгу, что китайский чай сам по себе всё равно что опиум, а опиум-то — медленный яд.

— Неужели?

— Ей-ей!

— А вправду, ведь от цельного китайского страшная бессонница, я сам это по себе знаю, я как-то всегда не любил цельный китайский: с копоркой-то как будто помягче.

— Да вот что̀ я вам скажу: отчего, вы думаете, у господ-то по ночам пиры, балы да банкеты? Оттого, что у всех у них бессонница от настоящего китайского чаю.

— А что̀ ты думаешь, в самом деле: ведь целый-то только и идет что к господам.

— Да как же: пей-ко они хоть пополам с копорским, походили бы на людей; а то что̀: тени, в голове только дурь; а отчего? от китайского чаю.

— Ей-ей так! — сказал Василий Игнатьич.

— Да как же, — продолжал Дмитрицкий, — припомните-ко, тятенька: цельный, китайской укладки, чай пили только самые большие господа, князья да вельможи; у них только по ночам и пиры были; а теперь как стал всякой чиновник-шушера распивать настоящий китайский чай, так и не спится ему, завели картеж по ночам, да попойку, да музыку, пляски, — все с ума сходят от бессонницы. А что̀ будет, как и весь простой народ скажет: подавай, брат, мне настоящего, с подмесью-то я не хочу! — а?

— Ох, да ты, брат, штука стал, Прохор! говоришь как пишешь! любо слушать! Жаль полутораста тысяч; да я, брат, и рад, что не завел ты фабрику; ты слушай меня: торгуй чаем: ей-ей, прибыльнее фабрики.

— Слушаю, тятенька, во всем вас слушаю, — отвечал Дмитрицкий: — уж как я буду торговать чаем, так извини: у меня китайской пойдет только на подкраску.

— Нет, брат, Прохор, этого нельзя: теперь, брат, за этим смотрят, понимаешь?

— Смотрят? да мы с смотрителями как-нибудь уживемся.

— Нет, брат, Прохор, прошли золотые времена!

— Зато теперь, тятенька, мишурные времена; бывало озолотят человека, а теперь обмишурят — вот и всё.

— Э, да ты, брат, голова, Прохор!

— Вот, например, меня как славно обмишурили.

— Ах, да! расскажи-ко, как же тебя ограбили на дороге?

— А вот как, тятенька: еду я из-за границы... уж я вам всю чистую праздду скажу...

— Ну, ну, ладно, говори.

— Еду я из-за границы, да думаю: беда мне будет от тятеньки: «врешь, брат, прогулял деньги!» как быть; такой страх берет, что ужасть; как показаться на глаза? Постой-ка, думаю, попробую счастья в карты, не выиграю ли?

— Ах ты, собака! в карты играть! да я тебя, брат, знаешь?

— Да ведь это, тятенька, я с отчаяния.

— Ну, добро.

— Приехал в Киев; а там большая игра ведется, я и тово...

— Ах, ты, собака! проиграл и остальные?

— Какое проиграл! выиграл сто тысяч деньгами, да разных вещей тысяч на пятьдесят, да коляску...

— Ой-ли? ах ты, господи! ну?

— Как выиграл, радёхонек! душа не на месте! Поехал, еду себе да думаю: слава тебе, господи, капитал сполна привезу тятеньке, да еще и коляску в подарок.

— Ну, где ж она?

— А вот послушайте: обыграл-то я одного графа Черноморского. . .

— Графа? скажи, пожалуйста! врешь, брат, куда ж тебе с графом играть!

— Ей-ей, тятенька, я обманывать вас не буду. Да, вот что̀ надо вам сказать: как обыграл я его так он и потребовал, чтоб я опять играл с ним; а я говорю ему: — Нет, ваше сиятельство, покорно благодарю, мы и тем довольны. — «Так не хотите играть?» — Не желаю, ваше сиятельство. — «Не хотите?» — Не могу; мне надо торопиться ехать. — «Ну, хорошо же! — сказал он: — постой, дружок, постой, не уйдешь от меня!» — Я думаю себе: небойсь, не уйду, так уеду! поминай как звали! И тотчас же, не мешкая ни мало, поехал. Кажись, скакал на почтовых день и ночь; да в самом деле не ушел от этого проклятого Черноморского: уж я знаю, что это он со мной штуку сыграл: верно подкупил моего слугу. Он, верно он, тятенька; после уж мне в голову пришло, да поздно.

— Да какую же штуку он с тобой сыграл?

— А вот какую: приехал я в один город. Остановился в гостинице. С дороги потребовал себе галенок чаю, напился, вдруг что̀-то замутило меня, так всё и ходит кругом, голова, как чугунная, отяжелела: как сидел я на лавке, так и припал без памяти. Что̀ ж думаете вы, тятенька, где я очнулся?

— Ну, ну, брат, говори! Ах, мошенники, верно зельем каким опоили тебя?

— Да уж верно так! Очнулся я, кругом темно, кто-то душит меня, да кричит: «Воры, воры!» Господи! думаю, что̀ это такое? Сбежался народ, полицейские, городничий: «Вяжи его! — кричит, — вяжи мошенника!» Взяли да и скрутили руки

ки назад. У меня со страху язык отнялся. Привели в какую-то сибирку, да и бросили на нары, вместе с колодниками...

— Ах, сердечный!

— Да, тятенька, уж я плакал-плакал всю ночь, до самого утра. Поутру повели меня к допросу. «Кто ты такой, мошенник?» — спросил меня городничий. — Не извольте так обижать честного человека; вот мои бумаги, а в гостинице экипаж и слуга, — сказал я. Хвать в карман, за пазуху, ни бумаг, ни денег. Я так и затрясся. — Ах, ты, господи! — крикнул я: — ваше высокоблагородие, меня ограбили! — «Не прикидывайся, любезный! знаем мы вашу братью! Говори, кто ты?» — спросил снова городничий. А я-то кричу: — Батюшки, обокрали меня, погубили! — «Врет, ваше высокоблагородие, — сказал хожалый: — в гостинице никакой коляски нет; с вечера останавливался там какой-то граф, да чем свет еще уехал». — Так ты, брат, за графа себя вздумал выдавать! — сказал городничий. Я так и обмер, и уж ничего не помню, что̀ говорил и что̀ со мной было. Больного представили меня сюда в Москву. Как сказали мне, что я в Москве, в тюремном замке... ой-ой-ой! Если б вы знали, тятенька, что̀ мне пришло в голову!.. Ну, думаю, не буду срамить ни себя, ни тятеньку, не объявлю ни имени, ни отчества; лучше наложу на себя руки. Так и решил было; да вот усовестил меня господин стряпчий: ему я и сознался во всем.

— Ну, брат, Прохор, не даром ты переменился! — сказал Василий Игнатьич, — как посмотрю я на тебя — совсем другой человек!

— Как не перемениться, тятенька, я сам чувствую, что я уж совсем не то, что̀ был. Да если б

вы знали, как я истомился; всё думаю: не признает меня тятенька и родным сыном, проклянет, со двора сгонит!

— Ну, ну, ну, бог с тобой! и виноватого бог прощает; а ты ни душой, ни телом не виноват: что̀ ж будешь делать с мошенниками? Вперед, брат, и тебе наука: слушай отца!

— Виноват, тятенька!

— То̀-то; теперь, брат, я тебя женю, так лучше дело-то будет. Невеста ждет не дождется тебя. Да ты не говори никому, что̀ случилось с тобой; а просто скажи, что поехал за границу, да заболел, при смерти был, скажи.

«Вот тебе раз! — подумал Дмитрицкий: — мне уж и невеста готова! ..»

— Тятенька, мне надо еще окопироваться; у меня порядочного платья нет: нельзя же показаться невесте лодырем.

— Ну вот, платья нет! .. Чай и денег-то ни копейки нет?

— Уж, конечно, тятенька.

— То̀-то и есть, кабы жил по-человечески, так всё было бы... Ну, добро, ста рублей, чай, довольно будет на окопировку?

— Французская окопировка дорога, тятенька; а мне, право, жаль денег, я и в стареньком платье съезжу, не велика беда, не взыщут.

— Э, нет, брат; это уж не годится... невеста не тово... не лохмотница, а, чай, за ней также миллион будет!

— Ведь хорошо одеться очень дорого, тятенька; того и гляди, что тысяч пять издержишь.

— Ой-ой-ой! Нет, брат, жирно; а ты все закажи русскому портному.

— Так уж лучше знаете что̀, тятенька?

— Ну, что̀?

— Мне фраки-то мочи нет как надоели; такая нищая одежда, что совестно носить... Ведь как посмотришь, так нельзя не смеяться.

— Ну, нет, брат Прохор, господа-то лучше тебя знают: что̀ пристойно, что̀ нет.

— Господа? Право, господа-то ничего не знают: отчего вы думаете немцы и французы стали носить фраки, а не кафтаны? Оттого, что у их кафтанов локти истерлись, а передние фалды обшмыгались, так они их совсем обрезали, да рукава починили: с тех пор и вошли в моду фраки. Ей-ей, это по истории известно. Я, тятенька, лучше по-русски оденусь.

— Как по-русски?

— Да так, бархатное полукафтанье, шапочку-огулярочку... о, да как бы я нарядился! А на зиму кожух на соболях!

— Нет, Прохор, иззини! По-русски-то не след уж тебе одеваться: я, брат, сам теперь уж не тово... а почетный гражданин на правах господских! Понимаешь?

— Понимаю, тятенька.

— То̀-то; мне что̀ господа: сын мой не хуже какого-нибудь господчика; господчику отец даст пять тысяч на окопировку, а мы десять дадим! вот что̀!

— Покорно благодарю, тятенька; право мне жаль денег.

— Не твоя беда! Не жалей! уж в грязь лицом не ударим! Понимаешь?

— Понимаю, тятенька.

— То̀-то! Нам что̀: свадьбу-то мы сыграем такую, что держись только.

— Тятенька, невесте-то, чай, надо подарок свезти;

скажу, что из Парижа, все французское, да аглецкое. . .

— Ой-ли? Ладно! Купи французскую шаль. У нас, брат, славно теперь делают французские шали: словно настоящие. Рублей в двести такая, брат, шаль, что я тебе скажу!

— Кто ж французскими шалями дарит: дарят турецкими, тятенька.

— Ну, как знаешь.

— Вот князь. . . как бишь его. . . подарил невесте в десять тысяч шаль.

— В десять тысяч! ого-го! Ах, собака!

— Я куплю дешевенькую, тятенька: тысячи в две, в три.

— Нет, брат Проша, уж прах ее возьми, куда ни шло! Мне что̀ князь! Десять тысяч так десять тысяч! .. Ну, однакож пора ночь делить; ступай с богом, спи.

— Покойной ночи, тятенька! — отвечал Дмитрицкий, облобызав Василия Игнатьича.

И он отправился в свою комнату.

«Ну, — думал он, ложась в постель, — судьба славно распоряжается моими делами. Пришло ли бы мне самому когда-нибудь в голову сделаться купеческим сыном, Прохором Васильевичем? Какая забавная вещь! .. Оно бы, казалось, не совсем благопристойно: урожденному дворянину играть роль купчика, который, в свою очередь, играет роль дворянчика: да что̀ ж делать, так судьбе угодно: хуже, если б мошенник Тришка записал меня в свои сообщники: поди, разыгрывай в тюрьме, на площади и на каторге роль вора и разбойника. Экой плут, экой негодяй! принудил меня быть Прохором Васильевичем и жениться на его невесте! Экой бездельник! Да! ведь надо еще упросить тятеньку

взять его на поруки из тюрьмы да снабдить на первый случай двумя тысячами... Ну, утро вечера мудренее!..»

Дмитрицкий утонул в пуховой постели, задремал; но смерть жарко! Перелег на канапе, обитое кожей — смерть неловко! Стащил на пол перину и успокоился, наконец, на равендуке, которым обтянута была рама кровати, как в люльке, заснул и проспал дò-поздна.

Василий Игнатьич несколько раз уже присылал за ним.

Одевшись, он явился к нему, поздравил с добрым утром и облобызал три раза.

— Э, брат, Прохор, какой ты стал! Ты совсем извелся!

— Ах, тятенька, знаете ли чтò? Ваш бывший приказчик содержится в тюрьме.

— Поделом ему, мошеннику!

— Он просит, чтоб вы взяли его на поруки.

— Я? Чтоб он сгиб там!

— Тятенька, ведь он меня узнал; ведь он расскажет всем, что я был в тюрьме.

— Гм! не хорошо! Как же быть?

— Надо похлопотать, чтоб выпустили его на поруки, попросить господина стряпчего.

— Не хорошо; ну, да нечего делать в таком случае; только, брат, Прохор, не проси, чтоб я его опять к себе взял! Ни за чтò!

— Чтоб я стал просить за мошенника, тятенька! и не думайте того.

— Тò-то. Ступай же, ступай; вот тебе покуда пять тысяч.

— Покорно благодарю, тятенька.

— Да чтò покорно благодарю, ты сосчитай; а то вишь обрадовался! Ну, чтò? пять?

— Как раз пять.

— Тò-то. Ох, брат, как ты переменился, посмотрю я на тебя, совсем другой человек — и руки-то похудели, стали словно боярские; и ноги-то совсем похудели, как будто вполовину меньше. Какая у тебя нога-то была, с мою; а теперь...

— Это от парижских перчаток и сапогов; такие узкие, что боже упаси. Так я пойду, покуда куплю готовое платье.

Очень естественно, что такой сметливый малый, как Дмитрицкий, не мог дурно распорядиться пятью тысячами. На них можно было одеться в павлиные перья, не только что в какой-нибудь новомодный фрак со всеми принадлежностями. Через час времени Дмитрицкого нельзя было уже узнать. Когда он приехал в магазин, спросил самые лучшие часы и золотую цепочку и сказал, что он покупает потому только, что, заторопясь ехать с визитом, забыл свои дома, француз, вопреки условиям гордости своей великой нации, благоговейно посмотрел на него, и на вопрос: «Чтò стòит?» не смел произнести обыкновенную цену, но увеличил ее втрое, вчетверо, словом, в соразмерность ощущаемого благоуважения к русскому барину.

— Ну, брат, Прохор, — сказал Василий Игнатьич, осматривая его с ног до головы: — ей ей, графчик, да и только! Кабы еще очки на нос надел, так во всех статьях.

— А вот они, тятенька, и очки.

— Ой-ли, смотри пожалуй! все дворянские ухватки! ах, собака! Поди-ко ты, как невеста увидит, так так и ахнет. Поедем, поедем к ней, я сам поеду с тобой... Смотри-ко-сь, и цепочка какая! А часы-то есть?

— А как же, тятенька! Вот они.

— Э-ге! ну! а у меня, кстати, какие дрожки на аглецких лесорах!

— Неужели, тятенька, мы в дрожках поедем с визитом к невесте?

— А что̀ ж, велика беда: на чем приехали, на том и приехали; а впрочем, что̀ ж в самом деле, мы, пожалуй, и в коляске махнем.

— Надо бы в карете, четверней, тятенька.

— Э-ва! да это в самом деле скажут, что его графское сиятельство приехал.

— Тем лучше, тятенька: вам следует задать тону; вы не кто-нибудь такой — так ничего, а почетный гражданин, миллионщик. Если захотите только, так вас в немецкой земле в археографы пожалуют и с большой печатью диплом пришлют.

— Что̀ ты говоришь это, брат?

— Ей-ей, позвольте только мне распорядиться; ведь это, тятенька, пустяки. Вам только сто̀ит захотеть, так вас тотчас примут в почетные члены всех европейских академий и ученых обществ; а там уж до археографов не далеко.

— Эй! вели-ко у Колобашки взять четверку коней! — крикнул Василий Игнатьич: — да скорей, тово, а ты, брат, Прохор, гиль несешь! За границей такой смелости набрался, что я тебе скажу.

— Не дураком же возвратиться, тятенька; ведь там все наши учители живут; вот, чтоб не терять время, я и высматривал, как там всякая скотина отращает себе крылья.

— Как я посмотрю на тебя: офранцузился, брат, ты совсем!

— Как же иначе, тятенька; уж это такой народ: кто раньше встал, да палку взял, тот и капрал. В этом и вся штука,

— Сам ты, брат, штука! ну, да добро, дело-то надо начать порядком: заслать к невесте-то Матвевну.

IV

Покуда Василий Игнатьич с сыном сбираются в дом к невесте, мы отправимся вперед, за Москву-реку, ознакомиться с Селифонтом Михеевичем, с его супружницей, с прекрасной дщерью Авдотьей Селифонтовной и с их житьем-бытьем.

Вот, на одной из замоскворецких просторных улиц, не нарушаемой ни ездой экипажей, ни толкотней народа, вы сперва увидите длинный штучный забор и ворота хитрой работы, раскрашенные масляными красками пестро, но с большим вкусом. Над воротами врезан медный окладень. Войдете на двор — перед вами как нарисованы: вправо довольно большой дом с стекольчатым крыльцом; влево, за забором, усаженным акациями, людские, конюшня и сараи; прямо за лужайкой зеленая решотка сада; подле калитки колодец с колесом, размалеванный на русский затейливый вкус. В саду, как водится, беседки, вход которых стерегут алебастровые раскрашенные китайцы; в глубине сада, как водится, баня, где в субботный день вся семья выпарится, вымоется, чтоб в чистоте и благочестии затеплить перед образами лампадки и встретить воскресный день молитвой. Сад тенист и цветущ, двор зелен, дом как новенькой, все как будто сейчас построено. Ни в доме, ни на дворе ни шуму, ни стуку, ни людской брани, ни бабьего крику, ни беготни, ни толкотни. Всему время, всему место, во всем порядок, всё просто, — кажется, ничего нет чрезвычайного, а как-то отрадно смотреть.

Вот идет опрятно одетая баба с кувшином на погреб, нацедить мартовского кваску к обеду. Погреб чист, все в нем ладно уставлено, бочки с медом и квасом, кадки с соленой капустой, огурцами, сливами, грушей, смородиной, крыжовником; банки с различным вареньем, крынки с молоком, маслом и сметаной; по стенам не растут грибы, плесень не портит запасов, нечистая рука ни к чему не прикасается, все берется с крестным знамением. Ничто не опрокинется, не разобьется, не вытечет; на кошек и мышей нет поклепу, Дарья не сваливает на Марью, никто хозяйского не возьмет, не лизнет.

Вот молодчик в долгополом сюртуке кличет кучера:

— Иванушко, а Иванушко!

— Ась?

— Запрягай гнедых в коляску!

— Гнедых? ладно!

И кучер Иванушко, плотный, здоровый, кровь с молоком, борода по пояс, в плисовом полукафтанье, картуз на бекрень — идет в конюшню; там стоит шестерка тысячных; чмокнул Иванушко — заржали, оглядываются на него, вычищены, выхолены, как дегатированные. Потрепал по крупам, вывел гнедых — заманерились как свадебные плясуны. В сарае экипажи, сбруя, как на выставке. Лошади запряжены, Иванушко идет одеваться.

— Э, Иван Савельич, куда ты сбираешься? — спрашивает его людская кухарка, прибирая всё в кухне чисто-начисто и перетирая посуду к обеду.

— Еду с Селифонтом Михеичем.

— Да ты бы хоть перекусил чего-нибудь.

— Некогда, сейчас подавать.

— Так возьми хоть за пазуху ломтик пирожка.

— Нет, спасибо, Савишна. Уж я не люблю из пустяков рот марать.

— Ну, а как Селифонт Михеич останется где обедать?

— Так что̀ ж; чай, лошадей-то отпустит домой, али там накормят. Вот был я в кучерах у нашего барина, так там порядок другой: как сядешь на козлы с утра, да вплоть до утра и проездишь.

— Ах ты, господи! целый день и лошади и ты, так и голодаете?

— Как можно! Лошадей-то раза четыре переменишь. Поутру вот объездишь домов двадцать; потом приедешь — запрягай другую четверню — ехать в гости обедать; отобедают, опять домой, с барыней в кеатр, аль на бал, так и стоишь до утра.

— Ни пообедать, ни поужинать некогда? ах ты, господи!

— Когда ж тут об обеде думать: барину-то, чай, не ждать тебя; а уж я не люблю на скорую ручку. Вот, как в деревне господа, так другое заведенье: наедут гости — так и господам, и людям, и лошадям корм, всего вволю; бывало на конюшне-то лошадей сто чужих... Эх, да пора, пора!

Иван Савельич на козлы; а мы отправимся в дом. По чистой, опрятной лестнице, не похожей на pente douce;[1] ну, да ничего: воображению и здоровому человеку, в законной одежде, не трудно взобраться на круть; дело другое, une dame[2] в длинном платье, которое спереди надо приподнимать и нести перед собою обеими ручками, чтоб не наступить на него даже на гладком паркете. Взобравшись по лестнице на окончатое крыльцо, входишь без доклада в переднюю: тут ни швейцаров, ни официан-

[1] Отлогий спуск.

[2] Какая-нибудь дама.

тов нет, а выбежит какая-нибудь старушка, спросит: — Кого, батюшка? — «Селифонт Михеич дома?» — Дома, сударь, пожалуйте.

В комнатах немножко пустенько покажется с первого взгляду, да зато никакой пустыни нет: в каждой, в переднем углу образ с лампадкой, или целый иконостас образов. Селифонт Михеич жил по старому русскому обычаю: чисто, опрятно, тепло, приютно, — красно не стенами, а пирогами; он жил не на господскую ногу, как многие из его собратий, не украшал комнат ни тумбами с фарфоровыми вазами, ни бумажными люстрами и канделабрами, ни гипсовыми золочеными амурами, Венерами и гениями, ни масляными огромными картинами ученической бездарной фантазии и кисти; ни всем прочим хламом, столь необходимым уже для современного человека, у которого, как у бессмысленного ребенка, разбегаются глаза на пестроту и блеск, которого занимает только внешность, который тянется только к тому, чем можно играть и забавлять себя; который кричит, когда ему не дают хлопнуть по зеркалу, разбить часы, рвать книгу, для которого всё игрушки, всё забава и, наконец, который любит только тех, кто потворствует ему и гладит по голове: «пай дитя!»

Вообще никаких причуд не было у Селифонта Михеича; он не то, чтобы презирал их — нимало, но называл только вещами бесполезными: это, сударь, кажись ничего, говаривал он, да оно вот что̀, я вам скажу: оно хитро, очень хитро; аплике, словно серебро; бронза, словно золото; да по пословице: *на хитрость-то поднимается голь*, а не кто другой; так и извольте смекать.

Разумный человек был Селифонт Михеич, богобоязлив, а следовательно, и честен; хоть и говорят,

что можно и иначе быть честным, да еще не доказано. Приняв в наследие торговые обороты отца своего, правдиво нажил он огромное богатство, не утратив веры в свое слово; супружница его была также благочестивая женщина; два сына славные молодцы, надежные приказчики отца. Но кроме двух сынов была у него и дочка, Дунюшка. У Марьи Ивановны один грех пал на душу: страстная любовь к хорошенькой дочке. Все зло пошло от крестной матушки, жены закадычного друга Селифонта Михеича, Ирины Степановны. Она воспитывалась в пансионе и внесла в купеческий быт своего мужа всю изнеженность, все причуды барышни, которая училась говорить по-французски, танцовать, играть на фортепьяно, которая не может выносить ни простого слова, ни простой пищи, ни простой одежды, ни простой жизни; которая алчет французской шляпки, французской материи на платье, французской прически, духов, помады; словом, всего французского, а не русского. Когда Григорий Андреевич стал свататься за Ирину Степановну, Селифонт Михеич говорил ему: послушай моего совета, Григорий Андреевич, женись лучше на француженке, чем на французской кукле. Но этот совет не помог, сначала даже развел друзей. Сначала Григорий Андреевич возвеличáлся было молодой женой; не прошло недели, как почувствовал он, что из хозяина приходится ему, для мира и спокойствия, обратиться в приказчика: виноват не виноват, а отвечай за всё, даже за скуку и недоброе расположение духа Ирины Степановны; то тò не так, то другое не так, то слишком крепко обнял, то больно ухватил, то бороды не люблю, то кухарки не терплю, найми повара. Ужасный переворот в доме. Переворот к просвещению или, лучше сказать, к утончению, к рафи-

нировке, к разнообразию, к быстрому прожитку, к раздроблению вещественных и невещественных капиталов, капиталов внешних и внутренних, денежных и производительных, капиталов ума и чувств, к стремлению эксцентрическому всех лучей, к столкновению и, наконец, к образованию новых центров и более ничего или, лучше сказать, не ничего, а быстрое движение от излишнего тяготения — вот и всё.

Как ни тягостно было для Григория Андреевича преобразование, как ни тяжек был супружеский его быт с Ириной Степановной, но между мужем и женой всё шито да крыто: на душе мыши скребут, а на лице такое благорастворение воздуха, такая ясная погода, что боже упаси. Если супружеское счастие похоронено, так про него, как про мертвого: aut bene, aut nihil. [1] Так и делал Григорий Андреевич; зато всему соседству, всему знакомству и всем кумушкам нечего было сказать про Григория Андреевича и Ирину Степановну, кроме: «Вот чета! какой мир и согласие!»

Ирина Степановна, не имея собственных детей, полюбила крестницу свою как душу. Снаряжала маленькую Дунечку во всю роскошь детских нарядов с Кузнецкого моста; снабжала ее тьмой кукол и игрушек; откармливала ребенка всеми затейливыми сладостями кондитерских. Очень естественно, что родной маменьке это было по сердцу: не отстать же ей от крестной маменьки; и вот она привыкла нежить Дунечку как нѐщечко, понемножку привыкла быть *детской рабой*, величать ее, в подражание крестной маменьке, генеральшей. Но будущей генеральше надо было знать непременно французский

[1] Про мертвых или хорошо или ничего (латинская пословица).

язык, танцовать и играть на фортепьяно. Эта мысль стала беспокоить и Марью Ивановну; и Селифонту Михеичу стало казаться, что Дунечка родилась под особенною какою-то счастливою звездой. По совету Ирины Степановны, на одиннадцатом году отдали ее в пансион под особенный личный присмотр и попечение содержательницы пансиона.

Хотя содержатели и содержательницы пансионов и обязываются условиями пансиона брать всех воспитанников до единого под личный присмотр и попечение, но у них существует еще какой-то особенный личный присмотр и особенное попечение. Эта особенность приобретается особенной суммой. Дунечка была особеннее всех прочих воспитанниц благородного пансиона. Для нее все особенное: комната, прислуга, чай, завтрак, и всякой день лакомства, особенное снисхождение к причудам, к лени, к привычке выть, и даже к *я не хочу!* Добрым ее родителям не трудно было дать особенное понятие о ее необыкновенных способностях и успехах. Крестная маменька была надежный судья в ее познаниях французского языка: она всегда разговаривала с ней по-французски.

— *Коман-ву портеву*, Дунечка?

— *Фор-бьян, а-ссе-бьян*, — отвечала всегда Дунечка фразой заученных разговоров.

— *Иль фо-дир: фор-бьян, мадам*, Дунечка; *компрене-ву?*

— *Же-н-се-па.*

— *А, иль-фо-дир: мадам. Аве-ву-промене ожурдюи?*

— *Нон.*

— *Пуркуа-нон?*

— *Же-н-се-па.*

— *Иль-фо-дир: же-н-се-па, мадам.* [1]

— Какой чудный язык! — повторяла Марья Ивановна, смотря с восторгом на дочь.

— Очень, очень порядочно говорит уж, — замечала Ирина Степановна. — *Жуэ кельк-шоз сюр фортепьяно,* Дунечка.

— *Но, же-н-се-па!*

— *Ну, ну, жуэ! вальц жуэ.*

Дунечка, покобенясь немножко, садилась за фортепьяно, трын, трын, трын: — *Нон, же-н-се-па вальц, же-ублиэ.*

— Ну, кадриль.

— *Кель кадриль?* [2] — спросит Дунечка как будто и бог знает сколько кадрилей играет; и застукает клавишами единственную, на изучение которой иссякла вся ее способность к музыке.

Во время игры вся семья стоит за ее стулом и слушает с удивлением. Иногда и сам Селифонт Михеич посмотрит-посмотрит, да и скажет:

— Хитрый струмент придуман!

— Да ты слушай! — скажет ему Марья Ивановна, толкнув легонько рукою, чтоб молчал.

[1] — Как вы поживаете, Дунечка?
— Очень хорошо, вполне хорошо.
— Нужно говорить: очень хорошо, мадам, Дунечка; понимаете?
— Я не умею.
— Нужно говорить: мадам. Вы сегодня гуляли?
— Нет.
— Почему?
— Я не знаю.
— Нужно говорить: не знаю, мадам.

[2] — Сыграй что-нибудь на фортепьяно.
— Не хочется.
— Ну, сыграй! сыграй вальс.
— Нет, я не хочу играть вальс, я забыла.
— Ну, кадриль.
— Какой кадриль?

При чужих Дунечка ни за что̀ не играла. Сама мать попросит-попросит ее, да и заключит просьбу словами: «Что̀ с ней будешь делать, такая стыдливая!»

Матери очень хотелось, чтоб она выучилась играть русские песни; но мадам, которая учила Дунечку на фортепьяно, один раз навсегда сказала: «Фи! кто учит русские песни! мужик учит!», а потому и Дунечка отвечала всегда на желание матери: «Кто ж, маменька, играет на фортепьяно мужицкие песни».

Для танцев природа Дунечки была не слишком гибка; но всё-таки это искусство как-то больше всего дается девушкам, особенно же при современном падении танцовальной шагистики, когда *полька* вертит всем головы, когда вместо ног выделываются па головой, когда и без танцев у прекрасного пола голова кружится, а сердце не *ходит* в груди как бывало, а пляшет, по простонародному выражению, *трепака*.

Теперь, ни девушки между собою, ни в разговоре о девушках не говорят уже о внутреннем приданом: о богатстве и чистоте души, о достоинстве свойств и о чистоте сердца, даже не говорят и не спрашивают вообще о здоровье существа, мыслящего о замужестве; но спрашивают только, как велико приданое, и по количеству денег выводят расчет о выгодах замужества. А если о чем не говорят, значит, что об этом нечего и говорить. О чем не спрашивают, значит, что то не нужно. Люди перестали верить в очарования, и женщина, чародейка по естеству, потеряла власть свою над мужчиной. Волшебный взор, пленительный голос, могучие слезы — стали бессильны. Мужчина подходит к ней смело, глядит ей прямо в глаза, говорит ей не запинаясь, как будто

приглашая на мазурку: угодно вам? — Ей одно остается: или радостно подать руку, или отвечать: engagée, monsieur! [1] — Тем бал и кончен.

Нигде нет такой постоянной беседы о хорошеньких прохожих, о женихах с усами и без усов, о замужестве по любви, по сватовству, о приданом и о бесприданницах, как в женских пансионах. Здесь-то по части чувств, любви и замужества составляется винегрет понятий из наслышек, из сказок и романов. Здесь-то все промежутки времени между необходимостью выучить урок и *сдать* его, наполнены самыми очаровательными мечтами о суженых и ряженых.

Известно, что арифметика, до первых четырех правил, совершенно необходимая вещь при современном образовании девушки. Без арифметики девушка не могла бы ценить себя. Не зная еще этой хитрой науки, Дунечка сначала робела перед рослыми и перед толстыми подругами; но когда выучилась считать до миллиона и когда узнала, что во всем пансионе только она одна миллионная невеста, а все прочие, кто десятитысячная, кто тысячная, а бо̀льшая часть просто «бесценных» существ, — тогда Дунечка поняла что̀ она такое; поняла причину особенного попечения о себе содержательницы пансиона и всей ее прислуги. Какою способностью своей круглой, с двумя вставленными серыми гляделками, головы она понимала — трудно решить; но верно поняла, что не только красота — прах, но и весь человек с своими внешними и внутренними достоинствами прах, и даже официальными оценщиками становится в числе тленных вещей, за которые никто не отвечает; что отвечать можно только за нетлен-

[1] Я уже занята, мосье.

ное золото. Поняв это, Дунечка поняла без сомнения и то, что только в золотом окладе можно чваниться и кобениться; она это и исполняла в точности. Когда ей исполнилось пятнадцать лет, в купечестве начали поговаривать сперва о миллионе, а потом об ней; свахи заглядывали в ворота как гробовщики, прослышав о больном богаче, и поговаривали: «Славная невеста! миллион приданого! а какая манежная!»... Сваха Матвевна, ходившая по делам женихов купеческого звания, готова была съесть сваху Сергевну, которая поставляла невест людям чиновным: кавалерам, инаралам, и прочим и прочим, только не прапорщикам и не маиорам: неизвестно, почему все невесты терпеть не могут первого оберъофицерского и первого штаб-офицерского чина.

Припомните, пожалуйста, что Фекла Семеновна, супруга почетного гражданина Василия Игнатьича, повела было сватовство сына Прохорушки на Авдотье Селифонтьевне. Матвевна употребила все чары на ее отца и мать, а главное, на крестную матушку Ирину Степановну, во-первых, чтоб не пускать на двор Сергеевну, а во-вторых, чтоб отклонить Дунечку от генеральства. «Сударыня ты моя,— говорила она ей, — что̀ тебе генерал: я тебе просватаю графчика». И насказала она ей такие страхи про генералов, как они на войну ходят, как учат жен солдатской темп выкидывать и маршировать под барабан, и какую екзекуцию чинят над женами, и как, вместо служанок, держат при них денщиков, и прочее, и прочее, что Дунечка пришла в ужас.

— Неужели денщиков, Матвевна?

— Ей-ей! вот-те Христос! да ведь же и нельзя иначе по солдатскому быту: женщины-то в поход не ходят, сударыня; ну, и служат генеральшам-то денщики: денщики и белье стирают, и детей няньчат,

и всё, вот что̀; военные-то барыни ведь так уж и родятся, у них и стыда на то нет; а тебе, сударыня, такому нѐщечку, такой неженке, где ж вести жизнь солдатскую, в лагерях? На тебя ветерок пахнет, так беды-то, беды! Нет уж, избави бог! Я тебя так полюбила, что и сказать нельзя! Не приведи бог прослышать, что ты за военного или за чиновника замуж идешь! руку наложу на себя! ей-ей! .. А чиновники-то, сударыня? Посмотри-ко-сь, как их под суд, да под суд, а жизнь-то какой ни на есть чиновницы! Да будь ты, примером сказать, хоть бы и штатская советница, а над тобой-то начальницы и губернские секретарши, и асессорши, и регистраторщи, и сенаторши, и действительные какие-то, да еще есть и тайные какие-то, бог их знает, все тебе начальницы по мужу; и изволь ездить с поклоном; а уж это, сударыня, не то что приехал в гости, да и сел, да еще и угощают — нет! настоишься и в передней, покуда позволят войти, да с праздником поздравить! Присягну, сударыня, если всё это неправда! Выведала я всю подноготную их. Да и отчего ж бы мне не сватать, как Сергевне, чиновных-то лиц? Сама скажи? еще и выгоднее; да бог помиловал, я не такая бессовестная! .. Нет, сударыня, Марья Ивановна, дочке вашей я просватаю графчика!

— К чему нам графчик, — говорил Селифонт Михеич: — нашелся бы под стать, купеческий сын, лучше бы было.

— Ах, нет, тятенька! — вскрикивала с обиженным чувством Дунечка.

— Что̀, нет, тятенька? а?

— Ничего, тятенька.

— Ох, да не мешайтесь в наши дела, Селифонт Михеич, уж не беспокойтесь, будет все и по-вашему и по-нашему, — возражала Матвевна.

И наговорила она короба с два про Прохора Васильевича, сына почетного гражданина. Дело шло уже к тому, чтоб показывать невесту; да Фекла Семеновна заболела, умерла, а Прохорушка отправился в Немечину. Прохорушка, взяв у отца деньги на покупку машин за границей, отправился из Москвы как раз перед ростовской ярмаркой. Известный уже нам несколько приказчик Трифон поехал провожать его.

Прибыв на ростовскую ярмарку на неделе, которую величают там второй неделей масляницы. . . Но оставим его покуда догуливать и обратимся к нашему герою, который в отсутствие Прохорушки играет роль его так искусно, что бог ведает как в этом подсолнечном и подлунном мире отличить ложь от истины, мнимое от настоящего, и даже черное от белого.

Когда Василий Игнатьич радостно и горделиво насмотрелся на своего мнимого сынка, одетого по последней моде, тотчас же послал за Матвеевной.

— Постой, постой, брат, Проша, куда, не уходи, сиди! — сказал он Дмитрицкому, который, показавшись почтенному родителю, хотел было поцеловать у него ручку и шаркнуть вон.

— Постой, брат, постой, вот придет Матвевна, пусть-ко посмотрит на тебя, да скажет, пригоден ли ты Авдотье Селифонтьевне.

— Матвевна придет, тятенька? — сказал Дмитрицкий, смекнув дело: — а я было хотел съездить к Иверской!

— Оно так и следует; да постой: что̀ ты, брат, нанял за слугу такого? такая скверная рожа!

— У кого? у Конона? Помилуйте, тятенька; вы посмотрели бы, что̀ за душа у этого человека! и что̀

за верность, что̀ за усердие! так и сторожит подле меня.

— Мне не нравится.

— Знаете, тятенька, я ведь забыл, как бишь Матвевну-то величают по батюшке? — спросил Дмитрицкий.

— Да Матвевна же и есть по отце; а зовут-то ее Соломонидой; ну, садись, садись и нишкнѝ. Слышишь?

— Слушаю, тятенька.

— Она тут близко живет.

Матвевна не заставила себя долго ждать.

Она вошла в дверь, обратилась к образно̀й, перекрестилась и потом, низко кланяясь, возгласила:

— Здравствуй, батюшка, Василий Игнатьич, всё ли вас бог милует, как изволите поживать? .. Ох, господи, так и замирает душа, как вспомнишь Феклу Семеновну.

Василий Игнатьич откашлянулся.

— Матвевна, — сказал он: — вот его графское сиятельство пожаловал ко мне...

— Ах, ваше графское сиятельство; извините; я такая дура, что мне и не в примету... что вы здесь изволите сидеть! ..

— Так вот, Матвевна, — продолжал Василий Игнатьич: — их графскому сиятельству есть дельцо до тебя.

— Какое, батюшка?

— А вот какое: их графскому сиятельству угодно жениться на Авдотье Селифонтьевне.

— На Авдотье Селифонтьевне? их графскому сиятельству? Ох, да вы меня, сударь, морочите.

— Ей-ей, так! — отвечал Василий Игнатьич, разгорясь от довольствия, что Матвевна в самом деле

почитает его Прохора Васильевича за графа: — вот что̀, Матвевна; оно, то есть, ничего, так тебе, его графское сиятельство хочет отбить невесту у моего Прохора! Ась? Каков его графское сиятельство? Матвевна, а?

— Ох, да вы, Василий Игнатьич, морочите меня! — повторила Матвевна, всматриваясь в сидящего перед Василием Игнатьичем франта, в белых перчатках, с тросточкой, в зеркальных сапогах.

«Не узнает меня, Соломонида Матвевна, — подумал Дмитрицкий: — да и где ж узнать, мы уж с ней, чай, не видались с самого создания мира. Заговорю с ней по-вороньи, может быть, догадается».

И Дмитрицкий откашлянулся, подернул головой и пожал неуклюжо плечом.

— Оно, то есть, Соломонида Матвевна, не изволили признать меня; — начал он скороговоркой: — а мы, кажется, всегда со всяким почтением пребывали, аккурат, то есть, как следует.

«Ох, да что̀ ж это, — подумала Матвевна: — кто ж это такой? По перьям-то графчик, а по голосу-то, сдается не тово...»

— Ну, что̀ ж задумалась, Матвевна, — сказал Василий Игнатьич.

— Ой, насмехаетесь надо мной, сударь, Василий Игнатьич, сердце чует...

— Чует? да еще не расчухала? а? Матвевна, как ты думаешь?

— И думать-то не знаю что̀... да неужли уж...

— Уж нечего скрывать, тятенька, я вижу, что Соломонида Матвевна узнала меня,— сказал Дмитрицкий.

— Прохор Васильевич? Господи! да кто ж бы

подумал? — вскричала Матвевна: — и в глаза смотрю да не узнаю! .. да как переменился.

— А? Матвевна, вот он каков приехал из-за границы-то, сам на себя не похож! — сказал Василий Игнатьич.

— Чтò ж, сударь, действительно переменился, да к своему же авантажу.

— А? Прохор, встань-ко, да перевернись на одной ножке по-французскому-то.

— Извольте, тятенька, — отвечал Дмитрицкий. И он встал, прошелся по комнате en galant homme,[1] перевернулся на одной ножке и сделал *приятную мину* Соломониде Матвевне.

— Ну, чтò скажешь, Матвевна? — спросил Василий Игнатьич.

— Ну, уж правду сказать, великатес, батюшка! уж такой стал графчик, бравой, да гибкой, словно на пружинах! .. поопал в лице только, чай, с дороги? Когда пожаловал?

— Не о том дело, Матвевна, а вот чтò: ты побывай сейчас же у Селифонта Михеича, понимаешь?

— Понимаю, понимаю, сударь. Господи! да еще бы Авдотья Селифонтьевна не пошла за такого женишка! а с родителями-то ее был уж лад.

— Тò-то; так ты как знаешь, так и делай, чтоб до поста дело покончить. На-ко, вот тебе на гарнитуровое платье, да на платок.

— Много благодарна, Василий Игнатьич, помню и прежние ваши щедроты; из одной доброй памяти милостей Феклы Семеновны, я бы Прохору Васильевичу просватала царь-девицу, ей-ей!

— Ну, ну, не сули журавля в небе, дай синицу в руки.

[1] Как светски воспитанный человек.

— Добро уж, добро, прощайте, сударь! Ну, графчик, нѐча сказать!

— Ах, да, тятенька; кстати Соломонида Матвевна напомнила: ведь я за границей пригорговался к графству.

— Как к графству приторговался?

— Да так, там сто̀ит только купить графство, то есть поместье, так и граф. Если пожалуете мне денег, я тотчас же покупаю.

— Ой? неужели? А много денег?

— Тысяч двести, не больше; чудное именье! Какие виноградные сады, какие вины! Да вот вы знаете вейн-де-граф?

— Как не знать.

— Ну, так вот именно: по этому графству и вино называется графским.

— А шампанского там нет?

— Немного: тысяч пять кустов виноградных, на десять тысяч бутылок.

— Ей-богу?

— Не более.

— Слышь ты, это мало! В самом деле не худо бы! .. Слышь, Матвевна, ты покуда никому не говори!

— Ни слова, сударь!

— Ну, то̀-то, ступай, ступай себе с богом, да не мешкай!

— Уж я буду мешкать!

Матвевне не впервые пришлось возбуждать в девушке смертную охоту поскорее выйти за̀муж, восхищать ее воображение чудным женихом, поселять в сердце заочную к нему любовь, внушать страстное желание скорее быть просватанной и боязнь, чтоб дело не разошлось. Это был какой-то морок.

— Знаю я, сударыня, — говорила Матвевна, как

Пифия, — что это твой суженый, не обойти его конем!

И омраченная девушка, при первом свидании с своим суженым, не спрашивала уже ни у одного своего чувства, по̀-сердцу ли он ей, а потупив глаза только думала, как бы ему понравиться. Она готова уже была, на веру в слова Матвевны, *без смотру* стать под венец.

Авдотья Селифонтьевна была не царевна премудрая, Матвевне стоило только зайти в ее покой, всплеснуть руками, охнуть и вскричать: — Радость ты моя, Авдотья Селифонтьевна, какое счастье тебе выпадает! На-днях гадала о тебе, выходит жених, на пути, да и только; ну, вот выходит, хоть сто раз клади карты, не оттасуешься! А сегодня, сударыня... ох, дайте собраться с силами! .. запыхалась!

— Говори, душечка Матвевна!

— Вот дух переведу... Ох! какой бравой, какой приятной, какой багатой, что̀ за щеголь! что̀ наши здешние графы и князья!

— Да говори, душечка Матвевна, кто ж он такой?

— Уж вестимо, что̀ не какой-нибудь гольинарал?

— Да кто ж он такой? милочка Матвевна!

— Погоди, не вдруг... ей-ей! вот уже не ожидала! .. Видела я его и прежде, хорош был, красавец, вот и всё; а теперь, как побывал во французской-то земле — ну! уж я и не знаю, что̀ сказать. Купил там графство — вот слыхала ты про *графское вино*, что̀ подают на сто̀л? .. из его поместья... купил за двести тысяч... ей-ей!

— Голубушка Матвевна, да кто ж он такой?

— Кто такой! сударыня ты моя! готовь только

подвенечное платье, а уж графиней-то будешь! И до отъезду-то его за границу, я уж видела что̀ за человек, и тебе же его прочила.

— Мне? да ты мне сватала сына Феклы Семеновны... а его не сватала.

— Не сватала?

— Когда ж ты сватала? Разве с маменькой говорила... А почетной-то гражданин, эка великая вещь! мы сами почетные, что̀ ж тут такого особенного?

— А то и особенного, сударыня, что права-то те же дворянские, хоть шестерку запрягай в карету, иль в коляску; а в кармане-то миллион; а у простого-то дворянина — шиш! Вот тебе и что̀ особенного. Вот он купил себе графство, да и граф; ступай себе куда хочешь подбоченясь; а дворянин-то выслуживайся, да еще разве что до инаральства дослужится.

Авдотья Селифонтьевна задумалась, подставила одну ручку под локоток другой и опустила голову на ладоньку, забыв, что мадам твердила ей всегда, что это *мушичка так делает*.

— Да неужели же это... как бишь... Прохор Васильевич?

— Ох, догадлива ты, Авдотья Селифонтьевна! и не видывала такой барышни! ей-ей! Зато уж и я тебя люблю! Встарину какой-нибудь королевич увидел бы тебя в трубу у окошечка, и быть бы тебе королевой; да теперь не те времена, перевелись королевичи, да и царств-то стало мало: вот только и есть что̀ Русское; да иноземные аглицкое, французское, да немецкое, да еще какое-то; да и те все едино, один у них царь был Аполион.

— Помилуй, Матвевна, а турецкое-то?

— Вот тебе раз; какое ж у турок царство, там

просто султан сидит с усами по колено, да с трубкой в руках; да и какие ж там женихи?

— Ты видела его, Матвена! — спросила Авдотья Селифонтьевна, снова задумавшись.

— Гм! бежала бы я сюда опрометью, если б не видела!

— Так ты говоришь, Матвевна, что он в Париже купил себе чин графской?

— Что̀ чин, — поместье с виноградными садами!

— Стало быть он там и жить будет, как женится?

Этот вопрос смутил Матвевну; ей пришло в голову, что в самом деле Прохор Васильевич, купив во французской земле поместье, вздумает жить там, и это расстроит свадьбу. Селифонт Михеич и Марья Ивановна, подумала она, ни за что̀ не отпустят дочки в чужую землю, да и Авдотья Селифонтьевна верно не согласится итти за французского помещика.

— И, бог с тобой! — вскричала она в ответ: — зачем же жить во французской земле, что̀ там делать-то?

— Ах, нѐт, Матвевна; уж если я пойду за него за̀муж, так с тем, чтоб ехать жить в Париж, в свое именье, непременно!

Матвевна совсем перепугалась.

— Ах, друг ты мой сердечный, да избави бог! На этом условии ни отец, ни мать твои не согласятся отдать тебя за̀муж! Уж ты хоть до свадьбы-то не говори никому, что жених-то твой французской помещик. И! да старики и руками и ногами отбрыкаются от него! Не говори, ни за што̀ не говори!

— Ну, хорошо я не скажу; а уж это неприменно; нето я и за̀муж не хочу итти. Теперь все ездят в Париж. Ведь все моды-то, Матвевна, идут из Па-

рижа: там настоящие, а здесь что̀, дрянь да и как дорого, если бы ты знала: я видала у мадам Лебур настоящую шляпку, прелесть! да они еще и не продают настоящие парижские шляпки, а выписывают себе для образца да шьют по ним: уж где ж так сшить, как в Париже. А перчатки-то французские, платки-то бур-де-суа, материи-то французские — прелесть! да и всё; а здесь-то что̀?

— Правда, правда, нечего и говорить, — отвечала Матвевна. — Ох ты, мое солнышко светлое! Как разрядит он тебя там графиней, что̀ это будет! на удивление!

И с этим словом Матвевна расцеловала Авдотью Селифонтьевну; а у Авдотьи Селифонтьевны так заколотило сердце от желания сейчас же, сию же минуту выйти за̀муж и ехать тотчас же от венца в Париж, что если б не Матвевна же принялась уверять ее всеми святыми, что это сбудется, то она, по русскому обычаю, пошла бы да и утопилась.

V

На Матвевну можно было полагаться. Она предуведомила Василья Игнатьича, чтоб, пожалуйста, он до времени не говорил никому, что сынок его покупает во французской земле графское поместье.

— Ладно, ладно, — отвечал он: — помолчу! Я уж и деньги выдал Прохору. Так завтра нас ждут?

— Завтра, сударь, чайку откушать.

— Да ты бы, Матвевна, намекнула, чтоб бутылочку вен-де-графцу приготовили, что̀, дескать, я очень люблю это вино, слышишь?

— Скажу, скажу, Василий Игнатьич; что̀ ж им значит бутылочка белого; и шампанского поставят, если прикажете.

— Нет, до шампанского еще дело дойдет; а вот вен-де-графцу-то непременно! Ступай себе, мне надо ехать.

И Василий Игнатьич отправился к Сидору Яковлевичу, знакомому погребщику, прямо в его погреб *ренских вин,* и, не успев порядком разговориться о добром здоровье, потребовал бутылку вен-де-графу.

— Прикажете завернуть?

— Нет, брат, раскупорь, — сказал Василий Игнатьич.

— Извольте, сударь. Да что̀ ж простого столового; не прикажете ли попотчивать вас шампанским?

— Что̀? простого столового? Нет, брат, настоящий-то вен-де-граф вино не простое, а графское, оттого и называется так.

— У нас, Василий Игнатьич, самое лучшее, подлогу нет, извольте откушать.

— Покажи-ко бутылку; здешней разливочки?

— Да как же, сударь; белое ренское привозится в бочках.

— Что̀? как бы не так!

— Ей-ей; да вот извольте спросить у Трофима: он жил у Леве.

Василию Игнатьичу раскупорили бутылку, налили вина в рюмку и подали на подносе. Василий Игнатьич хлебнул и поморщился.

— Нет, Сидор Яковлевич, извини; это, брат, не вен-де-граф!

— Помилуйте, Василий Игнатьич, буду ли я подавать вам другого вина; сами же изволили потребовать вен-де-графу. Что̀ ж, вен-де-граф не важное вино из ренских: всего-то в половину серебра бутылка, а для вас полтора рубля. У нас, сударь, вся-

кие вйна есть: бургонское самое лучшее, мадера-с, малага, что̀ прикажете.

Василий Игнатьич задумался было, поверив на̀-слово приятелю своему Сидору Яковлевичу, который уступал ему вйна в полцены против Леве, и если б Прохор Васильевич был налицо, он бы тут же пугнул его за покупку дрянного поместья с кислыми винами; но, к счастию, ему кое-что̀ пришло на мысль.

«Э! да какой я дурак!» — подумал он:

— Знаю, брат, знаю, что есть у тебя и малажка и всякие иностранные вйна, да русского изделия.

— Что̀-с? как-с?

— Да так, брат, чай бочки-то с ренским вином везут тебе из Крыма, а уж тут, брат, подсластить. да подкрасить сандальцом, да подпустить взварцу какого ни на есть, не штука.

— Так что̀ ж такое, Василий Игнатьич, — произнес с обидой Сидор Яковлевич, — уж коли в иностранных землях что̀ делают, так нам и не делать; а на что̀ ж, сударь, наука? Известное дело, что ренское вино цельное родится везде только белое, да красное, а уж другого не бывает. Да куда ж, сударь, цельное-то годится? Если не фабриковать его, так что̀ в нем? Ординарное или, так сказать, столовое, вот и всё: и кисло и без всякого запаху, да и крепости никакой. Надо правду сказать, что французы мастера фабриковать: по сю пору все вина до единого идут под названием французских; погреб французских вин, да и кончено-с; а тут и немецкие и италиянские, только вот аглецких вин совсем нет-с, потому что народ такой, способности нет. Портер аглецкой, да пиво, вот их дело. Так изволите ли видеть, до сих пор французы в секрете держали, как фабриковать и малагу-с, и фронтиньян, примером

сказать, и дремадеру-с, шампанское, и разные сорты, ну люнель и еще, как бишь его... да вот несколько лет случилась там революция-с, то есть, вот как в животе бывает — перессорились все, да передрались; вот-с и понесло их: кто куда. И развелись фабрики; секрет-то открылся; а теперь уж в книгах печатают; как и шампанское делать и малагу-с, а вен-де-граф...

— Нет, брат, нет, морочишь, Сидор Яковлевич! ей-ей не поверю. Вен-де-граф, брат, так уж вен-де-граф; его только на месте и делают; а это чорт знает что̀!

— Как угодно, Василий Игнатьич; да извольте потребовать другого винца.

— Нет, нет, спасибо; прощай покуда!

— Да позвольте отпустить с вами бутылочку хоть вот венгерского.

— Нет, нет, брат, спасибо; прощай покуда!

— Да вам может быть дорого показалось? для вас мы за свою цену уступим; по рублю бутылка.

— Нет, нет, брат! Вен-де-граф по рублю бутылка! Настоящее французское вино по рублю бутылка! — прикрикнул Василий Игнатьич, остановясь вдруг в дверях: — пьфу! да я тебя знать не хочу! нашел дурака! надувай, брат, телячью шкуру, а не меня!

И Василий Игнатьич, гневный, отправился из погреба иностранных вин в магазин иностранных вин и потребовал бутылку вен-де-графа.

— Да послушайте, — сказал он, бросая ассигнацию в пятьдесят рублей серебром, — мне дайте настоящего, а не поддельного, что̀ хотите возьмите, хоть сто рублей за бутылку, только уж настоящего!

Гордый *комми* не отвечал ничего Василию Игнатьичу, а приказав завернуть бутылку, вычел,

ни слова не говоря, два рубля пятьдесят копеек за вино.

— Так в два с полтиной-то настоящее? — сказал Василий Игнатьич, сосчитав деньги.

— Настоящее, — отвечал комми.

Приехав домой, он нетерпеливо потребовал штопор и рюмку, раскупорил бутылку, налил рюмку, посмотрел на свет, хлебнул и плюнул.

— Где Прохор? — позови его ко мне! — В это время наш Прохор Васильевич был в раздумье; получив билет на двадцать пять тысяч от Василия Игнатьича, он вздохнул, стал тосковать о Киевской и Подольской губерниях, где жизнь его текла привольнее, ничто̀ не связывало, ни чин, ни звание, ни состояние, где просто величали его пан Дмитрицкий, и где как ласточки кружились около него панны, где паны предлагали ему ставить на карту деньги, а панны сердце.

«Раздолье! — подумал он, — что̀, не опять ли туда—а? Васенька, что̀ скажешь? Говори же откровенно, что̀, хочется? Да нельзя, ду̀ша моя, ведь ты теперь Прохор Васильевич. Во-первых, мошенник Тришка приставил к тебе дядьку, который не выпустит добром из Прохоров Васильевичей, а во-вторых, тятенька такой добрый, так заботится о тебе. Вот женишься, дело другое: возьмешь в приданое миллион; тогда можно подумать об отставке, а теперь что̀: дал тятенька двадцать пять тысяч в задаток на покупку именья во Франции, а не знает того, что у тебя еще в России тьма необходимых расходов. Половину надо отдать бедному заключенному на расходы по делу его; а остальные в пользу бедного человечества; притом же надо как-нибудь рассеять тоску; сам ты знаешь: не легко человеку, имеющему понятие о жизни, быть Прохором Ва-

сильевичем. На такую роль нельзя согласиться без полного бенефиса. На бенефис мы дадим *«свадьбу»*, а потом подумаем, что предпринять дальше. «Женишься — переменишься», пословица говорит: а я, любезный друг, душевно желал бы, чтоб ты остепенился, получил оседлость, заслужил у добрых людей честное имя, принес хоть какую-нибудь существенную пользу человечеству; человечество, мой милый, бедно, любит существенную пользу и всякого рода приношения. Ты можешь и самого себя и всех ближних и дальних лишить чего угодно и облаготворить человечество, и это будет и честно и справедливо. И в самом деле, чего жалеть какого-нибудь гнусного, жирного, удобренного счастливца для несчастного, страждущего человечества? Не правда ли?

— Эй! Конон! ты здесь?

— Да здесь же!

Из передней вошел слуга, в роде театрального чорта, одетого в холопскую ливрею.

— Ты мошенник?

— Никак нет!

— Ну, так плут?

— Никак нет!

— Так ты, следовательно, честный человек?

— Отчего ж не честной-то, сударь: я у вас, Прохор Васильич, ничего не украл.

— Да отчего ж это, Конон, воры не любят, чтоб их называли ворами?

— Вор по улике; а как не уличишь, так какой же он вор. Да тот еще вор, кто не спросясь чужое берет; а я всегда спрашивался у своего хозяина. Как велит, так дело другое: я человек подвластный, кормлюсь жалованьем, что прикажет Трифон Исаич, то и делаю. Поди-ка у него не сделай, так он такую втулку подбоченит, что все сусло вытечет.

«Ах, — подумал Дмитрицкий, — с каким деловым народом чорт свел меня!»

— Чу, Василий Игнатьич изволит спрашивать вас, — сказал Конон, — а Трифон Исаич приказал доложить, нельзя ли еще хоть столько же завтра получить.

— Скажи Трифону Исаичу, чтоб он до свадьбы не беспокоился.

И Дмитрицкий пошел к своему тятеньке.

— Пошел рыскать по Москве! Ох, Прохор, не люблю я этого! — сказал Василий Игнатьич: — что̀ у тебя за поведенция такая!

— Напрасно, тятенька, не любите: я всё хлопотал по вашему делу, насчет, то есть, покупки имения.

— Да что̀ именья, чорта ли именья. Я не хочу брат, кислого графского вина! поди-ко-сь! десять тысяч бутылок, по два с полтиной в продажу! Выкинь из них за выделку, за провоз из-за границы, за бутылки, да за закупорку, так того и смотри, что наживешь по гривне с бутылки! пьфу! На-ко, попробуй!

— Это уксус, что̀ ли, тятенька?

— Нет, брат, не уксус, а твой вен-де-граф.

— Это? это? помилуйте! Где это вы взяли?

— Купил в иностранном магазине.

— Гм! здесь вы хотите иметь настоящий вейн-деграф! Да здесь и вкусу его не знают! По два с полтиной бутылка! Ха, ха, ха, ха! А на месте оно вдвое дороже. Знаете ли, за какое вино его продают здесь?

— Ну, не знаю.

— За «лакрима кристи», потому что этого вина и самому папе на целый год недостает.

— Скажи, пожалуйста! мошенник! то̀-то бессо-

вестный народ! .. — воскликнул Василий Игнатьич с глубоким чувством негодования: — так морочить добрых людей! Одно вино продавать за другое! да еще за какое! за лакрима кристи! Повесил бы, собачьих детей! ей-ей, повесил бы! .. Так ты говоришь, что вен-де-граф-то идет у них за лакрима кристи?

— Именно, тятенька; уж это я наверно знаю.

— Так достань, брат, Прохор, попробовать. А почем продают они бутылку... как бишь?

— Лакрима кристи? Не меньше пятнадцати рублей крошечная бутылочка, не бутылочка, а пузырек.

— Да это вино, чай, как лекарство, пить можно по рюмочке от разных болестей?

— Разумеется, тятенька.

— А бутылка вен-де-графу-то что̀ нам будет стоить на месте?

— На месте? не больше рубля серебром.

— Ну, да положим за провоз рубля хоть полтора с бутылки, всего-то пять рублей; а они катают пятнадцать! а? А сколько бутылок вина можно выделать в графском-то именьи?

— Тысяч двадцать, в худой год.

— Скажи, пожалуйста! ведь двести тысяч в год доходу! рубль на рубль! Послушай, Прохор, ты, брат, не говори никому, что мошенники-то продают настоящий вен-де-граф за... как бишь?

— Лакрима кристи.

— Да; а за вен-де-граф продают простое ренское; не говори никому. Уж они, канальи, так оповорили его, что не продашь дороже двух с полтиной. Не нести же убыток; мы его так уж и будем продавать за... как бишь?

— Лакрима кристи.

— Да; так уж и будем. Не на нашей душе грех, чорт с ними! А именья нельзя уступить.

— Разумеется, тятенька. Мы свой откроем погреб.

— А какое венгерское я умею делать из монастырского вина, знаете, что продается здесь по рублю бутылка, — просто, чудо! Сам венгерский король не узнает, что не настоящее.

— Ой-ли?

— Ей-ей! Еще не простое, а столетнее, которое продается червонца три за бутылку на месте.

— Что ты говоришь?

— Ей-ей!

— Ну, откроем, брат, Прохор, магазин вин; я чайную торговлю брошу, чорт с ней! От нее теперь нету никакой прибыли, а еще того и гляди, что беду наживешь: такая непомерная строгость, что боже упаси! .. Ну, да добро, молчи. Не пора ли нам к Селифонту Михеичу? Чай, ждут нас?

— Я готов.

— Ну, так поедем, — сказал Василий Игнатьич. — За невестой, Прохор, миллиона на полтора будет... Вот как женишься, так ты, брат, сам съезди опять за границу, да поищи там, нет ли еще каких статей поприбыльнее.

— Я тоже об этом думал, тятенька. С деньгами там, знаете, каких секретов можно накупить!

— Хитрой там народ живет, подумаешь!

— У, что наш народ против тамошнего, — овца!

— Овца, ей-ей, овца!

— Овца, тятенька; а пора уж, кажется, чтоб чужие волки не драли с нас шкуры!

— Ей-ей, так!.. — воскликнул Василий Игнатьич, разгораясь более и более злобой на промышленных иностранцев.

— Пора, тятенька, своим завестись.

— Ей-ей, так, брат Прохор.

Рассуждая таким образом, Василий Игнатьич подъехал с сыном к палатам Селифонта Михеича.

VI

Прямая, русская хозяйка сохранилась только в простом быту. Это не хозяйка-барыня и уж далеко не хозяйка-дама. Известно, что когда иная хозяйка-барыня готовится принимать гостей, тогда дым идет коромыслом: тот беги туда, та сюда, то подай, того не подавай; то поставь, другое вынеси; тут вычисти, здесь вымой, там подотри! И во все углы мечется она сама, хлопая стоптанными башмаками, которые служат вместо туфель. Иначе и нельзя: это шаг от так называемого невежества к так называемому просвещению. Новый порядок всегда смешной порядок. Бывало в доме все вековое, каждой вещи своя честь и свое место, будни не мешайся с праздником; а теперь иной толк, иной вкус, как во времена татар. Как водится, недовольные своим первые бросаются встречать и принимать чужое; согбенные трусы торопятся подражать, а храбрецы бороться, по старой памяти: лучше пасть, чем итти в полон, даже к французам.

Хозяйка-дама, это уж что-то не свое, это уж собственно не хозяйка, а что-то такое, чему теперь на Руси и имени еще нет, а встарину, во время немецкого нашествия, называли просто *фря*, откинув от gnädige Frau[1] прилагательное.

Марья Ивановна была хозяйка старого быта, но вчерне: у ней на все случаи были запасы; гостиные

[1] Немецкое обращение «гнедиге фрау» — «милостивая государыня».

комнаты чистехоньки. Не только муха, но и пылинка не садись в них на почетную мебель, да и сама Марья Ивановна со всей семьей не присядет, из уважения к своим гостям, на гостиные кресла; она заботливо всех обходит, угощает, чем бог послал, разве иногда присядет на кончике подле какой-нибудь сударыни-матушки Анисьи Ивановны, сложит ручки, поахает о чем-нибудь, да и снова пойдет обходить с радушным возгласом: «Да что̀ ж это вы не изволите кушать, или уж нам счастья нет! да вы кушайте на здоровье, да хоть пригубьте!»

А гости и гостьи чинно сидят и, по обычаю, отнекиваются от избытка угощений, уверяют, что уж душа не принимает и всё-таки кушают в угождение хозяину и хозяйке. Сроду в доме у Марьи Ивановны не было ни плясок, ни музыки; но когда выросла дочка да вышла ученой-преученой из пансиона, тогда и Селифонт Михеич и Марья Ивановна вздохнули; но один вздохнул о старом порядке вещей, а Марья Ивановна уже по новом; ей, по быстрому влиянию просвещения на женщин, моченьки нет как хотелось сделать бал; но Селифонт Михеич решительно сказал, что он дает бал только на свадьбе дочери. Вследствие этого (что̀ делать!) Марье Ивановне ужасть как захотелось скорее просватать Дунечку; но что̀ она ни предпринимала, ничто̀ не клеилось: Дунечка непременно требовала генерала. Когда Матвевна объяснила, что у ней есть графчик, тогда и у Дунечки и у Марьи Ивановны сердце пришло на место. За согласием Селифонта Михеича дело не стало; он не знал, что Прохор Васильевич — графчик, был радёхонек, что отдаст дочь за купецкого сынка, да еще и за такого же миллионщика, как сам. Вот и настал день

ожидания жениха «на чашку чаю». Бог весть, что̀ сделалось с Марьей Ивановной! она заметалась во все углы, как барыня. И кондитера-то ей подавай, и без повара-то нельзя обойтись; и лакеев-то для прислуги надо нанять, и жирандоли-то взять на прокат, — не подсвечники же поставить на стол; и сальные-то свечи — срам какой! и в комнатах-то курить не смолкой же.

— Владыко ты мой, господи!.. — воскликнул Селифонт Михеич, посматривая на жену; но он не привык с ней ссориться и только терпеливо читал молитвы от навождений бесовских. Однакоже, когда Марья Ивановна вместо повязки гарнитурового с золотой бахромой платка, примеряла перед зеркалом купленный при помощи кумушки на Кузнецком мосту чепчик, Селифонт Михеич плюнул и хотел итти вон.

— Селифонт Михеич, посмотри-ко-сь! — крикнула к нему Марья Ивановна.

— Что̀ тебе, матушка!.. — произнес он, остановясь, сердито.

— Посмотри-ко, душа, каково?

— Ну что̀ ж тут есть хорошего-то: чепешница!

— Где ж тебе толк знать; а я тебе вот что̀ скажу, Селифонт Михеич: куда как непригодно ходить тебе в долгополом-то чекмене; ты бы послушал меня, надел немецкий сертук.

— Тьфу ты пропасть! Ну, уж я вижу, что ты пошла на старости лет в сук расти! — сказал Селифонт Михеич, махнув рукою и уходя.

— Вот мужья! изволь на них угодить!.. — проговорила Ирина Степановна, без которой никогда бы не пришло в голову Марье Ивановне изменять обычный свой порядок и носить чепцы.

— Да бог его знает, что̀ он окрысился так, —

сказала Марья Ивановна: — этого с ним сроду не случалось: бывало и причуда какая-нибудь придет мне в голову — и то ничего; а теперь поди-ко-сь, как расходился!

— И! уж все таковы, кумушка; только до поры до времени. Ваш еще что̀, поворчал да и ушел; а посмотрели бы вы, мой, бывало: как браниться начнет; да я в глаза-то не смотрела, на первых порах осадила.

— Что̀ ж ты, вцепилась в него, что̀ ли, Ирина Степановна?

— Вот, дура я на медведя лезть! Нет, кумушка, есть на всё манера благородная.

— Да какая же манера, Ирина Степановна? уж когда пошло на спорное дело, так слово за слово, да и за святые власы.

— И, господи, полноте, кумушка, известное дело; в ком сила, в том и воля: оттаскал да и поставил на своем; и в другой раз так, и в третий; небойсь ждать, покуда умаится! покорно благодарю! Как высушит в лучину, да переломает бока, так уж тогда к ляду и воля! Нет, кумушка, я не допущу сказать себе одного слова неприятного; не могу: со мной тотчас дурнота: так и покачусь без памяти.

— Дурнота? поди-ко-сь! .. — прервала Марья Ивановна с невольным сердцем; — попала верно твоя дурнота на дурака, кумушка! ..

— Извините, кумушка, мой муж не дурак! .. — возразила с обидой Ирина Степановна.

— Ну, дурак не дурак, а родом так: поверил бы разумный человек дурноте твоей!

— Поневоле поверит, как ляжешь в постелю мертвым пластом!

— Экое горе! ляжешь в постелю! Ты ляг, а тебя еще и привяжут: лежи, сударыня моя, сколько душе

угодно! Посмотрела бы я, долго ли бы ты пролежала без памяти! Чай, тотчас бы: «Батюшка, помилуй! государь ты мой, помилуй! не буду французскую дурноту в голову забирать! . .»

— Чтоб я стала просить прощенья за то, что меня же обидели? Чтоб я покорилась? Ни за что, ни за что, вот ни за что!

Ирина Степановна, в сердцах и обиде, расходилась по комнате, распетушилась. Дунечка также вспыхнула, как обиженная, и выразила нижней губой презрение к словам матери: понятия крестной матери были ей и по голове и по-сердцу, и вполне согласовались с приобретенными в пансионе, где она не раз слыхала глубокие рассуждения подруг о замужестве, о глупых мужьях, о злых мужьях, о распрях, о бранях и побоищах. Только что упомянула Марья Ивановна о святых власах, у Дунечки зазвучало в ушах затверженное наставление, как поступать с глупыми и злыми мужьями.

— Скажи, пожалуйста, какая ты храбрая! . . — продолжала Марья Ивановна с насмешливой улыбкой.

— Да, храбрая! Я не позволю, чтоб со мной неблагородно обходились!

— И, матушка, где ж всем набраться благородства-то; да и сама ты худо сделала, что вышла не за благородного. . .

— Прощай, Дунечка! . . — сказала затронутая Ирина Степановна.

— Рассердилась? не на век ли? Если не на век, так и не уходя можно было бы помолчать, покуда уляжется сердце.

Ирина Степановна, не поклонясь куме, ушла; Дунечка надулась на мать, а Марья Ивановна, вздохнув и промолвив «о-хо-хо!», задумалась и не зная,

кого обвинить в ссоре ее с мужем и с Ириной Степановной, напала на чепчик.

— Чорт верно сидит в нем, прости господи! .. — крикнула она вдруг, сдернув чепчик с головы и бросив на стол. — Ни за что̀ не надену эту проклятую нахлобучку! В самом деле, пришло же в голову на старости лет в чепцы рядиться! Благодарить бы бога и за то, что дочь будет госпожей ходить! Возьми-ко, прибери себе, Дунечка, чепчик; выйдешь замуж, так наденешь его.

— Покорно благодарю! Очень нужен мне старушечий чепчик! .. — отвечала Дунечка, не двигаясь с места.

— Ах ты, поскудная! брезгает матерью! Да ты знаешь ли, что я по сю пору берегу матушкину одежу? по праздникам только и надеваю. А?

— Еще бы из лубка пошили, да и мне бы приказали носить!

— Ах ты, недобрая! Так вот чему учили вас в пансионах-то! Так-то вы по-французскому уважаете родителей?

Эти упреки нисколько не трогали сердца Дунечки, она с пренебрежением слушала их и ворчала про себя: да, так, уж конечно по-французскому, а не по-русскому! ..

Марья Ивановна не умела выходить из себя, нисколько не была злопамятна, и потому все эти маленькие междоусобия кончались заботою о приеме жениха и долгими прениями Марьи Ивановны с кондитером. Марья Ивановна хотела все угощения, по обычаю, поставить на стол, разливать чай сама; а кондитер говорил, что это не годится, *не следует*.

— А почему ж, мой батюшка, не следует?

— Как почему ж, уж это известное дело-с, — отвечал он ей.

— Да что же тут известного-то?

— Да как же, сударыня: ведь уж известно, как гости пожалуют, так следует разносить чай; а потом часок спустя фрукты, да конфеты, так оно так точно и будет.

— Да от чего ж не убирать стол?

— Я уж вам докладывал, что поставить всё на стол-то, сударыня, не годится. Известное дело гости: ставим мы буфеты на балах; не наготовишься ничего: иная старая ведьма десять раз подойдет; платья-то теперь широкие, с карманами; полпуда уберет — в складках-то и не вдогадь никому; ей-ей! годовой запас привезет домой! .. Да по мне, как угодно; мне еще выгоднее: вместо пяти фунтов конфет потребуется пять пудов; да еще и не пять: известное дело, что это вы думали французские кондитеры; им чего жалеть чужого кармана; а нам, сударыня, не приходится так делать.

— Ну, ну, будь по-твоему!

— Да как же, сударыня, не по-моему: известное дело, что на всё нужен порядок: сперва чай подадим, а потом, часок спустя, десерт; так оно так точно и будет.

— Ну, ладно, ладно! — отвечала Марья Ивановна, и от кондитера бросилась на кухню. Там-то она подивилась заморскому поваренному искусству.

— Это что, мой батюшка?

— Труфели.

— Что ж это, неужели едят эту дрянь?

— А как же, сударыня.

— Ну, привел бог видеть; а в рот не возьму!

Таким образом новые, чужие вкусы водворились между старыми своими, понемножку, как ложка дегтю на бочку меду.

Для приезду Василья Игнатьича с сыном весь

дом нараспашку. Ворота отворены, у ворот караулит гостей дворник; на крыльце фонарь зеркальный в виде звезды, в тысячу огней. Два сынка Селифонта Михеича сбежали с лестницы навстречу гостям и, указывая руками ступени вверх, повторяли: «пожалуйте!» В передней ожидал сам хозяин, в зале — хозяйка, в гостиной — дочь, из-за дверей спальни высунулась Матвевна и шопотом окураживала Дунечку:

— Не робей, сударыня; смелее с ним, да по-французскому, по-французскому с ним.

За Матвевной стояла толпа баб и девок.

— Здравия желаем, Селифонт Михеич! — возгласил Василий Игнатьич, входя в переднюю: — вот вам гость, каков есть: дрянь, сударь, дрянь, не хвалить же стать свое дерьмо! Прошу любить и жаловать! Кланяйся, Прохор!

— Очень рад, батюшка Прохор Васильевич, что изволили пожаловать к нам!.. Покорнейше просим!

— Здравствуйте, матушка, Марья Ивановна! — продолжал Василий Игнатьич, вступая в залу: — вот, сударыня моя, не один к вам приехал, а с помощию божией сынишка привез в благорасположение ваше.

— Благодарю покорно, Василий Игнатьич! наслышались много.

— Позвольте изъявить мое почтение-с, — сказал наш мнимый Прохор Васильевич, подходя к ручке Марьи Ивановны и кланяясь, закидывая голову назад.

Марье Ивановне по-сердцу было такое учтивство.

— Молодчик какой вырос сынок ваш, Василий Игнатьич, — сказала она: — покорно просим! пожалуйте! Рекомендуем вот дочку нашу!

— Авдотья Селифонтовна! — продолжал Василий Игнатьич, — ну, благодать божия родителю и родительнице такой дочки.

Дмитрицкий ловко шаркнул и поклонился своей будущей, остановив на ней томный, как будто умирающий взор, пораженный ее красотою.

— Просим садиться! сделайте милость!

— Так вот так-то, батюшка Селифонт Михеич! — сказал Василий Игнатьич, садясь на указанное хозяйкой почетное место. — Благословен бог в начинаниях!

— Так-с, Василий Игнатьич, — отвечал Селифонт Михеич: — действительно так-с.

Василий Игнатьич хотел было продолжать свое начинание, но дверь распахнулась, и *мальчик* кондитера, малый лет двадцати, разряженный как парижский франт, явился в гостиной с огромным подносом. Мосьё, да и только! за него совестно, что прислуживает. Прическа головы модная, запоздалая только годом; галстух, манишка, жилет, фрак и так далее, белые перчатки, всё это во вкусе времени, щеголевато, как на современном jeune premier;[1] даже сладкая *мина*, говорящая: не угодно ли вам чаю? была похожа на театральную мину предложения услуг и сердца.

«Что ж ты, братец, Прохор Васильич, уселся, да и молчишь дураком? Поговори с будущим тестюшкой», — сказал сам себе Дмитрицкий и пересел к хозяину.

— Какой прекрасный, приютный дом у вашей милости, Селифонт Михеич.

— И, помилуйте, что ж это за дом, это домишко, сударь; вот у вашего батюшки так дом — палаты; барской, убранство господское!

[1] Молодой любовник на сцене.

Дмитрицкий тотчас смекнул по ответу Селифонта Михеича, что неуместной похвалой задел его за живое: Селифонт Михеич не жаловал барства в купеческом быте, и про Василья Игнатьича говаривал: «залетела ворона в высокие хоромы».

— Что ж в этом барстве и убранстве, Селифонт Михеич, по-мне, если позволите сказать между нами, не только тятенькин, да и всякой дом господской постройки, просто повапленный сарай; для житья непригоден, ей-богу-с! Под трактир отдать или фабрику завести в нем — так-с; для фабрики очень хорошо-с, и поместительно и всё. Я был вот и во Франции и в немецких краях: там теперь никто не живет в палатах; например, вот-с в *Пале-ройяль*, то есть в королевских палатах, гостиной двор завели; а во всех *отелях*, то есть господских домах, трактиры; уж если скажешь, что живешь в отеле, так просто значит в трактире.

По̀-сердцу было Селифонту Михеичу это известие.

— Вот, Прохор Васильевич, — сказал он, — радостно как-то и видеть рассудительного человека; и в чужих землях побывает, наберется ума, а не ша̀вели. А вот, сколько детей не только нашего брата, а господских, ездили во французскую землю, да что̀ ж вывезли-то? что̀ переняли-то? Срам сказать.

— Уж и не говорите, Селифонт Михеич!—проговорил со вздохом Дмитрицкий, — насмотрелся я.

— Очень, очень приятно, Прохор Васильевич, что вы в молодости так благорассудительны; очень, очень радуюсь знакомству; прошу только нас полюбить; мы, надо вам сказать, люди простые. Сынки у меня не учились наукам разным; ну, а могу сказать, не обидел бог. — надежны.

Селифонт Михеич показал на двух молодцов, стоявших в сторонке, *гладких* и гладко причесанных, в немецких сюртуках.

— Сделайте одолжение, позвольте познакомиться! — сказал Дмитрицкий, и тотчас же подошел к ним, пожал руки и просил благорасположения.

— Вот дочка у нас, благодаря бога, была в науке, тоже как у добрых людей, пофранцузилась немножко; что делать!

— Я слышал, что Авдотья Селифонтовна прекрасно поет, — сказал Дмитрицкий.

— А бог ее знает, училась у мадамы, поет, да не по-русски, так я и толку не разберу. Вот женщины сметливы: Марья Ивановна моя, в зуб толкнуть по-французскому не умеет, а говорит что̀ понимает всѐ, что̀ поет Дуняша.

— Без сомнения французские романсы и итальянские арии; ах, как это хорошо!

— Вот вам известно это; так после чаю мы ее и спеть заставим.

В самом деле, после чаю Селифонт Михеич сказал что̀-то на-ухо Марье Ивановне, а Марья Ивановна дочке своей.

— Не могу я, маменька, с первого разу петь! — отвечала Дунечка матери также шопотом.

Долго продолжались переговоры, наконец, она встала с места и произнесла жеманно вслух:

— Сегодня, маменька, у меня совсем голосу нет.

— L'appetit vient en mangeant et la voix vient en chantant, mademoiselle,[1] — сказал Дмитрицкий, обращаясь к своей невесте.

[1] Аппетит приходит за едой, а голос за пением, мадемуазель.

— Вуй! — проговорила она, не поднимая глаз на своего жениха, и пошла к фортопианам.

— Извольте послушать, Прохор Васильевич, так ли она поет, — сказал Селифонт Михеич.

— Послушаем, послушаем, — возгласил и Василий Игнатьич, садясь по приглашению хозяйки на стул: — у меня точно такой же струмент стоит в зале, да играть-то некому; нет, мой не такой, а углом, и струн-то под ногами побольше, чем у этого. Как бишь, Прохор, называется струмент-то?

— У вас, тятенька, ройяль, а это фортопьяны.

— Фортопьяны, фортопьяны, настоящие фортопьяны, — крикнула Марья Ивановна в то самое время, как Дунечка, разместив очень удачно пальцы по клавишам, хотела было взять аккорд, и промахнулась целой октавой.

— Ах, маменька, вы говорите под руку! — проговорила она тихо, но с досадой, начав снова прелюдию к арии.

«Хвали, братец, Прохор Васильевич, свою невесту», — сказал Дмитрицкий сам себе, и потом крикнул:

— Браво, браво! ах, как хорошо! какой туш!

— Не говори, батюшка, ей под руку, не любит, — шепнула ему Марья Ивановна.

— Право, я не знаю что̀ петь, — сказала Авдотья Селифонтовна, начав снова ту же прелюдию.

«Господи, какое наслаждение быть Прохором Васильевичем и женихом такой невесты, — тихо проговорил Дмитрицкий, неосторожно зевнув: — надобно быть животным, чтобы не чувствовать этого! Ну, как не порадоваться на такое существо? Как не поблагодарить сивилизацию за такие метаморфозы! Узнаешь ли Дунечку-дурочку? перетянута в рюмочку, барышня, да и только! подле фортопьян

сидит, итальянскую арию поет — каково? Браво, браво, сивилизация!»

— Тс, уж не мешайте, Прохор Васильевич. Слава богу, что начала̀.

— Не могу, матушка-сударыня, Марья Ивановна, ей-ей не могу! сердце заходило! Это такая сивилизация, что чудо!

— А что во французской-то земле, также, чай, поют?

— Кто ж теперь поёт! Там сивилизация; поют только русские песни; а это называется: *шантэ, мадам!* шантэ, шантэ!

— Ой-ли?

— Ей-ей!

— Так же, кажется, и Дунечка говорила; вот, как вы, Прохор Васильевич, всё знаете, так куда как приятно! да уж помолчим теперь, благо распелась.

— Извольте, помолчимте, матушка-сударыня, Марьи Ивановна. «Метаморфозы! — продолжал про себя Дмитрицкий, наслаждаясь картиной, которую стоило бы поставить в крумбюгелевскую рамку. — Посмотри, Прохор Васильевич, на тятеньку: вельможа! да и ты сам — кто узнает, что ты не Прохор Васильевич? Ну, была ли бы возможность без сивилизации так ухитриться, заставить дерево расти корнями вверх? Вот жена будет тебе, Прохор Васильевич! Что̀ я говорю, какая жена! Жена просто значит жена; всякая дрянь может быть женою; а это будет в своем роде Саломея Петровна, несколькими тонами пониже, правда, и весом не так увесиста; но вес может пополниться тягостью; а тону еще наберется: молода и в Саксонии еще не была».

— Что, каково, Прохор Васильевич?

— Чудо, чудо! просто оркестрино! бесподобно!

— Что, брат, Прохор, а? — спросил Василий Игнатьич: — жаль только, что хоть вот немножко бы, так, то есть, подпустить, как по-нашему: «*Я жила-была у матушки дроченое дитя!*» Эх, ты!

И Василий Игнатьич прищелкнул пальцем. Приливочка к чаю заговорила в нем.

— В старину-то бывало! а? Селифонт Михеич! Как думаешь! Оно и конечно, почет, нечего сказать, и превосходительные нам, то есть, нипочем... и палаты княжеские, да тьфу! всё уж оно не тово... на душе-то как-то, ехм!.. Так вот изволите видеть... Марья Ивановна, Селифонт Михеич, пожалуйте-ко сюда!

Василий Игнатьич повел хозяев в гостиную, а наш Прохор Васильевич принялся очаровывать Авдотью Селифонтовну. Сроду не слыхивала она таких сладких речей, которые как газ наполнили пустой шарик, находившийся на ее плечах, вздули его, и Авдотья Селифонтовна, без малейших затруднений, вознеслась под самое небо.

В тот же вечер дело было решено: быть свадьбе!



ЧАСТЬ ОСЬМАЯ

I

Теперь следует слово о настоящем Прохоре Васильевиче.

Припомните, мы уже сказали, что он был в науке, очень удачно пошел по следам купеческих сынков, проникнутых насквозь западным ветром, носил фрак, пальто-сак и тому подобные вещи; начал было водиться с *знатными* людьми, по воксалам и по отелям, где реставрируется Вавилон; но на всё это нужна была полная воля и полная доля; а по природе своей Прохор Васильевич, как Телемак, не мог обходиться без Ментора. Привычный Ментор его, отцовский приказчик Трифон Исаев, опасаясь заблуждений юноши посреди *чужи*, наводил его на родное: *погулять на-славу* и посмотреть, как «*живут среди полей и лесов дремучих*».

Очень естественно, что тятенька Прохора Васильевича, нажив миллион *неисповедимым трудом*, был скуп, не любил, чтоб сын тратил деньги на *пустышь*, а на препровождение времени *как следует*, во всяком случае, и на свой лад и на чужую стать, потребны были значительные суммы. Вследствие этого Триша объяснил Прохору Васильевичу, что слишком натягивать счеты в книгах тятенькиных — опасное дело: того и гляди, что лопнут; а что самое лучшее и скорое средство для приобретения капитала — английские машины; тем более, что для

Прохора Васильевича настало уже время пасть в ноги родителю и сказать:

— Тятенька, дозвольте слово молвить, не рубите неповинную голову! Вот уже третий раз вижу во сне, что вы, тятенька, пожалованы в созетники коммерции, и изволите приказывать мне завести филатурную фабрику и ехать самому за море за английскими машинами. Дозвольте ехать, тятенька! Так уж верно богу угодно: чью же мне исполнять волю, как не тятенькину!

Василий Игнатьич усмехнулся от умиления; сон Прохорушки был ему по-сердцу; потому что нельзя же не верить тому, что три раза во сне приснится, и вот он доверил сыну на первый раз с полсотни тысяч и благословил его в путь за машинами на волшебный остров.

Путь на волшебный остров лежал, по маршруту Триши, через Ростов, куда Прохор Васильевич в сопровождении своего Ментора и прибыл в самый разгул ярмарки. Здесь началась его самобытная жизнь; молодецкая душа вдруг созрела, потребовала какой-нибудь питательной страсти и предложила на выбор три пути:

По первому итти — в полон притти, по второму итти — мертвую чашу испить; а по третьему итти — нищету обрести.

У первого пути стояли всё красные девушки, да молодушки, точно писаные: сами песенку поют, добрых молодцов зовут: «Ах, вы, милые мои, разлюбезные мои, не пригодно вашей братье мимо терема итти, не заглядывати, не захаживати!»

У второго пути всё разгульной народ, всё похмельной народ; кто прищелкивает, кто притопывает, никого не зазывают, никого не манят, а понравится, пожалуй, от товарища не прочь.

А у третьего пути словно княжеский почет: — «Да пожалуйте, сударь, к нам в гостиные палаты, не приходится к разгульным, да к похмельным вам итти!»

Сами под руки ведут, стопу меду подают. «Уж у нас ли здесь раздолья ваша милость не найдет? Жены честные, разлюбезные, в золотой стопе подносят не кабацкое вино».

Прохор Васильевич несколько стыдлив был от природы и как-то совестился подойти к красным девушкам и молодушкам; Триша зазывал его на второй путь; но купеческому сыну не под стать казалось сообщество приказчика; свой брат купчик, както более был по-сердцу; притом же ему с таким уважением свидетельствовала свое почтение ростовская купеческая знать, что он не в силах был отказаться жаловать на чашку чаю. Здесь Ментор его не мог присутствовать даже невидимо, и потому Прохор Васильевич был на полной свободе от его влияний.

Прохор Васильевич знал и в Москве, что такое *горка*, но не пытал еще счастия в картах: для горки также необходимо было быть капиталистом, потому что это тот же bank, [1] только времен варяжских.

Первая чашка чаю стоила Прохору Васильевичу десять тысяч рублей; он поморщился, но прием, ласки, почтение, угощение Ильи Ивановича и особенно прекрасной его сожительницы так были радушны, любезны, обязательны, что Прохор Васильевич забыл о проигрыше и думал только о *знатных людях* и о том, чтоб скорее «пожаловать на чашку чаю, а лучше всего откушать хлеба соли», на другой же день.

[1] Bank по-английски — возвышение, холм, горка.

— Вам, сударь, Прохор Васильевич, надо беспременно поотыграться, — говорили ему: — нам, право, совестно: пренесчастный был день для вас.

Возвратясь домой, Прохор Васильевич ни слова Трифону ни о горке, ни о десяти тысячах: похваливает только доброту хозяина и хозяйки.

— И хозяйка добрая? То̀-то, смотрите, Прохор Васильевич, да нет ли еще, подобрее и их самих, дочки?

— Нет, никакой дочки нет.

— То̀-то, знаете, чтоб к хвосту не пришили. Да что̀ ж вы там так долго делали?

— Всё разговаривали.

— Ой-ли? Экие словоохотливые! Так только одна хозяйка? Чай, там в карточки играют?

— Э, нет! Так закормили меня, что по сю пору голова болит, и обедать не пойду. Ступай один, гуляй на мой счет.

— Да на свои деньги?

— Вот тебе сторублевая.

— Сторублевая? Ладно. Да, забыл было: Феня просила меня, чтоб подарили ей шелковой материи на платье.

— Возьми на мой счет в лавке у Ивана Савича.

— Нет, в долг не беру: еще припишут, а тут я же отвечай перед вами.

— Так вот еще сторублевая.

Отделавшись от Триши, Прохор Васильевич долго думал: обедать ли итти к Илье Ивановичу или на чашку чаю? Итти обедать казалось ему как-то совестно: в гостях, за обедом, надо сидеть по-иноземному церемонно, а по-русски чинно, а как посадят подле хозяйки, так уж просто неописанное несчастие.

Около полудня однакож явился от Ильи Ивановича посланец, чтоб пожаловать *беспременно* откушать. Нечего было делать, Прохор Васильевич отправился.

Илья Иванович и сожительница его, Лукерья Яковлевна, так приняли гостя, что застенчивость его осталась за порогом. Он чувствовал такую легкость, свободу и удобство, что, казалось, будто хозяин и хозяйка сами за него сидели за столом, кушали и говорили:, ему оставалось только глотать и сладкие речи и сладкие куски, подготовленные гостеприимными челюстями.

— Почтеннейший, Прохор Васильевич, — сказал, между прочим, хозяин: — вчера еще пришло мне в голову: что ж это, вы, сударь, нанимаете квартиру; переехали бы к нам, у нас есть знатные упокои для вас, все угодья. Кушать-то также не приходится по трактирам такому благовоспитанному человеку, уж вы позвольте перевезти вашу поклажу.

— Ей-богу, не могу! — сказал Прохор Васильевич. — Добро бы я один был, а со мной тятенька приказчика отпустил.

— Приказчика? Так! Стало быть это не просто прислужник? Странное дело... нет веры к такому отличному сынку!

— Он только провожает меня, Илья Иванович, — сказал Прохор Васильевич в оправдание своего достоинства.

— Провожает? Было то же и со мной раз, тоже, на ярмарку, как будто по охоте поехал со мной отцовский приказчик; ан вышло дело-то, что для присмотру. Мошенник сам же надувал меня, а потом, чтоб подделаться к отцу, взвел такие на меня небылицы в лицах, что стыдно сказать!

Этих слов достаточно было, чтоб внушить в Прохора Васильевича подозрение к тятенькиному приказчику Трише, тем более, что он свалил уже не раз растраченные конторские деньги на него.

— Ей-ей так, Прохор Васильевич; а у нас вы бы как родной пожили, покуда справите здесь свои дела, — сказал хозяин, выходя в другую комнату и мигнув одному из своих приятелей.

— Слушай, брат, Стёпа: надо бы *угостить* его приказчика, подвести какое-нибудь *дельцо*, да препроводить на место жительства, а медлить-то нечего.

— К чему ж медлить, Илья Иванович.

— Так ступай-ко, пообработай тихохонько.

— Уж знаем!

Стёпа отпразился по поручению, а Прохора Васильевича засадили снова попытать счастия.

Сначала счастие как будто бы и не везло ему; но вдруг, ни с того ни с сего, так двинуло с места, что у Прохора Васильевича сердце дрогнуло от радости. И выиграл он полторы тысячи рублей, точно клад нашел, так глаза и блестят, расходился, давай еще играть, да и только.

— Нет, уж разве до завтра, — сказал Илья Иванович: — что-то голова очень болит.

В природе ужасная аналогия или, лучше сказать, по-своему, подобие между всем, что движется, действует и имеет влияние на действия посредством побуждения души к себе соблазном, приманкой, магнитизмом, а от себя электричеством, толчком, подзатыльником.

Русская пословица не даром говорит: «*Несчастлив в картах, счастлив в любви*» и обратно. Это значит, что играть в карты и играть в любовь — одно и то же, потому что одно заменяет другое. Волне-

ния, страдания, довольствие, утомление сердца — одни и те же, ни малейшей разницы. Вечно блуждающее воображение посреди надежд, соображений и выводов — одно и то же; словом, игра — ласкательница чувств, кокетка или, перефразируя это чужое слово: курочка, которая петушится. Ей дело до всех, кто только протянет ноги под ее жертвенный стол. Перетасозав свои чувства, как колоду, она кажется раздает всем поровну, нечего друг другу завидовать; но вскрой только — какая разница! Какая начинается деятельность, какое соревнование между играющими: один хочет взять умом, знанием своего дела, другой хитростью, терпением, замыслом *подсидеть* соперников; третий риском — пан или пропал. Но вы думаете, что счастие дается так, зря? Ошибаетесь: и у каждой колоды есть свой избранник, *мастак*, который посвятил себя *игре*, за которого соперничают все колоды, который надувает их самих, управляя по произволу тасовкой и богатея чужими чувствами.

Это всё не касается до Прохора Васильевича, он существовал на сем свете не как человек — орудие божие, а как человек — орудие человеческое. Собственно об нем не стоило бы мыслить, но во всяком случае он мог навести на мысль.

Прибежав домой с радостным чувством выигрыша, он долго ждал своего Триши; но не дождался и лег спать.

Перед рассветом уже кто-то толкнул его и крикнул на-ухо:

— Прохор Васильевич!

Это был Триша, что-то очень не в себе.

— Ох, как ты, Триша, перепугал меня!

— Тс! Тише! Беда, Прохор Васильевич; да-

вайте пять тысяч, а не то меня скрутят, да и вам за меня достанется, если узнают кто я такой!

— Да что̀ такое? Скажи!

— Не спрашивайте, пожалуйста, давайте скорей деньги!

— Да что̀ такое?

— Ах, ты, господи! Ну, да чорт знает что̀: приятели попотчивали, а какое-то рыло стало приставать, я и своротил его на-сторону, да неосторожно. Как следует, связали руки назад, а я пошел на выкуп, с тем, чтоб и духу моего не было здесь до рассвета... Вот и всё. Давайте деньги, да и прощайте. Ворочусь к тятеньке, да скажу, что проводил вас до границы.

— Ох, Триша, да как же это я останусь один?

— Правда и то: что̀ вам одному делать... Знаете ли что̀? Денька два спустя, ступайте-ко и вы назад в Москву; а там уж мы подумаем как быть.

Кто-то стукнул в дверь.

— Сейчас, брат, сейчас! — подал голос Трифон.

— Кто там такой? — спросил испуганный Прохор Васильевич.

— Кто! разумеется, кто: меня торопят; давайте скорее!

Прохор Васильевич достал пачку ассигнаций, хотел считать, но стук в дверь повторился.

— Эх, до счету ли теперь! Давайте что̀ есть, после сосчитаемся! — сказал Трифон и, схватив пачку из рук Прохора Васильевича, бросился в двери.

Прохор Васильевич остался как на мели.

В страхе и раздумье, он не знал что̀ делать. Отвага, которую возбудил в нем Ментор его, ехать за границу, вдруг исчезла.

— Как я поеду одинёхонек? — начал допраши-

вать он сам себя: — куда я поеду?.. В чужую землю... один... без Триши... Дорогой еще ограбят... О, господи!.. Да как же мне воротиться теперь к тятеньке? Он убьет меня!

До рассвета Прохор Васильевич дрожал от ужасу, повторяя одни и те же вопросы. В этом отчаянном раздумье застал его и Илья Иванович.

— Ах, почтеннейший, а я полагал, что вы еще почивать изволите? Что̀ ж, сударь, переезжайте ко мне. Право, вам не приходится в заездном доме стоять. Пожалуйте хоть с приказчиком; мы и ему место найдем.

— Приказчик тятенькин уехал в Москву.

— Что̀ так?

— Да так; тятенька велел скорее ехать, да и мне также.

— А за границу-то, Прохор Васильевич?

— Из Москвы поеду.

— Вот что̀; так не угодно ли, пожалуйте покуда чайку выкушать.

Прохор Васильезич долго отнекивался; но Илья Иванович утащил его к себе и вместе с своей сожительницей возбудил в нем падший дух.

Никак не мог он отговориться и от предложения погостить хоть недельку; особенно, когда Лукерья Яковлевна сказала ему тихонько:

— Уж если вы уедете, так я буду знать, что вы меня не любите!

— Уж если вам угодно... — проговорил Прохор Васильевич.

— Таки очень угодно: как я вас увидела в первый раз... Ох, господи!

Лукерья Яковлевна глубоко вздохнула; Прохор Васильевич смутился, взглянул на нее, она на него, и — невозможно уже было не остаться.

Ему отвели приютный покой. Ввечеру собралась та же честная компания, горка росла. Прохору Васильевичу снова повезло счастие; подымает всё выше и выше; но вдруг оборзался.

— Ну, невзгодье! — повторял вздыхая Илья Иванович, — да не будет ли?

— Нет! — повторял разгорячась Прохор Васильевич: — мне что̀! Сдавайте!

Напрасно Лукерья Яковлевна щипала его сзади, стоя за стулом.

— Нет, батенька, надо сосчитать, было бы чем расплатиться, — сказал, наконец, Илья Иванович: — не на мело̀к играть!

— Отвечаю! — крикнул Прохор Васильевич, обливаясь холодным по̀том.

— Не разорять же вас при несчастьи; надо честь знать: тут и то сто слишком; разве вексель?

— Что̀ ж, и вексель дадим!

— Так напишем сперва.

— Ну, до завтра, — шепнула Лукерья Яковлевна Илье Ивановичу: — дайте ему опомниться!

— Так! а тебе жалко, что̀ ли?

— Ты смотри на него: весь не свой; как заболеет да умрет, тогда что̀?

— Эх, ты, баба!.. ну, да вправду... Нет, господа, на векселя сегодня не играю: им не везет. Лучше завтра сядем опять, пусть их отыграются; совестно, ей-ей!

Бледный, истомленный каким-то внутренним давлением — точно камень на сердце, пошел Прохор Васильевич в свой покой.

Уснуть он не мог. Какая-то особенная жажда мучила его: всех бы перебудил, всех бы созвал к игорному столу, чтоб утолить ее.

Вдруг что̀-то скрыпнуло. Послышался шорох;

Прохор Васильевич весь оледенел от ужасу; кто-то приближается к его постели.

— Кто тут? — крикнул он, вскочив.

— Тс! Душенька, Прохор Васильевич, не бойтесь! это я!

— Вы? . . — произнес Прохор Васильевич, с чувством новой боязни.

— Я, душенька; мне надо сказать вам слово. . . Я не могла перенести, чтоб мошенник Ильюшка, с шайкой своей, зарезал вас! . .

— Зарезал! . . — проговорил Прохор Васильевич.

— Да, душенька: они условились вас обыграть до нитки. . . мне стало жаль вас! Давича так и обливалось сердце кровью. . . Хоть сама погибну, думаю, а вас спасу от погибели. . . Сама бегу с вами от этих душегубцев. . . Вы их не знаете еще. . . Душенька! медлить нечего, собирайтесь скорей, да ступайте за мною. . .

Перепуганный, ни слова не отвечая, Прохор Васильевич торопился. Лукерья Яковлевна вывела его в сени, двором в сад и потом через калитку в темный переулок.

Там стояла наготове тройка запряженных лошадей в телегу.

— Гриша, тут ли ты?

— Тут, матушка, садитесь.

— Садитесь, душенька, — шепнула Лукерья Яковлевна.

Прохор Васильевич взобрался на телегу, благодетельный его гений с ним рядом, — и тройка сперва шажком по переулку, потом рысцой вдоль по улице, а наконец понеслась во весь опор по столбовой дороге.

— Куда ж мы едем? — спросил Прохор Васильевич, как будто очнувшись от сна.

— Покуда в Переяславль-Залесский; там у меня есть родной братец; а оттуда куда изволишь, хоть в Москву. Я тебя не покинула в беде, и ты не покидай меня, душенька.

— А муж-то ваш, Лукерья Яковлевна?

— Какой муж? Илья-то Иванович? чтоб я за такого мошенника зàмуж шла? Избави меня господи!

— Да как же, ведь он муж вам?

— Кто? он? Какой он мне муж! Он просто-нàпросто увез меня против воли от батюшки и матушки, да и держал за жену. Какой он мне муж! я сроду его не любила!

Прохор Васильевич молча выслушал целую историю похищения Лукерьи Яковлевны.

На другой день по-утру тройка остановилась у ворот одного мещанского дому в Переяславле.

— Милости просим, Прохор Васильевич, — сказала Лукерья Яковлевна, слезая с телеги: — как братец-то мне обрадуется! Вот уж три года не видалась с ним! .. Пойдемте, душенька.

Она взяла его за руку и повела в дом. Вбежав в горницу, Лукерья Яковлевна бросилась обнимать бабушку.

Старуха с трудом признала ее.

— Господи! ты ли это, Лукерьюшка? Какой была красной девицей, а теперь раздобрела как!

— А где ж братец?

— В рядах, чай; да чтò ж это молодец-то, муж твой? Кому ж иначе и быть, — милости просим; не знаю как величать?

— Прохор Васильевич; да это, бабушка. . . — начала-было Лукерья Яковлевна, но старуха перебила ее.

— Прохор Васильевич? к чему ж это ты, ба-

тюшко Прохор Васильевич, молодец такой, увез внучку-то мою, не спросясь благословения у отца и матери? Э! грех какой, господин!

Лукерья Яковлевна хотела было сказать бабушке, что она ошибается; но дверь отворилась, и рыжий мужчина, огромного росту, вошел в горницу, снял шапку и перекрестился.

— Батюшко, братец, Петр Яковлевич! — вскричала Лукерья Яковлевна, бросаясь к вошедшему.

— Сестра, Лукерья! — проговорил он грубо, смотря то на нее, то на незнакомого молодца: — откуда пожаловала? за наследием, что̀ ли? Это, чай, муж твой?

— Нет, батюшко, братец, это не муж, — отвечала потупив глаза испуганная грозным голосом брата Лукерья Яковлевна.

— Не муж! Так вы так еще себе живете? .. Нет брат, погоди! я родной сестры срамить не дозволю! Ты, брат, что̀? кто таков? а?

И с этими словами распаленный гневом брат Лукерьи Яковлевны бросился к Прохору Васильевичу, который затрепетал и онемел от страху.

— Братец родимый! Прохор Васильевич не виноват, как свят бог, не виноват!

— Не виноват! постой, я допрошу его.

— Братец! — вскричала снова Лукерья Яковлевна, загородив собою Прохора Васильевича: — ты послушай меня...

— Слышу! — крикнул Петр Яковлев, оттолкнув ее и схватив за ворот Прохора Васильевича: — говори, кто ты такой?

Прохор Васильевич совсем оторопел и ни слова.

— Это сын почетного гражданина Захолустьева... братец, он не виноват ни душой, ни телом.

— Захолустьева? почётного гражданина? А мне что! тьфу! Ты ответишь мне за сестру! убью как собаку! Пойдем в полицию! ..

— Господи, он убьет его понапрасну! — вскричала Лукерья Яковлевна, упав на колени перед братом: — батюшко, братец, отпусти душу на покаяние! Ведь это не он меня увез, а мошенник Илюшка Лыков, а с ним я ушла от душегубца... Его хотели обобрать, загубить хотели! ..

— Э, да мне всё равно, с кем ты шатаешься! Где мне искать всех, через чьи руки ты прошла; кто попал, тот и наш! .. Сказок ваших я слушать не буду: ступай!

— Ох, помилосердуй! Чего хочешь ты от него! Выслушай ты меня, выслушай ради самого господа-бога! — повторяла Лукерья Яковлевна, бросаясь снова между братом и оцепеневшим Прохором Васильевичем.

— А, струсили! полиция-то верно не свой брат? Да уж не быть же ему живому на глазах моих, покуда отец-священник не простит вас, да не благословит на брак! Пойдем к нашему батюшке! а не то убью!

— Прохор Васильевич, пойдем, душенька! Сжалься хоть ты надо мной! Ведь он тебя убьет, а я умру!

— Пойдем! — повторил Петр Яковлев.

И он потащил Прохора Васильевича за руку.

Лукерья Яковлевна взяла его за другую руку и, закрыв лицо платком, обливалась слезами.

Прохор Васильевич, как пойманный преступник, шел бледный как смерть и молчал.

— Вот, батюшка, сестра моя, — сказал Петр Яковлев, войдя в комнату священника: — а это ее прихвостень! Если вы простите их, да благословите

на брак, так и я прощаю; а не то, я по-своему с ними разделаюсь.

Петр Яковлев был известный по честности прихожанин, прямой человек, но беспощадная душа. Так или не так, но что̀ сказал, что̀ решил, то у него было свято. Чужой правоты он знать не хотел. Священник давно знал семью и, соболезнуя о Лукерье Яковлевне, он стал увещевать Прохора Васильевича.

— Батюшка! — вызвалась было Лукерья Яковлевна: — он ни душой, ни телом не виноват...

— Молчать! — крикнул брат ее.

— Я и не знал ее... — начал было и Прохор Васильевич.

— Молчать, когда отец-священник говорит! — крикнул Петр Яковлев: — а не то, брат, не отделаешься!..

— Оставь его, — сказал священник, благочестивый и добрый старец: — оставь, не грози; он и по доброй воле согласится исправить грех браком. Ты согласен? говори.

Прохор Васильевич стоял как вкопанный: и боялся говорить и не знал что̀ говорить.

— Говори, душечка, Прохор Васильевич, говори скорей; не погуби себя и меня... После венца дело объясниться лучше; увидят, кто прав, кто виноват!.. Батюшка, уж я знаю, что он согласен, и спрашивать нечего.

— Ну, так и быть; благословите их, батюшка, так уж я и ни слова, — сказал Петр Яковлев.

— Он добрый малый и раскаивается, я это вижу, — сказал священник, напутствуя благословением примиренных. — Готовьтесь к свадьбе!

— Свадьбу не отлагать стать, — сказал Петр

Яковлев: — ну, теперь обними меня, сестра, и ты обними.

— О чем же ты опечалился, душенька, Прохор Васильевич, голубушка моя! — твердила Лукерья Яковлевна, возвратясь в дом: — нешто я тебе не по̀-сердцу?

— Нет, не то, Лукерья Яковлевна, — отвечал Прохор Васильевич, повеся голову: — я боюсь тятеньки, как он узнает...

— Что̀ ж что узнает? Узнает так узнает! Мы вместе упадем к нему в ноги, так, небойсь, простит.

— Простит! — хорошо как простит. — Да вот что...

— Что̀ еще такое?

— Вот что̀: оно бы ничего, да как-то не приходится; уж мне там сватали невесту.

— Велика беда; да плевать на нее!

«В самом деле, — подумал Прохор Васильевич: — что̀ мне в ней, я без Лукерьи Яковлевны жить не могу!»

II

Попал в мрёжу, — как ни ныряй, не вынырнешь. Женили Прохора Васильевича. Лукерья Яковлевна не намилуется им. И он как будто счастлив — жена по-сердцу; да все что̀-то оглядывается назад: нельзя ли уйти от того счастья, к которому приневолили. Таковы уж люди: по охоте, хоть в трущобу; а поневоле, будь ты хоть сама судьба со всеми своими будущими благами — всё нипочем. Дай им хоть вечное веселье, — «что ж, скажут, за радость: и погрустить-то не о чем!»

Прошел месяц, другой.

— Что это мы, Прохор Васильевич, не едем к

твоему батюшке? — спрашивает его часто Лукерья Яковлевна.

— А вот, постой, я еще подумаю, — отвечал он ей.

— Да ты и то всё думаешь; и смотреть-то грустно на тебя.

Прошло еще несколько времени в думе.

Строгий брат Лукерьи Яковлевны стал искоса посматривать на Прохора Васильевича, да поговаривать сестре: «Мы на хлѐбы, что̀ ли, взяли к себе этого дармоеда?»

Лукерья Яковлевна обиделась, прослезилась, идет к мужу.

— Что̀ ж, — говорит, — когда мы поедем в Москву?

— А вот, погоди, — отвечает Прохор Васильевич в какой-то безжизненной дремоте, нерешительности и боязни показаться отцу на глаза.

— Послушай, почтеннейший! — сказал ему, наконец, сурово шурин: — ты когда поедешь в Москву, к отцу?

— Да я, право, не знаю, Петр Яковлевич! — отвечал Прохор Васильевич: — меня тятенька убьет; а я чем виноват?

— Убьет так убьет; а ты всё-таки ступай, да сознайся во всем; а не хочешь, так куда хочешь ступай; у меня тебе житья не будет!

Что сказал Петр Яковлев, то было решеное дело. На другой день Прохор Васильевич и Лукерья Яковлевна сели в повозку, запряженную в одну лошадь, и поехали шажком по дороге к Москве.

Время было холодное, ненастное; на первом же переезде дождь промочил до костей Прохора Васильевича; на второй же день занемог он опасно, и долго был почти в безжизненном состоянии. Когда пришел в память, он увидел себя в темном углу чер-

ной избы; подле него сидела Лукерья Яковлевна. Ее нельзя было узнать: так похудела она от слез и бессонных ночей.

— А где Триша? кликни, голубушка, Тришу... Пора нам ехать...

И с этими словами Прохор Васильевич снова забылся; а Лукерья Яковлевна снова залилась слезами и начала причитывать скорбным напевом свое отчаяние.

Время летело себе, не заботясь, куда и зачем; а между тем Прохор Васильевич очнулся. Но сырость и холод избы успели напитать собой все его члены, и в продолжение нескольких месяцев он не мог двинуться с места. К счастью, какая-то старуха взялась поставить его на ноги, и поставила каким-то преглупейшим *снадобьем*, кажется *травкой фуфыркой*, об которой и помину нет ни в одном гербариуме.

Всё, что имела у себя и на себе Лукерья Яковлевна, всё было прожито; хоть милостыню побираться итти.

Однажды Прохор Васильевич почувствовал, наконец, в себе силы и бодрость духа.

— Лукерья Яковлевна, знаешь что̀? — сказал он жене.

— А что̀ бы такое? — спросила она.

— А вот что̀: пойду я к тятеньке, упаду к нему в ноги — что̀ будет, то и будет!

— Ах, душенька ты моя, Прохор Васильевич, насилу-то ты надумался! Я уж и напоминать тебе не хотела. Чего ты боишься? Ведь «чему быть, тому не миновать»; а родной отец не дикой зверь — смилуется.

— Пойду!

— А я-то как же?

— Ты-то? .. ты побудь здесь.

— Без тебя?

— Отсюда до Москвы недалеко; я медлить не буду.

— Ну, так и быть. Денег у нас только три синеньких; возьми их с собой. Да купил бы ты какой-нибудь старенький кафтан получше; а то, посмотри, стыдно будет показаться отцу на глаза.

— И то правда. Э! да я у Триши возьму платье.

Простясь с женой, Прохор Васильевич отправился в Москву. На дороге нанял попутчиков и на третий день к вечеру приехал в Ямскую.

В самом деле нельзя было показаться в нищенском виде не только отцу, но и кому бы то ни было в доме.

«Вызову, — думает, — Тришу, переговорю с ним как быть», — и послал хозяйского мальчика отыскать приказчика Трифона Исаева и попросить его пожаловать на постоялый двор, повидаться с одним приезжим.

Долго ходил мальчик и принес нерадостные вести: приказчик Трифон Исаев давно уже отошел от Василия Игнатьевича и неизвестно где пребывает.

В отчаянии Прохор Васильевич кое-как промаялся день; ввечеру пошел к отцовскому дому. Боязливо повернул в переулок, сохранявший еще фамильное название вельможи бывшего владетеля дома, который принадлежит уже чайному торговцу Захолустьеву.

Не просто Захолустьеву, а Василию Игнатьевичу, который выкрасил дом снаружи и велел под щитом герба, вместо выставленного года постройки, выставить: *возобновлен в таком-то году*. Вельможа

и Василий Игнатьевич большая разница; но что ж такое? Если в каком-нибудь храме божества древней Греции водворилась теперь сова, символ мудрости, и не хуже оракулов вещает всем проходящим, что все проходит в мире, то отчего же Василию Игнатьевичу не водвориться в опустевшем подобии храма, не хлопать глазами и не говорить, что все Пантеоны ни на что не годятся, кроме как на фабричные заведения. Тогда вещали, теперь говорят; а в сущности говорит время, а не Василий Игнатьич.

Прохор Васильевич остановился против отцовского Пантеона и вздохнул. Ворота заперты, в окнах темно, точно как будто и Василия Игнатьевича уже не существует, и снова всё угасло, опустело.

Как нарочно, никто не пройдет мимо; а между тем темная ночь не только на дворе, но и на улице. Страшно стало Прохору Васильевичу в глухом переулке; выбрался поскорей на большую улицу, где также замерла уже дневная жизнь. Долго бродил он сам не зная где, не смея возвратиться на постоялый двор; там требовали от него паспорта.

Где же приклонить голову? Чем утушить тоску? Город не деревня, где можно постучать в окно, попроситься на ночлег; где нисколько не удивятся, что человек идет по божьему миру сам не знает куда, ни в котомке куска хлеба, ни в мошне гроша. Бедного путника накормят и напоят, не допрашивая: кто он? и что допрашивать: по всему видно, что человек. Чего ж больше? Или мало этого? Но в городе непременно *допросят*.

Надо же где-нибудь приклонить голову. Да где ж приклонить? Кругом всё каменные палаты; нет заваленки. На тротуаре не приляжешь; ведь это тротуар, а не что другое; тотчас подымут сон-

ного под бока, да крикнут; «тащи его, пьяную собаку! вишь разлегся, благо мягко ему подостлали!»

Надо же напиться — жажда страшная; да у кого попросить? Кругом всё каменные палаты. В людских живут люди, да в доме-то привозной воды на стирку недостает.

Надо же, наконец, хоть приткнуться куда-нибудь? Неужели в целом городе нет гостеприимного угла? Как не быть; вот на углу улицы светит гостеприимный *фанал,* над входом в преисподнюю дома. Небольшая вывеска гласит, что здесь *распивочная.* Следовательно, здесь можно напиться.

Остановился Прохор Васильевич против дверей; долго стоял в какой-то нерешительности, прислушиваясь, что̀ делается в этой преисподней. Кажется, все тихо, нет непозволительного разгулья.

— Ну-у! .. Где ж вы там, Федор Петрович? — раздался резкий голос подле Прохора Васильевича.

Он оглянулся; это была какая-то благородная, в набивном полумериносовом салопе и в чепце, сверх которого накинут был драдедамовый платок.

— Сейчас, Палагея Ивановна, — отвечал кто-то, выходя из-за угла и приближаясь ко входу распивочной.

Красный воротник длинного сюртука испугал было Прохора Васильевича, но жалкая, смиренная наружность неизвестного ему Федора Петровича успокоила его.

— Давайте деньги, надо взять полштофика ерофеичу, — продолжала женщина, входя в распивочную. Вслед за ней вошел и отставной сюртук, Федор Петрович.

«Зайду и я, попрошу напиться», — подумал Прохор Васильевич, и также вошел, но боязливо, в закоптелый подвал, где в одном углу красовались

фронтом на полках штофы и полуштофы; около стен — лавки и столики, подле столиков — кожаные стулья.

Распивающих на этот раз было мало.

У одного стола сидел хмурно сонный лакей, в модной ливрее — в гороховом фраке, в красных штанах и штиблетах. Важно сложив руки узлом, вытянув ноги, развесив губы и моргая глазами, он воображал, что сидит на козлах новомодной коляски своей барыни и раздосадован, что «по сю пору в рот ничего не брал».

Подле другого столика уселся отставной сюртук, отирая пот с лица.

— Ну-у! пойдемте! — сказала женщина, взяв полуштоф от целовальника: — что̀ засели?

— Нет уж, я выпью медку: мо̀чи нет как хочется.

— Что̀-о! Вот тебе раз! Тратить деньги на мед! Лёгко ли! Пойдемте! А не то мне чорт с вами!

— Нет уж, ей-богу, мо̀чи нет! Я сейчас, Палагея Ивановна. Выпейте стаканчик.

— Мед пить? Нашли вкус! Знаете, что я его терпеть не могу.

— Ну, пивка. Подай бутылочку пивка.

— Пивка! Ну, ин подай бутылочку. Право ни на што не похоже, Федор Петрович!

— И мне бутылочку пива, — сказал Прохор Васильевич, присев к столу в соседстве с Федором Петровичем и Палагеей Ивановной.

— Гордец, щипаная борода! — заговорил вдруг ливрейный лакей: — подико-сь! Лошадей нельзя оставить!.. А у меня, не бойся, нет ничего на руках?.. И барынин манто̀ на руках, и платок барынин на руках... да и сама барыня-то на руках: кто подаст салоп-то, да наденет теплые сапоги, как выйдет с балу-то? а? А кто сведет с лестницы-то? Да

и экипаж-то кто кроме меня найдет? Сам чорт не найдет! Вишь загнали куда! .. а?

— Только-то сегодня и понабрались, небойсь?— ворчала вполголоса Палагея Ивановна под непрерывный разговор с самим собою лакея.

— Ей-ей, только, — отвечал тихо Федор Петрович.

— Так и поверила! А куда изволили прогуливаться вместе с Матреной-то Карповой?

— Когда, Палагея Ивановна? Давича-то? Она шла в богоугодное заведение получать жалованье; и я туда же шел; вам известно, что мне также обещали жалованье.

— Уж конечно! Шли по дороге! Чай и угощенье медком было по дороге!

— Ей-ей, нет! С какой же стати, Палагея Ивановна.

— И не извольте говорить! знаю я: пошли к князю, да очутились в богоугодном заведении.

— У князя я был, ей-богу был!

— А что̀ князь-то дал?

— Всего-то полтинничек.

— Так и поверила! Поди-ко-сь! Князь дал синенькую; а вы изволили ее на меду пропить! .. По дороге шли вместе, нельзя не угостить! .. Да я не потерплю этого! .. У меня будете стол держать, а угощать других: нет, уж этого не дозволю! .. Извольте держать стол у своей Матрены Карповны, в подвале, на полатях!

— Помилуйте! — начал было Федор Петрович, но его прервал лакей.

— Чего изволите, сударыня? — вдруг крикнул он с просонков на возвысившийся голос Палагеи Ивановны: — к Карповым? Слушаю-с! Ступай к Карповым! ..

Снова всё утихло; и снова Палагея Ивановна накрыла *сурдиной* свой резкий скрипичный голос, и начала напевать Федору Петровичу. Но Прохор Васильевич ничего уже не слыхал. Утолив жажду пивом, утомление его перешло в изнеможение, и он забылся, заснул под журчащий поток упреков Палагеи Ивановны. Чета однакоже скоро убралась; ливрейный лакей также очнулся, провел рукой по лицу кверху, против шерсти, встал, пошатнулся, наметил было в двери, да ударился в косяк, посердился, как Ванька, «что в свете так мало дверей», и ушел.

Было уже поздно, целовальник не ждал новых гостей. Поставив перед сонным Прохором Васильевичем пустой полуштофик да бутылку, недопитую лакеем, он толкнул его и крикнул:

— Эй! господин! Пора запирать!

— Что? ..— отозвался, очнувшись, Прохор Васильевич.

— Известное дело что: за две бутылки пива, да за полштофика ерофеичу.

— Ерофеичу? ..— спросил с недоумением Прохор Васильевич.

— А как же! Чай тут свидетели были.

— Когда ж я пил ерофеич? ..

— Память маненько поотшибло! Опохмелишься, так оно и ничего.

— Голова болит, мочи нет! — проговорил Прохор Васильевич, взявшись за голову.

— Уж это так: выпей-ко покрепче настойки, я тебе поднесу. Подать, что ли?

— Нет, не могу!

— Так расплатись, да ступай, брат... Э, да ты совсем обессилел! Ты послушай меня, выпей мерочку, а то не дойдешь до дому, на дороге ляжешь; заберут еще в часть,

Холод пробежал по членам Прохора Васильевича, он чувствовал, что не в силах был итти; тошно было на душе.

— Ну, дай чего-нибудь погорчее, — сказал он.

— Изволь. Э! глотка и в рот не бери! Выпей разом; посмотри как окуражит.

Целовальник почти насильно влил в Прохора Васильевича мерку *эр-фиксу*, который, вместо того, чтоб поднять его на ноги, ударил в голову.

Но онемение чувств показалось ему сладко. Отхлынувшая кровь от сердца, истомленного горем и боязнью, подавила расстроенное воображение, облила собою мрачные, черные картины настоящего и будущего, — всё осветилось как будто розовой зарей.

— Что̀, брат, хорошо? .. Эх ты, молодец! раскис! да здесь не место спать, ступай!

Голова Прохора Васильевича скатилась на грудь; на лицо выступил румянец и какое-то внутреннее довольствие.

— Да ступай же! — повторил целовальник.

— Нет! Ей-ей, не пойду! — проговорил Прохор Васильевич.

— Скажи, пожалуйста, нашел ночлег! За ночлег деньги платят; ступай!

— Не пойду, ни за что̀ не пойду, Лукерья Яковлевна, — продолжал Прохор Васильевич в бреду, — не пойду к тятеньке! .. Тятенька убьет меня! .. спросит куда девал пятьдесят тысяч... Мне что̀ его наследье... тьфу! и знать не хочу... я тебя только и знаю...

«Э-ге! прогулял пятьдесят тысяч! — подумал целовальник, — молодец-то, верно, знатной...» — Слышь!

— Ну, ну, изволь... для тебя... пожалуй,

пойду...— заговорил опять Прохор Васильевич:— пойду!..

— Да уж оставайся, оставайся, пожалуй, — сказал целовальник: — Оно же и тово.. на улице подберут; а тебе, чай, не приходится...

— Пойду!.. — повторил решительно Прохор Васильевич.

— Полно, куда тебе итти; я запру, а ты приляг себе; я и подушку подам.

Целовальник запер изнутри двери распивочной; потом принес подушку, положил на лавку подле Прохора Васильевича, и без больших затруднений свалил его на это ложе.

Настало утро. Почти с рассвета прохаживались уже около капища нищие. Это первые прихожане. Сбираясь на подвиг христарадничества, они торопятся испить сил и бодрости из бездонной чаши Бахуса. Целовальник, как жрец, слышал в просонках и говор, и шопот, и брань; но долго не вставал, бурча с досадой:

— Вишь, скареды! Принесло спозаранку. Добро бы праздник какой!

Но в двери стали нетерпеливо постукивать; и он вскочил с сердцем, протер глаза и отпер.

Толпа нищих ввалила в распивочную.

— Что ж это ты, милостивец, вздумал маять нас у своих дверей! — крикнула одна нищая в отрепьях, с гневом: — раннюю обедню прогулять для тебя, что ли?

— Поспеешь еще к концу, к подаянью-то! — отвечал целовальник: — небойсь, не пропадет твоя денежка.

— Ах ты, неумытой! По-твоему, не перекрестясь руку протягивать.

— Ну, ну! Твори крест, протягивай!

— Ах ты, безбожник! Да что ты думаешь, что только и орла, что у тебя? Так вот, плевать же на твою милость! *Куковинка*-то недалеко... Пойдемте, братия, туда!

— Давно я говорил, что там лучше, — сказал один нищий, похожий на длинного кривого чорта, в истрепанном сюртуке, и повисший на костылях: — там и мера-то в меру, и вино-то вино, а не гусиное пойло с перцем!..

— Пойдем! — повторила старуха.

— Напрасно, Кирбитьевна, напрасно порочишь! — сказал целовальник, струсив, что вся братия нищих оставит его приход: — мера-то у меня для вас через край, а вино-то полугар. Сама всегда хвалила.

— Да, хвалила, как время было; а теперь вздумал томить нас, да подносить *похмельного*. Нет, подноси-ко ты его похмельным!

— Кто? я? Напрасно! Изволь откушать, отведай, не бойсь, пей! Я и денег не беру; пей на пробу! Да что!.. давай свой кувшинчик, я налью — по целой Москве таким тебя не угостят. Ей-ей, денег не возьму!

— Вишь, гладкой какой! Ну, добро; только ссориться не хочу, за то что по праздникам угощаешь.

— Эк голова-то свесилась, затечет, — сказал нищий, похожий на кривого длинного чорта, поставив костыли в угол и подходя к Прохору Васильевичу.

— Не тронь, не тронь, не щупай, братец, его: не твое дело, ступай прочь! — крикнул целовальник.

— Не мое дело! Твое небойсь? Аль сродни? — отвечал нищий.

— Сродни.

— Тò-то так заступаешься!

— Сродни, да не мне, а сыщику, — прибавил целовальник.

Длинный кривой чорт схватил свои костыли, подставил под руки и заковылял от Прохора Васильевича.

В это время он очнулся. На плечах голова как гиря. Приподнялся, посмотрел вокруг, и не понимал, чтò за толпа страшных призраков окружает его.

Нищие оглянулись, примолкли и стали выбираться вон.

— Чтò, приятель, как тебя звать, верно пудовик в голове? — сказал целовальник.

— Сколько тебе? — спросил Прохор Васильевич, взявшись обеими руками за голову.

— А вот сочтем: за две бутылки пива, за полштофа ерофеичу... да еще... да за ночлег надо положить чтò-нибудь, — отвечал целовальник, выкладывая на счетах. — Всего-то пять рублев двадцать — давай синенькую.

В кошельке Прохора Васильевича оставалось серебра рубля на три не более.

— Ты поверишь мне остальные? Не сегодня, так завтра, сам принесу.

— Да кто ты такой, верить-то тебе? Нет, брат, оставь чтò-нибудь под заклад.

— Чтò ж мне оставить, у меня ничего нет, — отвечал Прохор Васильевич жалостно.

— Чтò? А вот хоть жилетку; а я тебе, так и быть, поднесу на похмелье.

— Нет, спасибо, не хочу! — сказал Прохор Васильевич; но какой-то огонь жег внутренность его и точно как будто сама душа, требуя утоления, на-

мекала, чем утолить ее, жадно обоняя спиртуозную атмосферу распивочного подвала. — Или уж дай, — торопливо прибавил он.

— Изволь. Что ж, в заклад, или совсем? Если совсем, так я уж и буду знать, что за мной полуштофика. Получай!

Небольшая мера зеленого оживила Прохора Васильевича. Расплатившись бархатной своей жилеткой, которой износу не было, он вышел на улицу и бодро пошел к отцовскому дому.

Но эта бодрость при повороте в переулок снова исчезла. Украдкой, торопливо, прошел он мимо дома, и, как испуганный, продолжал итти, ускоряя шаг и не оглядываясь. Казалось, что он бежал от прошедшего: какой-то призрак гнал его от дома, покрикивая вдогонку: «Проваливай, брат! Вишь какой Прохор Васильевич взялся! Прохор Васильевич был знатный малый, не такой лодырь, как ты! Прохор Васильевич не ночевал в кабаках, не опохмелялся сивухой! Проваливай, брат! . .»

Нет ничего хуже, как бежать за своей мыслью и бежать от своей собственной мысли: одну сам держишь за хвост, а другая — тебя держит за хвост.

В продолжение дня много можно уйти вперед. Но для Прохора Васильевича Москва была как лес: леший кружил его на одном месте. Измученный, голодный, жаждущий, он очутился к вечеру близ той же распивочной, из которой вышел поутру.

— А, здорово! Что, долг принес, или за долгом?

Не обращая внимания на распивающих гостей, Прохор Васильевич присел на лавку близ стены, перевел дух и попросил ломтик хлебца.

— Здесь, брат, нет продажи съестного: и за

ломтик хлебца в ответ попадешь. Вот если выпить — дело другое; а закусить — извини! Получай полштофа. Прикажешь раскупорить?

Не на чем приклонить голову — и в грязь ляжешь. Прохор Васильевич утолил и голод и жажду стаканом горькой настойки.

— Что̀ уж, если говорить, — рассуждал подле него какой-то поварчук в колпаке и фартуке: — так, так-так, а не так, так-так под красным соусом! .. вот и всё! .. Что̀ ж такое, сказать примерно: ну, я виноват, положим... что̀ ж, сердись, пожалуй! Эка беда! .. А всё-таки сердце-то пройдет... ей-богу, пройдет! Как хмель пройдет! .. Вот дело другое, злая скотина... у той не сердце... а что̀ бы тебе сказать... ну, да не сердце... да и не говядина от филе... а так, потроха... да и не потроха... а знаешь, что̀ в рубцах... тьфу! .. Право! Неопрятная вещь, да как быть, к слову пришлось... а не то, чтобы я сказал да и не подумал, что̀ сказал... нет, подумал... ей-богу подумал... не подумавши ничего не скажешь...

Философ с кухни долго рассуждал таким образом, и это рассуждение не было бесплодно, имело влияние на Прохора Васильевича.

«В самом деле, — подумал и он: — сердись, пожалуй; а сердце-то всё-таки пройдет... Эх, пойду! Ей-богу, пойду!»

И он налил еще стакан, выпил, хлопнул по столу, крикнул: «прощай, брат!» и вышел.

Бодрее чем по-утру, шел он к отцовскому дому. Храбро заворотил в переулок, смело приближается, заломя картуз на бекрень. И видит он издали яркий свет во всех окнах; на тротуаре, по *пенькам* плошки, улица заставлена экипажами, толпа народу подле ворот.

«Господи, что̀ это такое?» — подумал Прохор Васильевич:

— Послушай, голубушка... Что̀ это там такое? — спросил он у бежавшей к дому девушки.

— Свадьба, — отвечала она.

— Свадьба? Чья?.. Послушай, брат, чья это свадьба?

— Купеческая. Эх дом-то какой!.. И у господ-то мало таких бывает... Смотри-ко, внутри-то словно пожар.

«Господи!.. Неужели тятенька вздумал жениться?..» — подумал Прохор Васильевич, перебираясь через улицу, на тротуар, против озаренного дома.

— Послушай, бабушка, неужели Василий Игнатьич Захолустьев женится?

— Вот тебе раз! Сына женит!

— Сына? Какого сына?

— Как какого? Чай у него сын есть.

— Какой сын? У него один только сын и есть.

— Да один же, один; кто говорит, что два.

— Быть не может! — вскричал Прохор Васильевич, — откуда взялся другой сын!

— А вот, что̀ недавно приехал; такой знатный молодец..

— Приехал? Откуда приехал? Чорт разве приехал, а не сын!.. Какой там сын у Василия Игнатьича!

— Эй, послушай-ко, — сказала старуха, обращаясь к глазевшему подле мещанину с острой бородкой, — как зовут жениха-то?

— Прохором Васильевичем, — отвечал он оглянувшись.

— Прохором Васильевичем? Что̀?.. — крикнул Прохор Васильевич, — Прохором Васильеви-

чем? .. Не может быть! .. Лжешь ты! У Василия Игнатьича только один сын Прохор...

— Да один же, один, вот что женится, — отвечала старуха.

— Женится? Чорт женится! — вскричал опять Прохор Васильевич. В глазах его весь дом ходил уже кругом, как рождественский вертоград. — Чорт женится, а не я! .. Пойду к тятеньке! Пойду! .. Скажу, что не может быть, тятенька...

И он бросился с тротуара в толпу к воротам, но мещанин, острая бородка, догнал его и удержал за руку.

— Прохор Васильевич! Вы ли это? — шепнул он ему.

— Не дозволю! .. — вопил Прохор Васильевич вырываясь: — пойду, упаду в ноги при всех! ..

— Тс! Что̀ вы это кричите! Прохор Васильевич! .. Не узнаете меня, Тришу! ..

— Ах, Триша!

— Тс! ..

— Триша! .. Это ты брат? Посмотри, что̀ говорят...

— Что̀ вы кричите! Ведь тут хожалый; того и гляди, что потащут в полицию! ..

— А мне что̀, пусть тащут! Я скажу, что не может быть...

— Да полноте! Подите-ко сюда; я вам что̀ скажу.

— Ну, говори.

— Пойдемте со мной; вот здесь близенько.

— Куда итти? Не пойду никуда; пойду прямо к тятеньке! ..

— Что̀ вы это, бог с вами! Как это можно! Вы посмотрите, что̀ там делается...

— Ну, что̀? Что̀ делается?

— Видите?

— Ну?

— Ну, пойдемте скорей; я вам что̀ скажу.

— Куда итти? Нет! К тятеньке пойду!

— Ах, ты, господи! Вот беда! Прохор Васильевич, послушайте-ко меня...

— Да, да, кто ж Прохор Васильевич, как не я?

— Тс! тише!

— Что̀ тише, мне что̀ тише!.. Пусти!

— Нет не пущу!.. Там чертовщина идет, а я вас пущу!..

— Чертовщина?.. Какая. Триша? а?.. Что̀ ж там такое?.. — проговорил Прохор Васильевич плачевным голосом, между тем как Тришка Исаев тащил его дальше от толпы: — постой, пусти! Дай перевести дух... Что̀ ж это такое, Триша?.. — продолжал он, остановясь и отирая рукой слезы. — Да говори, что̀ ж это такое?.. а? ведь я Прохор Васильевич?

— Кому же другому и быть, как не вам... Пойдемте-ко, пойдемте!..

— Постой!.. Сам ты скажи, кому же другому и быть... Так ли?

— Так, так; кто говорит, — отвечал Трифон Исаев, увлекая за собою Прохора Васильевича, под которым левая нога ступала уже за правую, а правая всё как будто задевала за что̀-то.

С трудом привел он его на свою квартиру, на дворе какого-то огромного дома, в нижнем этаже, куда надо было спуститься по нескольким каменным ступеням.

В закоптелом покое со сводом была только печь да нары.

— Прилягте-ко, вам не так здоровится, прилягте!

— Что̀, брат, Триша, — проговорил Прохор Васильевич, осматриваясь: — это где мы?

— У меня на фатере.

— А тятенькин дом-то где?

— Да там же, на месте.

— Ты правду говоришь?

— Правду, ей-богу, правду.

— Ну, хорошо; а что̀, Тришка, тятенька-то не поверит?

— Не поверит, не поверит. Прилягте-ко.. Эх, Прохор Васильевич, хуже нашего брата стал! .. Прилягте; а я сбегаю, узнаю, что̀ там делается.

— Нет, постой; поесть бы чего-нибудь, Триша... хоть огурчиков соленых...

— Сейчас принесу, — сказал Трифон Исаев и, уложив Прохора Васильевича на нары, вышел, запер двери и побежал к дому Василия Игнатьевича; пробился сквозь толпу на двор и в людской отыскал дворника.

— Голубчик, Ваня, сделай милость, вызови ко мне Конона.

— Как же вызвать-то его, ведь он там в прислуге, чай?

— Как хочешь, а вызови. Важное дело. Я его подожду у ворот.

— Ладно.

Конон не заставил себя долго ждать.

— Слушай-ко, — сказал ему Трифон, отводя его по тротуару от толпы: — сейчас же скажи ты своему барину, что мне до него дело есть. Дело важное.

— Да каким же образом? Как теперь его вызвать?

— Вот! Ты меня проведи к нему задним крыль-

цом; да я и сам найду дорогу; ты только скажи ему: важное дело. Ступай!

Молодые только что встали из-за конфетного цветника на обширном столе, где сотни две гостей поздравляли новую чету шампанским, подходя поочереди и желая Прохору Васильевичу и Авдотье Селифонтовне многолетнего здравия и всякого благополучия и сожительства в миру, в ладу и в довольствии.

Наш молодой был утомлен от обрядов, обычаев, поклонов и благодарностей, продолжавшихся несколько часов. Ужасно как всё это ему надоело. Разряженный, по выражению Матвевны, *графчиком*, он сидел подле своей молодой разбеленной, разрумяненной супруги, в дымку и кружевах разряженной и разукрашенной, жемчугом, брильянтами, изумрудами, яхонтами, опалами и всеми драгоценными каменьями, тысяч на пятьсот, обвешанной и усеянной Авдотьи Селифонтовны.

Она сидела как восковая фигура с самой простой механикой движения глаз. Из недр ее вырывалось только: «ах, перестаньте!», когда молодой, со скуки, начнет напевать ей под музыку шопотом: «Душа моя, душечка? Распрекрасная Дунечка! Долго ли нам мучиться, за столом сидя чваниться, глупым людям кланяться?»

Иногда она произносила и по-французски: «Ох, ву:» Тогда молодой в ответ шепчет ей: «Ох ты, моя *амочка!*»

Молодые только что встали из-за этого стола иллюминованного, кроме канделябров, по распоряжению самого Василия Игнатьича, двумя золочеными статуями, которые у прежнего хозяина стояли по углам залы, держа в руках по полпуду

свеч. Молодая пошла переодеваться, а молодой свободно зевнул и сказал про себя: «Потеха!»

Конон стерег уже его.

— Пожалуйте в кабинет, — шепнул он ему.

— Зачем мне туда жаловать?

— Важное дело.

— Какое?

— Про то *он* знает.

— Хорошо.

Дмитрицкий хотел уже итти; но его обступили охотники поздравлять, и свидетельствовать свое почтение, с расточительною щедростью на желания.

Особенно некоторые из молодежи, всматриваясь в бывшего закадычного друга, с недоверчивостью в собственные глаза, робко подходили к нему напоминать старую дружбу.

Мнимый Прохор Васильевич с восторгом ахал, и с удивлением восклицал: — Как вы переменились! Ей-ей, не узнал! Скажите, пожалуйста! В такое короткое время!

— В самом деле, и его ни за что̀ нельзя узнать! Так переменился! .. — шептали между собой бывшие приятели Прохора Васильевича.

— Нечего сказать, великолепный дом у вас, Прохор Васильевич!

— Изрядный, — отвечал нетерпеливо Дмитрицкий.

— Помилуйте! Господский дом!

— Неужели?

— Ей-ей! Так-таки его со всем убранством и изволили купить?

— Вот как видите, кроме свечей; свечи особенно куплены.

— Так-с; уж, конечно, *стеариновые?*

— Старинные, древние.

— Так-с, стало быть оно и значит старинные. Совершенно справедливо-с: вот на памяти моей вологодские маненько чем уступали. Чем больше свеча вымерзла, тем более, сударь, и крепче. Как зим пять прихватит ее морозом, так и повыжмет сок-то, не хуже тисков. А почем изволили брать пуд?

— Право не знаю; а вот я сейчас спрошу.

И Дмитрицкий бросился из толпы, через ряд комнат, на половину молодых, в свой кабинет, подле роскошной спальни, где сваха Матвевна, окруженная толпой разряженных Игнатишен, Кузминишен, Панфиловен и Филипповен, играла важную роль.

Тут показывала она любопытным богатую постелю, огромное трюмо̀, в котором все охорашивались, разные убранства, разные вещи, и оценяла их. Аханью не было конца.

Между тем как в пространных великолепных комнатах, где некогда хозяин чинно принимал гениальных русских актеров, разыгрывавших без платы, у себя и в гостях, от позднего утра до раннего, роли лордов и леди, маркизов и маркиз, а новые подражатели барства и господства расхаживали под гром музыки, покашливая, поглаживая бороды и рукава сюртуков и фраков, как будто говоря: «каково сукнецо-с?», поправляя перчатки, платки на шее и шали на плечах, натуживаясь, чтоб порастянуть узкий корсет, и нося перед собою обеими руками передний хвост платья, чтоб не наступить на него и не грохнуться, Дмитрицкий заперся в своем кабинете и беседовал с Трифоном Исаевым.

— Ну, что̀? Какое важное дело?

— А вот какое! чорт принес не во̀-время настоящего Прохора Васильевича; чуть-чуть было не затесался к вам на свадьбу!

— Неужели? За чем же дело стало?

— К счастью, что я поймал его за хвост у самых ворот!

— Ах, дурень! Кто тебя просил?

— Кто просил! поставил бы он всё наше дело вверх тормашками.

— Ах, Трифон! Всё дело испортил! Какая бы славная была штука!.. Двойник! Ах, досада! экой ты урод!

— Шутите, шутите!

— Врешь, дурак, не шутки: это бы так затронуло мое самолюбие, что я завел бы тяжбу, пошел бы на суд, чтоб решили, который из нас чортово навождение и который настоящий Прохор Васильевич... как ты думаешь, кого бы из нас «тятенька» признал за настоящего сына? а?..

— Вот время нашли, чорт знает, о чем говорить!

— Спрашиваю, так говори! — крикнул Дмитрицкий.

— Что̀ вы кричите!.. шутки, что̀ ли? Того и гляди беду наживешь... Право, вы чорт!

— Молчи, шитая рожа! Если сам не видывал чорта в глаза, так не смей сравнивать меня с его портретом!.. Ну, так которого же из нас тятенька признал бы за настоящего Прохора Васильевича?

— Разумеется, что настоящего и признал бы.

— Врешь, Трифон! По твоим рассказам настоящий Прохор Васильевич, несмотря на то, что настоящий, дрянь; так ли?

— Да оно так...

— А я золото?

— Кто говорит...

— Так каким же образом разумный человек, «тятенька», предпочел бы дрянь золоту?

— Дрянь, да своя,

— Ты — Тришка, и больше ничего. Где ж наш настоящий Прохор Васильевич? куда ты его девал?

— У меня на квартире...

— Хм! Что̀ ж теперь делать с ним?

— А по-мо̀ему, вот что̀...

— Что̀?

— Да что̀... так, ничего, то есть... знаете? — отвечал Трифон Исаев, зверски усмехаясь.

— Что̀-о? — крикнул грозно Дмитрицкий: — ах, ты, скаредь! Тронь только волос на голове его, так знаешь куда ворочу?..

— Экая гроза! поди-ко-сь. Что̀ ж... вместе!

— Молчать!.. Слушай, зверь, я и себя не поберегу!

— Да что̀, вправду, ругаться стал! Слуга, что̀ ли, я достался!.. Сам-то что̀?

— А вот что̀!

Дмитрицкий схватил Трифона за̀-ворот и встряхнул.

— О-о, дьявол! — прошипел он, задушив голос: — в самом деле дьявол!

— Прохор! а Прохор! Что̀ ты тут делаешь, ушел от гостей? — раздался голос Василия Игнатьевича за дверями.

Трифон Исаев побледнел с испугу, бросился было в двери.

— Куда, мерзавец трус? Стой здесь! — крикнул Дмитрицкий, схватил его снова за̀-ворот и оттолкнул от двери.

— Прохор, отвори!

— Сейчас, тятенька, — отвечал Дмитрицкий.

— На кого ты там кричишь?

— Да вот на этого мерзавца.

— Да что̀ такое?

— Да ничего, тятенька; так себе, кричу, переодеваюсь; ступайте, я сию минуту приду.
— Ну, смотри же, скорее.
— Сейчас.
— Фу! перепугался! — проговорил Трифон.
— Я тебе говорил, что ты и мерзавец и трус!
— Полноте уж браниться-то, лучше подумаем, что̀ делать с Прохором Васильевичем.
— Где ты его отыскал?
— Сам нашелся, — отвечал Исаев и рассказал встречу свою с ним.
— Так он не в своем виде?
— Уж так-то не в своем.
— Иначе и быть не может; потому что я принял его вид... Ну, подавай его сюда.
— Это как?
— А так, просто: пусть его занимает свое место и у «тятеньки» и у Селифонтовны... мне надоело быть свиным сыном...
— Нет, уж это не приходится, — сказал Трифон Исаев, пожав плечами: — взявшись за гуж, не говори, что не дюж... Нет, уж извините, я хлопотал не даром!
— Послушай, брат, если мне что̀ надоело, так ты со мной не долго разговаривай!.. Ты мошенник; а я помню заповедь, и не желаю ни дома Прохора Васильевича, ни отца его, ни Авдотьи Селифонтовны, бог с ними! Покуда не было настоящего налицо, отчего не изменить; а если явился, так кончено!
— Эх, господин! Свяжешься и не рад: и видно, что не наш брат...
— Ну, не рассуждать! Ни слова! Видишь!
Дмитрицкий отпер бюро, выдвинул ящик и показал Трифону Исаеву пук ассигнаций.

— Ой-ли? Так приданое-то за нами?

— Видел? Ну, и довольно; пошел же. Когда пришлю Конона, привести моего двойника сюда, да снарядить как следует.

— Уж это-то пусть так, мы его поставим на место, да чур без меня ни шагу, — сказал Трифон Исаев, взглянув хищным ястребом на бюро, а потом на Дмитрицкого.

— Ступай, ступай!

— Все это комедия, господин; а уж куда комедии-то я ломать не мастер!

— Врешь, мошенник: не даром на тебе вместо человеческого лица плутовская рожа.

— Нет, право, не мастер: по-нашему бы... Э! да и квит с дубинкой! — сказал Трифон Исаев, выходя.

— Ну, счастлив, что ушел, каналья! — крикнул Дмитрицкий вслед ему.

— Виноват, виноват, не буду! .. Да, не буду, — продолжал про себя Трифон Исаев, пробираясь на улицу. — Голова, уголовная голова, да словно как будто недоделан, не выдерживает, то есть, характера... Уж я знаю, что он, всё равно, так или не так, а накутил бы... Оно будет лучше попридержаться настоящего-то... обязать его, то есть, чтоб век добро помнил...

Прохор Васильевич в каком-то бреду сидел на нарах, уставив глаза на нагоревший шапкой огарок, и разговаривал сам с собою. Он вздрогнул, когда вошел Трифон Исаев и крикнул.

— Прохор Васильевич! батюшка!

— Триша, это ты? — проговорил он, подняв на него мутный взор.

— Прохор Васильевич! Что это за чудеса такие на свете бывают!

— Чтò, Триша?

— Ох, дайте опомниться!.. своими глазами видел!.. Ей-ей, видел вас же... И там вы, и здесь вы же!.. Так я и ахнул... Господи, думаю, чтò это такое: два Прохора Васильевича!..

— Чтò ж это такое, Триша? — спросил Прохор Васильевич, дрожа всем телом.

— Прибегаю в дом к тятеньке вашему, пробился сквозь народ, к дверям... Возможно ли это дело, думаю, какой же еще Прохор Васильевич взялся? Верно неправду говорят люди...

— Ох, Триша, Триша, верно правду говорят люди... верно это божие наказание...

— Тò-то и беда, что правда, — прервал Трифон Исаев: — не выдумывать же мне... Господи, думаю, чудится мне, или это тень Прохора Васильевича?..

— Ох, чтò-то страшное ты говоришь, Триша!..

— Ей-ей!.. Должно быть тень ваша... говорят же, что двойники бывают... Уж чтò-нибудь, да не так, не даром!.. Верно, думаю, свахи перессорились за Прохора Васильевича; а сваха Авдотьи Селифонтовны, чтоб поставить на своем, взяла, да и наступила на тень вашу, сдернула ее с вас и вышел двойник... Подкинула его вместо вас в дом к тятеньке, да теперь и женит на Авдотье Селифонтовне...

— Ох, страшно чтò-то ты говоришь, Триша!.. — повторил Прохор Васильевич: — Чтò ж это будет такое, Триша, голубчик?.. Чтò ж я-то буду делать?.. Я-то так и пропал?..

— Избави бог, Прохор Васильевич, — отвечал Тришка: — уж чего я для вас не сделаю... Знаете ли чтò? Пойду я к ворожее, да спрошу как быть, нельзя ли извести вашего двойника... Право,

пойду...— а вы побудьте; да знаете, надо вам маленько поокуражиться...— И Трифон достал с полки полуштофик.

— Выпейте-ко,— сказал он, наливая в стакан и поднося Прохору Васильевичу: — это сладенькая.

Прохор Васильевич покачал головою.

— Выпейте, беспременно надо выпить; вишь, совсем посоловели... Эх, да извольте пить!..

Прохор Васильевич выпил и потер голову.

— Пообождите же немножко, я сбегаю. Прилягте, поуспокойтесь...

Прохор Васильевич послушно прилег на нары, но не забылся сном. Смутные мысли бродили в его голове и воплощались в видения. С испугом приподнимая голову, он всматривался в них и снова ложился.

В час заполночь пришли Трифон Исаев и Конон.

— Прохор Васильевич, пойдемте скорей,— сказал Трифон,— взяв его за руку.

— А? что̀ такое?— спросил он, приподнимаясь.

— Пойдемте, сударь, уж чего я для вас не делал... если б вы знали чего мне стоило...

— Ох, нет, Лукерьюшка, погоди; я подумаю...— отвечал Прохор Васильевич тихо, смотря неподвижными взорами на Трифона Исаева.

— Он что̀-то бредит!— сказал Конон на̀-ухо Трифону.

— Ничего... Прохор Васильевич! очнитесь, сударь, да пойдемте...

— Ох, это ты, Триша?

— Порадуйтесь: ведь я выжил дьявольское-то наваждение из дому... ей-ей... вот уж теперь знаю, что двойники-то черти... прибежал я к ворожее, говорю: бабушка, вот так и так, двойник явился, что̀ делать? «Поймай, говорит, за хвост,

да и стащи с него чужую-то шкуру — сгинет». Я так и сделал: притаился за углом; только что он в двери, разряжен молодцом, во фраке, я и хвать за фалды. — Стой, друг! Сбрасывай-ко чужие перья! Вон из чужих хором! — Он туда-сюда: — «Батюшка, — говорит, — что̀ хочешь возьми, только пусти». — Нет, брат, извини, ни за что̀... Полезай вон из кожи! — «Возьми десять тысяч!..» — Нет, проклятый, ничего мне от тебя не нужно; Прохор Васильевич наградит меня... двадцать даст... Правда, Прохор Васильевич?

— Правда, Триша, — отвечал Прохор Васильевич.

— Вот, я как дерну его за хвост и сдернул, как сорочку, совсем с платьем. Вот она; теперь надо, на вас накинуть скорей... эти лохмотья-то долой... Закройте глаза... Господи, благослови!

Трифон Исаев и Конон принялись одевать и холить Прохора Васильевича, который, закрыв глаза, дрожал как под студеным водопадом, и ни слова.

— Ну, вот, — сказал, наконец, Трифон Исаев, причесывая всклоченные кудри Прохора Васильевича: — не даром на̀ вас лица не было; а теперь, смотрите-ко. Ах, жаль, зеркальца нет!.. Ну, с богом! Пойдемте.

— Куда, Триша?

— К тятеньке в дом.

— Как же это, Триша: тятенька-то не убьет меня?

— Вот! он теперь спит; а завтра вы к нему придете: «здравствуйте, тятенька!» и как будто ни в чем не бывало.

— А он спросит — где я был? куда деньги девал?

— Не спросит, ей-ей, не спросит, уж это дело кончено: чортов сын, двойник ваш, так славно всё обработал... Ей-ей, уж не само ли счастье ваше

наслало его: так укатал вам дорожку, что чудо! Вы уже о прошлом ни слова. Слышите, Прохор Васильевич?

— А как он скажет...

— Ах, ты, господи! Да ничего не скажет, вы только ни слова не говорите.

— Да, тебе хорошо, Триша: ты не женился без воли родительской... Жену-то не бросишь...

— Ну кто... ну что̀, ну где вы женились без воли тятеньки? Уж об этом не беспокойтесь; все шито, да крыто; извольте себе только жить да поживать, да детей наживать.

— Ой-ли? Ты правду говоришь, Триша?

— Ну-ну-ну, пойдемте скорей!

— Как же это мне итти, Триша? — проговорил Прохор Васильевич, силясь приподняться с места. Он привстал; но ноги его подкосились. Трифон и Конон повели его под руки.

В доме Василия Игнатьевича всё уже спало крепким сном после радостного дня. Не спал только мнимый Прохор Васильевич. Он сидел в своем кабинете, в глубоких креслах, и беседовал сам с собою.

«Прощай, любезный друг, Прохор Васильевич, — говорил он задумчиво: — служил я за тебя службу по мере сил и способностей; лез, как говорится, из кожи, чтоб не положить хулы на твою голову... Легко кажется быть не тем, что̀ есть; а в сущности дьявольский труд!.. Всякое двуногое существо без перьев, от человека до ощипанного петуха, зритель без платы, судья без оффиции... Кто спорит с разумными людьми, что каждый человек должен быть человеком; да ведь те же разумные люди сочинят роль человека, как их душе угодно, и изволь ее разыгрывать!.. Людям ужасно

как не хочется быть тем, что̀ есть: им хочется быть лучше. Прекрасное желание, истинно прекрасное желание! А всё-таки из него следует, что бог не угодил на них. Вот и я вслед за другими не хочу быть тем, что̀ есть, а хочу быть лучше, выхожу из себя, чтоб быть лучше. Быть Прохором Васильевичем действительно лучше: желаний мало, а средств тьма. А у меня чорт знает сколько желаний! .. Да у меня ли? .. Кто я, что̀ я? Слуга двух господ: барина да барыни; хорошо бы было им служить, если б эти супруги были в добром здоровье, да жили в ладу; а то такая бестолочь, что из рук вон: барин — предобрая, беззаботная скотина, без всяких претензий, все съест, все наденет, что̀ ни подай, везде ему ловко; зато барыня моя, такая беспокойная душа, что ужас! Ничем не угодишь; совершенная коза.

Охотница была коза резвиться,
На месте никогда козе не посидится...

Что̀ делать? Вот, и моей козе не посидится на месте; и то подай ей и другое подай: и ума, и учености, и любезности, и роскоши, и богатства, и всего, что не суждено каждому, а каждому хочется иметь. Где ж взять? Не досталось по наследству, надо приобретать, надо покупать; нет купилок, надо их добывать трудом и по̀том. Добыл — глядь, поздно, смерклось на дворе, и пошли все труды и подвиги под ноги! .. Вот, например, я трудился исправлял чужую должность, как следует, готов сдать ее хоть по форме и получить аттестат... Приобрел то, что̀ нужно в свете... Средства есть, а деваться с ними некуда: каким образом возвратиться в себя? Поди, объяви, что вот, дескать, я, Дмитрицкий, честь имею явиться, прошел через огонь и воду,

перегорел, выполоскан, и ныне имею благое намерение быть тем, что̀ есть. «А, а! — крикнут добрые люди: — так это ты-то, голубчик? Так это ты-то? Пожалуй-ко сюда, изволь отвечать, изволь сознаваться во всем! . .» Поневоле со страху отречешься от самого себя, скажешь: «нет, господа, я пошутил, ей-ей пошутил: я не я! . .»

Беседа Дмитрицкого с самим собою прервана была входом Трифона Исаева.

— Готов! — сказал он шопотом: — да вы уж извольте выходить, не показывайтесь ему на глаза.

— Вот тебе раз! Это что̀? Веди его сюда! я ему сдам все по принадлежности.

— Эх, чудак, господин! Ну, чего тут еще нужно? — сказал Трифон, махнув рукой с досады: — я так славно подготовил его.

— Тем лучше, подавай его, я полюбуюсь на себя.

Трифон и Конон ввели Прохора Васильевича, не чувствовавшего, не понимавшего, что̀ с ним делается. Он озирается на всё неподвижными глазами.

— А! любезнейший! — сказал Дмитрицкий, осматривая с головы до ног Прохора Васильевича: — так вот ты, душа моя, Прохор Васильевич! .. Не узнал меня? Да и я тебя не узнаю! ..

— Ах, да полноте вам! Оставим его здесь, да и уйдем, — шепнул Трифон Дмитрицкому.

— В самом деле, не сто̀ит слов терять: чорт знает кого ты привел! он так же похож на Прохора Васильевича, как и я. Что̀ скажет тятенька! Это, брат, Тришка, опять подлог.

— Вот тебе раз! Ну, ей-ей, что это он! ей-богу!

— Лжешь, собака! .. Прохор Васильевич!

Прохор Васильевич как будто очнулся на зов,

приподнял веки, оглянулся мутным взором и глаза его снова закрылись. Конон опустил его на диван.

— Тятенька не узнает его, — сказал Дмитрицкий: — он сам на себя не похож! ..

— Нет, Лукерьюшка... Нет, голубушка... не пойду... — заговорил Прохор Васильевич, открыв вдруг глаза, которые налились кровью.

— Он бредит, — сказал Дмитрицкий: — точно в горячке!

— Да пусть его бредит, — сказал Трифон, — не лечить же его стать; бог с ним.

— Нет, Лукерья Яковлевна... не могу... — продолжал Прохор Васильевич тихим, жалобным голосом: — тятенька убьет... Ступай ты... сама... скажи, что вышла за меня замуж... я ни за что̀ не скажу тятеньке, что женился на тебе... он убьет меня...

— Он женат? — спросил Дмитрицкий, взглянув на Трифона Исаева.

— А кто ж его знает? — отвечал Трифон, пожав плечами.

В это время за дверями раздался колоко̀льчик и послышался чей-то звонкий голос.

Точно как петух подал голос: бродившие по кабинету тени скрылись.

В роскошной спальне, озаренной лампадкой, под кисейными занавесами, которые ниспадали из-под молний золотого орла, как из громадных туч потоки, лежала в пуховых волнах молодая. Она, казалось, очнулась с испугом, схватилась за тесьму колокольчика и громко вскрикнула: «Нянюшка, нянюшка!»

Никто не шел на зов ее. Побледнев, как белый батист, который обвивался вокруг нее, она продолжала звонить и звать нянюшку.

Наконец нянюшка прибежала к ней.

— Что с тобой, сударыня моя? Что ты кричишь благим матом! режут, что ли, тебя?

— Нянюшка, мне страшно! мне страшно одной!

— Как одной? Где ж супруг-то твой?

— Я не знаю... нянюшка, не уходи!..

— Да где ж Прохор-то Васильевич?

— Я не знаю, его здесь нет...

— Как нет? Где ж это он?

— Он верно там... меня оставили одну... Я ждала, ждала... мне стало вдруг страшно.

— Ах, ты, господи! Прохор Васильевич, сударь!

Старая нянюшка прошла через уборную и постучала в дверь кабинета. Никто не отзывался.

— Прохор Васильевич, сударь! — крикнула она, приотворив дверь и взглянув в кабинет.

— Господи, что это он тут залег?.. Прохор Васильевич, сударь! Спит, как убитый! Ах, ты, господи, что это он? Прохор Васильевич, сударь!

— Голубушка ты моя... ей-богу, боюсь итти! — проговорил Прохор Васильевич, приподняв голову и устремив взоры на няню.

— Ах вы, Прохор Васильевич, сударь! а еще молодец! Ну, чего вы боитесь? Христос с вами! Что, Дунюшка-то, укусит, что ли, вас?

— Боюсь! ей-богу, боюсь... Пойдем вместе...

— Ах, греховодник! казалось, такой смельчак, а тут вдруг перетрусился! А-ах! срам какой!

— Что ж мне делать-то... ноги так и подкашиваются... — продолжал Прохор Васильевич, протягивая руку к нянюшке.

— Ах, ну, ну, добро, пойдем... она там одна со страху умерла... Ну, что ж, вставай!.. Эх, молодец, да ты верно подкуликал? Никому и не в догад. Ну, добро, пойдем, я подмогу...

Старая няня Авдотьи Селифонтовны, несмотря на старость, была здоровая и сильная баба: она подхватила под руку Прохора Васильевича и повела в спальню.

— О-хо-хо, вот мужья-то каковы! — бормотала про себя старуха: — ты уж на первый раз его извинишь... Вишь на радости-то тово...

Но стыдливая Авдотья Селифонтовна успела уже закутаться с головой в одеяло, и не слыхала речей нянюшки, которая усадила Прохора Васильевича на постель, а потом, как следует, уложила.

— Ну, бог с вами! — прибавила она, перекрестив обоих, и вышла.

III

Сдав по надлежащей в подобном случае форме должность Прохора Васильевича, Дмитрицкий, как вы видели, пропал. Трифон Исаев — опасный товарищ и в добрых и в худых делах; он способен был бог знает что̀ сделать, чтоб вынуть у него из кармана вырученный за службу капитал. Может быть он *сжег* Дмитрицкого, или утопил.

Но герой нашей повести в воде не тонет, в огне не горит, и покуда явится снова на сцену, посмотрим что̀ сталось с Платоном Васильевичем Туруцким после получения горестной вести о Саломее Петровне.

— Батюшка-барин, ваше превосходительство, не послать ли за доктором? Вам что̀-то не по себе! — вопил над ним Борис, не смея ни на что̀ решиться без приказания.

Платон Васильевич как будто очнулся, посмотрел неподвижными взорами прямо перед собой и снова закрыл глаза.

— Батюшка-барин, ваше превосходительство, —

начал снова Борис взывать к нему, желая удостовериться, не умер ли он.

Платон Васильевич дышит тяжело и ни слова; и Борис, то постоит над ним сложа руки как умоляющий о помиловании, с лицом плачущим без слез, то побежит, нальет из графина воды и подержит над губами его, предлагая выкушать.

— Господи, господи! — повторяет он долго и потом крикнет снова: — ваше превосходительство!

Платон Васильевич откроет глаза, кажется смотрит, кажется слушает; долго смотрит, долго слушает; но утомленные неподвижностью веки его снова начинают слабеть, опускаться; закрылись, а голова вдруг упала на грудь.

— Умер, умер! — вскричал Борис и зарыдал во весь голос. Хотел бежать кликнуть людей; но ноги его подкосились и он припал на колени, приполз к барину, схватил его руку и начал обливать горькими слезами.

— Отец родной! На кого ты нас покинул! Батюшка, Платон Васильевич!

— А? — произнес вдруг Платон Васильевич, очнувшись. — Что?

— Ах, господи! ничего, ваше превосходительство! — проговорил тихо Борис, с испугом: — я только хотел спросить, не будете ли раздеваться?

— Что̀, уж смеркается? — спросил Платон Васильевич, осматриваясь кругом.

— Да, скоро уж будет смеркаться.

— А! .. Одеваться скорей, одеваться! .. Всё ли там готово? ..

— Где, ваше превосходительство?

— Новую пару платья... лаковые сапоги...

— Вы бы прилегли, сударь, — вам что-то нездоровится,

— Этот проклятый парик жмет мне голову, братец, — проговорил старик, взявшись за голову: — ужасно жмет...

— Лягте, батюшка-барин, — повторил Борис: — я вас раздену, да доведу до постельки...

— Да, да, скорее!.. Уж смеркается... Сейчас приедут... скорее!

И Платон Васильевич протянул руку. Борис снял с него домашний шелковый сюртук, взял под руки.

— Пойдемте, сударь.

— Пойдем... пора... карету подали?.. Постой!.. какую заложили? На английских рессорах?.. а?

— Да, да, сударь... прилягте, батюшка...

— То-то.

Едва держась на ногах, Платон Васильевич, поддерживаемый Борисом, шел к постели. Больному воображению его она казалась каретой.

— Какие... высокие подножки, — проговорил он, приподнимая ногу, и почти без чувств свалился на подушки; но всё в нем сотряслось, как будто от колебания и толчков экипажа.

— Заснул! слава богу! — произнес, наконец, Борис, долго стоя над барином, и, едва дотрагиваясь до полу, он вышел в надежде, что сон лучше всякого лекарства поможет, и рассуждая сам с собою, от чего бы это так приключился обморок Платону Васильевичу? «Сроду с ним такого казуса не бывало, чтоб так огорчаться... Ох, что̀-то не в себе, сердечный! вот с тех самых пор не в себе, как вздумал дом... строить... словно кто обошел его... Право! И в клуб перестал ездить... Болен, не болен, кажется; заболит что̀, бывало, пожалуется, пошлет за доктором... бывало, всякий день порошки принимает: а тут и порошки перестал принимать.

А что̀ ты думаешь, ведь что̀-нибудь да не даром; вдруг ни с того, ни с сего дом строить, да заводить убранство такое... Уж не жениться ли вздумал на старости лет? .. Родители-то, чай, рады—мошна-то у нас, слава тебе господи, не нищенская... Ну — а невеста-то верно... да уж так! верно так! .. Тут бы ее к венцу, а она к молодцу! .. Эх, барин!»

На другой день Платон Васильевич проснулся как будто здоров, как будто всё в обычном порядке. Встал, оделся, покушал бульону, спокойно прохаживался по комнате, брал газеты, читал... Но около трех часов пополудни проявилось вдруг в лице его какое-то беспокойство, он начал бодрее и поспешнее ходить взад и вперед, рассуждал руками, взор его углубился во что̀-то. Это продолжалось до тех пор, покуда Борис, накрыв в обычный час на стол, спросил, подавать ли кушанье?

— Да, да, хорошо! Поскорее! — отвечал Платон Васильевич и, как будто торопясь куда-то, на̀-скоро перехватил кой-чего, приказал скорее убирать и итти в дом посмотреть, всё ли в исправности и все ли люди на местах.

— Там всё в исправности, ваше превосходительство, — отвечал Борис.

— То̀-то, смотри, чтоб всё было в исправности,— заметил Платон Васильевич:— я сам приду... сам... только отдохну.

Эти слова произнес он уже в дремоте. Борис помог ему прилечь на постель.

Беспокойный сон, казалось, был новыми заботами для него; по судорожным движениям лица и всего тела можно было отгадать, что он о чем-то всё хлопочет. Около полуночи Платон Васильевич очнулся, кликнул Бориса и протянул опять к нему руки. Борис приподнял его и повел к креслам.

— А что̀ ж, Петр, не потрудился встретить меня и помочь выйти из кареты? а?

«Бредит со сна», — подумал Борис.

— Устал немножко, — продолжал Платон Васильевич: — раздевай скорей, да в постелю.

И он снова ложился и засыпал крепким сном отдыха.

В продолжение нескольких месяцев почти каждый день был повторением этого дня, без малейшей перемены. Платон Васильевич просыпался только для каких-то заботливых дум и для принятия пищи. Иногда только, во время утренних его бдений, навещали его старые знакомцы, из приязни и по своим делишкам. Но Платон Васильевич решительно стал недоступен ни для приязни, ни для просьб.

— Извините, — говорил он одним: — я что̀-то расстроен немножко, голова кружится. — А другим: — не могу, никак теперь не могу!

Все знакомые и все нуждающиеся в его добром расположении отстали, наконец, от него, заключив, что старик спятил с ума и от него нечего больше ожидать.

Так бы, казалось, остальная жизнь Платона Васильевича продолжалась день в день до совершенного истощения сил; но один раз посетил его клубный знакомец Иван Иванович и так неотступно просил одолжить ему двадцать тысяч, что произвел в нем какой-то переворот.

— Борис, — крикнул он: — что̀ ж, готова ли карета?.. Доложить мне, когда будет готова, — да скорее... Извините, пожалуйста, мне надо ехать по делу.

«Экой старый хрен! — подумал Иван Иванович: — да я тебе покою не дам, покуда не дашь

мне двадцать тысяч! .. Ведь я у тебя не подарка прошу! ..»

— Готова карета, ваше превосходительство,— доложил Борис: — прикажите подавать?

— Подавай, — отвечал Платон Васильевич, извинившись и торопливо выходя.

— Прощайте, Платон Васильевич, — сказал Иван Иванович, следуя за ним.

— Куда прикажете ехать? — спросил Борис, подсаживая барина в карету.

— В дом, — отвечал он.

— Ступай к парадному крыльцу!— крикнул Борис кучерам.

Карета сделала полукруг по двору; Борис отпер дверцы и вместе с Петром высадил барина и повел под руки на крыльцо.

— Постой, постой, — сказал Платон Васильевич: — что̀ ж это значит, что швейцар не одет?

— Он не знал, ваше превосходительство, что вы изволите быть сегодня.

— Как не знал? Как не знал? Я тебе не говорил с утра, что у меня будут гости и чтоб всё было в надлежащей исправности к приему? .. Нет, этого я не люблю! Я не люблю этого! .. Ты должен стоять неотлучно у подъезда! .. слышишь? Во всей форме... с булавой в руках! .. поди, сейчас надень перевязь!

Сделав строгий выговор швейцару, Платон Васильевич как свинцовый поднялся при помощи двух лакеев на лестницу. В передней заметил он также беспорядок. Нет ни одного человека официантов.

— Где ж официанты?— спросил он гневно, остановясь и колыхаясь как на проволоке.

— Сейчас придут, ваше превосходительство,—

отвечал Борис: — вы не изволили сказать, чтоб и сегодня всё было готово к приему гостей.

— Я не сказал? .. Они будут уверять меня, что я не сказал! .. Вы разбойники! Вы осрамите меня! .. Где они? Подай их сюда! ..

Когда собрались все официанты, Платон Васильевич начал им читать наставление, чтоб они не совались за одним делом все вдруг, не смотрели, вылупив глаза, дураками; а когда понесут чай, чтоб глядели под ноги, не спотыкались с подносами и не наступали дамам на подол.

— Лампы подготовлены? — спросил он, проходя по комнатам.

— Подготовлены, — отвечал Борис, — мигнув одному из лакеев.

— Чтоб не коптели, слышишь?

— Да как же, ваше превосходительство, можно, чтоб лампы не коптели; ведь это не свеча; ту взял да сощикнул, так она и ничего, особенно восковая: а эти ночники, прости господи, чорт выдумал! — отвечал Борис, окончив заключение вполголоса.

— Я не люблю умничанья; все умничают, это удивительно! .. Только умничают, а дела не делают! .. Это для чего заперто на ключ? — спросил Платон Васильевич, подходя чрез уборную к девичьей.

— Как же, ваше превосходительство, оставлять комнаты незапертыми; а в девичью ход с заднего крыльца.

— А где ж горничные?

— Должны быть здесь.

— Где?

— А бог их знает, ведь они француженки, присмотру за ними нет; так они что̀ хотят, то и делают: так хозяйничают, что боже упаси; перед

большим зеркалом вздумали было одеваться... да навели каких-то кавалеров... так я уж сказал: нет, извините, сударыни мои, это не приходится!..

— Да где ж они? — повторил Платон Васильевич.

— Не могу знать; кто ж за ними смотрит, взяли извозчика, да и поехали.

— Ай, ай, ай! — проговорил Платон Васильевич: — без всякого присмотра! Куда хотят, туда и поедут!.. Это беспорядок, это беспорядок!.. во всем беспорядок! Надо было приискать какую-нибудь степенную француженку заведывать всем в доме. Где теперь вдруг найти? Где теперь найти такую француженку?..

Платон Васильевич, толкуя о необходимости поручить весь порядок в доме в заведывание умной, степенной француженке, не заметил, как Иван Иванович снова явился перед ним, крикнув:

— Еще здравствуйте, Платон Васильевич! а я воротился сказать вам слово... Славный дом! О чем это вы хлопочете? Вам, слышал я, нужна француженка! Поручите, пожалуйста, мне, я для вас всё готов сделать; я отыщу, непременно отыщу. Верно, для вашей сестры? Вы, кажется, говорили, помните?

— Да, да, — отвечал Платон Васильевич: — очень благодарен, очень благодарен...

— Помилуйте, для вас я всё готов сделать... а насчет того я обдумал и решился... Если вам нельзя теперь мне дать двадцати тысяч, так я оборочусь десятью. Десять-то тысяч вы верно мне не откажете.

— Не могу, не могу, право, не могу, — отвечал Платон Васильевич, торопливо выходя.

— Ну, нет, уж это нельзя же, Платон Васильевич; как хотите, я от вас не отстану.

— Ах, боже мой, ну завтра, завтра, теперь я не могу, мне надо ехать...

— И, да долго ли это задержит; такие пустяки, десять тысяч! Минуту, не более; а мне также крайность; сегодня же надо отвезть.

— Право, до завтра.

— Нет, пожалуйста! Что̀ это для вас значит! .. Пустяки. Притом же взаимные одолжения: мне приятно угодить вам, вы не откажетесь для меня сделать маленькую послугу...

— Конечно, конечно; но теперь никак не могу!

— Так я заеду к вам часа через два, или попозже.

— Ах, нет, нет. Уж так и быть, лучше теперь...

— И прекрасно! — сказал Иван Иванович: — это короче всего.

Платон Васильевич торопился удовлетворить неотвязчивого Ивана Ивановича, и рад был, что он, наконец, уехал, обещая непременно через неделю возвратить деньги с благодарностью.

Через неделю не возвратил он денег; но вы помните, что, встретив в клубе избавителя Саломеи Петровны из челюстей адского Цербера и узнав от него о француженке, которая ищет места, Иван Иванович, во взаимное одолжение Платону Васильевичу, тотчас вспомнил, что он ищет француженку, — и объявил об этом ее благодетельному ходатаю или адвокату Далину.

Далин на другой же день, перед обедом, отправился к Платону Васильевичу, который в это время был в сильном припадке забот об устройстве всего в доме для принятия ежедневно жданной гостьи — Саломеи Петровны с ее родителями.

Только что Платон Васильевич кончил наставления официантам и начал допрашивать, не будут ли чадить лампы, вдруг стук экипажа.

— Боже мой, неужели так рано приехали? Борис, слышишь? — спросил он с испугом.

— Слышу, ваше превосходительство: кто-то приехал.

— Ах, боже мой, — повторил Платон Васильевич и побежал навстречу, к pente-douce.

— Дома Платон Васильевич? — раздался голос внизу.

— Как прикажете доложить?

— Скажи, что... А! Да вот и сам Платон Васильевич.

— Давно вас не видал в клубе, слышал, что вы больны, и приехал навестить вас, — сказал Далин, вбежав на лестницу и протягивая руку к Платону Васильевичу, который смутился, встретив не того, кого ждал.

— Был болен? Извините меня, я, слава богу, здоров.

— А! Ну, тем приятнее для меня... С каким вкусом вы перестроили дом! ..

— Да, — отвечал Платон Васильевич с досадой и не трогаясь с места: — да, перестроил.

— Можно посмотреть? .. А между тем мне нужно переговорить с вами об одном деле... Вот видите ли... Я слышал, что для вашей сестрицы нужна образованная, умная француженка в компаньонки? ..

— Не знаю, — отвечал Платон Васильевич: — не знаю; она мне об этом ничего не писала.

— По крайней мере мне так сказали; это и заставило меня ехать к вам и удостовериться.

— Не знаю, — повторил Платон Васильевич.

— Странно!

— Француженка? — спросил Платон Васильевич после долгого молчания.

— Да. Меня просили позаботиться пристроить ее к хорошему месту. В гувернантки легко определить; но, как женщина с чувством собственного достоинства и по происхождению, и по образованию она не соглашается быть гувернанткой детей.

— Умная, степенная, женщина строгих правил?

— О, в этом я могу поручиться.

— Стало быть ей можно поручить на руки хозяйство?

— Каким образом: то есть, сделать ключницей?

— Нет, полное распоряжение хозяйством и порядком дома, чтоб самой хозяйке совершенно не о чем было беспокоиться.

— А, это дело другое; это прекрасно, особенно если хорошее содержание, помещение, экипаж и, разумеется, кушанье не со стола, а за общим столом. А для кого это собственно?

— Собственно для этого дома, который я хочу привести в полный порядок до прибытия хозяйки, — отвечал Платон Васильевич, пощелкивая по табакерке, с какою-то особенною храбростью и уверенностью, что его счастие не за горами.

— А! прекрасно! — сказал Далин, посмотрев значительно на него: — а как вы думаете насчет вознаграждения? Тысячи четыре?

— Да, если эта дама степенная, образованная, женщина строгих правил. Я бы, впрочем, очень желал, чтоб она могла быть и для компании... Это бы не мешало... Хозяйка молодая женщина... покуда будут дети... ну, иногда для выездов... одной не всегда прилично... В таком случае я бы дал и пять тысяч.

— О, будьте уверены, что она может быть другом умной женщины; притом же салон ей не новость. Вы увидите сами.

— Верю, верю; очень рад... помещение для нее будет прекрасное, я покажу вам комнаты... Но, который час... ах, мне пора...

Платон Васильевич торопливо повел Далина через уборную и спальню. Прямо — дверь вела в гардеробную и девичью; а вправо — в предназначенные детские покои.

— Бесподобное помещение, чего же лучше. Так это дело решено?

— Я уж совершенно полагаюсь на вашу рекомендацию.

— И будете довольны. Фамилия ее Эрнестина де Мильвуа.

— Де Мильвуа.

— Вы, я думаю, слыхали об известном французском поэте Мильвуа?

— Как же, как же; это приятно, — отвечал Платон Васильевич, смотря беспокойно на часы: — извините, мне надо... Борис! ..

— Итак, до свиданья! Завтра она к вам явится.

Проводив гостя, Платон Васильевич сел в карету и возвратился в свой флигель.

— Борис, — сказал он: — я отдохну; через два часа разбуди меня, если неравно засплюсь, и чтоб всё было готово, а в доме зажигали лампы.

Борис привык уже к этому ежедневному приказу. Не отвечая даже *слушаю-с*, он раздел барина, уложил, и Платон Васильевич предался своему обычному летаргическому сну, который после посещения дома изменил несколько свои симптомы. Около семи часов проявлялось какое-то лихорадочное беспокойство; потом внутреннее волнение ути-

хало, наружность оживлялась счастливой улыбкой молодости чувств; казалось, что всё существо семидесятилетнего субъекта расцветало снова в видениях. Но вдруг набегала какая-то туча, лицо темнело, сжималось, и слышен был в груди глухой стон, как будто всё более и более углубляющийся в подземелье; потом наступало болезненное онемение, продолжавшееся до полудня, — обычного часа пробуждения Платона Васильевича.

На другой день после посещения Далина карета на английских рессорах остановилась подле ворот, лакей соскочил с козел и побежал сперва в людскую, потом во флигель.

— Доложите генералу, — сказал он, войдя в переднюю: — что приехала мадам француженка.

— Какая француженка? — спросил мальчик, который тут был.

— Известное дело, какие француженки бывают. Ты только доложи генералу, что от господина Далина; а он уж знает.

— Да барин-то еще не одевался.

— Экая беда, поди-ко-сь! так он для нее одеваться и будет!

— Да будет; уж наш генерал такой.

— Да что̀ ж, скоро ли он будет одеваться, а мне куда с ней деваться? Мне велено везти ее к генералу, я и привез; не на улице же стоять; карету-то барыня ждет: приказывала скорей.

— Я скажу, пожалуй, дворецкому; а уж он как знает, так и доложит.

Борис, по докладу мальчика, вышел в переднюю и переспросил, кто приехал, откуда, для чего и зачем, покачал головою и пробормотал про себя: «Эх, чорт знает что̀! Подлинно барин-то с ума верно сошел: французский пансион заводит!»

— Кто там, Борис Игнатьич? — спросил его шопотом лакей, сметавший в зале пыль.

— Кто! Еще какая-то мадам француженка.

— Зачем их несет сюда?

— Зачем! Известное дело, к нам же на пансион.

— Что ж это за пансион такой?

— Хм! Мода такая. Известное дело, французской пансион: соберут тощих да голых мамзелей, дадут им квартиру и всё содержание, откормят, а потом и женятся на них. И наш, верно, барин тоже вздумал на старости лет: отделал дом, да вот уж третью берет на пансион. Смотри, если не добьет до дюжины. А пансион-то, не то, что по-нашему жалованье за службу; да и не то, что одно жалованье: жалованье куда бы ни шло; а то — квартира со всем убранством, отопленьем, свечи восковые да лампы, стол поварской, экипаж в полном распоряжении, что захочет — подай! И шляпку с перьями подай, и платье шелковое подай, и всё подай, не смей отказать... и в театр, или на бал захотела — вези! А не повез, так чорт с тобой, меня другой повезет! — Вот, брат, что значит пансион-то французской; это, брат, не то, что по-нашему; нет, брат Вася, это уж не то; не то, брат Вася. Вот с тех самых пор не то, как мода вошла. Ну, да что тут говорить! не наше дело!

Вздохнув глубоко, Борис вошел в спальню и доложил Платону Васильевичу, что приехала какая-то француженка, мадам.

— Мадам? Какая мадам? — спросил Платон Васильевич.

— Прислал ее господин Далин, что вчера у вас был.

— А! Знаю, знаю, — сказал Платон Васильевич после долгой думы: — знаю!.. Проси ее в

большой дом... погоди!.. Скажи, что я сейчас сам буду... Постой... Покажи ей комнаты вправо от уборной... она в них поместится...

— Ступай к большому подъезду, — сказал Борис лакею и пошел на парадное крыльцо встречать новую пансионерку своего господина.

— У, да какая! — промолвил он про себя, взглянув на даму, которая вышла из кареты и посмотрела вокруг, как владетельная особа, вступающая в хижину своих подданных.

Не вдруг можно было бы узнать на бледном, опавшем лице черты Саломеи; но спесивая, высокомерная осанка как будто наделась на нее снова вместе с шляпкой; едва только отогрелась ее душа и — зашипела попрежнему.

В уборе ее головы, под полями, недоставало только любимых ее длинных локонов, кажется, à la Ninon. В довольно роскошном наряде, которым без сомнения снабдило ее радушное участие к судьбе несчастной француженки, она приехала в английской карете как будто с визитом и медленно шла на лестницу, ожидая почетной встречи.

Но парадные двери не отворились перед ней. Борис, отпирая ключом маленькую дверь вправо, сказал только: — Пожалуйте сюда! — и оборотясь к лакею, прибавил: — Что̀ ж ты, брат, не несешь ее пожитки?

— Какие пожитки? Никаких нет, — отвечал лакей: — мне велели представить ее сюда, да и только. Росписку, что̀ ли, пожалует генерал?

Саломея вспыхнула. Обиженное самолюбие и негодование резко выразились в заблиставшем взоре и взволновавшейся груди.

— Ну! — проговорила она повелительно, остановясь перед дверьми.

— Сюда пожалуйте, вот сюда, — повторил Борис: — барин, его превосходительство, сейчас сами будут; а вот эти покои для вас приказал отвести... Вот эти покои, изволите понимать, сударыня? Я ведь по-вашему не знаю... Вот эти покои, то есть, для вас... Нет, нет, вот эти только, а тут спальня, да уборная господские...

Саломея, не обращая внимания на слова Бориса, окинула недовольным взором комнаты, меблированные просто и, заметив сквозь отворенные двери роскошно обставленную, приютную уборную, вошла в нее, сбросила на бархатный диван против трюмо свою мантилью и села в глубокие кресла, грациозно приложив локоть на извивающуюся позолоченную змейку и свесив небрежно кисть руки в палевой перчатке.

— Это уборная господская; а вот покои для вас! — повторил Борис; но Саломея, как будто не понимая мужицкого языка, смотрелась в зеркало и оправляла шарф на плечах. — Поди, что̀ хочешь ей говори — как горох об стену! Экое племя!.. За руки и за ноги, что̀ ли, тащить вон; забралась, разделась, да и права!.. Пусть сам генерал придет, да говорит ей; а мне не сговорить! — ворчал про себя Борис.

Повторив еще несколько раз, что это уборная, он пошел докладывать барину, что вот, так и так: я показал ей покои, которые ваше превосходительство назначили, а она села в уборной, да и сидит.

— Хорошо, давай мне одеваться, — сказал Платон Васильевич.

Тоалет его требовал времени. Брадобрей Иван долго возился, пробривая складки морщин. Потом следовало умыванье, потом перемена белья, на-

кладка парика, чашка бульону, потом периодический кашель, утомление и дремота; потом натягивание плисовых сапогов посредством крючков, хоть они влезли на ногу не труднее спальных, потом еще натягиванье, возложение подтяжек на плеча и ордена на шею. Все это продолжалось добрых два часа.

Заключив свое облачение несчастной верхней одеждой, называемой фраком, Платон Васильевич сел снова в кресла, забылся было; но вдруг очнувшись, спросил: — что̀ ж, всё готово?

— Всё, сударь, — отвечал Борис: — карета подана.

— Так поедем в дом, я посмотрю всё ли в надлежащем порядке.

Вступив на парадное крыльцо, он перевел дух и начал обычный осмотр всего с таким вниманием, как в первый день ожидания Петра Григорьевича с семейством. Передвигаясь из комнаты в комнату, заботливо вглядывался он во все предметы и обдумывал, нет ли какого-нибудь упущения; наконец, добрался до уборной.

Там наша Эрнестина де-Мильвуа, разгневанная и истомленная долгим ожиданием, приклонясь на мягкий задок кресел, забылась. Вероятно, очарованная каким-нибудь сладким сном, она разгорелась; а румянец необыкновенно как хорошо ложится на бледное матовое лицо.

Вступив в уборную, Платон Васильевич, не заметив еще Саломею, хотел было что̀-то сказать Борису, и вдруг оторопел, остановился с раскрытым ртом; все слабые струны его чувств затрепетали без звуку.

— Вот она, сударь, — начал было Борис.

— Тс! .. Ах, боже мой! — проговорил Платон

Васильевич тихо, махая рукой, чтоб Борис молчал, и отступая боязливо, чтоб не шаркнуть.

Борис и несколько официантов, следовавшие за ним для получения разных приказаний, по примеру своего господина также выкрались на цыпочках из уборной.

Пораженный неожиданностью и взволнованный, Платон Васильевич взялся за руку Бориса и произнес:

— Это она!

— Она, ваше превосходительство! — отвечал Борис.

— Что̀ ж ты мне не сказал?.. Никто не донес, что *она* приехала? а?

— Я докладывал, что *она* приехала, вы изволили сказать: хорошо.

— Когда? когда? Никто не докладывал. Врешь!.. Где ж Петр Григорьевич и Софья Васильевна?

— Не могу знать, они не приезжали! — сказал Борис, но Платон Васильевич, откуда взялись силы, торопливо побежал по комнатам.

— Где ж они?

— Не могу знать, ваше превосходительство; приехала только вот эта француженка...

— Француженка! Дурак! ты переврал!

— Извольте хоть всех спросить: приехала одна-одинёхонька, в карете...

— Одна? Не может быть!

— Ей-ей, сударь, одна.

— Что̀ ж это значит? Боже мой, никто не сказал!.. Я не ожидал так рано... Кажется, я не звал к обеду?.. Поди, поди, скорей распорядись об обеде... Одна! Не может быть... люди проглядели... они верно прошли в спальню...

Платон Васильевич снова побежал к уборной. Тихонько вошел он и, едва переводя дыхание, остановился у дверей, не сводя глаз с *видения Саломеи*. Взор его пылал довольствием, чувства блаженствовали, и голос, как у чревовещателя, без движения уст, повторял: «Она! Боже мой, она! .. Она заснула! ..»

Глубоко вздохнув, Саломея вдруг приподняла голову и проговорила с сердцем:

— Как это скучно!

— Mademoiselle! Mille pardons! [1] — произнес дрожащим голосом Платон Васильевич, благоговейно подходя к ней и сложив ладони, как пастор, в умилении сердца: — как я счастлив! .. Простите, что я не встретил вас! ..

Саломею поразила что̀-то знакомая, но уже забытая и много изменившаяся, особенно в новом парике, наружность Платона Васильевича. Это уже был не тот дряхлый, но живой любезник гостиных, всеобщий запасный жених, существо, употребляющееся для возбуждения к женитьбе женихов нерешительных. Любовь успела уже изменить его из мотылька в ползающее морщинистое насекомое.

Саломея не старалась однакож припомнить это знакомое ей лицо, но, верная роли Эрнестины де Мильвуа, встала и поклонилась.

— Прошу вас в свою очередь и меня извинить, что я несколько утомилась долгим ожиданием, — сказала она по-французски: — вам, я думаю, уже известно. . .

— О, знаю, знаю! — перервал ее Платон Васильевич: — вы были больны. . . это так перепугало меня! Сделайте одолжение! . .

«Что̀ он говорит?» — подумала Саломея.

[1] Тысяча извинений, мадмуазель.

— Прошу вас... позвольте и мне... Я так счастлив... немного взволновало меня... что мне не сказали...

И Платон Васильевич, не договоря, опустился в кресла подле Саломеи, провел рукой по лбу, собирая расстроенные свои мысли.

— А ваши родители? Батюшка и матушка? — продолжал он, переводя дух.

— Мои родители? .. — повторила Саломея, — мои родители во Франции... их уже не существует на свете...

— Боже мой! Не существует на свете? .. да когда же... Ах, да! Верно, это с ними случилось несчастие... а мне сказали про вас...

«Это какой-то безумный!» — подумала Саломея. — Я вас не понимаю, я только что приехала из Франции...

— Из Франции... да когда ж это? Боже мой, сколько перемен! .. Приехали из Франции... одни приехали?

— О, нет, я ехала с мужем; но он умер доро̀гой... и я осталась без призрения...

— Без призрения! .. За̀муж вышли! .. — проговорил пораженный Платон Васильевич. — Боже мой, сколько перемен! .. Саломея Петровна! — прибавил он по-русски.

Саломея вспыхнула, смутилась, услышав свое имя...

— Я вас не понимаю; я Эрнестина де Мильвуа, — отвечала она, подавив в себе смущение.

— Эрнестина де Мильвуа? .. — повторил Платон Васильевич, смотря неподвижным взором на Саломею, как на призрак.

— Вам, я думаю, сказали уже... — начала было Саломея.

— Сказали, сказали... Боже мой, я считаю себя счастливым...— перервал Платон Васильевич.

— Так я желала бы знать ваше распоряжение насчет меня, — сказала Саломея, начиная припоминать знакомую наружность старика и с твердым намерением разуверить его.

— Распоряжение насчет вас? .. Боже мой, что̀ вам угодно, всё что̀ вам угодно, всё к вашим услугам... что̀ только прика̀жете... всё в вашем собственном распоряжении... Я так счастлив, что могу вам служить, угождать... Я так счастлив, Саломея Петровна...

Слезы брызнули из глаз старика; и он не мог продолжать.

— Вы меня принимаете совсем за другую особу; но я не желаю в вашем доме пользоваться чужими правами и быть не тем, что̀ я есть, — сказала Саломея, вставая с места.

— Виноват, виноват! — вскричал Платон Васильевич, вскочив с кресел и схватив Саломею за руку: — простите меня... сядемте... голова немножко слаба... Я всё забываю, что вам неприятны горькие воспоминания... сядемте, пожалуйста... Я надеюсь, что вы со мной оставите церемонии, и с этой же минуты будете здесь, как дома... это ваши комнаты... здесь ваша... уборная... тут будоар... а вот спальня ваша... я, кажется, всё обдумал, чтоб угодить вашему вкусу...

— Мне человек ваш сказал, что эти комнаты *господские;* а мне показал какие-то другие подле господских.

— Ах, он дурак! Он ничего не знает! он не знал, что это вы...

— Но... где ж комнаты хозяйки дома? — спросила Саломея.

— Вы и будете здесь хозяйка, весь дом в вашем распоряжении... Боже мой, я буду так счастлив! . И какой странный случай! Судьба!.. Когда я строил этот дом, я хотел во всех мелочах сообразоваться с вашим вкусом... помните я всё спрашивал вас, какой род украшений вам нравится.

Это напоминание прояснило прошедшее для Саломеи.

«Боже мой, да это тот дряхлый жених, которого мне навязывали! У меня из головы вышла его фамилия! — подумала Саломея: — он совсем выжил из ума!.. Он, кажется, помешан!..»

— Помните, — продолжал Платон Васильевич, с умилением сердца, забывшись снова: — помните, какое счастливое было время!.. Ах, сколько перемен!.. Когда же это?

Платон Васильевич остановился и задумался.

— Кажется, я вчера был у вас и говорил с батюшкой вашим, Петром Григорьевичем...

«Этот старик расскажет всем, кто я!»—подумала Саломея.

— Еще раз повторяю вам, что мне непонятны ваши слова! Может быть, я на кого-нибудь похожа из ваших знакомых, в этом я не виновата, и прошу вас принимать меня не иначе, как за то, что̀ я есть, за француженку Мильвуа...

— Виноват, виноват! Не сердитесь!.. я всё забываю, что обстоятельства... так... переменились... — сказал Платон Васильевич, совершенно потерянный: — ваш супруг... был... кажется... известный поэт Мильвуа... Какой удивительный поэт! Мой любезный французский поэт!.. И умер... как жаль!.. Не сердитесь... это меня встревожило... я счастлив, что могу быть вам полезным... не обижайте меня!.. Не лишайте...

«Как нестерпимо-несносен этот безумный старик!» — подумала Саломея.

— Я вам очень благодарна за ваше внимание,— сказала она обычным тоном светского приличия, прервав сердечное излияние участия Платона Васильевича и вставая с места, как хозяйка, которой наскучила болтовня гостя.

— Не лишайте счастия... — договорил Платон Васильевич, приподнявшись также с кресел.

— Я так рано встала сегодня, утомилась и желала бы отдохнуть, — сказала Саломея, не обращая внимания на слова его.

— Сейчас, сейчас велю кликнуть к вам горничных... Француженки... я очень помню, что вы не любите русских служанок... Если вам вздумается читать, то вот шкаф с избранными произведениями французской литературы... Извольте посмотреть, ваш любимый автор, Руссо, занимает первое место. Занд не удостоен чести быть в числе избранных; а, я очень помню наш разговор об ней... оковы Гименея для вас священные оковы...

Саломея невольно вспыхнула. В самом деле, она ненавидела Жоржа Занда и не безотчетно: гордость ее не выносила защиты женщин; ей казался унизительным процесс, затеянный этим незванным адвокатом прекрасного пола. По понятиям Саломеи, умной женщине, *с характером*, самой природой дан верх над мужчиной и право оковать его своей властью: не женщина рабыня, думала она, но тот, которому предназначено ухаживать за ней, просить, умолять, лобзать руки и ноги и считать себя счастливым за один взор, брошенный из сожаления.

Платон Васильевич долго бы еще показывал Саломее все принадлежности будуара и спальни, при-

думанные им в угоду ее вкусу, но она поклонилась и вошла в спальню.

Как ни бодрились все чувства старика, но он изнемог, и, едва переставляя ноги, поплелся вон. А не хотелось ему итти: тут же при *ней* отдохнул бы он от своей усталости, надышался бы ее дыханием, помолодел бы до-нельзя! Ни шагу бы теперь из дому своего, да нѐльзя! в доме есть уже хозяйка, от которой зависит дозволение быть в нем и не быть.

«Кажется, ничего не упущено», — рассуждал он сам с собой в заключение новых распоряжений и новых заботливых дум об угождении и предупреждении желаний Саломеи, которая никак не могла скрыться от него под личиною Эрнестины де Мильвуа.

«Странно! не хочет, чтоб ей даже напоминали ее имя! .. Во Франции... зàмужем... когда ж это? ..» — допрашивал сам себя и рассуждал сам с собою Платон Васильевич. Смутные думы роились в голове его, как пчелы, прожужжали всю голову; но ничего не мог он решить. — «Саломея... предложение Петру Григорьевичу, ожидание... и вдруг Саломея не Саломея, а Эрнестина де Мильвуа... Нет, это сон!»

— Борис! чтò эта дама, там? в доме? — спросил Платон Васильевич, не доверяя сам себе.

— В доме, ваше превосходительство.

— Стало быть... это действительно... и одна, ведь, одна?

— Действительно так, ваше превосходительство.

— Хорошо; постой! .. она, кажется, на креслах сидела? в уборной?

— В уборной, в уборной, ваше превосходительство.

— Хорошо; ступай! .. Нет, это не сон, — сказал

довольный и счастливый Платон Васильевич по выходе Бориса и начал снова обдумывать, чего еще недостает в доме для полного хозяйства, а главное, для полного довольствия Саломеи. Ему хотелось, чтоб всё, всё так ей понравилось, так приковало ее к себе удобством и изящностью, что невозможно бы было ей ни с чем расстаться, ничего не желать лучше. Ревизуя в голове расположение комнат, мебель, вещи и все принадлежности дома, до тонкости, *входя во всё*, как говорится, *сам*, он более и более чувствовал недостаток волшебства. Если б волшебный мир существовал еще, то Платон Васильевич пригласил бы не архитектора, а чародея перестроить в одну ночь и убрать весь дом совершенно по вкусу Саломеи Петровны, так чтоб не стукнуть, не разбудить ее, не тронуть с места ее ложа.

Припоминая ревниво даже кресла, на которых сидела Саломея, склоня голову на спинку, Платон Васильевич, вздохнув, привязался к неудобству этих кресел. «Что это за нелепые кресла! — подумал он, — подушка как пузырь, к стенке прислониться нельзя, не чувствуя ломоты в костях. . . Саломея Петровна, верно, проклинала их в душе!» И Платон Васильевич мысленно строил для Саломеи Петровны кресла из самого себя. Ему хотелось, чтоб в этих креслах ей так было хорошо, как на коленях *милого*, чтоб эти кресла ее обняли, а она обвила их руками.

Вздохнув еще раз, Платон Васильевич очнулся от сладкого усыпления, велел кликнуть повара, переспросил, что́ он готовит кушать, наказал, чтоб всё было изящно изготовлено и подано, и чтоб впредь он являлся для получения приказания к даме, которая живет в доме.

Борису также было повторено, что всем в доме распоряжается впредь Эрнестина Петровна, и что всё в доме в ее распоряжении, люди, кухня, экипажи, всё без исключения.

— Слышишь? — спрашивал Платон Васильевич, в подтверждение своих приказаний, двигаясь по комнате с озабоченной наружностью и покашливая. Пальцы его, как дети участвуя в общих хлопотах всех членов, вертели табакерку, захватывали щепоть и, не спросясь носа, набивали его без милосердия.

— Где прикажете накрывать стол? — спросил его Борис.

— Где? Разумеется в столовой.

— На сколько кувертов прикажете?

— На сколько кувертов? — повторил Платон Васильевич.

Этот вопрос смутил его и заставил задуматься.

— На сколько кувертов? .. Это зависит от ее желания: одна она будет кушать или за общим столом... Поди, доложи Эрнестине Петровне, как ей угодно.

— Ну! нажили барыню! — проворчал Борис, отправляясь в девичью.

Одна из субреток, Юлия, русская француженка, знала очень хорошо по-русски. Она съездила в отечество свое, занялась было делом в Париже; но там показалось ей тесно после раздолья русского, жизнь слишком разменена на дрянную мелкую монету. Ей не нравились ни *су*, ни *франки*, ни положенная на всё такса. Долго со слезами вспоминала она сладчайшее удовольствие назначать за toutes sortes des douceurs [1] цену какую угодно душе и находить в русских не только щедрых потребителей, но даже пожирате-

[1] Всякого рода услаждения.

лей всех живых и механических продуктов au regards fins и à la vapeur,[1] всего что̀ doublée, triplée и quadruplée.[2] Наконец, скопив маленький капиталец усиленным трудом, Юлия возвратилась в благодатную Русь, страну бессчетных рублей и безотчетной, доверчивой, жертвенной любви к Франции.

— Жули, — сказал Борис, — спросите, пожалуйста, как по-вашему, барыню, что̀ ли, — угодно ей кушать с генералом или не угодно?

— А кто эта такая дама? — спросила в свою очередь Юлия: — генеральша?

— Как же, генеральша! — отвечал Борис: — француженки небойсь бывают генеральши?

— Вот прекрасно! какой ты глупый, Борис, — сказала захохотав субретка, — важная вещь генеральша. Завтра влюбится в меня генерал, и я буду генеральша.

— Конечно! Так и есть! Держи шире карман! Нет, сударыня моя, быть генеральшей, так надо уж быть сперва по крайней мере госпожей; а вы-то что̀?

— Ты дурак, вот что̀!

— Ну, ну, ну! Извольте-ко итти к своей барыне да сказать, что генерал будет с ней кушать.

— Сперва ты скажи мне, кто такая эта дама, а потом я пойду.

— Вот этого-то и не будет; а вы всё-таки извольте итти.

— И не подумаю итти!

— Ну, не думайте, мне что̀: я исполняю господский приказ; взял, сел, да и сижу, покуда получу ответ.

— Фу, медведь какой, право! Ни за что̀ не пойду

[1] С нежными взорами и под парами.
[2] Удвоено, утроено, учетверено.

за̀муж за русского, даже за барина! Уж если слуга такой деревянный, что̀ ж должен быть барин? никакого снисхождения к дамам.

— Небойсь, не женюсь на вас, — отвечал Борис, вслед за Юлией, которая отворила уже дверь, чтоб итти для докладу.

— Не женишься? — вскричала она, воротясь: — ты не женишься на мне, если я только захочу?..

— Ну, ну, ну! Не блажи, сперва службу служи!

— У-у! медведь!

— Да, да, медведь! да не твой, не ручной.

— Дама приказала сказать, что она не может принять генерала, — сказала живая субретка, воротясь из будоара.

— Давно бы так; продержала даром с полчаса!

— Я хотела доставить тебе удовольствие своей беседой.

— Покорно благодарю!

— Постой, постой, Борис! Что̀ ж, хочешь на мне жениться?

— Покорно благодарю! слишком много чести: того и гляди, что к господам в родню попадешь.

— У-у! какой!

— Да, такой, — отвечал Борис, уходя.

И он доложил Платону Васильевичу, что госпожа дома не желает обедать с его превосходительством.

— Не желает? — повторил тихо Платон Васильевич: — так и сказала, не желает?

— Так точно; сказала, что не может.

У Платона Васильевича, как будто отлегло на сердце.

— Не может, это дело другое; так бы ты и говорил: это большая разница... дурак ты!

— Ведь я по-французски не знаю, ваше превосходительство, та̀к они изволили сказать или иначе.

Я посылал спросить Жули. От этого народу толку не добьешься.

— Поди переспроси! Ты, верно, переврал.

— Чтò ж тут переврать-то, ваше превосходительство. Я еще доложил вам поучтивее; она просто сказала, что эта госпожа дама не может принять генерала к себе. Я так и подумал, что если уж не может, так стало быть не хочет; и доложил вашему превосходительству как следует.

— Пошел вон!

— Как же изволите приказать: здесь или в столовой накрывать для вашего превосходительства?

— Так там еще не накрывали на стол?.. По сию пору не накрывали?.. Пошел! Чтоб сейчас же подавали кушать Саломее Петровне!.. Нет, не Саломее, Эрнестине Петровне... Слышишь?

— Слушаю-с.

— Да смотри за всем сам, и доложить мне, когда откушают.

Борис пошел исполнять приказание; а Платон Васильевич начал опять ходить по комнате, тревожимый беспокойным чувством боязни, что скверные людишки не будут уметь угодить Саломее.

— Ну, чтò? — спросил он с нетерпением, когда возвратился Борис.

— Изволили откушать. В столовой не захотели, а приказали подать к себе в комнату; там и кушали.

— Всё было в исправности?

— Всё, как следует.

— Ты сам был при столе?

— Я докладывал вашему превосходительству, что они изволили кушать в своей комнате, а ку-

шанье подавали девушки. Жули сказала, что они желают, чтоб и фортепьяны поставить в их комнату; а какие фортепьяны, я не знаю.

— Фортепьяны? Ах, боже мой! — вскричал Платон Васильевич: — у меня совсем из головы вышло! .. В целом доме нет рояля! Запречь карету! Да скорей! Сию минуту! Ай-ай-ай! какое упущение! Просто затмение ума! Забыть такую необходимую вещь в доме... И тем еще более, что Саломея Петровна играет и поет! ..

Насилу дождался Платон Васильевич кареты: откуда взялась молодеческая бодрость; лакеи не успели догнать его и подсадить в карету, он сам прыгнул в нее и крикнул, чтоб скорее ехать на Кузнецкий мост, в музыкальный магазин. Сидя нетерпеливо в карете, он, казалось, напрягал все силы, чтоб подмогать лошадям, и сдвинул под собою подушку.

Вбежав по лестнице в магазин, он едва мог произнести от одышки:

— Самый лучший, новейшей конструкции... рояль... Самый лучший, слышите? И сейчас же перевезти его ко мне...

— Этого невозможно.

— Как невозможно?

— Его надо разобрать, уложить, перевезти, уставить, настроить, сегодня уже поздно.

— Как хотите, но сейчас же, сейчас, непременно сейчас!

— Как вам угодно, этого нельзя сделать, его теперь некому разобрать.

— Так прощайте, я куплю в другом магазине.

— Как вам угодно: такой конструкции роялей ни у кого нет, кроме меня.

— Это ужасно! — проговорил Платон Василье-

вич: — так завтра чем свет, чтоб рояль был уже у меня!

С отчаянием в душе отправился он домой, но уже ослабел от напряжения сил. Без помощи людей не мог уже ни сесть в карету, ни выйти из нее.

Борис спросил было: не угодно ли его превосходительству кушать; но ему было не до пищи: его как будто убило раскаяние, что в числе необходимых вещей для Саломеи Петровны забыл рояль. Страшное невнимание! Что̀ подумает она?

С этими горестными размышлениями Платон Васильевич прилег, думал отдохнуть до десяти часов — до чаю; но забылся, заснул беспокойным сном: казалось, что за вину свою перед Саломеей Петровной он сам обратился в рояль новейшей конструкции, а она бесчеловечно играла на нем какую-то демонскую фантазию. Все члены его как молотки подскакивали и ударяли в нервы. Душа его всеми силами старалась звучать; но Саломея Петровна с неудовольствием повторяла: «Это барабан, а не рояль! Ужас, как расстроен!»

Так прошла вся ночь. На другой день Платон Васильевич очнулся как больной в бреду горячки.

— Привезли из магазина фортепьяны, — доложил ему Борис.

— А! Другие? .. Хорошо! — проговорил он: — те не нравятся! .. Поставить их... да доложить, довольна ли будет Саломея Петровна... Постой! Я ошибся... Ступай... Эрнестина Петровна де Мильвуа... Мильвуа... Стихотворец... Стол... Пошел... что̀ за труд подбирать рифмы? велика слава! .. Пошел... камзол... стихотворец... Рояль... жаль... Месяц... месяц... Нет! Как же это месяц... луна... она — а! .. Нет! .. месяц. .

Платон Васильевич повторял то про себя, то

вслух, слово месяц, подбирая к нему рифму, покуда, снова истомясь, забылся.

В продолжение двух суток он решительно не мог навестить своей гостьи. А между тем Эрнестину де Мильвуа навестил ее благодетель Далин: он приехал к ней с своим знакомцем Чаровым... Это был молодой светский человек, наследовавший огромное состояние, демон гостиных, эпикуреец, возведенный в высшую степень современности, живший посреди разливанного моря, в вихре страстей, не связанный, необузданный ни душой, ни телом. Он видел мадам де Мильвуа в доме Далина, как жертву горестной судьбы, восхитился ею, ахал, слушая рассказ ее несчастий, проклинал несправедливость судьбы ее вслух и благодарил эту же судьбу мысленно, что она так умно распорядилась насчет ее и привела в Москву, где он может заняться таким прекрасным существом, оценить и выкупить его из зависимости глупой судьбы. Узнав, что Далин хлопочет о приискании ей места, он подсел к ней с сердечным участием, насказал тьму успокоительных вещей, утоляющих горе бальзамов, возбуждающих дух эликсиров, и между прочим изъявил сожаление, что она хочет отдать себя в зависимость капризов какой-нибудь пошлой светской бабы.

— Это ужасно! — воскликнул он: — с вашей красотой, с вашими достоинствами, жить в зависимости, в неволе!

— Что̀ ж делать! — отвечала Саломея.

— Послушайте, — сказал он: — вы без сомнения женщина с характером, и, как француженка, не имеете предрассудков... я богат; я предлагаю вам свои услуги, свой дом, содержание и всё что̀ угодно...

Самолюбие и гордость Саломеи вспыхнули; она бросила презрительный взгляд и отвечала:

— Ваше предложение так велико, что за одно это предложение я уж не знаю чем вас благодарить, и должна пожертвовать своей честью! . .

«О-го! — подумал молодой человек: — она действительно из Сен-Жерменского предместья! . .» — Очень жаль, что мое предложение не велико, как вы говорите, а так ничтожно, что вы презираете!

И Чаров оставил Саломею, как говорится, в покое. Но узнав от Далина об определении ее в дом к Туруцкому, ему захотелось взглянуть на нее, и он упросил взять его с собою.

Платон Васильевич был в забытьи. Борис не принимал никого, и потому Далин спросил у подъезда:

— А где та француженка, которую от меня привезли третьего дня?

— Она, сударь, живет в большом доме, — отвечал лакей.

— А сестра Платона Васильевича приехала?

— Сестрица? Никак нет-с, она уже лет пять не выезжает из своего поместья. Куда ж ей приехать: стара и больна.

— Какая же госпожа будет жить в доме? — спросил Далин, вспомнив слова Платона Васильевича о молодой хозяйке дома.

— Да вот эта госпожа дома и будет жить.

— Какая эта?

— Да вот что̀ третьего дня, сударь, изволила приехать. Его превосходительство отдал весь дом в ее распоряжение. Она уж всё и приказывает в доме.

— О-го! неужели?

— Да как же, сударь; как следует на полном пансионе, всё равно что̀ госпожа.

Далин и Чаров захохотали на замечание слуги.

— Поди же, доложи ей, что приехал Далин.

— Пожалуйте к большому подъезду, там официант доложит.

— Ты, mon cher,[1] доставил ей выгодное место, — сказал Чаров, продолжая хохотать.

Официант доложил о приезде Далина; Саломея приказала просить; приняла в гостиной — и вспыхнула, увидев вошедшего с ним Чарова.

— Извините, — сказал он, — что я решился вас посетить; ваша судьба так интересует меня...

— Довольны ли вы вашим местом? — спросил Далин.

— Я, право, не знаю еще, что̀ вам отвечать: господин Туруцкий болен, сестра его еще не приехала...

— Но во всяком случае вы очень мило помещены, — сказал Чаров, осматривая комнаты: — прекрасный дом, хоть в убранстве комнат виден старческий вкус хозяина... Досадно, что он перебил у меня право доставить вам вполне современные удобства жизни...

— Какое право? — спросила Саломея с самодостоинством: — я на себя никому не даю прав.

— Но права благотворить и приносить в жертву даже самого себя, надеюсь, у меня никто не отнимет! — отвечал Чаров, привыкший ловко отражать самые строгие и резкие удары, наносимые самолюбию дерзкого волокиты. В неподкупность строгих физиономий он меньше всего верил: эти

[1] Мой милый.

sancti sanctissimi,[1] говорил он, любят, в дополнение к хвалам и лести, воскурение перед ними фимиама.

Не щадя ливана и мирра перед Саломеей, он умел затронуть и ее самолюбие настолько, что получил дозволение посещать ее.

— Я надеюсь, — сказал он как будто шутя: — что вы здесь не в отшельничестве и не под присмотром.

Когда Чаров вышел, Саломея задумалась.

«В самом деле, какую глупую роль буду я играть у этого отвратительного старика!.. За угол и за кусок хлеба терпеть смертельную скуку, прослыть его любовницей... Никогда!.. Слыть и быть для меня всё равно, а если быть, так лучше...»

Саломея не договорила, гордость ее не могла вынести сознания и самой себе. Ей однакоже нравились это великолепие и пышность, посереди которых Платон Васильевич так неожиданно поместил ее как божество; ей по-сердцу были угодливость и предупредительность, которыми он ее окружал; ей не учиться было повелевать, но она не испытывала еще такого уважения к себе даже в собственном доме, и чувствовала, что полной самовластной госпожей можно быть не у себя в доме, а в доме влюбленного старика: самому себе часто отказываешь по расчетам, по скупости, а влюбленный старик отгадывает, предупреждает желания, не щадит ничего, чтоб боготворимая забыла страшный недостаток его — старость.

Когда Платон Васильевич, собравшись с силами, явился перед Саломеей, она очень благосклонно изъявила ему благодарность за внимание.

[1] Святые из святых.

— Я однакож желала бы знать, — прибавила она: — что̀ такое я в вашем доме?

Этот вопрос совершенно смутил и испугал Платона Васильевича.

— Боже мой, — отвечал он: — вы всё! .. Не откажитесь только располагать всем, как своею собственностью...

— Я на это не имею никакого права, — произнесла Саломея с беспощадною холодностью, но довольная в душе готовностью старика повергнуть к ее ногам не только всё свое достояние, но и себя.

— О, если б я смел предложить это право! .. — проговорил он дрожа всем телом...

Какое-то чувство боязни заставило Саломею отклонить объяснение, в чем состоит это право.

Как рак на мели, Платон Васильевич приподнимал то ту, то другую руку, расставлял пальцы, раскрывал рот, желая что̀-то произнести, но Саломея давно уже говорила о погоде.

Получив дозволение обедать вместе с ней, Платон Васильевич как будто ожил силами, помолодел! Саломея была так ласкова к нему.

В продолжение нескольких дней она не повторяла нерешенного вопроса. Казалось, довольная своим положением, она боялась изменить его. Но это была нерешительность, какое-то тайное затруднение, которое Саломея старалась опровергнуть необходимостью упрочить свою будущность и получить снова какое-нибудь значение в свете.

«Мне уже не быть Саломеей, не итти к отцу и матери с раскаянием», — думала она, когда Платон Васильевич, долго не зная, как в дополнение всех ее потребностей предложить деньги, наконец, решился начать с изъявления надежды, что она будет смотреть на него, как на родного, и, верно, не

откажет принять на себя вполне все распоряжения в доме и деньги на все необходимые расходы и на собственные ее потребности.

— Я вам еще раз повторяю, — сказала она, взглянув с улыбкой на старика: — что мне странно кажется мое положение в вашем доме, а еще страннее покажется может быть другим.

— Вы полная хозяйка... — произнес ободренный ласковым голосом Саломеи Платон Васильевич, целуя руку: — осчастливьте меня... принять это название.

— Мне должно подумать об этом, — сказала Саломея, закрыв лицо рукою и прислонясь на ручку кресел.

Платон Васильевич стоял перед ней, сложив на груди руки и с трепетом ожидая решения.

— Я согласна, — проговорила она, наконец, так тихо, что во всякое другое время Платон Васильевич спросил бы: «Что̀ вы изволили сказать?» Но в эту минуту все чувства его были напряжены до степени цветущего своего состояния, в возрасте сил и здоровья, когда глаз видит *душку* на другом краю моря, ухо слышит всё, что̀ она мыслит, осязание воспламеняет всю кровь от прикосновения воздуха, который несет струю ее дыхания, вкус не знает ничего в мире слаще поцелуя любви.

Платон Васильевич припал перед нею на колено, взял ее руку и в нем достало еще сил поцеловать эту руку и не умереть.

На другой день из всех магазинов Кузнецкого моста везли разной величины картонки в дом Платона Васильевича. Какие-то, к чему-то огромные приготовления подняли всех в доме на ноги. Платона Васильевича узнать нельзя. Он сам то из дому в магазины, то из магазинов домой, с па-

кетом под мышкой, прямо в уборную Эрнестины Петровны; поцелует у ней ручку и подаст свою покупку.

— Merci, — отвечает она ему каждый раз; потом позвонит в колокольчик, войдет Жули или Барб: — послать за Лебур, послать к Матиасу, послать за Фульдом! ..

И вот в один вечер сидит Саломея перед трюмо̀. Парикмахер убирает ей голову, накладывает чудный венок из fleurs-d'orange,[1] в каждом цветке огромный брильянт, накалывает роскошный серебристый блондовый воаль...

Любуясь на себя в зеркало, Саломея сама вдевает в ухо серьгу, такую блестящую, что кажется искры обожгут, а лучи исколют ей руки.

[1] Венок из померанцевых цветов,



ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

I

Кому любопытно знать дальнейшие приключения бедного Прохора Васильевича, Авдотьи Селифонтовны и Лукерьи Яковлевны, тому предстоит читать следующее.

Вы помните роскошную спальню молодых, и что̀ в ней случилось? На другой день, чем свет, снова послышался визг Авдотьи Селифонтовны. Нянюшка всполошилась бежать к ней на помощь, но девушки остановили ее.

— Ну, куда вы бежите, Афимья Ивановна?

— Нянюшка, нянюшка! — раздалось из спальни, и вслед за этим криком послышался стук в двери девичьей.

— Сударыня, что̀ с тобой? — спросила испуганная няня, отворив дверь.

Авдотья Селифонтовна, как полоумная, бросилась к няне.

— Господи, да что̀ с тобой?

— Нянюшка, — прогозорила Авдотья Селифонтовна, дрожа всем телом: — нянюшка! кто-то чужой лежит там, охает, да стонет, говорит что̀-то страшное... Ах, я так и обмерла...

— Голубушка моя, Дунюшка, помилуй, бог с тобой! Откуда чужой взялся? Не узнала своего Прохора Васильевича!

— Ах, что̀ ты это, какой там Прохор Васильевич! Это бог знает кто! ..

— Пойдем, пойдем! ..

— Нет, я ни за что̀ не пойду!

— Кому же быть, как не Прохору Васильевичу?

— Да, да, посмотри-ко, ты увидишь.

— Ах, молодец, как он нализался... сам на себя не похож! .. кто бы подумал! — проговорила про себя старуха, войдя в спальню и посмотрев на лежащего Прохора Васильевича.

Он горел, как в огне; глаза на выкате, что̀-то шепчет, да ловит кого-то руками.

— Вот тебе и графчик, — проговорила опять старуха про себя.

— Что̀, нянюшка?

— Да что̀, нездоров верно, или, может, кто испортил его...

— Кого, нянюшка?

— Твоего Прохора Васильевича, — отвечала няня, вздохнув глубоко.

— Где? Какой Прохор Васильевич? Это-то Прохор Васильевич? .. Как бы не так! Это чорт, а не Прохор Васильевич!

— Полно грешить, Дунюшка! .. Ох, надо сказать поскорей Василью Игнатьевичу.

— Куда? Нет, я тебя не пущу!

— Ах, мать моя, да что̀ же мне делать? Надо позвать Василья Игнатьевича... Эй, девки!

— Нянюшка, поедем домой! Меня обманули! .. Где ж это Прохор-то Васильевич?

— Какой тебе еще Прохор Васильевич нужен? Вон он, смотри на него! .. Эй, девушки. Где тут слуга-то его. О, господи, божье наказание!

Старуха металась во все стороны, но ее дитятко, Авдотья Селифонтовна, повисла ей на шею и ни

шагу от себя. Плачет на̀взрыд и молит, чтоб ехать домой.

— Помилуй, сударыня, вышла за̀муж, да бежать от мужа! Кто это видал.

— Неправда, меня обманули! — вопила Авдотья Селифонтовна: — это какой-то оборотень.

— Ах, да вот, Матвевна! Матвевна, подь-ко сюда!

— Что̀ это такое, сударыня, Авдотья Селифонтовна, что̀ с вами? — сказала сваха, испугавшись: — в чем дело? О чем это вы?

— Меня обманули! — проговорила Авдотья Селифонтовна.

— Смотри-ко, какой грех, что̀ делается с Прохором-то Васильевичем, — сказала старуха-няня: — сам на себя не похож, так что барыня моя отказалась от него, твердит себе, что это не он.

— Да, таки не он: это чорт, а не он. Какой это Прохор Васильевич... Ах, господи, господи! Что̀ со мной будет! Где ж он-то? ..

— Что̀ это с ним сделалось? — повторила Матвевна, стоя над Прохором Васильевичем, скрестив руки: — Ох, кто-то испортил его: совсем-таки не похож на себя...

— Неправда! меня не обманете! Это не он! — повторила Авдотья Селифонтовна.

— Вот уж, кому ж другому быть, сударыня, — сказала Матвевна, покачивая головою.

— Ах, что̀-то ты страшное говоришь, Триша! — произнес вдруг Прохор Васильевич и повел кругом неподвижный взор: — Лукерьюшка... Тятенька не убьет меня? ..

— Бог его знает, что̀ с ним сделалось, и не призна̀ешь... Кажется вчера был здоров, — сказала Матвевна, продолжая качать головою.

— Ну, уж, угостила графчиком, Матвевна! Уж я вчера догадалась, что он мертвую чашу пьет! Как тянул, как разносили шампанское-то... так и опрокинет в рот фазу... вот-те и графчик!

— Ах, мать моя, да я-то чем виновата: наше дело товар лицом показать; а кто ж его знает, какие художества за ним водятся, — отвечала Матвевна.

А между тем не прошло нескольких минут, около Прохора Васильевича набралась тьма народу. Сбежалась вся дворня посмотреть на испорченного. Конон стоял тут же, дивился, как будто ничего знать не знает, ведать не ведает. Начались толки, шопотом, аханья; кто советовал вспрыснуть водицей с уголька, кто послать за Еремевной: она, дескать, отговаривает порчу, а дохтура-то, дескать, в этом деле ничего не смыслят; оно, дескать, не то что какая-нибудь простая болесть господская, мигрень, али что̀; нет, тут без за̀говору не обойдешься.

Авдотья Селифонтовна во всё время рёвом ревела и упрашивала нянюшку ехать домой; но нянюшка, как смышленый человек, говорила, что это не приходится.

Между тем ключница Анисья побежала к Василью Игнатьичу.

— Батюшка, Василий Игнатьич, — крикнула она, всплеснув руками: — с Прохором-то Васильевичем что̀-то приключилось.

— Что̀ такое? — спросил он, уставив на нее глаза.

Василий Игнатьич только что протер глаза и сидел в своем *упокое*, в халате.

— А бог его ведает, — отвечала Анисья.

— Что̀ ж такое? — повторил он.

— Подите-ко, посмотрите!

— Да ты говори! Что̀ мне смотреть-то? Не видал, что̀ ли, я его? — крикнул он: — ну, что̀ тут могло приключиться?

— Ох, сударь... его испортили!

— Испортили?

— Как в огне лежит, и узнать нельзя. Страшно смотреть!

— Ой-ли? Что̀ ж это такое? — проговорил Василий Игнатьич, не двигаясь с места и сноза уставив глаза на Анисью.

— Да что̀ вы уставили глаза-то, прости господи! Подите к нему.

— Да пойду, пойду.

И Василий Игнатьич с некоторой досадой, что его потревожили, погладил бороду, крякнул, встал и пошел.

— Это что̀ за народ собрался? — крикнул было он, входя в спальню, где в самом деле набралось и своих и чужих смотреть на диковинку, как испортили молодого; но все перед ним расступились. Василий Игнатьич вздрогнул, взглянув на сына, и онемел: на его доброе здоровье и на воображение слова мало действовали, он понимал только то, что̀ было очевидно.

Прохор Васильевич лежал, как пласт, с открытыми неподвижными глазами. Внутренний жар раскалил его.

— Что̀, брат, Прохор, — начал было Василий Игнатьич, но остановился в недоумении: ему показалось, как говорится очень ясно по-русски, «что̀-то не тово». Но что̀ такое это было, он сам не понимал.

— Что̀ ж это такое? — проговорил он, продолжая всматриваться в Прохора Васильевича.

— Ох, испортили, испортили! — проговорила сваха Матвевна, положив голову на ладонку и подперез локотком: — да и Авдотья-то Селифонтовна что̀-то не в себе: словно полоумная вопит, что это вот не Прохор Васильевич, а чужой, говорит. Господи ты, боже мой, говорю я ей: грех так не признавать супруга своего; ты, сударыня моя, привыкла видеть его всё в немецкой одёже, а в своей-то коже не узнаѐшь.

— Да и я говорила, — прибавила стоявшая подле Матвевны баба: — и я говорила: ступай, дескать, сударыня, поплачь лучше над ним; а то, вишь, к здоровому липла, а от больного прочь!.. Да еще кричит: домой да домой!

Долго Василий Игнатьич стоял над сыном в недоумении; наконец, наклонился над ним и сказал:

— Что̀ с тобой, брат, Проша? а?.. А где ж молодая-то? — спросил он, вдруг спохватившись.

— Да ушла, ушла в другие упокои, и быть здесь не хочет: боится, что̀ ли, или одурела; говорит, вишь, что это не Прохор Васильевич, а чужой.

— Вот!.. что̀ она с ума спятила? Уж я сына не признàю!.. Чорт, что̀ ли какой меняет лицо... вот и родинка на груди... Ох, господи, да что̀ ж это с ним такое?..

— Известно что̀!.. порча! — отвечала Анисья: — послать бы еще за Еремевной, что̀ ж это она нейдет?.. Расспросили бы вы, Василий Игнатьич, молодую-то, как это всё вдруг приключилось кому ж знать, как не ей.

— Где она! подавай ее!

— Где! ушла, да вопит, ни зà што сюда нейдет.

— Вот! — проговорил Василий Игнатьич: — где ж она?

— Да в девичьей: домой да домой!

Василий Игнатьич пошел в девичью. Там Авдотья Селифонтовна сидела на коленях у своей нянюшки, обхватив шею ее руками и приклонив на грудь голову.

— Что̀ ж это такое, Авдотья Селифонтовна? — сказал Василий Игнатьич.

Авдотья Селифонтовна, вместо ответа, всхлипывала.

— Василий Игнатьич пришел, сударыня, — сказала няня.

— Что ж это такое, Авдотья Селифонтовна, каким же это манером? .. — повторил Василий Игнатьич.

— Да отвечай же, сударыня... Ох, да уж и не спрашивайте ее: она до-смерти перепугалась; сама не знает, что приключилось Прохору Васильевичу.

— Как бы не так! — проговорила, всхлипывая, Авдотья Селифонтовна.

— Так изволь же сказать, что̀ такое случилось с моим Прохором?

— Обманули меня, вот и всё! — крикнула Авдотья Селифонтовна, приподняв голову с сердцем: — тот Прохор Васильевич совсем не такой был! . Чорта на подставу взяли, да меня не обманете!

— Что̀ ты это говоришь, сударыня! Ох-о-хо, кто-то испортил свадьбу!

Василий Игнатьич почесал в голове и вздохнул.

— Наказание божеское! — проговорил он: — ох-о-хо! за кем бы послать? .. Послать разве за Селифонтом Михеичем и Марьей Ивановной? ..

— Да за дохтуром-то бы послали, — сказала няня; — прописал бы лекарствица Дунюшке; сердце так и колотит, и голова словно горячий уголь.

— За дохтуром? — спросил Василий Игнатьич: — за дохтуром! .. Боюсь, совсем уморит, собака! ..

Василий Игнатьич был совершенно растерян. Голова ли у него болела от заздравного вина на свадьбе сына, или перепугала его болезнь Прохора Васильевича, только он был весь не свой, и как на зло, покуда послал за доктором и успел дойти до спальни, где лежал больной, случилась новая беда, точно как deus ex machina,[1] столь обыкновенный *в море житейском,* — per Deos!

Мы уже сказали, что и домашняя челядь и все соседки, сбежавшиеся смотреть на свадебную порчу, решили общим советом послать скорее за Еремевной. Ее ждали с нетерпением.

— Подико-сь кто-нибудь, посмотри, не идет ли Еремевна, — повторяли по очереди, то Анисья, то Матвевна.

У ворот скопилась целая толпа посланных встречать ее.

— Вот, вот, не она ли идет, торопится? — крикнули девушки, увидав подходящую женщину в шелковом, но уже стареньком холоднике, с накрытою платком головой.

— А что̀, голубушки, — спросила она: — это, что̀ ли, дом Василья Игнатьича Захолустьева?

— Это, это! — крикнули в голос девушки: — пожалуйте сюда!

— А сынок-то его, Прохор Васильевич, здесь?

— Здесь, здесь! Давно уже вас ждет.

— Ой-ли? Ах, голубчик!

— Бог весть что̀ сделалось с ним, говорят порча.

[1] Нечаянный и благоприятный случай.

— Ах, что̀ вы это говорите! .. Что̀ с ним? Где он, где, голубчик мой! — вскричала женщина, побледнев, как смерть.

— Сюда, сюда пожалуйте.

— Где он, где? — повторила женщина, вбегая в спальню.

Толпа раздалась перед нею.

— Прохор Васильевич! голубчик мой! — вскричала она и бросилась на больного почти без памяти.

Все стояли молча, как будто в ожидании чуда. Несколько мгновений продолжалась тишина.

— Что̀ ж это такое она делает? — спросила, наконец, Анисья соседку Ивановну.

— А вот постой, — отвечала та.

— Еремевны-то нет дома, — сказал запыхавшись приказчик, Евсей Савельич, вбежав в спальню.

— Тс! Она уже здесь.

— Прохор Васильевич! душенька! — вскрикнула женщина, приподняв голову и взглянув на больного. — Душенька! ты ли это? Что̀ с тобой? что̀ с тобой? — И она снова обвила Прохора Васильевича и начала страстно целовать его, заливаясь слезами.

— Дарьюшка, что это она, с ума что̀ ли сошла?

— А вот постой, постой, молчи! .. вишь, приласкать хочет сперва.

— Ах, мать моя, да это не Еремевна! Еремевну-то я знаю; это какая-то другая.

— Да ты знай молчи уж, послушай, что̀ она причитывает.

Между тем Василий Игнатьич послал за доктором, который жил через дом.

Доктор немедленно явился.

— Пожалуйте, — повторял Василий Игнатьич, провожая его в комнату сына: — пожалуйте!

— Что̀ такое сделалось с ним? — спросил медик, расталкивая толпу.

— Да вот, — проговорил Василий Игнатьич.

— Душенька! — вскрикнула снова женщина.

Прохор Васильевич пошевелил головою, открыл глаза и вздохнул.

— Позвольте! — сказал медик, подходя к постели: — позвольте! — повторил он, взяв женщину за руку.

— Эх, батюшка, Василий Игнатьич, к чему вы призвали лекаря-то, — сказала вполголоса Анисья: — ведь вот уже лекарка почти отговорила его, смотрите-ко, уж очнулся.

— Голубчик ты мой, душа моя, взгляни-ко ты на меня! Ведь я с тобой! Узнаешь ли ты свою Лукерьюшку? .. Прохор Васильевич!

— Позвольте! — повторил медик: — отведите, пожалуйста, эту женщину: она только тревожит больного.

— Да кто ж ее отведет? — сказала одна из соседок: — она, чай, свое дело знает; делает, что̀ нужно... Не мешать бы ей, так лучше бы было... на порчу-то нет лекарства! ..

— Позволь, милая! .. — сказал медик с сердцем. — Поди, пожалуйста, прочь! ..

— Я прочь от него? Нет! .. — сказала Лукерья Яковлевна, оглянувшись на медика, взором полным слез.

— Что̀ это, жена больного? — спросил медик.

— Разумеется, что же́на, — отвечала она жалобно, — кому ж быть-то мне, как не жене его? Кто будет умирать-то над ним, как не я? Прохор Васильевич, голубчик, душенька!

— Ужели это Авдотья Селифонтовна, — спросил Василий Игнатьич, совсем растерявшись: — Матвевна!

— Ох, бог с вами, что̀ вы это, Василий Игнатьич!

— Это какая-то безумная, что̀ ли; смотри, пожалуй. Величает себя женой Прохора Васильевича! Да кто ее привел сюда?

— А бог ее знает, кто-нибудь да привел.

— Позволь, моя милая, — начал опять медик: — ему надо поскорей помочь; а не то ведь он умрет.

— Умрет? .. Ах, господь с вами! .. — вскрикнула Лукерья Яковлевна, — да вы кто такой? Лекарь, что̀ ли?

— Лекарь, милая.

— Ах, помогите! помогите, пожалуйста, уж это не в первый раз с ним; о великом-то посте тоже с месяц без памяти пролежал...

— Да ты кто такая, голубушка? — спросил вдруг Василий Игнатьич, как будто очнувшись и дернув за рукав Лукерью Яковлевну.

— Да жена же его, — отвечала она смиренно, отирая рукавом глаза: — с год пролежал больной, поправился немного, да и вздумал итти сюда: пойду, говорит, к тятеньке; да и пошел... а я осталась; жду день, другой — нет! Я и перепугалась...

— Ах, ты, господи! да это что̀ такое! Поди-ко, поди, пошла вон! .. — крикнул Василий Игнатьич: — вишь, со всех кабаков сюда сбежались! .. Вон! Гони, Евсей, всех их!

— Да что̀ ты, господин, с чего ты взял, что я пойду от мужа? ..

— Ну, ну, ну! вон! Евсей, вытолкай ее!

— Меня вытолкать? Да с чего ты взял, разбойник! Чтоб я оставила мужа на чужие руки!

— Смотри, пожалуй! Ах ты, поскудная! Да откуда она взялась? Ведь это чорт принес какую-то безумную! Смотри, пожалуй, что̀ она говорит! Да вытолкайте ее! .. Ну, ну! вон! — повторял Василий Игнатьич.

— Прохор Васильевич! голубчик! Смотри-ко, выгоняют меня! .. Нет, уж этого не будет! — И Лукерья Яковлевна, отбившись от Езсея, который потащил ее за руку, бросилась снова на кровать и обхватила больного.

— Да что̀ ж это за женщина? — спросил медик.

— Безумная какая-то, чорт ее принес! .. — сказал Василий Игнатьич: — тащи ее, тащи ее, Евсей, вон!

— Да кто с ней сладит! .. Чорт! Потревожишь только больного Прохора Васильевича, — отвечал Евсей.

— Да ты сбегай скорей за будочником: скажи, что какая-то пьяная, али безумная затесалась, да подняла тревогу... — навела на ум Матвевна.

Лукерья Яковлевна, ни на что̀ не обращая внимания, села на кровать и смотрела в глаза Прохору Васильевичу, обливаясь слезами. Только что он пошевельнется, охнет, откроет глаза и пыхнет внутренним одолевающим его жаром.

— Родные мои, подайте водицы, испить ему! .. — начнет молить она ко всем стоящим подле кровати: — ах, я бы сама побежала, принесла, да боюсь... отнимут тебя у меня! .. Дайте ему водицы во имя Христа господа!

Но ее мольбы прерваны были приходом хожалого с будочниками.

— Где она? крикнул хожалый, и тотчас же, не продолжая далее речи, вцепился с командой своей в Лукерью Яковлевну, оторвал руки ее от Прохора Васильевича, — она было кричать — зажал ей рот... И потащили бедную из комнат, потом поволокли к воротам...

— Эй! извозчик! подавай сюда!

И вот взвалили беспамятную Лукерью Яковлевну на калибер, повезли в часть.

— Господи, господи, что̀ это такое творится в доме! — повторяли, скрестив руки, Матвевна и Анисья, рассуждая между собой и со всей остальной челядью.

Все ахали.

Медик исполнил свое дело; решил, что у Прохора Васильевича воспаление, прописал рецепт, пожал плечами, выслушав рассказ, как всё случилось; попробовал пульс Авдотьи Селифонтовны, сказал, что «ничего, просто испуг: пройдет!..», прописал успокоительное и уехал.

Василий Игнатьич долго ходил по комнатам, как потерянный, пришел было в себя, когда явился приказчик с деньгами с почты, занялся было счетами; но доложили, что пожаловали Селифонт Михеич и Марья Ивановна.

Начались рассказы, ужасы, аханья, слезы Авдотьи Селифонтовны, вопли, что ее обманули, что она не хочет здесь оставаться, что она умрет, если ее не возьмут домой.

Селифонт Михеич стоял, слушал, гладил бороду, потирал лоб и молчал, а перепуганная Марья Ивановна повторяла на вопли Дунечки: «Что̀ ты, что̀ ты это, Дунечка! Бог с тобой! Пригодно ли такие вещи говорить!»

Когда все пошли в комнату к больному, Авдотья

Селифонтовна сказала, что ни за что̀ не пойдет; но отец грозно проговорил: «Это что̀?»

— Ступай, сударыня, не гневи родителей, — сказала ей няня.

— Господи! как вдруг переменился! — проговорила Марья Ивановна, взглянуз на Прохора Васильевича, который лежал в забытьи.

— Что̀ ж, матушка, известное дело: болезнь хоть кого переменит, — сказал Селифонт Михеич.

— Вестимо, что здоровый не то, что̀ больной; я сам как будто поусомнился; диво ли, что Авдотья Селифонтовна не узнала моего Прошу.

— Вот, уж не признала; ведь она так только говорит, Василий Игнатьич; вы не извольте обижаться, — сказал Селифонт Михеич, — кто ж отрекается от живого человека.

— Да! отрекается!.. Чорт это, а не Прохор Васильевич! — проговорила зполголоса Авдотья Селифонтовна, спрятав свою голову почти подмышку матери.

— Тс!.. Полно!.. — шепнула ей Марья Ивановна: — Ох бедный, бедный!.. — прибавила она вслух: — в самом деле словно другой человек!

— А я так рассуждаю, — сказал Василий Игнатьич, — что здоровый-то человек не то, что̀ больной: вот, я теперь ведь и вижу, что это Прохор, вылитый Прохор; а как возвратился он из чужих краев, да понабрался французского духу, так признательно вам сказать: ей-ей, не узнал, поусомнился: Прохор, думаю, или нет? Вот что̀ значит, сударь мой, манера-то французская! Совсем ведь другой человек! Истинно скажу! И походка-то не своя, и говорит-то как будто на чужой лад, и ходит-то не так, как люди; да словом, изволили бывать в театре?

— Никак нет, Василий Игнатьич, — отвечал Селифонт Михеич: — ох, уж до театра ли!

— А вы, Марья Ивановна?

— Не привел бог!

— Жена! сказала бы ты: избавил бог: бог что ли водит смотреть на эту дьявольщину?

— Эх, Селифонт Михеевич! Да ведь это только так представляется. Ну, да что об этом! Так вот, я говорю: и Проша-то словно актер: кажется, русский человек; а как нарядится, да прикинется немцем, али французом, и чорт не узнает! Примерно сказать Живокини: как нарядится китайцем — китаец да и только! Ей-ей!.. То же и с моим Прошей было; так подделался, собака, под французскую стать — графчик, да и всё тут. Я так рассуждаю: что человека-то меняет французская манера, а вот как болезнь-то прихватит, знаете, так оно и мое почтение-с! Куда денется и французская дурь. Так ли, Селифонт Михеич? как вы думаете?

Селифонт Михеич стоял и думал: «Что тут думать-то: божеское наказанье, и тебе, да и мне тут же!»

— А? вот оно что: я и сам смотрю на Прохора, да дивлюсь.

— Ох, Василий Игнатьич, — сказал Селифонт Михеич: — бог посылает и беду и недуг на исправление человеку. Дай-то бог, чтоб и Прохору Васильевичу послужило это в науку. Оно, знаете, и хорошо, павлиные-то перья, да... Что тут говорить! Не наряжали бы в них вы сынка, а я дочку, так дело-то было бы лучше... Да вот еще что, сударь: сынок-то ваш, проговорилась мне жена, купил французское поместье да хочет туда переселиться... Нет... уж, извините, я дочери не дозволю ехать туда, не дозволю.

— Что̀ так, то так, Селифонт Михеич: Проша прицешился к поместью, а я и деньги дал в задаток; поместье наше; — сказал Василий Игнатьич, поглаживая бороду: — французское поместье, сударь, не то что̀ рассейское: у нас степь, поле: хорошо, как есть что посеять, да бог уродит; а там, сударь, всякий продукт сам собою родится; что̀ год, то благодать и изобилие плодов земных; примерно, хоть виноград; а как явится комета с хвостом, так такой урожай, что на удивление; да еще первого сорту, самое лучшее вино. Самим вам известно кометное шампанское — по сю пору тянется; а комета-то когда была? В одиннадцатом году! А по нашему календарю опять будет комета, да еще две: так оно и тово, сударь, выгодно купить французское поместьице; да еще, с вашего позволения, с графским достоинством!.. Нет уж, батюшка, Селифонт Михеич: упустить такой благодати нельзя, да и не следует... А что вам дочку не угодно отпустить туда с сыном моим, так это мне крайне ощутительно, Селифонт Михеич.

Слова Василья Игнатьича были прерваны внезапным воплем Авдотьи Селифонтовны.

— Дунечка, Дунечка, душа моя, что̀ с тобой? — спросила ее Марья Ивановна, крепко прижав к сердцу.

— Что̀ ты, матушка моя, голубушка моя, — заговорила к ней и няня, гладя ее по голове и целуя в голову: — ну, о чем ты плачешь? Будет здоров твой Прохор Васильевич... Смотри-ко, смотри, он взглянул на тебя!..

— Убирайся ты с ним! — крикнула Авдотья Селифонтовна, оттолкнув няню, и еще горячее зарыдала, закинув голову назад.

— Христос с тобою! — проговорила испуганная

Марья Ивановна, обхватив дочь обеими руками: — Дунечка, милочка, что с тобою? ..

— Дуняша! не годится так реветь! что, тебя режут, что ли? — сказал Селифонт Михеич.

— Режут! — крикнула Авдотья Селифонтовна.

— Глупая, глупая! приходится ли так огорчаться! — сказала мать.

— Да, убивать себя, — проговорила Авдотья Селифонтовна, всхлипывая: — если бы я знала, лучше бы умерла! ..

— Ох-о-хо, не гневи бога, Дунечка! — сказала, вздыхая, Марья Ивановна: — не отпевай до времени! Прохор Васильевич выздоровеет, даст бог.

— А что мне в том, что выздоровеет! — заговорила Дунечка, — тятенька не хочет отпускать меня в Париж ехать... а я не хочу здесь оставаться... Экая редкость! .. Поди-ко-сь! Чтоб все смеялись надо мной: вот, хвалилась, дескать, хвалилась! ..

— Дура! .. ах ты господи! Вот, воспоили, воскормили, да вырастили горе! — сказал Селифонт Михеич и вышел по обычаю своему — удаляться от зла, от слез, от крику и глупостей.

Марья Ивановна не знала, что говорить: ей только больны были слезы дочери. Ей всегда казалось, что тот прав, кто плачет.

— Полно, полно плакать, Дунечка, — повторяла она: — все перемелется, мука будет.

— Успокойтесь, Авдотья Селифонтовна, — сказал и Василий Игнатьич: — уж будьте в том удостоверные, что будете графиней, дайте только Проше выздороветь... Дохтур сказал, что это ничего, что скоро будет здоров. Вместе поедем, ей-ей, вместе поедем!

— К чему ж тятенька говорит, что не пустит? — спросила Дунечка.

— Да мало ли что̀ он говорит, — отвечала Марья Ивановна дочери: — ну, статошное ли дело не отпускать тебя? Власть-то теперь над тобой не наша, а мужнина; куда хочет, туда и везет.

Авдотья Селифонтовна, не хуже многих иных, жила чувствами, не размышляя, и потому что̀ касается до чувств приятным или неприятным образом, то и вызывает наружу радость или горе. Кстати или не кстати, умно или глупо, лепо или нелепо — это дело другое: дайте сперва накричаться, нажаловаться на судьбу, выплакаться хорошенько, всех собой перетревожить, а потом уж подумать... нет, не подумать, а так, по новому впечатлению чувств, быть *довольным* или *недовольным*.

— Лекарство принесли,—сказала Анисья, входя со стклянкой в руках: — да я не знаю, как давать-то его, на ярлыке вишь написано.

— Прочти-ка, Дунечка.

Авдотья Селифонтовна помотала отрицательно головой, взглянув с содроганием на Прохора Васильевича.

— Поедемте, маменька, — сказала она матери.

— Куда это, куда тебе ехать?

— Я здесь ни за что̀ не останусь, — ответила Авдотья Селифонтовна.

Марья Ивановна прикрикнула на дочь, но это не помогло: она снова залилась слезами, завопила, что ее морочут, что̀ подставили ей вместо Прохора Васильевича бог знает кого.

— Нет, уж вы этого не извольте говорить, Авдотья Селифонтовна, — сказал Василий Игнатьич: — не извольте говорить, что бог знает кого подставили: на подставу Прохору у меня нет

никого; а я вот что̀ смекаю: вас обоих испортили!..

— Ох, так, так! — проговорила, вздохнув глубоко, старая няня Авдотьи Селифонтовны: — кто-нибудь сглазил!

— Чего доброго! — прибавила Матвевна: — и сомнения никакого нет!..

— Ох, господи, что̀ вы это говорите! — вскричала встревоженная словами Анисьи и Матвевны Марья Ивановна: — ужели Дунечку мою испортили? Да чем же, чем?.. Дунечка, душа моя, ты что̀ же такое чувствуешь, скажи мне? Головка, что̀ ли болит?

— А бог знает, что̀ такое, — проговорила Дунечка жалобным голосом: — я ни за что̀ здесь не останусь, в чужом доме.

— Какой же чужой, сударыня моя, — начал было Василий Игнатьич, но слова его были прерваны докладом, что в зале его ожидает квартальный.

— Какой квартальный? — спросил с испугом Василий Игнатьич.

— Нашей части.

Крякнув, Василий Игнатьич пошел в залу.

— Мое почтение, батюшка, Иван Федотович... как вас бог милует... покорнейше просим!..

— Василий Игнатьич, — начал квартальный, присев вместе с хозяином: — дело-то не ладно...

— Что̀ такое, батюшка, Иван Федотович? — спросил с испугом Василий Игнатьич.

— Да вот что̀: ко мне привели женщину, которая доказывает, что она жена вашего сына.

— Помилуйте! да это, сударь, здесь ее и взяли: какая-то пьяная или полоумная... подняла такой крик...

— Я, конечно, сам поусомнился; подумал, что, может статься, Прохор Васильевич и имел с ней знакомство, так... когда-нибудь... понимаете? Обещал, может статься, и жениться на ней, да бросил потом, знаете... всё это вещи обыкновенные... так она, может статься, и с ума сошла... бывает; я слушал, слушал, вижу, очень не дурна собой, только гиль несет: говорит, что в Переславле у нее брат, что там познакомился с ней в прошедшем году Прохор Васильевич...

— Помилуйте, Иван Федотович! — воскликнул снова Василий Игнатьич.

— Позвольте; это еще всё возможное дело, всё может статься.

— Да помилуйте, Иван Федотович, в прошлом году Прохор был в Немечине! ..

— Позвольте, Василий Игнатьич, я ведь не говорю, чтоб это так точно и было, да ведь кто ж ее знает, может статься из всего этого возникнет *дело*...

— Господи! — проговорил Василий Игнатьич: — вот послал бог наказанье со всех сторон!

— Позвольте; ведь как возьмешься за дело; я, конечно, не верю какой-нибудь бабе; притом же она говорит, что будто Прохор Васильевич в Рохманове лежал больной, а дня с четыре тому назад отправился к вам.

— Экой сумбур! Да что̀ ж ее и слушать, Иван Федотович; мало ли что̀ наговорит сумасшедшая; сами вы знаете, что Прохор уже месяц как возвратился из чужих краев, а вчера была свадьба: женили, сударь, его на Авдотье Селифонтовне; да вдруг, вот, заболел, бог его знает...

— Оно так, действительно, Василий Игнатьич; да ведь мы обязаны снять допрос. Оно, может

статься, и ничего, пустяки, мало ли мошенниц бывает; да дело-то пойдет в огласку... и вам запросцы и Прохора-то Васильевича на личную ставку потребуют... так я уже и не знаю, как тут быть? ..

— Иван Федотович, я на вас полагаюсь... мне что; я хоть тысячу рублей заплачу, чтоб эту мошенницу засадили в сумасшедший дом... я не пожалею!

— Гм, Василий Игнатьич, вы и не извольте этого говорить, чтоб за какую-нибудь тысячу рублей принял я на себя ответственность! .. Оно, конечно, может статься, что она в беспамятстве и не помнит что говорит; да ведь хуже-то всего вот что...

Квартальный вынул из кармана бумагу.

— Извольте-ко посмотреть.

— Что это? .. паспорт Прохора? ..

— Да-с; он у нее был.

— Ах ты, владыко, царь небесный! да она украла его! — вскричал Василий Игнатьич.

— Оно может статься; да кто ж ее знает; а ведь это всё приложится к делу.

— Ну! уж этого я и не понимаю! ..

— Прощенья просим! — сказал Селифонт Михеич, выходя из гостиной.

— Куда ж это вы, Селифонт Михеич?

— В город, Василий Игнатьич; жена покуда останется здесь. Дунечка-то одурела... Прощенья просим...

— Ох-о-хо! — проговорил Василий Игнатьич: — уж не знаю, что и делать! Прощайте покуда, Селифонт Михеич... Пойдемте-ко, Иван Федотович, ко мне, поговорить; а то здесь всё мешают...

— Я вам говорю, что это всё чье-нибудь мошен-

ничество, — сказал Василий Игнатьич, кончив совещание: — я так смекаю, что кто-нибудь подучил ее...

— Я сам то же думаю; да и без всякого сомнения, — отвечал квартальный, выходя: — иначе я бы повел дело по форме; а в таком случае что̀ ж делать?.. Знаете, чтоб оправить правого, не грех и покривить душою, если нет другого средства; а между тем, кто ж и себя не бережет, Василий Игнатьич?

— Так, так, сударь, так! — ответил Василий Игнатьич, низко кланяясь.

Между тем Прохор Васильевич лежал без памяти, в сильной горячке. Марья Ивановна, растроганная слезами дочери, принуждена была взять ее домой на время болезни *молодого*. Рассказы дворни о женщине, которая, откуда ни возьмись, выдавала себя за жену Прохора Васильевича, дошли через няню со всеми выводами и заключениями и до Марьи Ивановны. Решено было, что что̀-нибудь да не так; что, верно, эта женщина полюбовница Прохора Васильевича; что она-то, подколодная змея, и испортила свадьбу.

— Нет, матушка, сударыня, Марья Ивановна, — говорила няня: — мой совет таков, чтоб и из рук не выпускать Авдотью Селифонтовну... Беда! я вам говорю! Эта злодейка отравит ее!

— Ох, что̀ ж ты будешь делать-то с нею? — воскликнула Марья Ивановна.

— Что̀ делать? Да что̀ ж делать-то, матушка: на смерть отдать ее, что̀ ли? И сама-то она не пойдет туда ни за что̀, не даром опротивел ей Прохор-то Васильич.

— Ох, согрешили мы!.. — вздыхая повторяла Марья Ивановна.

Спустя недели полторы, Прохор Васильевич стал приходить в себя. Василий Игнатьич сидел подле него, когда он в первый раз открыл глаза, как будто после долгого сна.

— Что̀, брат, Прохор? — сказал Василий Игнатьич.

Прохор Васильевич взглянул на отца, вздрогнул, отворотил голову и снова закрыл глаза.

Всё время болезни за Прохором Васильевичем ухаживала Анисья. Приходя в память, он привык видеть ее около себя, но отвечал на ее вопросы только одним движением головы, как будто закаявшись говорить. Просить чего-нибудь он также не нуждался: Анисья предупреждала его во всем. Только что он откроет глаза или вздохнет: — «Не прикажешь ли испить, Прохор Васильевич? Не хочешь ли чайку, али супцу? а? .. чайку? ну, хорошо, хорошо, сейчас; самовар ведь день и ночь не потухает, неравно спросишь».

Равнодушный, неразговорчивый или, может быть, торопливый медик также не требовал от своего выздоравливающего речей, а довольствовался расспросом Анисьи.

— Что̀, как спал?

— Хорошо, батюшка.

— А всё исправно было?

— Как же, сударь.

— Ну, а что̀ аппетит?

— Кушал, батюшко, овсяную кашку.

Потом подходил к больному и, пощупав пульс, командовал ему: «Язык!» Прохор Васильевич, высунув язык, ждал покуда медик скомандует: «Хорошо, довольно!»

— Что̀, лекарство еще есть?

— Есть, батюшко, есть еще, довольно.

— Ну, я пропишу другое.

— Да уж не будет ли и того?

— Ну, уж это не твое дело.

— Ну, ин пропиши, батюшко, пропиши, — говорила Анисья: — да написал бы ты в аптеку-то, чтоб не брали, собаки, так дорого за лекарство: ведь что̀ день, то красная бумага.

— Ну, уж это не мое дело, — отвечал медик и отправлялся.

Анисья садилась подле больного и, надвязывая чулки, беседовала сама с собою:

— Вишь ты, гладкой какой! «Не его дело!» А того не знает, что Василий Игнатьич сердится, что на лекарство денег много идет! .. Чем бы на меня-то кричать, лучше бы на него прикрикнул, право, ей-богу! Вот уж народец! не пожалеют небойсь чужого добра! .. Что̀, дескать, чужое-то, ведь это не свое... Разбойники! прости, господи! Всякой своей правдой хочет жить, а что̀ правда-то их? .. кривда! .. Что, не поднять ли подушки? .. али испить? испей-ко! Господи, благослови! Ах ты, сударик мой хороший, чей это черный глаз тебя сглазил, или уж зелья какого поднесли? Лёгко ли, словно мертвый лежал ты девять дней! .. Чу! никак Василий Игнатьич идет? ..

Только что Василий Игнатьич в двери, Прохор Васильевич закроет глаза и отвернет голову к стене.

— Что̀, Анисьюшка? Что̀, Проша?

— Слава богу! кажись, только слаб очинно; ни на что̀ не жалуется. Сейчас прихлебнул чайку.

— Спит, стало быть?

— Уснул верно; а сейчас, вот сейчас только глядел глазками.

— Ну, пусть его спит. Дохтур-то, чай, опять прописал «рецет»?

— Прописал, прописал.

— Ну, так! эка собака! Ведь, ей-богу, не то чтобы жаль было денег, да жаль за дрянь-то такую платить! Разоренье, да и только! Я бы, право, плюнул на эти «рецеты»!

— Ну, уж, Василий Игнатьич, ведь и то сказать: кто ж помог Прохору Васильевичу, как не он.

— Ах ты, дура, дура! Помог!.. Эка помощь! Как лежал пластом, так и теперь лежит!

В самом деле, прошло еще несколько дней, а Прохор Васильевич лежит как пласт и не думает вставать с постели. Всем бы, кажется, здоров: ночь спит крепко, напьется чайку с подобающею жаждою, похлебает овсяной кашки, съест кусочек курочки, да пару печеных яблочков с надлежащим вкусом, заснет, опять проснется, покажет язык доктору, примет лекарство, послушает о чем говорит сама с собою Анисья, отвернется к стене и закроет глаза, когда войдет отец, — все, кажется в исправности, а лежит себе, да молчит: точно как будто боится выздороветь, чтоб тятенька не убил.

И бог знает, как вышел бы из этого положения Прохор Васильевич; без deus ex machina, кажется, и не вышел бы. В один вечер пробралась на двор черница.

— Добрые люди, — сказала она, — остановясь в дверях людской: — пустите, ради господа бога, переночевать богомолочку!

— Откуда ты, мать моя? — спросила ее стряпуха Ивановна.

— Ох, издалека, голубушка.

— Утомилась ты, я вижу. Войди, милости просим; переночуй, найдем порожний угол.

После долгих разговоров, взаимных расспросов и рассказов, черница, когда дошло дело и до больного и до события на свадьбе, слушала, устремив на Ивановну неподвижные глаза, в которых копились слезы, дыхание ее становилось тяжело, она, казалось, ничего не понимала.

— На свадьбе! Кто женился?

— Да Прохор же Васильевич, говорю я тебе.

— Голубушка! как женился? когда?

— Чай, уж недели две. На дочке Селифонта Михеевича... хорошо бы, кажись, да так, что̀-то не по̀-сердцу... а тут еще такой случай... Что̀ с тобою, мать моя?

— Ох, закружилась что̀-то голова, — проговорила черница, надвинув на лицо черный платок, которым покрыта была ее голова. — Господи, господи, согрешила я перед тобою! — воскликнула она невольно.

— Испей, мать моя, водицы!.. Что̀, али сильно ломит голову?

— Ох, болит, болит!.. мочи нет!

— Бедная! приляг!

— Ох, нет!.. Что̀ тут об себе думать!.. Ваш больной-то, чай, умирает... Вот, снеси ему просвирку... скажи, что за его здоровье вынута. снеси, пожалуйста!

— Ладно, ладно; да ты-то тут не умри! — сказала испуганная Ивановна.

— Ах, нет; у меня так это бывает...

— То̀-то! пустишь чужого человека в дом, да после и валандайся; добро бы я хозяйка была, а то что̀!..

— Не бойся, пожалуйста; я говорю тебе, что

это так у меня; вот и прошло... Ох, да как же я люблю ходить за больными; я бы походила и за вашим...

— Уж где тебе; ты и сама-то, вишь, слабая какая.

— Бог дает силы и слабым на добрые дела... Право, я бы походила за вашим больным... что-то так сердце говорит, что я бы ему помогла... молитвой помогла бы.

Ивановна посмотрела с участием на черницу.

— Да, хорошо, хорошо, — сказала она: — я вот пойду скажу Анисье Семеновне. Она еще и рада будет: истомилась бедная; сколько ночей не спала.

Ивановна, взяв просвирку, пошла наверх, а черница, оставшись одна в горенке, залилась горькими слезами, припав к столу. Ей так хотелось выплакать не одно только горе, а душу, но едва послышались шаги Ивановны, она встрепенулась и отерла слезы.

— Пойдем к Анисье Семеновне, — сказала Ивановна: — она еще как рада, сама всё думала пригласить сиделку, да некого было.

— Ах, пойдем, — проговорила тихо черница: — я хоть век просижу подле больного, у меня сна совсем нет.

Вслед за Ивановной она пошла наверх. Анисья встретила ее в девичьей и истомила расспросами.

— Ну, как же я рада, что нашелся такой добрый человек, как ты! Пойдем к больному. Он забылся тихохонько...

Входя в роскошный покой, где лежал Прохор Васильевич, черница видимо содрогнулась. Подойдя к постели больного, она схватилась за кро-

вать и взор ее, как прикованный, остановился на нем.

— Сядь, сядь, милая, — повторяла Анисья, и, наконец, насильно взяла ее за руку и посадила подле себя на стуле.

— Ах, потише говорите, он уснул, — сказала черница.

— И то шопотом говорю, — отвечала Анисья: — какая ты осторожная.

И Анисья начала снова расспросы про то, про сё, откуда, куда, где бывала, что̀ видела. Бедная черница как будто перезабыла всё и отвечала рассеянно.

— Э, какая ты неговорливая, — сказала Анисья, начиная уже дремать: — фу, какая здесь духота!

— Вы бы пошли уснуть, Анисья Семеновна, я посижу.

— Ладно; да ты не заснешь? Сажала я в прошлые ночи Дуняшу, да Машу, куда! Только отвернись, они уж и спят.

— Нет, я не усну.

— А как же быть-то, как он проснется, да испугается тебя?

— Не испугается, от чего же испугаться? — проговорила черница.

— Как не испугаться: чужая женщина, вся в черном; хоть с головы-то сняла бы ты шапочку-то свою.

— Я сниму.

— Ну, ладно; смотри, как проснется, позови меня, я в девичьей лягу.

Анисья вышла. Черница сбросила с головы платок и шапочку, упала на колена перед образами, и, заливаясь слезами, молилась.

Когда душа загорается во взорах и выступает на

уста молящейся женщины, взгляните тогда на нее и сами молитесь.

После долгой молитзы, она прислушалась вокруг, встала, подошла к кровати, сделала движение, чтоб прикоснуться к больному, но, казалось, не смела, боялась нарушить его сон.

— Прохор Васильевич! — произнесла она тихо и повторила несколько раз.

Больной вдруг вздрогнул, очнулся, устремил на нее глаза.

— Тс! Не пугайся, это я, тзоя Лукерьюшка, узнаёшь ли ты меня? ..

Прохор Васильевич приподнялся, протянул к ней руки, но ни слова. Казалось, чувства его снова помутились...

— О, господи, что̀ я сделала! — проговорила Лукерья Яковлевна и обхватила руками своего мужа.

— Лукерьюшка! — проговорил он, наконец.

— Узнал, узнал меня! Дай же мне теперь выплакаться! .. — произнесла она, задушив голос, и зарыдала.

— Что̀ ты плачешь? — сказал Прохор Васильевич после долгого молчания.

— Тс, тише, тише! .. да! я плачу... ты забыл меня! .. ты...

Она не могла продолжать.

— Я забыл? Нет! ..

— Тебя женили на другой! .. Погубил ты меня! ..

— Ох, не говори! .. Неправда! ..

— Как неправда?

— Неправда! я всё тебе скажу... О, господи! .. Лукерьюшка! уйдем отсюда... я боюсь тятеньки; я боюсь на него смотреть... уйдем отсюда!

— Уйдем, уйдем, куда хочешь!.. Да как же это, говорят, что ты женился...

— Ох, не говори теперь... уйдем поскорей!..

— Куда ж теперь итти, как итти?

Прохор Васильевич задумался.

— Как уйти? — повторила Лукерья Яковлевна: — ты еще болен...

— Как-нибудь, Лукерьюшка.

— Да как же?

И задумались они оба, и ничего не могли придумать.

II

В гостеприимном караван-сарае, находящемся на перепутье из театра в собрание, есть тьма отделений, номеров, номерков, приютных для приезжих, проезжих, для скитальцев и путешественников, для странников вообще и для странников в особенности, для хаджей и даже для пилигримов с блондовой бородкой.

Одно из отделений этого каравансарая только что занял какой-то приезжий: мужчина средних лет, статный, лицо худощаво, но румянец во всю щеку, глаза голубые, а волоса как смоль; одет по-дорожному; но сообразно форме, отдаваемой в ежедневных приказах моды, с тою только разницею, что вместо мешковатого пальтò на нем была богатейшая бархатная венгерка, изузоренная снурками, точно стканая. По наружности, по всем приемам и по речи нельзя было определить, к какой собственно нации принадлежит он. Казалось, что это был воплощенный космополит, европеец неопределенного языка, vagabond, [1] объехавший для препро-

[1] Скиталец, пройдисвет.

вождения времени весь свет и посетивший на закуску, pour la bonne bouche,[1] Россию. С своим слугой, немцом, он говорил по-немецки, как француз; с французом-чичероне — по-французски, как англичанин; с половым — по-русски, как чех, и в дополнение пересыпал свои речи латинскими, итальянскими и даже турецкими восклицаниями; а распевал и бранился на всех земных языках.

На вопрос полового у камердинера, кто таков его барин, немец отдул отвислую губу и, подняв указательный палец, отвечал:

— Это магнат унгарски Бан Волобуж, слышишь?

— Нет, брат, не слышу; кто такой?

— Это великий господин, магнат унгарски Бан Волобуж, слышишь?

— Нет; ну-ко еще.

— Хе! — сказал немец, усмехаясь, это тебе gross Kurios! eine wunderliche Sache![2]

— Иоганн! — крикнул путешественник по-немецки, пыхнув дымом сигары и остановясь посреди комнаты: — здесь скверно пахнет! Как ты думаешь?

— Скверно пахнет? — спросил немец — отвислая губа: — позвольте мейн-гер, я понюхаю.

И Иоганн, как лягавая собака, вытянул шею, поднял нос и начал нюхать удушливую атмосферу отделения.

— Ну, понюхай еще, — сказал венгерский магнат, — а потом неси шкатулку и вещи назад в дормез. В этой «Москве» я не остаюсь. Гей, бир-адам! Seigneur serviteur, как твое имя?

— Мое имя Андрѐ, — отвечал француз.

[1] На закуску.
[2] Большой курьез. Удивительная вещь.

— Есть тут какой-нибудь «Лондон»?

— И очень близко отсюда, если только вам угодно.

— Очень угодно: только с тем, чтоб и в «Лондоне» не было такого натурального запаху.

— Как это возможно! будьте спокойны; я пойду сейчас же займу лучший номер.

— Если невозможно, так едем в «Лондон».

— Что ж, ваше сиятельство, не понравился номер: мы вашей милости другой покажем, — сказал приказчик гостиницы.

— Что ты говоришь? — спросил его магнат.

— Да вот вашей милости, может быть, номер не понравился, так другой извольте посмотреть.

— Ты что, что говоришь? а? — спросил он снова, выходя из номера.

— Чорт их разберет, этих немцев, — сказал приказчик, махнув рукой: — и сами ничего не понимают, и их не поймешь!

У подъезда стоял, хоть и не новомодный на лежачих рессорах, но славный дормез, со всеми удобствами для дороги, придуманный не хуже походного дормеза принца Пюклер-Мюскау. Немецкий человек Иоганн был уже наготове принять господина своего под руку и посадить в экипаж; но его задержал на крыльце какой-то отставной, низко поклонился ему, встал перед ним на вытяжку, держа треугольную шляпу в левой руке, и начал излагать, запинаясь, свою покорнейшую просьбу помочь страждущему неизлечимой болезнью, погруженному в крайнюю бедность и имеющему жену и пятерых человек детей мал-мала-меньше.

Венгерский магнат уставил на него глаза с удивлением, осмотрел с ног до головы, как чудо, ка-

кого еще не видывал, и, выслушав долгую речь, спросил:

— Жена?

— Так точно: жена-с... ваше сиятельство, — повторил отставной, — и пятеро человек детей...

— И пятеро детей?

— Так точно-с...

— Что̀-о, что̀ вы говорите?

— Пятеро-с, — проговорил офицер, отступив с испугом.

— Жаль, мало; только пятеро! .. — сказал магнат, вынимая кошелек, — вот вам по червонцу на человека; если б было больше, больше бы дал... считайте, пять? .. Только пятеро детей?

— Ваше сиятельство, — сказал офицер, у которого от радостного чувства тряслись руки и разбежались глаза, смотря на горсть золота, — жена на сносе... прибавьте на шестого...

— Хорошо; а может быть жена ваша родит двойни?

— Всегда двойни родит, ваше сиятельство, всегда, вот и прошлый раз двойни родила...

— Ну, вот еще два...

— На родины, на крестины понадобятся деньги...

— Ну, об этом поговорим после; приходите-ко ко мне как-нибудь на-днях; я буду стоять в «Лондоне».

— Слушаю, ваше сиятельство...

— Ну-ну-ну! ступайте себе, пока назад не отнял! ..

Отставной опрометью бросился от магната Бана Волобужа, который посмотрел ему вслед, пожав плечами.

Француз Андрѐ также пожал плечами. Он при-

шел в ужас, заметив такую щедрость путешественника.

— Пропадшие деньги, совершенно пропадшие! — сказал он со вздохом: — я обязан предостеречь вас; вы думаете, что это в самом деле несчастный офицер? Это мошенник; их здесь тьма ходит... Они вас оберут, monsieur... le comte,[1] — прибавил Андрè, не зная, как величать путешественника.

— Оберут? неужели? какое горе!

— Ей-богу, оберут! как это можно давать столько! Им ничего не надо давать... этим бездельникам, попрошайкам! нищим!

— Тебя как зовут?

— Андрé, monsieur.[2]

— Вот видишь, Андрé-monsieur, знаешь ли ты разницу между нищим и плутом?

— Non, monsieur.[3]

— Так я тебе скажу: нищий напрашивается на деньги, а плут на услугу. Понял? и прекрасно; довольно рассуждать. Что̀ ж «Лондон»?

— Я уж был там: самый лучший номер готов.

— Умные ноги!

Венгерский магнат вскочил в дормез, Иоганн взлез на козлы, ямщик чмокнул, подернул вожжами.

Поехали. Андрè бежал ли следом, или доехал на запятках, но у подъезда гостиницы «Лондон» он встретил и высадил магната из кареты и повел по длинному, довольно сальному коридору до номера.

— Господин покорнейший мой слуга, как бишь тебя зовут?

[1] Господин граф.
[2] Андрэ, мосье.
[3] Нет, мосье.

— Андрѐ, monsieur.

— Ну, Андрѐ-monsieur, лондонская атмосфера и чистота, кажется, не лучше московской?

— Номер прекрасный.

— Правда, номер лучше. Иоганн! как ты думаешь? Понюхай-ко, хорошо ли пахнет?

— Ха! — отвечал Иоганн, приподняв важно отвислую губу: — здесь всё recht und schön! Всё как следует для одной такой Obrigkeit,[1] как ваша высокородность. Ничего не можно сказать худого. По стенам бесподобнейшие картины... Занавесы прекрасные на окнах, ковры... ja! alles ist recht und schön![2] Вот и клавиры, можно музыку играть... и всё, как следует... и кабинет есть... стол письменный... Это немецкая работа! .. Тотчас видно! .. Я тотчас узнаю немецкую работу! ..

Иоганн обратил особенное внимание на немецкую работу стола и распространился, рассматривая его со всех сторон и выдвигая ящики, о немецкой аккуратности.

— Что̀, хорош стол? — спросил магнат.

— О! — произнес Иоганн, приподняв отвислую губу.

— Ну, понюхай его и ступай выбирать всё из кареты; да скорее мне одеваться.

— Нельзя же всё вдруг, mein Herr;[3] надо всё по порядку сделать, langsam und schön.[4]

— Ну, ну, ну, готс-доннер-веттер! — прикрикнул магнат Бан Волобуж, раскинувшись на диване. — А ты, как бишь тебя?

[1] Прекрасно устроено для такой высокой особы.
[2] Да, всё прекрасно устроено.
[3] Сударь.
[4] Не торопясь и хорошо.

— Андрѐ.

— Андрѐ, скажи, чтоб подали обедать, да мне нужна коляска на английских рессорах, да билет в театр, в собрание, или в клуб, повсюду, где только можно убивать время позволительным образом. Слышишь?

— Слушаю.

— Ну, ступай!.. Я для скуки и уединения не создан, — продолжал про себя Волобуж, садясь обедать: — я и есть один не могу... Подай шампанского!.. И пить один не могу!.. Кругом тишина и спокойствие! очень весело: слышно, как собственный рот жует, а нос сопит!.. Иоганн, убирай!.. Роскошь, а не жизнь! блаженство посреди мук, волнений, треволнений, громов и молний!.. Итак, я вступаю в новый свет, как Колумб... Знакомлюсь с московскими дикарями... они, говорят, народ гостеприимный, любят и уважают всех иноземных пришельцев и мимошельцев, скитающихся мудрецов и бродящих артистов и художников... Иоганн! Готово?

Langsam und schön Иоганн привел всё в порядок, подал барину одеваться, проводил его до коляски, сказал по-немецки: «господь с вами!» и пошел совершенствовать устроенный порядок, перекладывать и переставлять вещи с места на место, всматриваться и вглядываться, действительно ли всё на месте и нет ли какого-нибудь упущения.

Магнат Волобуж отправился в театр и был вполне доволен тем впечатлением, которое произвело первое его появление в публике.

Взоры дам из лож сосредоточились на новое замечательное лицо, как лучи к фокусу зажигательного стекла.

— Это лучшие проводники ко всем земным бла-

гам, — говорил Волобуж, почти вслух, обводя зрительную трубку по рядам лож. — Очень, очень милы! Прелесть! право, я ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Вене, ни в одной из европейских столиц не видал таких хорошеньких! ..

— Вы, без сомнения, путешественник? — спросил его сосед, отжилой петиметр, которого взоры также блуждали по бенуару и бель-этажу, а улыбка проявляла внутреннее довольствие, что весь Олимп театра не сводил с него глаз.

— Я путешественник, — отвечал Волобуж, — и удивляюсь необыкновенной красоте здешних дам. Совершенно особенный тип! Тип оригинальный, какого я не видел в целой Европе! .. Ah! per mai fé! [1] Я не нагляжусь!

— Нам очень лестно слышать; но вы изменяете вашим соотечественницам.

— Goddem! my heart goes pitt-a-patt! [2] Я изменяю своим соотечественницам?

— Вы англичанин?

— Gott bewahre! [3]

— Немец?

— И того меньше; я маджар.

— Ах, я что-то слышал; не вы ли ездили для исследования языка мещеряков?

— Нисколько.

— Говорят, что мещера и маджары составляли одно племя? ..

— Кажется; но мои предки происходят от славян.

— От славян? О; так не даром вам нравится русская красота.

[1] Ах, честное слово.
[2] Проклятие! Мое сердце трепещет!
[3] Боже сохрани.

— Родная! Не могу не восхищаться! Что за энергия во взорах, в чертах! ..

— Посмотрите на даму в золотой наколке, во второй ложе...

— Ах, не отвлекайте меня от всех к одной; я не могу ни одной отдать предпочтения: каждая красавица в своем роде.

— Помилуйте, посмотрите, какие рожи сидят в третьей ложе.

— Рожи? Что вы это! Вы верно присмотрелись к красоте ваших дам, или ваш вкус односторонен, или у вас мода на какую-нибудь условную форму лица? .. А это кто такая дама?

— Это Нильская.

Поднявшаяся занавес прервала разговор. По окончании театра собеседники расстались знакомцами.

— С этим приятелем не далеко уйдешь, — сказал магнат Волобуж, садясь в свой экипаж: — это, кажется, сам ищейная собака.

На другой день поутру Андрѐ явился с билетом для входа в Московский музей.

— Музей редко открывается и трудно достать билет, — сказал он: — но я на ваше имя выпросил у самого генерала, директора.

— Это умно; так ты покажешь мне его, я лично хочу поблагодарить за это одолжение.

В оружейной палате был общий впуск, и потому Андрѐ с трудом провел магната сквозь непроходимые толпы народа к восковой фигуре ливонского рыцаря на коне.

— Фу, дурак, куда меня завел! .. Ну, говори, кто это такой?

— Это? это древний русский герой.

— Как его зовут?

— Вот я спрошу! ..

И Андрѐ спросил у стоявшего подле фигуры солдата, как зовут этого человека, что̀ на коне?

— Какой человек, это богатырь, — отвечал солдат.

— С кем же он воевал? И этого не знаешь? — спросил Волобуж.

— Нет, знаю, мосьё, он воевал с татарами, — отвечал Андрѐ, отскочив от какого-то господина, который остановился подле и смотрел на проходящие толпы.

— Это кто?

— Это один из вельмож московских, — тихо отвечал Андрѐ.

— А! прекрасно! — сказал магнат, подходя к довольно плотному барину, с спесивой наружностью. — Извините меня, если я вас обеспокою вопросом.

— Что̀ прикажете?

— Я путешественник... Тут столько любопытного, но никто не может мне объяснить... Мне желательно знать, кто этот русской рыцарь на коне?

— Вы путешественник? — сказал барин, не обращая внимания на вопрос: — о, так вам надо познакомиться с директором... Я сам ищу его, но сквозь эти толпы не проберешься... Пойдемте вместе... Вы недавно приехали в Россию?

— Очень недавно, вчера.

— Откуда?

— Как вам сказать... я кружу по целому миру; любопытство видеть Россию завлекло меня на край света.

— В самом деле, мы живем на краю света; хоть бы немножко поближе к Европе! Скоро однакож железная дорога сократит путь. Как вы нашли

Россию? — проговорил вельможный барин, произнося невнимательно все слова.

— Чудная страна, удивительная страна! — отвечал Волобуж: — во всех отношениях не похожая на Европу!..

— Не правда ли, совершенная Азия?

— Но чтò за воздух! Живительный воздух! Надо отдать справедливость, здесь воздух гораздо прозрачнее всех стран, где я ни был.

— Да, да, да, на воздух пожаловаться нельзя; но климат убийственный.

— Климата я еще не знаю.

— Вы увидите, — сказал рассеянно вельможный барин, уставив лорнет на проходящих дам: — не дурна, очень не дурна? Кто это такая?

— Не дурна, очень не дурна! — повторил и магнат: — соблазнительное личико! впрочем:

Quelque lieu qu'on fréquente
Par tout on voit...
Quoi?
Homme qui trompe, femme qui tente. [1]

— Ха, ха, ха, это мило?.. Вы долго пробудете здесь?

— Надеюсь.

— Мы, кажется, не отыщем директора, а мне надо ехать... Очень рад с вами познакомиться.

— Позвольте прежде рекомендовать себя, — отвечал Волобуж, — вынув визитную карточку и отдавая барину.

— Ах! — произнес синьор приветливо, взглянув на карточку: — я надеюсь, что вы не откажетесь меня посетить... позвольте узнать, где вы остановились?

[1] Какое бы ни посетил место, везде найдешь мужчину-обманщика, а женщину-искусительницу.

— В гостинице «Лондон».
— Я буду лично у вас.
— Приезжий предупредит эту честь.
Барин ласково пожал венгерскому магнату руку, сказал свой адрес и раскланялся.
— Ты знаешь, где живет этот господин?
— Знаю знаю, — отвечал Андре́.
— Так мне не для чего здесь больше толкаться.
Seigneur Baranovsky,[1] как назвал Андрè русского барина, с которым случай свел нашего путешественника, магната Волобужа, был человек в самом деле с наружностью сеньориальной; высок ростом, плотен, держал себя прямо, глядел свысока, речь министерская, словом, важен, важен, очень важен. Но он был не из вельмож, происходивших от тех мужей, которым Рюрик раздавал волости, овому Полтеск, овому Ростов, овому Белоозеро; не происходил он также от великих мужей, которые бранились и бились за место в разрядах; ни от какого-нибудь мурзы татарского. Но во всяком случае он был богат, как Лукулл, который прославился роскошью одежд, мебелей и стола. Римский Лукулл был умен и учен, съел собаку в познаниях, образовался у известнейших док красноречия и философии, имел огромную библиотеку, которою пользовался Цицерон, бывший еще мальчиком, а русский Лукулл, хоть и любил собак, но не съел ни одной по части отягощающей голозу, а не желудок. Что̀ ж касается до отделки дома à la renaissance[2] и до повара, то в сущности о нем, как о мертвом, нельзя было ничего сказать, кроме aut bene, aut nihil;[3] похулить нельзя было; такая угода

[1] Господин Барановский.
[2] В стиле Возрождения.
[3] Или хорошо или ничего.

чувствам во всех мелочах, что все чувства, кроме слуху, утопали в сладострастии созерцания, обоняния, осязания и вкусу. Слух же должен был довольствоваться басом хозяина и дискантом хозяйки. Была некогда и библиотека в доме, доставшаяся по наследию; до самого времени возрождения вкусов она занимала целую комнату; потому что в прошедшем столетии и даже в начале настоящего была и в России мода на библиотеки, и невозможно было не иметь коллекции французских писателей, in-folio, enrichies et ornées de figures, dessinées et gravées каким-нибудь Bernard Picard et autres habiles artistes.[1] Но со времени возрождения вкуса, вельможный барин променял библиотеку, богатую роскошными изданиями и переплетами, на пару античных ваз и на сервиз саксонский; изгнал весь наследственный хлам и устроил дом как чудный косметический магазин, соединенный с мебельным и с великолепными залами богатейшей европейской ресторации, отапливаемой паром, освещаемой газом. После полного устройства и приведения в порядок всего, кроме счетов, он дал обед на славу, потом бал на славу и прославился: заговорили, заахали о доме, об обеде, о бале; а о хозяине преравнодушно сказали:

— Дурак! Что̀ он, удивить, что̀ ли, хочет всех своими обедами и балами!

Но этим толки не кончились: тотчас же привели в известность доходы и расходы, поверили счеты, допытались, что̀ взято и сделано в долг, что̀ на чистые деньги, что̀ на̀ слово, что̀ по подрядам, кому уплачено, кому нет.

[1] Ин-фолио — богато украшенные рисунками, исполненными каким-нибудь Бернаром Пикаром и другими искусными художниками.

Про супругу сеньора Baranovsky,[1] как его называл Андрè, ничего нельзя было сказать худого. Она была женщина добрая; понимала, что в важности и делах ее мужа было чтò-то глупое, смешное и бестолковое, но ей было трудно *против рожна прати,* а еще труднее предостеречь себя от тщеславия быть окруженной блеском и великолепием: всё это было так хорошо, так ей к лицу. Будь ее муж управителем у нее и стой почтительно в дверях, в ожидании приказания, салон madame Baranovsky,[2] был бы второй салон мадам Рекамиè, которою она бредила. Если муж ее жил пышно и давал обеды из славолюбия, то она давала балы чисто из великодушия и желания одолжить и потешить бедную Москву, а вместе с тем и подать всем пример гостеприимства, образованного тона и любезности хозяйки.

Приготовляясь к своему bal-parè[3] или, если позволите сказать по-русски, *чинному* балу, она была счастлива, счастлива как мать, которая радуется, что может потешить детей: «пусть их попрыгают и порезвятся от души». Но дети чтò-то не резвились, как будто под строгим присмòтром чинности; тут как-то не было простору ни душе, ни телу, чтò-то неловко; казалось, что все съехались из одного светского приличия и необходимости непременно быть на великолепном бале, на выставке модных одежд и тонов, на маневрах высшего круга и для того, чтоб после, если кто спросит: — Были на бале у мадам Baranovsky? — отвечать равнодушно: «Как же». Лица хозяина и хозяйки также ярко были освещены внутренним довольством, как

[1] Барановского.
[2] Мадам Барановской.
[3] Парадный бал.

и весь дом солнечными и лунными лампами: они как будто всматривались во всех и каждого, удивляются ли великолепию зал, роскоши убранств, блеску освещения *и непроходимости* от бесчисленного множества приглашенных? В самом деле, какая-то благочинная тоска проникала всех, кроме нескольких записных лощеных танцоров и перетянутых стрекозами Терпсихор, которые перед каждым балом пляшут от радости: «Ах, бал, бал!»

С таким-то московским боярином свел случай магната венгерского. На другой же день он явился в дом и был представлен хозяйке. У себя в номере, в халате или венгерке, заметна была в магнате кая-то странность, необразованность приемов, что-то оригинально-грубое; но также видно было, что от самой колыбели он не был ни робок, ни стыдлив, застрахован от всякого смущения и поражения чувств великолепием, блеском обстановки, величием. Как хамелеон, он внезапно отражал на себе все краски и свободно становился в уровень, на одну доску, с кем угодно. Поднимаясь на ступени лестницы, обращенной в благовонную аллею антиподных растений и цветов, он как будто вдруг напитался ими и явился в гостиную таким благорастворенным светским человеком, что сеньора была вне себя от удовольствия быть первой, которой представляется венгерский магнат. Она сама взялась познакомить его с лучшим обществом Москвы, предуведомив, что дом ее есть центр образованной и просвещенной сферы и что она — солнце, которое согревает всю Москву разными родами parties de plaisirs. [1]

— Вы, без сомнения, были уже в Париже? —

[1] Развлечений.

спросила она, зажмурясь немножко и нежно склонив голову на сторону.

— О, конечно, несколько раз, — отвечал Волобуж: — chavez-vous,[1] быть в Европе и не видать Парижа, всё равно, что быть в Париже и не видать Европы, потому что, существенно, Европа и заключается только в Париже: всё прочее — продолжение Азии.

— Ах, это так; там центр образованности. Кто наследовал теперь славу гостиной мадам Рекамиѐ?

— Никто, никто, решительно никто; да и возможно ли, скажите сами? Мадам Рекамиѐ! .. Вы знаете, что̀ это за женщина? ..

— Ах, да, это справедливо; конечно, женщину такой любезности, такого образования трудно заменить. Так сблизить, соединить в своем салоне всё чем-нибудь замечательное, все известности... это, это не так легко. Здесь не Париж; но вы не позерите, какое надо иметь искусство, чтоб быть амальгамой общества...

Сеньора с таким выражением утомления произнесла слова: *вы не поверите*, что невозможно было не поверить.

— О, верю, созершенно верю, — сказал магнат: — chavez-vous, я как взглянул на Москву, тотчас же понял, что это не Париж.

— Справедливое и тонкое замечание, — отозвался, наконец, сам хозяин: — никакого сходства! Это удивительно! У нас так мало еще людей в кругу даже *нашем*, которые бы понимали истинное просвещение, что... но вы сами увидите у меня в доме всё, что̀ первенствует, даже не в одной Москве, но, можно сказать, в целой России...

[1] Знаете.

потому что tout ce qui excelle,[1] не минует моего порога.

Только что вельможный барин кончил речь, как вошедший слуга доложил, что опять пришел подрядчик, да и каретник пришел.

— Ты видишь, что я занят, глупец. Что̀ ж ты мне докладываешь о пустяках.

— Подрядчик просит ответа-с на письмо своего барина.

— Скажи, чтоб завтра пришел за ответом; а каретник пусть придет послезавтра.

После отданного таким образом приказания людям, которые может быть должны были исполнять это приказание ежедневно и бить челом в ожидании великой благостыни, когда им бросят, как милостинку, заработанное пото̀м и кровью, барин продолжал велеречиво суждение свое о том, что Москва нисколько не похожа на Париж и что это проистекает именно от того, что русские не умеют жить; и присовокупил к тому очень дельное замечание, что Петру Великому следовало гораздо ранее заняться преобразованием России, и что, если б он занялся этим заблаговременно, то просвещение и устроенное им регулярное войско предохранили бы Россию от нашествия монголов.[2]

— Скажите! — воскликнул Волобуж: — всеобъемлющий гений сделал такое упущение, и этого никто до сих пор не заметил?

— Никто, решительно никто!

— Это удивительно! какая была бы разница! ..

[1] Все выдающееся.

[2] Замечание, свидетельствующее о самодовольном невежестве. Петр Великий жил 400 лет спустя после нашествия монголов.

Chavez-vous, вот что̀ хочется мне знать: приезжал ли пустынник Петр проповедывать в Россию крестовые походы?

— Пустынник Петр? .. — повторил хозяин, припоминая.

— Кажется был, mon cher, — сказала хозяйка.

— Да! точно! именно был! .. позвольте, в котором это году?

— Не трудитесь, пожалуйста, припоминать: хронология и в этом и во всяком случае пустяки. Мне желательно только знать, отчего Россия не согласилась участвовать в крестовых походах?

— Отчего! — воскликнул барин: — просто невежество, непросвещение и только. Участвуй Россия — о, дела бы взяли другой оборот: милльон войска не шутка.

— Dieu, dieu! [1] — проговорил магнат, глубоко вздохнув и уставив глаза на русского сеньора: — сколько в мире странных людей и событий! ..

— Ах, — сказала хозяйка, наскучив разговором об исторических событиях России: — посмотрите на мою Леди... elle a de l'esprit, [2] посмотрите, какие умные глаза.

— Чудные глаза! — сказал Волобуж, гладя Леди и подумав: «на первый раз довольно»!

И он встал, раскланялся. С него взяли слово приехать на другой же день, на вечер.

— Да это злодей, просто злодей! — сказал Волобуж, сбежав с благовонной лестницы к подъезду.

— Что̀, сударь, верно, и тебе денег не платит? — спросил один из стоявших у подъезда двух человек.

[1] Боже, боже.
[2] Она умница.

«А! это верно подрядчик и каретник, — подумал магнат, взглянув на две бороды в синих кафтанах: — да, да не платит!»

— Из магазина верно взял что?

— Нет, просто за визит не платит: делай визиты ему даром, каков?

— Ты говори! всё норовит надаровщинку; а еще такой барин и богач! .. прости, господи! заел у меня без малого тысячу! ..

— Скажи, пожалуйста! каков! — сказал Волобуж, садясь в коляску.

— Куда прикажете? — спросил кучер.

— Куда? .. вот об этом мне надо кого-нибудь спросить...

— Домой прикажете? ..

— Ну, домой! .. что ж делать дома? .. Дома люди обманывают самих себя, вне дома — обманывают других. Что лучше? .. Фу, какой умница этот вельможа! В самом деле, если б Петр Великий начал преобразование России со времен Рюрика, так Россия с ее рвением к просвещению ушла бы далеко на запад, дальше солнца, если б не проклятые столбы... Да! кстати о просвещении... Ступай на Кузнецкий мост, во французский книжный магазин? Надо принять к сведению *современный интерес*. Надо стать в уровень с мосье Baranovsky.[1] Он живет себе открыто, как grand seigneur,[2] не совращает никого с пути; глупо, говорит, совращать с пути человечество, когда оно само пошло к западу за своей тенью... А! приехали.

Магнат вбежал в книжный магазин и спросил современных книг.

— Каких угодно?

[1] Мосье Барановский.

[2] Большой барин.

— Всё равно, каких-нибудь; я ведь не люблю читать и размышлять хорошо или худо: и то и другое зависит от моего собственного расположения духа...

Лучшие сочинения теперь, я думаю, романы; в них и жизнь, и настоящая наука, и философия, и политика, и индустрия, и всё.

— Не угодно ли выбрать по каталогу.

— Да я приехал к вам, мой милый, не для того, чтоб терять время на выбор... Вы француз?

— Француз.

— Ну, и прекрасно; давайте мне что̀ хотите, — всё хорошо; мое дело платить деньги, — чем больше, тем лучше.

Француз улыбнулся и собрал несколько романов.

— Не угодно ли вам эти?

— Очень угодно.

— Вот еще новое, очень занимательное сочинение.

— Роман? давайте, давайте! Не мало ли? Ведь я не читаю, а пожираю.

Набрав десятка два романов, Волобуж отправился домой и целый день провел в чтении. Но он читал, не разрезывая листов, не с начала, не от доски до доски, а так, то тот, то другой роман наудачу, как гадают на святках: *что̀ вынется, то сбудется*. Это, говорил он, глупость читать под ряд; всё равно, с краю или из середины; но глазное, благоразумному человеку, посещающему свет, желающему говорить и рассуждать, нужны на ежедневный обиход карманные сведения, как карманные деньги. Почерпнув из книг или из журналов несколько блестящих, только что оттиснутых мыслей, звонких речений и ассигнационных сведений, можно

ехать с визитом, на обед, на бал, — куда угодно! . .

Когда Волобуж на другой день явился в гостиную русской Рекамиè, для него уже было подготовлено знакомство, как для особенно интересного, высокообразованного путешественника и сверх того магната венгерского.

Каждый человек до тех пор ребенок, покуда не насмотрится на всё в мире настолько, чтобы понять, что всё в мире то же, что ein-zwei-drei, ander Stück Manier,[1] и следовательно почти каждый остается навек ребенком.

Это правило можно было приложить и ко всем тем, которые наполняли гостиную супруги вельможного барина. Любопытство видеть интересного путешественника так раздражило нервы некоторых дам, что при каждом звуке колокольчика, которым швейцар давал знать о приезде гостей, пробегал по их жилкам испуг, головка невольно повертывалась к дверям, уста как будто зубками перекусывали нить разговора и некоторые становились похожи на известное беленькое животное, которое, прослышав какой-нибудь звук, осторожно поднимает свои длинные ушки и прислушивается: что̀ там за чудо такое!

Волобуж вошел, и с первого взгляду поразил все общество; так взгляд его был смел и беспощаден, движения новы, а выражение наружности необычайно. Хозяин побежал к нему навстречу, — он взял хозяина за обе руки, как старого знакомого. Хозяйка встала поклониться ему, — он без поклона сел подле нее и тотчас же начал по-французски, несколько английским своим наречием, разговор о Москве.

[1] Раз-два-три, совсем другая штука.

— Chavez-vous,[1] мне Москва так понравилась с первого взгляду, что я намерен остаться в Москве до тех пор, покуда меня не выгонят.

Произнося эти слова мерно и громко, магнат обводил взорами всех присутствующих в гостиной.

Хозяйка, по праву на свободную любезность с гостем, премило возразила на его слова:

— Так вам не удастся возвратиться в свое отечество!

— Сколько приятного ума в этом человеке, — сказала вполголоса одна молоденькая дама натуральному философу, но так, что магнат не пропустил мимо ушей этих слов, а мимо глаз того взору, который говорит: ты слышал?

«А! это кажется та самая, которой восхищался мой собеседник в театре», — подумал Волобуж, устремив на нее взор, высказывающий ответ: я не глух и не слеп.

— Я вам доставлю одно из возвышенных удовольствий, — сказала хозяйка: — вы верно любите пение? .. Милая Адель, спойте нам.

Одна из девушек села за рояль и потрясла голосом своим стены. Это уж так следовало по современной сценической методе пения. Теперь те из существ прекрасного пола, которые одарены от природы просто очаровательным женским голосом, не могут и не должны петь. Сентиментальность, piacere и dolce[2] — избави бог! Теперь в моде мускулёзные арии, con furore и con tremore[3] с потрясением рояля от полноты аккордов, а воздуху от полноты выражения чувств.

[1] Знаете.
[2] Приятно и нежно.
[3] Ровно и тревожно.

— Каков голос! — сказал хозяин, подходя к магнату.

— Необыкновенный голос! — отвечал он: — это такой голос, каких мало бывает, да еще и редко, в дополнение. Вот именно голос. Это Гера в образе Стентора возбуждает Аргивян к бою! ..

— Удивительный голос! Вы не сыграете ли в преферанс?

— С величайшим удовольствием; неужели здесь эта игра в моде? В Европе не играют уже в преферанс.

— Неужели? какая же там игра теперь в моде?

— Коммерческие игры перешли в коммерческий класс людей, там теперь преимущественно фараон..

— В самом деле? .. У нас запрещены азартные игры.

— Странно!

— Вы играете по большой или по маленькой?

— И по большой и по маленькой вместе: когда я выигрываю, мне всегда кажется, что десять червонцев пуан — игра слишком мала.

— О, у вас, в Венгрии, верно, слишком дешево золото!

— Где его меньше, там оно всегда дешевле, — отвечал Волобуж, собирая карты и говоря вперед: — играю.

Хозяйка и вообще дамы надулись несколько, что у них отняли занимательного кавалера, и не знали, чем пополнить этот недостаток, на который рассчитан был весь интерес вечера. Не игравшие, собственные, ежедневные кавалеры как-то вдруг стали пошлы при новом лице, как маленькие герои перед большим, который, как Цесарь, venit, vidit, vicit [1]

[1] Пришел, увидел, победил.

внимание всех дам. Они ходили около ломберного стола, за которым он сидел, становились по очереди за его стулом, прислушивались к его словам и возбудили досаду и даже ревность в некоторых присутствовавших тут своих спутниках.

Венгерский магнат не привык, казалось, оковывать себя светскими бандажами. Он нетерпеливо ворочался на стуле, как будто заболели у него плечи, ноги, заломило кости, разломило голову. Дамы надоели ему своими привязками в промежутках сдачи карт, хозяин и два барина, которые играли с ним, надоедали ему то мертвым молчанием и думами, с чего ходить, то удивлением, какая необыкновенная пришла игра, то время от времени рассуждениями о том, что̀ говорит «журнал прений» и что̀ говорят в английском клубе.

Хозяин играл глубокомысленно: по челу его видно было, как он соображал, обдумывал ходы; но ходил всегда по общему правилу игры; отступать на шаг от правил он не решался: приятно ли, чтоб подумали, что он не знает самых обыкновенных, простых правил игры. Какой-то сухопарый, которого грудь была «рампалирована» декорациями, всё хмурился на карты, спрашивал поминутно зельцерской воды и несколько раз жаловался на обеды в английском клубе.

— Я всегда на другой день чувствую себя не по себе, — говорил он, не обращая ни к кому своих слов, как признак сознания собственного достоинства.

— А какая уха была, князь, — заметил хозяин, ударяя всею силою голоса на слово уха. — Какая уха была!

— О-о-о! Надо отдать справедливость, — прибавил тучный барин, сидевший направо от Волобу-

жа. — Уха не даром «нам» стоила две тысячи пятьсот рублей!

— Как же, весь город говорил об ней! — сказал один молодой человек с усиками, в очках.

— Весь не весь, а все те, которые ели ее, — отвечал, нахмурив брови, тучный барин.

— Такому событию надо составить протокол и внести в летописи клуба, — заметил снова молодой человек с колкостью, отходя от стола.

— А вот наймем протоколиста, — сказал тучный барин: — какого-нибудь восторженного поэта, — прибавил вполголоса.

— Браво, Иван Иванович: — сказал захохотав хозяин: — это не в бровь, а прямо в глаз.

— Нет, вы не жалуйтесь, князь, на стол в клубе. Для такого стола можно раз или два в неделю испортить желудок, — продолжал Иван Иванович прерванную речь свою.

— Ваш, однакоже, нисколько, кажется, не портится, — сказал князь.

— Напротив, случается; но у меня есть прекрасные пилюли, и я, только лишь почувствую «несварение», тотчас же принимаю, и оно... очень хорошо действует.

— Завтра я непременно обедаю в клубе, — сказал хозяин.

— И прекрасно! Знаете ли что: вот, как мы теперь сидим, так бы и завтра повторить партию. Как вы думаете, князь?

— Я согласен.

— А вы? Вы не откажетесь завтра обедать с нами в клубе? — спросил Иван Иванович, обращаясь к Волобужу.

— С удовольствием, — отвечал Волобуж: — я так много и часто слыхал и за границей об англий-

ском московском клубе, что меня влечет туда любопытство.

— О, вы увидите, — сказал хозяин: — это удивительное заведение.

— Академия в своем роде! — прибавил молодой человек в очках, проходя мимо и вслушиваясь в разговор.

— Это несносно! — проговорил тихо хозяин, уплачивая проигрыш.

— Охота вам приглашать этого молокососа, — заметил так же тихо Иван Иванович.

— Хм, жена, — отвечал с неудовольствием хозяин, вставая с места.

— Разлад полов и поколений, — сказал тихо в Волобуж, обращаясь к молоденькой даме, которая польстила его самолюбию.

— Отчего же разлад?

— Разлад, а говоря ученым языком, разложение организма.

— Докажите мне, пойдемте по комнатам, вы насиделись.

— Пойдемте.

— Как прекрасно отделан дом, не правда ли?

— Для моего воображения недостаточно хорош.

— Для вашего воображения может быть всё недостаточно хорошо, что вы ни встречаете?

— О, есть исключение: встретив совершенство, я покоряюсь, влюбляюсь в него без памяти.

— А часто вы встречали совершенства?

— Встречали! вы не вслушались, я говорю про настоящую минуту... сядемте, вы находились, — сказал Волобуж, проходя с собеседницей в уединенную комнату.

Они сели; но ревнивая хозяйка не дала развиться их разговору и увлекла в зал слушать, как

один monsieur[1] передразнивал Листа. Когда он кончил, венгерского магната уже не было в зале. Начались общие суждения и заключения об его оригинальности, уме, проницательных взглядах; дамы восхищались им; и одни только ревнивцы, вопреки наклонности своей к иноземному уму, понятиям, формам, условному изяществу, стали про себя корить соотечественниц своих, что они готовы обоготворить всякого беглеца с галер и позволить ему сморкаться в свои пелеринки.

На другой день Волобуж был у Ивана Ивановича с визитом и вместе с ним отправился в клуб. Около интересного путешественника — венгерского магната — тотчас же составился кружок. У нас необыкновенно как идет большая рыба на каждого порядочного иностранца. Он ловко справился с толпой, жаждущей наслушаться его речей, бросал запросы, как куски на драку, стравил всех на междоусобный спор о современном состоянии Европы.

— Я еще не знаю России, — сказал он: — знаю Европу; но не понимаю ее, совершенно не понимаю!

— Удивляюсь! Европу не так трудно понять в настоящее время... выслушайте! — прервал тотчас же один говорливый господин и принялся было объяснять значение Европы, но его в свою очередь прервал другой.

— Помилуйте, обратите только внимание...

— Позвольте, я на все обращу внимание, примите только в соображение финансы и богатство Англии...

— Финансы Англии! Но вы посмотрите на Ирландию.

[1] Мосье.

— На Ирландию? Это пустяки! на нее не должно смотреть, она в стороне.

— В стороне! и очень в стороне от благосостояния...

— Нисколько! Если б не О'Коннель, мы бы ничего и не слышали об Ирландии.

— Даже и голоду бы там не было.

— Без всякого сомнения!

— Ха, ха, ха, ха!

— Ничего нет смешного: народ, вместо того чтоб пахать землю, бросился отыскивать свои права!!

— Пахать землю! Ха, ха, ха, ха! А болезни картофеля? [1]

— Ба! такие случайности вводить в политические соображения!

— Chavez-vous, [2] — сказал Волобуж, которому надоела эта возня рассуждений о политике.

Все обратили на него внимание.

— Chavez-vous, я думаю, что дела сами собою показывают, на что̀ должно обратить внимание... главное, земледелие.

— Так, но теперь главный факт есть то, что земледелие в Европе в ужасном упадке... разберем.

— Эту тему отложите, — сказал случившийся тут агроном: — я был в Европе и обращал на этот предмет внимание, исследовал всё на месте.

— И видели возделанные оазисы посреди пустыни.

— Но какие оазисы!

[1] Почти исключительно картофельное питание в низших классах Ирландии, жестоко эксплоатировавшихся в ту пору английской буржуазией, вело к вырождению и болезням худосочия, получившим название картофельной болезни.

[2] Знаете.

— Ах, ты, господи! Да что за штука золото обратить в золотые колосья!..

Это восклицание возбудило общий смех; но спор продолжался бы бесконечно, если бы не раздалось: «кушать подано!» Мысли самых горячих спорщиков внезапно вынырнули из бездонной глубины, и все, как будто по слову марш! двинулись в столовую.

Иван Иванович угощал московского гостя как будто у себя дома и возбуждал в нем аппетит своим собственным примером. Магнат дивился и на Ивана Ивановича и на многих ему подобных, как адовы уста, которые также но испорченности и раздражению вкуса глотают так жадно души au haut goût. [1]

— Русский стол похож, — сказал он, — на французский.

— О, нисколько: это французский стол, — сказал Иван Иванович: — иногда, для разнообразия, у нас бывают русские щи, ватрушки и особенно уха.

— Ах, да, chavez-vous, мне еще в Вене сказали, что в России свой собственный вкус не в употреблении. Впрочем, в самом деле: stchstchi! vatrouschky! oukha! diable! [2] Это невозможно ни прожевать, ни проглотить.

Гастрономическая острота возбудила снова общий смех и суждения о вкусах.

После обеда условная партия преферанса уселась за стол в infernale, [3] но Иван Иванович предуведомил, что в десять часов он должен ехать на свадьбу к Туруцкому.

[1] С великим удовольствием.
[2] Щи, ватрушки, уха, чорт побери.
[3] В адской.

— Сходят же с ума люди! Женятся в эти годы и на ком! — сказал князь.

— Это удивительно! — прибавил seigneur: — неужели в самом деле Туруцкий женится на француженке, которая содержалась в тюрьме и которую взял на поруки тюремный адвокат?

— Женится, — отвечал Иван Иванович: — но как хороша эта мадам де Мильвуа.

— Взята на поруки? выходит замуж, француженка? Мадам де Мильвуа? — спросил с удивлением Волобуж.

— А что? Неужели вы ее знаете?

— Статная женщина, не дурна собою, вместо улыбки какое-то вечное презрение ко всему окружающему.

— Именно так! Мне в ней только это и не понравилось. Так вы знаете ее? Да где же?

— Chavez-vous,[1] это моя страсть, я потерял ее из виду, и опять нахожу! .. выходит замуж, говорите вы?

— За одного богача.

— Браво!

— Где ж вы с ней встречались?

— Разумеется, в Париже.

— О, так ей приятно будет встретить вас здесь! .. И для Туруцкого, верно, будет это маленьким несчастием. Я скажу ей...

— Напрасно, она меня не знает; впрочем, я бы очень рад был возобновить маскарадное знакомство; я у нее непременно буду. Где она живет?

Иван Иванович рассказал адрес дома Туруцкого и звал Волобужа ехать вместе с ним в церковь смотреть русский обряд венчания.

[1] Знаете.

— Вместе не могу ехать, — отвечал он: — мне еще надо побывать дома; я приеду.

Партия преферанса скоро кончилась, князь вызывал на другую.

Иван Иванович соглашался, но Волобуж отказался решительно:

— В другое время хоть сто; я охотник играть в карты.

— Так завтра ко мне, — сказал князь: — мне желательно хоть сколько-нибудь воспользоваться пребыванием вашим в Москве, тем более, что вы верно долго у нас и не пробудете!

— Право сам не знаю: это зависит от обстоятельств, от собственного каприза или от каприза судьбы. У такого человека, как я, только эти два двигателя и есть.

Распростившись с своими партнёрами, Волобуж вышел из клуба, сел в коляску и велел ехать по сказанному адресу в дом Туруцкого.

— Так вот она где! Мадам де Мильвуа! Скажите, пожалуйста! — разговаривал он вслух сам с собою. — К ней, сейчас к ней! .. Посмотрим, узнает ли она меня! .. Выходит замуж! .. Это пустяки! Я ей не позволю выходить замуж! .. Это мечта! .. Несбыточное дело!

— Вот дом Туруцкого, — сказал наемный слуга, сидевший на козлах и облаченный в ливрею с галунами, на которых изображен был так называемый в рядах *общий дворянский герб*.

— На двор! к подъезду! — скомандовал магнат, и когда коляска подъехала к крыльцу, он выскочил из нее, не останавливаясь и не спрашивая у швейцара, дома ли господин, госпожа или господа, вбежал на лестницу, не оглядываясь ни на кого из

дежурных слуг, вскочивших с мест, прошел переднюю, как доктор, за которым посылали нарочно, которого ждут нетерпеливо, который торопится к опасно больному и который знает сам дорогу в самые отдаленные и заветные для гостей покои дома.

В зале однакож, встретив лакея, он крикнул:

— Мадам тут?

— Сюда, сюда пожалуйте-с.

По указанию своротив направо, Волобуж вошел в дамский кабинет, остановился, осмотрелся.

— Теперь куда? Прямо или влево?... здесь слышатся голоса...

Волобуж подошел к двери, хотел взять за ручку, но дверь вдруг отворилась и из нее вышел с картонкой в руках и с завитым хохлом что-то в роде французского петиметра.

— Мадам тут? — спросил Волобуж.

— Monsieur, она одевается.

— Хорошо!

И, пропустив парикмахера, он вошел в уборную, где сидела перед трюмо дама в пеньюаре и, казалось, любовалась роскошной уборкой головы.

— Кто тут? — проговорила она по-французски, не оглядываясь: — Я сказала, чтоб никто не смел входить, покуда я не позову!

— Madame,[1] я не слыхал этого приказания и прошу извинения, — сказал Волобуж, преклонив почтительно голову.

— Кто вы, сударь?

— Madame de Milvoie,[2] венгерский дворянин Волобуж осмеливается представиться вам...

[1] Мадам.

[2] Мадам Мильвуа.

— Что вам угодно? Это странно, входить без спросу!

— Простите меня, я хотел только удостовериться, действительно ли вы та особа, которой я был некогда не противен... Похожи... очень похожи!

— О, боже! — вскричала дама, всмотревшись в лицо магната.

— О, боже! она, она! — вскричал и Волобуж, приняв сценическую позу удивления: — Это ты, ты!

Дама затрепетала, дух ее занялся, бледность выступила на лице ее сквозь румяны; она походила на приподнявшегося из гроба мертвеца в венке и саване.

Она хотела, казалось, кликнуть людей, взялась за колокольчик, но дрожащие губы не могли издать звуку, поднявшаяся рука опала.

— Не тревожьтесь, не беспокойтесь, — сказал Волобуж: — прикажете кликнуть кого-нибудь? Сейчас же...

— Злодей! — проговорила она, задыхаясь...

— Так я запру двери.

И он повернул ключ в дверях.

— Чего ты хочешь от меня? ..

— Успокойтесь, пожалуйста, я ничего не хочу от вас, — отвечал Волобуж, садясь в кресло, — ни вещественного, ни духовного блага. Я только приехал поздравить вас с счастливым обеспечением судьбы вашей... и убедиться в ложном слухе, что будто вы выходите замуж... Я не поверил! ..

— Мерзавец! Поди вон отсюда! Оставь меня.

И она в исступлении вскочила и, казалось, хотела боксировать.

— Знаете ли что, — продолжал спокойно Волобуж:

On vit un jour une cruelle guerre,
Entre la poule et le coq,
Pendant le choc,
La poule en colère
Faisait: coq, coq!

Драгоценные серьги, цветы, локоны, вся уборка головы Саломеи трепетали, как от порывистого ветру листья на дереве; она без сил упала на кресла, закрыла глаза, закинула голову на спинку и, казалось, замерла, как убитая тигрица, стиснув зубы от ярости.

Волобуж продолжал преравнодушно нараспев:

Mais un silence heureux finit la paix aussitôt;
Le coq chanta coqueriquo;
Toujours la poule est contente
Quand le coq chante. [1]

— О, боже мой, я бессильна, я не могу избавиться от этого человека! — проговорила, как будто внезапно очнувшись, дама: — Оставьте, сударь, меня!

— Из чего, к чему горячиться? как будто нельзя сказать по-человечески всё то, что нужно? Все эти исступления доказывают только, что вы нездоровы, расстроены душевно и телесно. Ну, где ж вам выходить замуж, моя милая мадам де Мильвуа? Пустяки! Я вам просто не позволяю, и не извольте думать, выкиньте из головы эти причуды! Одного мужа вы пустили по-миру, другого хотите просто уморить, — нельзя, моя милая мадам де Мильвуа, невозможно! . .

[1] Как-то раз была жестокая война между курицей и петухом. Во время столкновения курица в гневе закричала ко-ко; наступило счастливое молчание мира, как только петух пропел ко-ке-ри-ко; курица всегда испытывает удовольствие, когда петух поет.

— Милостивый государь! — сказала вдруг решительным голосом дама: — я вас не знаю, что̀ вам угодно от меня? Кто вас звал? — И она бросилась к дверям, отперла их, крикнула: — Julie! позови людей! — И потом начала звонить в колокольчик.

— Всё это пустяки вы делаете, — сказал равнодушно Волобуж, развалившись в креслах.

— Что̀ прикажете? — спросила вбежавшая девушка.

— Позови... — начала было дама.

— Позвольте, не беспокойтесь, я сам прикажу: — прервал ее Волобуж, вскочив с места, — сидите! Я сам прикажу: поскорей воды, милая! барыне дурно! Постой, постой, возьми рецепт.

И он подбежал к столику, схватил листок бумаги, черкнул несколько слов и отдал девушке.

— Скорей в аптеку! бегом!

Девушка убежала. Дама, как помешанная, опустилась на диван, водила вокруг пылающими взорами. Грудь ее волновалась, как в бурю.

— Ничего, — сказал Волобуж, смотря на нее: — это пройдет. Пожалуйста, примите, что̀ я вам прописал... Adieu, madame! [1] Я тороплюсь в церковь посмотреть на жениха. Говорят, старикашка. Пожалуйста же, поберегитесь *выходить*. Я вам говорю не шутя! поберегитесь выходить за̀муж! на воздух же можете выходить когда угодно. Слышите? Adieu! ..

Волобуж кивнул головой и вышел.

— Ступай в церковь, в здешний приход! — крикнул он кучеру.

Простой народ толпился уже около церкви; но простого народу не впускали.

[1] Прощайте, мадам.

— Уж чего, гляди, и в храм-то божий не пускают! — ворчала одна старуха на паперти: — Подико-с, невидаль какая! .. Вели, батюшка, пустить, посмотреть на свадьбу, — крикнула она, ухватив Волобужа за руку.

— Кто не пускает?

— Да вот какие-то часовые взялись!

— Что за пустяки! Впустить! — крикнул Волобуж, входя в церковь. Там было уже довольно любопытных, в числе которых не малое число старцев, сверстников и сочленов Туруцкого. Все они как-то радостно улыбались; внутреннее довольство и сочувствие доброму примеру, что ни старость, ни дряхлость не мешают жениться, невольно высказывалось у них на лице.

— Я думаю, ему еще нет семидесяти, — говорил один из сверстников.

— О, помилуйте! и всех осемьдесят! Вы сколько себе считаете?

— Мне еще и семидесяти пяти нет.

— Неужели? Вы моложавы.

— Посмотрим, посмотрим на Туруцкого, как-то он вывезет! .. На француженке! .. Она уж у него давно?

— Вероятно.

— Ну, в таком случае понятно, для чего он женится... Ah, monsieur de Volobouge! [1] Вам также любопытно видеть свадьбу? Свадьба замечательная; эта чета хоть кого удивит: жениху за семьдесят лет.

— Что ж такое, — отвечал Волобуж: — chavez vous, [2] лета ничего не значат; кому определено прожить, например, сто лет, тот в семьдесят только

[1] Ах, мосье Волобуж.
[2] Знаете.

что возмужал; а кому тридцать, того в двадцать пять должно считать старше семидесятилетнего.

— А что̀ вы думаете, это совершенная правда.

— Сейчас едет барин, — сказал торопливо вошедший человек в ливрее старосте церковному: — свечи-то готовы?

— Готовы.

— Что̀, брат, слово-то мое сбылось, что пансионерок-то заводят для того, чтоб жениться на них.

— Уж ты говори! — отвечал староста, — греха-то теперь на свете и не оберешься!

— Чу! едут.

Все оборотились к дверям.

Вслед за Иваном Ивановичем и толпою других *провожатых* вошел жених, Платон Васильевич Турцкий, поддерживаемый человеком.

— Вот, вот он, вот! — раздался общий шопот.

— Э-э-э, какой сморчок! .. Да где ж ему... Ах ты, господи! ..

— Ну, роскошь! — сказал сам себе наш магнат.

Платон Васильевич, бодрясь, на сколько хватало сил, подошел к налою, перекрестился, посмотрел вокруг, поклонился и спросил Ивана Ивановича: — Поехали ли за невестой?

— Как же, как же! .. Ah, monsieur de Volobouge! .. Посмотрите-ка, каков? ..

— Молодец!

— А вот увидите невесту, также молодец, bel femme.[1]

— Скоро будет? ..

— А вот сейчас.

Насмотревшись на жениха, все снова устремили глаза ко входу в храм, в ожидании невесты. Чуть приотворится дверь...

[1] Красавица.

— Вот, вот, верно она! ..

Общий шопот затихнет.

— Нет, не она.

Долго длилось напрасное ожидание. Наконец вошел запыхавшись Борис, и прямо к барину, сказал что̀-то ему на̀-ухо. Но Платон Васильевич верно не расслышал.

— А! едет? — проговорил он и побежал к дверям.

— Едет, едет! — повторилось посреди затишья. Снова все устремили глаза на двери.

Иван Иванович, разговаривавший с магнатом, побежал к дверям.

— Где же? Экой какой! Сам побежал высаживать из кареты! .. Что̀ же? .. где Платон Васильевич?

— Да они поехали домой, сударь, — сказал бегущий лакей: — что̀-то случилось такое; невеста, говорят заболела...

— Что̀-о? Вот чудеса! — сказал Иван Иванович: — слышите, господа? невеста заболела! да это верно просто дурнота... Невеста заболела! — повторил Иван Иванович, обращаясь к Волобужу: — я поеду, узнаю.

— Ну, какую наделал я суматоху! — сказал Волобуж, проталкивая народ, который стеснился в дверях с нерешимостью, ждать или выходить из церкви.

III

В море житейское впадают разные реки и потоки, вытекающие из гор, озер и болот, образующиеся из ливней и тающих снегов и так далее. У каждого народа свое море житейское. У кого оно *авксинское*, у другого *эвксинское*, белое, черное, красное,

синее и т. д. Из числа случайных потоков, впадающих в описываемое нами море, потоков, которые текут не по руслу, а как попало, был Чаров, о котором мы уже упомянули. Помните, он предлагал свои услуги и приют в своем доме Саломее, в роли несчастной мадам де Мильвуа. Набравшись воды от разлива ли рек, или от ливней, он вздулся и туда же клубил мутные волны, впадал в море, как какая-нибудь знаменитая река. В древности, когда поклонялись еще рекам, какой-нибудь греческий герой-путешественник верно поставил бы при устье его жертвенник в честь глупой фортуны.

Как бы вам изобразить Чарова яснее? Представьте себе милую, прекрасную, очаровательную женщину, которая сидит скромно, нисколько не думая вызывать на себя искательные взоры и лукавое внимание, и вдруг неизвестный ей мужчина, с сигарой в зубах, руки в карманах пальтò, проходя ленивою поступью мимо, смотря на всех, как начальник на подчиненных, заметил ее, остановился, пыхнул дымом, уставил ничего не говорящие, даже не любопытные глаза и рассматривает преравнодушно с головы до ног, как турок продажную невольницу. Смущение ее для него нипочем: худое мнение, как о человеке дерзком, его не заботит: видал он и получше ее скромниц и притворщиц в обществе, для которых первый tête-à-tête [1] с порядочным человеком — полный роман с приступом, завязкой и развязкой. Все женщины, которые не были таковы, казались ему уродами; и потому, после первого осмотра с головы до ног или обратно, на них не стоило уже и смотреть: «c'est de la drogue», [2] говорил он и шел далее.

[1] С глазу на глаз.

[2] Это дрянь.

Чаров был статный мужчина, лет тридцати, среднего росту, с наклонностью растолстеть под старость; носил усы и козлиную бородку. Выражение лица неопределенное, немного с винегретной приправой, глаза тусклые, голос изнеженный, речь медленная: уста как будто воротом вытягивали каждое слово из кладезя его ума на язык. Это был упитанный и изнеженный и родителями, и воспитателями, и богатством, и слепым счастием женообразный баловень, без дум, без страстей, без особенных желаний, но полный причуд. Он привык с малолетства, чтоб за ним всё ухаживало, потешало его обычай, смешило. Опасаясь, чтоб что-нибудь не потревожило слабого здоровья ребенка, мать боялась противоречить ему и умасливала его детское сердце всем, чем угодно, когда он топал ногою и кричал. Какой-то бежавший с галер невинный француз был его гувернёром. Он не затмил его разума, как наставник-немец; но напротив, открыл ему глаза и поставил на точку, с которой все вещи и люди кажутся в карикатурном виде, и нельзя не кощунствовать над ними и не называть уродами.

Когда Чаров взрос, его записали на службу, но он служил, как обыкновенно служат все приписные к службе, являющиеся к должности только для получения жалованья или вышедших наград. Не успев еще вступить в возраст мужа, Чаров приобрел уже право, на законном основании, расточать наследие. При этом условии все двери светских храмин перед ним были настежь, и у Чарова была тьма мимолетных друзей и приятелей во всяком роде, возрасте и звании, с которыми он обходился, как причудливый барин с своей подобострастной дворней; из каждого делал для потехи своей шута

и без церемоний называл скотиной и уродом. Эта дружеская брань, как говорится: «на вороту не висла»; к ней точно так же привыкали, как к звуку mon cher.[1] Он, правда, не говорил просто: «скотина», но протяжно и приязненно: ска-а-тина! — а известно, что le ton fait la musique.[2]

Одевался он, не рассуждая, что̀ к лицу, что̀ нет; но всё на нем было новомодно, тонко, мягко, гладко, бело, глянцевито. Во всем в нем было какое-то нравственное и физическое утомление, казалось, что и сам он давно бы на покой; но самолюбие было еще молодо, денег бездна, надо было куда-нибудь их девать; а между тем все прискучило, приелось. Бросать же деньги без позыва, без аппетиту, по прихоти чужой, он не любил, был скуп до скряжничества. Истощившись душевными силами, он, наконец, стал искать повсюду и во всем возбудительного. На женщин он тоже смотрел с этой целью и желал найти женщину энергичную, которая оживила бы и его собственную энергию.

Когда иные из близких его, замечая в нем хандру, просто, здорово живешь или по наставлению какой-нибудь близкой или знакомой маменьки, думали поджечь его на женитьбу и спрашивали: что̀ он не женится?

— Ска-а-тина! — отвечал Чаров зевая: — тебе для чего понадобилась моя жена? С чего ты взял, что я заведу для тебя жену, когда она собственно для меня не нужна?

— Как будто я для себя, mon cher, прошу тебя жениться.

— Еще глупее, если для кого-нибудь другого.

[1] Мой милый.
[2] Тон делает музыку.

— Для тебя собственно, чтоб ты не хандрил.

— Это еще глупее; ты у-урод, братец! Ты бы лучше придумал: женись сам; je te ferai cocu,[1] ска-а-тина; это меня порассеет немножко.

Охотников угождать в этом случае однакоже не находилось и предложения faire partie d'un mariage[2] не удавались.

У Чарова был великолепный дом со всеми причудами современной роскоши. Современную роскошь ни в сказках сказать, ни пером описать. Современная роскошь состоит из таких minuties,[3] которые надо рассматривать в солнечный телескоп; состоит не из произведений искусств и художеств, а из произведений ремесленных. Таков век, по Сеньке и шапка, да еще и красная. Чаров употребил на реставрацию отеческого дома тысяч триста. Плафоны, карнизы, стены, всё блистало, горело золотом, несмотря на то, что на весь этот блеск Крумбюгель употребил только один пуд латуни.

Чаров жил в доме один; но ни в одном доме, набитом семьей, не было такой полноты и тесноты, когда хозяин был дома. Залы и гостиные пустели только во время его отсутствия; а между тем, в каждый миг дня кто-нибудь подъезжал к резным дверям, выкрашенным под бронзу, спрашивал: «Чаров дома?» и вздыхал, когда отвечал швейцар: «Никак нет-с». Но едва Чаров возвращался домой, усталый, одурелый или опьянелый, следом за ним откуда ни возьмется стая дышущих к нему страстной дружбой; так и валят один за одним, как на званый вечер.

[1] Я тебе наставлю рога.

[2] Вступить в супружество.

[3] Мелочей.

— А! это ты? — говорил он первому приехавшему, зёвая, отдуваясь или разглаживая распахнутую грудь: — Как я устал! залягу спать! ..

— Что̀ ж и прекрасно!

— У-урод! разумеется прекрасно; ха-ха-ха!

— А вечер, дома?

— Вечер? Что̀ такое ввечеру сегодня? балет? да, балет.

— Так прощай, mon cher. [1]

— Куда?

— Поеду к Комахину.

— Врешь! Сиди! .. Подайте ему сигару! ..

И Чаров шел спать.

Первый посетитель, исполняя приказ Чарова сидеть, сидел, как дежурный, зевая, в ожидании других посетителей.

Ожидание было непродолжительно: первый стук экипажа по мостовой верно утихнет у подъезда дома Чарова. Смотришь, влетит в комнату на всех парусах какой-нибудь mannequin, только что ушедший из магазина француза портного, и проговорит автоматически:

— А! mon cher, [1] что̀, Чаров дома?

— А! mon cher! [1] дома.

— Eh bien, [2] что̀, как?

— Где был?

— Чорт знает где! фу, устал!

Третий, четвертый, пятый, десятый посетитель не спрашивал уже дома ли хозяин, но спрашивал себе сигару. Гостиные наполнялись более и более дельным народом, образцовыми произведениями века и представителями его. Го̀вор ужасный; — рассказы, остроты, блеск ума, превыспренние суж-

[1] Мой милый.
[2] Ну.

дения, политика, ха, ха, ха, и, словом все роды звуков, которые издает звонкая голова.

Проснувшись, Чаров находит уже штаб свой готовым ко всем его распоряжениям, к дислокации около ломберных столов или к диспозиции похождений.

— Mon cher! Tcharoff! [1] Что̀, спал, mon cher?

— Bête que tu est, mon cher, [2] ты видишь, что я зеваю с просонков? Что̀ ж ты спрашиваешь? — отвечает Чаров, зевая, как ад, и проходя мимо бросившихся навстречу без внимания к толпе, окружающей оратора. — Что̀ это? Какая-нибудь новая эпиграмма? Аносов, повтори вчерашнюю... как бишь?

— Ну, что̀, — отвечал Аносов, молодой поэт высшего тона.

— Да ну же, когда говорят, так повторяй; ты на то поэт, ска-а-тина!..

Жестокое приказание поддерживается в угождение Чарову общей просьбой.

— Повтори, Аносов!.. C'est délicieux! [3]

— Как, как? — спрашивает Чаров, прислушиваясь к шепелявому языку поэта, — как? и дураку... какая шапка не пристала? Повтори еще! Я выучу наизусть и буду читать в клубе.

— Как это можно! Ни за что̀!

— Ха, ска-а-тина! боится!..

— Кто со мной в оперу?

— Ты едешь?

— Едешь.

— А нас звала с тобой Людинская на вечер; ты дал слово.

[1] Мой милый! Чаров!
[2] Ну, и дурак ты, мой милый.
[3] Это восхитительно.

— Не поеду я к этой дуре! .. Это милая дура; она только очень умно предложила мне быть у нее... Я приехал, и вообрази: вдруг посылает звать своего мужа и знакомит меня с своим мужем... Очень нужно мне знать, что у нее есть муж, какая-нибудь ска-а-тина! ..

— Да-таки скотина, просто дурак! Представь себе, я ангажировал ее у Камельских на польку-мазурку, а он вдруг говорит ей, при мне: поедем, Леля, я худо себя чувствую, — и она должна была против воли ехать.

— Так ты думаешь, что он приревновал, струсил тебя, у-урод!

— Ну, этого я не хочу на себя брать; но как будто жена сиделка у больного мужа! .. Она мила, но бесхарактерна, она не должна была ехать, давши мне слово! ..

— Ска-а-тина, — проговорил Чароз, надев на голову шляпу и смотрясь в зеркало. — Ну; едем! .. Мне хочется поспеть к третьему действию.

В театре Чаров никогда не обращал внимания на то, чтò играют, и может быть хорошо делал. Он смотрел на сцену тогда только, когда являлась какая-нибудь танцовщица в зиде *парашюта* и кружилась pied en l'air.[1] Все остальное время, вылупив глаза в *лупу*, он, как астроном, направлял свой телескоп на созвездия лож и наблюдал, нет ли какой-нибудь новой звезды.

Из театра Чаров отправлялся чаще всего в клуб; но если где-нибудь был бал, Чарову из приличия невозможно было *не заехать* на бал; но он не был из числа полотёров, он всегда становился где-нибудь на юру залы, как наблюдатель смотрел з лица танцующих и беседующих пар и кощунствовал и над

[1] В воздухе, не касаясь земли.

зародышами любви, и над созревшею любовью, и над всем, что̀ сквозило сквозь рядно бального костюма.

— Ecoutez, messieurs,[1] — говорил он толпе молодежи, которая всегда его окружала: — замучьте, пожалуйста, эту пристяжную... Дрянь! как она манерится... Allez, allez.[2] Не давайте ей отдыху! Ах, жаль, что нет арапника!.. Ecoutez, честное слово: замучить до полусмерти, слышите? а завтра поедем все с визитом; если застанем еще в живых, так верно в горячке, в бреду от счастия, что на балу она была интереснее всех, всех собой очаровала и ей не давали ни на минуту покоя...

Настроив молодежь на какую-нибудь выходку или сплетни, Чаров отправлялся к делу. Счастливый в картах, он был несчастлив в любви, несмотря на то что был богат и очень недурен собою. Один только раз в жизни и предалось было ему непокупное сердце, да и то случайно, в минуту отчаяния, когда страждущая от любви женщина готова броситься из огня в полымя, или на нож хирурга, с мольбою, чтоб он вырезал ей больное сердце.

В миг упоения, предшествующий полному забвению чувств, в Чарове разыгралось не сердце, а самолюбие.

— Ска-а-тина этот Рамирский, — сказал он: — думал отбить у меня мою Мери!..

— Тогда я не была твоею, ему нѐ у кого было отбивать моего сердца! — произнесла вспыхнув Мери Нильская, вольный казак после смерти дряхлого мужа, не испытавшая еще блага любви.

— Полно! терпеть не могу притворства, а письмо?

[1] Послушайте, господа.
[2] Ну же, ну.

помнишь, ты мне написала: cher ami...[1] не помню о чем-то... тьму нежностей.

— Нежностей? в то время? Я припоминаю, что я о чем-то просила; но обыкновенные дружеские выражения принимать за нежности! Это странно!

— Однакож и Рамирский не хуже меня понял, и этого достаточно было ему, чтоб излечиться от глупости волочиться за женщиной, которая уже любит другого, бежать, провалиться сквозь землю...

— И он... он понял это письмо по вашему смыслу? вы показывали это письмо... ему... как доказательство моей любви!.. — проговорила Нильская с чувством негодования.

— Что̀ ж такое? Он, у-род, простофиля, вдруг вздумал сондировать мои отношения с тобою; я, говорит, не могу понять этой женщины, кокетствует ли она со мною, как и со всеми, или в ней есть чувства: я, говорит, в нее страстно влюблен. Мне, право, стало жаль, что его сердечные волны бьются о камень; mon cher, я говорю, об этом надо было подумать пораньше: на твое предложение она тебе скажет: engagée, monsieur,[2] и только.

— О, Боже мой, не говорите мне больше, довольно!

— Это что̀ такое, ma chère?.. — спросил удивленный Чаров.

— Ничего; как было ничего, так и есть ничего! — отвечала Нильская, бросив на него взгляд презрения и удаляясь.

— Хм! Скажите, пожалуйста!—проговорил Чаров с холодной усмешкой: — с каким громом руши-

[1] Дорогой друг.
[2] Занята, мосье.

лись нежные оковы любви! Верно под старой кожей, ma chére, которую ты сбрасываешь, наросла новая.

Чаров без особенного горя отретировался от Нильской, которая, встретив в Рамирском человека по душе и по сердцу, но вдруг, без всякой видимой причины, оставленная им, хотела заглушить страдание апатическим чувством к искателю, выйти снова замуж и растратить душу на суету внешней жизни. Богатство Чарова могло очень хорошо способствовать этому решению, и в то же время самолюбие внушило ей мысль, что она в состоянии будет сделать из него порядочного человека.

Сердце Чарова стояло всегда около градуса замерзания, и потому он не сочувствовал и не понимал в других быстрых переходов от тридцати градусов жару на тридцать холоду; но всё-таки рассердился.

— Что ты не в духе сегодня? — спросил его первый встречный приятель.

— Отстань, у-урод! .. — отвечал он, — я не в духе; напротив, меня задушила эта проклятая Нильская! .. Это просто нечистый дух, понтийское болото! .. тьфу! Я не советую никому сближаться с ней! .. Поедем к Танюше!

В таборах глубоко уважали Чарова; встречали как благодетеля и милостивца. Табор, который удостоивал он своими посещениями, считал это явлением самого *дивела*. По всей улице высыплет египетское племя, как сыпь.

Чаров велит хору грянуть: «Моя миленькая!», и весь хор, обступив его, так и взрывает звуки, так и взбрасывает, так и вскидывает голоса в перебой, в перерыв, в перелив, — кипит ключом.

Чаров сидит безучастно, развалясь на креслах,

зевает; или, соскучившись, начнет трясти ногами, крикнет: баста! и едет со свитой своей в клуб.

В клубе почет ему не хуже табора. Там игрокам без него грустно, зевакам скучно. Там он игрок *инфернальный*. Когда Чаров играет, тогда из самых отдаленных стран, из *лектюрной*, из *детской*, отовсюду бегут смотреть, даже из *каминной* поднимаются с своих обычных мест три вечных сидня и идут в infernale.[1] Риск Чарова, что̀ называется, благороден, счастье Чарову везет, как машина в 777 тысяч сил.

Когда какая-нибудь карта дерзнет ему проиграть, он преравнодушно оглашает ее *скотиной*, рвет и бросает под стол. Наказывая так беспощадно виновные карты, он как будто нагоняет страх и на все прочие. Редкая проиграет ему, разве по неосторожности, без всякого намерения проиграть. Но он на эту неумышленность не смотрел, как законы Дракона на неумышленных преступников.

Невозможно, чтоб в каком бы то ни было человеке не было ровно ничего хорошего. Именно в Чарове вся светская пошлость дошла до изящества; на его изнеженность, которая достигла высшей степени развития и обратилась в *разгильдяйность*, нельзя было равнодушно смотреть! надо было хохотать или беситься; но в образованном кругу хохотать можно, а выходить из себя неприлично. Чаров был циник высшего круга. Все, что̀ аристократизировало, было с ним знакомо, следовательно и верхолетные (de haut volée) ученые и литераторы. Он бывал на их утрах, обедах и вечерах; смотрел, зевая и потягиваясь в креслах, на их прения, покуда шел шум, а драки еще нет. Но едва прения принимали вид боя и декламирующие руки начинали

[1] В адскую.

уподобляться воздымаемым мечам на поражение врага, Чаров, в подражание философу-собаке, хамкнет, и разъяренные спорщики, как будто по манию волшебного жезла, заливаются громким смехом.

Чаров особенно терпеть не мог греческих богов и философов, римских добродетелей и героев и современных апофеозов силы ума и учености, даже терпеть не мог Наполеона и Гегеля. Едва имя Гегеля начинало чересчур греметь, —

— Ска-а-тина, у-урод, колбаса немецкая ваш Гегель! Мочи нет, надоел! — восклицал Чаров.

Подобное громкое определение заключало спор и смиряло воюющие партии.

Мы упомянули уже, что Чаров для возбуждения деятельности своих чувств искал женщины энергической. Русские дамы не нравились ему, особенно после неудачного романа с Нильской. Он возненавидел их и называл русское женское сердце «сиднем»: само собою не двигается, а двигать — с места не двинешь.

Когда ему возражали и доказывали, что образованную, прекрасную русскую львицу теперь невозможно уже отличить от парижской, что русские дамы имеют особенную способность постигать всю ловкость, утонченность и изящество тона сен-жерменских салонов, что̀ это им делает честь. . .

— А тебе удовольствие, ска-а-тина? Подайте же ему полушампанского да сигару внутреннего производства из тютюну!

— Браво, браво! Ха, ха, ха, ха,—и рукоплескания повещали по всем комнатам остроту Чарова. Но он был равнодушен к славе своего ума и, нисколько не одушевляясь общим восторгом, продолжал спокойно речь свою об отвращении ко всему поддель-

ному и заключал ее словами: — «А я за всех твоих дам гроша не дам!»

Новый хохот и рукоплескания прерывали его; но он продолжал:

— А как же иначе, у-урод? а? .. Если б, например, я вздумал жениться... Не для тебя, ска-а-тина... а для себя... Если б я вздумал жениться на светской, образованной, милой женщине, то разумеется женился бы на француженке. так ли?

— Так, так, уж, конечно, так, — кричал один.

— Да от чего же не на русской, mon cher, — вопрошал кто-нибудь, привыкший к возражениям; потому что возражая на все, можно также прослыть человеком умным, понимающим вещи, словом, мыслителем.

— У-урод! ты ничего не понимаешь! .. от того, ска-а-тина, что я не хочу видеть какую-нибудь рожицу, на которой оттиснута чужая образина.

— Впрочем, что̀ ж особенного и во француженках?

— Как что̀? Cette grace, ce je ne sais quoi...[1] Словом... ты, кажется, видел француженку у Далина?

— Нет, не видал, говорят, что не дурна.

— Не дурна! .. Да вот как не дурна: я бы женился на ней, если б хоть на грош имел способности быть глупым мужем. Право! Я бы взял ее к себе, да она, какая-то гадина, каналья; какой-то выродок, старообрядка, с какой-то национальной гордостью, свинья!

— Кто с национальной гордостью? .. — спросил, подходя, один из большесветских юных мужей, во фраке с круглыми фалдами, в пестрой жилетке, в

[1] Это грация, что-то непостижимое.

роде кофты. — Кто с национальной гордостью? Что̀ за гордость национальная? Скажите, messieurs, какая быть может гордость национальная? Например, я...

— Например, ты... — начал было Чаров.

— Нет, mon cher, не шутя, ты о чем говорил? скажи, пожалуйста, о какой нации?

— Да дай договорить! у-урод!.. — крикнул Чаров.

— Ну, говори, говори!

— Я хотел сказать, прежде всего, что ты, братец, ска-а-тина! Не выслушаешь и врешь.

— Non, vous badinez! [1] ведь я не знал, о чем вы тут рассуждали; я сказал только свое мнение... например, французская нация...

— Да молчи! Я пошлю за полицией, чтоб тебе рот заткнули!

— Ну, ну, говори! Что̀ ты хотел сказать?

— Ты знаешь француженку, что̀ у Далина?

— Какую это француженку, что̀ в кондитерской, у... Файе? ah, une très jolie brune!.. [2] Представь себе...

— Иван! — крикнул Чаров: — беги в часть, скажи, что вот у него в трубе загорелось.

— Да я не понимаю, о ком ты говоришь? Какая француженка?.. Ах, та, та, что у Далина.. Madame, madame... [3] Чорт ее знает... Знаю, знаю... я спрашивал у него, он говорил, что она теперь у Туруцкого в компаньонках.

— У Туруцкого? — прервал франтик в очках хриплым, стариковским голосом: — Туруцкий — холостяк.

[1] Нет, вы шутите.
[2] Ах, очень красивая брюнетка.
[3] Мадам, мадам.

— Ну, что̀ ж такое?

— Как, что̀ ж такое?

— Ну, конечно, что̀ за беда?

— Вот забавно; старикашка древнее Москвы.

— Стало быть, он был на пиру, который давал Святослав?

— Не знаю, братец; надо справиться в новой поэме в лицах.

— Послушай, тебе кто говорил? Сам Далин?

— Что̀, mon cher?

— Mon cher, ты ска-а-тина, ничего не слушаешь!.. Тебе кто говорил про француженку? Далин?

— Далин, Далин; он сам мне говорил: именно, кажется, мне сам...

— Не может быть!

— Вот прекрасно, помилуй!

— Да врешь, братец, ты, ска-а-тина, все перепутал!

Интересуясь француженкой, Чаров отправился сам к Далину, и вместе с ним, вы помните, к Саломее. Узнав про ее странное, несколько двусмысленное положение в доме Туруцкого, а вскоре потом, что она выходит за него зàмуж, Чаров так озлился на всех француженок, что всю ненависть свою к русским взвалил на них, называя безнравственными куклами, которые приезжают только развращать русские невинные и неопытные женские сердца, и не только женские, но и мужские и даже старческие.

— Ты что̀-то вдруг, mon cher, переменил свое мнение о француженках.

— Ну, врешь, у-урод, я не меняю своих мнений, может быть пьяный говорил другое... Знаете, messieurs, что теперь вся аристократия Франции

перенимает тон и манеры у русских дам, приезжающих в Париж, ей-богу!

— Вот видишь, ты спорил, mon cher, со мною; положим, что грация принадлежит француженкам; но... ce je ne sais quoi [1] принадлежит именно русским дамам.

— А что̀ ты думаешь, — сказал Чаров, — не следуй они глупой французской моде ходить в лоскутьях и не называй себя «дамами», тогда бы это je ne sais quoi объяснилось, ну, что̀ за нелепое название dame, dame, dame! Ну, что̀ — «дам». [2]

— Браво, браво, Чаров!..

Вошедший человек с письмом помешал расхохотаться как следует.

— От кого? — спросил Чаров.

— С городской почты.

— А!.. Что̀ за чорт... monsieur... Чья это незнакомая женская рука? — Чаров пробежал письмо и вдруг, вскочив с места, крикнул: — Карету! Одеваться!

— Куда ты взбеленился?

— Нужно, дело, неотлагаемое дело!

— Да доиграй, братец, партию.

— Мечта! некогда!.. adieu, enfants de la patrie, le jour de la gloire est arrivé! [3]

И Чаров, откуда взялась прыть, побежал в свою уборную; потому что и у него была уборная, которая годилась бы любой даме. Тут было трюмо̀, тут было всё, все роды несессеров.

[1] Что-то непостижимое.

[2] Здесь Чаров играет французским произношением слова дама: дам, мосье.

[3] «Прощайте, сыны отечества, день славы настал» — первый стих марсельезы, в котором Чаров заменил лишь первое слово «идем» (allons) словом «прощайте» (adieu).

— Одеваться! — повторил он, бросаясь на кушетку и читая следующие строки, писанные по-французски:

«Вы встретили меня у господина Далина как жертву несчастия и предлагали кров и покровительство. Я колебалась принять ваше предложение, потому что боялась ожить душою, мне хотелось быть где-нибудь погребенной заживо, не в столице, а в деревне. Предложение господина Туруцкого было сходнее с моим желанием. Но судьба послала мне новую беду. Старик влюбился в меня без памяти, предложил мне свою руку. Я чувствовала, что этому больному добряку нужна не жена, а заботливая нянька. Мысль, что я могу успокоить, усладить его старость нежными заботами, соблазнила меня, увлекла мое пылкое сердце, склонное к добру. Я решилась. Но когда пришла торжественная минута, во мне не стало сил посвятить жизнь на то, чтоб лелеять и баюкать труп. Я заболела. И теперь не знаю, что̀ делать. Выведите меня из этого ужасного положения; приезжайте ко мне сейчас же по получении записки, мне необходимо с вами говорить... При первой встрече с вами я оценила вас...

Эрнестина»

— Эрнестина! Ах, какое имя! Эй! — крикнул Чаров.

— Чего изволите? — спросил вошедший камердинер.

— И я так худо понял ее!.. Ну, что̀ ж, одеваться-то!

— Что̀ изволите надеть?

— Ска-а-тина! карету скорей!..

— Карету подали-с.

— Шляпу!

— А одеваться-то-с?

— Пьфу, урод! Ничего не скажет! Давай.

Чаров, как ошалелый, торопясь влезть скорей в платье, то попадал не туда ногою, то рукою, разорвал несколько пар жилетов и фраков и, наконец, схватил шляпу и поскакал.



ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

I

— Так вот, брат, Борис Игнатьич, какой казус!

— Да, вот оно; подико-сь, разбирай.

— Да!

— О-хо-хо!

— Ну, а он-то что?

— Он-то? постоял-постоял, да и пошел, а теперь и валандайся с ним.

— Ах, ты, господи!.. Ну, а она-то что?

— А ей-то что? она ничего.

— Э, чу! — звонит барин.

— Слышу...

— Ступай!

— Так, брат, надоело ступать, что и не приведи господи... Что, кажется, за служба: «Эй, Борис!» — Чего прикажете, ваше превосходительство? — «Ну, что, как?» — Да ничего, слава богу. А потом опять: «Эй, Борис!» — «Ну, как, что?..» Вот-те и вся недолга. А поди-ко, вскочи с места раз сто в день, да столько же в ночь, да помайся маятником, так и узнаешь, как укатали бурку крутые сивки... пьфу! как укатали горку... Ну! замолола!.. Чего изволите?

— Что, как здоровье Эрнестины... Петровны?

— Я вам сейчас изволил докладывать... Ох, бишь, ваше превосходительство изволили спрашивать.

— Что спрашивать?
— Да о здоровье госпожи мадамы.
— Когда ж ты докладывал?
— Да вот, сейчас только.
— Сейчас! .. Ах, глупец! .. В час бог знает какие могут быть перемены! Поди! .. узнай... расспроси подробно... расспроси как что... да что̀ ж доктор? а?
— Я докладывал, что Жули говорит, что, дескать, вчера был их собственный доктор и прописал лекарство, порошки, а сегодня им неугодно доктора.
— Неугодно доктора? как же это можно! ..
— Да так, верно просто нездоровы, а не то чтобы больны.
— Просто нездоровы! Ах, глупец! .. Ее надо уговорить... я ее уговорю... Это невозможно... Давай... ну!
— Что прикажете?
— Дай... руку... пойдем.
— К чему ж, ваше превосходительство, беспокоиться-то вам: ведь уж несколько раз вы вчера изволили беспокоиться, а она и принимать вас не хочет.
— Не хочет! Как не хочет?.. врешь! Не может принять: это дело другое.
— Я так и доложил.
— Врешь, не так. Поди, узнай: лучше ли; да скажи Жюли, чтоб она... уговорила ее... уговорила... понимаешь? .. что нельзя... лекарство необходимо... слышишь? лекарство необходимо.
— Слышу, ваше превосходительство; ведь я уж, как изволили приказывать, раза три говорил... какое три, раз пять говорил, а Жули говорит, что они не хотят, то есть не могут принимать лекарства.
— Не могут? как не могут? — проговорил с ис-

пугом Платон Васильевич, приподняв голову с подушки вольтеровских кресел... — Не могут? Что̀ ж это значит! .. Что сделалось с ней? .. От меня верно скрывают опасность... верно, скрывают! ..

— Кто ж скрывает, сударь! Я так точно, аккуратно докладывал, как всё есть, без утайки. Что ж и таить-то: известно, что они не русские, так у них стало быть свои обычаи. Вот, ведь я по чести доложу вашему превосходительству, что сроду не видывал, чтоб какая-нибудь мадам лечилась. Примерно сказать, у Мускатовых была мадам: сроду не лечилась; да и больна-то никогда не бывала; да от чего и больной-то быть: кушают, так сказать, для виду, только слава, что кушают; а сидят всё дома, при детях; а на детей-то ветерок не пахни; так и простудиться-то нельзя...

Платон Васильевич смотрел на Бориса и, казалось, внимательно слушал его.

— А уж сами изволите знать, — продолжал Борис, — что все француженки на одну стать: здоровье-то и здоровьем нельзя назвать; а вся болезнь-то их — дурнота. Понюхают спирту — и прошло; не то, что у нас: уж если заболел, так и слёг, а как слёг, так не скоро подымешь...

Под говор Бориса Платон Васильевич забылся. Борис на цыпочках выбрался из спальни.

Только что Борис за дверь, вдруг снова колокольчик.

— Ах, ты, господи! — проговорил Борис, воротившись в спальню.

— Что̀ прикажете?

— Что, как? .. справлялся?

— Эх, ваше превосходительство, — заговорил Борис с досадой, — вот когда вы принимали пи-

люльки-то, так спокойнее и здоровее изволили быть, а как перестали принимать, так вот оно и не совсем хорошо, часто и не по себе. Ей-богу, изволили бы принять пилюльку, или за доктором бы послать, чтоб прописал свежих: те-то стали как сухой горох.

— Да, да, послать за доктором, послать скорей... она должно быть опасно больна!..

— Больна! — рассуждал Борис, выходя в переднюю, — видишь какую болезнь нагнала! Известное дело: просто раскапризилась; что-нибудь не по ней. А уж чего барин не накупил: одна шляпа с плюмажем чего стоит! двести рублей! Господи ты, боже мой! Шляпа двести рублей! Пьфу!.. Платок — муха крылом пробьет, пятьсот рублей!.. Туфли — пятьдесят! Фу, ты пропасть! провались она сквозь землю! шпильки, булавки, все брильянтовые!.. Вот она, старость-то!.. Спустя лето в лес по малину!.. Ступай брат, Вася, к нашему доктору; скажи, что, дескать, барин очення нездоров, так чтоб пожаловал скорее.

Покуда приехал доктор, Платон Васильевич успел раз десять взболтать в Борисе всю внутренность допросами о здоровье мадам Эрнестины.

— Божеское наказанье! Господи, когда это кончится! — взмолился Борис. Молитва его была услышана: только что он в двери, а доктор навстречу.

— Батюшка, Иван Федорович!—крикнул с радости Борис.

— Что барин? болен?

— Болен, сударь, верно.

— Опасно?

— А бог его знает, опасно ли, нет ли; обстоятельство-то такое, что бог его знает!.. Извольте посмотреть.

— Когда он заболел?

— Да вот уж давненько, всё так, не в себе, словно без памяти.

— Хм! Давненько! Для чего ж за мной тотчас не прислали?

— А каким же образом послать без господской воли? Прикажет, так и шлём.

— Чтò ж он теперь чувствует?

— А бог его знает... Тут ведь выходят такие обстоятельства... чтò не приходится говорить...

— Говори, говори.

— Ведь вам известно, чай, что у нас на пансионе мадам?

— Ну! — произнес доктор улыбнувшись, — так что ж такое?

— Хм! Как что? Ведь оно уж известно что...

— Чтò ж такое? говори.

— Известно, что барин вздумал на ней жениться.

— Неужели?

— Да-с, жениться; что ж бы, кажется, батюшка Иван Федорович, жениться не штука; да женись он на русской, так оно бы и ничего: знаешь, как за всё приняться, и поговорить и объясниться можно; а то, сударь, вздумал жениться на француженке!.. Ну, признательно вам сказать, тут уж не до ладу, а как бы не до мату.

— Чтò ж такое сделалось?

— Что сделалось? оно, кажись, и ничего: всё смирно, ни шуму, ни брани, тишина гробовая; да чтò ж из этого-то? Ты думаешь вдоль, а она поперек, ты так, а она так... и объяснения никакого нет!.. Будь она хоть мужичка, да русская, так и знал бы, как за нее взяться; а то... чорт, прости господи, ее знает!.. Вчерась, примерно, назначили

свадьбу; следовало бы уж в церковь ехать; а она, вдруг: «Ах! мне дурно! не могу!..» Ах, ты, господи! Известное дело: какой невесте перед замужством дурно не бывает, а она: не могу, да и не могу! Вот тебе и раз!.. В церковь не поехала, барина к себе на глаза не пускает, больна не больна — уперлась, да и кончено; а барин-то... да извольте посмотреть, сами увидите. Такой стал, что жалостно взглянуть. Если бы еще пилюльки принимал, что вы изволили прописывать, так оно бы может быть и ничего; а то и на пилюльки смотреть не хочет. Говоришь, говоришь: ваше презосходительство! вы кушать-то кушаете, а пилюльки-то не принимаете; а еще сами изволили сказать, что желудок ваш не варит, а пилюльки-то способствуют сварению желудка, — куда!..

Доктор, считая необходимым знать обстоятельства, от которых проистекали недуги пациента, терпеливо выслушал Бориса и, наконец, вошел в спальню Платона Васильевича.

Платон Васильевич сидел в вольтеровских креслах в каком-то онемении, положив руки на бочки. Он уже готов был взяться за колокольчик, когда вошел доктор.

— Борис! — начал было он: — ах, это вы, Иван Федорович! Что? были? Лучше?.. Прошла опасность?

— Здравствуйте, Платон Васильевич, — сказал доктор вместо ответа, садясь подле старика и всматриваясь в него.

— Прошла опасность? — повторил Платон Васильевич.

— Какая опасность?

— Стало быть, и не было опасности?

— Никакой... будьте спокойны.

— Ну, слава богу, слава богу!

— Вы несколько встревожены, — сказал доктор, взяв руку Платона Васильевича и щупая пульс.

— Очень натурально; нельзя же... Сон меня очень одолевает... Тут совсем бы не до спанья... а так и клонит...

— Это маленькая слабость. Я пропишу вам порошечки.

— Да, да, хорошо... крепительные... в мои лета не мешает подкрепиться иногда... мне же силы еще нужны...

— Конечно, конечно.

— Так никакой опасности нет, вы говорите?

— Ни малейшей.

— Слава богу; а меня так перепугало... Скажите, я по сию пору не понимаю, что за припадок... ведь это просто припадок был?

Доктор посмотрел на старика и отвечал:

— Да, просто припадок.

— Однакож я боюсь, чтоб он не возвратился... Пожалуйста, Иван Федорович, вы побудьте при ней...

— А вот, я посмотрю ее, — сказал Иван Федорович, которого подстрекало любопытство взглянуть на невесту Платона Васильевича. «Старики, — думал он, — имеют вкус в выборе».

— Да, да, да, посмотрите, — сказал Платон Васильевич, — да придите сказать мне.

— Непременно.

И доктор, сопровождаемый Борисом, пошел в дом.

Подле подъезду стояла карета. Доктор не обратил на это внимания, но Борис спросил у кучера:

— Ты, брат, с кем приехал?

— Ни с кем.

— Как ни с кем?

— Да так ни с кем.

— Да ты чей?

— Да ничей; экономической.

— Экая собака! Слова-то молвить добром не умеет! — сказал Борис сердито, торопясь за доктором, который, дорожа временем, ходил, всходил и нисходил не так, как те, которые растягивают свои шаги, слова и действия для сокращения времени.

— Пожалуйте сюда, — сказал Борис, отворяя двери, которые вели в комнаты, занимаемые Саломеей.

Доктор вошел.

Подле великолепного столика, уставленного всеми принадлежностям дамской канцелярии по департаменту сердечных сообщений, сидела дама в шляпке с пером, в бархатном бурнусе, перчатки на руках: по всему было видно, что она собралась уже куда-то ехать, но присела только затем, чтоб черкнуть коротенькую записочку — и марш по важному делу.

— Жюли! .. — крикнула она, вложив записку в конверт и вставая с места.

Доктор поклонился ей.

— Что̀ вам угодно? .. — спросила она, несколько смутясь.

— Я доктор. Мосье Туруцкий просил меня посетить больную... можно к ней войти.

— Здесь никого нет, кроме меня, а я не нуждаюсь в докторе, — отвечала сухо Саломея. — Жюли, ты отдашь письмо господину Туруцкому. Проводи меня до кареты.

Поклонясь доктору, она вышла.

— Что̀ ж это значит? — спросил изумленный доктор у Бориса.

— А бог ее знает, что! Изволите видеть сами? — отвечал Борис. — Вот она, француженка-то; изволите видеть? Делает, что хочет: здоровехонька, а говорит, что больна — и ничего, как с гуся вода. Я говорил барину: какая, дескать, это болезнь, ваше превосходительство, — это просто причуда. Вот оно так и вышло. А барин с ума сходит, гоняет узнавать о здоровье. Ах, ты, господи! Вот барыня-то!.. Жюли! Куда ж это поскакала госпожа-то твоя?

— А я почему знаю!.. — отвечала Юлия, вбегая на лестницу: — она только велела мне отдать это письмо генералу и сдать ему все вещи в целости и сохранности. — На, отдай барину.

— Вот тебе раз!.. Это что за штука? — сказал Борис.

— Стало быть, она совсем уехала, — прибавил доктор.

— Да если бы совсем, чорт с ней! Надо доложить барину...

— Постой, постой, — вскричал доктор: — это невозможно!.. Он не перенесет; надо его приготовить к этой неожиданности... Дай сюда письмо.

Слабо положенная облатка сама собою отстала, и доктор прочел:

«Милостивый Государь! Благодарю вас за оказанное мне внимание и еще больше за честь, которую вы хотели мне сделать, предлагая мне супружество с вами. Но я не нахожу в себе довольно сил принять эту честь, а потому не могу долее и оставаться в вашем доме; потому что это уже будет касаться до личной моей чести.

Эрнестина де Мильвуа

NB. Юлия вручит вам и деньги и вещи, которыми вы предлагали мне пользоваться».

— Это необыкновенная женщина! — вскричал доктор:— это редкий поступок! Иметь всю возможность воспользоваться безумием старика и не желать воспользоваться! ..

— Что̀ ж это такое, батюшка Иван Федорович? — спросил Борис.

— Она уехала совсем из дому, — отвечал доктор: — она благородно отказалась от предложения Платона Васильевича жениться на ней.

— Что̀ вы говорите?

— По твоим рассказам, я, бог знает, за кого принял эту женщину, а теперь я видел и понимаю ее. Какая благородная гордость! какое достоинство и в поступке и в самой ее наружности!

— А кто ж ее знал, сударь; как отгадать: ведь не поймешь ее; явилась сюда, бог знает, откуда; смотрит свысока, словно настоящая госпожа; распоряжается и барином и всем барским... а тут вдруг: на! пьфу! чорт с тобой! ничего мне не надо! .. Как тут понять-то что-нибудь?

— Нет, брат, Борис; это скорее всё были причуды самого Платона Васильевича.

— А бог его знает! И его-то вот с некоторой поры не поймешь: всё пошло у него на иностранный манер.

— Послушай же, Борис; ты не проговорись Платону Васильевичу, что она уехала, избави боже! Он не в таком положении. Я его подготовлю к этой новости: иначе он не перенесет.

— Слушаю, сударь; мне что̀ говорить.

Доктор пошел к старику, который, казалось, дремал и старался переломить дремоту.

— Что̀? Как здоровье Саломеи Петровны? — спросил он.

«Он в бреду», подумал доктор.

— Ей лучше; но нужно, чтоб никто не беспокоил ее.
— Слава богу! .. А я могу теперь навестить ее?
— О, нет! невозможно: это взволнует ее, и припадок может возобновиться.
— Припадок? У ней припадки? .. Ах, боже мой! Что ж это мне не сказали? Какие припадки? ..
— Нервические; это ничего.
— Может быть, от горьких воспоминаний... потеря родителей... и другие несчастия; она много перенесла несчастий... Я это всё знаю, хоть она и старается скрывать... я всё знаю.
— Вы засните, Платон Васильевич, не принуждайте себя бодриться: это не хорошо, это вас расслабит... Вот вам, через час по порошку... Вы теперь прилягте...
— Прилягу, прилягу... теперь я спокойнее, — отвечал Платон Васильевич.
Доктор прописал рецепт, наставил Бориса, когда и как давать лекарство барину, и уехал.
Платон Васильевич прилег; казалось, уснул.
— Слава тебе, господи! — сказал Борис, выходя.
Но вдруг снова звонок.
— Ах, ты, господи! Что̀ еще там? — крикнул опять Борис. — Чего изволите?
— Борис! .. Что̀? Как здоровье Эрнестины Петровны?
— Да ведь сам доктор сказал вашему превосходительству, что гораздо лучше.
— Лучше? Ну, слава богу! .. — проговорил Платон Васильевич: — слава богу! .. — повторил он, — я усну... истомился немножко. А ты, Борис, наведайся... и чуть что̀-нибудь — тотчас же разбуди меня... слышишь? Тотчас же!
— Слышу, сударь.

— То̀-то.

Проговорив это, Платон Васильевич в самом деле уснул крепким сном.

— Слава богу! — повторил опять и Борис, — сосну и я... мочи нет!.. Ну, уж, была тревога!.. Экая вещь! Смотри, пожалуй: в генеральши не пошла!.. Вот казус! Гордыня какая! Пава!.. Добро бы госпожа была... а то что? Ну, да чорт с ней!.. и генералу спокойнее будет; да и мне... а то, поди, бегай, да докладывай... что̀? как?..

Рассуждая таким образом, Борис, в надежде, что избавился от хлопот справляться о здоровье мадамы, сладко задремал, еще слаще заснул; вдруг — динь-динь-динь!

— Ах, ты, господи! Что̀ там еще?.. — Чего изволите?

— Борис! Что̀? как здоровье?.. — проговорил Платон Васильевич, приподнимая голову...

— Владыко ты мой, царь небесный!.. Да долго ли это будет!.. Да помилуйте, долго ли это будет? — повторил он.

На другой день, на третий, на четвертый, на пятый, на десятый, доктору:

— Долго ли мы будем обманывать барина?

— Что̀ ж делать, любезный! На этом обмане висит его жизнь, как на волоске.

— Ох, уж вы, господа!.. — проговорил Борис с сердцем.

— Ну, скажи ему, убей его, — сказал доктор.

— Господи, да что вы это! Что я за злодей такой своему барину!.. Мне что: пилюли-то давать через час, не лучше: всё равно десять раз барин спросит: на часы... Что ж будешь делать: наше дело холопское: благо, что теперь в дом-то тысячу раз на день

не побежишь справляться, здорова ли. Позвонит барин, спросит: что? как? Ну, сказал, что лучше, дескать, ваше превосходительство, да и кончено.

— То-то же, сам ты умная голова, да и сердце-то у тебя доброе, — сказал доктор.

— А с чего ж ему и злым-то быть: ведь что ж, если подумаешь, все люди, все человеки... прости, господи, согрешения вольные и невольные.

Этим здравым рассуждением кончились жалобы Бориса на тяготу докладывать барину тысячу раз на день об одном и том же. Ему стоило только понять, что для здоровья Платона Васильевича звуки: «Слава богу, получше» заменяли самые благотворные пилюли.

Таким образом, предоставив Платона Васильевича заботам и попечению искусного доктора и верного слуги, мы обратимся к Чарову.

II

На другой день после полученного от Эрнестины де Мильвуа пригласительного письма знакомые и приятели Чарова выбили всю мостовую у подъезда его дома, поминутно останавливаясь с вопросом: а что, дома Чаров? .. «Никак нет-с! ..» — отвечал всем швейцер. На третий день этот ответ заменился более положительным: «Не принимают-с, нездоровы».

— Что с ним сделалось?

— Не могу знать-с.

Прошло несколько дней. Дом Чарова как будто обратился в кокон червя в человеческом образе.

Посмотрим, как он там изменяется в бабочку.

Вот он в кабинете, развалился на диване и жжет сигару. Не в духе. Но язык его как будто развязался, во всех членах какое-то движение, глаза смотрят не наружу, а внутрь.

— У у-родина! .. — бормочет он сердито: — навязал себе на шею воплощенную добродетель! .. Недотрога, sensitive [1] проклятая! ..

В гостиной послышался звук рояля. Меланхолические аккорды как будто потрясли душу Чарова. Он вскочил, бросился из кабинета прямо в гостиную к роялю.

— Эрнестина! Ange! .. [2] помиримся!

— Я с вами не ссорилась; к чему же мир?

— Ты такая странная! .. Голова идет кругом! Знаешь что? Поедем прогуляться со мной, в кабриолете, за город.

— Это что значит? Мне, ехать с вами?

— Ну да, ну что̀ ж такое?

— Нет!

— Чорт! ..—проговорил Чаров отвернувшись:— это незыносимо!

— Точно невыносимо, — отвечала вставая с места Саломея: — и потому мы лучше расстанемся.

— Ни-ни-ни! .. Не сердись! Прости меня, не буду! .. Ну, embrasse! [3]

Саломея презрительно покачала головой.

— Если любишь?

— Вы прежде взвесьте свои собственные чувства, что̀ они в состоянии делать для того, кого любят.

— Я? я всё в состоянии сделать для тебя; всё, что только хочешь: говори, приказызай.

[1] То же, что и недотрога.
[2] Ангел.
[3] Обними.

— Приказывай! приказывают рабу. Вы не раб мой; но и я не буду наемной вашей рабыней!

— А! Так вам угодно... Понимаю!..

— Ничего, ровно ничего мне не угодно!.. Я в вас ошиблась и вижу, что вы еще ребенок, для которого каждая женщина кукла!.. Позвольте мне послать вашего человека.

— Куда-с?

— Нанять мне дом.

— Дом? Вам угодно меня оставить.

— Непременно!

— Нет-с, я вас не выпущу отсюда!

— Хм!..— произнесла Саломея с презрительной улыбкой.

— Не выпущу — и кончено!

— Странно! Кажется, я свободна, не жена ваша, чтоб позволить вам так располагать мною!

— Эрнестина!

— Monsieur!

— Фу, демон какой!..— проговорил Чаров по-русски, заходив по комнате.

— Я повторяю вам мою просьбу,— сказала Саломея.

— Какую-с?

— Я не желаю здесь оставаться...

— А я желаю. Я женюсь на вас.

— Я не могу переносить ваших шуток, увольте меня от них!.. О, какое несчастное создание женщина!..

Саломея бросилась на диван и закрыла глаза платком.

— Ну, виноват, виноват!— вскричал Чаров, припав перед ней и схватив ее руку.

— Оставьте меня, сударь!

— Эрнестина!.. я право не понимаю тебя: чего

же ты хочешь? .. Предлагаю все, что угодно, предлагаю себя... На, возьми!

— Мне ничего не нужно!

— Но я не могу без тебя жить... как хочешь, не могу! .. Мне, чорт знает, всё надоело! .. Только ты одна нужна мне...

— Позвольте, оставьте меня! .. Я не могу быть жертвой вашей прихоти...

— Ну, убей меня, а потом иди куда хочешь! .. Живой Чаров не пустит тебя от себя ни шагу! .. Слышишь? Ну, дай мне руку, дай, Эрнестина!

— Вы оскорбляете меня! .. вы злобно смеетесь надо мной! .. Вы думаете, что меня льстит ваше богатство?

— Ничего не думаю, ей-богу, ничего. Мне только нужна твоя любовь, любовь твоя.

— Любовь покупается только любовью.

— Но ведь я люблю тебя.

— Это любовь! — проговорила Саломея с усмешкой.

— Да какую же еще любовь тебе нужно? Чорт знает, право, женщины что-то воображают себе сверхъестественное в этой любви... Какая-то фантазия в голове; ну, не понимаю! Как тут понять?

— Кто не способен любить, тот и не способен понимать любви... Для вас нужна не любовь, а женщина... и все женщины для вас равны: вы привыкли только утолять чувства, привыкли покупать наслаждение... Вы не способны любить!

— Я не способен любить?! .. Нет, я прошу вас это доказать! — вскричал Чаров, вскочив с полу и заходив взад и вперед.

— Доказать! Любовь не требует доказательств, — проговорила спокойно Саломея,

— Ah, Dieu! [1] — вскричал снова Чаров исступленно, остановясь перед Саломеей: — если я буду угождать женщине, ухаживать за нею, ни о чем не думать кроме ее, — что это значит?

— Волокитство, — отвечала Саломея равнодушно.

— Если я отдам ей всё, что у меня есть, — что̀ это будет значить?

— Это будет значить, что вы думаете купить ее любовь ценою вашего состояния.

— Только? А если я буду считать ее божеством, истязаться, исполнять все женские ее причуды? Что это будет значить?

— Вашу собственную, мужскую причуду...

— Больше ничего?

— Ничего.

— А если я предложу ей себя, свое имя, всё, всё, всё, душу, жизнь... Ну, еще что̀?

— И всё это будет значить, что вы хотите добиться только до права сказать бедной женщине: «Ступай! довольно! надоела!»

— Ууу! — вскрикнул Чароз, схватив себя за волосы и бросясь на диван ничком.

Молчание продолжалось несколько минут.

— Что̀ ж, продолжайте ваши доказательства любви, — сказала Саломея насмешливым голосом.

— Довольно! — крикнул Чаров, вскочив с дивана.

Саломея вздрогнула.

— Grégoire! [2] — произнесла она тихим, смягченным голосом.

Чаров не отвечал. С какою-то стоическою твердостью он взял сигару, закурил и стал против окна.

[1] Ах, боже мой.
[2] Григорий!

— Теперь, я думаю, вы поняли себя и как отзываются в вас мои слова и чувства, — проговорила Саломея обиженным тоном, вставая с места: — теперь вы, надеюсь, позволите исполнить мое желание.

Ни слова не отвечая, Чаров продолжал смотреть в окно.

— Я вас просила позволить мне послать человека нанять мне дом.

— Извините, у меня нет человека для подобных рассылок по городу.

— В таком случае... я обойдусь и без этого одолжения...

И Саломея вышла из гостиной.

Чаров пошел следом за ней в уборную.

Торопливо надела она шляпку, накинула на себя бурнус.

— Эрнестина! — вскричал Чаров, схватив ее за руку.

— Позвольте мне итти?

— Ни за что! .. Ты моя! ..

— Я не ваша!

— Моя, во что бы ни стало! .. Ну, помиримся.

— Я не ссорилась.

— Ну, повтори, как ты меня назвала, повтори тем же голосом: Grégoire!

— К чему это?

— Ну, повтори, умоляю тебя.

— Довольно того, что я один раз забылась!

— Какая ты странная: сомневаться в моей любви! .. Послушай! я не люблю долго думать; завтра же мы едем в деревню.

— Для чего?

— Для чего! .. — проговорил Чаров, смотря страстно Саломее в глаза и целуя ее руку: — для

того, чтоб ты не сказала, что тебе неприлично ездить со мной прогуливаться.

— Grégoire, — произнесла нежно Саломея, — велите запрягать кабриолет.

— Для чего? — спросил и Чаров в свою очередь.

— Поедем в парк; мне нужен воздух; у меня болит голова.

— Эрнестина! — вскрикнул в восторге Чаров.

Известно, что в природе всё, что живет, что молодо, то растет; что в зрелом возрасте, то *добреет*. Москва по сию пору растет и добреет, хоть некоторые приращения и похожи на tuberculia,[1] грибы и тому подобные наросты, неизбежные при сгущении и застое соков. Например, недавно еще между Тверской заставой и Петровским дворцом было чистое поле, и вдруг, посмотрите, как парк прирос к Москве.

Летом в городе душно, жарко, невыносимо. Пойдем подышать свежим деревенским воздухом, пойдем от пылу страстей подышать прохладой благодати. Да ты, душа моя, не утомишься ли от похода за деревенским воздухом? Ведь он теперь за тридевять поприщ от города: десять поприщ надо пройти по раскаленной каменке, да три в вихре пыли от тысячи колесниц, наполненных *легкими*, жаждущими свободного дыхания. Где ж деревенской-то воздух? В Сокольниках? что-то пахнет лазаретом. В Останкине? в Кунцове? в Петровском-Разумовском? что-то пахнет городом. Здесь еще не ходи на распашку, душа моя, не раскидывайся на лужок: неприлично, лужков мять не приказано: читала ты, что́ на доске написано? Здесь не деревня, а дача. До деревни к восходу солнца не дойдешь, а нам к

[1] Бугорки,

закату надо уж дома быть. Устала? Не ходить было из огня в полымя. Зато будет что порассказать:

Экипажей-то, экипажей! народу тьма-тьмущая! а пыль-то, пыль, господи! Дохнуть нельзя; родного перед носом в лицо не узнаешь!..! И музыка была, трубили, трубили... а как пошел дождик — ну, барыни-то все с славной фалбарой домой поехали — хохочут, и мы хохочем.

А какая пыль от Тверских ворот до парка и в парке. Вот пыль! такой пыли нигде нет, разве в Сахаре, когда поднимется самум. И что за раскошная картина смотреть вдоль шоссе на заходящее солнце. Точно в Питер катит на паровозе, само воду в котле кипятит, раскалилось, как уголь, мчится себе, а следом огненная туча.

В один прекрасный вечер число пользующихся пылью парка было необыкновенно велико. Два ряда экипажей тянулись мимо вокзала. Там раздавались песни цыган. Около перил, по тротуару, толкалась публика; преклонные лета сидели на скамьях и стульях под деревьями; цветущее юношество болталось и болтало. Иной мудрец сказал бы, что всё это глупость, безобразие, и в справедливом гневе отправил бы публику, гуляющую под самумом Сахары, за лунный хребет на съедение африканским львам, тиграм, шакалам; но странен мудрец, который ропщет на *большой свет*. Где ж меньше простоты и больше мудрости, как не в большом свете?

Вот едущая публика глазеет на идущую, идущая на едущую, и удивляются друг на друга: для чего одна едет, а другая идет? Это удивление продолжалось бы непрерывно до окончания гулянья; но вдруг в ряду экипажей явилась неожиданность: конь мчит одноколку, в одноколке Чаров, с Чаровым дама, на даме шляпка, на шляпке вуаль.

Это так поразило многих, что многие останови-лись, а за многими и все.

— Чаров! Чаров! — раздалось беглым огнем по стезе гуляющих.

— С кем это он?

— Кто это такая дама?

— Что за чудеса! Чаров с дамой!

— Странно! Это кажется... да нет, совсем нет!

— Regardez, mon cher, [1] ведь это Чаров.

— Вижу.

— Экой шут! Кого это он посадил с собой?

— Понять не могу!

— Bonjour, Чаров! Bonjour, mon cher! «Soyez heureux, mais ne m'oubliez pas. [2]

— Bonjour, ска-а-тина!

— Что это вы кричите! — проговорила Саломея вспыхнув: — я не могу слышать этого!

— Виноват, ma chère, [3] право, ведь это в самом деле ска-а-тина. Я ему дам такую oubliez [4] в рожу, что он будет знать.

— Хороши у вас приятели!

— Что ж делать: всё избранная, образованная молодежь.

— Это кто такая дама, которая не отвечает на ваш поклон?

— Это Нильская: она без памяти влюблена в меня и надеялась выйти замуж. Мне очень приятно ее побесить... Что ты, ma chère, закрылась вуалью? откинь, пожалуйста.

— Вот прекрасно! приятно дышать пылью.

[1] Смотри, мой милый!

[2] Добрый день, Чаров, добрый день, милый! Будь счастлив да не забывай меня.

[3] Моя милая.

[4] Забывай,

— Ну, пожалуйста, сделай одолжение; посмотри, все без вуали.

— Мне до других дела нет; притом же я сюда приехала не на показ!

— Ах, какая ты! Ну, сделай милость, откинь вуаль!

— Сделайте милость, поедемте назад.

— Вот забавно!

— Я вас прошу; я не могу выносить ни этой толпы, ни этой пыли.

— Нет, уж как хочешь, мы объедем несколько раз круг.

— Надеюсь, что вы насильно не будете меня возить.

— Ну, только один раз проедем парк.

— Если вам угодно; но это будет и первый и последний раз.

— Ах, какая ты несносная, Эрнестина! — крикнул Чаров с досадой, остановив вдруг лошадь и поворачивая назад, но так неосторожно, что дышло ехавшего позади экипажа ударило в кабриолет; лежачая рессора, несмотря на то, что на ней был английский штемпель, лопнула. Саломея вскрикнула, Чаров потерялся, испуганная лошадь взбеленилась, но к счастию какой-то мужчина, проходивший мимо, остановил ее и помог Саломее выйти из кабриолета.

— Чаров! вот не ожидал! — сказал он.

— Ах, Карачеев!.. это ты? Вот спасительная встреча!.. Перепугалась, ma chère?

— Ничего, — отвечала тревожно Саломея.

— Вот беда! как же тут быть? кабриолет сломан. У тебя здесь есть экипаж, mon cher?

— Я здесь живу на даче. Зайдите ко мне, отсюда не далеко; а между тем я велю заложить коляску...

Вам же необходимо успокоиться от испугу, — прибавил Карачеев, обращаясь к Саломее.

Она кивнула головой в знак благодарности за участие; а Чаров, отдавая жокею лошадь, вскричал: — И прекрасно! таким благодеянием нельзя не воспользоваться. Так пойдемте.

— Кто эта дама? — спросил Карачеев Чарова на ухо.

— Это... мадам де Мильвуа, — отвечал Чаров, подавая руку Саломее.

— «Что за мадам де Мильвуа, — подумал Карачеев, всматриваясь в черты Саломеи, сколько позволяла прозрачность вуаля. Черты как будто знакомы; но когда, где видал, он не мог припомнить. — Чудак! Верно какая-нибудь актриса!» Почти молча подошли они к даче.

— Вот мой эрмитаж, — сказал Карачеев. — А вот мой наследник, — продолжал он, подходя к палисаднику прекрасного домика, где на крыльце сидела кормилица с ребенком на руках. — Каков молодец?

— Славной, славной! Я также хочу позаботиться о наследнике, — сказал Чаров.

— Хм! Вы еще не женаты? — спросил Карачеев.

— Думаю скоро жениться.

Саломея отвернулась в сторону и прошла, не обратив ни малейшего внимания на ребенка.

— Madame! — проговорил Карачеев довольно сухо, досадуя на себя, что пригласил бог знает кого. — А где Катерина Петровна?

— Верно в саду, — отвечала кормилица.

— Пожалуйста, стакан воды, мне дурно, — сказала Саломея Чарову, входя в залу и садясь на соломенный стулик.

— Сейчас, я прикажу, — сказал Карачеев, —

но вам здесь неудобно; не угодно ли сюда в диванную... Тут вас никто не будет беспокоить.

— Отдохни, ma chère, — сказал Чаров, прозодив Саломею в боковую комнату.

— Пожалуйста, скорей домой! .. Какая здесь духота! .. — проговорила она утомленным голосом, припав на диван и откинув вуаль.

Между тем из саду вбежала в залу молоденькая женщина, хорошенькая собою, с простодушным веселым лицом.

— Как ты скоро воротился, — сказала она, взяв за руку Карачеева и приклонив голову к его плечу: — я думала, что ты будешь гулять до самого чаю.

— Я так и думал, — отвечал он, обнимая ее.

— Я рада, что ты пришел; maman такая грустная, разговорилась о прошлом, вспомнила о сестрице...

— Постой, Катенька; надо велеть запречь скорее коляску.

— Зачем?

— С одним моим знакомым в парке случилась беда! сломался экипаж... Он с какой-то дамой; я пригласил их к нам и обещал коляску доехать до Москвы.

— А где ж они?

— В диванной.

— А кто такие?

— Позволь, друг мой, я сейчас приду...

— Да скажи прежде.

— Ах, какая ты! .. Один петербургский знакомец, Чаров.

— Постой же, я прикажу.

— Нет, нет, я сам; а ты вели подать этой даме воды. Она немного перепугалась, ей дурно.

— Ах, боже мой, дурно! Что ж ты не сказал давно!

И молоденькая женщина бросилась было по порыву доброго чувства в диванную.

— Постой, постой, Катенька, не ходи... Чорт знает, кто она такая... может быть, какая-нибудь дрянь... Ведь этот Чаров беспутная голова.

— Mon cher, нет ли сигары? Да воды бы скорей... Ах, извините! — сказал Чаров, выходя из боковой комнаты и увидя даму.

— Сейчас, сейчас, велел подать, — отвечал Карачеев. — Катенька, это мосье Чаров. Рекомендую вам мою жену.

— С вами случилось несчастье? — приветливо спросила она.

— Дышлом разбило кабриолет и чуть-чуть не убило мою даму, — отвечал Чаров.

— Ах, боже мой! Где ж она?

— А вот здесь.

— Не нужно ли ей чего-нибудь? спирту, или одеколону?

— Воды, если можно.

— Воды? сейчас!

И миленькая хозяйка побежала сама за водой. Возвратясь с стаканом, она вошла в диванную.

Чаров вышел осмотреть разбитый свой кабриолет.

Саломея была одна в комнате; запрокинув голову на спинку дивана и свесив руки, она лежала в каком-то изнеможении.

— Вам дурно, — проговорила молоденькая хозяйка, подходя к ней осторожно.

— О, боже мой, Катя! — вскрикнула Саломея, приподняв голову и взглянув на нее.

Все члены ее затрепетали.

— Сестрица! — вскричала и молоденькая дама. — Сестрица!

И она радостно бросилась было к Саломее, но Саломея удержала этот порыв, схватиз ее за руку.

— Молчи! — проговорила она шопотом, но повелительно.

— Сестрица! — невольно повторила испуганная Катенька.

— Молчи, безумная! . О, она меня погубит! .. молчи! .. Поди прочь! .. И никому ни слова, что я здесь, что ты меня видела! ..

Катенька, сложив руки, стояла перед сестрой, не знала, что говорить, что̀ делать. На глазах ее навернулись слезы.

— Поди, поди! Или ты меня погубишь! — повторила Саломея вне себя, задушив голос свой, — и ни слова обо мне, слышишь? ..

— Сестрица... маменька здесь, — произнесла Катенька, отступив от нее.

— О, какая мука! она меня убьет!

— Сейчас коляска будет готова, — раздался в зале голос Карачеева.

— Ты слышала, что я тебе гозорю! — прошептала Саломея исступленно, бросив страшный взгляд на сестру.

Катенька вздрогнула и вышла из комнаты бледная, встревоженная.

— Что̀ с тобой, друг мой, Катенька? — спросил ее муж, заметив что-то необыкновенное во взглядах и движениях.

— Я... перепугалась, — проговорила она тихо, дрожащим голосом...

— Чего ты перепугалась?

— Она... ей дурно! ..

— О, боже мой! кто тебя просил входить туда!

Что за заботливость бог знает о ком! Какая-то мерзавка, а ты ухаживаешь!..

— Ах, боже мой, как тебе не стыдно... так бранить... мою... сестру, — хотела сказать Катенька, но опомнилась и у ней брызнули из глаз слезы.

— Да что с тобой! душа моя, — повторил Карачеев, обняв ее. — Чего тебе пугаться?

— Сама... не знаю... я вошла; а она вдруг вскрикнула; я так и затряслась...

— Дрянь эта перепугала ее!..

— Ах полно!.. Пойдем... она услышит.

— Вот беда!.. Ты знаешь ли, кто она?

— Ах, не говори...

— Да ты почему же знаешь эту француженку?

— Какую француженку?

— Вот эту...

— Я ее не знаю...

— Да, это какая-то француженка... Жокей Чарова сказал мне, что̀ она за птица... Вот пригласил!

— Ах... перестань!.. maman идет...

— Что ж за беда?

— Я боюсь... чтоб и она не перепугалась... пожалуйста, не впускай ее к ней...

— Да что ты, Катя, с ума что ли сошла?

Катенька бросилась навстречу матери.

— Пойдемте, маменька...

— Постой. Где эта дама? Мне сказала кормилица, что лошади разбили экипаж, ушибли какую-то даму, и что она у нас...

— Нет, маменька, нет, не ушибли... у ней так, дурнота только... припадок... пожалуйста, не входите туда...

— Что ты меня держишь! Ах, боже мой, верно до смерти убили!

— Нет, не беспокойтесь, особенного ничего, — сказал Карачеев: — дышлом разбило кабриолет одного моего знакомого... Повеса ужасный! вообразите, приехал на гулянье с какой-то француженкой.

— С француженкой? Ах, бедная! Где она? я, хочу ее видеть.

— Маменька! — проговорила Катенька, едва переводя дух от ужасу.

— Да пусти меня! Вы что-то от меня скрываете! .. — сказала Софья Васильевна и хотела уже войти в диванную, но дикий крик дочери остановил ее.

Катенька упала на руки к мужу; перепуганная мать бросилась к ней.

— Боже мой, что с ней сделалось? — повторял Карачеев.

— Маменька... душенька, — произнесла Катенька, схватив руку матери... дайте мне руку... дурно!

— Что с тобой, Катя?

— Не знаю сама... боль страшная... доведите меня в спальню...

— Пошлите скорее за доктором! — сказала Софья Васильевна, придерживая дочь.

— О, боже, боже, ее как будто сглазила эта проклятая! .. Скорей отправить их и сказать, чтоб коляска заехала за доктором.

И Карачеев побежал сам в конюшню.

Между тем Саломея, припав лицом к шитой подушке дивана, судорожно вздрагивала, и взволнованная грудь ее издавала глухой стон.

Вдруг раздался в зале голос Софьи Васильевны и болезненное восклицание сестры.

Саломея вскочила с ужасом, бросилась к двери,

но как будто полымя обожгло ее, и она, окинув испуганным блуждающим взором комнату, выпрыгнула в открытое окно, под навес крыльца, и сбежала на дорожку будущей аллеи, которую покуда заменяли тумбы и зеленые столбики огородки тротуаров. Удаляясь от гуляющих в сторону, она скоро очутилась около пруда и, утомленная, бросилась на скамью.

Осмотревшись кругом с боязнию и не видя никого, она свободно перевела дыхание.

За деревьями вдруг послышались голоса. Саломея вздрогнула, хотела снова бежать; но это были двое молодых людей. Она успокоилась и склонила голову на руку.

— Уединение от печали, — сказал один из них, проходя мимо ее.

— Нет, это, кажется, печаль от уединения, — сказал другой. — Ступай, пожалуйста, убирайся от меня.

— Ну полно, оставь; это что-то порядочное.

— Тем лучше; мне и хочется чего-нибудь comme il faut.[1] Ступай, ступай! mon cher.

— Дудки, любезный! — сказал первый удаляясь.

Оставшийся молодой человек, очень приятной наружности, но с плутовскими глазами, подсел к Саломее.

— Как приятно уединение, — сказал он, вздохнув: — ах, как приятно!

Саломея приподняла голову, взглянула на молодого человека и дух ее замер.

— Георгий! — проговорила она; но без звука, так тихо, что казалось только дыхание ее разрешилось этим именем.

[1] Благовоспитанного.

— Но совершенное уединение — несчастие, — сказал молодой человек, как будто сам себе, бросив на Саломею страстный взор.

— Георгий! — позторила Саломея столь же тихо, — «и это он!»

— Вы позволите мне разделить с вами здесь уединение? — спросил молодой человек, обращаясь к ней.

«О, какие скверные мужчины, даже в эти лета! и это он!» — подумала Саломея, удаляясь.

— Куда вы бежите от меня? Чего вы испугались?

Саломея пошла по дорожке, выходящей на шоссѐ.

Молодой человек следовал за ней.

— Барыня, а барыня! подавать, что ли? — крикнул с шоссе извозчик Ванька, приостановив свою клячу. — Ась? извольте садиться!

Кровь закипела в Саломее.

— Боже, — проговорила она сама себе, — что мне делать! Куда я пойду!

— Что ж, барыня? — повторил извозчик, — подавать, что ль?

Саломея остановилась в отчаянии.

— Вы, кажется, заблудились? — сказал молодой человек, подходя к ней, — позвольте вас проводить?

— Georges! — вскричала Саломея вне себя.

Молодой человек вспыхнул, оробел от недоумения.

«Кто это такая? — подумал он, — она меня знает!»

— Georges! .. — повторила Саломея смягченным голосом, откинув вуаль: — не стыдно ли тебе?

— Это вы, вы! — вскричал молодой человек, бросясь к ней.

— Это я... Какая встреча!.. Как ты переменился! ..— сказала взволнованная Саломея. И она забылась, обняла юношу, того самого Георгия, которого хотела образовать в пример всем мужчинам.

О, милый друг! Теперь с тобою радость;
А я один — и мой печален путь...

раздался голос товарища из-за куста.

— Ах, пусти! — проговорила Саломея, отталкивая от себя Георгия.

— Не бойтесь, это мой товарищ.

— Мне всё равно; бог знает, что подумает он обо мне... Но... «Что мне делать?» — подумала Саломея. — Послушай, друг мой Георгий... Ты сам, бог знает, за кого меня принял... я не знаю, где я найду теперь мужа...

— Вы замужем? ..

— Замужем, — произнесла Саломея:—но, боже мой, найдет ли меня муж? .. У нас сломался экипаж, лошади понесли... во мне замерло сердце и я не помню... Не знаю, как очутилась здесь одна... Георгий, ты меня проводишь.

— Как угодно. Ах, как вы переменились, как зы похорошели!

— Я утомилась, пойдем, сядем; покуда разъедутся все и покуда смеркнется.. мне совестно итти пешком с тобой.

— Как можно пешком такую даль, надо взять извозчика.

— Это страшно! .. Погодим... Расскажи мне, каким образом очутился ты здесь.

— История не долга: батюшка прислал меня сюда к одному знакомому на руки, с тем, чтоб он озаботился приготовить меня к университетскому экзамену для поступления на службу. Вот я и гото-

влюсь; но толку будет мало: я чувствую в себе призвание к музыке. Душа просит гармонических звуков, чтоб высказать чувства свои, отвечать голосу природы! Вы открыли во мне это призвание...

— О, Георгий! как ты хорош! Я предвидела в тебе страстную душу, для которой нет иных выражений.

— А вы? скажите мне, куда вы исчезли вдруг? Это по сию пору тайна для всех нас. Батюшка стал еще угрюмее, привязчивее, скупее: только и знает, что считает деньги, а жалуется, что скоро принужден будет итти по миру... мне не высылает даже на необходимое, и я живу на чужой счет...

— Бедный!

— Право, мне совестно, я наделал кучу долгов... Скажите же, куда вы пропали?

— Мне невозможно было оставаться... А тебя это огорчило?

— Ах, если б вы знали!

— Бедный Георгий, мне только тебя одного и было жаль!

Георгий схватил руку Саломеи.

— Вы любили меня?

— О, любила!

— А теперь?

— Теперь?..

— Обнимите меня, как прежде обнимали.

— Я тебя любила и обнимала, как сына.

— Ну, хоть как сына.

— Полно, Георгий, полно!

О, милый друг! Теперь с тобою радость;
А я один — и мой печален путь...

раздался снова напев товарища в кустах.

Саломея оттолкнула от себя Георгия.

— Не бойтесь, это мой товарищ...

— Это всё равно для меня!

— Quousque tandem abutere, o Catilina, patientia nostra![1] — крикнул Георгий.

— Mea res agitur, paries cum proximi ardet,[2] — отвечал тозарищ, уходя.

Между тем совершенно уже смерклось.

— Боже мой, уж темно, — сказала Саломея: — пойдем, ты должен меня проводить до дому... Ты знаешь Чарова?

— Нет.

— Как же мы отыщем его дом?

— Трудно узнать! — отвечал Георгий, взяв Саломею под-руку.

И они вышли на шоссе.

За извозчиками дело не стало.

— Прикажете подавать, господа, что̀ ли? — крикнул один.

— Ах, поедем скорей! Я не знаю, что̀ обо мне подумают... Что̀ я скажу мужу?

— Что̀ ж, господа, садитесь, довезу!

— Пошел ты, Ванька! — крикнул Георгий.

— Обознались! — отзечал извозчик.

— Как быть, пролеток нет; придется ехать на Ваньке.

— Ах, уж всё равно, — отвечала Саломея.

— Эй! давай!

Георгий вскочил на калибер верхом.

— Подвинься, дурень.

— Да и то почти на хвосте у коня, — отвечал извозчик, прижавшись, как пласт, к передку.

[1] Доколе ты будешь злоупотреблять нашим терпением, Катилина (фраза из речи Цицерона против Катилины).

[2] Мое дело идет, когда стена ближнего горит (латинская поговорка).

С трудом усадил Георгий Саломею в ущелье между собой и Ванькой.

— О, боже мой, я упаду! — вскрикнула она, когда извозчик хлыстнул вожжей по кляче.

Помчалась чалая к Тверской заставе.

— Держи меня, держи, Георгий, я упаду! — раздавалось и по шоссе и по мостовой.

III

Что делает Чаров?

Когда запрягли и подали коляску, Чаров вбежал в диванную комнату.

— Едем, ma chère! .. Где ж она? .. Ты не видала, милая, куда вышла дама? — спросил он у проходившей горничной девушки.

— Не видала-с.

— Чтò за чудеса! .. Mon cher Карачеев! ..

— Ах, извините, пожалуйста, что я вас оставил на минуту, — отозвался Карачеев, выходя в залу: — жене моей дурно.

— Да что дурно, — прервал Чаров: — я не знаю, куда девалась мадам Мильвуа?

— Может быть, она в саду?

— Может быть.

Они пошли в сад.

— Нет! .. Пропала! .. — повторял Чаров, обходив все дорожки небольшого сада.

— Кто видел, куда пошла дама? — допрашивал Карачеев у людей.

Никто не видал.

— Чтò за чудеса!

— Верно, она вышла в парк.

— Не может быть! — сказал Чаров.

Но после долгих поисков и расспросов, он побе-

жал в парк, околесил все дорожки, всматривался во все лица. . .

— Нет!

— Чаров, Чаров! — кричали встречные приятели: — куда ты?

— Ах, пошел, ска-а-тина! — отвечал он, толкая от себя и приятелей и знакомых.

— Кого ты ищешь?

— Не тебя, уу-род!

А Саломеи нет.

Чаров в отчаянии.

— Ах, проклятая! — повторял он сначала, с трудом переводя дух от усталости; но скоро его взяло горе. Смерклось уже, а он ходил взад и вперед по всему парку, останавливался, и чуть завидит вдали какое-нибудь уединенное существо торопится к нему и всматривается в лицо, как будто забыв и наружность и одежду Саломеи, и подозревая, не приняла ли она на себя чужой образ.

Гуляющая публика стала редеть, разъезжаться; истомленный Чаров, как опьянелый, возвратился на дачу Карачеева.

— Что̀? Здесь она?

— Нет.

Чаров свистнул и бросился на крыльце на стул.

— Вам не нужен уже экипаж? — спросил Карачеев: — мне необходимо послать скорее за доктором.

— Что̀ такое? — спросил Чаров.

— Коляска вам нужна?

— Коляска? Чорт ли мне в коляске, когда ее нет!

— Так я отправлю, — сказал Карачеев.

— Кабриолет мой уехал? — спросил вдруг Чаров.

— Давно.

— Ну, так! верно она удрала в изломанном кабриолете! .. Нелепые женщины! .. Одолжите, пожалуйста, коляску, я поеду.

— Я коляску отправил за доктором, жена больна... и потому нельзя было ждать...

— Да что, кого ждать, — сказал Чаров, совершенно растерянный.

— Я пошлю за извозчиком.

— Да, да, в самом деле.

Карачееву было не до гостя. К счастью его, извозчика скоро нашли, Чаров вскочил на дрожки и велел гнать и в хвост и в голову.

— Приехала домой эта дама?

— Какая-с?

— Дурак! Какая! спрашивает! ..

— Никак нет-с.

— Как нет-с?

— Никто еще не изволил приезжать.

— Вот тебе раз... Что теперь делать?

И Чаров в отчаянии ходил по комнатам, свистел, распевал, закуривал сигару, бросал снова, прислушивался к стуку экипажей, смотрел в окно; но на улицах все притихло.

— Пропала! — проговорил он, наконец: — ну, чорт с ней! Авось сама отыщется.

Но беспокойное чувство одолевало Чарова; он велел запречь коляску, бранился за медленность и, наконец, вскочил в нее и крикнул: «в парк!»

Подъезжая уже к Тверским воротам, он как будто очнулся и потер голову.

— Куда ж меня чорт несет? .. Пошел к Аносову.

Поэт уже покоился крепким сном. Чаров поднял тревогу у ворот, перебудил весь дом, пробрался в спальню к поэту, крикнул: — Скаатина! спит! Вставай, ууурод!

Испуганный поэт вскочил.

— Что̀ такое? — вскричал он с просонок.

— Вставай, скаатина! Читай какие-нибудь стихи! Ну!

— Ах, Чаров, это ты?

Аносов встал, надел халат, а Чаров бросился на его постель, растянулся и — ни слова; а, наконец, захрапел.

Часу в девятом утра, по улице, на которой красовался дом Чарова, окрашенный модной краской, под цвет глины, ехала закрытая коляска. Не доезжая до дому, коляска остановилась.

— Прощай, мой Георгий! Боже мой, как я тебя люблю!

— Когда ж мы увидимся?

— Я тебя уведомлю.

— Прощай!

— Au revoir! [1]

Молодой человек выскочил из коляски, поцеловал свои пальцы, сдунул поцелуй и исчез. Коляска продолжала путь к дому Чарова; из нее вышла Саломея.

Вскоре и Чаров возвратился домой. Он проспал до позднего утра у Аносова.

Как будто̀ после тревожного сна, в котором он ловил за хвост счастье, в виде очаровательного существа, и не поймал, Чарову тяжело зевалось.

— Барышня изволила приехать, — сказал ему швейцар.

— Какая барышня?

— Мамзель-то-с, или мадам, то есть-с.

— Приехала? — вскричал Чаров, очнувшись от онемения чувств: — где она?

[1] До свидания.

И он вбежал на лестницу, шагая против обыкновения через три ступеньки на четвертую.

— Эрнестина! — раздалось по всему дому. — Эрнестина! где ты была?

— Ах, оставьте меня! Дайте мне отдохнуть от всего, что я перенесла!

— Ну, отдохни, и я отдохну в ногах у тебя!

Чаров бросился на ковер, припал головой к коленям Саломеи.

— Истомился! Всю ночь проискал тебя по парку, — продолжал Чаров: — да скажи же, пожалуйста, где ты пропадала?

— Пропадала! .. Вы не понимаете, какому сраму вы меня подзергали! .. Для вас честь женщины ничтò!

— Да чем же я виноват, Эрнестина? Я виноват, что какой-то чорт наехал дышлом на кабриолет? .. Но ведь только маленький испуг... Но каково мне было, когда я хватился тебя, а тебя вдруг нет! .. Ищу, ищу, нет... Где ты была?

— Да, я бежала оттуда; если бы вы слышали, чтò говорили про меня без вас в зале хозяева...

— Чтò?

— Странно! Вы спрашиваете! .. Я не могла перенести этого, я ушла... Я бежала не помня себя, не знаю куда... упала без памяти... подле какого-то дому, на дороге... К счастью, хозяйка дома приняла во мне участие... Иначе бог знает, чтò бы могло со мной случиться...

— Мерзавец этот Карачеев! ..

— Он, кажется, женат... я слышала в зале женские голоса? — спросила Саломея.

— Женат на Брониной. Да! постой! надо приказать, чтоб никого не принимали... Я было с отчаяния поручил звать к себе всех приятелей! .. А

лучше всего поедем сейчас же в деревню... нечего медлить! Правда, Эрнестина? Ты на меня не сердишься?

Саломея подала в знак примирения руку.

Несколько часов спустя у подъезда дома Чарова напрасно звонили и стучали в двери его приятели и знакомцы. Никто не отзывался, Чаров был уже в дороге.

В спокойной дорожной спальне Саломея, закрыв глаза, закинула голову в угол на подушку; а Чаров, приклонясь к ней, рассказывал историю про Петра Григорьевича Бронина.

Саломея безмолвно слушала, но часто содрогалось в ней сердце и судорожный вздох теснил грудь; особенно при рассказе про старшую дочь Бронина.

— Это, говорят, такой был зверь-девка, что ужас; с зубами родилась; у кормилицы отгрызла груди, а у няньки нос... je vous assure, ma chère!..[1] Говорят, ma chère, что мать ее в беременности испугалась бешеного волка... и это имело влияние на характер дочери. Она, говорят, не могла смотреть на людей без остервенения, так и скалила зубы, чтоб укусить.

— Какие пустяки вы рассказываете!

— Кроме шуток. Грызла отца и мать и, наконец, вышла за̀муж за какую-то собаку, переела ему горло, да и бежала! Просто в лес ушла, и ни слуху ни духу... Я видел ее мужа: пьянюга, таскается по улицам да просит то на родины, то на похороны жены.

— Ах, полноте, пожалуйста! Какие вы странные вещи рассказываете! — вскрикнула снова Саломея.

[1] Уверяю вас, моя милая!..

— Je vous assure, ma chère,[1] вот еще недавно, докладывают мне, что пришел какой-то отставной офицер. . .

— Перестаньте! Я не могу слушать таких ужасов! . .

— Какая ты, ma chère, слабонервная, право!

Не нужно говорить, что Чаров не Дмитрицкий, несмотря на то, что точно так же, как Дмитрицкий, ехал в дормезе вдвоем с Саломеей. Дмитрицкий был счастлив в любви, а Чаров в картах, и это составляло их главную разницу; между тем как по свойствам страсти каждого надо бы было им поменяться счастьем.

Имение Чарова было верстах в полутораста от Москвы. В нем еще не так давно жил его старый отец, вдовцом. Построив себе дом со всеми удобствами для старческой неги, этот седой филин оставил по себе память. Главным его занятием и заботой были свадьбы. Он ужасно как любил свадьбы: в деревнях его не было ни одного парня, ни одного паренька.

Когда этому седому филину случалось догадываться, что ему желают все от чистого сердца смерти, воображая, что дряхлому старику жизнь уже в тягость, тогда он твердил всем: «Врете вы, собаки, не тогда умру, когда вам хочется, а тогда умру, когда сам захочу».

И действительно жил-жил и дотянул канитель жизни почти до ста лет, сохранив все чувства, память и любовь к свадьбам. Наконец, волею или неволею, умер.

Сын Чарова, как мы видели, был светский человек, не занимался устройством наследственного имения; и вот в селе Притычине расплодились и ста-

[1] Я вас уверяю, моя милая.

рые девки и молодые парни. Бывало в году более двенадцати медовых месяцев; а тут вдруг ни одного; верно надоели свадьбы. Барский двор опустел. Сторожа стерегли дом снаружи, а внутри всё само собою было в целости и сохранности; и управляющий и Трифон, на руках которого был дом, боялись входить в него: хозяин умер; но хозяйский страх всё еще как будто расхаживал по пустым комнатам и грозил, чтоб никто ни до чего не смел дотрогиваться.

Прошло несколько лет; а известно, что всё живо только духом человеческим. Без него тля истлила бы земной шар, не только что дом отца Чарова со всеми принадлежностями. Неожиданно приехал сын, и вдруг всё зажило новой жизнью.

— Барин, барин молодой приехал! — кричали по селу от мала до велика; и вот ребятишки, бабы, девки, парни, мужики, десятские, старосты бегут во двор боярский.

Там управляющий стоял уже подле кареты и помогал молодому барину выходить из нее, молодой барин высаживал молодую барыню, а домохранитель Трифон, запыхавшись, отпирал дом, ставни...

— Это-то батюшкины палаты? — спросил Чаров, посмотрев на поседелый дом. Крыша заросла мохом и местами березовым кустарником, стены несколько похилились.

— Это развалины! — проговорила Саломея, смотря на все с отвращением: — куда вы меня привезли?..

— Это всё мигом устроится, ma chère, — отвечал Чаров.

— Боже мой, какая сырость, духота, мертвенность! Всё истлело!.. Это гроб; тут недостает только трупа! — повторяла Саломея: — мне страшно!

Люди бросились вытирать пыль с мебели; но, увы, вместе с пылью стирается, как прах, и истлевшая шелковая материя. Дотронулись до занавесей — занавеси распались клочками.

Но новая жизнь, хотя с ужасом и отчаянием, а водворилась кое-как на развалинах старой.

Отказавшись навеки от своего имени, звания и своей собственной судьбы, Саломея как будто век была Эрнестиной де Мильвуа, несчастной вдовой, которая имеет право располагать своей рукою. Никогда и никто не внушал ей никаких правил и законов, которые бы связывали и обуздывали ее волю. Следовательно, воля ее была вполне свободна; а вследствие этого также свободно и независимо ни от какой любви сердце. В отношении отдачи руки она также не затруднялась: у ней было две руки. Отдав которую-то из них Яликову, она решилась отдать другую Чарозу, и... но оставим покуда эту нить рассказа и обратимся к другой, которая также входит в основу нашей узорчатой и волнистой ткани.

IV

За несколько времени до приезда Чарова в свое поместье в селении Притычине стоял полковой штаб. Штаб по нозому расписанию был переведен на новые квартиры, а полковой медик и хирург Иван Данилович Уваленъ по болезни остался на старой. Чтоб дать понятие о человеке, который впоследствии избавит нашу героиню от спазмов, мы почерпнули из моря житейского следующие об нем сведения.

По собственной охоте или по воле родительской, или так, ни с того, ни с сего, Иван Данилович Увалень, как говорится, пошел по медицине. На казен-

ный кошт изучил он чем кормить и поить человека, провинившегося против искусства быть здоровым; как *отнимать* у него всё, что мешает ему существовать на белом свете, и был определен в полковые медики. Тут было ему житье. Его «гигиена для военных» нравилась всем: он говорил, что так как вредная сырость в воздухе происходит от недостатка электричества, то и необходимо пополнять его в организме приемом алкоголя в чистой воде. Во время же жаров, для уравновешивания внутреннего жара с наружным, тот же прием, но в обратном приготовлении, и именно: не напоение алкоголя водой, но насыщение воды алкоголем.

При операциях он эфировал субъект свой для притупления чувствительности нервоз стаканом чистого алкоголя. Он говорил: «чтоб удачно *отнять* что-нибудь у человека, отними сперва у него память», и все операции его были необыкновенно счастливы. Субъект, которому он отнял, например, ногу, очнувшись, думал, что нога тут, а только на нее Иван Данилович наложил успокоительный пластырь.

Действуя предохранительными средствами, он ввел в употребление, чтоб каждый больной, кроме халата, имел непременно ларец с уравновешивающим температуру лекарством.

— Здоровье, — говорил он каждому из своих пациентов, — есть самая лучшая вещь в свете, а болезнь самая скверная, и потому надо избегать болезни. Если заболеешь и не присылай за мной: залечу, ей-богу, залечу. Медицина не дошла еще до совершенства; сам Гуфланд за нее не ручается; а я-то с какой стати буду за нее ручаться?

В самом деле, Иван Данилович терпеть не мог больных и жестоко бранил их.

— Эх, брат, подлинно дрянь! От болезни не умел предостеречь себя; а кажется простое дело: соблюдай температуру. Ну, что пропишу я тебе из латинской кухни, когда и русскую-то желудок не варит?

Иван Данилович славная душа; но когда заляжет спать, то уж не проси у него помощи. От кого бы ни пришли, ни прибежали, ни приехали за ним, денщик Филат, смотря по своему благоусмотрению, отвечал: «Дома нет! .. Уехал, да не бывал еще; и сам не знаю где». Или: «Нездоров Иван Данилович; сам на лекарстве». Исключение было только для полкобого командира или, лучше сказать, для полковницы. В таком случае и Филат не только не сердился, но будил его без цермоний: «От полковника вестовой. Извольте вставать, Иван Данилович!» — Когда же Иван Данилович сердился, что его беспокоят из каких-нибудь пустяков, тогда Филат угозаривал его и смирял его сердце здравым рассуждением, что «нельзя же, Иван Данилович, ведь это полковница. Прислал бы хоть адъютант полковой, или баталионный командир, да я и сам разве бы только с боку на бок перевернулся. Ну, а тут нельзя».

Филат заведывал не только всем хозяйством Ивана Даниловича, но даже домовой аптекой. — Подай-ко сюда, — скажет барин, — как бишь ее. . . — Что акву сатурновну? — спрашивал он, так только, по привычке спрашивать и чтоб показать, что мы, дескать, знаем, что кому из больных потребно. Он в самом деле применился к обычным недугам каждого из больных.

Филат был золотой человек: славно стряпал, славно умел залатать дырочку, бесподобно штопал чулки, отлично стирал белье.

— Велика мудрость стирать! — говорил он; — что, хуже я какой-нибудь прачки выстираю?.. Взял, отпарил в щелоку, выстирал в корыте, выполоскал на пруде, выжал хорошенько, да развесил, и прав; а выкатать не штука!

Из всего этого следовало, что, имея такого денщика, Ивану Даниловичу существенно не нужно было ни жены, ни дворни. Филату и в голову не приходило никогда, чтоб барин его женился; да и Ивану Даниловичу не шла на ум женитьба, тем более, что ему сроду не случалось лечить девушек. От дамских болезней он также отказывался, частию по природной застенчивости, а главное потому, что, бог знает, с чего вообразил он, что «женские болезни не суть болезни; следовательно и неизлечимы: слабость нервов, например, — говорил он, — какая ж это болезнь? Это не болезнь, а просто слабость нервов. От раздражительности, от причуды, от вынь-да-выложи также в медицине нет лекарств: медицина не отец, не мать, не муж и не возлюбленный: ни платья не сошьет, ни шляпки не купит, ни на бал не повезет, не приласкает и не прижмет к пламенному сердцу. Что ж тут делать?»

Так рассуждал часто Иван Данилович сам с собою, вслух, возвращаясь домой от полковницы, и, боясь женских болезней, закаялся жениться. Но так как клянутся и заклинаются всегда люди, которые ни за что бы не клялись, если б оковы, налагаемые клятвами, были немножко пожелезнее и не так легко разрывались и сбрасывались, то настал же таков *момент*, что и Иван Данилович поклялся бы снова, что он пошутил, что глупо давать клятвы в том, в чем сам от себя не зависишь, словом, он «умно отрекся от глупого отречения, и таким образом возвратился в самого себя».

Это происходило следующим образом:

Полковой штаб, при котором состоял Иван Данилович, расположен был в одной *коалиции* деревянных строений, получившей название города, но не вступившей еще на степень *конкретирования* городской *особности*. Вместо колес, там служили еще ноги, на улицах раздавалась еще национальная поэзия; по праздникам можно было водить хоровод и выходить на кулачный бой, а весной и осенью охотиться на главной площади за дикими утками и куликами, потому что момент потребления *дичи* еще не настал для этого города, носившего все признаки захолустья. В невежественном состоянии, там не знали еще болезней, но знали только «голова болит, худо можется, нездоровится» и утешали друг друга словами: «велика беда, что голова болит: поболит, поболит, да и пройдет». Прикинется ноготоеда, обрежет кто-нибудь палец, — «ну, не плачь, до свадьбы заживет!..» У женщин проявлялась одна только *болесть*, да и то, говоря словами Ивана Даниловича, не болезнь, а естественный момент органического развития.

Первый момент неизвестных дотоле болезней, требующих медицинских пособий, проявился у Машеньки, дочери одного мелкопоместного отца огромного семейства, который приезжал в город на ярмарку.

Причиною болезни Машеньки был чисто нравственный момент сильного, необычного впечатления на чувства, привыкшие к обычному. Приехав совершенно здоровою в город, здоровехонька легла почивать Машенька, вдруг разбужена была поутру стуком и какими-то чудными звуками. С испугом вскочила она с постели, а в это самое время, к несчастию, вбежала в комнату ее старая няня и

вскрикнула: «Барышня, барышня! посмотри-ко, сударыня, что̀ на улице-то деется!»

Машенька бросилась к окну, взглянула, и все жилки ее затрепетали, кровь приступила к сердцу, дыхание заняло: это был начальный, безотчетный момент *инфлюэнции* гражданственности на нежные чувства и национальное неопытное еще сердце; первый момент видеть убийственное оружие не в руках каких-нибудь чудовищ, а в руках нежных существ, которые, проходя мимо окна, так умильно глядели на Машеньку и как будто говорили ей: «Душенька! ангельчик! Как ты хороша! Позволь тебя убить!»

Просвещенные читатели без сомнения догадаются, что на улице было ученье и развод. Вещи очень обыкновенные; но для такого нежного и неопытного существа, как Машенька, которая не только с роду не видывала солдат, но и не слыхивала даже сказки про солдатскую душу, — всё показалось ужасом.

Грохот барабанов, треск труб, блеск и темп оружия, возгласы волшебных слов: «Марш!» «Стой!» «Стройсь!», которыми приводилась в движение толпа людей, их особенная походка, особенные приемы, стройный стан так поразили Машеньку, что она *взяла да и покатилась*. Никто не заметил этого, кроме нянюшки. Смотря в окно через головы сбежавшейся толпы домашних и восклицая: «Господи! страсти какие! ведь это они на войну идут!», она обратилась к своей барышне с предостережением от недоброго глаза офицера, который построил свой взвод против окна, взял на перевес шпагу, устремил глаза на Машеньку и ожидал команды.

— Барышня, — вскричала няня, — поди ты от окна! Что он уставился на тебя! — Но Машенька была уже почти без чувств.

— Господи! Что с тобой! .. — проговорила с испугом няня и, схватив ее на руки, отнесла от окна. Но инфлюэнция уже совершилась. Машенька слегла. Всем, казалось бы, здорова, но слабость такая во всех членах, что не может встать с постели, да и только.

— Бог ее знает, что̀ с ней сделалось? — говорили отец и мать.

— Сглазил, сглазил! — кричала няня, — вот этот, как его, солдатский-то офицер сглазил!

Сглазил, сглазил! И водица с уголька не помогла.

Против новой болезни старые средства — плохая надежда. И вот, после долгих споров с няней и сбежавшимися смотреть эту болезнь бабами, Машенькина маменька решила, наконец, послать за полковым лекарем, несмотря на то, что папенька говорил, что *так пройдет*. И послали просить Ивана Даниловича пожаловать к Ивану Абрамовичу. Филат, как будто предчувствуя, что что̀-нибудь да не так, долго стоял на том, что барина нет дома; потом, когда прислали в десятый раз, сказал, что барин почивает; но, наконец, умилился на слезную просьбу посланного слуги: «Доложи брат, сделай милость, доложи! Ведь меня загоняют, да еще и прибьют, что не привез лекаря. Целый день вот бегаю к вам, говорю, что, дескать, нет дома; так барыня говорит: хоть умри, да жди покуда приедет домой».

Филат доложил, что вот, так и так, просят пожаловать.

— Скажи, что дома нет.

— Я сто раз говорил; так пристали, что не отделаешься. Сидит тут, плачет, а нейдет домой да и всё тут. Говорит, барышня умирает.

— Дз! Эх, терпеть не могу!.. — сказал Иван Данилович.

— Да что ж делать-то, Иван Данилович, побывайте; жалко на человека-то глядеть; всю ночь здесь ждал, да вот и день прошел; а у него еще во рту куска не было; уж я сжалился, да накормил его; а дома и есть не дают, покуда доктор не приедет; а барышня, говорит, такая распрекрасная.

— Ну, уж эти мне распрекрасные!.. — сказал Иван Данилович: — я знаю, что какие-нибудь пустяки; а если не пустяки, так уж верно послали за мной тогда, как нужно посылать за дьячком петь отходную.

— Ну, да вы побывайте, да и скажете просто, что со смертного одра и крюком не подымешь на ноги.

— Терпеть не могу!.. — повторил Иван Данилович. — Давай мундир!.. — Надел мундир, воткнул шпагу и отправился с человеком в дом родителя Машеньки.

Она забылась легким сном, когда привели Ивана Даниловича к ее постели.

— Помогите, пожалуйста; бог знает что с ней приключилось, — шептала ему мать; а отец и вся семья, и все люди, и вся дворня стояли тут же толпой в каком-то ожидании чуда.

Чудо действительно совершилось, но невидимо, в недрах Ивана Даниловича.

Когда он, пораженный субъектом, дрожащими руками пощупал пульс Машеньки, Машенька открыла глаза, взглянула на Ивана Даниловича, вздрогнула, лицо обдалось пламенем, проговорила едва слышно самой себе: «Ах, боже мой! офицер!..», хотела закрыть лицо одеялом: в эту

минуту рефлекция, или воздействие пораженных ее чувств совершило обратную инфлюэнцию на Ивана Даниловича и он, как окаменевший, безмолвно, бездыханно держал руку Машеньки.

Все окружавшие смотрели и благоговейно молчали в ожидании от него слова; но Иван Данилович еще думал; возмущенные мысли его перемешались, и он продолжал стоять неподвижно в положении медика, наблюдающего пульс...

— Что, батюшка? ..— спросила мать.

— Я женюсь на ней,— отвечал Иван Данилович, не помня сам себя и посмотрев на мать взором, показывающим, что болезнь опасна.

— Что̀ такое, батюшка? ..— спросила мать, не поняв слов Ивана Даниловича.

— Пожалуйте поскорей бумажки,— продолжал Иван Данилович,— медлить опасно... пожалуйте скорей бумажки.

— Господи! ..— проговорила мать,— что̀ ж это такое значит? Иван Абрамович, есть у тебя бумага?

— Нет, матушка, какая ж у меня бумага!

— Как же быть-то! никакой бумаги у нас нет.

— Послать скорее ко мне,— сказал Иван Данилович: — или позвольте, я сам принесу.

И Иван Данилович, схватив свою треугольную шляпу, побежал домой. А между тем смущение лекаря, его торопливость перепугали мать. Выбежав в другую комнату, она ломала себе руки.

— Господи! Что̀ такое сказал он, я право не расслыхала; Иван Абрамович, что̀ он сказал о болезни-то Машеньки?

— Право не расслышал; бог его знает, верно что-нибудь по латыни.

— Да уж я тебе говорю! .. Вот те Христос! .. — раздалось в толпе баб у дверей.

— Что̀, что̀ такое? Лукерья, что̀ такое? — крикнула Машенькина мать.

— Да вот, сударыня, Фетинья говорит, что слышала будто лекарь-то сказал, что я, говорит, женюсь на Марье Ивановне.

— Что-о?..

— Ей-ей так, сударыня, — отвечала Фетинья, — так-таки и сказал! Что ж мне лгать-то, уши-то у меня не чужие.

— Женится?

— Ох ты, вострое ухо! — проговорила няня, — всё-то ты слышишь!

— Да с чего ж это ему вдруг сказать так!

— Ни с того, ни с сего вдруг: женюсь! Скажи, пожалуйста.

— Да уж я и не знаю, как это вы не изволили слышать.

— Ох, право, и мне что̀-то теперь сдается, сударыня, что он это сказал: а уж к чему, бог его ведает, — проговорила, вздыхая, прачка Настасья.

— Сказал, сказал, — прибавила баба с соседнего двора, — да я всё думала, не обслышалась ли я? С чего ж это, думаю, вдруг говорить-то ему!

— Иван Абрамович, слышишь, что бабы говорят?..

— Что̀, душа?

— Говорят, будто лекарь-то сказал, что он женится на Маше.

— Экой вздор!

— Нет, не вздор, сударь; я истинную правду говорю, мне что̀ выдумывать... что̀ мне клепать-то на человека! .. Извольте, я хоть у него самого спрошу при вас...

— Ах ты, дура, пошла вон! . .

Иван Абрамович разгневался, но дело не решилось. Приход Ивана Даниловича заставил всех замолчать.

— Вот, — сказал он запыхавшись, — я принес из полковой аптеки лекарство: пожалуйте рюмочку.

— Ах, как мы вам благодарны, — вскричала мать, побежав сама за рюмкой.

— Водицы пожалуйте да ложечку.

— Сейчас, сейчас!

Когда Ивану Даниловичу подали всё, — «по пятнадцати капель через два часа», — сказал он, отсчитал дрожащей рукой из пузырька капли и подошел к больной.

Она лежала, закрыв глаза, румянец так и играл на щеках.

— Уснула, — сказала няня шопотом: — не трогать бы ее.

— Мы подождем, — отвечал тихо Иван Данилович.

Рюмка тряслась у него в руках.

— У нее сильный жар, — прошептала мать ему на-ухо.

Он кивнул головой и приложил руку к пульсу.

Горячая его рука как будто обожгла Марью Ивановну: она вздрогнула, взглянула, закрыла снова глаза и еще больше разгорелась.

— Машенька, прими, душенька, лекарство.

Машенька вздохнула и закрыла лицо рукой.

— Выпейте, сударыня, — сказал Иван Данилович, поднося к ее губам рюмку.

Она приподняла немного голову.

— Господи, благослови! — проговорила мать.

Принимая лекарство, Машенька взглянула

мельком на Ивана Даниловича, Иван Данилович вздрогнул и чуть-чуть не выронил из рук рюмки, так этот взор, напитанный электричеством, встряхнул его, несмотря на то, что стекло не проводник живой силы. Машенька опустила головку и, казалось, снова забылась.

— Пожалуйста, чтоб никто не беспокоил ее, — сказал Иван Данилович.

— Ступайте, ступайте отсюда, — сказала мать Машеньки шопотом, махнув рукою на баб. — Скажите, батюшка, Иван Данилович, — продолжала она, выходя в другую комнату: — что̀ ж это за болезнь такая у Маши?

— Расстройство нервическое, — отвечал Иван Данилович.

— Что̀ ж это за расстройство такое, Иван Данилович? Желудок, что̀ ли, расстроен?

— Нет, нервы, вообще.

— Нервы... Иван Абрамович, поди-ко сюда... я уж понимаю: это стало быть вся внутренность? Ах, ты, господи! да отчего же это?

— Может быть какой-нибудь испуг, — сказал Иван Данилович.

— Испуг! да какой же? Она, кажется, ничего не испугалась; да и чего же ей пугаться-то...

— Ах матушка, Анна Федоровна, а намедни-то, как вот они изволили проходить по улице, — отозвалась няня, которая не утерпела, чтоб не прислушаться, что говорит доктор барыне насчет ее нещечка Машеньки.

— Ах, да в самом деле, именно, вдруг что-то ей померещилось, что ли...

— С самого того вот времени, как вы, батюшка, проходили мимо нашего дому-то, — продолжала няня, — она так и обомлела.

«Я проходил? — подумал Иван Данилович в недоумении: — когда же это я проходил?.. и не заметил...»

И он глубоко вздохнул от сладостного ощущения.

— Так обомлела, — продолжала няня, — что я на руках ее донесла до постельки!.. говорю: родное ты мое дитятко, что̀ с тобою?..

— Ну, ну, ну, ступай уж, — крикнула Анна Федоровна: — сама я сумею рассказать как следует... Ты поди сядь подле Маши, да не отходи и прибеги сказать, как очнется.

Няня неохотно повиновалась приказанию барыни: ей хотелось послушать, что̀ скажет доктор.

Она присела подле постели Машеньки и начала что-то бормотать про себя.

Машенька глубоко вздохнула и открыла глаза.

— Ах, сударыня, а мы думали, что ты соснула.

— Няня, — проговорила Машенька: — какой это офицер здесь был?

— Это, сударыня, вишь, доктор.

— Доктор? какой же это доктор, это офицер со шпагой.

— При шпаге, при шпаге; у полковых-то верно такой обычай: кому-нибудь из них надо править докторскую должность-то...

— Ах, как страшно, нянюшка! Он меня шпагой-то не убьет?

— Христос с тобой! вот еще придумала. Ты посмотрела бы что за добрейший человек, да какой ласковый, тихой: я не знаю, для чего он и шпагу-то носит? разве что вот против французов, чтоб не напали... Ах, да, ведь барыня велела мне доложить, как ты проснешься, сударыня: доктор-то хочет посмотреть на тебя.

— Ах, нет, нет, няня! не говори! .. — вскрикнула Машенька обычным своим звонким голоском.

— Боже мой, что̀ с ней! — вскрикнула Анна Федоровна и побежала к дочери.

Иван Данилович бросился за ней, вообразив, что с больной сделался припадок. Но когда он вошел в двери, Машенька лежала уже спокойно, закрыв глазки.

— И не думала кричать, сударыня, — шептала няня на вопрос Анны Федоровны, отчего вскрикнула Машенька: — и не думала.

— Ох, врешь!

— Ей-ей! она спросила только про доктора.

Анна Федоровна присела подле постели и знаком просила садиться и Ивана Даниловича.

Он сел против нее; ему хотелось бы, не сводя глаз, смотреть на больную, наблюдать, как она вдыхает обыкновенный душный воздух комнаты, а выдыхает из себя как будто благовония счастливой Аравии; но странно, что-то мешает ему взглянуть на нее.

Иван Данилович не мог отдать себе отчета, что̀ мешает ему смотреть на больную, но, наконец, понял.

«Зачем она тут сидит, мешает только мне!» — подумал он.

Иван Данилович уселся и сидит, молчит, забыл о своей обязанности посетить полковницу и двух больных офицеров, забыл о квартире, о денщике, о всем забыл; у него в голове одно: «Хоть бы на одну минуту вышла она! ..»

Анна Федоровна совсем другое думает: «Какой попечительный человек!»

Но ей ужасно как хотелось поговорить с Ива-

ном Даниловичем, как с новым человеком, о разных разностях, а как с доктором о некоторых своих недугах.

— Она, кажется, уснула, — прошептала она: — не оставить ли ее? Пойдемте в залу.

— Ах, нет, — отвечал Иван Данилович тихо: — я посижу тут; вы извольте итти, может быть вам нужно по хозяйству...

— Нисколько, — сказала Анна Федоровна: — я уж всем с утра распорядилась.

Иван Данилович глубоко вздохнул.

— Приготовить бы свеженькой водицы, — сказал он.

— Есть; вот только сейчас принесли.

Иван Данилович еще тяжелее вздохнул.

— Да, позвольте, — сказал он: — это какая вода? сырая?

— Как сырая?

— То есть, не отварная?

— Нет.

— Так, пожалуйста, прикажите отварной принести из самовара.

— Сейчас, сейчас велю вскипятить.

Анна Федоровна вышла приказывать, а Иван Данилович с трепетным сердцем устремил было пытательный взор на больную, но Машенька вдруг взглянула.

Иван Данилович вздрогнул, смутился, схватил сткляночку с лекарством, начал отсчитывать в пустую рюмку капли; но нет возможности: одна, две, три... и вдруг как плюхнет.

«Ах, господи! кажется, тут будет десять!» — думает он, впился глазами в горлышко пузырька, чтоб отсчитать еще пять капель. Но перед глазами как будто залетали мухи, руки дрожат, капли как

будто исчезли из пузырька; перелились в него самого и каплют с лица.

«Господи! — думает он: — зачем я прописал капли! . .»

И Иван Данилович бпять с усилием смотрит на горлышко пузырька, но руки ослабели от напряжения, опустились.

— Вода, вода, — шепнула под ухо ему Анна Федоровна.

Он вздрогнул.

— Нет, уж позвольте, — сказал он: — я пойду принесу пилюльки. . .

И он, забыв свою шляпу, бросился почти бегом домой. К счастию, у калитки навстречу ему Филат.

— Ах, барин, это вы! — крикнул Филат, которого он сбил было с ног: — полковница прислала, пожалуйте! . . А шляпа-то, сударь?

— Ах! . . — проговорил Иван Данилович, схватившись за голову: — я и забыл.

Заботливый Филат вбежал в дом и добыл барскую шляпу.

Иван Данилович стоял у ворот и думал, в каком виде прописать лекарство вместо капель.

«Пилюли? — думал он: — нет! избави, боже! остановится еще в горле. . . Порошечки? горькой, неприятный вкус. . . Микстурку? еще хуже: неравно поднимет рвоту. . .»

Взяв шляпу из рук Филата, Иван Данилович ни с места, продолжает думать, какое бы лекарство прописать больной, чтоб оно было ей приятно.

— Лучше всего в виде прохладительного питья...

— Что̀ ж вы, сударь, к полковнице-то?

— Ох, уж эта мне. . . надоела! — крикнул Иван Данилович: — не хочу, ну, не пойду! чорт с ней!

— Да как же это можно, Иван Данилович! — сказал Филат: — ведь это невозможно, сударь: полковница требует вас к себе, а вы не пойдете.

— Причуды только одни! Брось больных для нее, да беги! .. Да я не хочу, ну, не хочу, вот и всё! — продолжал Иван Данилович, идя задумавшись к себе на квартиру.

— Да ведь что ж, Иван Данилович, хоть бы и причуда, вам-то что за дело! — продолжал Филат: — в службе-то, говорят, не рассуждай. Если полковница требует лекарства, что вам жаль, что ли, его? Да хоть всю полковую аптеку выпей, эка беда! .. Да куда ж вы идете? Извольте итти к полковнице.

— А! — произнес Иван Данилович с сердцем, махнув рукой, и пошел на квартиру полкового командира.

Полковница в самом деле была неисповедима в своих причудливых болезнях. Кроме настоящей тягости, у нее поминутно проявлялись какие-то побочные тягости: то тягость в голове, то под ложечкой, то тягость в руках и в ногах, то тягость во всей; то какие-то тягостные мысли мучили ее, словом, она тяготилась всем; то «как это несносно, поминутно в глазах офицеры!», то «как это скучно, никто не хочет притти! своих офицеров надо звать! никакой преданности! ..», то «к чему это все на вытяжку!», то вдруг «какая вольность! садится без приглашения! ..»

Полковник был славный человек, но жена и его сбила с толку, и он стал как маятник: то добр, ласков и внимателен, то угрюм, привязчив и груб.

По наружности полковница была премиленькое существо, воплощенная доброта и приятность, как

говорится: невозможно не любить такого ангела! Но, хорош конь, конь, каких мало бывает, да с норовом: прямо, ровным шагом идет, славно идет; но чуть вожжей направо, а он налево; чуть нукнешь, а он на дыбы или стал; Архимедовым рычагом с места не сдвинешь. Такова была и полковница: против собственного побуждения и желания она не умела ходить; ни обстоятельства, ни приличие, ни дружба, ни любовь, ни необходимость, ничто не смей ей понукать, тотчас на дыбы, а потом в слезы и в постелю.

И вот бегут за Иваном Даниловичем. Бывало Иван Данилович бежит сам, а теперь Филат насилу его уговорил.

Приходит. Видит: лежит полковница почти без чувств, бледная, страждущая, тяжело дышит.

— Что такое-с? — спрашивает он у полковника.

— А бог ее знает, — отвечает полковник, пожимая плечами.

Иван Данилович щупает пульс — пульс так и колотит.

Но вот вылетел глубочайший вздох, вот открыла глаза.

— Чтò вы чувствуете? — спрашивает Иван Данилович. Страждущая молчит, тяжело дышит, прикладывает руку к голове.

— Вы чувствуете боль в голове?

— Да! — отвечает она, наконец.

— Под ложечкой у вас не болит?

— И под ложечкой... — произносит полковница слабым голосом, и вдруг слезы, всхлипыванье.

«Хм!» — подумал с досадой Иван Данилович, торопливо выходя в другую комнату писать рецепт.

— Что? — спросил полковник.

— Ничего, полковник; это маленький нервный припадок, спазмы. Я пропишу капельки...

— Да помилуйте, всё ничего, — крикнул полковник. — Это ничего всякой день повторяется! Нервное расстройство! да ведь это болезнь?

— Конечно-с.

— Ну, так что тут ваши капельки? Чорта ли в ваших капельках! Вы мне лечите ее фундаментально.

Иван Данилович знал полковника; рассуждать с ним в минуты сердца нельзя, всё равно что на огонь лить масло. Капельки не нравились полковнику, капельки пустяки, сказал он. И Иван Данилович прописал порошки.

— Вот-с, через час по порошку.

— Да это до меня не касается, — сказал полковник, — вы как знаете, так и давайте.

«Ах, ты, господи! — подумал Иван Данилович, — сиди тут как привязанный».

— Вот-с, легонькие порошечки, — сказал он, подходя к страждущей: — когда принесут, сделайте одолжение принимайте через час; а я сейчас возвращусь.

— Куда вы? Нет, нет, нет...

— Мне нужно навестить одну опасно больную.

— Нет, нет, нет! Сядьте! .. Покуда я приду в себя... Здесь... нет человека, который бы позаботился обо мне... Все думают только о самих себе, да о своем спокойствии. Я — хоть умирай!

— Не расстраивайте себя такими мыслями... — начал было увещевать Иван Данилович.

— Не расстраивайте!.. поневоле расстроишься!.. Никто не хочет принять участия...

— Помилуйте, возможно ли это дело... как не принимать участия...

— Ах, не говорите, пожалуйста! .. Женщина несчастное создание! на ее долю только страдания да болезни... и больше ничего! Мужчина свободен, мужчина что̀ хочет делает, никому не дает отчету, живет да наслаждается жизнью... а женщина, я, например, что̀ я такое? прикованная невольница... поят, кормят... и будь довольна, считай это счастием!

— Помилуйте, зачем же так думать.

— А как же, по-вашему, думать?

— У мужчины свои обязанности; служба, ответственность...

— Служба! Ах, какая трудная вещь!

— Помилуйте-с, — начал было Иван Данилович.

— Да нет, полноте, не противоречьте мне! Я не могу переносить пустых противоречий! .. Ах, господи, какая боль! .. За лекарством целый день проходят! И приказать некому, чтоб прибавили шагу! .. Только учебный шаг и в голове! ..

Иван Данилович закусил язык и молчал. И от нетерпения скорее отделаться от полковницы, думал: «Господи, что не несут так долго лекарство!»

Но вот принесли. Он схватил порошок, всыпал в рюмку воды, размешал.

— Не угодно ли выкушать?

— Ах, терпеть не могу лекарства! — проговорила полковница, приподнимая голову. — Фу! какая гадость! .. я этого не могу принимать! .. Нет, нет, нет! Подите вы прочь с этим! .. тошно! .. Дайте скорей воды! .. Ах, боже мой, боже мой! Никакого нет участия к человеку! ..

«Вот, поди, лечи фундаментально!» — говорил сам себе Иван Данилович, стоя подле полковницы и не зная, что̀ говорить, что̀ делать. — Так

позвольте, я принесу капельки, — проговорил он, наконец.

— Те, горькие-то?

— Нет-с, я пропишу сладенькие, в роде сыропцу.

— Сладкое лекарство, фу! .. Слушать, так тошно...

— Так какое-нибудь наружное средство...

— Катаплазмы, нет, пожалуйста, избавьте от них!

— Нет, просто можно... припарки... согреть полотенце.

— Ну, хорошо.

«Слава тебе, господи!» — подумал Иван Данилович.

Он думал этим отделаться. Но припарки то горячи, то холодны; вот и сиди, слушай докучную сказку, да пригоняй теплоту.

Терпение Ивана Даниловича лопнуло. «Ой-ой-ой! — подумал он, — попадет такая жена! нет! Избави бог, не женюсь!»

И с этой мыслью вдруг исчезла в нем сила тяжести и ему стало легко. Невидимая нить, которою тянуло его к больной Машеньке, как будто порвалась, он вздыхал, зевал, но по обычаю терпеливо уже сидел, как сестра милосердия, у причудливой полковницы.

Поздно уже его отпустили. Утомленный, он отправился домой. Только что он в двери —

— Иван Данилович, — сказал ему Филат, — от Волиных раз десять присылали, я всё говорил, что полковница при смерти больна, так вам нельзя; так и барышня-то, говорит человек, умирает.

— Нет, спасибо! Эти мне умиранья вот здесь сидят.

И Иван Данилович показал на затылок.

— Ну, как изволите, в самом деле не растянуться: от полковницы-то вы всегда приходите словно в мыле. Жаль только эту барышню-то, говорят, что такая ангельская душа... да что̀ ж делать: на то воля божья. Умрет так умрет.

— Постой...— сказал Иван Данилович Филату, который уже насилу стянул с него один, точно смоченный водою рукав мундира,— постой... я пойду.

— Да вы хоть бы отдохнули сперва.

— Нет, пойду.

— Эге, вот он стучит опять.

— Скажи, что я сейчас приду.

И Иван Данилович натянул снова рукав, схватил шляпу и бросился в двери.

— Батюшка, сударь, пожалуйте...— начал было умоляющим голосом присланный человек.

— Иду, иду, любезный!

Через несколько минут Иван Данилович утирал уже лицо платком, входя в покой, где лежала Машенька.

— Иван Данилович!— прошептала мать, встретив его,— умерла было без вас.

Иван Данилович подошел к больной, взял ее за руку, и все жилки забились в нем, когда она вздохнула, очнулась и взглянула на него.

— Что̀ вы чувствуете?— спросил он.

— Ах... теперь ничего,— произнесла тихим чудным голосом Машенька.

— Не противно ли вам лекарство, я пропишу другое?..— сказал Иван Данилович, напуганный неугодой вкусу полковницы.

— Ах нет, оно такое приятное,— отвечала Машенька, не сводя томного взора с Ивана Даниловича,— как приму, так и лучше мне...

У Ивана Даниловича забилось сердце: в Машеньке встретил он первого пациента, которому угодил вкусом лекарства. Приятно ли в самом деле медику видеть, как морщатся, да еще и плюют на подносимую чашу здравия. В словах: лекарство приятно, по душе — заключалось торжество Ивана Даниловича, его профессии и всей науки.

— Ангел! — произнес он невольно про себя; но известно, что при напряжении нервов чувства ужасно чутки; Машенька слышала, что он сказал, взглянув на нее с умилением сердца.

И вот Иван Данилович почти не отходил от ложа Машеньки. Ей всё лучше и лучше; ей только дурно тогда, когда долго задерживает его у себя полковница.

— Ах, как вас долго не было, — говорит она ему, — я было без вас умерла.

В самом деле болезнь Машеньки была особенного роду: редкому медику случается понимать ее. Каждый стал бы пичкать лекарством, но Иван Данилович понял, что болезнь ее есть именно та болезнь, которую из пассивной должно обращать в хроническую, и постоянно, неутомимо, неотлагаемо, наблюдать за нею.

Эта болезнь по глазам виднее всего. Иван Данилович и не сводил своих глаз с глаз Машенькиных. Ей как будто самой хотелось, чтобы он проник по глазам в глубину ее души и понял, чем она страдает. Взаимное строгое молчание и взаимная неподвижность были бы непрерывны, если б никто не мешал своим присутствием, участием и беседою некстати. Иногда только и Иван Данилович и Машенька глубоким вздохом переводили дух.

Право сидеть в этом положении по целым дням казалось Ивану Даниловичу таким правом, кото-

рого ни одна профессия, кроме профессии мужа, не может доставить.

Он благословлял уже медицину, что она доставила душе его блаженство постигать болезнь Машеньки. Вдруг приказ: имеет такой-то полк выступить немедленно в поход. Это просто ужас в подобных обстоятельствах. Иван Данилович пришел, как убитый, ни слова не говорит.

Машенька, взглянув на него, затрепетала.

— Что̀ с вами, Иван Данилович? — спросила мать ее.

— Полк идет в поход... Завтра выступать, — проговорил он.

Машенька вскрикнула и обмерла.

— Машенька! — вскричала и мать, бросаясь к ней.

— Марья Ивановна! — проговорил и Иван Данилович: — о, господи! скорей... Чего бы? Что тут есть? .. Ах, она умирает!

И он схватил ее руку, стал на колени и голова его, как срубленая, упала на руку Машеньки.

Вошел отец:

— Что такое?

Вбежала няня, всплеснула руками и онемела.

— Машенька! — вскрикнула снова мать.

— Что̀ такое, душа моя? что с ней? — проговорил отец.

— Матушка, голубушка ты моя! — завопила няня, бросаясь на постелю к ногам Машеньки.

Но вот она стала приходить в себя.

— Спирту! .. воды! — проговорил осиплым голосом Иван Данилович... — Выпейте, Марья Ивановна.

— Не хочу! Я умру! — проговорила измолкшим голосом больная,

— Иван Данилович, помогите! — вскричала мать, схватив его за руки.

— Что̀ я теперь сделаю! Завтра поход! — проговорил Иван Данилович.

Машенька вдруг тяжело задышала, спазматическое рыдание стеснило ей грудь, слезы катились градом.

— Иван Данилович, что̀ мы будем делать, как вы уедете? — сказала, залившись слезами, и мать.

— Я не поеду! Я хоть в отставку! Мне нельзя оставить Марьи Ивановны, — отвечал Иван Данилович, не помня себя.

— Марья Ивановна выпейте воды.

— Ах, дайте! — произнесла она.

Хлебнув воды, она схватила руку Ивана Даниловича и, всхлипывая от волнения в груди, проговорила: — Не уезжайте, я умру без вас.

— Не уезжайте, Иван Данилович, — повторила и мать.

Отец, стоявший, повеся голову, подле кровати, как будто очнулся; заложив руки назад и задумавшись, он прошелся по комнате.

— Глупо выходить в отставку, — сказал он сам себе. — Послушай, душа моя, — продолжал он, позвав жену, — ну, каким образом Иван Данилович выйдет для нас в отставку? Он по доброте, пожалуй, на всё готов, да чем же мы заплатим?

— Ах, мои батюшки, да что̀ ж делать-то? уморить Машу? Он сам видит, что нельзя ее оставить так.

— Да чем же мы заплатим-то за это?

— Чем? Уж он будто такой человек, что будет с нас требовать платы.

— Хм! Из каких же доходов он бросает службу?

— Из каких! .. Ох уж не люблю, как такие вещи говорят! .. Да и до того ли теперь; дочь умирает, а он думает чем расплачиваться с доктором! Право!

— Ох, вы!

Машенька поуспокоилась. Но отец ее всё еще продолжал беспокойно ходить по комнате. Он вызвал потихоньку Ивана Даниловича и откашлянувшись сказал ему:

— Иван Данилович, я вам признательно вперед должен сказать, что мне нечем платить за заботы ваши о Маше... Вы же сказали, что готовы и службу оставить, лишь бы не оставить ее без помощи...

— Нельзя оставить ее в таком положении, — сказал смущенный Иван Данилович.

— Чем же мы заплатим вам за такую жертву?

— Мне ничего не надо.

— Ну, мое дело было сказать.

На другой день полк выступил; а Иван Данилович взял на две недели отпуск.

Он спокоен и Машенька спокойна, встает уже с постели весела; но время отпуска прошло. Иван Данилович задумался.

Машенька что-то опять припала.

Несмотря на материнскую прозорливость, мать ее нисколько не понимала ее болезни. Она думала, что, слава богу, Машеньке гораздо лучше, и Иван Данилович может уже отправиться, но отец, спроста, понял в чем дело.

— Иван Данилович, — сказал он ему: — вы подняли Машу из гроба... а мы вам обязаны по гроб... чем заплатить вам за добро! .. Маша у нас одно богатство... берите хоть ее, если по сердцу.

У Ивана Даниловича слезы выступили из глаз, от радости он бросился на шею к отцу.

В это время вошла мать Машеньки.

— Душа моя, я говорил тебе, что с Иваном Даниловичем придется расплачиваться за вылечку Маши... он просит многонько... словом, всё, что у нас есть за душой.

Она испугалась.

— Иван Данилович, — проговорила она: — вы знаете, что мы не имеем состояния, рады отдать вам всё, да ведь у нас дочь невеста...

— Вот то̀-то и есть, что дочь и невеста, — сказал отец.

— Так вы сами подумайте...

— Он уж думал об этом.

— Что думал?

Иван Данилович, смущенный, безгласный бросился к руке.

— Осчастливьте!

— Господи!

И так далее. Машенька вспрыгнула от радости три раза: на шею отца, на шею матери и на шею Ивана Даниловича. Денщик Филат надулся: он думал, что вот тебе раз! Пойдет хозяйство! Да какова-то еще!

V

Женитьба — прекрасная вещь: спросите у всех, которые женились и вышли за̀муж по душе и живут себе припеваючи в любви и согласии. Но это, говорят, просто счастье: чужая душа, говорят, потемки. Ну, засветите фонарь: друга и посреди белого дня надо искать со свечой.

Иван Данилович женился. Марья Ивановна, несмотря на страшное впечатление, которое произво-

дила на нее шпага, висящая у боку его, вышла за него замуж с условием, чтоб он никогда не обнажал этого убийственного орудия и не ходил на войну.

— Помилуй, Машенька, чего ты боишься! — говорил ей Иван Данилович: — ведь это ничего, как оффиция.

— Ну, ну, ну, оффиция! Бог с ней! Поставьте ее в угол, Иван Данилович, я боюсь ее.

— Эх, сударыня-барынька, вот этим только вы и изволите быть не хороши, что шпагу не любите, — заметил Филат, который всегда вмешивался в беседу молодых супругов: — сами вы посудите, как же барину быть без шпаги? .. Не приходится, сударыня; ведь он не арестованной... Видите ли что...

— Ну, разговорился, ступай себе! — прервал его Иван Данилович, который однакоже привык к радушной бесцеремонности Филата.

— А вот как пошлете за чем, так и пойду. Что ж мне так-то ходить, — отвечал Филат: — на кухне у меня всё в исправности; там я сам за собой хожу; а вот здесь барынька-то еще порядков не знает, так и надо присмотреть, не равно что спросите.

Ивану Даниловичу надоедает присутствие Филата, а Марья Ивановна рада ему; ей всё кажется как будто опасно оставаться одной с мужчиной.

— Не гоните его, Иван Данилович, — упрашивает она, когда Иван Данилович скажет: — ну, ступай, ступай себе!

Женившись и отправляясь на новоселье полка, Ивану Даниловичу неудобно было взять с собою женскую прислугу, и потому решили до приезда на место обойтись без нее.

— Да и зачем, — говорил Иван Данилович: — у меня Филат и кухарка и прачка; вот только разве девка будет нужна одевать Машеньку.

— Вот какие пустяки! — возражала Машенька: — как будто я сама не могу одеться!

— Она у меня с малолетства так приучена, что уходов больших за ней не нужно, — прибавила мать.

Таким образом молодые супруги и отправились в полк, в сопровождении только одного Филата, а *Филат тому и рад;* потому что он уже начинал горевать и задумывать: уж как заведутся где, думал он, бабы, так там порядка не ожидай! .. Это уж такая порода. Удостоверившись, что все должности остаются при нем, да еще сверх должностей кухарки и прачки возлагается и должность горничной, Филат ожил.

— Да что они думают, — бормотал он под нос: — велик труд прислуживать барыне? Подать умыться, или на шею платочек-то подать? Поди-ко-сь! Нет уж, сударыня-барынька, вы не извольте насчет меня беспокоиться; я видел всю прислугу-то девичью; вот только разве манишечек не разглажу... Не разглажу, так выкатаю, так еще и лучше будет, ей-богу, сударыня.

— Манишечку я сама разглажу, — говорила Марья Ивановна.

— Так вот оно и всё. А вот что̀ я скажу вам по долгу обязанности. У барина-то теперь вы будете справлять, что̀ я справлял; примерно: чай разливать, вы, сударыня-барынька, взяли на свою ответственность, а не знаете еще как распоряжаться. Давеча изволили налить и барину в чашку; он и пил, ни слова не сказал вам, верно посовестился сказать на первых порах, что он терпеть не может

пить в чашке. Так уж вы извольте ему в стакан наливать. Да и сливок-то простых он не любит, а вы налили ему.

— Ах, боже мой,— вскричала Марья Ивановна:— что̀ ты мне давеча не сказал?

— Думал, что сам барин скажет, а он верно посовестился... Да еще, вот давеча, я побежал за щеткой, а вы подали барину сами мундир; а порядку-то не знаете, мундир-то он надел, а портупею-то вы не подали. Вот я и отвечай; сами слышали, как он прикрикнул: что̀ ж ты, говорит, шпагу подаешь, а портупея-то где? а?

— Ах, боже мой, я, право, этого не знала.

— То̀-то же, сударыня-барынька. Так вы не извольте не за свое дело браться; а я уж свое знаю: слава богу, не какая-нибудь служанка — орешки на уме.

Таким образом Филат учил свою барыньку порядкам в доме и был так исправен и по части горничной, что не только Иван Данилович, но и Марья Ивановна, приехав на место, забыли о женской прислуге: ни малейшей необходимости.

Так прошел год. Ивану Даниловичу бог дал наследника. Вы подумаете, может быть, что прислуга неизбежно увеличилась? Что завелись на квартире Ивана Даниловича няньки и кормилицы? Нимало! этих должностей Марья Ивановна не уступала сама никому. Она довольствовалась только помощью Ивана Даниловича и Филата. Честолюбие и способность Филата распространялись и на обязанность няньки.

— Экой труд, — говорил он, — няньчиться с ребенком; да еще как весело-то: агу! Васенька!.. вишь какого славного молодца дал нам бог!.. Пеленочка-то, сударыня-барынька, немножко мок-

ренька, надо посушить, позвольте-ко я сбегаю посушу перед печкой.

— Нет, лучше чистую; посмотри-ко, чтоб не упал!

— Не беспокойтесь уж. Васенька! агу! .. Право, спать-то ему не хочется... не сварить ли кашки? ..

На другой год Ивану Даниловичу бог дал дочку. Васенька поступал на полное попечение Филата. Филат и на базар сбегай, и свари, и подай, и вычисти, и вымой, и убаюкай Васеньку, и накорми его кашкой, и поняньчи его, и везде Филат, и на всё ему время: Васенька, как будто по щучьему веленью, спит себе крепко, покуда Филат сбегает за провизией, пока исправляет прочие должности.

Иван Данилович Увалень просто блажен и женой и денщиком. Придет от должности, жена бежит навстречу с Лизанькой.

— На-ко поиграй этой игрушечкой.

— Нет уж, извините, мой-то Васенька получше,— говорит Филат, сидя на разостланном ковре подле Васеньки.— Извольте-ко посмотреть, как мы будем маршировать да выкидывать темп.

И он возьмет красное деревянное ружьецо, начнет выкидывать темп; Васенька, подражая ему, взмахнет ручонками и зальется смехом.

— Ну-ко, ну, сам.

И Филат даст Васеньке в руки ружье; Васенька схватит — хлоп по голове учителя и снова захохочет.

— Молодец! .. Славно! .. Извольте-ко, Иван Данилович, посмотреть за ним, а я подам кушать.

Еще не с большим через год в команду Филата поступила и Лизанька. Иван Данилович на службе,

Марья Ивановна накормит и нянчит и убаюкивает Леночку; Филат обложит Васеньку на ковре подушками и игрушками, даст в руки морковку, а сам укачивает на руках Лизаньку. Только-что она уснула, он ее в люльку, да и марш.

— Извольте, сударыня-барынька, смотреть, чтоб не убился Васенька, а я сбегаю за молоком.

И сбегает.

Проходит еще год, семья Ивана Даниловича увеличивается, то же самое жалованье растягивается на все потребности; всё надо прикрыть; а между тем, то там, то сям голо. Но что̀ делать!

К счастию или к несчастию Ивана Даниловича, или ни к тому, ни к другому, полк был переведен на новые временные квартиры. Под штаб назначено было село Притычино. Иван Данилович с семейством своим также прибыл в село Притычино и вскоре заболел было горячкою. Полк отправился в поход, а он остался на несколько дней на месте, чтоб собраться с силами.

В это-то время прибыл в свое имение Чаров. Так как это событие нисколько, казалось бы, *не касалось до* Ивана Даниловича, то он, поднявшись на ноги, тотчас же сказал Марье Ивановне.

— Поедем, душа моя, пора!

Марья Ивановна убедительно просила подождать денька два-три, покуда посаженная ею курица на яйца высидит цыплят; Иван Данилович согласился.

— Эх, сударыня-барынька, болтуны будут, а не цыплята: и наседке-то не сидится что-то на месте, — сказал Филат, как будто по какому-то предчувствию.

Прошли три дня. Оказалось, что Филат прав, вышли болтуны.

— Ну! едем, господи, благослови! — сказал Иван Данилович, усаживая жену и детей в бричку. — Да уж поздно.

Только что Филат уселся на козлы, а Иван Данилович занес ногу на подножку брички, вдруг бежит дворовый человек, сломя голову.

— Стой! стой!

— Что̀ такое?

— Сделайте милость, сударь, пожалуйте в дом. Барин приказал просить вас Христом богом: госпожа заболела.

— Да, братец... видишь... — сказал Иван Данилович.

— Сделайте милость, хоть на минутку! Уж там не моя будет вина, как вы сами откажетесь.

— Ах, ты, господи! — проговорил Иван Данилович с досадой.

— Что̀ ж делать, душа моя! — сказала Марья Ивановна: — нельзя же, люди помощи просят.

— Уж конечно, — пробормотал с досадой и Филат, — как поймали за хвост, так не уйдешь!

— Ну, нечего делать, схожу на минуту, — сказал Иван Данилович.

Навстречу ему другой посланец, третий, наконец, сам Чаров.

— Сделайте одолжение, помогите жене моей, — сказал он, взяв руку Ивана Даниловича и ведя его в покой, где Саломея лежала в постели и стонала.

— Ernestine!.. вот доктор.

Иван Данилович посмотрел на нее, взял руку, считает биение пульса, качнул головой.

Чаров испугался.

«Пустяки!» — думает Иван Данилович.

— Сделайте милость, помогите, я вам буду благодарен по гроб.

— Я принесу лекарства из своей аптечки, это ничего, пройдет, — сказал Иван Данилович.

Нечего делать, надо было вытаскивать из брички чемодан, из чемодана аптечку, из аптечки пузырек.

— Подожди, душа моя, я сейчас... — сказал Иван Данилович жене; — между тем уложите опять всё в бричку.

— Да, сейчас! — сказал Филат: — что̀ у барыни-то, верно спазмы?

— Спазмы.

— Ну, будет такой же час, как у полковницы.

Филат отгадал. Капли поуспокоили чуть-чуть Саломею; но Чаров решительно сказал Ивану Даниловичу, что он его не пустит, покуда жена его не почувствует себя вполне здоровою, и тут, что называется, с *оника* дал ему сто рублей серебром.

Иван Данилович не из денег, но по доброте сердца и по усиленной просьбе дал слово остаться еще на день, уверяя, что *это пройдет само собою*. Но когда Иван Данилович возвратился на квартиру, объявил жене, что остается до завтра, вынул из кармана ассигнацию и развернул — Машенька ахнула, а он остолбенел.

Деньги... но кто не знает, что только дай деньги в руку, воображение тотчас же начинает писать бюджет необходимых расходов и так займется этим делом, что всё забыто.

Филат повесил голову.

— Что̀ ж, сударь, кушать, что̀ ли, готовить? — спросил он Ивана Даниловича поутру, когда тот торопился навестить больную.

— Нет, нет, мы поедем сейчас же, — отвечал Иван Данилович, уходя.

— Да! поедем! Барыньке-то голодом просидеть покуда поедем.

И он начал готовить суп из той самой курицы, которая высидела болтунов.

— Что̀, как чувствует себя ваша супруга?

— Не совсем еще... вот не угодно ли войти.

— Что̀, сударыня?

— Скажите ему, что спазмы утихли... но вот здесь болит, — отвечала Саломея по-французски, указывая на бок... — И голова очень дурна.

«Хм! придется составить микстурку...» — подумал Иван Данилович. — Я пришлю вам микстурку, так извольте давать через час по ложке, и всё пройдет; а уж меня извините, мне, ей-богу, надо ехать.

— Нет, как вам угодно, я вас убедительно прошу пожертвовать мне несколькими днями, — сказал Чаров.

— Он хочет ехать? — спросила Саломея, — пожалуйста, не отпускай, я здесь умру без помощи... Я чувствую страшное расслабление.

— Я ни за что̀ не пущу его, — отвечал Чаров и уговорил Ивана Даниловича остаться еще на день, потом еще на день.

— Да помилуйте, я не могу, — сказал, наконец, решительно Иван Данилович, — я служу, остался здесь без отпуска, мне надо непременно ехать.

— Скаатина! — сказал по привычке Чаров, про себя. — Послушайте, Иван Данилович, угодно вам будет принять мое предложение?

— Какое?

— Быть медиком при моих именьях, с двумя тысячами рублей жалованья. Квартира здесь в доме, во флигеле, экипаж, прислуга, провизия и, наконец, всё, что вам угодно?

Иван Данилович задрожал от неожиданного счастья. Прослужив определенный срок в полку, он давно уже рассуждал с женой о затруднениях походной жизни с семейством и желал получить какое-нибудь оседлое местечко с хорошим жалованьем.

— Я поговорю с женой, — сказал он Чарову и тотчас же побежал на квартиру, и вместо всех разговоров и совещаний крикнул: — Маша! Я выхожу в отставку.

Марья Ивановна побледнела, не понимая, что̀ это значит.

— Поздравь, душа моя, и меня и себя: две тысячи рублей жалованья, квартира, прислуга, экипаж, провизия!..

Марья Ивановна всплеснула руками от радости. Он рассказал ей о сделанном предложении, и тут же вместе сочинили они счастливую свою будущность; решили, и Иван Данилович пошел в дом, объявил Чарову, что он согласен и тотчас же подаст в отставку.

— Очень рад, — сказал Чаров.

Филат, готовя кушанье в задней избе, ничего не знал и не ведал об этом решении.

— Филат! Филат! — закричала Марья Ивановна, когда он пришел накрывать на стол, — знаешь ли что?

— Что, сударыня?

— Ведь мы остаемся здесь.

— Как?

— Иван Данилович выходит в отставку.

— Владыко ты мой, царь небесный! что̀ это он вздумал?

— Да как же, — продолжала Марья Ивановна, — он будет медиком при этом именье, будет

получать две тысячи в год жалованья, квартиру, экипаж, прислугу...

— Ооо! Господи ты мой! — завопил Филат, хлопнув тарелку об землю.

— Что̀ это ты, Филат, бог с тобой! — вскрикнула Марья Ивановна, вздрогнув, — ты испугал Леночку.

— Ничего, — ответил Филат, выходя из комнаты.

Вышел он, остановился посреди двора и зарыдал. Это были первые слезы Филата после того, как ему забрили лоб. Солдатская душа даром не плачет.

Выплакался, постоял на месте, задумавшись, вздохнул, пошел, споткнулся на камень... — Пьфу!.. — да как схватит его, хлоп об стену...

— Собака проклятая!

Снова вздохнул и побрел на кухню. Но тут словно как запретили ему заботиться обо всем, словно как не его уж дело быть *кухмистером*, чумичкой, прачкой, слугой. Постоял, постоял: пошел к воротам, сел на завалинку.

Вот Иван Данилович торопится что-то домой.

Филат и не думает вставать перед ним.

— Филат! — кричит издали Иван Данилович.

Филат не отвечает.

— Филат! — повторяет Иван Данилович, озабоченный каким-то душевным довольствием, — собирай сейчас всё, да переносить в дом... там покажут тебе комнаты...

— А обедать-то когда? — спросил Филат, вставая.

— Не нужно, там будет у нас и стол поварской.

— Иван Данилович! — проговорил Филат упрекающим голосом и качая головой.

— Ну?

— Иван Данилович! Бог с вами! Что̀ вы делаете?

Как ни крепился Филат, а слезы брызнули, и он, закрыв лицо руками, зарыдал.

Иван Данилович как будто вдруг очнулся от очарования, понял упрек, остановился, смотрит на Филата, задумался.

— Иван Данилович! — начал снова Филат, — кого вы это слушаетесь, сударь, такие дела делать!.. Барыньки, что ли, послушались? Молода еще Марья-то Ивановна советы вам давать выходить в отставку... На деньги польстились: жалованья стало мало... Подико-сь! много человеку нужно: до сей поры жили же!.. а тут вдруг, ни с того, ни с сего... Ну, мало, возьмите и мое, какое ни на есть, всё-таки деткам-то нашим на молочко да на кашку достанет... С меня и пайка довольно...

— Иван Данилович! — раздался из окна голос Марьи Ивановны.

Филат умолк. Иван Данилович, повесив голову, вошел в избу. Марья Ивановна сидела у окна и заливалась слезами.

— Машенька, душа моя; о чем ты плачешь? — спросил Иван Данилович, испугавшись.

Он привык к слезам полковницы и всегда смотрел на них равнодушно, но слезы Марьи Ивановны как будто капнули ему на сердце.

— О чем ты плачешь, друг мой? — повторил он.

— Ни о чем, — проговорила Марья Ивановна и еще горячее залилась слезами.

Не понимая причины, Иван Данилович насилу унял слезы ее.

— О чем же ты плакала?

— Мне показалось, что вы передумали... Филат вам, бог знает, что̀ наговорил...

— Помилуй, я буду слушать Филата! Вот тебе раз!.. Что я, Вася, что ли, которому он сказки рассказывает... Филат! — крикнул Иван Данилович, — укладывай! Да переносить всё в дом!

— Да что, Иван Данилович, я уже вам не слуга: я служил вам, покуда вы на царской службе были; а теперь у вас там чай есть целая дворня...

— Как ты смеешь грубиянить?

— Я не грубияню, а правду говорю.

Иван Данилович вспыхнул гневом и заходил по комнате.

— Я сама уложу всё, — сказала Марья Ивановна и бросилась всё прибирать.

— Уж не извольте беспокоиться, сударыня, — сказал Филат, — не ваше дело.

В это время вошел человек, присланный от Чарова.

— Барыня приказала просить вас поскорее к себе, — сказал он, — а если что нужно переносить из поклажи, так я привел с собой двух человек.

— Вот кстати, — сказал Иван Данилович, — распорядись, душа моя, а я пойду.

— Хорошо, — отвечала Марья Ивановна с веселым взором и велела было пришедшему человеку нести чемодан.

— Куда нести? — крикнул Филат, — нет уж я не дозволю чужому человеку дотронуться до господского: — я за всё отвечаю. Ступай, брат! на руках-то тебе ничего не достанется нести: у нас есть бричка. Всякое дело хозяина знает. Ступай!

— Как прикажете? — спросил лакей у Марьи Ивановны, воображая, что Филат, верно, пьян.

Затронутое самолюбие взволновало ее, но боясь грубого Филата, она проговорила:

— Ступай! он сам уложит и перевезет.

Ни слова не говоря, надутый, как мышь на крупу, Филат исполнил свое дело; уложил всё в бричку, запрёг лошадей и донес Марье Ивановне, что всё готово.

Переезд был не далек. Флигель по ветхости неудобен был для жительства. Ивану Даниловичу с семьей отвели две комнаты в доме; две комнаты, проникнутые насквозь тлением; но потолок еще держался, стены стояли; обои прикрывали смертные недуги их; но гноище проросло грибами из-за подполья. Их очистили, и комнаты, уставленные прочной старинной мебелью, показались для Марьи Ивановны, после черных и душных изб, роскошью, какой лучше желать нельзя.

Для прислуги дан был дворник и его единородная дщерь Татьяна. О завтраке, обеде, ужине, самоваре нечего было беспокоиться: в определенное время всё это являлось, как в волшебных сказках. Толстый буфетчик придет, молча раскинет скатерть, поставит приборы, принесет кушанье, доложит: «готово кушать, самовар готов!» — и дай бог только хороший аппетит.

Филату негде уже приткнуться, не о чем похлопотать. Ходит, повеся голову, посмотрит на всё да вздохнет. Ивану Даниловичу некогда обращать на него внимание. Иван Данилович написал уже прошение об отставке по болезни, отослал с нарочным в город на почту и стережет здоровье Саломеи, которая что-то расхворалась. Марья Ивановна и позабыла о Филате. Она еще восхищалась всеми удобствами новой жизни.

Ходит Филат, как убитый; сначала звали его

на кухню обедать; «убирайтесь вы, с вашим обедом!» — отвечал он. Оставался еще запас черного хлеба, испеченного им для господ и для себя. Отрежет ломтик, съест, запьет водицей и сядет на крылечке, или пойдет к воротам, как дождевая туча. Там никто не видит, как он утирает слезы.

Пройдет мимо его Иван Данилович, он встанет и стоит, повеся голову, покуда не пройдет. Но что-то у него на душе, что-то он сказал бы ему, да язык не поворотится. Вот, вышел запас хлеба, провианту нет, неоткуда получать; а просить куска хлеба Филат не станет. Денег у него ни копейки.

Думает Филат думу, и надумался. Вошел к Ивану Даниловичу, который занят был составлением лекарства.

— Иван Данилович, — сказал он тихо.

— Что тебе?

— Извольте уж отпустить меня в полк, что̀ мне здесь делать?

И с этими словами Филат утер рукой слезу, выступившую из глаз.

Иван Данилович взглянул на него и хрустальная ступочка выпала у него из рук, разлетелась надвое; невольным движением столик, на котором он разложился с своей аптечкой, грохнулся; стклянки, пузырьки разлетелись вдребезги.

Марья Ивановна вскрикнула от испугу.

— Иван Данилович, что̀ вы наделали! — вскричал и Филат, бросясь подбирать всё с полу.

Иван Данилович всплеснул рукам и онемел.

— Это всё ты, проклятый! — крикнул он, наконец, — пришел тут толковать мне под руку!

— Да, кто ж как не я. . . Я, Иван Данилович! . . До сей поры служил верой и правдой, худого слова

от вас не слыхал; а тут... ну, да уж что говорить! Позвольте, мне итти в полк.

— Ступай, убирайся!.. Вот тебе и всё... Что я теперь буду делать без аптеки?.. Господи!..

— Так так-то, Иван Данилович, на прощанье-то... Бог с вами!.. Прощайте, Марья Ивановна... Васенька!..— И Филат зарыдал, выбежал вон, схватил свою аммуницию, накинул сумку на плечи, перекрестился и пошел.

В это самое время Саломея лежала на диване и охала. Чаров ходил в каком-то недобром духе по комнате.

— Долго ль я буду ждать его? этого коновала!

— Послал, ma chère... Сам пойду.

И Чаров, нахмурив брови и плюнув, так, чтоб больная не слыхала, пошел к Ивану Даниловичу. Иван Данилович сидел, повеся голову, а Марья Ивановна, приклонив голову к нему на плечо, утирала слезы. Перебитая вдребезги аптечка стояла перед ними на столике, как ящик Пандоры, из которого вышли все их несчастия.

— Чтò ж, Иван Данилович,— крикнул Чаров, входя,— скоро ли вы?

Иван Данилович и Марья Ивановна вздрогнули от неожиданного его появления и строгого голоса.

— Беда случилась,— проговорил робко Иван Данилович, вставая со стула.

— Чтò такое?

— Вот... разбилась...— отвечал Иван Данилович, приподнимая с полу отбитое горлышко пузырька.

— Что ж вы будете делать теперь? лечить без лекарства?

— Я напишу рецепт... можно послать в аптеку...

— В какую аптеку? в город: почти сорок верст? Через час понадобится новое лекарство — опять посылай? Десять раз на день будете переменять лекарство и всё посылай?

— Что ж делать... свойство болезни такое...

— Скажите, пожалуйста! Больной виноват, что вы не отыщете в своей медицине чем его вылечить!..

— Нет-с, это не то... Если бы собственно болезнь... так на болезнь есть лекарство... — начал было Иван Данилович, но доброе сердце его и робость не договорили правды.

— Позвольте, — сказал он, — я сам съезжу в город, пополню аптечку... поутру я возвращусь...

— У-урод! — проговорил Чаров про себя, — извольте ехать! да прошу вас скорей!

Приказав запречь немедленно же тройку в повозку, Чаров, задумавшись и в тревожном духе, сам отправился на конюшню, простоял безмолвно, покуда запрягли лошадей, потом начал ходить по двору; казалось, что он боялся войти к Саломее до возвращения доктора из города.

— Ох! уж мне эти болезни! — проговорил он, наконец, направив стопы к дому: — оханья, стоны, жалобы... уурод! говорит, что это не болезнь!.. Здоровая скаатина! По нем все притворяются страждущими, выдумывают разные боли, чтоб только иметь удовольствие пить его поганое лекарство... Какая скука!.. Фу! чорт! Навязал на шею тоску!..

Между тем Саломея очень грациозно лежала на диване. Когда Чаров вышел торопить доктора, боли как будто утихли в ней; она о чем-то задумалась.

Сильное впечатление боязни быть узнанной

матерью и в то же время возгоревшаяся страсть к Георгию, который так хорошо, так вполне созрел для любви, подействовали болезненно на Саломею. Приехав в Притычино с Чаровым и решаясь на полную роль мадам де Мильвуа, Саломея не могла покорить в себе тяжких впечатлений собственной судьбы. Нервы ее были потрясены, дряхлый дом и мрачные комнаты, наводящие уныние и думу о невозвратном прошедшем, о бренности настоящего и неизвестности будущего, развили в ней страх и отвращение ко всему. Присутствие Чарова ей было тягостно; ласк его она не могла переносить; решительность упрочить судьбу свою в лице мадам де Мильвуа исчезла. И вот к расстроенному духу присоединилось притворное страдание то головной болью, то внутренним жаром, то расстройством желудка. Притворство входит в привычку, мнимая болезнь обращается в настоящую: воображаемую беду можно накликать; и всё это обращается в боязнь за себя, а медицина за всё отвечай. В этом положении была Саломея по приезде в Притычино. Желая восстановить в себе дух, она потребовала доктора.

Доктор на беду его нашелся под руками. Назначил диэту, дал лекарства. А лекарства, говорят, из притворной болезни решительно рождают настоящую или, по крайней мере по системе Ганнемана, все признаки. Саломея больна, имеет уже все права жаловаться на болезнь. Но она чувствует, что от лекарства Ивана Даниловича всё хуже и хуже.

Когда послышались шаги Чарова, который, не зная, как сказать ей о несчастии, постигшем аптечку Ивана Даниловича, шел медленно, придумывая успокоительные речи, вместо успокоительных

лекарств, Саломея вдруг почувствовала снова боль и заохала.

— Боже мой, я страдаю, — проговорила она, — и никто не поторопится подать помощь...

— Ma chère, — сказал Чаров, — успокойся, сейчас привезут лекарство... Вот видишь что: этот Иван Данилович думал продовольствоваться своей глупой аптечкой... но я послал его в город за лекарством, необходимым для тебя... он сейчас же возвратится...

— Ах, он меня уморит!.. Я это чувствую!..

— Так лучше всего ехать в Москву, ma chère Ernestine, поедем в Москву, там все лучшие доктора к твоим услугам. В самом деле, я также не очень полагаюсь на этого полкового лекаришку.

— В Москву!.. — проговорила Саломея, задумавшись.

— Когда твое здоровье поправится, мы возвратимся тотчас же сюда; а между тем здесь всё будет возобновлено к нашему приезду, и мы проведем лето в блаженном уединении... — сказал Чаров, взяв руку Саломеи.

Саломея, не отвечая ни слова, глубоко вздохнула.

— Так ли?

— Ах, постойте! Я не могу переносить принуждений.

Чаров встал с места, также вздохнул и начал ходить по комнате.

Между тем Иван Данилович распростился с Марьей Ивановной и помчался в город пополнять свою аптечку.

Марья Ивановна была в отчаянии. Она не испытала еще горя разлуки. Ей страшно было отпустить Ивана Даниловича в дорогу без себя: бог

знает, что̀ может случиться. Со слезами на глазах она проводила Ивана Даниловича, простояла до сумерек на крыльце, смотря на дорогу, возвратилась в комнату, как убитая, не спала целую ночь, просидела целое утро у окна и в этом положении забылась несмотря на крик и шум детей.

Но вот около полудня возвратился благодатный. Соскочив с повозки, Иван Данилович вбежал в комнату, крикнул: «Машенька!», бросился к жене и так перепугал ее, что она, очнувшись, задрожала, насилу пришла в себя и, вместо радости, залилась слезами.

Успокоив ее, Иван Данилович принялся составлять микстуру; составил и побежал на другую половину. Двери заперты, никого нет.

Он в переднюю, и в передней пусто. Он опять к дверям, постучал легонько — никто не отвечает.

— Что̀ ж это значит?

Вышел на крыльцо. Видит, что Трифон запирает ставни.

— Трифон, где люди?

— Какие?

— Да вот. . . ваши, — проговорил Иван Данилович.

— Какие наши? Господские-то? Уехали с барином.

— Как уехали?

— Да так, как уезжают. Барин поехал в Москву, и они за ним.

— А госпожа?

— А госпоже-то здесь, что ли, остаться одной?

— Да ведь она больна.

— Ага; ее так-таки сам барин под руки в карету посадил.

— Да скажи, пожалуйста. . . Как же это. . . —

продолжал расстроенный этой новостью Иван Данилович.

— Как, как?

— Да скажи, пожалуйста... ведь... да что ж барин сказал, уезжая?

— Ничего не сказал. Он такой был, что-то не в духе. Чуть-чуть было не прибил кучера за то, что лошади дернули, как он сажал госпожу-то в карету.

— Хм! — произнес Иван Данилович, задумавшись и возвращаясь в свои комнаты. — Машенька, помещик-то уехал в Москву; что ж ты мне ни слова не сказала?

— Да и я не знала, мне только сейчас сказала Татьяна: я спросила, что ж не подают чай, а она говорит: «да кому ж подавать-то: буфетчик уехал с барином».

У Ивана Даниловича руки опустились.

— И все уехали, и повар уехал, и обеда не готовили... я не знаю, что ж мы будем обедать? .. — сказала смущенная Машенька, смотря на Ивана Даниловича.

— Что ж это такое, — проговорил он, — я уж этого и не понимаю... Верно, она опасно заболела... он, верно, сделал какие-нибудь распоряжения... Пошли Татьяну за управляющим Васильем.

— Ох, подите вы! пойду я к этому озорнику! — отвечала Татьяна.

Иван Данилович отправился сам.

Управляющий Василий был не что иное как дворовый человек, которому поручено было собирать и доставлять к барину оброк с именья.

— Барин уехал? — спросил Иван Данилович.

— Уехал, — отвечал Василий, который привык

только с барином и при барине говорить по-человечески.

— Он... говорил насчет меня что-нибудь? — продолжал Иван Данилович.

— Что̀ такое-с?

— Насчет положенья... обо мне?

— Об вас? Никак нет, ничего не говорил, — отвечал Василий, посмотрев искоса на Ивана Даниловича.

— Это странно!

— Да вам подводу, что ли, ехать отсюда?

— Какую подводу, когда барин твой предложил мне быть медиком при этом именьи.

— При этом именьи? — повторил Василий подозрительно: ему тотчас же пришло в голову опасение, чтоб Иван Данилович не сделался в имении господским глазом.

— Да, при этом именьи. Он сказал, что мне будет доставлено здесь всё необходимое.

— Не знаю; тут у нас ничего нет.

— Каким же это образом? Мне нужна прозизия, и по крайней мере кухарка.

— Этого уж я не знаю.

— Но вероятно барин забыл отдать тебе приказ.

— Не знаю; у нас провизии никакой тут нет, ни заведений нет никаких... — пробормотал Василий под нос себе, зевая.

— Я напишу к барину, а между тем мне нужно что-нибудь есть, — сказал взволнованный Иван Данилович.

— Этого уж я не знаю, — повторял Василий с убийственным равнодушием.

В отчаянии и недоумении что̀ делать, Иван Данилович возвратился в дом.

— Забыл распорядиться насчет меня! Это ни

на что не похоже! — крикнул он, хлопнув фуражку на стол, — что мы будем делать... Это ужас!.. Наконец, что-нибудь есть надо, а тут никакой даже провизии!..

Но Марья Ивановна кое-как распорядилась уже о чае и обеде. Сама поставила чайник, Татьяну послала купить на селе курицу, масла, молока, каких-нибудь овощей.

— Что ж ты беспокоишься, что́ за беда такая, что забыл, — говорила Марья Ивановна в утешение мужу, — и ты, я думаю, забыл бы всё, если б я, избави бог, опасно заболела. Напиши к нему, вот и всё. Он и пришлет приказ управляющему отпускать нам всё, что нужно.

— Напишу, — проговорил Иван Данилович, — да это.., всё-таки неприятно... сесть на мели!.. Если б знал... чорт бы меня принудил подавать в отставку... да еще и Филата отпустили...

— Полно, пожалуйста, как тебе не стыдно говорить такие вещи!..

— Да, говорить!..

Утолив свой голод стряпаньем Марьи Ивановны, Иван Данилович успокоился.

— И в самом деле, — сказал он, — с таким капризным чортом, как его жена, не трудно всё забыть. Я ему напишу.

Иван Данилович написал что̀ следует к Чарову, послал письмо к управляющему, чтоб отправить к барину, но управляющий отвечал, что ему не с кем посылать.

Иван Данилович принужден был нанять посланца.

Ждет ответа неделю, две. А между тем настали сильные дожди. Стены отсырели, текут, холод в комнатах ужасный.

— Любезный, здесь жить нельзя, — сказал Иван Данилович, призвав Трифона: — отведи, пожалуйста, другие комнаты.

— Об этом уж извольте написать барину: без его приказу я не смею, — отвечал Трифон.

И вот новое письмо к Чарову.

Проходит месяц, ни ответа, ни привета. А между тем деньги на исходе, а жалованья не из полку ждать.

Иван Данилович и Марья Ивановна в отчаянии. Начинают уже припоминать счастливое житье-бытье в полку, вспоминать Филата и его слова.

— Вот оно, душа моя, — повторяет Иван Данилович, — Филат-то правду сказал, что выйдет болтун.

У Марьи Ивановны часто уж слёзки на глазах.

Написал Иван Данилович еще и еще письмо к Чарову, но Чарову не до него: у Чарова на руках нещечко Саломея. К тому же в докторе ему уж нет необходимости.

— Скаатина! Что он тут городит? Ведь я дал ему сто рублей серебром за зизит, чего ж ему больше? . . Написать к нему, что медик при именьи уж не нужен: может опять поступить на службу, в полк.



ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ

I

Нашему мнимому магнату Дмитрицкому очень хорошо было жить в Москве. Действительный магнат пользовался бы одной стороной жизни, а он обеими: направо брал счастьем, налево — искусством. Дни и ночи нашего магната проходили как следует, в полном рассеянии посреди большого света, по известным обрядам, клонящимся, по мнению Ира, к убийству золотого времени, а по мнению Креза, к убийству свинцового времени. Существенная страсть Дмитрицкого удовлетворялась в клубе как нельзя больше; сердечное честолюбие также: он был взыскан блистательными светилами гостиных и осыпан почестями: воспеваемые поэтами звезды первой величины и звезды осьмой величины, производимые астрономами на вакансию планет, только что не вешались к нему на шею, как ордена. Казалось бы, чего еще желать самому взыскательному светскому человеку: только что раскрыл рот, как птенец, — сладкий кусок готов; только что распахнул сердце, пылающее как ад, — грешница готова; только что зевнул — явились *игры* и *смехи;* устал от приятных волнений души, надоело сладостное щекотанье чувств — бездонное лоно сна нежнее пуха, мягче воды.

Но всех этих удовлетворений мало. Не двигаясь с места, не возносясь от земли, можно еще жить без

горя, но предаваться волнам и ветрам без горя нельзя: оно балласт и для корабля и для аэростата; нет существенного — надо заменить воображаемым, чтоб что-нибудь тяготело на душе.

Всякое существенное горе нашему магнату было нипочем. Он играл им как какой-нибудь *геркулес* пудовиками, взбрасывал как мяч и подставлял шею. Устроив себе вполне беззаботную участь, надо же было иметь хоть какую-нибудь заботу.

Есть люди, созданные для страстной любви друг к другу, на взаимное счастье. В противоположность им есть люди, рожденные для страстной ненависти один к другому, на взаимную беду. Вы помните, как страстно возненавидел Дмитрицкий Саломею. Эта страсть в нем не потухала.

— Дрянь! нарумянилась! не понимает, что бледность идет ей к лицу! — повторял Дмитрицкий в тот же вечер и после того вечера, когда, явясь перед Саломеей как привидение, ни с того ни с сего напомнил ей, что нельзя выходить не только от живого молодого мужа зàмуж за старика, но и от живого, дряхлого и никуда негодного мужа зàмуж за цветущего молодостью и силами.

После этого распоряжения судьбой Саломеи ни она сама, ни судьба ее не выходили из головы Дмитрицкого. На другой день, задумавшись об ней, он опоздал на званый обед к мосье Baranovsky.

— Желательно знать, чтò она теперь поделывает? .. Понимай эта женщина сама себя, будь она с сердцем, не становись выше лесу, чтоб не упасть ниже травы... я, ей-богу, без памяти любил бы ее... так бы любил... ух! кости бы затрещали! .. Андрè! мосье Андрè!

Андрѐ явился на зов как из-под земли. Магнат скомандовал ему немедленно отправиться в дом Туруцкого, узнать о здоровье мадам де Мильвуа.

— Там спросишь горничную Julie [1] и от нее узнаешь. Марш! . . Меня беспокоит это здоровье. . . О, вторая природа! ты скверная природа! На первую свою природу не могу пожаловаться: душа хоть куда, славная, рабочая душа! а эти чувства, просто ужас! Покуда успел подняться на два с половиною аршина от земли, весь механизм маленького мира перепорчен: сперва потешались им папенька и маменька; потом учителя, потом благодетели. Милый ты мой! на потеху ли создан ты себе и другим? Земной шар на драку, что́ ли, брошен вам, господа? На, дескать, пиль! становись в ряды, выбирай любую сторону: одна идет змеем, другая зверем; чьему миру быть — змеиному или звериному. Одна сторона кричит: «Внимай!», другая кричит: «Молчи!» Одна не хочет внимать, другая молчать не хочет. Начинается бой. С одной стороны отдают земле, что̀ от земли взято; с другой — отдают богу душу! . . Утомились, ничья не взяла, вздохнули, а потом снова: «Внимай! молчи!» и снова свалка. И это люди!

Возвратившийся Андрѐ застал нашего магната в беседе с самим собою.

— Мосье, — сказал он, — мадам де Мильвуа, которая жила в доме господина Туруцкого, переехала на другую квартиру, неизвестно куда.

— Переехала! — крикнул Дмитрицкий: — ты должен мне отыскать ее, слышишь?

— Постараюсь, — отвечал Андрѐ.

— Сейчас же! сию минуту! марш! в галоп!

[1] Юлию.

Андрѐ побежал исполнять приказание.

— Впрочем для чего это? что̀ мне в ней? — продолжал Дмитрицкий. Будь она по моему вкусу, я бы съел ее, право, съел бы... а она... О, да я и теперь готов съесть ее! Она не дает мне покою, мешает мне жить, мешает любить... Чем Амелия Костанская не чудо? мила, хороша, мягка как воск, тает передо мною... да нет; чего-то нет, не по мне, не по душе! сердце, размененное на мелкую монету. Таких можно нанять за три французских восклицания: «Ah! je vous aime! je vous adore!..[1] Это не Саломея, перед которой надо выйти из себя от любви, заклясть свою душу... не Саломея — проклятый, северный полюс! ледовитое море!.. А Нильская?.. эта еще милее... ей ужасно как хочется любить и блаженствовать; но кажется, что она *непонятой* кем-нибудь *талант* любви. Ей нужен только *слушатель* жалоб на неверность и непостоянство мужчин; делитель тайного горя, запавшего ей в душу; человек, который не дерзал бы извлечь занозу, но сочувствовал бы ее страданию... Да! это не Саломея, которая фыркнет — и решено. Однакож, во всяком случае, поеду к Нильской... Я сам теперь что-то в духе бранить женщин. Она будет бранить скверный пол, а я буду бранить прекрасный пол; но из учтивости вместо *женщины* буду говорить *мужчины;* это нас сблизит с ней: единство чувств и понятий удивительно как сближает людей. Я скажу ей: «Мужчины? о, боже мой! посмотрите, как они исковерканы, как в них мало чувства, как мало в душе тишины, спокойствия, любви!.. Скажите сами, видели ли вы в них эту покорность сердца, эту заботливость угождать, это попечение о доме, о хозяйстве, наконец, о детях,

[1] Ах, я вас люблю! я вас обожаю.

если хотите... Есть ли в них эта материнская любовь, и так далее... прекрасно!»

Заключив этим восклицанием свой монолог, Дмитрицкий отправился к Нильской. Ей доложили о приезде магната Волобужа. Она вспыхнула, взглянула в зеркало и вышла в гостиную. Нильская была миленькое существо, узоленное самой судьбой от всех существенных женских обязанностей, но сохранявшее вполне истинные достоинства женщины. Ее нельзя было не любить; ее и любили все, не только свободные сердцем, но и не свободные, не говоря уже о закованных в кандалы, потому что она являлась всегда как будто образцовым созданием женской природы.

Мария, но мы назовем ее по моде, Мѐри, — Мѐри была единственная дочь очень добрых и благовоспитанных родителей. Отец ее имел крошечное наследственное состояние; служил, служил, выслужил множество чинов и орденов; но не умел сделать службу ремеслом для приобретения достатку. Мѐри расцвела и, к несчастью, стала единственной надеждой родителей поддержать свое состояние выгодным замужеством дочери. Ее выдали зàмуж за нижеследующего чиновника.

В настоящее время, неизвестно почему, поэты и вообще писатели ужасно как много насочинили стихов и прозы о несчастных чиновниках и за примерную честность их и благородство души поместили на открывшиеся вакансии героев поэм. Судя, однакоже, и по оригинальным творениям современной литературы и по формулярам, на несчастных чиновников не стòит обращать и внимания; вдохновение поэтов должно бы было обратиться на счастливых чиновников и, взирая на них, воспеть совершенствование благосостояния этого разряда

человечества; воспеть, как быстро претворяется нанятая квартирка в райке дома в собственный бельэтаж, как в пустом кармане образуется капитал, как *бездельный крючок* плодит дела, как бездушное существо набирается духу, безгласное — голосу, как тупая голова начинает остриться, как самая прискорбная образина обращается в *известное лицо*, как все *пошлое* забывает *прошлое*, как подчиненная воля преобразуется в *свою волю*, и как: «Как прикажете-с» переходит в «Я приказываю!» «Слышу-с» в «Слышите?» Словом, как из существ, предшествовавших в создании человеку, выходят в люди.

В формуляре *первых времен* Степан Ануфриев сын Нильской значился канцеляристом. Из какого звания поступил он в звание чиновника, приводящее все звания к общему знаменателю, — это нам неизвестно, тем более, что Степан Ануфриевич терпеть не мог даже вспоминать, не только говорить о своих родителях, о детском возрасте и юношестве: без сомнения, какой-нибудь злой волшебник похитил его еще в младенчестве, посадил в бочку, засмолил, бросил в житейское море, и он плавал, плавал и приплыл к какому-то острову, называемому в сказках комитетом. Волны выбросили бочку на берег, дно выскочило, и вот Степан Ануфриевич произошел на свет из дубового ящика, в цвете лет, во всей красоте. Один благодетельный гений острова, по имени коллежский секретарь, принял его, неизвестно по чьей просьбе, на свое попечение, доложил кому следует, что вот, дескать, на острове необходим лишний канцелярист, и потому не благоугодно ли будет поместить в это звание такого-то, праздношатающегося Степана Ануфриева сына Нильского. «Хорошо, хорошо, братец, — отвечал на это представление глас, исходящий из

подобия Мемнонова сфинкса, — принять, братец; да умеет ли он чисто писать?» — Как же-с, грамоте знает, читать и писать умеет. — «То-то, братец, у меня главное, чтобы писал как печатал, чтоб на бумагу приятно было взглянуть». Таким образом Степан Ануфриезич поступил в канцеляристы. Во всех графах его формуляра написано было: *не имеет*: родового и благоприобретенного, жены и детей не имеет, словом, ничего не имеет, кроме двадцати лет от роду. В графе о познаниях стояло: грамоте знает; в графе о способностях следовало бы написать: пить и есть умеет; в графе о качествах души отметить: примерной честности: ни на какую черноту не способен, даже не способен писать бумаги начерно.

Из всех этих данных решительно, казалось бы, ничего невозможно было вывести для будущности; но будь человек не человек, а так, бог его знает, что́ такое, да будь у него только одна здоровая утроба — и этого довольно: он по инстинкту всё переймет, всё узнает, что необходимо для его утробы. Степа́н Ануфриевич благородный ex officio был в сущности благоутробным.

Ближайший начальник его Иван Федорович, человек свободно мыслящий, не терпящий ни низостей, ни высот в природе, проповедывавший всем равнину, любил, однакоже, сам лезть в гору. Добравшись до вершины *стола*,[1] он требовал, чтоб всё подведомственное, стоя у подножия, смотрело ему в глаза, молчало и слушало, что́ он говорит, угадывало, что̀ ему нужно, бросалось со всех ног исполнять и знало время, когда он в духе и когда не в духе.

[1] До заведывания определенным отделом канцелярии — столом.

Никто не был так способен понимать, угадывать и предупреждать его потребности, как Степан Ануфриевич. Несмотря на это усердие и даже постоянную чинку перьев для Ивана Федоровича, он никак не мог заслужить начальничьего внимания, потому что всё это было не что иное, как *наружные услуги*, которые не могли проникнуть во внутренность Ивана Федоровича. Иван Федорович считал Степана Ануфриевича просто дрянью. Что́ было делать Степану Ануфриевичу? Оставалось попасть в несчастные чиновники, а потом в повесть. Но вдруг отношения начальника к подчиненному переменились: вместо обычного «дурак» сквозь зубы, Иван Федорович величает уже Степана Ануфриевича по имени и отчеству. Что за чудеса? Никто не заметил, каким образом и по какой причине совершился этот переворот, и кому бы пришло в голову, что Степан Ануфриевич приворожил начальничье сердце проклятым зельем.

Однажды, отправляясь в канцелярию, зашел он в ряды, купил табакерочку, купил проклятого зелья, положил в карман, и сидит себе как будто ни в чем не бывало, да переписывает бумаги.

Приходит Иван Федорович в добром расположении духа, сидит, пересматривает подготовленные бумаги, преспокойно отмечает, видимо доволен усердием своих подчиненных; но вдруг приостановился, засунув руку в карман, потом перенес в другой, шарил, шарил, да как крикнет: — Пьфу! забыл табакерку! .. Чорт знает, что это такое!

— Прикажете оставить эту бумагу до получения сведения? — спросил невпопад один чиновник, подойдя к нему с какою-то бумагой.

— Какую бумагу? — прикрикнул Иван Федорович: — как оставить? Ну, где ж оставить? Ну, что

вы говорите! .. пьфу! досада! этот свинья Иван никогда не напомнит, что я позабыл табакерку!

— Не прикажете ли моего табачку? — вызвался вдруг Степан Ануфриевич, вынув из кармана табакерку и приподнимаясь с места.

— Поди ты с своим табаком! Я думаю, чорт знает, что за табак!

— Костромской табак, самый лучший, зеленый.

— Э? неужели? покажи-ко...

И Иван Федорович сперва взглянул, потом взял щепоточку, сперва попробовал, потом нюхнул.

— В самом деле хорош табак... славный табак! ..

Понюхав табаку, Иван Федорович чихнул, Степан Ануфриевич поклонился, и дело пошло своим чередом; а между тем проклятое зелье взяло свое, подействовало на мозг Ивана Федоровича в пользу Степана Ануфриевича.

На другой день Иван Федорович не забыл своей табакерки, но чувствовал уже какое-то влечение к Нильскому. Взглянув бегло в список чиновников, как его зозут, он протянул к нему руку и сказал:

— Дай-ко, Степан Абрамович, своего табачку!

У Степана Ануфриевича заходила душа в теле от радостного чувства; он вскочил, бросил перо, перо брызнуло на подписанную директором бумагу, внезапный испуг столкнулся с внезапною радостью, и душа замерла в Степане Ануфриевиче. Засунув руку в карман, он окаменел и установил неподвижные глаза на Ивана Федоровича, безмолвно, трепетно моргал, в ожидании молнии и грома, которые разразят его на части.

— Что, или забыл табакерку? — спросил Иван Федорович, держа уже два пальца клешней, наготове взять щепоть табаку.

— Никак нет-с... капнул немножко.. — отвечал Степан Ануфриевич дрожащим голосом, вынимая табакерку.

— Эх, брат! .. Ну, да это ничего, можно подчистить, — сказал Иван Федорович, взглянув на кляксу и нюхая табак.

И вот первая заслуга Степана Ануфриевича по службе. Это значит подействовать на утробу человеческую.

В вознаграждение подобных заслуг Иван Федорович рекомендовал его директору, как надежнейшего чиновника для исправления должности заболевшего смотрителя строительных материалов.

Вступая в должность смотрителя, он, — как водится и не за ним одним, — не за порядком смотрел, потому что для этого нужно по крайней мере быть человеком, а искал беспорядков, потому что для этого можно быть просто ищейной собакой. Старый смотритель был честный, добрый и знающий свое дело человек; исправлял свою должность не с математическою точностью, по которой не текут и светила небесные, но как бог велел; по совести, его не з чем было упрекнуть; но по притязанию в отступлении от точности можно было взвести на него горы. Этой-то точностью, которой нельзя отыскать в самой природе вещей, и ссадил его Степан Ануфриевич и — как говорится: «сокол с места, а ворона на место» — был утвержден в должности. Человеку свойственно самоохранение. Напуганная притязаниями команда его, по какому-то инстинкту, во избежание *черного главу* Степана Ануфриевича, огородила себя от внезапности его нашествий, как стадо журавлей сторожевым журавлем. Только что Степан Ануфриевич крадется

из-за угла, махальный и подаст голос: «Степка идет!» и всё, как по команде: «смирно!», принимает вид математической точности. А известно, когда инстинкт самоохранения и опасения притязаний заведет махальных, всё шито и крыто.

Но стоит ли долго толковать о Степане Ануфриевиче и рассказывать, каким образом он дослужился до значительного чину, как нажил состояние, и прочая, и прочая. Всё это он сделал по известной форме, которая ведома всем, кто принимает жизнь за торговую площадь, отношения людей за торговые обороты, и не только золотую и серебряную монету, но и отчеканенные в ходячую монету совесть, честь, правду и справедливость — за товар, который можно выменять на все удобства жизни. Достигнув до почетного звания, Степан Ануфриевич озаботился жениться. Для этой вещи он также сделал надлежащие соображения. Изрядненький чинок есть, порядочное состояньице есть, чего ж недостает? Надлежащего почету в свете, связей, как говорится. Об этом и подумал Степан Ануфриевич и обратил особенное внимание на Мѐри, которой мать была урожденная княжна, а отец в некоторой зависимости от него по службе. Удвоив эту зависимость обязательным предложением небольшой суммы денег взаймы, Степан Ануфриевич сделал другое предложение.

Отец и мать Мѐри подумали: «Такой чин... занимает такое место... имеет состояние... кажется, такой хороший человек... отчего ж не отдать?»

Но Мѐри едва взглянула на него и только что не вскрикнула: «Ах, какой отвратительный!»

Покуда девушка не больна еще потребностью любить, она, как дитя, по инстинкту чувствует, кто добр, у кого светлая душа, и кто чем-то страшен.

Так и для Мѐри Степан Ануфриевич казался чем-то страшным, нечистым, тошным. Природу ее можно было назвать совершенством без малейшей порчи; светское образование украсило ее; но всё это образование было подготовлено для счастливой жизни, для любви, для дружбы, для взаимности, для чувств отрадных, для сферы светлой, а не для горя, не для лишений, не для зависимости от жестокой, грубой, беспощадной воли и себялюбивого невежества. Ее учили верить, и этой же верою воспользовались, чтоб победить в ней отвращение к жениху; ее же заманили в замужество против сердца всеми приманками и соблазнами чувств. Во всё время, покуда она была невестой, ее воображение занимали роскошью нарядов, свободой покупать всё на свой вкус, произволом делать всё по-своему, угождением всем малейшим ее желаниям. Жених едет к ней с подарками, подруги ахают перед роскошными серьгами, браслетами, фермуарами. Мать ухаживает; модистки поминутно приезжают с кордонками, примеривают на ней платья, чепцы, шляпки, наколки, мантильи; восхищаются ее талией, ее головкой; дивятся, как к ней всё пристало, как всё к лицу, как всё на ней très distingué.[1] Отец также похаживает около дочери, посматривает, похваливает, но есть в нем тайное чувство, которое отзывается что̀-то не весело на душе: жаль сбыть такую хорошенькую девочку за выходца из тьмы кромешной! Да что̀ делать!

И мать часто посмотрит на жениха, да вздохнет и скажет мужу:

— Mais au moins, mon ami,[2] она пристроена; всё-таки богатый человек, имеет средства жить при-

[1] Весьма изящно.
[2] Но по крайней мере, мой друг.

лично званию. Как досадно, что он не говорит по-французски! Как это много значит в свете: он совсем бы другой человек был, совсем бы другой человек!

— Да! — отвечал муж: — конечно; ну, да что̀ ж за беда!

— Ах, нет, беда. Я воображаю, когда Маша приедет с ним с визитом к княгине, я не знаю, о чем она будет с ним говорить?

— Да, конечно; ну, да что́ ж за особенная беда, — отзывается отец Мѐри, задумчиво похлопывая пальцами: — по крайней мере Маша хорошо пристроена; он даст мне деньги на уплату долга в опекунский совет: всё-таки именье уцелеет, и можно будет как-нибудь жить.

— Да! — прибавляет задумавшись мать Мѐри: — можно будет выкупить мои брильянты.

Мѐри выдана замуж, пристроена, но надежды родителей ее не исполнились. Ни радости, ни выгод.

Когда отец напомнил превосходительному зятю своему о выкупе именья из опекунского совета, Степан Ануфриевич отвечал, что он непременно это исполнит.

— Только вы потрудитесь сперва переписать именье на мое имя, или хоть на имя Машеньки.

— Для чего же это? Не всё ли равно, после меня именье достанется дочери.

— Э, нет, не всё равно: во-первых, долг чуть не превышает стоимости именья; так уж лучше я куплю именье по вкусу, а во-вторых. . .

— Во-вторых, — прервал отец Мѐри, — об этом нечего уже и говорить! Прощайте!

Тут только понял отец, что̀ за человек Степан Ануфриевич и что̀ за судьба Мѐри, которая слы-

шала всё и, безмолвная, бледная, вышла из другой комнаты проститься с отцом.

Степан Ануфриевич, с своей стороны, почитая себя в праве негодовать на тестя и считать, что он поступил с ним бесчестно, перестал к нему ездить в дом; с знатной родней жены он не мог сойтиться по причинам понятным и очень естественным. Обманувшись сам в надеждах на связи, Степан Ануфриевич отстранил от дому своего всех родных, всех знакомых Мѐри.

Она осталась одна в новом для нее свете, как белая среди черных.

Какие-то политипажные чиновные лица, сослуживцы Степана Ануфриевича, являлись в дом, то на обед, то на вечер, на преферансик; знакомились с нею, просили позволения познакомить жен; жены приезжали с визитом, и Мѐри должна была, по настоятельному требованию мужа, принимать всех и каждую; но никак не могла угодить Степану Ануфриевичу, который понимал приличие в подобострастии пред высшими и высокомерии пред низшими и приходил в исступление, смотря на жену свою, сохраняющую истинное достоинство женщины.

— Вы, сударыня, гордыня! — твердил он ей: — тайная советница делает вам честь своим посещением, а вы... обращения не знаете-с! аттенции не имеете-с! Думаете, что так важна ваша родня, что всё прочее дрянь! .. А вы-то сами чтó-с? Дочь надворного советника и больше ничего-с! Я вам доставил вес в обществе не с тем, чтоб вы нарушали мои отношения с людьми-с! .. Да-с! Вы думаете, эмансипация будет у меня в доме? Нет-с! .. Никогда-с!

— Я вас не понимаю, — произнесла смиренно Мария.

— А я вас понимаю-с! Вы думаете, что всё равны-с: и ее превосходительство Анна Григорьевна, которая вас удостаивает своим знакомством, и какая-нибудь Варвара Павловна, которая обязана изъявлять супруге начальника своего мужа достодолжное уважение... срам, сударыня: с женой моего секретаря вы за панибрата: прибежит Варвара Павловна, женщина без всякого приличия, болтунья, дерзкая, та-та-та, та-та-та, вы и сами вне себя, так и ходите за ней хвостом!.. А тут приедет какая-нибудь значительная особа, ни малейшей аттенции!.. А чуть Варвара Павловна — и угощения, и разговоры, и господи, боже мой!.. Придет, кивнет без всякой пристойности головой: «Здравствуйте, Степан Ануфриевич!» а потом та-та-та, по-французски, и плюх за фортопьяны; начнет барабанить, орать во всё горло... Невежа! Я не для нее купил фортопьяны! Дерзость какая! Вдруг вздумала мне выговаривать, что я не даю балов!.. Вчера приехал Авдей Васильевич, сенатор, а она не только что с места не встает, да и поклониться не хочет: заняла, шлюха, первое место в гостиной, да и сидит! Почтенный человек, вельможа, должен был сесть на стуле! Дрянь! Я не для нее завел диваны!.. Нет, уж она мне надоела! Попробуй еще, та-та-та, потатакать у меня!

Горьки были для Марии эти нападки на Варвару Павловну, которая одна из всех знакомств и служебных отношений мужа пришлась и по образованию и по нраву ей по сердцу. Она не утерпела, чтоб не заступиться за нее.

— Что̀ сделала вам эта добрая, милая, полная достоинств женщина? — сказала Мария.

— О! высоких достоинств! Секретарша! Это очень видно, что она высоко о себе думает: кричит.

как у себя дома: человек! подай мне воды! .. приказывает моим людям! Для нее я держу людей! .. Пусть кто-нибудь попробует вперед исполнять ее приказания! .. Приведет целую ватагу своих девчонок, добро бы у нас были дети, так для компании; а то для чего? чтоб их здесь кормили, да лакомили!

Мария отвечала на эти слова глубоким вздохом, но и вздох не остался без упреку.

— Можете вздыхать по ней-с! — сказал злобно и значительно Степан Ануфриевич.

Через несколько дней Варвара Павловна прибежала вся в слезах, с мольбой упросить Степана Ануфриевича пощадить ее мужа, не отрешать от должности, не лишать куска хлеба.

Не нужно было спрашивать о причине: Нильская поняла ее, поняла в первый раз и тяжкое чувство ненависти к мужу за вопиющую несправедливость, которая только ей одной была известна, и которую она обязана была таить от всех. Но долг велел ей чтить и любить этого человека.

Чтоб любить воистину, говорят, надо любить всеми способностями бессмертной души и тленного тела; надо любить взаимно умом, сердцем и всеми пятью чувствами. Только при этих условиях всё существо человека здравствует и благоденствует; каждый атом, составляющий его, счастлив, каждый пор, как уста, впивается жарким поцелуем в сочувствующий ему. Это сочетание двух крайностей природы, это стихия духа, проникающая стихию материи и рождающая воистину жизнь, а не просто существование на белом свете.

Но это тримурти[1] любви, говорят, мечта. Мечта ли? Оно только распалось на три свои свойства —

[1] Троица.

на союз по рассудку, на союз по сердцу и на союз по увлечению чувств. Для Нильской ни то, ни другое, ни третье не существовало. Что ж было ей делать? Надо было или проникнуться миром, или рассеяться в мире.

Соблазны света были ей не по душе, она не любила рассеянности, ей нужна была спокойная, согласная семейная жизнь, если и без счастливой взаимности чувств, то по крайней мере без притязаний. Но Нильская и дома ни хозяйка, ни гостья, как многие. Распоряжаться ей не дозволяли, не обходились и прилично, на условиях светской утонченной вежливости, которая не иначе называет жену, как мадам. Нильская не могла посвятить время по произволу никакому занятию. Займется ли она от скуки и тоски чтением, ей говорят: у вас, сударыня, в голове только одни романы! — Это не роман, это историческая книга. — А! вы в ученые хотите попасть, в академию-с! — Займется ли шитьем по канве: — Что здесь, фабрика, что ли-с, наставили своих пяльцев! — Где ж мне сесть шить? — Да это глупое дело-с вышивать ваши ковры: тратить только деньги на шерсть-с, по четырнадцати рублей фунт, да фунтов двенадцать; а что выйдет? попона! Покорно вас благодарю! У меня нет такого богатства, чтоб платить несколько сот за попону; а в комнате я не позволю расстилать такую дрянь!

Чем же заняться Нильской?

Покуда горе таилось в ней, она терпеливо изнывала под тягостью его. Но едва свет узнал о ее судьбе, все родные и знакомые занялись рассеянием ее горя, вырвали ее из этого онемения, влили насильно в душу ее опиум, учили находить в светском рассеянии замену счастию.

В доме княгини, тетки своей, она встречала известного уже нам Чарова. Молод, наследник богатого состояния, он только что вступил в общество, со всеми задатками паркетного честолюбия добиться до звания хищного зверя гостиных. Несмотря, однакоже, на желание быть львом, он скорее по складке своей и приемам походил на кабана. Встретив Нильскую, хорошенькую как газель, он тотчас же решился зарезать ее. По неопытности своей, она не предвидела этого страшного намерения, но уклонялась от преследований, по простому чувству своего достоинства.

Чаров не способен был затрагивать самолюбие, волновать душу. Нильская была вполне женщина: ей хотелось не покорять, а самой покоряться.

Между тем с Чаровым был знаком по дружеским отношениям отцов лейтенант Рамирский; очаровательный собой моряк, страстная, но вместе и глубокая душа, каких мало; умен, образован; чудак по движениям сердца, он не понимал волокитства; чем более нравилась ему женщина, тем благоговейнее было в нем чувство к ней, тем дальше становился он от нее, как будто боялся открыть недостатки. Но сердце его еще не было затронуто любовью.

Однажды пришел он к Чарову, закурил сигару и задумался. Чаров торопился ехать в Павловское, но не на столько был короток с ним, чтоб сказать без церемоний: ты, брат, кури и думай себе о чем хочешь, а я пойду. Он предложил ему ехать вместе.

— Поедемте, но что ж я буду там делать?

— Вот прекрасный вопрос? разумеется, *делать любовь.*

— Терпеть не могу.

— Ну, а я могу терпеть; потому что это очень хорошо, почтенно и благородно, питает ум и сердце,

возвышает дух и, словом, бесподобное, самое лучшее дело.

— Ну, делайте вы это дело, а я буду просто зрителем.

— Так едемте же скорее, а не то я опоздаю на службу, могу получить выговор; вы еще не знаете, что значит миленький, капризный начальник.

— А вы на действительной службе? — спросил Рамирский, улыбаясь: — извините нескромный вопрос.

— Хм! конечно, не сверх комплекта.

Приехав в Павловское, Рамирский и Чаров пустились по течению гуляющих вокруг филармонической беседки. Взоры Чарова суетливо перебегали по встречающимся лицам, но напрасно; вставной в глаз лорнет не помогал.

— Что за чорт! Пойдемте-ка в галерею.

И там нет кого-то.

— Пойдемте-ка к подъезду.

И там нет.

— Пойдемте-ка опять к беседке.

— Это ужасная должность! — сказал Рамирский, уставший ходить за бросающимся во все стороны Чаровым.

— А! — вскричал, наконец, Чаров, встретив двух дам, подле которых шагало какое-то официальное, важно вздутое и пренеуклюжее эзопское лицо.

Рамирский взглянул на молоденькую даму, которая очень скромно, моновением головы, отвечала на поклон Чарова, окинув и его быстрым взором.

— Урод! Чорт его принес! — проговорил Чаров с досадой, — allons, mon cher [1] в галерею пить чай.

[1] Идем, мой милый.

— Я сейчас приду, — сказал Рамирский: — мне хочется послушать оркестр Германа; я сяду.

— Ну, я не филармон, — отвечал Чаров, уходя.

Рамирский обошел несколько раз круг, несколько раз встретил молоденькую даму, которая поразила его своей наружностью; ему казалось, что она явилась посреди людей из другого лучшего мира.

«Это должны быть отец и мать ее, — думал Рамирский, смотря на чиновное лицо и пожилую женщину: — неужели Чаров женится на ней?»

Стало смеркаться; незнакомка исчезла, и Рамирский задумчиво пошел в галерею, где Чаров бушезал уже в кругу приятелей.

— Кто эта девушка, которую мы встретили и которой вы кланялись? — спросил Рамирский.

— Какая девушка? это не девушка, — отвечал Чаров, раскинувшись на диване с улыбкою самодовольствия.

— Не девушка? — проговорил Рамирский, взглянув на Чарова и невольно содрогнувшись.

— Какая же девушка! дама en forme.[1] Вот эта тухлятина, что с ней шел, ее муж... уурод!.. скаатина!..

Толпа молодежи захохотала. Подобные нравственные выходки Чарова тешили всех.

Рамирский невольно припомнил отвратительную наружность, высказывающую явно нечистую душу официального лица, представил себе судьбу молоденькой незнакомки и ему стало страшно за нее.

— Правда, — сказал он на слова Чарова, — посягать на счастие жизни то же преступление, что посягать на самую жизнь. Поражать кинжалом и

[1] По всей форме.

напоять медленно действующим ядом — то же убийство.

— Ага!.. — крикнул Чаров, — что, правду я сказал? .. Поедем.

Во всю дорогу Чаров с досады и нескольких бокалов шампанского заносился на словах, и как ни желал Рамирский узнать его отношения с Нильской, но никак не мог извлечь смыслу из его апофегм.

— Не правда ли, что чудо? а? Урод, чорт его носит!..

— Премиленькая женщина, — задумчиво отвечал Рамирский.

— Воплощенная, братец, добродетель!.. а во всем прочем, чудо, братец, как бы тебе сказать... цветок, который посажен в навоз... Воплощенная добродетель... ничего с ней не сделаешь... Это ужасно как бесит каждого порядочного человека... Надо непременно пересадить ее.

«Тебе и пересадить, — подумал Рамирский, — на бесплодную свою почву».

Как ни отстранилось в нем внезапное чувство от быстро мелькнувшей надежды и прав на любовь, но он не мог отказаться от предложения Чарова познакомиться в доме княгини, тётки Нильской.

Стоит только прикоснуться друг к другу двум каплям воды, и они сольются непременно.

Без всякой цели, без всякого умыслу привлечь к себе душу Нильской, Рамирский невольно вдавался в желание сблизиться с ней. Отношения ее с Чаровым, которых он не понимал, тревожили его.

«Я по крайней мере отвлеку ее от соблазну», — думал он с чувством ревности к Чарову.

Быстрое сочувствие Нильской показалось ему

странно, подозрительно: «Для нее все равны!» — подумал он.

Между тем Степан Ануфриевич заболел и волею божиею помре. Нильская свободна. В Рамирском родилась мысль о благе владеть этой женщиной, но вместе с этим усилилась ревность, как будто по какому-то уже праву. Он не мог забыть слов Чарова перед поездкой в Павловское. Они его смущали.

«Ангел она или демон? Кто ее узнает в этом обществе, в этом хаосе добра и зла. Как испытать?» — думал он и развил сам в себе чувство подозрения до отчаяния, стал примечать, следить, испытывать каждый взор, каждое слово, каждое движение, но ничего не мог понять. Видел все признаки любви; стоило только сказать слово, но он боялся решительных объяснений.

Рамирский не знал светской женщины, раздраженной, напуганной чужими опытами коварства, которая, боясь и сама быть жертвой доверчивого своего сердца, придерживается за кого-нибудь, чтоб в случае, когда обманчивый, ложный друг отнимет руку, не упасть со стыдом и убитым самолюбием.

— Скажите мне, Чаров, правду, — сказал он мнимому сопернику своему.

— Что̀ такое? — спросил Чаров.

— Мне необходимо знать ваши отношения к Нильской.

Чарову показался слишком не светским подобный вопрос. Он настолько уже занят был Нильской и по самолюбию уверился в ее взаимности, что взглянул на Рамирского, как на жалкого несчастного влюбленного, которого даже по чувству человеколюбия должен разочаровать в тщетных надеждах.

— Мои отношения с Нильской? — повторил он, изменив к на с, — довольно интересны.

— Вы можете быть уверены в моей скромности.

— Я понимаю, в чем дело; вы хорошо сделали: предосторожность во̀-время не худо.

— Вы говорите по совести?

— Хм! Прочтите, — сказал Чаров, вынув из шкатулки небольшую записку.

Рамирский, содрогнувшись, развернул и прочел несколько строчек, написанных по-французски:

«Вы меня так обрадовали, что я целую вас тысячу раз. Не забудьте, что сегодня ввечеру мы вместе у общей нашей приятельницы Варвары Павловны. Она вас хочет лично благодарить.

Ваш друг *М. Нильская*»

Эти все нежности были просты сами по себе и вызваны радостию, что Чаров, по просьбе Нильской, имел случай доставить место мужу Варвары Павловны. Но Рамирский не мог понять смысла этой записки иначе как ревнивым чувством. Он бросил ее на стол и сказал:

— Довольно, прощайте!

«Зачем же всё это было? — спрашивал он сам себя, выезжая через несколько дней из Петербурга: — неужели для того, чтоб нарушить во мне навсегда веру в женское сердце? ..»

Чтоб потушить в себе безнадежную страсть и обратить скорее в сон грустную действительность, Рамирский просил о переводе в черноморский флот, где прежде служил мичманом, а вскоре, по вызову престарелого отца, вышел в отставку и поселился в своем имении.

«Здесь, — думал он, — может быть возвратится здоровье моего сердца. Здесь, вдали от света, от

искусственной жизни, посреди самой природы и простоты нравов, верно сохранилась и чистота нравов».

Между тем Нильская, которую уже лелеяло благотворное чувство первой любви, не понимает, отчего нет Рамирского день, другой, третий; что̀ с ним сделалось?

Ожидания сердца — мучительные ожидания. Оно всё изобьется, дух возмущен, чувство настороже, мысли выбегают навстречу — и всё нет и всё нет, и, наконец, не будет, никогда не будет!

У старой княгини, тётки Нильской, у которой она жила по смерти мужа, собрались на вечер обычные гости. Час съезду давно прошел; преферанс — аристократическое занятие от «нечего делать» и от «нечего говорить» — шел уже своим чередом. Нильской следовало бы занимать всех dames и messieurs, в которых душа была еще не усидчива, чувства искали иного выигрыша; но она жаловалась на головную боль, каждый проезжающий экипаж по улице сотрясал ее нервы, малейший стук у подъезду, топот и шорох шагов в зале приводил ее в содрогание; звонкий голос Чарова тревожил ее и как будто мешал вслушиваться в звонок, повещающий о приезде гостя. Несмотря на это, ее обступила толпа дам, жужжащих своими jolies paroles,[1] и кавалеров, гремящих своими grossièretées aimables.[2]

— Скажите, пожалуйста, — раздался резкий голос княгини, — что̀ сделалось с Рамирским? Его с неделю не видно. Monsieur Чаров, что̀ сделалось с вашим приятелем?

— С каким, княгиня? — отозвался Чаров.

— С Рамирским.

[1] Красивыми словами.

[2] Любезными дерзостями.

— Право, не знаю.

— С Рамирским? Он третьего дня уехал из Петербурга, он переведен в черноморский флот, — сказал басом один барин, сидевший за другим столом: — я его знаю, уехал третьего дня.

— Неужели? Рамирский уехал? — вскрикнула одна из дам. — Marie, entendez-vous? [1] Рамирский уехал! .. Ах, боже мой, ей дурно! ..

— Marie, Marie! дайте поскорее воды.

Все бросились к Нильской; она была уже без памяти.

— Ее надо расшнуровать; выйдите, пожалуйста.

Кавалеры вышли из маленькой гостиной; дамы остались помогать ей.

Все спрашивают друг у друга шопотом: что̀ сделалось с ней?

— Она жаловалась на голову...

— Она несколько дней уже чувствует себя нездоровой.

— Этого я не замечала.

— Хм! Это можно было предсказать.

— О, как вы замечательны! но к несчастию, замечательны в отношении того, что не касается до вас.

— Что делать! мало самолюбия.

— Имейте его больше.

— Внушите. И прочая, и прочая, и прочая.

Через несколько дней Нильская уехала в Москву. Обманутое чувство невыносимо для светской женщины: в ней кроме любви страждет самолюбие; в ней двойное страдание, разрушены два кумира, два верования: в божественность любви и в личную свою божественность. Любовь просит у сердца слез и скорби, а гордость требует от рассудка презрения

[1] Мария, вы слышите?

и забвения, восстановляет личный кумир ее на поклонение кому угодно.

Но Нильская не заразилась настолько самолюбием, чтоб вырвать из себя сердце, стать на нем, как на подножии, божеством, для которого нет уже ближнего, равного и дружного. Она исстрадалась, покуда душа не потребовала какого-нибудь прибежища сердцу.

И в Москве Чаров явился перед ней первый, с обычной настойчивостью светских зверей добиваться победы. Нильская приняла это за постоянство чувств. Она видела всю суетность и всю пустоту Чарова, но добрая природа проглядывала в нем. В Нильской родилось желание взять его под опеку, восстановить эту природу, а пустоту наполнить собою.

Но мнимая, принужденная любовь превращается в ненависть, когда что-нибудь затронет ее святыню. Едва только Чаров в полном самодовольствии похвалился перед ней в своих правах на нее, вообразил себя выше Рамирского в ее сердце и рассказал, как умно спас опрометчивого моряка от тщетных покушений на покоренное уже сердце, в Нильской хлынула кровь к сердцу и смыла нарисованную на нем любовь к Чарову. Но в ней была справедливость, она обвиняла в потерянном благе себя.

«Если б я не подала поводу этому человеку, которого не люблю, надеяться на мою любовь, он бы не стал преградой между мной и Рамирским!»

И вот Нильская независима, свободна, но грустна. Сердце — живой челнок, должно быть «привязано» или управляться кормчим — любовью, чтоб ветры не занесли его, волны не разбили.

Судьба Рамирского не лучше. Если встретишь другого себя, этого другого себя не заменит ничья

чужая душа, хоть разряди ее во все убранства цветущей юности и красоты, хоть напитай благовоннейшими свойствами нрава и всезнанием, хоть обставь горами золота и серебра, облей брильянтовыми, яхонтовыми, изумрудными водопадами, обрызгай жемчужной пеной...

Посмотрим на судьбу Рамирского. Он также не чужд нашему повествованию. После претерпенного кораблекрушения сердце его также носилось на обломке мачты по житейскому морю.

II

В маленькой приютной комнате, отделанной и меблированной причудливым современным вкусом, для уединения, для беседы с самим собою, или с кем-нибудь близким сердцу, сидели безмолвно, как очарованные, два существа. Они как будто забылись в упоении; между тем как подле, за пределами этого маленького рая, в гостиной, не умолкал то частый *пас* преферанса, то хохотливые звонкие голоса, то шепчущие, как шорох листьев. Тут, за ломберным столом сидели хозяин дома, хозяйка и почтенный гость с великолепной супругой; а близ дивана то говорили вслух, то шушукали две девушки: одна из них со взором, не отуманенным еще никакой грустью сердца, была гостья.

— Надина, где же они? — спросила она шопотом.

— Там сидят...

— Как я буду рада, когда Сонечка выйдет замуж!.. Выходить замуж по любви приятно.

«По любви!» — проговорила про себя Надина с злой усмешкой.

— Мне хочется пройти мимо, взглянуть на них.

— Ах, не ходи, пожалуйста! Оставь их!

— Он уж объявил свое намерение?

— Право, не знаю: это меня очень мало интересует.

— Пойдемте ходить по комнатам.

Девушки встали и, взяв друг друга под руку, отправились ходить по комнатам. Живой, задорной гостье хотелось непременно заглянуть в маленькую комнату; но хозяйка, не доходя до двери, поворачивала налево кругом, произнося с досадой:

— Ах, оставь их, пожалуйста!

Таким образом забытые всеми два существа, казалось, были в упоении чувств, которому невозможно было не позавидовать. Казалось, что их долгое молчание было предвестником решительной минуты.

Софи вздохнула, грудь ее взволнована, взор поник, глаза закрылись, душе хотелось забыться навек в очаровании мелькнувшей мысли, но глубокий вздох повторился и напомнил, что это мечта.

Еще глубже вздохнул задумавшийся подле нее Рамирский. Это был он. Не зная чем заглушить в себе любовь, он решился жениться и жениться скорей. Молодой человек, наследник тысячи душ — клад для семейных соседей. Его ищут. Случайно или не случайно, но Рамирский скоро познакомился с одним из соседей; приехал по зову в гости, взглянул на младшую дочь его, Софью, в счастливую минуту, когда она была необыкновенно мила, одета к лицу и сверх того так очаровательно смутилась при неожиданном появлении прекрасного соседа, — и выбор был сделан. Хорошенькая Софи, несмотря на черные, пылкие глазки, была романическое, мечтательное, изнеженное маменькой существо, — существо, любившее поэзию, вдохновение, очарова-

ние, восторг души, новые наряды, с чаем пуховые бисквиты, за обедом желэ или безэ. Все сердечные жалобы в стихах она выписывала в особую тетрадку и знала наизусть.

Старшая сестра, Надина, была существо совсем другого роду, без увлечений, без радостного взору, без радушной улыбки. Обе они были плоды одного дерева, но одна в отца, другая в мать; в них был один и тот же не совсем приятный климат, но Софи выражала собой ясную погоду, а Надина пасмурную. Очень естественно, что первая более нравилась. Светлый взор Софи, при каких-нибудь двух-трех градусах сердечного тепла, обманул и прозябшего от страданий Рамирского.

Сосед понял его намерение, запоил заветным вином; маменька двух невест закормила всем, чем бог послал. Но в доме две невесты; Рамирский завидный жених: которую благоугодно будет взять за себя? Обе рядятся напоказ, обе что-то задумчивы. Софи, увлеченная общими отзывами о богатстве и достоинствах Рамирского, забыла о поэзии и никак не могла уступить сестре в желании обратить внимание на себя.

Самолюбие девушки торжествовало победу; за предпочтение, оказанное ей перед старшей сестрой, она платит готовностью отдать свою руку и сердце, а между тем в душе проявлялась какая-то грусть, воспоминание, и как будто что̀-то говорило: «Ах, это не он!» В нем нисколько нет поэзии! И вот, как мы видели, Софи задумалась не во̀-время. Поздняя дума, как по мертвом память. Но судьба творит свое. В решительную минуту, зараженный думою Софи, задумался и Рамирский.

«Жениться без любви! Что я делаю! .. Нет! ..» — сказал он сам себе.

В это время шаги прогуливающихся по комнатам послышались близ самой двери; Софи очнулась и сказала:

— Пойдемте в залу.

— Ах, да! Вы еще не показали мне своего альбома.

— Зачем вам... в другой раз.

— Нет, пожалуйста, теперь; теперь я в особенном расположении духа читать стихи, — сказал, вздохнув, Рамирский.

— Вы их терпеть не можете.

— Нет, право, что-то вдруг захотелось чего-нибудь поэтического.

— Смейтесь.

— Пожалуйста!

— Я сказала, что в другой раз.

— А мне хочется непременно теперь.

— Это странно!

— Ничего странного; я не встану с места, покуда не принесете альбома, — решительно сказал Рамирский.

— Какие вы скучные! — произнесла Софи, стараясь подавить в себе досаду.

— Скучен, так скучен, каков есть, — отвечал довольно сурово Рамирский, вставая с места и выходя в залу.

— Ну, я пойду принесу.

— Не беспокойтесь!

— Тут нет никакого беспокойства! — отвечала Софи и нехотя пошла за альбомом. Она бы никогда не вздумала показывать его жениху своему, если б однажды, в разговоре об альбомах, сестра ее не воскликнула с искусным простодушием: «А вы видели альбом Софи? Посмотрите, какой альбом, прелесть!»

— О чем вы задумались? — спросила Надина, проходя мимо Рамирского, который сел на диване подле столика, скрестил руки на груди и смотрел в потолок.

— Я задумался? Нисколько! — отвечал он.

— Ну, так мне показалось.

— Благодарю вас, по крайней мере, за участие, — сказал Рамирский, преследуя взорами Надину. — «Как она сегодня мила! — подумал он: — сколько в ее наружности достоинства и степенности! .. Она лучше сестры».

— Вот вам мой альбом! — сказала Софи, бросила его на столике перед Рамирским и пошла ходить с сестрой и гостьей по зале.

Рамирский, как будто еще не кончив думы, долго смотрел на бархатный переплет лежащего перед ним альбома, но, наконец, взял его и стал почти без всякого внимания перевертывать листы, исписанные пошлыми стихами и изрисованные неопытной кистью. Вдруг внимание его остановилось на заглавии: «Море». Это словно напоминало ему известную его юность и любимую стихию. Он читал:

«Как же мне описать вам море? Может быть и лучше, что вы его не знаете. Поймите море чувств в душе женщины и смотрите на него: то нежное, то страстное, то коварно-тихое, то бурно-прекрасное, неистощимое в любви и дарах, необузданное в гневе, нескончаемое в обольщениях, невообразимое в разнообразии, всегда одно, но как будто не то же, всегда ненаглядное, увлекающее.

В тихий жаркий полдень, когда нет ни малейшего колебания в воздухе, когда нет ни одного облачка в лазурном эфире, оно смотрит на вас такими небесно-голубыми нежными очами, что вы бы хотели утонуть в его взоре! ..

Но в бурную осеннюю ночь, когда взыграют волны в глубине сердца, когда среди мрака горят они фосфорическим светом, когда при блеске молнии черная влага клокочет, бушует, дробится, о! тогда каждый вал его — могила, каждый стон — голос смерти.

Минует гроза, прояснится светлое утро, сгоняя с неба последние тучи и, во сретение золотым лучам, которые, мешаясь в атмосфере с синевою воздуха, отражаются в воде чудным цветом яри, — море облекается в великолепную мантию, а свежий ветерок, волнуя его поверхность, убирает каждую струю серебряною бахромою блестящих брызгов... Подобное зрелище, кажется, может только присниться! Взор следит за каждою рождающеюся волною, которая копится, извивается, дробится, чтоб дать жизнь другим бесчисленным волнам. И это стройное движение, эта чудная гармония, этот священный язык природы проникает вас неописанным восторгом!

Настает вечер. Жаркий закат утопающего в море солнца сквозь лазурное небо кажется фиолетовым; пламенея огненною краснотою зари, он отражается в воде великолепным аметистом. Резвые струйки, как будто оправленные тонкими ободочками золота, волнуясь отливами обьяри, сочетаются неизъяснимою красотою с окрестными берегами и цветущими деревьями, как будто столпившимися вокруг поговорить сладким шопотом листьев с гармоническими перекатами волн. Какое сердце не сочувствует этой прелести?

Но как мне описать вам море? Об нем можно напоминать только тому, кто привык его любить».

— Это душа писала, а не перо! — сказал Рамирский.

«Вспомните этого дивного великана, под сизыми крыльями туч, покрытого стальной бронею в алмазных искрах. Что за строгая, величественная красота!

Или море изумрудное, испещренное легкой эмалью белой пены...

Или в солнечный день, как будто покрытое золотой ризой бога...

Или в тихую лунную ночь, когда в него страстно смотрится полный месяц, когда, едва касаясь берегов, робкая незаметная волна чуть дышит...

А в пасмурную осень, когда воды и воздух принимают неопределенный цвет, проникающий сердце грустной думой, — приходит на память мысль вдохновенного Данта, видевшего в туманной дали витание тоскующих теней, отрешенных от земли и не принятых небом...»

— Что̀ вы там читаете с таким восторгом? — спросила Софи.

— Это так написано, с такой любовью, что мне кажется, собственные мои чувства вылиты на этот голубой листок! — проговорил Рамирский, не обращая внимания на вопрос Софи.

— Что̀ такое? — спросила снова Софи, с чувством, несколько возмущенным его восторгом.

И она подошла к столу и повторила вопрос:

— Чем вы так восхищаетесь?

— «Морем!» — отвечал отрывисто Рамирский.

— Ах, не правда ли, прекрасно? Это писала одна дама, — сказала Надина.

— Есть чем восхищаться! Что̀ ж тут такого особенного?

— Море и сочувствие тому, кто его написал — и больше ничего, — отвечал Рамирский.

— Где ж мне сочувствовать! — произнесла с

оскорбленным чувством Софи. — Если б вы видели ту, которая писала это, вы верно забыли бы всё от восторгу и сочувствия.

— Без сомнения, — проговорил Рамирский колко. — Во всяком случае, надо было тонуть и в море и в глубине души своей, чтобы так написать!

— Очень жаль, что не могу представить вам сочинительницу! — сказала с язвительной усмешкой и резким голосом Софи, отходя от стола.

— Скажите, пожалуйста, кто она такая? — спросил Рамирский, не обращая внимания на колкость замечания.

— Не хотите ли вы искать ее? — спросила вместо ответа Софи.

— Непременно!

— Желаю благополучного пути и сожалею, что не могу дать вам ее адреса!

Эти слова потрясли до основания Рамирского. Прикусив губу, он перебросил несколько листов, взглянул на одни стишки и начал читать вслух:

Я не люблю своей свободы,
Своей сердечной пустоты!
Я не люблю красот природы.
Что ж я люблю? Поймешь ли *ты*,
Что я люблю?
Люблю блистательные взоры,
Живые, полные огня,
Когда они, как метеоры,
Вдруг с неба канут на *меня*,
Люблю, люблю...
Тебя, — любовь... ты приголубишь
Мои надежды, мне легко,
Когда мне молвят на ушко:
Мой милый друг, меня ты *любишь?*
Люблю, люблю!..

— Это очень, очень мило написано! С каким чувством! Жаль, что также без подписи... Поз-

вольте узнать: это также писала какая-нибудь дама?

— Нет, не дама; это писал один очаровательный молодой человек! — отвечала Софи резко.

— Чудный акростих: «Я люблю тебя — ты меня любишь», — как трудно было отыскать ключ к нему! Бесподобный акростих!

— Вы смеетесь над моим альбомом! — вспыльчиво вскрикнула Софи и, подбежав, вырвала альбом из рук Рамирского и скрылась.

Рамирский затянулся глубоким вздохом и пыхнул как добрый турок, затянувшись табаком.

В это время преферанс кончился, гости стали собираться домой. Девушки побежали надеть шляпки в комнату Софи, а между тем Надина подошла к Рамирскому.

— Какой акростих нашли вы в альбоме Софи? Верно: «Я люблю тебя, — ты меня любишь?» Хм! это написал ей один поэт в Москве, с которым она познакомилась на водах.

«Предательница!» — подумал Рамирский. — А не знаете ли, кто написал «Море»?

— Nadine,[1] — раздался голос матери.

— Сейчас! — отвечала она. — Куда ж вы?

— Пора.

— Что ж вы это уезжаете, не простясь с Софи?

— Я уж простился с нею! — произнес довольно значительно Рамирский.

III

В тот же вечер, возвратясь в свое поместье, которое лежало в четырех верстах от имения отца

[1] Надежда.

Софи, Рамирский приказал, чтоб к утру всё было уложено в дорогу.. В тревожном состоянии духа проходил он почти до рассвета по комнате; сжег с сотню лучших гаванских сигар, — все до одной скверно курятся; тяжкие думы перепортили их: иная вдруг высохла до того, что рассыпàлась в руках и прогорела сбоку; другая вдруг отсырела, разбухла и, вместо дыму, коптилась угаром. Рамирский швырнул последнюю на пол, бросился на диван, потер лоб, но сон не ведет дружбы с беспокойной душою.

— Море, море! ты меня образумило! — вскричал, наконец, как будто надумавшись вдоволь, Рамирский. — Сковать себя с первой встречной девушкой, для того только, что вздумалось жениться!.. Не сказать самому себе: «Возьми ее, да будет ли она твоя?.. Сядь с ней в один корабль, да попутна ли ее душа с твоей?..» Нет, прощай, Софи! прощайте маленькие семена капризов, вспышек, досад, ссор, равнодушия, холодности и всех противных ветров, бурь и, хуже всего, затишья посреди пучины!..

Ночь проведена тревожно; наступило утро; дворецкий пришел с пошлым вопросом:

— Не прикажете ли взять чего-нибудь съестного на дорогу?

— Куда ж я еду? — спросил сам себя Рамирский. — В Москву? Что̀ я буду там делать? Разве искать от скуки сочинительницу «Моря»?..

— Так как же изволите приказать? — повторил дворецкий.

— Ничего не нужно! — крикнул Рамирский.

И через час он уже был на дороге к Москве с грустным чувством, что не несется по синему, бурному морю на всех парусах, что пенистые волны

не обдают его и не прохлаждают томящего его душу жара.

Приехав перед сумерками в гостиницу «Лондон», Рамирский послал человека занять нумер; но долго дожидаясь его с нетерпением, выскочил из коляски и пошел сам.

Посланный слуга, сроду не бывавший в Москве, вошел в сени и, не видя никого, пробрался на лестницу и отворил двери.

— Кого тебе нужно? — спросил его, выходя навстречу, какой-то *динер* с отвислой губой, в широкой куртке.

Человек, никогда не видавший немцев, сказал бы, что это немец.

— Где тут квартера Федора Павловича Рамирского?

— Какой Павлович? Нет тут Павлович! Ступай, ступай! Ты видишь, господин барин идет.

Из нумера вышел какой-то барин. Покрой, чистота, лоск, блеск, белизна одежды его, журнальная обстановка, взгляд, движения, всё являло в нем человека рафинированного, имеющего вес, перед которым отступает челядь.

— Да ведь тут же должна быть квартера... — начал было слуга Рамирского.

— Что̀ такое? — спросил барин.

— Да вот, сударь, не знаю у кого спросить, где тут квартера Федора Павловича Рамирского?

— Федора Павловича? Рамирского? Где он?

— Они, вот там, у подъезду...

— Служил во флоте?

— Так точно, во флоте...

— Иван! — раздался голос Рамирского на лестнице.

— Вот они сами... Чего изволите?

— Где ж ты пропал?

— Рамирский! Федя! — вскричал барин, бросаясь навстречу к Рамирскому: — узнал?

— Извините, ей-богу, не узнаю.

— Меня не узнал? Дмитрицкого? ..

— Господи, да кто ж узнает!

И они бросились друг к другу в объятия.

В военной службе знакомства сводят очень легко. «Славный-малой, лихой-малой» составляют лучшие титлы и рекомендации. О прочих титлах и достоинствах мало заботы, о роде и племени и помину нет. На вопросы: «Кто он такой? Честный человек? Не пьет? Не гуляет?» отвечают: «А кто ж его знает!» или вернее: «А чорт его знает! мне за него не за̀муж выходить». Таким же образом без дальних допросов, познакомился и сдружился в Николаеве мичман Рамирский с корнетом Дмитрицким. Разбитная, отчаянная голова, Дмитрицкий нравился всем, кто его знал. Живой, огненный, прямой, бьет везде напролом, как таран, с страстными позывами всё знать, всё видеть, он понравился Рамирскому — как крайность. А крайности сходятся.

— Как тебя узнать: совсем другое лицо, в парике! — сказал Рамирский, взглянув на Дмитрицкого.

— Ну, попал! Вот обрадовался-то. . . такую радость надо ценить. . . Allons, mon cher, [1] в комнату, здесь сквозной ветер, кому-нибудь надует в уши.

И Дмитрицкий потащил Рамирского в нумер.

— Послушай, Федя, — сказал он, заперев двери, — я должен тебе сказать с оника, что я от радости видеть тебя проговорился, проболтался.

— В чем? — спросил с удивлением Рамирский.

[1] Идем мой милый.

— А в том, что я уж не Дмитрицкий.

Рамирский посмотрел на него с удивлением.

— Корнет Дмитрицкий умер, о чем уже отдано и в приказах, а я душа Дмитрицкого, переселившаяся в венгерского магната, и потому, вперед спрашиваю, угодно тебе знаться с душой Дмитрицкого в ее метаморфозе, я рад; а если нет, так скажи просто: извините, я ошибся, я принял вас за одного старого моего друга.

— Я, право, ничего из этого не понимаю, — сказал Рамирский.

— Я и сам существенно не понимаю, как это всё сделалось: просто метампсихос! Я сам не верил переселению душ, а теперь поневоле верю, хоть моя душа и переходила в животных и насекомых. Но вот, после исключения из списков, ходит по мытарствам, живет на белом свете сверх штату..., ей-богу, что делать!.. скитаюсь, как мертвец, покуда не уложат в могилу и не забьют кол в спину...

Заложив руки в карманы пальто, Дмитрицкий ходил взад и вперед по комнате как человек, проникнутый горем, но переносящий с твердостью свои несчастия. Рамирский смотрел на него с удивлением, слушал, пожимал плечами и молчал.

— Ты видишь теперь во мне венгерского магната Волобужа, — продолжал Дмитрицкий, — и оттого, разумеется, не узнал меня. Если б во всех метаморфозах, случившихся со мной, участвовала моя собственная воля, хоть на столько, сколько у Юпитера для его любовных похождений, ты бы мог подумать, что и у Дмитрицкого низкая душа, но я тебе даю честное слово, что всё это совершается просто каким-то чудом: судьба завяжет мне глаза,

хлопнет жезлом раз, два три! Ну, говорит, теперь ты Матеуш, слуга, холоп и больше ничего. Матеуш, так Матеуш! и примусь за исполнение данного мне назначения, без ропоту, с полным усердием. Только что войду в характер роли — ейн, цвей, дрей — ты граф! Нечего делать, граф, так граф. Я и от этого не отказываюсь. Не успею совершить какой-нибудь подвиг, достойный графского сана, — attànde! [1] Ты Прохор Васильич, купеческий сын! Пожалуй, для разнообразия буду купеческим сыном. Таким образом судьба вела меня через разные звания и состояния и привела на степень венгерского магната. Можешь спросить у всей знати здешней, у какого хочешь венгерца: унижаю ли я звание магната? Конечно, можно меня упрекнуть в незнании венгерского языка, но, судя по здешним магнатам, каждый магнат не нуждается в отечественном языке. Отечественный язык нужен только простому народу...

— Дмитрицкий, — сказал Рамирский, — ты такой же чудак и мистификатор, как был за десять лет!

— Помилуй, душа моя, какая тут мистификация: я тебе говорю серьёзно.

— Ну, полно, пожалуйста! Я очень рад, что встретил тебя здесь; но мне надо подумать о том, чтоб где-нибудь остановиться: здесь все номера заняты.

— Не хлопочи, я занимаю три номера. Один из них твой.

— Благодарен.

— Гей! Иоганн!

— Gleich! [2] — отозвался Иоганн.

[1] Стой.
[2] Сейчас.

— Вещи этого господина внести в пятый номер! Hast du verstanden? [1]

— O, ja! gleich! [2] — сказал Иоганн, но заметив брошенное на стул пальто взял было его, чтоб положить как следует.

Но магнат крикнул: — Марш! — и он отправился, отдув губу и пробормотав: — Alles muss in Ordnung sein. [3]

— Давно ты вышел в отставку? — спросил Рамирский.

— И не думал выходить, — отвечал Дмитрицкий, — хоть справься в герольдии.

— Да каким же образом ты здесь, в партикулярном платье?

— Да так, внесли меня в список умерших, и живут себе спокойно. Это меня, разумеется, взбесило, да что ж делать! Каким образом умершему явиться живым? Невозможно, покойники не ходят; в старину утвердили бы к земле колом, а теперь отдадут под суд.

— Ты шутишь или не шутишь?

— Что за шутка! Вот видишь: отправился я из полка ремонтёром в Подольскую губернию. Оставил пьяницу хохла денщика у одного знакомого пана в деревне, а сам разъезжаю себе из места в место. К несчастию, шайка мошенников напала на меня и просто зарезала самым бесчеловечным образом. Что было делать? Я написал пану, что вот так и так, зарезали, не вспрыснет ли он меня живой и мертвой водой? А между тем пьяный мой хохол пришел к пану и говорит: что ж я, пане, буду делать! грошей у меня нет и пана нет. — А что ж

[1] Ты понял?
[2] О да. Сейчас.
[3] Все будет в порядке.

тебе делать! — сказал ему пан: — пан твой пишет ко мне, его зарезали. — Ой-ли, — крикнул хохол, — коли сам пишет, так стало быть это верно? — А как же! — Хм! — сказал холоп, покачал головой, да и пошел в полк, донес, что меня зарезали...

— Славная сказка! ..

— Ей-ей, не сказка, слушай дальше, — продолжал Дмитрицкий: — из полка вместо меня прислали другого офицера; команда стояла в Бердичеве; обо мне слухов нет; убедились, что я действительно не существую уже на свете и вычеркнули из списков живых. Скверная вещь; мне следовало бы после этого в самом деле лишиться жизни, но я подумал: это еще хуже; предаться лучше судьбе, что̀ хочет, то пусть со мной и делает. И сделала она из меня магната венгерского следующим образом...

И Дмитрицкий подробно и откровенно рассказал Рамирскому все свои приключения.

— Ты задумался, — сказал он, кончив рассказ: — сделай милость, Федя, будь друг, не церемонься, не знай меня и кончено.

— Нет, я тебя знаю и буду знать, — отвечал Рамирский: — но для всех и каждого буду знать тебя как магната Волобужа, с которым я сегодня имел удовольствие познакомиться.

— Браво! обойми меня, неизменная, славная душа! Ты, брат, человек, Федя, ей-богу, человек! Если б в моей воле, я бы тебе непременно дал земное счастие.

— Мне его уж никто не может дать! — сказал, вздохнув, Рамирский.

— Почему?

— Я тебе расскажу со временем и свое горе.

— Ну, отдохни с дороги, а я должен ехать се-

годня на литературный вечер; здесь теперь в большой моде литературные вечера. Это презанимательная вещь.

— А ты каким образом попал в литераторы?

— Ну, нет, вдруг не попадешь в это звание; я еще не литератор, но уж смотрю в литераторы. Все здешние известности, узнав, что я родом славянин, в восторге от меня, таскают по всем литературным вечерам, просят петь: *не зозуленька в лесу куковала, и кричат:* какое сходство с русской песнью: *не кукушечка в лесу куковала.* Я им обещал собрать песни моей родины. Как только соберу, тотчас же и литератор.

— Любопытно побывать на этих вечерах.

— За чем же дело стало? поедем завтра на великолепный литературный вечер к Звездову.

— И он литератор?

— А ты его знаешь?

— Как же, он служил в Петербурге.

— Так и прекрасно: я сегодня увижу его у мадам Recoeuil и скажу, что я познакомился с тобою, и что завтра ты к нему будешь на вечер. Там вся московская поэзия и проза, славянофилы, скандинавофилы, франкофилы и простофили.

— В самом деле поеду. Может быть, я там встречу и одну сочинительницу, которая меня интересует.

— Не одну, а тьму встретишь. Ну, прощай.

«Чудак, — подумал Рамирский: — какой славный малый и как погиб безвозвратно!»

IV

На другой день Рамирский долго ждал пробуждения Дмитрицкого, который по обычаю магнатов

началом дня считал не восход солнца, не любил утреннего ребяческого его света, но считал день, как следует, с первого часу. Не дождавшись этого часу, Рамирский уехал прежде всего посетить неизбежный опекунский совет, потом некоторых дальних родных и давних знакомых и между прочим заехал к четвертого класса Звездову, который очень внимательно его принял, изъявил удовольствие, что он посвятил себя литературе, и пригласил на свой литературный вечер.

«Я занимаюсь литературой? .. — подумал с удивлением Рамирский: — ах, чудак, этот Дмитрицкий! он без шуток и мистификаций не может шагу сделать! Посвятил меня в литераторы!»

— Жаль, что мне сейчас надо ехать по делу, — сказал Звездов: — а то я бы прочел вам на досуге стансы к Москве, которые я сию минуту только написал... Но еще, я думаю, можно будет... Это собственно десять слов к Москве... Сейчас принесу...

«О, господи! попал на муку», — подумал Рамирский.

К счастию его, вошел какой-то господин с огромною тетрадью в руках, всматриваясь прищуренными глазами сквозь очки на окружающие предметы.

— Ваше превосходительство... Ах, извините, — сказал он, — заметив свою ошибку; сел, положил тетрадь свою на стол и начал протирать платком и искусственные и настоящие свои глаза.

— Вот, это собственно десять слов, — раздался еще в дверях голос хозяина.

— Ах, ваше превосходительство! — проговорил пришедший господин, вскочив с места и схватив свою тетрадь.

— А! — проговорил хозяин с неудовольствием.— Вот это...

— По вашему желанию послушать, я привез, ваше превосходительство, — перервал его господин в очках, развертывая свою тетрадь: — я сперва прочту вступление... Перевод такого писателя, как Гёте, требует пояснений, — продолжал он, обратясь к Рамирскому.

— Я прошу у вас извинения, — начал было хозяин с досадой, желая отделаться от предлагаемого чтения.

— А как же вы полагаете, ваше превосходительство, — перервал его порывистый господин в очках: — неужели вы думаете, что не должно объяснять читателям дух писателя? Нет, должно, должно: это ключ к смыслу его сочинений, притом же каждый может понимать иначе...

Рамирский, не ожидая дальнейшего развития речи, встал.

— Куда ж вы? .. — крикнул испуганный хозяин, что его оставляют одного на жертву прищуривающемуся господину в очках.

— Если позволите, я буду ввечеру.

— Какая досада, что не удалось мне прочесть вам... Вот, как видите, всякий день приходят ко мне на суд с своими кропаньями, — тихо сказал в зале Звездов, провожая Рамирского. — Итак, до вечера.

Возвратившись в гостиницу, Рамирский не застал уже дома Дмитрицкого. Он возвратился часу в осьмом.

— А! дома! Не забыл, что сегодня едем на литературный вечер? да теперь еще рано: часов в десять, даже в одиннадцать.

— Помилуй, к чему ты сказал Звездову, будто я сочинитель?

— Что̀ ж такое? Разве это компрометирует тебя?

— Хм! Нисколько не компрометирует, да для чего ж это?

— Как для чего? Для того, чтоб на тебя смотрели, как на литератора. Литераторы теперь в ходу. Ты думаешь, что в салонах трудно быть ученым, поэтом, писателем, критиком? Пустяки! Ты послушай, как я заговорю об индейской и еврейской поэзии. Приехать в салон не то, что приехать к Солону и смотреть дураком да удивляться греческой премудрости: салон — страна малознающих, плохознающих и ничего не знающих, но желающих казаться всезнающими. Взаимное надувание, взаимная снисходительность, вот и всё, и квит с дубинкой. Например, я в глаза не видал Европы, но имею же об ней понятие, и довольно. Спрашивают меня: вы верно были в Неаполе? Я отвечаю с живым восторгом воспоминания: «В Неаполе? Ах, это очарование! Море, Везувий, извергающий пламя! Этого рассказать нельзя!» И нечего рассказывать, довольно, восхищение возбуждено, чего же еще больше? .. Однакож пора собираться; одевайся, mon cher; впрочем «запоздать» ничего не значит, неприлично «заранить».

К десяти часам тоалет был ко̀нчен, и они отправились к Звездову. У подъезда швейцар звякнул в колокольчик. Они вошли. Зала была озарена стенными светилами, но еще пустынна, ломберные столы, как жертвенники, на которых убивалось время, стояли уже наготове, но всюду в доме еще тишина, от которой можно вздрогнуть.

— Не рано ли? .. — спросил Рамирский, — никого еще нет.

— Нет, в гостиной есть уже хоть безжизненные, но живые люди, voyez-vous? [1]

На диване и подле него на креслах сидело несколько дам, как на сеансах: каждая приняла положение, выгодное для портрета. С одной из них, как с почетным членом заседания, разговаривала хозяйка; но так чинно, тихо и безмолвно, что казалось они смотрят друг другу в глаза за спором, кто первый моргнет.

Около стен, на креслах, сидело несколько мужчин, как пришпиленные какие-то насекомые в коллекции натуральной истории. Все были в белых и желтых перчатках, все держали обеими руками свою шляпу, чтоб не выпала из рук от задумчивости, и все до одного, без сомнения, были, как говорится, свои, или что̀-то в роде таких, которым делают особенную честь приглашением. Можно было принять их и за подчиненных в гостях у строгого начальника. Можно было принять их даже за нанятых, чтоб наполнять пустоту около стен. Хозяин как будто остерегался дать им какое-нибудь значение своим вниманием. Он сидел подле столика с лампой и просматривал газету. Заметив вошедших гостей, он встал довольно важно, взял Рамирского за руку и, обратясь к жене, проговорил:

— Ma femme! [2] — Потом занялся разговором с магнатом.

Хозяйка взглянула на представленное ей новое лицо, без особенного значения в свете, качнула головкой в знак приветствия, вытянула эластические губки в знак удовольствия и, снова придя в нормальное положение, обратилась к даме, сидящей на диване.

[1] Вот видите.
[2] Моя жена.

Рамирский, не зная, что̀ с собой делать, опустился на кресло и заметил, что подле него сидит очень хорошенькое существо в задумчивом расположении духа. Матовое бледное личико, черненькие глазки заинтересовали его.

В старину сидеть подле незнакомой дамы и почтительно не нарушать взаимного молчания, хоть в продолжение целого века соседства бок с боком, считалось приличием, умом, образованностью и даже долгом. Теперь и времена и нравы переменились, теперь за молчание назовут истуканом.

Чтоб избежать этого названия, Рамирский обратился к соседке с мнением, что жизнь в Москве должна быть очень приятна.

— Напротив, очень скучна, монотонна, томительна! Какие здесь удовольствия? Никаких! Театр не стоит внимания, в собрание никто не ездит, балы — толкотня и больше ничего... Москва опустела! — отвечало многоречиво задумчивое существо, как будто в отмщение за долгое непривычное молчание.

— Если б Москва была приморский город,— начал Рамирский с целию проэкзаменовать незнакомку в отношении к сведениям о море.

— Ах, боже мой! да что̀ ж такое море? что̀ бы оно придало Москве кроме сырости. Я и Петербурга за это не люблю, что он на берегу моря.

«Конечно, моя милая!..» — подумал Рамирский, не дослушав речи и встав с кресел, очень довольный, что должен был уступить место приехавшим дамам.

— Вы составите партию в преферанс? — сказал хозяин, подходя к нему.

— Извините, не играю, — отвечал Рамирский.

Хозяин отошел от него, как от бесполезного человека.

Между тем гостиная вдруг наполнилась потоком гостей.

У Звездова *смесь* под названием литературный вечер составилась довольно сложная, по рецепту отношений светских, служебных, родственных, обязательных и, наконец, литературных. Некогда он пописывал стихи, но, вступив на службу и женившись, оставил было эту глупость, играл по вечерам в карты и был спокоен, счастлив; *игорные* его вечера были очень умны, собирались всё люди одного направления и одного верования, что карты спасительная вещь от треволнений мира сего. Но едва демон славолюбия посягнул на душу Звездова, едва вошли в моду литературные вечера, он тотчас же присел, написал стихи и назначил у себя день для литературных вечеров. Для этого надо было знакомиться с писателями, поэтами, учеными, словом, с людьми не светскими, и выставить их напоказ светским людям. Для производителей необходимы были потребители. Но если уж принять и в одежде тела и в одежде духа иностранный покрой, то хоть подпиши над своей мастерской: «Федулов из иностранцев», каждый подражатель-потребитель не пойдет к подражателю-производителю. Это просто и понятно.

Рамирский отретировался к сторонке и всматривался на почтенных, пожилых, важных, осанистых и декорированных особ, за которыми ухаживал хозяин. Все они, не обращая внимания на отстой дам с одной стороны, и на отстой худощавых, бледных, испитых и юных лиц с другой стороны, усаживались за ломберные столы и таким образом составили что-то в роде гнезда в уксусе.

— Что̀ ты так смущенно задумался, mon cher, — спросил Рамирского мимоходом Дмитрицкий: — не думаешь ли ты, что здесь пантеон русских литераторов и что за этим почетным ломберным столом сели для совещания тени Ломоносова, Сумарокова, Хераскова и Державина? Не бойся, mon cher, это не они. Не хочешь ли составить партию?

— Нет, благодарю, я не играю.

— И я никак не могу играть для препровождения времени. Если тебе скучно, так не хочешь ли потосковать немножечко с дамами: посмотри, какая тоска возьмет тебя с ними. Пойдем.

— Ах, поди!

— Я пойду, мне хочется пить чаю; хозяйка сама наливает, по глоточку; и потчует французскими надуваньями; но я, как иностранец, полюбивший русский чай, не буду с ней церемониться, как русские, и выпью весь самовар, посмотри!

Дмитрицкий, в самом деле, подсел к хозяйке и сказал:

— Voyons, madame! [1] Мне ужасно как нравится этот напиток; угостите меня по-русски.

Хозяйке приятен был вызов магната, и она наливала ему чашку за чашкой. Смотреть, как венгерский магнат пьет чай по-русски, составило на добрый час занятия для всех дам.

Между тем Рамирский, после нескольких слов, обращенных к стоящему подле него молодому человеку поэтической наружности, спросил:

— Позвольте узнать, кто здесь из замечательных поэтов? Я недавно в Москве и совершенно никого не знаю.

— Здесь? Я вам скажу, кто здесь и что̀ здесь, —

[1] Ну, мадам.

отвечал молодой человек:— я сейчас только об этом думал.

Здесь суета бессмысленной толпы,
Здесь не поэты, а рабы,
Здесь много глупых, много чванных,
Здесь много призванных, да нет избранных.

— По крайней мере в вас я вижу уже поэта.

— Покорно благодарю, — отвечал поэт с улыбкой, покручивая усы: — но для кого и для чего быть поэтом: никто и ничто не одушевляет.

Рамирский посмотрел внимательно на молодого человека, зараженного уже разочарованием. Он был не дурен собою, в глазах было много огня и вместе простодушия.

— Как для кого писать? Для прекрасного пола; и что ж лучше одушевляет поэта, как не красота?

— Но не бездушная красота.

— Например, вот эта, хорошенькая дама, — продолжал Рамирский, — сколько можно почерпнуть из нее вдохновений для поэзии.

— Вот эта? Хм! она не дурна собою, но глупа: я просто был от нее в отчаянии: написал ей акростих:

Я не люблю своей свободы,
Своей сердечной пустоты...

— Извините, кажется вы писали этот акростих для Софи Луговской, — сказал Рамирский, посмотрев с удивлением на творца знакомого ему акростиха.

— Ах, да, в самом деле, я и забыл.

Я не люблю красот природы.
Что ж я люблю? поймешь ли ты,
Что я люблю?

— Бесподобно! против таких стрел поэзии нельзя устоять: я это тотчас почувствовал; знаете ли, что Софи без памяти от вас?

— Неужели? Однакож эти стансы слабо вылились, — продолжал поэт, пришедший в восторг от собственных стихов и не обращавший внимания на предметы, внушающие их, как на ненужные орудия, как на подмостки, которые отбрасывают после завершения поэтического здания: — я вам прочитаю написанные в альбом одной черноокой, чернобровой:

Черноокая, чернобровая,
Моя душечка, жизнь сердечная!
Не пленит меня ветвь лавровая,
Дай колечко мне подвенечное!

— Помилуйте, у вас целый гарем очаровательных существ, которым вы предлагаете не только любовь в стихах, но даже и руку.

— Хм! — произнес поэт с самодовольствием и хотел что-то сказать, но вдруг послышался быстрый однозвучный поток слов. Большая часть гостей двинулась в другую комнату, где подле стола сидел уже какой-то смиренный повествователь и читал свое произведение. От душевного волнения он был бледен; от невольного движения руки густые, длинные волоса его стали копром, глаза стремительно мчались по строчкам, как вагон по рельсам, слова сливались в гул поезда, предметы описания неслись мимо, как окрестности железной дороги в глазах несущегося по ней путешественника.

Как будто пригнанные на поденную работу, без присмотру, слушатели сидели задумавшись, зевали или попарно перешептывались.

Поэт не давал и Рамирскому слушать: как будто надумавшись, что̀ сказать на слова Рамир-

ского, он прошептал ему: — Поэт должен любить всех, и все должны любить поэта. Поэт свободен! .. — и начал декламировать вполголоса:

Свободен я, но нет мгновений,
Вполне свободных для меня.
Я жрец богини вдохновений,
Я страж священного огня!

— Но это жестоко: насчет спокойствия несчастных сердец скопить том стихотворений, — сказал тихо Рамирский.

— Поэт, как пчела, собирает мед со всех цветов, — сказал поэт равнодушно, не затрогиваясь упреками.

— Бедная Софи Луговская! Как она должна страдать! Вы соблазнили ее чувства.

— Я соблазнил?

Нет, никогда с притворным чувством
Ни в чьи глаза я не смотрел,
И средством низких душ — искусством
Ничьей душой не овладел!

— Это всё прекрасно, но вы погубили ее своими стихами. Она изнывает.

— А я? Я спокоен? Когда она уезжала, я написал. . .

— Браво, браво! прекрасно! — крикнули несколько голосов, как будто с просонок, когда повествователь, запыхавшись, достиг, наконец, до размаху пера, которым заключалась повесть, в виде закорючки.

— Я писал, — продолжал поэт:

Прощай! с тобой я всё утрачу,
И благо дней и мир ночей.
О как я плачу, плачу, плачу!
Какая грусть в душе моей!

— Я однакож недоволен этими стихами. А! вот, послушайте романс, который я написал Нильской на заданный сюжет: «Любила я, он не любил».

Сердце Рамирского замерло.

— Нильской? — спросил он.

Не успел еще поэт ответить, как хозяин подошел к Рамирскому с каким-то пожилым человеком.

— Иван Карпович желает познакомиться с вами, — сказал он ему и, довольный, что сжил с своих рук неотвязчивого говоруна, а вместе с тем доставил новому гостю собеседника, без дальнейших церемоний пошел занимать более значительных гостей своих.

— Очень приятно, что имею удовольствие познакомиться с вами, — проговорил торопливо реченный Иван Карпович с каким-то нетерпящим отлагательства побуждением окончить течение своей речи, которую он начал изливать перед хозяином дома: — изволите ли видеть, вы верно согласитесь с моим мнением, что на русскую литературу надо смотреть особенными глазами, потому что, надо вам сказать, это не то, что литература западных народов, — положим французская: — совсем не то: другие начала, другое развитие, другие средства, другие побуждения, другой дух... например:

О ты, что в горести напрасно
На бога ропщешь, человек...

Возьмем что-нибудь во французском... например, сатира Vauquelin de la Fresnaye:

Connais tu ce facheux qui contre la fortune
Aboie imprudemment, comme un chien à la lune...[1]

[1] Знаешь ли ты тех сердитых, которые бессмысленно лают против судьбы, как собака на луну.

— Изволите ли видеть, какая разница? Здесь бог, там судьба, фортуна... ясно? То же положение, но здесь обращение к богу, там к судьбе; оно кажется ничего, а на поверку совсем не ничего: тут только ропот, там исступление. Заметьте; aboie comme un chien à la lune...[1] Изволите понять... Не правда ли? Различие ужасно. Вследствие чего же оно родилось? Вследствие чего француз развязен, свободен, летуч в движениях и в речах? Вследствие того, что он не привязан ни к прошедшему, ни к будущему... а! понимаете? И с этими словами оратор уставил палец кверху и, посмотрев значительно в глаза Рамирскому, повторил: — Ни к прошедшему, ни к будущему! Словом... вследствие религиозного émancipation![2]

Произнося торжественно эти слова, как тайну великого открытия, он поднял еще выше указательный палец и молча не сводил выпученных глаз с Рамирского, как будто давая ему время притти в себя от удивления.

Рамирский действительно был поражен потоком слов навязанного на него Ивана Карповича и не знал, как отделаться от беды. Глаза его следили за поэтом. К счастию, какая-то звезда, ходившая по комнате как будто с подставкой под бородой, вдруг подошла и спросила:

— О чем рассуждаете, Иван Карпович?

— А вот, изволите ли видеть, — начал Иван Карпович, обращаясь то к звезде, то к толстой особе, которая также подставила внимательное ухо и которой необходимо было привязаться к кому-нибудь, чтоб не казаться ничтожным человеком до партии в преферанс: — изволите ли видеть...

[1] Лает, как собака на луну.
[2] Свободомыслия.

Рамирский, не теряя времени, отступил шаг-другой от оратора; далее, далее; отыскал в толпе поэта, хотел у него что-то спросить, но поэт декламировал какому-то внимательному слушателю целую поэму наизусть.

«Мучитель!» — думал Рамирский, выжидая с нетерпением конца поэмы.

— Пойдем к дамам, mon cher, — шепнул ему Дмитрицкий: — спросим у них, кто превосходнее пишет: Сю или Занд? Это будет забавнее.

— Сейчас, сейчас, — отвечал Рамирский.

— О, да тебя можно кормить стихами! — сказал Дмитрицкий.

Поэт был в восторге, что нашелся добровольный слушатель. Он вышел из себя и начал громко декламировать.

— Что̀ это такое? — раздалось со всех сторон.

И всё двинулось с места и обступило его.

— А, вот это дело другое! — сказал Дмитрицкий: — на человека, который беснуется, любопытно смотреть, и я не прочь от других.

Разгоряченный поэт, кончив какой-то ропот на людей стихами:

В который день вас создал бог?
Вы человеки или звери?

окинул мрачным взором всех слушателей и стал стирать пот с лица своего.

— Браво! — вскричал Дмитрицкий.

— Это глупый сюрприз! — проговорила тихо хозяйка, пожимая плечами.

— Charmant! [1] — повторил Дмитрицкий: — посмотри, mon cher, как все допрашивают друг друга

[1] Великолепно.

взорами: «В который день вас создал бог? ..» Однакоже не довольно ли на первый раз, не пора ли? Я думаю еще проехать отсюда в английский клуб.

— Сейчас, сейчас! — отвечал Рамирский, подходя к юному поэту, которого еще допрашивали некоторые, что̀ он читал.

Но к нему не было доступу. Он снова начал декламировать стихи.

— О, боже мой, о чем я хлопочу. Поедем! — сказал, наконец, Рамирский.

— Тебя, кажется, свел с ума этот пиит своими стихами.

— Ах, да, они мне напомнили...

— Что̀ такое?

— Не спрашивай теперь, — грустно!

— Ну, перед тобой; будем говорить о посторонних вещах. Каков литературный вечер? Мы, впрочем, рано уехали. Там один заслуженный поэт, как мне сказала хозяйка, будет читать стихотворение под заглавием «Горы» или «Горе», она еще сама наверно не знает. По обычаю, всех потребителей литературы засадят за преферанс, а производители сами себя слушают и, по системе взаимного восхваления и должного приличия, вслух кричат: «Какой дар!», а про себя: «Господи! что за бездарность!» Таким образом ты видел образчики производителей и потребителей литературных: у одних дар даром, а другие пользуются даром... Ты, однакоже, все молчишь, mon cher, не слушаешь моих острот. Спишь?

— Ах, нет!

— Полно, не отрекайся. Грусть, mon cher, то же сновидение, в котором, как ни одевайся, все гол. Ну, до свидания!

— До завтра, — сказал Рамирский, выходя из кареты.

— Уж, конечно, я ворочусь поздно.

Войдя в переднюю нумера, Рамирский заметил стоящего у дверей отставного офицера жалкой наружности.

— Что̀ вам угодно?

— Вы изволили приказать явиться к себе! — робко отвечал офицер.

— Я? .. Я не имею чести знать вас.

— Так я ошибся-с...

— Впрочем, здесь стоит также господин Волобуж.

— Так точно-с, они верно и приказали.

— Но он возвратится поздно. Вы пожаловали бы завтра поутру.

— Очень хорошо-с! — сказал офицер, кланяясь.

Но вдруг на лестнице раздался звучный напев: «Ла, ла, ла, ла!» Магна̀т обыкновенно, проходя крыльца, сени, передние, подавал о себе голос какой-нибудь итальянской арией.

— А! это вы, — сказал он, заметив офицера: — очень рад! Что ж вы ждете меня в передней? Я ведь не такой большой господин, у которого для людей, имеющих в нем нужду, нет другого места кроме ка̀к у порога. Милости просим! Так вам нужна помощь? У вас жена, дети?

— Жена, дети-с...

— Жена и дети? скажите, пожалуйста! .. Здравствуйте, mon cher! Я раздумал ехать в клуб. Забыл взять деньги, а это худой знак... Куда ж вы?

— Может быть, я беспокою? — сказал офицер.

— Э, нисколько. Так у вас жена и дети? Кажется, трое детей?

— Трое-с.

— Да, нет у вас четверо.
— Виноват, так точно-с!
— И жена на сносе?
— Так точно-с.
— А велики дети?
— Старшей девочке, так, уж лет шесть-с.
— Вы на службе женились?
— Нет, уж вышедши-с.
— Да вы, кажется, и в отставке-то недавно?..
— Не так давно-с, другой год.
— Другой год! а! И женаты, следовательно, также другой год. Стало быть на первый же случай бог вам дал тройни, да и не то чтоб грудных младенцев, а уж так на возрасте... лет по пяти, не правда ли?
— Как-с? — проговорил офицер, смутясь.
— Да уж так, не иначе! Поверьте мне, что так! Вот, mon cher, как бедных людей преследует судьба: богатым совсем не дает детей; а тут человеку, который не знает, как сам себя прокормить, вдруг залпом троих подросточков... Э-эх, Федор Петрович, стыдно! Вот уж этого-то не ожидал от вас!
Офицер побледнел, задрожал как лист, приподнялся со стула как уличенный в преступлении.
— Стыдно, господин Яликов, промышлять таким обманом!
— Не погубите-с! — проговорил Яликов, готовый упасть на колени.
— Полноте, что вы это! Как ты думаешь, mon cher: у человека было огромное состояние, была жена, — образованная дама высшего тона, — всё с рук спустил! И вот теперь в каком положении!
— Кто, я с рук спустил? — проговорил жалобным голосом офицер: — неправду вам сказали-с,

ей-ей неправду! Вот вам Христос, что я ни душой ни телом не виноват!

— Где ж ваше состояние? где жена? а? Да отвечайте же!

— Не могу-с! .. Горько-с! .. Бог с ней! — проговорил офицер, зарыдав и закрыв лицо шляпой.

Сначала Рамирский смотрел с презрением на офицера, которого обман Дмитрицкого вывел на чистую воду, но когда он горько зарыдал, сожаление глубоко проникло в душу Рамирского.

— Если б ты знал, mon cher, жену его, — вот истинный ангел! Не правда ли, Федор Петрович? — сказал Дмитрицкий.

— Да-с, ангел, точно ангел! — отвечал офицер, отирая глаза.

— Я думаю, вам ужасно как жаль Саломеи Петровны?

— Как же-с... жаль! ..

— Нельзя и не жалеть. Представь себе, mon cher, роскошнейшую женщину, красавицу, блестящего воспитания, полную чувств, музыкантшу, певицу; ну, просто очарование... вышедшую по любви замуж... вот за них. Великолепный дом на лучшей ноге, прислуга, экипажи, ну, словом всё — роскошь! Не правда ли, Федор Петрович?

— Действительно так-с! — отвечал Яликов, вслушиваясь с грустью в описание своего прошедшего счастия.

— Не понимаю, каким же образом всё это рушилось? — спросил Рамирский.

— Да поди, спрашивай виноватого; пожалуй, обвинят и зайца, который перебежал через дорогу Федору Петровичу, а если посудить глубже, так вся беда-то, как говорится, в колыбели выкачана,

на материнских руках выняньчена, родительским попечением взлелеяна, добрыми людьми откормлена. Отчего, например, я, Волобуж, иностранец, а не русский, не какой-нибудь Дмитрицкий? Я бы и был Дмитрицкий, если б дома не научили меня играть роль смирного мальчика, тогда как я был шалун; если б в пансионе не научили меня играть роль отчаянного и лихого малого, тогда как я был трус. Таким образом, разыгрывая чужие роли, можно забыть о своей собственной; под вечной маской сотрется собственное лицо, родной отец не узнает родного сына. Понятно? Кто, например, поручится, что и я не виноват, что Федор Петрович, также по привычке играть роли, вздумал разыграть перед нами отца семейства, удрученного бедностью; кто поручится, что бедная супруга его, Саломея Петровна, не разыгрывает теперь роли француженки и не заведывает каким-нибудь Чаровым.

— Да уж если правду говорить, так она и в девушках была еще француженкой! — сказал Яликов; — я это тотчас заметил, да каналья сваха надула.

Рамирский с грустным удивлением слушал слова Дмитрицкого; имя Чарова его поразило, но он невольно усмехнулся на замечание Яликова. Дмитрицкий не был смешон и пресерьёзно сказал:

— Без сомнения, должно быть так, Федор Петрович.

— Да уж душа никогда не обманет, — прибавил Яликов.

— Конечно, особенно ваша. Знаете что̀, Федор Петрович, ведь Саломея Петровна здесь...

— Где-с? — с испугом спросил Яликов.

— В Москве.

— У родителей-с?

— Нет, от роли дочери она отвыкла. Хотите, я вас с нею сведу?

— Нет уж... Бог с ней! .. Куда уж мне... Если б хоть отдала мне ломбардный билет... Если б вы изволили сделать милость попросить ее, — сказал Яликов, привставая с места и кланяясь.

— Вот задумали о ломбардном билете! Вы, мужчина, не умели беречь денег, где ж уберечь их слабому нежному существу! Ее самое, дело другое, можете получить: я об этом озабочусь.

— Нет уж, покорно благодарю! — проговорил Яликов, снова вставая, — я беспокоить не хочу Саломеи Петровны... Если б какое-нибудь местечко открылось.., потому что за квартиру вот плачу целковый в месяц; пища также — уж всё проешь в день гривенничек.

— С женой-то на сносе и с четырьмя детьми? Послушайте! Мало!

— Это уж я так... проговорился, — сказал Яликов, стыдливо потупив глаза, — потому что на той же квартире живет одна очень хорошая женщина с детьми... так она пригласила меня в компанию, стол держать вместе.

— А! это дело другое; вы говорили: *жена с детьми*, я думал, что ваша собственная; но выходит, что не ваша, а просто жена с детьми, вместе с которой вы держите стол, вместе приходы и расходы, так?

— Так точно-с; я не умел объяснить хорошо сначала.

— То-то и беда: надо всегда хорошо объяснить всё сначала, а не то люди подумают, бог знает что... Так вам нужно только теплое местечко? Где ж бы нам найти его?

— Хотите ко мне в управляющие, — сказал

Рамирский: — вы будете иметь всё готовое и пятьсот рублей жалованья. Всё ваше дело будет состоять в сборе и пересылке ко мне оброка.

— Ну, вот, хотите? — прибавил Дмитрицкий.

— Как не хотеть-с, я бы очень желал.

— Ну, так дело и кончено. Завтра вы явитесь к Федору Павловичу, а теперь можете отправляться домой. Вы где живете?

— В Зарядье.

— Охо-хо! Так вы не рассердитесь, если я вам предложу вместо пары гнедых, чтоб доехать до квартиры, пару синих? Пожалуйста, не церемоньтесь, Федор Петрович, что за церемония между приятелями.

Яликов в восторге поклонился чуть-чуть не до земли.

— Приходите завтра ко мне часов в девять утра, мы поговорим, — сказал Рамирский.

— Непременно-с!

Яликов еще раз поклонился и вышел.

— Доброе дело сделал, mon cher, ей-богу доброе! — сказал Дмитрицкий, по выходе просителя: — если б ты знал, что это за карась и что за щука жена его... Да ты, я думаю, догадался, что это за лицо?

— Право, нет.

— Ну, ты рассеян или спать хочешь.

Воображение Рамирского в самом деле было слишком занято собственным делом и потому он мало интересовался чужими.

— О каком Чарове упоминал ты? — спросил он.

— Тут есть один Чаров, пустая голова, но богатое животное. А что?

— Так; я знал одного Чарова в Петербурге.

— Он-он-он-он! Это я верно знаю.

— Он женат?

— Кто, он? Да какой урод, как он сам говорит, пойдет за него?

Смутное чувство затронуло Рамирского.

— Он богат и того довольно, — сказал он вздохнув.

— Богат? Пустяки. У женщин есть такт и самолюбие; умный бедняк ничего, глупый богач также ничего. Но ни то, ни се, ни ума, ни глупости — нельзя, mon cher: я говорю тебе, что у женщин есть такт: надо же любовь заменить хоть правом бросать деньги и свободой порхать на все четыре стороны, а это животное не дает ни денег, ни воли. Я только раз видел его и понял. Разве, вот, теперь, нашла коса на камень... на Саломею... Она, может статься, распорядится им, как следует. Саломея Петровна! Ах, Саломея Петровна! Да нет, извини, аттанде: он поставит мне и тебя на карту!.. Ты не поверишь, mon cher, что за страсть у меня к этой женщине. Она меня терпеть не может, а я не могу никому уступить ее — никому!.. Послушай, ты коротко знаком с Чаровым?

— Да, я был знаком, но не желаю продолжать знакомства.

— Нет, для меня, сведи меня с ним завтра же в английском клубе... Мне хочется видеть Саломею..

— Избавь, пожалуйста!.. Не могу! Не хочу!

— Ну, ты только позови его к себе, а уж я сойдусь с ним сам.

Рамирский подумал. Любопытство узнать от Чарова о Нильской подстрекнуло его, и он решился исполнить просьбу Дмитрицкого.


ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

I

— Когда ж ты, душа моя, расскажешь мне историю своего сердечного кораблекрушения? — спросил Дмитрицкий на другой день поутру, входя в номер Рамирского и взяв в руки лежащий на столе атлас естественной истории инфузорий: — мне ужасно любопытно знать, что за несчастия такие и беды, от которых люди вешают нос? Мне кажется, mon cher, что микроскопическое воззрение на мир и людей и есть именно несчастие. Посмотри стеклянными глазами на воду чистую, как бриллиант, и в этой воде откуда ни возьмутся вот эти чудовища с греческими и латинскими наименованиями. Жажда страшная, вода свежа, светла на-глаз, а пить отвратительно: мысль о чистоте ее нарушена; так всё и кажется, что проклятые зубастые дрожалки и коловратки изгрызут всю внутренность.

Точно так же взгляни только в увеличительное стекло в недра человеческие и на все обстоятельства — просто несчастье! Столько допотопных чудовищ, что поневоле отворотишься от любви и от дружбы.

Кто ж населил этими коловратками и дрожалками чистую, светлую природу? Дух человека, разбитый вдребезги; каждая частица его воплощается, живет, кусает, щиплет, просит пищи: ты, говорит, произвел меня, ты и питай. Ты отбросил меня от

себя, а я всё-таки от тебя не отстану. Так ли? Умно?

Но если человек расплодил грех, так пусть же и терпит от него, или находит свое счастие в несчастии, свою тишину посреди тревог и бурь, свою радость в печали, свою любовь в ненависти. Вот я, например, и наслаждаюсь ненавистью к некоей Саломее: мочи нет как хочется стереть рог ее гордыни, согнуть в дугу ее непреклонность. Не будь ее, я давно бы влюбился в кого-нибудь надлежащим образом; женился бы, сделался бы отцом семейства и непременным членом английского клуба... Впрочем, не знаю, женился ли бы; может быть я лгу: где взять настоящую virgo:[1] сколько ни смотрю, все virago,[2] все мужественные девы.

Рамирский взглянул на Дмитрицкого и вздохнул.

— Ты также, верно, попал на какую-нибудь virago? Расскажи, Федя, от нечего делать свою автобиологию.

— Не хочется говорить.

— Ну, не говори; принуждение во всяком случае никуда не годится. Добрая воля — дело другое: у доброй воли есть и язык, и руки, и ноги, и тому подобные вещи, годные на дело. Чем же тебя рассеять? Такой славный малый, а хандришь. Знаешь что? Женись, ей-богу, женись!..

— На какой-нибудь virago?

— Э, нет, я с досады забыл, что во всей природе есть исключения, и в этом случае есть. Ты был влюблен?

— Может быть.

— Ну, следовательно, во всяком случае, ты стра-

[1] Девица.
[2] Мужество.

даешь от безнадежной любви. Здесь есть, братец, чудо, а не существо, которое также страдает от безнадежной любви, в этом я уверен. Вы будете пара. Ты будешь жаловаться ей на непостоянство женщин; а она тебе на непостоянство мужчин; оба будете сожалеть о первой любви и довольствоваться второю.

— Нет, любезный друг, погасли мечты о счастии жизни, их не возжешь снова.

— Дело! Ты стоик; человек, который что заберет в голову, того колом не выбьешь. А в отношении к счастию, mon cher, кроме стоицизма это значит и злопамятность.

— Не понимаю почему?

— А вот почему: судьба не дала тебе того, чего ты желал, так ты так на нее озлился, что плюнул, да и знать не хочешь того счастия, которое она сама тебе готовит.

— Желал! Что ж значит желание сердца? — вскричал Рамирский, вскочив с места, — не инстинкт ли потребности и желаний самой природы? Если у животных инстинкт не обман, за что же я в себе буду считать его ложным аппетитом к чему-нибудь? Нет! Не судьба отняла у меня мое, а люди! Доля моя отнята, другой не нужно! Чем заменю я потребность сердца? Просто женской фигурой? Золотом, почестями? Каким-нибудь опьянением светской жизни?

— Правда, mon cher, что это всё вещи более существенные или, так сказать, благоразумные; но так как каждый человек без исключения есть поэт и не может существовать без утоления души, то есть именно без удовлетворения того, что ты называешь инстинктом, то я и кладу оружие перед тобой. В самом деле, про инстинкт я забыл... Чего, например, я

существенно желаю по инстинкту? Женой — Саломею с добрым, любящим сердцем, вместо злого, тебя — другом, кусок земли на родине, да кроме домашних забот какую-нибудь службу. Не служить людям нельзя: мы все должны друг другу служить своей способностью. Способность великая вещь; кто уродился барабанщиком или флейтщиком, тот и в должности фельдмаршала будет только барабанить в уши и просвистит победу.

Вошедший Иоганн прервал нравственные размышления Дмитрицкого докладом, что к нему приехали какие-то господа и желают непременно его видеть.

— Так мы едем сегодня в клуб? — сказал Дмитрицкий: — я распоряжусь, чтоб тебя записали.

— Пожалуй; но что я буду делать в клубе?

— Сегодня заказной обед на славу.

— Это для меня плохой соблазн.

— Не всё ли равно скучать здесь или там? По крайней мере посмотришь на чудаков, которые откармливают себя для того только, чтоб их со вкусом съели черви. До свидания, mon cher.

Когда Дмитрицкий вышел, Рамирский занялся чтением французской сказки про блуждающего Жида и читал до тех пор, покуда индейский принц Джальма и мадам де Кордевиль заснули вечным сном, а сам он задремал.

В это время собирался в клуб к обеду на славу Чаров. Приказав запрягать коляску, он однакоже ходил молча по комнате в беспокойной нерешительности и посматривал на известную нам особу, которая раскинулась в креслах и, приложив руку к голове, также сидела молча и задумчиво,

— У тебя верно опять болит голова, Ernestine?[1] Я съезжу посоветуюсь с доктором.

— Я вижу, что вам хочется куда-нибудь ехать; не сидится дома.

— Мне нужно сделать несколько визитов... Если я запоздаю, пожалуйста, не ожидай меня к обеду.

— Отчего же? я могу ждать, вы можете возвратиться в полночь.

— Вот прекрасно, в полночь; я возвращусь непременно часов в шесть.

— Это всё равно для меня: я могу и не обедать.

— Фу, чорт! Несносная баба! .. — проговорил про себя Чаров.

— Да для чего же не обедать, ma chère?

— Оттого что я не из куска хлеба у вас живу... Да сделайте одолжение, поезжайте; что вы обо мне заботитесь?

— Да нельзя же... Я не понимаю, за что тут быть в претензии.

— Какая претензия? Я вас не удерживаю.

— Нельзя же мне всё дома сидеть... я имею свои отношения... — проговорил Чаров с досады.

— Я знаю, что во всех отношениях жена последняя. Но я еще не жена ваша, да и не наложница; вы это должны хорошо знать!

— Эй! — крикнул Чаров, — распречь: я не поеду.

Закурив сигару, он сел на диван, и тишина воцарилась.

— Я не знаю, — сказала Саломея смягченным голосом, после долгого молчания: — для чего себя принуждать. Для чего вы не едете, когда вам хочется ехать? Если я высказываю чувства свои, кажется,

[1] Эрнестина.

не за что сердиться?.. Я могу перенести скуку быть одной... Поезжайте... я займусь музыкой..

С Чарова как будто спали оковы. Помявшись еще немного на месте, он как будто нехотя встал, велел подавать лошадей.

— Если б не нужно было, право бы ни за что не поехал, — сказал он, сев подле Саломеи и поцеловав ее в плечо.

— Пошлите пожалуйста за мосье Жоржем, я буду с ним играть в четыре руки.

— Не понимаю, Эрнестина, что тебе вздумалось взять этого мальчишку; ну, какой он артист? Я тебе рекомендовал лучшего фортепьяниста...

— Учителя? Мне учитель не нужен.

— Но он мог играть с тобой в четыре руки, а этот мальчишка только сбивает тебя; вчера я прислушался: ты его поправляла на каждом шагу.

— Ах, оставьте, вы не понимаете музыки.

— Как хочешь, ma chère, мне только досадно, что всякое животное берется не за свое дело. Я не понимаю, как ты не замечаешь, что он просто играть не умеет.

— Да, я хочу переобразовать его игру по своей методе и приспособить для аккомпанемента; с каким-нибудь глупым виртуозом этого сделать нельзя.

— Не понимаю. Впрочем, как хочешь, я только так сказал.

— В котором часу вы возвратитесь? — спросила Саломея, когда Чаров, прощаясь, поцеловал у нее руку.

— Я постараюсь скорее возвратиться; я не хочу, чтоб ты без меня скучала. Во всяком случае, я возвращусь часам к шести, и мы будем обедать вместе.

— Но вы не располагали обедать дома.

— Но ты не любишь обедать одна.
— Со мной будет обедать мосье Georges.
— Приглашать бог знает кого с улицы обедать с собой! — сказал Чаров с досадой. — Нет уж, пожалуйста, Эрнестина, это мечта! .. Всякая ска-атина будет у меня в доме обедать! — прибавил он по-русски.
— За кого вы меня почитаете? За женщину с улицы, которая не знает приличий! — произнесла, гордо вскинув голову и презрительно усмехнувшись, Саломея.
— Помилуй, Эрнестина... Ты всем обижаешься, — сказал Чаров, всегда смирявшийся пред непременным высокомерным взором ее. Он выражал для него всю полноту достоинства не только светской женщины высшего тона, но какой-то Юноны, нисшедшей для него с Олимпа. Как будто припоминая, что Эрнестина не простая смертная, Чаров тотчас же преклонял пред ней колени и молил о помиловании.
Вместо ответа на его слова, Саломея очень спокойно отняла свою руку, которую он хотел взять.
— Ты меня не поняла, ma chère, — начал Чаров в оправдание: — мне всё приятно, что̀ ты желаешь... но иногда нельзя же... мне показалось, что ты рассердилась на меня и хотела затронуть этим мое самолюбие...
— Рассердилась! Что это за выражение? Я его не понимаю.
— Если не понимаешь, так и не сердись, — сказал Чаров, прилегая к плечу Саломеи.
— Пожалуйста, поезжайте; дайте мне успокоиться от неприятных чувств, которые вам так легко во мне возбуждать.
— Какая ты, Эрнестина, раздражительная, —

хотел сказать Чаров, но побоялся. — Ну, прости, — сказал он ей вместо этого и помчался в клуб.

На душе у него стало легко. Есть тяжелая любовь, от которой истомленное сердце радо хоть вздохнуть свободно.

В клубе Чарова встретили с распростертыми объятиями. Он как будто ожил со всеми своими причудами и поговорками.

— Чаров! душа моя! Где ты, mon cher, пропадал? Можно с чем-нибудь поздравить?

— У-урод, ты, душа моя! ты знаешь, что я поздравления с праздником принимаю у себя в зале, а не здесь.

— Нет, скажи правду, — сказал один из закадычных друзей, взяв его под руку и отведя в сторону. — Говорят, ты женился?

— Ска-атина! Что̀ ж это запрещенная вещь, что ли, что ты меня спрашиваешь по секрету? .. Аа! Рамирский! Ты как попал сюда? — вскричал Чаров, увидя Рамирского.

— Совершенно случайно, — отвечал, невольно смутясь от горьких воспоминаний, Рамирский.

— Помнишь еще, или забыл свой malheur, [1] братец? Я сам вскоре получил отставку; это уж такая служба: долго на месте не просидишь. Меня, братец, отставили за грубость.

— Тебя, mon cher? Какая служба? Когда же ты служил? Каким образом тебя отставили? — перервал приятель Чарова.

— Очаровательная служба, братец, по вздыхательной части; да я вздыхать не умею.

Рамирский не вынес, отвернулся к магнату Волобужу, который стоял подле и вглядывался в Чарова.

[1] Несчастье.

— Позови же этого ска-атину к себе, — сказал магнат, отходя с Рамирским на другой конец залы.

— Ах полно пожалуйста, я его терпеть не могу!

— Я сам его терпеть не могу, — сказал и магнат: — это-то и причина, по которой я хочу с ним познакомиться покороче.

— Это кто такой? Чтò за новое лицо? — спросил Чаров у своего приятеля, показывая на магната.

— Это иностранец, венгерец Волобуж, магнат, богач и прелюбезный человек.

— Аа! Это-то он. Мой наследник у Нильской? Что, правда это, что он близок к ней?

— Говорят, впрочем, очень вероятно; он вскружил головы всем дамам.

— Ах, ска-атина!

— Скатина, скатина, а молодец; из первых магнатов Венгрии; говорят, что кремницкие золотые и серебряные рудники принадлежат ему... Какие, говорят, у него великолепные зàмки в горах!..

— Тем лучше; уу-род! Играет он в карты?

— О, еще как!

— Так я оберу у него всю золотую руду и все замки, поселюсь в Венгрии; мне Россия надоела!.. Уу-род! — сказал Чаров.

Хвастливая мысль как будто подожгла его.

— Честное слово оберу его! — прибавил он разгорячась.

— А что ты думаешь, накажи-ка его в самом деле, — это славно! — сказал приятель Чарова.

Известно, что не столько собственные мысли, сколько люди любят поджигать друга на предприятия, где можно сломать голову: любопытное зрелище, весело смотреть, ахать и восклицать: каков!

— Рамирский! — сказал Чаров, схватив его за руку, так что он вздрогнул, пробужденный внезапно

от задумчивости: — Рамирский, ты коротко знаком с этим венгерцем?

— Мы рядом живем в гостинице «Лондон», и вот мое знакомство.

— Он, mon cher, говорят, интересный человек. Он у тебя часто бывает?

— Да, когда дома, мы проводим время вместе.

— Я к тебе приеду, познакомь меня с ним. Завтра ввечеру я буду у тебя, пригласи его.

— Если хотите, я теперь же скажу ему, что вы желаете с ним познакомиться.

— Non, non, non, [1] много чести! .. Лучше завтра у тебя, — сказал Чаров: — да! Что ты, mon cher, не ревнуешь его к Нильской?

— Это что за вопрос? — спросил Рамирский, вспыхнув.

— Хм! что за вопрос! Как будто тебе неизвестно.

— Что такое?

— Про Нильскую? Ты бываешь у нее?

Рамирский, не отвечая ни слова, с недоумением посмотрел на Чарова.

— Ну, ну, ну, ты что-то так странно посмотрел на меня; понимаю, и умолкаю! .. Bonjour, mon cher! пойдем играть! — крикнул Чаров, обратясь к одному проходившему мимо толстяку, и ушел с ним; а Рамирский еще глубже задумался, прошел по зале, склонив голову, потом вышел в переднюю и уехал.

II

На другой день Дмитрицкий, по обычаю, вошел в номер к Рамирскому, который в тревожном расположении духа ходил по комнате.

[1] Нет, нет, нет.

— Здорово!

— Здравствуй, — отвечал Рамирский, — не отводя глаз от полу.

— Что ты такой странный?

— Ничего.

— Если ничего, так слава богу. Представь себе, этот урод Чаров обыграл меня на двадцать тысяч... а? каково? Чорт знает, что за счастье! С ним *просто* невозможно играть!.. Да какая страсть играть: так и лезет на нож... Он сказал, что сегодня ввечеру будет у тебя — даст реванжику... Но я боюсь с ним играть, право, боюсь! В первый раз в жизни оробел; но надеюсь на счастье!

— Несчастлив в картах, счастлив в любви! — сказал Рамирский, вздохнув.

— В любви? Какая, mon cher, любовь! И в эту игру не составишь теперь на счастье и пожизненного капиталу, не только что на вечность, чтоб, как говорится, и за гробом жить душа в душу, обнявшись, и составить, так сказать, единое, целое, нераздельное существо.

— Современность не требует этой вечности, по правилу, что в мире вечных измен надо и самому быть изменчивым.

— По-юпитеровски? следующим образом:

Enfin, renonçant aux amours,
Jupiter, devenu fidèle,
Pour sa moitié, depuis huit jours,
Brûlait d'une ardeur éternelle.[1]

— Пустяки, душа моя! Уверяю тебя, что Юнона или несносная баба, которая мешалась не в свои дела, или холодная баба, или истерическая жен-

[1] Наконец, отказавшись от амурных похождений, Юпитер, ставший верным супругом, уже восемь дней пылал вечной страстью к своей половине.

щина, — иначе быть не может: с чего Юпитеру от своей богини гоняться за весталками?

Да на это есть и факт: помнишь, в первой песне Илиады она так привязалась к нему из ревности к Фетиде, что он хотел ее поколотить. Юпитер вышел из себя и хотел поколотить свою жену! Что ж делать с несносной бабой простому-то смертному? а? сам ты посуди! Жена будет пилить тебя: «да это почему, да это для чего, да ты от меня скрываешь, да я знаю, почему ты вздумал помогать Троянцам!» Поневоле скажешь, как Юпитер: послушай, душа моя, у тебя на каждом шагу подозренья, только и дела, что за мной примечать, только и занятия, что мешаться в мои дела да выпытывать, что и для чего я делаю; я тебе говорю, что этим ты ничего доброго не сделаешь, а только отвратишь от себя мое сердце!.. Ну, разумеется, и отвратила, и пошел добрый молодец на сторону; хорошо еще, что не запил.

— Хм! Ты славный чудак! — сказал Рамирский, рассмеявшись: — скажи, пожалуйста, любил ты когда-нибудь?

— Нет еще; если я влюблюсь, так женюсь; да влюбиться не в кого.

— Будто здесь нет ни одной женщины, которая бы могла тебе нравиться? — спросил Рамирский с пытающим ревнивым взором.

— Нравиться? Как не быть! особенно одна: Нильская.

— Что же? — проговорил тревожно Рамирский.

— Ничего; очень хороша собой, мила как нельзя больше, умна насколько нужно, добрушка.

— Ну, так что̀ же?

— Ничего.

— Как ничего?

— Да так, всё есть для кого-нибудь, да для меня-то чего-то недостает.

— Чего же?

— Я думаю, любви.

— Стало быть она влюблена в кого-нибудь? В кого? — торопливо спросил Рамирский.

— В кого! чудак! Почему ж я знаю. Может быть в тебя.

— Полно, Дмитрицкий! — сказал встревоженный Рамирский, вскочив с места и схватив Дмитрицкого за руку: — что за шутки!

— Это что̀ ж такое? — спросил Дмитрицкий, посмотрев на него лукаво.

— Я не люблю таких шуток! — отвечал Рамирский.

— Да помилуй! откуда, какие шутки?

— Послушай, Дмитрицкий, ты мне должен сознаться, почему ты это сказал.

— Что̀? что̀ такое?

— Про мои бывшие отношения с нею? Верно, тебе что-нибудь сказал Чаров?

— Э, душа моя! — вскричал Дмитрицкий: — никто мне не говорил, ничего я не знал, ничего еще не знаю, а всё понимаю! .. Так вот оно откуда истекает любовь к морю, к кораблям и фрегатам! .. Я думал, что она сбирается вступить в морскую службу.

— Дмитрицкий! послушай! — вскричал Рамирский, и глаза его заблистали.

— Рамирский! послушай! — крикнул и Дмитрицкий: — ты верно изменил ей?

— Я? ей? нет! — проговорил, горько усмехаясь, Рамирский.

— Ну, так не понимаю. Говори мне свою историю любви.

— Нет! прежде всего я хочу знать твои отношения к ней. Мне Чаров сказал... но что об этом говорить... я прошу у тебя всей правды.

— Тебе сказал Чаров?.. Хм! Ему можно, должно, нельзя не верить!

— Так... кажется, продолжать не нужно? — проговорил Рамирский, вскочив с места.

— Отчего же? — спокойно продолжал Дмитрицкий: — ведь тебе сказал Чаров?

— Об этом все говорят!

— А! ну, в таком случае опять-таки нельзя не верить; ведь это публика. Она все знает: знает даже какие у меня имения в Венгрии, какие золотые рудокопни, сколько я получаю с них доходу и даже говорят, что я происхожу от Атиллы, добивался имения великого своего предка; да всё дело испорчено: никак не мог добиться и с досады уехал в Россию.

— Полно шутить!

— Говори-ка свою историю любви, говори!

— К чему?

— Да так, я хочу сделать из всего математический вывод. Говори, душа моя!

Рамирский, вздохнув глубоко, рассказал в коротких словах, как рушились пламенные надежды его сердца.

— Ты несчастный человек, Федя! — сказал Дмитрицкий, уставив глаза на Рамирского.

— Может быть! — отвечал он, вздохнув еще глубже.

— Совершенно несчастный, несчастнее быть нельзя! Ска-а-тина Чаров, у-урод! отбил влюбленную по уши невесту! Да что ж может быть этого несчастнее? Это, братец, муха слона проглотила, да желудок не сварил... ей-богу!

— Ах, оставь шутки! — вскричал Рамирский: — с такими понятиями, как твои, разумеется, ничего, что женщина одному отдает свою руку, а другому сердце!

— Да, да, да, именно: тебе руку, а Чарову сердце. Как ты думаешь, что̀ это, естественное дело?

— Очень естественное!

— Ты сам своими глазами читал назначение свидания?

— Сам своими глазами!

— Ее рука?

— Ее рука.

— Скверность какая! .. Где ж было назначено это свидание?

— У какой-то Варвары Павловны. «Мы вместе будем пить чай». Чего ж еще больше?

— Больше ничего и не нужно. Мы это всё узнаем.

— Поздно.

— Ничего; десятилетняя давность не прошла.

— Нет уж, кажется, целый век прошел.

— Век влюбленных — гомеопатический век, неопределенный, смотря по величине тоски. Ты уж, пожалуйста, не беспокойся, вздыхай себе. Это ничего. Я бы тебе аккомпанировал, да не умею играть на этом духовом инструменте. Прощай покуда! мне сегодня надо сделать, по крайней мере, десять проклятых визитов!

И Дмитрицкий отправился по визитам. Как знаменитый иностранец, он тотчас *разлился в свете*, по направлению духа времени к вавилонскому смешению языков, и должен был, как и все, считать первым делом так называемую поддержку знакомства.

К вечеру он возвратился, отдуваясь.

— Ну, душа моя, замучили даром, из ничего, из одного приличия, из одной прекрасной наклонности к общению! Премило: хочешь не хочешь, есть время или нет, а изъявляй каждому встречному и поперечному, дальнему и близкому, высокому и низкому свое почтение, рассыпайся с известными недосказываемыми фразами: «Ах, как я рад вас встретить... Чтоб вас чорт побрал! .. Куда ж вы торопитесь... Чорта ли вам здесь делать?» Ну, душа моя, только теперь я вижу вполне, что человек есть разумное животное! .. Что̀, Чаров еще не был? Покуда приедет, я отдохну.

Но Чаров вскоре прибыл.

Так как и Чарову и Дмитрицкому мало было дела до Рамирского, то они тотчас же и занялись друг другом, сели для прелюдии *по маленькой* в преферанс, вдвоем, прихлебывая счастье и несчастье вместо воды вдовой клико̀.

— Нет, вот в Петербурге... — продолжал Дмитрицкий, завязав *холостой разговор:* — там прекрасно, там есть какая-то Варвара Павловна, к которой приезжаешь на чай, без церемонии, как к родной...

— Варвара Павловна? чиновница? — вскричал, не выдержав, Чаров: — знаю, знаю! Ах, я скаатина! — прибавил он по-русски.

— Бесподобно... — продолжал Дмитрицкий преравнодушно, нисколько не стараясь вытягивать любопытством язык Чарова: — приедешь, как домой, наденешь татарскую одежду...

— Ах я скаатина! Не понять! пропустить такой случай! .. Ну! я теперь только постигаю, отчего на меня надулись! .. Представьте себе: одна премиленькая дама, разумеется, dame du grand monde,[1]

[1] Дама великосветская.

я не могу однакож сказать ее имени, просила меня похлопотать об месте одному чиновнику, мужу будто бы своей приятельницы... Я разумеется... mais c'est drole...[1] доставляю ему место... и, comme de raison,[2] получаю записку, в которой пишут мне, что облагодетельствованная приятельница зовет нас к себе на чай и хочет лично благодарить... Я ничего не воображаю, ничего не понимаю, ничего не подозреваю... еду... как дурак... мне представляют мужа, детей... поят чаем...

— Рамирский, — перервал Дмитрицкий, — ты проиграл мне фунт конфект, пошли, mon cher, мне хочется их съесть теперь... eh bien?[3] ну?

— Ну, приехал и уехал дураком!.. недогадлив... скаатина! Но я не понимаю, как принимать к себе в дом такую женщину... diable![4] Как тут не обмануться? Очень образованная, милая женщина, играет на фортепьяно, прекрасно поет, в дополнение: муж, дети... Ну, как тут что-нибудь подумать?..

— Ну, нет, это совершенно не та Варвара Павловна, об которой я говорю, — сказал Дмитрицкий. — Та довольно простая женщина, живет одна и нисколько не мила и не образована... Коса, или крива, не помню, на носу бородавка, рот на сторону...

— А! Ну, это не та! Ха, ха, ха, ха! Я пришел было в ужас! — крикнул Чаров, обрадовавшись, что не был в дураках.

— И я было пришел сначала в ужас... но ужасаться ничему не должно сначала, потому что многое

[1] Но это забавно.
[2] Естественно.
[3] Хорошо?
[4] Чорт возьми.

ужасное, — в сущности пшик и больше ничего. Je vous assure, mon cher,[1] Рамирский.

Рамирского била лихорадка во время рассказа Чарова; он скрежетал зубами на Дмитрицкого, который равнодушным своим выпытываньем доводил его уже до отчаяния. Но вдруг отлегло на сердце у Рамирского и он готов был бросится к Дмитрицкому на шею.

— Мосье Чаров, вам что-то не везет сегодня, — сказал Дмитрицкий: — не понизить ли тон?

— Удвоить, утроить, если хотите! — крикнул Чаров.

— Мне выгодно, — отвечал равнодушно Дмитрицкий: — я знаю, что я сегодня выиграю.

— Посмотрим!

— Увидите: я всегда предчувствую.

Счастье Чарову в самом деле не повезло; он выходил из себя, лицо его стало бледно, глаза впали, как после долговременной болезни.

— Эй! новых карт! — крикнул он, хлопнув колоду об стол так, что карты разлетелись по всей комнате.

— Чаров, здесь гостиница, а не собственный ваш дом, — сказал Рамирский, выходя с неудовольствием в другую комнату.

— Так завтра ввечеру ко мне, мосье de Volobouge![2] — проговорил Чаров, вынимая все наличные деньги и ломбардный билет... Завтра я вам доплачу остальные сто...

— Сочтемся! — отвечал Дмитрицкий, — за эти выигранные двести с чем-то привезу к вам на проигрыш пятьсот с мазом — отвечаете?

[1] Я вас уверяю, мой милый.
[2] Волобуж.

— Отвечаю, — крикнул Чаров, но необычным звонким голосом.

— Ты меня в ужас приводишь! — сказал Рамирский, когда Чаров уехал.

— Э, полно говорить об этих ужасах, — отвечал Дмитрицкий: — все это пустое дело, а не ужас.

— Это не хорошо, Дмитрицкий!

— Знаю, знаю, и очень хорошо знаю, что это не хорошо; да хуже разорит Саломея: я ему дам отыграться; а от нее он не отыграется. Лучше поговорим о Нильской. Понимаешь теперь, что он больше ничего, как чеснок; а ты как железо отпал от магнита. Теперь кажется тебе нечего его бояться?

— Нет, это уж неисправимо.

— Почему знать, чего не знаешь; однакоже пора спать! прощай! ..

Но Рамирскому было не до сна. Самообвинение хуже всякой казни.

III

Только с рассветом повеяли на истомленного Рамирского какие-то неопределенные, бессвязные, но успокоительные мысли; он заснул и встал очень поздно.

— Узнай, дома ли господин Волобуж? — спросил он прежде всего у человека.

— Только сию минуту уехали, — отвечал человек, — и приказали вам сказать, чтоб подождали его, что он сейчас будет назад.

Рамирский заходил беспокойно по комнате; присутствие человека, который стоял с рукомойником в руках, его тяготило.

— Что̀ ж чаю? — сказал он.

— Да еще не умывались, сударь.

— Да! хорошо, давай умываться.

И Рамирский, умыв только одни руки, схватил полотенце, начал утирать лицо и приказал подавать чай.

Между тем Дмитрицкий сидел уже в уютной рабочей комнате Нильской, где был и письменный столик, и маленькая библиотека, и пяльцы, и ручные ее работы.

— А! это поэзия, — сказал он, сев подле стола и взглянув на тетрадку с заглавием: «Сочинения в стихах и прозе М. Н.» — Браво, это ваши?

— Совсем нет, не мои... Будто вы умеете читать по-русски? — спросила Нильская, покраснев немножко за произнесенную ложь.

— Я учусь, — отвечал Дмитрицкий: — и уже хорошо понимаю. Ну, признайтесь, ваши? Тут выставлено: М. и Н.

— Может быть.

— Знаете ли что̀: хотите, я переведу что-нибудь на венгерский язык? Право, можно взглянуть?

— Хорошо; но только это будет между нами: я пишу для себя и не хочу, чтоб кто-нибудь знал, что я пишу.

Дмитрицкий взял тетрадку, развернул.

— *Море?* Браво! Какие вы охотницы до моря! Отчего это?

Нильская вспыхнула.

— Так, мне нравится оно, — отвечала она вздохнув. — Переведите вот эту статью.

— Хорошо. Как это грациозно: «Поймите море чувств в душе женщины и смотрите на него...» Как бы мне хотелось знать, к кому эти стихи? к Р.: «Любила я, он не любил...» Это для меня очень любопытно знать.

— Это? Пожалуйста, их не читайте: они скверно написаны.

— Не хотите, чтоб я читал? Ну, не буду читать, — сказал Дмитрицкий, положив тетрадку в карман. — Теперь позвольте мне сказать вам слово об одном серьёзном деле.

— Что̀ такое?

— По вашей наружности, по вашим словам, по всему, я знаю, что ваша судьба отравлена каким-то горем. Правда?

Нильская вспыхнула, вздохнула, опустила глаза.

— Для чего этот вопрос?

— Вот для чего: позвольте мне примирить вас с вашей судьбой... Пожалуйста, отвечайте просто: угодно вам это, или нет?

— Странный вопрос!.. Вы меня так смутили им... я не могу вдруг отвечать...

— Нет, отвечайте теперь же: да, или нет? Скажите, могу я примирить вас с судьбой, или нет?

Нильская склонила голову на руки и задумалась. Нерешительность взволновала ее.

— Вы сами поняли, что жизнь моя отравлена горем...

Нильская остановилась.

— Продолжайте: откровенность лучше всего.

— Я, может быть, не в состоянии уже любить сама, а в состоянии еще требовать, чтоб меня любили... И эта любовь будет для меня успокоительный компресс на сердце... и больше ничего.

— Это значит, что вы любили первою и последнею любовью. Я это понимаю: у меня есть друг, которого судьба ни дать ни взять ваша судьба. Он также страстно любил, почти уверен был во взаимности; но есть люди, которых чорт всегда подсунет, чтоб разделить союз истинной любви; подобный чеснок привязался к магниту, и мой друг отпал от него, как железо.

Нильская вздохнула.

— Скажите мне, виноват ли он в том, что *нечистый дух* имеет силу расторгать душевные связи истинной любви?

— О, боже мой, нет! — проговорила Нильская с глубоким вздохом, припоминая свою неосторожность и поступок Чарова: — я знаю, что нет! .. Это несчастие!

— Ваша судьба не похожа ли на судьбу моего друга? Вы магнит, но у вашего сердца уже нет пищи... и оно обратится в простой бессильный камень... Как бы я желал воскресить вас для взаимной любви!

— Это невозможно! .. Благодарю вас! .. Оставимте об этом говорить... по крайней мере теперь.

«По крайней мере теперь! — повторил Дмитрицкий про себя, смотря на Нильскую: — это что-то не сходится с «это невозможно». Бедные женщины: им хоть какие-нибудь нужны оковы, если нет оков любви! ..» — Позвольте мне представить вам моего друга. Это достойный человек; вы его полюбите: его ум, образованность, сходство судьбы доставит вам приятную беседу с ним.

— Я очень рада, — сказала Нильская: — позвольте узнать его фамилию?

— Позвольте мне привести его сейчас же, потому что... Ну, словом откладывать не для чего! — сказал Дмитрицкий и выбежал из кабинета.

Через десять минут он стоял уже в дверях номера, занимаемого Рамирским, и крикнул:

— Дома?

— Дома. Для чего ты просил меня подождать?

— Дело, важное дело; сейчас только решено, и я везу тебя к невесте.

— Это что̀ такое?

— Всё-таки то же; поедем, одевайся; нас ждут.

— Поздравляю; да для чего же мне-то?

— Да там нужно в чем-то расписаться, или свидетельствовать мою руку, право, не знаю, ну, словом, необходимо... я сказал, что тебя привезу... Одевайся!

— Ты мне ни слова не сказал о своем намерении... Кто такая? — спросил Рамирский.

— Премиленькое, преочаровательное, препоэтическое существо!.. вот и всё!

— Послушай, — сказал Рамирский, задумавшись: — ты не знаешь, давно ли Нильская приехала из Петербурга?

— Давно ли? Да тебе это для каких соображений? Вот никак не могу понять!

— Так.

— А! так; это дело другое; следовательно, тебе нужно непременно знать. Я непременно спрошу у нее.

— Ты часто у нее бываешь?

— Вот это вопрос, как вопрос: из ответа можно вывести какие-нибудь заключения... Ну, готов? шляпу!.. Все твои вопросы я удовлетворю после, а теперь едем... Ты не поверишь, как счастлив тот, кто после долговременных несчастий может, наконец, воскликнуть с Видостаном:

Там все приятства обретешь,
Невесту милую найдешь.

И особенно, душа моя, Федя, такую невесту! Невесту, которая пишет не только стихами, но и прозой... Послушай, — продолжал Дмитрицкий, вынув тетрадку из кармана: — например, *Море*, которое я хочу перевести на венгерский язык, — послу-

шай: «Как мне описать вам море? Может быть и лучше, что вы его не знаете? . .»

— Дмитрицкий! — вскричал Рамирский, прервав его: — неужели это сочинила твоя невеста? . .

— Это что̀ за вопрос? — спросил Дмитрицкий. — Ты нешто знаешь сочинительницу?

— Нет, но я читал это *Море* в одном альбоме. Знаешь ли ты, что это море спасло меня от женитьбы против сердца, против желания... Но я тебе рассказывал...

— Что̀ ты говоришь? Это просто чудо! совершенное чудо!

— Странный случай! Твоей невесте я обязан...

— Ну, ты сам поблагодаришь сочинительницу.

— Приехали? — спросил Рамирский, когда карета остановилась. — Скажи же мне по крайней мере имя и фамилию...

Дмитрицкий выскочил из кареты, не отвечая на вопрос.

Рамирский вошел за ним в дом.

Они остановились в гостиной в ожидании хозяйки.

— Садись, Федя; ты можешь быть здесь как дома, — сказал Дмитрицкий.

— Да скажи же, пожалуйста, имя и фамилию твоей невесты.

— Какой моей невесты? С чего ты взял, что я женюсь?

— Это опять какая-нибудь мистификация! — сказал с неудовольствием Рамирский. — К какой же невесте ты меня привез?

— Скорее к твоей, нежели к моей.

— Барыня просит вас в кабинет, — сказала девушка, отворив двери и проходя в залу.

— Представляю вам моего друга, — сказал Дми-

трицкий Нильской, сидевшей в креслах подле столика.

— Мосье Рамирский! — едва проговорила она, пораженная появлением неожиданного гостя.

Рамирский побледнел и бросил вопросительный взгляд на Дмитрицкого.

— Взаимная любовь, недоразумение, разлука, нежданная встреча, удивление и разумеется безмолвие; это так и следует, — сказал Дмитрицкий: — за всем этим следует объяснение, и потому я здесь лишний — и как орудие судьбы, удаляюсь.

— Нет, mon cher, ты должен начать это объяснение, — сказал Рамирский, удержав его за руку.

— Не знаешь с чего начать? Хм!.. С чего бы? Да! вот тебе море; начни с него, расскажи, как оно спасло тебя от женитьбы с отчаяния. Выслушайте его, мадам Нильская; это просто чудеса! До свидания! Я тороплюсь в клуб обедать, а потом...

Не договорив, Дмитрицкий вышел и поехал в клуб. Он думал, что там найдет Чарова, но Чаров не был. Чарову некогда. Возвратясь от Рамирского, он застал Саломею в слезах и отчаянии. Причиной слез ее был мосье Жорж, за которым она посылала и который, вместо того чтоб прибежать бегом и разыгрывать с ней моцартовскую сонату в четыре руки, уведомил ее, что приехал папенька и везет его с собой в Петербург.

— Господи! что это такое опять, Эрнестина? — проговорил Чаров, взяв ее за руку.

— Выбросьте меня на двор, если вам несносны мои слезы! — крикнула Саломея, отдернув руку.

— Это просто ужас! — проговорил Чаров, махнув рукой: — ну, скажи, пожалуйста, к чему эти

слёзы, я право не понимаю! .. Эрнестина! .. Это с ума сойдешь! .. покою нет? ..

— Пожалуйста, ступайте спать, оставьте меня!

— Хм! До сна мне! ..

— Вы провели свое время весело, утомились от удовольствий — чего ж еще нужно! Остается спать, собрать силы для новых удовольствий! ..

— У меня удовольствия? Я провел время весело? .. Хм! Если б ты видела, что̀ у меня на душе!

Чаров в самом деле был в отчаянии не хуже Саломеи: его мучили спущенные *наличные*, и слишком сто, которые во что бы ни ста̀ло ему надо было занять к вечеру следующего дня.

— Если б ты знала мое существенное горе, — продолжал он: — ты бы не стала томить и себя и меня своим... Бог знает чем!

— Только у вас и может быть существенное горе, — ответила резко Саломея, — а каждое несчастие женщины причуда!

— Да какое несчастие? .. Откуда несчастие, что за несчастие?

— Хм! счастие сидеть в четырех стенах одной! не находить ни в чьей душе приюта! Терзаться мыслию, что̀ ожидает в будущности!

— Эрнестина! — вскричал Чаров, бросаясь к ногам Саломеи: — душа моя! Что ты хочешь? Чего ты желаешь? Я всё для тебя сделаю?.. Твой приют у моего сердца, — ты моя! ..

Не отвечая ни слова, Саломея безмолвно, холодно, смотрела на Чарова.

— Ты не веришь?... Ну, скажи мне, ты, верно. не веришь мне?

— Отчего ж не верить; если б я не верила вам, я бы не была здесь...

— О, Эрнестина, обойми же меня!

— Ах, оставьте... я расстроена...

— Ну, успокойся же!

— Как будто так легко успокоиться! .. Кто бы не желал спокойствия! ..

— Ну, послушай, я буду сидеть дома, никуда ни шагу, я сделаю так, что тебе будет весело... ты увидишь. Только позволь уж мне распорядиться...

— Я, может быть, не пойму ваших удовольствий.

— Какие ж особенные удовольствия, ma chère? Просто препровождение времени, развлечение. Ко мне будут собираться приятели... музыка, пенье... ты будешь по крайней мере окружена образованными людьми, которые бывали во Франции... разговор с ними займет тебя...

— О, избавьте! Я не могу равнодушно вспоминать о Франции... Я не могу видеть людей... в моем каком-то неопределенном положении! .. Избавьте, избавьте!

— Фу! .. Не знаю, что делать, — проговорил Чаров.

Тщетные убеждения и успокоения продолжались почти до рассвету; утомленный Чаров, несмотря то на взрывающую досаду, то на сердечное излияние самообвинения, что растревожил чувствительность нежной женщины каким-нибудь неприятным словом, начал зевать, но не решался итти спать, покуда сама Саломея, вскочив с кресел, ни слова не говоря, пошла в свою комнату.

— Фу! — проговорил Чаров, отправляясь в кабинет.

Несмотря на привычку спать до полудня, он велел разбудить себя в десять часов, не поленился встать в это назначенное время, велел запрягать лошадей и поскакал к своему заимодавцу.

Его заимодавец, Несеев, был какой-то таинственный человек и по наружности и по отношениям к обществу. Он почти везде бывал, и особенно в кругу молодежи: был очень обязателен, и заметно было, что не только Чаров, но и многие ему обязаны по части снабжения деньгами под залог; но несмотря на это, все как-то невольно отклонялись в обществе от его внимания, бесед и короткого обхождения. Только Чаров ровный, бесцеремонный со всеми, обходился с ним по-дружески и ласкал приязненными названиями: скаатина, уурод!

За это Несеев и предпочитал его всем, *одолжал* больше, нежели других, приходил к нему без церемоний обедать и, как всегдашний свой в доме, был представлен Саломее, как хозяйке дома; изъявляя ей полное уважение, совершенную преданность, удивление красоте, уму и достоинствам, он был для нее приятнее самого Чарова.

Если б он даже волочился за Саломеей, Чаров не мог бы оказать ему своего неудовольствия. Чаров был обязан ему по горло, как увязнувший в болоте. Всё именье было уже заложено, частью в опекунском совете, а частью за долги через посредство Несеева; оставалось заложить дом, стоивший Чарову со всеми причудами убранства более пятисот тысяч. За эти пятьсот тысяч Несеев, как истинно готовый на всякую ему услугу, после долгих упрашиваний, согласился, наконец, достать через несколько дней полтораста; но Чарову нужно было именно сегодня. Сегодня было другое дело: за эту неотлагаемую потребность он должен был согласиться на сто двадцать пять тысяч. Несеев обещал привезти деньги, если не к обеду, то непременно тотчас же после обеда.

Неизбежные хлопоты по займу задержали Ча-

рова; как ни желал он утаить свою поездку от Саломеи, чтоб избежать допросов, подозрений и неудовольствий, но возвратился домой, когда она уже встала и ходила взад и вперед по гостиной. Ее в самом деле тревожила необыкновенно ранняя отлучка Чарова из дому. Боясь охлаждения его страсти, она представила себе весь ужас положения своего, если он ее оставит, и упрекала себя за излишнюю свою жестокость к нему.

Ей казалось, что судьба ее уже на ниточке, она прислушивалась к стуку экипажей, подходила к окну, взволнованное сердце билось с болью, раздраженные нервы сотрясались, и она побледнела, когда коляска Чарова примчалась к крыльцу.

— Эрнестина, bonjour! — вскричал он, вбежав в комнату.

Саломея, продолжая ходить по комнате, мельком приподняла на Чарова глаза, — женский инстинкт донес ей: «ничего, всё обстоит благополучно», и она прошла мимо его, не обращая ни малейшего внимания.

— Ты на меня продолжаешь сердиться?

— Кажется, имею право: уезжать не сказавшись!

В этих словах, хотя сказанных сурово, было какое-то помилование за проступок.

— Неужели ты думаешь, ma chère, что я уехал бы, не имея на то причин? — сказал Чаров нежно, чтоб не испортить чем-нибудь дня.

Ему необходимо было на этот день полное спокойствие; а сверх того надо было умилостивить Саломею, чтоб она не воспротивилась принимать ввечеру гостей.

— Какие это важные причины?

— Такая неприятная вещь, что ты представить себе не можешь: вышел срок векселям по долгу

отца, а мне не привезли еще оброку. Я должен был хлопотать, доставать деньги. Сегодня ввечеру обещал заплатить — они ко мне приедут... Сделай одолжение, прими их ласковее...

— С какой стати я буду присутствовать при ваших счетах?

— Но ведь не они же одни будут... я пригласил самых коротких своих знакомых... Неловко же тебе прятаться, когда я говорю всем, что я женат.

— Во всяком случае одной в мужской компании мне неприлично быть. Притом же я не так здорова, я выходить не буду из своей комнаты; но вы можете мне представить кого угодно из ваших знакомых.

— Merci, Ernestine![1] — вскричал Чаров в восторге от Саломеи и достоинства, с которым она разрешила прием к себе гостей.

Ему казалось, что он сам поднялся выше, обладая женщиной, способной стоять свободно и величественно на бархатном подножии. Счастье его полно, только недостает Несеева с деньгами; но и он явился к обеду.

После обеда Чаров занялся, против обыкновения, сам некоторыми приготовлениями к приему гостей. Он уже смотрел заботливым хозяином, который распоряжается, где поставить ломберные столы, где поставить солнечную лампу, где механическую, а где просто свечи; который обходит все комнаты, поправляет криво стоящую мебель и пробует всюду пальцем, стерта ли пыль.

Между тем как Чаров хозяйничал, Несеев сидел в комнате Саломеи и, беседуя с нею, брался часто за голову, отдувался и вздыхал.

[1] Благодарю, Эрнестина.

— Что̀, вы нездоровы? — спросила его Саломея.

— Ах, нет! — отвечал он, обводя глазами карнизы.

— Но вы что-то беспокойны?

— Только не насчет себя.

— Насчет кого же? — спросила Саломея с удивлением.

— Беспокоит меня положение одного человека.

— Чье? — спросила Саломея, устремив глаза на Несеева.

— Советы дружбы бесполезны; советы любви, без сомнения, будут надежнее.

— Пожалуйста, говорите яснее, я не понимаю.

— Если вы требуете откровенности, дело вот в чем... оно слишком касается до вас; но я говорю по участию к вам, и потому, надеюсь, вы меня не выдадите.

— Что такое? — спросила Саломея с беспокойством: — Что такое до меня касается?

— Положение человека, который так близок сердцу вашему.

— Что̀ такое? — повторила Саломея, взглянув испытующим взором на Несеева.

— Вот что: по дружбе, в некоторых делах его я должен был принять участие, чтоб помочь ему выходить из самых трудных обстоятельств. Его долги уже выше состояния. Он играет, и несчастливо... я это знаю, хоть он и скрывает от меня... Всё имение его уже в залоге и скоро наступит бедовый срок... Сегодня заложил он последнее достояние, этот дом, со всем что в нем есть, за сто двадцать пять тысяч, на один месяц, тогда как дом сто̀ит более пятисот! .. Деньги, я уверен, если не проиграны еще, то проиграет в несколько дней, и через месяц его попросят отсюда выйти. Вы, может

быть, не поверите мне; но я готов вам привезти маклерскую книгу, где записан документ...

Несеев остановился в ожидании ответу; но Саломея молчала, взоры ее блуждали, пугливые мысли вспорхнули уже со всей окружавшей ее роскоши и носились стадом в мрачной, бесприютной будущности.

— Вы только одни можете подействовать на него влиянием вашей любви, — продолжал Несеев.

— И это всё правда, что вы сказали? — спросила вдруг Саломея.

— Мадам Ernestine, скажите, для чего бы я стал говорить вам ложь? — спросил в свою очередь Несеев трогательным голосом участия.

— Что ж я буду с ним теперь делать? чем поможет теперь мое влияние?

Несеев пожал плечами.

В это время Чаров вошел и представил Саломее двух своих приятелей, которые, как светские люди, предупрежденные слухами о сомнительной женитьбе Чарова на какой-то таинственной героине романов, думали найти в ней легкую женщину; но к удивлению своему нашли тяжелую, женщину с весом. Несколькими взглядами и словами Саломея заставила их посмотреть друг на друга и сказать взорами: «Mon cher, mais c'est quelque chose de très distingué?» [1]

Как эти, так и вновь приведенные Чаровым представляться хозяйке дома не долго пользовались ее беседой: она жаловалась на головную боль, которая, однакоже, не помешала Чарову торопливо предуведомить ее, чтоб она очаровала вниманием своим знаменитого иностранца — венгер-

[1] Мой милый, но ведь это нечто благородное.

ского магната, которого он немедленно же представит ей.

— Что̀ за знаменитый иностранец? какой магнат? — спросила Саломея Несеева.

— Ах! это какой-то знаменитый путешественник, венгерец, страшный богач! .. Позвольте... как бишь его? .. Только я подозреваю... как бишь... да, да, да, Волобуж...

— Боже мой! — вскрикнула Саломея по-русски, побледнев и вскочив с места.

Она хотела войти в свой будуар, но магнат стоял уже перед нею, бросив на нее взор, который как будто оковал ее.

— Рекомендую вам мою жену, — сказал Чаров.

— Мадам Tcharoff,[1] простите моему невольному удивлению! — сказал магнат: — такого сходства я не встречал; я не зерю глазам!

Побледневшая Саломея, держась за ручку кресел, казалось, готова была упасть; но взор ее блеснул на магната: она овладела собой и села.

— Она не так здорова, — начал было Чаров, заметив необыкновенную бледность з лице Саломеи.

— Необычайное сходство с герцогиней де Мильвуа! — продолжал магнат, садясь и не обращая внимания на слова Чарова. — Еще раз прошу у вас извинения! ..

— Может быть это сходство... и не обмануло вас! — проговорила дрожащим голосом Саломея, кусая губы и едва переводя дыхание от стесненного внутреннего волнения.

— Неужели! это вы? вы герцогиня? — вскрикнул магнат: — но каким же образом в такое короткое время?.. Здесь, в Москзе?.. — продолжал он,

[1] Чарова.

смотря на Чарова, который стоял пораженный герцогским титулом своей chère Ernestine.

— Это... маленькая тайна и мое счастие, — сказал Чаров с самодовольством, взяв руку Саломеи.

— Иначе и не могло быть, — продолжал магнат: — тайна и счастие... Но ваши огромные имения, герцогиня? — ваш великолепный зàмок, где я имел удовольствие познакомиться с вами во время путешествия инкогнито... Как понравился мне ваш зàмок! Помните, я просил вас продать мне его, а вы мне сказали, что никогда не продадите, никогда не оставите места своей родины.

— Обстоятельства. . — отвечала Саломея, стараясь скрывать возмущенные свои чувства.

Несеев присел в углу за шифоньеркой и внимательно всматривался и в магната и в Саломею.

— Обстоятельства, мосье de Volobouge, — повторил и Чаров, двинувшись к двери, с тем, чтоб вывести за собою и гостя: — не хотите ли сесть в преферанс?

— Сейчас, сейчас приду, мосье Tcharoff, — мне так приятно встретить герцогиню... подготовьте партию!

Чаров поневоле вышел.

— Послушайте, герцогиня, — продолжал Дмитрицкий, сбросив с себя важность магната, придвинув стул к Саломее и не замечая Несеева: — послушайте...

— Что вам угодно? — проговорила она дрожащим голосом, бросив на него предостерегающий взор и стиснув его руку.

— Послушайте, герцогиня, — продолжал магнат по-русски, не обращая ни на что внимания: — вы

теперь, я вижу, в полном довольствии, а супруг ваш Федор Петрович...

— Мосье Несеев! — вскрикнув, прервала Саломея: — мосье Несеев! позовите ко мне... велите подать там спирт!.. мне дурно!..

— Сию минуту! — отвечал Несеев, бросившись в двери.

— Хм! довольно неосторожно! — сказал Дмитрицкий, оглянувшись: — немножко погорячился! Чорт дернул венгерца говорить по-русски!..

— Сейчас! — доложил возвратившийся Несеев.

— Хм! А я думал уже по русски знаит мадам Чаров, а ничего еще ни знаит... — сказал магнат, обращаясь к Несееву: — а я учу, учу, харашо русски язык... харашо гавару? а?

— Прекрасно! — отвечал Несеев.

— Труднай язык!..

— Seigneur de Volobouge, если вам угодно, — сказал торопливо вошедший Чаров: — партия готова.

— А! ну нечего делать... А мне так хотелось поразговориться... вспомнить общие знакомства в Париже... вы, верно, никого не забываете? — прибавил он, обращаясь к Саломее.

— О, разумеется! — отвечала она, с видимым напряжением изнеможенных сил.

— Пожалуйста, не забывайте, не хорошо забывать! — прибавил Дмитрицкий, бросив на нее значительный взгляд.

— Боже мой, как мне дурно! — проговорила Саломея, когда он вышел.

— Это пройдет, мадам Ernestine, — сказал Несеев, зло усмехаясь и садясь подле нее: — я теперь могу поговорить с вами без церемоний; ваше поло-

жение вдвойне, кажется, непрочно. Но вы можете положиться на меня и на скромность мою.

— Это что такое? — спросила Саломея, приподняв голову.

— А вот что: ваши тайны и отношения к этому господину я могу поотсторонить, с уговором... А насчет этого господина магната вы должны мне кое-что пообъяснить... Вы его коротко знаете, да и он вас.

Саломея с содроганием взглянула на Несеева. Она была между огнем и полымем и не знала куда броситься.

— Ах, избавьте меня от этого злодея, который причина всех моих несчастий! — вскричала она прерывающимся голосом.

— Очень могу избавить, — продолжал Несеев значительно: — потому что этот господин, как я догадываюсь, мошенник.

— Он меня преследует... Я расскажу вам мою встречу с ним... Я должна была бежать из Франции с человеком, которого я любила...

— Вы эмигрировали, вероятно, во время революции? — спросил Несеев простодушно, или с намерением, трудно было решить.

— Да, именно, — отвечала Саломея: — мы приехали в Киев... Там этот злодей под именем графа Черномского познакомился с моим мужем.

— Герцогом де Мильвуа?

— Мы путешествовали инкогнито... — отвечала Саломея неопределительно.

— У-хм!

— И обыграл его совершенно, — продолжала она. — Муж мой заболел с отчаяния и умер... Тогда этот злодей стал преследовать меня... Чтоб спасти себя от его преследований и не просить ми-

лостыни, я решилась итти в гувернантки к одному помещику... Но он и там не оставил меня в покое; подкупил людей... Однажды, ввечеру, я ходила одна по саду, вдруг меня схватили и повезли... от страшного испугу у меня сделалась горячка... Вероятно, это только и было причиною, что он меня бросил больную в каком-то городе... Там меня приняли бог знает за кого!..

— Это ужасно! — сказал Несеев, напрягая голос к выражению участия.

— О, если б вы видели мое положение тогда!.. Как иностранку, меня никто не понимал, и отправили сюда... Но я вам доскажу после; теперь нет сил!..

— Хм! Я тотчас узнал по полету, что это за птица! — сказал Несеев: — о каком же это супруге вашем Федоре Петровиче начал было он по-русски?

Саломея невольно смутилась.

— Это он в насмешку мне говорил... мужа моего звали Теодором...

— Послушайте, мадам Ernestine, — сказал Несеев: — я всему этому верю, что вы говорили мне, потому что нельзя не верить тому, кого страстно полюбишь... Но, однакож, я верю на условиях... У меня квартира не так великолепна, но очень удобна... При вашем положении...

— А! да вы сами, сударь, злодей, в своем роде! — вспыхнув вскричала Саломея: — злодей, который хочет пользоваться бедой несчастной женщины!..

— Да-да-да, — проговорил насмешливо Несеев, — так!.. за то, что я вам предлагаю приют от беды, которая вас ожидает, я — злодей?

— Подите вон! Не нужны мне ваши приюты!

— В таком случае, мадам la duchesse,[1] вас будут завтра допрашивать: кто вы сударыня такие и какие сношения имеете с мошенниками?

Несеев встал, сделал несколько шагов к двери, остановился и кинул на Саломею вопросительный взгляд, согласна она или нет? Но она гордо вскинула голову и показала ему двери. Он вышел.

IV

Возвратясь домой довольно поздно, Дмитрицкий уложил несколько пачек ассигнаций в шкатулку, надел длинный сюртук и бархатный фесик на голову и пошел к Рамирскому.

— Барин уж почивает,— сказал слуга.

— Дай мне взглянуть на него.

И Дмитрицкий, взяв свечу, тихо подошел к постели Рамирского.

— Сон спокоен и крепок... он улыбается во сне... он счастлив! .. И я счастлив, Федя, что доставил тебе этот сон. Спи с богом! — проговорил тихо Дмитрицкий, взглянув на Рамирского. И пошел к себе.

— Здесь он? — раздалось вполголоса, когда Дмитрицкий подходил слабо освещенным коридором к своему номеру.

— Здесь, — кто-то отвечал: — сейчас только приехал.

— Эгэ! Это что такое? — проговорил про себя Дмитрицкий, приостанавливаясь и видя столпившихся у дверей его номера полицейских чиновников с жандармами.

— Ну, идем на приступ, Несеев.

— Э, нет я вперед нейду.

[1] Герцогиня.

— Э, трус!

— Отворяй!

— Вы стойте у дверей, и никого не выпускать! — кто-то прокомандовал тихо жандармам.

— Несеев? а! нечаянный знакомец! .. Так это по милости Саломеи Петровны! — проговорил про себя Дмитрицкий и, поворотив в другую сторону коридора, поспешно пробежал на заднее крыльцо. Выбравшись на маленький дворик, он вышел на улицу и крикнул к стоявшим у ворот извозчикам: — Эй! в Тверскую Ямскую!

— Садись, господин! три гривенника! — отозвались они в один голос.

— Не по деньгам! четвертак, да и того не дам.

— Садись, барин!

— Пошел живо! .. Поезжай прямо! — скомандовал Дмитрицкий, когда извозчик хотел поворотить по Тверской: я еще заеду на минутку.

— Как же это: еще и заезжать за четвертак-то?

— Прибавлю!

Из улицы в улицу, из переулка в переулок, то вправо, то влево, Дмитрицкий подъехал, наконец, к воротам одного небольшого дома, соскочил с дрожек и вбежал в калитку. У входа в одно из надворных строений стояла тройка, запряженная в телегу.

В темных сенях Дмитрицкий столкнулся с кем-то, только что вышедшим из дверей.

— Это кто?

— Тришка! это ты?

— Кто ты такой?

— Поди сюда, — отвечал Дмитрицкий, взяв за руку встретившегося ему в дверях человека и отворяя двери.

— Ба, ба, ба, — проговорил, крякнув, известный

уже нам Трифон Исаев, входя за Дмитрицким в покой, где какая-то старушонка, перекрестив лоб, ложилась уже спать.

— Узнал?

— Да это что за чудеса? откуда, господин?

— Теперь не время разговаривать, — отвечал Дмитрицкий: — поздно, я спать хочу, ступай, заплати моему извозчику у ворот три гривенника.

— Хм! Да это-то ничего, три гривенника, — сказал Трифон, поглаживая свою бородку и оглядывая Дмитрицкого: — да извозчик-то где взят: на ходу или на вороту?

— Это что такое? — спросил Дмитрицкий: — а! понимаю! На вороту, под носом у беды?

— Э, господин, это не годится: на указке-то к воротам не подъезжают!.. Здесь оставаться тебе уж не приходится, а я еду по делам, тройка готова.

— Едешь? тем лучше, я с тобой!

— Со мной? В этой одежде-то? Нет, спасибо за такого попутчика!..

— Что̀ ж ты, собака, кобяниться со мной стал? — вскричал Дмитрицкий.

— Ну, ну, ну, здесь не место кричать; кобяниться не кобяниться, а надо дело порядком сделать, чтоб хвост не примерз... Прежде всего надо указку отвезти в сторону. Вот, полтина серебра... Извольте-ко сесть, да отъехать подальше, да у каких-нибудь чужих ворот расплатитесь, да сюда назад пешком; потом надо господскую-то одёжу с плеч долой.

Дмитрицкий понял маневр.

— В самом деле, — сказал он и, взяв деньги, вышел на улицу.

— Вот тебе полтина серебра вперед, пошел скорей в Тверскую Ямскую.

Извозчик, ощупав деньги, положил их за губу, нукнул и поехал.

«А что, как мошенник Тришка меня надует?» — подумал Дмитрицкий.

И с этой мыслью ловко соскочил он с извозчика.

Извозчик, не заметив, что нет седока, мчался вперед; а Дмитрицкий воротился бегом к дому.

— Живо! Скорей! — раздался голос Трифона в отзоренных уже воротах, из которых выехала уже тройка.

— Пррр! — крикнул Дмитрицкий, вскочив сзади на телегу и обхватив Трифона: — что, далеко уехал от меня? надул?

— Виноват! струсил было! — проговорил Трифон, на которого Дмитрицкий, смяв под себя, сел верхом.

— Живо! по всем по трем! — крикнул он.

И тройка понеслась. Лихой рысак в корню, скакуны на пристяжке.

Покуда Дмитрицкий был в дороге, не зная сам, куда его несет судьба, с ним ничего особенного не приключилось.

Между тем перепутанная узловатая участь Саломеи плохо разматывалась.

Проводив презрительным взором Несеева, она, однакож, содрогнулась от его угроз. Ей представился весь ужас ее положения. Рушившаяся надежда на Чарова, внезапное появление ненавистного Дмитрицкого и предложенное унизительное покровительство отвратительным Несеевым, вдруг три невыносимых удара разбили душу Саломеи. Она едва дошла до своей спальни и бросилась в постель.

В это-то время наш магнат добивал Чарова. Как ни наказывал он карты, как ни трепал, как ни бранил их по-своему, они изменяли ему; обычное счастье как будто выбилось из сил — не везет. Чем его подгонишь? Приятели Чарова, обступив стол, радовались душевно, что нашелся человек, который распёк их друга: «поделом! богат каналья! слишком высоко нос подымает! не мешает понизить!»

Никому не приходило в голову, что последняя копейка идет ребром. Но сам Чаров знал это; приподняв пятью пальцами мужицкую прическу, бледный, он предложил противнику еще сыграть; но магнат хлопнул колодой по столу, встал с места и взял шляпу.

— Сегодня не играю, — сказал он: — скучно выигрывать... В котором часу утра принимает к себе мосьё Tcharoff? [1]

— С двух до обеда; обедайте у нас, — отвечал Чаров.

— Хорошо. Итак, до завтра.

— Ха, ска-атина! — как он славно и счастливо играет, — сказал Чаров по выходе магната. — Bonne nuit, messieurs![2] — прибавил он, зевая и потирая лицо рукой.

Когда все убрались, Чаров долго еще ходил по комнатам, отдуваясь. Его взяло раздумье: надо опять доставать денег! У кого? Несеев без залогу не даст! .. Заложить нечего! .. У кого же занять?

Перебирая в мыслях всех своих знакомых и приятелей, Чарову пришло, наконец, на мысль, что все они ему должны; но как собирать

[1] Чаров.

[2] Доброй ночи, господа.

долги, напоминать об уплате? Стыдно, совестно, скверно!

Раздраженный и истомленный досадными и непривычными думами, Чаров намерен был уже итти спать и положиться на мудрость утра, как пришла девушка и позвала его к Саломее.

— Я думал, что она спит! — сказал Чаров с досадой.

— Они в постели, очень нездоровы, — отвечала девушка.

Чаров привык уже к этой новости.

— Что̀ с тобой, ma chère? — спросил он, входя в комнату Саломеи.

— Я больна! .. я очень больна! ..

— Что̀ ж делать? Послать за доктором? ..

— Нет! Для меня необходимо путешествие... скорее! .. только воздух спасет меня, оживит... — проговорила Саломея слабым голосом, протягивая к нему руку. — Сделай для меня это, Grégoire! Поедем хоть в деревню... поедем, завтра же, вели сбираться! ..

— Помилуй, Эрнестина, — сказал Чаров, с ужасом взглянув на бледное, изменившееся лицо Саломеи: — это невозможно! ..

— Grégoire! Не противоречь мне... Сделай это для меня! Исполни это мое желание! .. Я заплачу тебе за это страстной любовью, Grégoire!

— Я не могу, моя милая, этого сделать! — отвечал Чаров, пожав плечами: — как это можно, у меня дела! ..

— Боже мой, у тебя дела! у тебя дела?

— Да! и очень важные... Я никак не могу их оставить, бросить всё и ехать!

— Не можешь? .. — проговорила дрожащим голосом Саломея.

Мутный, слабый взор ее вдруг вспыхнул и сверкнул на Чарова.

— Подите же вон отсюда! .. Или нет! Я лучше сама пойду вон! .. Marie!

Саломея позвонила в колокольчик.

— Помоги мне встать! — сказала она зошедшей девушке.

Чаров взглянул на болезненное, но вместе исступленное лицо Саломеи.

— Это новая сцена! — проговорил он про себя: — да нет, уж эти сцены мне надоели!

И махнув рукой, он вышел.

Дума о проигрыше и необходимости достать денег трезожила его более причудливого здоровья Эрнестины.

— Давай раздеваться! — крикнул он камердинеру.

Но Marie прибежала и сказала, что madame в беспамятстве, в бреду, что у ней горячка!

— Это ужас! эта баба! — вскричал Чароз: — послать за доктором, вот и всё! .. Горячка!

Встрезоженный Чаров беспокойно ходил по комнате, садился, вскакивал снова, спрашивал, приехал ли доктор, но не шел к Саломее.

Приехавший, наконец, доктор, осмотрел больную и сказал Чарову, что у ней все признаки воспаления и жизнь ее в опасности.

— Что ж я буду делать с ней? dites moi, je vous en prie? [1] — вскричал Чаров.

— Как что? — спросил с удивлением доктор.

— Да, что? Чорт меня дернул благодетельствовать, дать приют у себя в доме какой-то несчастной иностранке, а она тут у меня умрет! .. Нельзя ли ее отправить в больницу?

[1] Скажите, пожалуйста.

— Каким же образом? Кто ж она такая?

— А чорт ее знает! Какая-то мадам Мильвуа... Я предложил ей жить у себя, покуда получит место... дал квартиру, стол, вот и всё! .. Я не могу в таком положении держать ее у себя и отвечать за нее! ..

— Есть у нее какие-нибудь бумаги?

— А кто ее знает?.. Вы знаете Далина? Он взял ее из тюрьмы на поруки и просил пристроить... Я сдуру и согласился! .. Да вы можете это сделать, чтоб ее приняли куда-нибудь в больницу... для меня!

— Хм! Теперь когда же? .. Завтра как-нибудь это можно будет сделать.

— А если она умрет до завтра?

— Ну, нет...

— Да нельзя ли теперь?

— Хм! мосьё Tcharoff! Это... не хорошо! — сказал доктор.

— Что ж тут нехорошего... Лучше ли подвергать себя...

Чароз не договорил.

— Вы бы прежде думали об этом.

— Да как тут думать, cher docteur? [1] кто ж мог думать? .. по крайней мере хоть завтра чем свет... для меня!

— Посмотрим... может быть еще завтра ей будет лучше, если удастся перервать болезнь.

— Да нет, бог с ней! Я не хочу, чтоб она оставалась у меня в доме! — сказал Чаров: — только одни тревоги да неудовольствия! ..

И Чароз умолил, упросил, взял слово с доктора, что тот похлопочет о том, чтоб больную француженку поместить в больницу.

[1] Дорогой доктор.

V

В стороне от большой старой дороги, которую заменило шоссе, на краю леса, стоял уединенный постоялый двор. В ту самую ночь, когда Дмитрицкий неожиданно, негаданно попал в сопутники Трифона Исаева, ехал с ним сам не зная куда и мало о том заботился, к воротам упомянутого постоялого двора прикатило несколько троек. Приезжие были всё народ налегке, не простой, а промышленный, мастеровой. Все они, соскочив с телег, вобрались в избу постоялого двора. Ямщики поехали шажком на дорогу проводить взмыленных коней.

В это время в задние ворота вышла женщина, таща за руку какого-то молодца.

— Поди-ко, поди сюда, Прохор Васильевич! — шептала она ему.

— Ну, что, зачем, Лукерьюшка? — спрашивал он.

— Ох, уйдем отсюда, голубчик Прохор Васильевич! Здесь разбойничий притон, уйдем, пожалуйста!

— С чего ж ты взяла это, Лукерьюшка?

— Да неужели ты не смекаешь, что тут за люди собираются? .. И Триша-то твой мошенник, разбойничья голова! .. Уж я говорю тебе недаром: видала я таких! .. Пойдем, Прохор Васильевич!

— Куда ж мы уйдем, Лукерьюшка? Чем жить-то? А уж Триша за что возьмется, то делает; я тебе говорю, что он примирит нас с тятенькой... Уж тятенька сказал, что не убьет меня, если я кинусь в ноги с повинной головой... Да Триша говорит, что уж лучше, говорит, обождать, покуда умрет тятенька... Он, говорит, уж очень нездоров.

— Ах, он злодей, нехристь! чему учит! Сколько

выговорил он с тебя за мир-то? — продолжала женщина, торопливо удаляясь в поле от постоялого двора.

— Куда ж ты, Лукерьюшка?

— А вот тут деревня недалеко... Там мы переночуем у Ивановны, у которой я брала тальки... Да ты уж говори мне всю правду: за сколько уговор-то был? Что он, мошенник, хочет содрать с тебя?

— Что? Нет, Лукерьюшка, напрасно! Тришка не такой человек: он говорит, что я служил, говорит, вашему тятеньке верою и правдой и вам, говорит, буду служить верою и правдой.

— Ах, ты! всему-то ты веришь! Такому мошеннику! Прохор Васильевич, послушай ты меня: уж лучше пойдем, да упадем в ноги! .. О, господи! Что̀ это? народ? Побежим в лес! ..

Из-за кустарников показалось несколько верховых, отряд солдат и толпа народу, вооруженного дубинами. Все приближались тихо к постоялому двору.

Заметив бегущих к лесу двух человек, несколько верховых догнали их.

— Стой! .. держи их! Кто вы такие?

— Батюшки мои, мы прохожие, идем на богомолье, — отвечала с испугом женщина: — вот, я веду слепенького...

— Врешь! — крикнул какой-то усатый чиновник в военной шинели, при сабле, соскочив с лошади и всматриваясь на спутника женщины, которого она держала за руку и который от ужаса в самом деле моргал глазами, как слепой: — говори откуда?

— Из Переславля, — продолжала женщина: — зашли было на постоялый двор, да там такая тьма

народу... мы из опаски, чтоб нас не обидели, и ушли оттуда...

— А много там? Кто такие?

— А бог их знает; приехали на тройках... всё такие удалые...

— А сколько их?

— Да человек с десяток будет...

— Ну, ступайте себе с богом, — сказал усатый чиновник, отпустив Лукерьюшку, которая вела слепенького Прохора Васильевича. — Тс! тише!.. продолжал он: — часть команды обходи справа! Я пойду слева... Понятые к задним воротам!.. Тихо!

Распорядясь таким образом, военная команда с понятыми окружила постоялый двор и вдруг нагрянула в избу. Усатый чиновник с саблей в руках, с несколькими человеками солдат вбежал в избу и крикнул: «бери их!»

Солдаты бросились на сидящих вокруг стола молодцов.

Пораженные страхом они не успели рта разинуть, не только что взяться за ножи, которые торчали у некоторых на ремне под кафтаном. Их всех перевязали без сопротивления.

— Атаман! — крикнул кто-то в шинели, быстро окинув всех одним взглядом.

Все молчали.

— А! здесь еще нет главного молодца, заводчика! Где атаман? — крикнул он снова, обратясь к одному из разбойников, более всех побледневшему, с бритой бородой.

— Тебя я спрашиваю! слышал?

— Атаман еще не приезжал, — проговорил дрожа всем телом бритый.

— Да какой у нас атаман, — отвечал рыжий му-

жичина: — он со страху несет, вашему благородию, какой же у нас атаман? Что мы, разбойники, что ли?

— Молчать! знаю я, кто вы! ..

— Коли знаете, так нечего и допрашивать!

— Зажми ему горло! .. — сказал главный сыщик, выходя из избы.

И он расположил команду в засаду подле ворот.

— Надо обождать: тут еще не все! главного нет!

Вскоре послышались на дороге бубенчики.

— Чу! смотри ребята!

Тройка неслась по дороге большой рысью.

Это ехал Трифон Исаев с своим спутником Дмитрицким.

Тройка поворотила с дороги влево.

— Это куда? — спросил Дмитрицкий.

— А вот... — начал было Трифон, всматриваясь зоркими глазами в окно постоялого двора; но, не докончив слов, он вдруг перекинулся назад с телеги, хлопнулся на землю и покатился с дороги в траву.

Кони примчались к воротам постоялого двора.

Только что Дмитрицкий соскочил с телеги и оглянулся, где Трифон? вдруг со всех сторон накинулась на него толпа солдат и мужиков, свалили в грязь на землю и смяли под себя.

— Вот он, злодей! здесь! валяй его! вяжи его! Ага! попал собака! — кричала вся толпа в один голос.

— Стой! не душить! давай его сюда! — крикнул главный сыщик.

— Вот он самой-то знатной! .. Вот он, убийцато! .. Душегубец!

— Вяжи его!

— Скрутим, не бойтесь!

— Давай его сюда!

Дмитрицкий не шелохнулся; его измяли, избили; он не понимал, что с ним делается.

Один сильный мужик, скрутив ему назад руки, в дополнение дал ему подзатыльник.

— На-ка вот тебе милостинку!

— Давай его сюда! — повторил сыщик. — Что, брат, попал?

— Попал, — отвечал Дмитрицкий, — да не знаю куда.

— А вот увидишь, мошенник, разбойник! .. Взвалите его на ту же тройку, на которой приехал! двое со мной, я сам его отвезу! .. Шайку его ведите сейчас же! ..

— Попал в Тришкин кафтан! — проговорил Дмитрицкий про себя.

Приказание немедленно было исполнено: связанного Дмитрицкого взвалили на телегу; с начальствовавшим экспедицией сели двое солдат, и усталая тройка поскакала обратно в Москву.

— Фу, задушил, чорт! — проговорил Дмитрицкий, ворочаясь под солдатом, который засел на него верхом.

— Молчи, собака!

— Кончен бал, Вася! — продолжал он про себя, — попал в мошенники, в Тришки, в разбойники, в воры, в душегубцы! .. Этого я не надеялся, не думал! Не хорошо, любезный друг! Не виноват? А кто ж тебя будет оправдывать? Сам? Пустяки, мой милый: и тебе не поверят! Ну! Бог с тобой! Погибай! Кому ты еще нужен? На что? Разве только на пугало людям посереди площади?.. Что̀ ж делать, служи! служи и спиной своей человечеству... оно еще молодо, слов еще не боится... И что, если правду сказать, делал ты в своей жизни?

Резал штос, *бил* карты, *душил* вино! Просто разбойничал! .. Фу! Солдат! право!

— Что, собака, верно не легок показался тебе?

— Нет, ничего; я только так говорю; если ловко, так сиди; ты, брат, славный гнет!

— Молчать! — крикнул сыщик.

— В самом деле, молчать во всяком случае лучше, — продолжал Дмитрицкий.

— Ну! неугомонный пес! — прибавил сыщик, толкнув его ногой.

— Нет уж угомонился, всё надоело: и лежать свиной тушей в телеге надоело, и считать людей людьми надоело, и вы все мне надоели, и проклятая это ночь надоела... и что еще надоело?

— Молчи! .. — крикнул солдат.

— О, ты, брат, продувная голова! — сказал усмехнувшись сыщик.

— Знакомый что-то голос! Где-то я слыхал? — сказал Дмитрицкий, оборачивая голову и всматриваясь в сыщика.

— Что̀ такое? — спросил сыщик.

— Ничего, голос-то ваш как будто знаком мне.

— Мошенник! верно уж был у меня в руках.

— Нет, не бывал, — отвечал Дмитрицкий, отворотясь: — а припомнил я одного Петруху Фадеева, по прозванью забубенная голова, который взял меня в науку и учил разбойничать; вот один раз напали мы с ним на одного казначея. Мне стало жалко: — Послушай, Петруха, — сказал я, — грех! душа-то у него казенная; его загубим, а жену и детей по миру пустим. — Вот, смотреть на них, — отвечал Петруха: — того не тронь, да другого не тронь, всё будет жалко! Чорт с ними! — Ну, брат, Петруха, ты просто злодей, душегубец, знать тебя не хочу! — сказал я, да с тех пор и не знался с ним.

— Экие странные вещи рассказызает! — проговорил солдат.

— Разговорился мошенник! молчать! бестия! — проговорил и чиновник, которого задели как будто за живое слова Дмитрицкого. — Убийца, подлец! ..

— Петруха-то, чай, получше меня душегуб, а я бы вам указал на него: так бы уж нас вместе с ним в одну палату, на одну цепь.

Сыщик откашлянулся, как будто поперхнувшись, но не отвечал ни слова.

— Пошел! — крикнул он.

Тройка поскакала куда следует.

Сыщик в шинели представил его по принадлежности.

— Честь имею представить самого атамана шайки, своими руками взял, — сказал он.

— Ух! какая рожа! — крикнул пристав, осматривая Дмитрицкого: — так и видно, что убийца! .. Что̀, скольких ты убил на своем веку?

— Да изрядно-таки; считать не стал, — отвечал Дмитрицкий, смотря пристально в глаза поймавшему его сыщику: — вот, я думаю, они знают.

— Откуда ж мне знать, — проговорил сыщик смутясь.

Взор Дмитрицкого напомнил ему что̀-то, и он содрогнулся невольно.

— Злодейская рожа! — продолжал пристав.

— Да как же, весело!

— Фу, бесчеловечное животное! в кандалы его! Да покуда здесь на цепь, в сибирку!

Дмитрицкого повели в сибирку.

— Ну, кажется, уж теперь вырваться нельзя, Вася? Да и к чему?.. Сам себе приюта не нашел, добрые люди дадут приют. Прощенья просим, —

продолжал Дмитрицкий вслух, обращаясь к усачу-сыщику. — Хм! счастье! Петруха, забубенная голова, попал в люди!

VI

— Что̀, матушка, у тебя чайку-то нет и денег нет? — говорила одна старушонка в чепчике, сидя подле постели больной, расслабленной женщины, которая только что очнулась от беспамятства и смотрела на высокую, чистую, но пустынную комнату, где стояла только железная кровать, на которой она лежала, зеленый столик подле и стул.

— Где я? — проговорила слабым голосом больная, в которой невозможно было уже узнать Саломеи, так переменились черты ее лица, огонь глаз потух, жизнь погасла.

— В больнице, матушка, в больнице, — отвечала старуха: — здесь ведь порция-то знаешь... хоть бы чаек-то свой...

Саломея как будто вдруг почувствовала резкую внутреннюю боль, болезненное лицо ее сжалось; она закрыла глаза и глухой стон раздался в груди.

— Вот и родных-то, верно, нет никого, — продолжала старуха разговаривать сама с собой: — в две недели никто не навестил... Послушай-ко, матушка, родные-то есть у тебя здесь?

Саломея покачала головою и глубоко вздохнула.

— Послушай-ко меня; если б ты смогла написать просительное письмецо к графским и княжеским сиятельствам... ей-богу! а я бы походила с ним по домам... Так-таки просто написала бы «что я вот такая-то капитанша или маиорша... выставишь чин-то, так лучше, знаешь... капитанша или маиорша, ну, а потом: ваше графское сиятельство,

помогите от милости вашего благоутробного сердца, я, дескать, больная, в беспамятстве лежу, руками и ногами не владею... семейство на руках имею, а нахожусь в больнице, по бедности состояния.. ваше, мол, превосходительство...»

— Перестань! — слабо проговорила Саломея, махнув рукой на старуху.

— Ничего, ей-богу, ничего; это уж так водится: хоть господин какой, хоть купец, всё равно: всё ваше графское сиятельство и превосходительство; это ничего; никто не отказывается, что я, дескать, не граф... и подают: иной гривенничек даст, и больше случается...

— О, боже мой! перестань говорить!

— Хм! какая ты! Не верит! Добро бы я с бухты-барахты говорила! .. Ты уж верь мне. Я и чернилицу и бумаги достану, и скажу тебе как писать... Не можешь? э-эх! Так вот что: я писаря попрошу написать... да надо будет дать ему, мошеннику, двугривенничек, по крайней мере... а он уж так и напишет, что ты без ног, без рук лежишь.. подписать только самой не мешает... да на это-то достанет, матушка, силы: штука помакнуть перо, да и черкнуть: так-то, вот асессорша или чиновница, или как, бог тебя знает... говорят ведь, вишь, что ты французинка... Так это еще лучше для господ-то...

Саломея не в состоянии уже была переносить говору старухи; каждое слово ее как будто какое-нибудь отвратительное насекомое ползло по ней; сердце содрогалось от ужасу, чувства раздражались; но нет сил подать голосу, что она страдает, чтоб спасли ее от мучений...

— Что ты сморщилась, матушка, да машешь всё рукой? .. — продолжала старуха: — болит, что̀ ли,

что̀ у тебя? Что̀ ж делать-то?.. Терпи!.. Колотья, верно? Такие ли у меня бывали колотья: криком кричишь бывало; а это еще что̀, как только поморщишься... это еще слава богу...

Глухой, продолжительный стон вырвался из груди больной.

— А! вот верно теперь посильнее? Ничего! пройдет!.. Так ли еще бывает... Вот если б чайку ты напилась, так как рукой сняло бы... Право! Ведь вот кто-нибудь да положил же тебя в больницу, а никто не подумает проведать, не нуждаешься ли в чем... Или бы уж денег оставили тебе... Больничная-то порция, известное дело: с голоду не умрешь, а сыт не будешь: кашица да суп, вот и всё. Ну, а как поотляжет, так оно и того и сего... а чайку-то особенно... Я уж что за человек, а без чаю не могу обойтиться. Не могу, матушка, ей-богу, не могу!.. Бывало ничего, и горя мало, покуда не вышла за̀муж за станционного смотрителя; а уж известное дело, как побываешь в офицерском звании, да поводишься с благородными, так и нельзя: и к себе на чашку чаю надо просить. Ведь, бог знает, не што такое: трава, а приятно. Признательно, однакоже, сказать, как поднесли в первый-то раз, пью я, да морщусь; так бы и выплюнула в лахань, да совестно. На первый-то раз тошнило, а после-то как слюбилось: хлебом не корми!.. Бывало десять раз в день поставишь для проезжих самовар — пью не напьюсь. Надо сказать, что и доход-то хороший был от чаю, особливо зимой: иной проезжий прозябнет — сам просит; а другого и призадержишь: «лошадям-то, сударь, еще надо поотдохнуть, сейчас приехали, а покуда бы вы, сударь, чайку испили». Покобянится, да и нечего делать; а мне «лафа».

Да и то надо сказать: смотрителю в офицерском звании не приходится брать на водку, а как дадут на чай, так отчего не взять? Тут ничего нет неуважительного такого...

Саломея протянула руку к столу, чтоб подали ей кружку с водой утолить жар, который пожирал ее; но старуха, надев очки, продолжала вязать чулок и мучить больную рассказами.

— Вот как вспомнила об чае, так и захотелось, — продолжала она, положив чулок на стол: — уж ты полежи, матушка, одна, а я пойду к фельдшерше, чай уж она пьет.

Старуха вышла. Саломея снова протянула руку к столу, но некому понять ее желания.

Медик посещал ежедневно больную, как официальный человек, заботясь единственно о существенной болезни. Он вывел Саломею из опасного положения, но не его дело было заботиться о ее душевной болезни; а тем менее об ее положении. Он приходил, щупал пульс, молча прописывал рецепт, или, кивнув головой, уходил. Слабость ее еще была велика; но слабость может долго продолжаться, слабость пройдет сама собой. Курс лечения кончился, термин для поправления сил прошел — на выписку!.. решил медик.

— Куда ж ее отправить? — спросил дежурный лекарь.

— Как куда?

— Ее поместили по приказанию главного доктора; бумаг никаких нет.

— Так спросить его; или лучше спросить ее самое.

Дежурный послал фельдшера объявить Саломее, что она назначена на выписку из больницы; а потому, куда угодно ей будет отправиться?

Саломея посмотрела на фельдшера, опустила голову и ни слова не отвечала.

— Она тебя не понимает, ведь она французинка. Постой-ко я ее спрошу, — сказала старуха-сиделка.

— Ну, спроси: куда ее отправлять?

— Послушай-ко, матушка, вот пришел фельдшер сказать, что тебя следует на выписку; так говорит, куда отправлять-то тебя? Родные, что ли, есть? .. Или куда на квартиру? где ты жила-то? а?

— Ах, не мучайте меня! дайте мне умереть! — проговорила Саломея.

— Зачем умирать, — сказал фельдшер: — вас, сударыня, назначили на выписку... Вы теперь, слава богу, здоровы; а это так еще, от слабости вас тоска берет; да это ничего. Вы извольте, с богом, отправляться теперь домой; слабость сама собою пройдет... Это уж мы знаем.

И фельдшер вышел.

— Что? — спросил доктор.

— Объявил ей, что она теперь совершенно здорова, а потому может отправляться домой.

— Так в особую-то, на место ее, перевести больную, что давеча привезли.

— Слушаю, — сказал фельдшер, и вследствие этого приказания в комнату Саломеи вскоре внесли на руках больную.

— Э! что ж это, куда ж мы положим ее? .. Койка-то занята.

Призванный фельдшер снова объявил Саломее, что она совершенно здорова и назначена на выписку.

— Дайте мне умереть! — повторила в ответ Саломея.

— Никак нельзя-с, — сказал фельдшер: — мы за это в ответе будем.

После долгих недоразумений, что делать с назначенной в выписку иностранкой, доложили главному доктору. Главный доктор известил об этом доктора, через посредство которого она принята была в больницу.

— Что ж мне с ней делать? — подумал доктор: — куда мне ее девать? Чаров отрекся от нее!.. Разве похлопотать, чтоб приняли ее во вновь открытый приют?.. В самом деле!..

И доктор отправился к одной из дам благотворительного общества, заботами которой открылся новый приют для бедных. К счастью, в приюте на дзенадцать кроватей оставалось еще одно вакантное место, в отдельной комнатке, где помещена была уже одна дряхлая старушка.

— Мавра Ивановна, вот и вам привезли сожительницу, — сказала старушке на другой день после этого женщина, прислуживавшая в приюте.

— Что, Дарьюшка?

— Привезли какую-то, на пустое место, к вам, Мавра Ивановна, — крикнула на ухо старушке женщина.

— А! Ну что ж, и слава богу, мне всё-таки веселее будет... Чай, мой Васенька ей не помешает, — проговорила старушка, поглаживая старого кота, который лежал у нее на коленях.

— Вот сюда, — сказал вошедший доктор, за которым вели под руки Саломею: — вам будет здесь спокойнее... Об вас приложат все возможные заботы... Я буду навещать вас...

Саломею посадили на кровать; она обвела кругом взорами и молча прилегла на подушку. Доктор поклонился и вышел.

— Нездоровы, верно, сударыня? — сказала старушка, смотря с состраданием на Саломею: — дай

бог здоровье добрым людям!.. Не покидают нас бедных!..

Воображая, что Саломея заснула от утомления, старушка замолкла, взяла со столика святцы, надела очки и стала всматриваться в буквы и читать про себя.

— Где это я? — вскрикнула Саломея, очнувшись вдруг из забывчивости.

— В приюте, сударыня, — отвечала старушка, положив святцы: — не привыкли еще; как быть-то!.. Бог дает, бог и отнимает, за грехи наши... Да не оставляет же он нас, милосердный отец, на совершенную гибель! посылает добрых людей в помощь... Помолимся ему!..

И старушка перекрестилась, обратясь к образам в углу. Саломея посмотрела на нее. Но из разбитой ее души испарился дух веры в жизнь. Мутный, погасший взор ее как будто спрашивал старушку: зачем?

— Охо-хо, — продолжала старушка: — вы, сударыня, верно жили в полном довольствии и всякой роскоши... Да вдруг наказал бог невзгодьем?.. Вот и я думала жизнь кончить, не потяготив собой людей... Да господь не судил!.. Бывало плохое время; сожителя своего, Ивана Леонтьевича, без копеечки похоронила; думала уж по̀-миру итти; да по милости божией вышла царская милость — половина мужниной пенсии... сто рублев в год. Чего ж еще больше, особенно при милостях и при благорасположении добрых людей. Вот примером сказать, жаловала меня очень статская советница Софья Васильевна Бронина... Да две ее дочки: Саломея Петровна...

Раздавшееся глухое восклицание прервало рассказ старушки.

Сидевшая на кровати с склоненной головой, Саломея упала без чувств на пол.

— Что с тобою, сударыня! — вскричала испугавшись старушка; и хотела было, по чувству сострадания, броситься на помощь, но не могла. — Господи! И сил-то уж нет привстать с места, помочь человеку! .. Дарьюшка.

— Что вы, Мавра Ивановна?

— Ох, помоги скорей! без памяти упала!

— Владыко ты мой! привезли совсем больную женщину! — сказала Дарья, приподнимая Саломею на постель.— Скорей бы надо дать знать частному лекарю: он, чай, велит ее отправить в больницу.

— Больна, больнехонька! — проговорила старуха.

VII

Порочные чувства — болезненное состояние человека, сильная лихорадочная раздражимость сердца, которая во время внутреннего жару бросает его в воду, а во время ознобу в огонь. Часто вместо того, чтоб подать помощь вначале, покуда привычка к потрясающим ощущениям не вошла в природу, вместо участия корят больного за болезнь. Он теряет надежду на участие и помощь; но как человек, он чувствует потребность в спасении и сам себя лечит по ганеманновой системе: similia similibus curantur; [1] хочет изгнать клин клином и изгоняет недоброе чувство недобрым, злое злым. Клина из живого тела не выбьешь клином; вместо одного клина завязнет только другой клин; избегая одного проступка, бедняк впадает в другой проступок. Но

[1] От чего заболевают, тем и излечиваются (латинское выражение, формула гомеопатической медицины).

часто болезнь, совершив круг, проходит сама собою, и сознание себя восстанавливает силы; и часто болезнь, истощив силы духа и тела, бросает человека на жертву отчаянию; но бессильный, он еще хочет искупить жизнь и жаждет наказания — не искупит ли оно его.

Дмитрицкому надоело, тяжко стало жить скитальцем, бродить тенью, прятать себя от людей.

— Вот, — сказал он сам себе, сидя на нарах в подвале, окованный и по рукам и по ногам: — верно этого не избежать никакому мудрецу в жизни: не железо, так болезнь прикует к нарам! Что, брат, Вася? Ведь здесь ты на своем месте, причалил к берегу! Кто здесь свесит человеческую твою природу с наживной, звериной. Правда, что ты не диким был зверем, да и не дворовой скотиной. Но тебе, может быть, не нравится эта существенность? Ты, может быть, желаешь, чтобы оковы вдруг спали с тебя? хочешь свободы, воли, неги, роскоши гарема, толпы друзей и приятелей, рабов и рабынь, хочешь вина, хочешь поставить трильон на карту, обыграть всех беспутных, мотов, скряг и жил, чтоб облагодетельствовать всё бедное человечество?.. Всё это можно, Вася, только пожелай, усни крепким богатырским сном — во сне, чего хочешь, того просишь, и всё дастся и удастся тебе. Спи, друг! Если не спится, то покати перед собою колесо, или морские волны; вообрази, что ты опускаешься на дно добывать земное счастие, и ты непременно заснешь!

Дмитрицкий зевнул, и в самом деле заснул крепким сном. Поутру его разбудили, чтоб вести к допросу. Он проснулся смутен.

— Фу! какой сон! — проговорил он: — хуже бессонницы в тюрьме и в оковах!..

— Ну, очнулся ли? марш! — крикнул солдат.

— Насилу очнулся! Прескверный, брат, сон!..

— Что, казнили, что ли, тебя во сне?..

— Нет, мне снилось, напротив, что я казню людей, да и спрашиваю: как же это так! ведь наперед меня надо казнить? Ничего, — мне отвечают, — это так следует; придет и твой черед: явному явное, тайному тайное, наружному наружное, а внутреннему внутреннее; так уж следует по закону.

— Да, да, да, толкуй, — сказал солдат: — вот дадут тебе припарку!

— Что ж делать, брат, уж это, верно, так следует по закону, — отвечал Дмитрицкий, приподняв оковы на ногах за привязанную к ним веревочку, чтоб они не волоклись по земле и не мешали итти.

Его привели в присутствие. Присутствующие взглянули на его одежду, на его наружность, которая не похожа была на разбойничью, подивились и стали допрашивать.

Странные, равнодушные ответы его еще более привели всех в недоумение.

— Кто ты такой?

— Право, сам не знаю теперь кто я такой, — отвечал Дмитрицкий.

— Из каких мест ты родом?

— Я не на месте родился, а дорогой.

— Ты ли Трифон Исаев?

— Я ли Трифон Исаев? Хм! Ну, нет, Трифоном Исаевым я никогда не был, — отвечал он усмехаясь.

Не добившись из ответов Дмитрицкого толку, его поставили на очную ставку с пойманными разбойниками, но и они дивились, смотря на него, и не признавали своим атаманом.

— Кто ж ты такой? — спросили его снова.

— Кто взял меня и представил сюда, тот, вероятно, должен знать это, — отвечал Дмитрицкий.

— Послать за Петром Фадеевичем Куминым.

Усатый сыщик, поймавший разбойника, явился.

— Господин Кумин, этот человек говорит, что вы знаете его, — сказал один из присутствующих.

Кумин смутился.

— Да, я узнал его, — отвечал он: — но не верю глазам своим... кажется, если не ошибаюсь, Дмитрицкий, я видел его прежде и потом уже не встречал его.

Все присутствующие с новым удивлением взглянули и на Кумина и на Дмитрицкого, который равнодушно осматривал своего помощника.

— Каким же образом вы представили этого человека за атамана пойманных разбойников? Что это значит?

Кумин оробел от этого вопросу.

— Извините... Ей-ей, понять не могу, каким это образом случилось такая неосторожность... Ночью, в суматохе...

— Самым простым образом, — перервал Дмитрицкий: — схватили меня за атамана разбойников, вот и всё.

— Ошибка... Простите меня! — прибавил Кумин, обращаясь к Дмитрицкому.

— Хм! если ошибка, так ошибка в фальшь не ставится, — отвечал Дмитрицкий.

— При вас были бумаги и имущество? — спросил один из присутствующих.

— Без сомнения, что всё было; но я не знаю, куда это всё девалось.

— Всё это будет отыскано, — сказал Кумин: — вы, господин Дмитрицкий, имеете полное право на

меня жаловаться начальству; я за ошибку буду отвечать... меня отрешат от должности, но по старому товариществу...

— О, не беспокойтесь, и не подумаю жаловаться, но я желаю знать, что вы будете со мной теперь делать? — спросил Дмитрицкий.

— Вы свободны, — сказали присутствующие, приказав снять оковы с Дмитрицкого: — вы так снисходительны к непростительной ошибке господина Кумина. Но каким же образом мы сделаем, чтоб это происшествие не дошло до начальства?

— Если они не изъявляют претензии, так мне только стоит переменить рапорт, — сказал Кумин.

— А если это как-нибудь откроется? Кто ж нам поверит, что мы отпустили господина поручика Дмитрицкого, а не атамана разбойников? Нет, этого дела так решить нельзя.

— Если они прощают меня, за что же вы хотите меня погубить? — сказал Кумин.

— Каким же образом поступить иначе? Особенной ответственности, впрочем, нельзя вам ожидать, тем более, что ответчик претензии не изъявляет... Достаньте только нам бумаги, а их самих возьмите покуда на поруки.

— Странная путаница, — сказал Дмитрицкий: — но во всяком случае, сам я распутывать не буду.

— Не угодно ли вам побывать покуда у меня, господин Дмитрицкий? — сказал Кумин.

— Отчего ж не так; готов быть там, где прикажут; мне всё равно.

— Вы сердитесь на меня; но сами посудите: решился ли бы я сделать что-нибудь неприятное бывшему товарищу?

— О, помилуйте, я знал вас всегда за отличного человека, — отвечал Дмитрицкий.

— Что только вам нужно, я всем готов служить вам. . .

— Покуда ничего не нужно: разве только арестантскую порцию хлеба, мне хочется есть.

— Сделайте одолжение, не корите уж меня. . . сию минуту мы позавтракаем, как следует, и по старой памяти выпьем бутылочку шампанского.

«Вот, нежданно негаданно, навязалась старая память!» — подумал Дмитрицкий, которого Кумин привез в свой дом, поместил в свой так называемый кабинет, нарядил вместо заскорузлого от грязи длинного сюртука в свое пальто и представил жене своей, как старого приятеля, которого спас от напавших на него разбойников.

— Ах, как это ужасно! — проговорила бледная луна, водруженная на тощий стан, приседая перед Дмитрицким и прося его садиться.

— Домна Яковлевна, надо чего-нибудь нам позавтракать, знаешь, питательного, да бутылочку упоительного.

— Прикажи, пожалуйста, сам, — отвечала торопливо супруга Кумина, всматриваясь в Дмитрицкого. — Ах, боже мой! — продолжала она: — как ваша наружность мне знакома! . . Никак не могу припомнить, где мы встречались?

— Да, и мне знакома ваша наружность, — отвечал памятливый Дмитрицкий, узнав в Домне Яковлевне деву-поэта, которую он видел на литературном вечере Михайла Памфиловича Лычкова: — Позвольте. . . именно; мы встречались с вами в Тамбовской губернии! кажется, так?

— Ах, нет, я в Тамбовской губернии никогда и не бывала; я с малолетства жила всё здесь.

— Здесь? Не понимаю: здесь я в первый раз. Но удивительное сходство с вами. Такая же счастливая

наружность, которую нельзя забыть, такое же что-то поэтическое, восторженное в лице, во взорах, во лбу и даже вот в этих местах, — сказал Дмитрицкий, обводя рукою оконечности губ, которых у Домны Яковлевны совсем не было, но оконечности разреза рта склонились как *нюни* книзу и, как известно, выражали желчную кислоту.

— Это удивительно! кто она такая?

— Одна девушка.

— Занимается поэзией?

— О, как же! удивительная способность писать стихи! Представьте себе: возьмет и напишет прямо из головы! Я и не видывал!

— Ах, да как же иначе; это и составляет доказательство таланта. Я сама пишу очень быстро, почти начисто, без поправок. Например, я написала целую поэму недели в две, не больше.

— Ай, ай, ай, какая у вас способность! и это просто как нипочем?

— Мне ужасно как легко достаются стихи.

— Ай, ай, ай, — повторил Дмитрицкий: — я не знаю, уж это век такой, что родятся непостижимые таланты; а если не век, так какая-нибудь особенная причина?

Домна Яковлевна не успела еще обдумать ответа, как появился ее муж с бутылкой в руках перед взводом лакеев и девочек, которые торжественно несли подносы, судки, блюда, блюдечки и всё, что̀ могло относиться к завтраку.

— Покорнейше просим, дорогой гость! — сказал он, распоряжаясь уставкой всего на стол и наливая кюммелю.

Дмитрицкий не заставил повторять просьбы.

— А ты что ж, душа моя? — сказал Кумин жене своей: — ты что-нибудь скушала бы?

— Ах, подите! — проговорила Домна Яковлевна, которая держала уже перед носом какую-то тетрадку и, прищурясь, всматривалась в написанное.

— Как она у меня пишет стихи, Василий Павлович, если б вы знали, — продолжал Кумин, поднося старому товарищу шампанского; — извольте-ко выкушать!.. каково?

— Я еще ничего не прочитала, а ты уж хвалишь! — проговорила Домна Яковлевна, читая что-то про себя.

— Я что-то читал ваше в печати. Кажется, поэма? Позвольте... начинается:

«В одной из деревень губернии Тамбовской...

— Неужели? Напечатано? — вскричал Кумин.

— Ах, я и сама не знала, что уже напечатано, — сказала, вспыхнув от удовольствия Домна Яковлевна: — я давно послала в «Библиотеку для Чтения»... и только теперь напечатали! Какая неисправность! Поезжай, пожалуйста, Петр Фадеевич, возьми «Библиотеку».

— Сейчас, сейчас; кстати, мне надобно ехать отыскать их бумаги и вещи...

— В котором нумере помещена моя поэма?

— Не припомню, — отвечал Дмитрицкий: — но мне кажется, что она помещена не в «Библиотеке для Чтения», а в каком-то другом месте...

— Где же? Это удивительно! Пожалуйста, припомните!

— Право, не припомню.

— Петр Фадеевич, надо пересмотреть все журналы! я съезжу сейчас же сама в книжную лавку!..

И Домна Яковлевна крикнула, чтоб скорее подали ей шляпку и манто.

— Помилуй, душа моя, мне надо самому сию минуту ехать!.. Отыскать их бумаги и вещи... по горячим следам...

— Я сию минуту ворочусь, успеете, — проговорила торопливо Домна Яковлевна, надевая шляпку.

— Помилуй!.. Мне никак теперь нельзя дать тебе лошадей!.. Мне самому нужно!

— Пустяки, пустяки!.. Подавай манто!

— Нет уж, ей-богу, извини! — крикнул Кумин, схватил фуражку: — пропадут их бумаги и вещи. Я отвечаю!.. мне будет беда!..

— Это ужас! Это ни на что не похоже! — вскричала Домна Яковлевна вне себя и, сорвав с себя шляпку, сбросив манто на пол, она кинулась в другую комнату, хлопнула дверями, но вопли ее раздались по всему дому.

— Хм! — произнес смутясь и испугавшись Кумин: — если б вы знали, какая она прекраснейшая женщина! С какими чувствами, если б вы знали!.. Но вот только слово скажи не так насчет стихов — просто беда! Скажи чуть-чуть серьезно, что, «пора обедать, душа моя! ты записалась!» Ну и беда: вспыхнет, в слезы, в упреки: и житья-то нет, и убийца-то я здоровья ее, и губитель таланта, и бог знает что... бац в постель! Вот тебе и пора обедать! И понять не могу: жалость! Ну, как тут иногда не скажешь: чорт бы драл эти стихи! А только скажи это — да и посылай за доктором.

— Зачем же говорить такие вещи? — сказал Дмитрицкий, выслушав жалобы Кумина.

— Да нельзя; как можно остеречься на каждый час, сам иногда в досаде; намоют голову, проголодаешься как собака, приедешь домой, а тут, бог ее знает, какая-то особенного рода чувствитель-

ность! .. Например, теперь: мне надо торопиться ехать отыскивать ваши бумаги и вещи, так нет! брось все! Сами вы видели.

— Что ж делать! домашнее спокойствие дороже всего, — сказал Дмитрицкий.

— Да как же быть-то, почтеннейший мой?

— Жена ваша поэтическое существо, с ней нельзя обходиться, как с простой женщиной.

— Кто ж говорит, я это очень знаю, это и по ее комплекции видно; да как же быть-то?

— Как быть! Я вам сказал, что домашнее спокойствие дороже всего; сохраняйте ее спокойствие, угождайте, предупреждайте все желания, окружите ее литераторами, поэтами, напечатайте ее стихотворения, и тогда известное дело: больше будет шуметь свет, меньше будет шуметь дома.

— Ой, ой, ой, — проговорил в раздумьи Кумин. — Оно конечно: женщина необыкновенная, сочиняет на удивление, могла бы блистать в свете... Да угоняешься ли за людьми? .. Когда мне заниматься всем этим? то на следствие, то туда, то сюда... Однакож, кажется, она поуспокоилась. Я съезжу поскорее... Я сейчас ворочусь...

Кумин поскакал для розыска бумаг и вещей Дмитрицкого, а Дмитрицкий пошел в отведенную ему комнату.

— «*Странная вещь, непонятная вещь!*» — проговорил он, прилегая на диван. Однакож все это и глупо и скучно или, лучше сказать, чересчур замысловато, так, что концов не найдешь! .. Очень нужно было судьбе спасать меня, чтоб после не знать, куда деваться со мной! .. Сам я и не пошевельнусь: всё надоело! .. ни шагу! что угодно судьбе и людям, то пусть со мной и делают! ..

И в самом деле, Дмитрицкий отложил попечение

заботиться о себе. Преравнодушно слушал он отчаяние Кумина, который после неоднократных поисков объявил ему с ужасом, что ни вещей его ни бумаг нигде не отыскивается; что он не знает, как теперь быть, что просто: беда!

— Ничего, — отвечал Дмитрицкий: — как-нибудь обойдется.

— Да, обойдется! .. За вещи мне придется платить; а насчет пропавших бумаг надо напечатать объявление в газетах.

— Платы мне вашей не нужно; но со мной что вы будете делать, если век не найдутся мои бумаги? — спросил Дмитрицкий.

Кумин пожал плечами.

— Надо вам будет донести начальству, что вот так и так потерян аттестат, вам вышлют другой; а между тем вы можете ехать куда угодно.

— Нет, сам я об этом не буду беспокоиться: как хотите, так и делайте, а без бумаг я не поеду.

«Хм, молодец какой! верно, понравились стихи моей жены! .. Хоть век вековать здесь! . .» — подумал Кумин, и он приложил все заботы, чтоб сбыть скорее с рук Дмитрицкого.

Легко или не легко было это сделать, но он добыл свидетельство о пропаже его бумаг и вид на свободное прожитие повсюду, где ни пожелает, до истребования нового аттестата.

Доставив Дмитрицкому эти бумаги, Кумин предложил ему и необходимую сумму денег на дорогу, куда пожелает ехать.

— Взаймы, не иначе, Петр Фадеевич, — сказал Дмитрицкий: — хоть шайку воров и разбойников наберу, да награблю денег, а отдам вам долг; мне не в первый раз быть атаманом да и литератором также: хоть накраду стихов, а сочиню поэму и по-

свящу Домне Яковлевне! Будьте здоровы, желаю вам счастия и тому подобных вещей!

Простившись с Куминым, Дмитрицкий отправился прямо в гостиницу «Лондон».

— Федя! я опять в живых! — вскричал он, вбежав в нумер, занимаемый Рамирским.

— Дмитрицкий! Опять метаморфоза? Откуда ты? — вскричал и Рамирский, обнимая его. — Мне сказали, что тебя взяли? — прибавил он тихо.

— Взяли, да и сами не рады, что взяли! Ты собираешься в дорогу?

— В деревню, с Машей.

— Ууу, «странная зещь, непонятная вещь!» Неужели? Так я с вами.

— Душою рад; но скажи, пожалуйста, на каком ты теперь положении?

— На прежнем, допотопном. Теперь ты меня не бойся: у меня есть теперь что̀ показать на заставе. Только одно на душе — Саломея; не знаю, что̀ с ней делается.

— Ох, эта Саломея! — сказал Рамирский. — Оставь, пожалуйста, ее в покое!

— Нельзя, душа моя: чудная женщина! Если б не она, я бы век остался венгерским магнатом. Мне следует поблагодарить ее. Послушай, ты еще не скоро поедешь?

— Тотчас после обеда.

— О, так я успею.

— Куда ты? Пожалуйста, не езди никуда.

— Не могу: узнаю, по крайней мере, о здоровье. До свидания!

— Обедаем вместе?

— Очень натурально; я теперь на твоих хлебах: своих нет.

— Чудак, чудак! Деятельная душа, которая не

знает, куда деваться с своей свободой! — проговорил Рамирский вслед Дмитрицкому.

Время обеда наступило; на стол накрыто; половой несколько уже раз спросил, подавать ли кушанье?

— Погоди немного, — отвечал Рамирский, выжидая Дмитрицкого и расхаживая по комнате с беспокойной думой об нем.

Дмитрицкий не возвращается.

Но вот слышно, кто-то вошел.

Рамирский бросился к дверям.

Вошел слуга с докладом что «Марья Михайловна Нильская изволили подъехать к воротам и ждут».

— Сейчас, сейчас, — сказал Рамирский: — доложи, что сию минуту... А его всё нет, как нет! Где ж его искать? а так нельзя оставить: у него нет, я думаю, ни копейки...

— Кушать, стало быть, не будете? — спросил Иван, слуга Рамирского, готовый уже в дорогу.

— Нет!

— Портфель прикажете выносить в коляску?

— Погоди!.. Дай сюда!

И Рамирский, как будто наведенный на счастливую мысль Иваном, присел, написал письмо, вложил в него несколько ассигнаций, запечатал и крикнул Ивана.

— Ты останешься здесь и будешь ожидать Василия Павловича Дмитрицкого, которому отдашь это письмо. Он намерен ехать ко мне в деревню, так ты вместе с ним и приедешь. Если же в продолжение трех дней не дождешься его, то приедешь один и возвратишь мне это письмо. Номер остается за мной на три дня; ни шагу отсюда, слышишь?

— Слушаю-с, — отвечал Иван, провожая с горем

барина. — Что̀ это вздумалось Федору Павловичу сзывать к себе в деревню гостей? — продолжал он разговаривать сам с собою, возвращаясь в номер: — да еще жди и вози их! .. Экая тоска тут одному! ..

Насидевшись и нагрустившись вдоволь подле окна, посматривая на улицу, Иван стал дремать, повторяя про себя: «Экая тоска какая! Жди поди! А еще чорт знает, дождешься ли! ..»

Только что он всхрапнул, как стук двери разбудил его.

— Кто там? — крикнул он.

— Уехал? Ах ты, досада какая!

— Вам, сударь, Федора Павловича?

— Уехал? — повторил Дмитрицкий, хлопнув себя по вздутым щекам: — вот тебе раз!

— Да вам, сударь, кого? Федора Павловича?

— Ну, да!

— Так они уехали, а мне приказали оставаться, ждать вас, да отдать вам это письмо.

— Эх-ма! — проговорил Дмитрицкий, развертывая письмо: — я думал, что он меня подождет! .. Ах, дружище Федя! Как будто угадал! .. Ну, кланяйся же ты ему, скажи, что ехать мне никак нельзя; написал бы с тобой, да и то некогда. На-днях напишу к нему. Прощай!

— Так как же, сударь, вы не поедете?

— Я тебе говорю, что не поеду, некогда; кланяйся барину, скажи, что я его целую... Прощай!

— Так мне прикажете ехать? — спросил в дополнение Иван.

— Поезжай, поезжай с богом!

— Экой торопливый! Словно родной брат вот тому немецкому барину, что̀ здесь стоял с Еганом-то, да что̀ пропал-то вдруг... Или уж это он самый и есть?

Довольный, что избавился от долгого ожидания, Иван тотчас же отыскал в Охотном ряду попутчика и отправился на порожняке в деревню.

VIII

— Душка! друг мой! Мария! как я счастлив! — говорил на другой день Рамирский, возвратясь с своей молодой из церкви, — ты моя!

— Твоя, душка! — отвечала Мери.

— Как мы обязаны Дмитрицкому! Сам бог послал его на наше счастье, но где он, что̀ с ним? Как беспокоит меня его судьба!

— Да, и меня также; он стоил бы лучшей участи.

— Всё в нем есть: и ум, и прекрасное доброе сердце, и пылкие чувства, и всё на беду; нет управы! .. Памятны мне слова отца: управляйся богом; ум, сердце и чувства — кони; только на вожжах идут дружно, везут к цели.

Молодые сгрустнулись о Дмитрицком; они содрогнулись при мысли, что без него никогда бы им не быть вместе.

В это время явился из Москвы Иван.

— Ты один? а Василий Павлович Дмитрицкий? Письмо отдал? — торопливо спросил его Рамирский.

— Отдал, сударь; они изволили сказать, что некогда им к вам ехать; дела̀, сударь, служба не позволяют; а как только возможно им будет, так они напишут к вам.

— Не понимаю! — вскричал Рамирский: — что̀ его удержало? Какая служба? Та̀к он и сказал?

— Так точно, сударь.

Рамирский пожал плечами.

— Не понимаю! Что он еще затеял! . .

Прошел целый месяц, во время которого дозволяется всё на свете забывать и ничего не чувствовать, кроме собственного счастия, вдруг Рамирский получает письмо.

— Мария! — вскричал он: — поди, друг мой, сюда! письмо от Дмитрицкого.

— Неужели? Что̀ он пишет?

— Я без тебя не хотел читать.

— Читай скорее! — сказала Мери, приклонясь к плечу мужа.

«Здоров ли, Федя? — читал Рамирский. — Здорова ли твоя Маша? Спасибо тебе, любезный друг; угадал, что̀ мне нужно; а уж как нужно-то было! Поверишь ли: пошел бы в воры, чтоб добыть денег. Ты, я думаю, удивился, прождавши меня напрасно? Что ж делать: по справкам оказалось, что и у меня есть сердце. Если б ты знал, как оно во мне перевернулось! Помнишь, как я ненавидел Саломею? Теперь совсем другое: подле Саломеи, умирающей в богадельне, я узнал, что эта ненависть левая сторона любви. Если б она умерла, и я бы умер; но Саломея мне обязана жизнию! мне! понимаешь ли ты, душа моя, это чувство? Она прошла сквозь чистилище, демон оставил ее. Сегодня в первый раз Саломея молилась, а я в первый раз понял, кто̀ надежный кормчий посреди треволнений житейского моря и где маяк для погибающих».

— Ах, друг мой, и он, кажется, счастлив, — сказала Мери: — как бы мне хотелось видеть эту Саломею!

— Боюсь я, что это какие-нибудь новые фантазии, проказы и больше ничего!

— Дочитай же письмо.

«Уведомь, пожалуйста, про Яликова: доволен ли он управительской должностью, которую ты ему дал? Будь здоров, до свидания».

— Чудак! ничего не написал обстоятельно!..
— Какой Яликов? — спросила Мери.
— Муж этой Саломеи.
— Где ж он? Какую ты дал ему должность?
— Он и не являлся; взял деньги на дорогу, и пропал.

Через несколько времени Рамирский получил второе письмо от Дмитрицкого и вздрогнул. Оно было писано из Сибири.

«Ты, друг, Федя, предлагал мне денег, звал к себе на житье. Я сбирался уже к тебе; но увы! судьба сослала меня вместе с Саломеей в Сибирь...»

— Маша! — вскричал Рамирский: — я предвидел, что Дмитрицкому несдобровать! Слушай!

— О, боже мой! бедный Дмитрицкий! — вскричала и Мери с ужасом, когда Рамирский повторил первые строки письма.

«Да, душа моя, — продолжал читать Рамирский, — как это всё случилось, по сию пору не пойму и не приду в себя. Помню только сквозь сон, что какой-то благодетельный гений посмотрел мне в лицо, узнал меня и крикнул: А! говорит, тебя-то мне и нужно! Вот тебе пять тысяч на дорогу, десять тысяч в год жалованья, ступай в Сибирь, на мои золотые прииски! — Нечего было делать — поехал...»

— Ах! на душе отлегло! — проговорил Рамирский, вздохнув свободно.

Мери вместо слов поцеловала прослезившиеся его глаза и сама прослезилась.

— Ну?

«Надо было ехать, во-первых, потому, что я решительно предоставил распоряжаться мной судьбе, или кому угодно; а во-вторых, необходимо было исполнить предсказание: оно у меня из головы не выходило: еще в малолетстве одна старая колдунья, которой я подставил ногу, сказала мне: «Сорванец, постреленок! быть тебе в Сибири». Вот я и в Сибири. И ты представить себе не можешь, как я счастлив, что выбрался из вашего житейского моря в пустыню, и конец приключениям».

— На долго ли-то конец приключениям?

— Ах, не сглазь! — сказала Мери.

ПРИМЕЧАНИЯ

Роман в печати и в критике

Роман печатался под заглавием «Приключения, почерпнутые из моря житейского» в журнале «Библиотека для чтения» в течение 1846 и 1847 гг. Отдельно издавался дважды—в 1848 и в 1864 гг.

Критическая литература о романе сводится к нескольким рецензиям, из которых представляет интерес лишь большая рецензия Белинского в первом томе «Современника» за 1847 г. и в восьмом томе того же журнала за 1848 г

Автор о романе

Первое издание своего романа автор снабдил предисловием, имеющим целью объяснить особенности его композиции, вызывавшие у критиков упреки в невероятности и неправдоподобии романа. Приводим его здесь полностью:

«Приключения, почерпнутые из моря житейского» печатались отдельными частями в «Библиот. для чтения» в продолжение трех лет; двенадцать частей, составляющие приключения Саломеи и героя былых времен Дмитрицкого, предлагаем для многих не так, как новость, но как необходимое напоминание некоторых лиц, с которыми, может быть, встретятся читатели «Москвитянина» в продолжение «Приключений». По самому заглавию книги можно понять, что это не собрание типов разных слоев общества; напротив, это очерки и характеры неопределенных личностей, резко отделяющихся от общества своей нравственной и физической наружностью, странностями и даже безобразием. Этому соответственен и вымысл самих приключений. Жизнь подобных лиц, как Саломея и Дмитрицкий, не могла иначе итти, как не через невероятные мытарства».

Читатель о романе

Среди бумаг Вельтмана сохранилось письмо к нему его приятеля Болдырева, где есть несколько строк, относящихся к «Саломее», быть может, заслуживающих внимания как свидетельство о широкой распространенности романа и возбуждаемом им среди читателей интересе:

«Вот тебе быль в виде анекдота о «Саломее». В Саратовской губернии, в Сердобском уезде, живет барыня старуха с семьей и деньгами, всего у них много, только не было книг, которые исконибе почитались ненужными. Сосед их, мой зять, услышав их жалобу на скуку, дал им прочесть твою Саломею. Старуха начала слушать чтение и так обрадовалась, узнав по опыту, что некоторые книги занимательны, что переродилась: распечатала бумажник и начала выписывать журналы и книги».

О Вельтмане и его творчестве

О личности Вельтмана нет никаких работ, кроме кратких, справочного характера статей в энциклопедических словарях, из которых наиболее солидной является статья в «Критико-биографическом словаре» Венгерова (V т.), в настоящее время, впрочем, уже устарелая. Новейшей статьей этого рода является статья во II томе «Литературной энциклопедии», изданном Литературной секцией Коммунистической академии.

Не богата и критическая литература о произведениях Вельтмана. В современной автору критике заслуживает внимания обширная, итоговая по отношению к тогдашнему Вельтману статья Лихонина: «Вельтман и его сочинения», напечатанная в журнале «Московский наблюдатель» за 1836 г., ч. VII. В новейшее время появилось два исследования, относящихся также к раннему Вельтману: в редактированном Эйхенбаумом сборнике «Русская проза», вышедшем в 1926 г., напечатана статья Бухштаба: «Первые романы Вельтмана» и в редактированном Белецким сборнике «Русский романтизм», вышедшем в 1927 г., напечатана статья Ефимова: «Начальный период литературной деятельности Вельтмана».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Фронтиспис—портрет А. Ф. Вельтмана с гравюры на стали 1841 г.

Редактор Л. Б. Каменев. Техн. редактор А. Соловейчик. Сдан в набор 30/X-32. Подписана к печати 11/VII-33 г. Уполн. Главлита № Б.—24023. Изд. № 69. Индекс А-О. Бумага 73,8×104,4 см. Тип. знаков в 1 печ. л. 51000. Тираж 5-300. Печ. л. 60 1/2

2-я тип. „Печатный Двор" треста „Полиграфкнига", Ленинград, Гатчинская, 26.

Цена Р. 10.—
Переплет Р. 2.—